

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

4



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

роман

ЦИКЛОН

роман

*Перевод с украинского
М. Алексеева, И. Карабутенко,
Изиды Новосельцевой*

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

С(Укр)2
Г 65

Художник
ЕВГЕНИЙ ГАЙНУШКИН

Г 70303-114 **подписное**
028(01)-75

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ

РОМАН

Еще бестревожно ходят по городу те, которым суждено биться на боевых рубежах, вырываться из окружения, гореть в кремационных печах концлагерей, па смерть стоять у Сталинграда и штурмовать Берлин; еще стоит на возвышении посреди города серый массивный ДКА — Дом Красной Армии, где через несколько лет — на месте, очищенном от руин, — будет зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Еще все как было.

Еще, разбредясь с самого раннего утра по паркам и библиотекам, забравшись в опустевшие аудитории факультетов, склонились над конспектами студенты — готовятся к последним экзаменам.

Двое из них сидят в пустой аудитории истфака.

Утром, когда пришли сюда, Таня сама загородила дверь стулом. Богдан стоял в стороне и улыбался. Упрямства и горячности было у нее куда больше, нежели силы в руках. Все же Таня справилась со стулом, забаррикадировалась, заперлась, как хотела: прочно, словно бы от всего мира. И, порывистая, с растрепанными волосами, обернулась к Богдану:

— Теперь тебя никто у меня не отберет!

Они посмотрели на заложенную стулом дверь и рассмеялись: действительно, теперь они тут одни со своей любовью. Только вчера помирились они после тяжелой размолвки. Это была одна из тех размолвок, которые возникают между влюбленными из-за пустяков, почти из ничего, но значат для них больше, чем самые серьезные мировые проблемы. Теперь им ясно, что не стоило ссориться;

не хотелось и вспоминать об этой легкомысленной беспричинной ревности, которая отняла у них столько счастливых дней. Сейчас, помирившись, они как бы заново упивались своим чувством, возрожденным, переболевшим и оттого еще более жадным и горячим. Если бы это зависело только от Тани, она в знак примирения весь день целовалась бы с ним здесь, забыв про конспекты. Она потянулась к Богдану, к милому своему Богданчику: целуй!

Он легко подхватил ее на руки и, на ходу осыпая горячими поцелуями, понес в самый дальний угол, посадил, как школьнику, на стул:

— Сиди!

Положил перед нею ее небрежно свернутые, покрапленные парковыми дождями конспекты:

— Учи!

Теперь она сидит и зубрит крестовые походы. Не столько, правда, зубрит, сколько наслаждается своими мечтами, своими светлыми девичьими видениями. Время от времени украдкой, счастливо и воровато поглядывает на Богдана.

Погруженный в конспекты, Богдан сидит в другом конце аудитории, перед самой кафедрой. Вот он поправил шевелюру. Таня видит его руку, сильную руку спортсмена. Нахмурившись, он снова окупился куда-то в средние века. Такой вот задумчивый, в поношенной рубашке, с аккуратно засученными выше локтей рукавами, Богдан ей особенно понравился. Сколько мужественности во всей его фигуре, в густом непокорном чубе, откинутаго назад! Даже вот так, когда Богдан сидит, по его складной высокой шее видно, какой он стройный. По-цыгански смуглый — девочки говорят, что он красавец, но для нее он больше, для нее он — само счастье.

Несколько дней назад, когда между ними произошел разрыв, думала — не переживет. Жизнь без него сразу погасла, поблекла, утратила смысл. Несчастная, измученная ревностью, убитая горем, бродила Таня вечерами по городу, по каменным катакомбам кварталов, живя одной надеждой: хоть случайно встретить его где-нибудь, хоть издали глянуть, когда он будет возвращаться из библиотеки в общежитие. Больше всего боялась увидеть его с другой, с какой-нибудь незнакомой девушкой редких, исключительных достоинств, к которой заранее ревновала — ревновала до потемнения в глазах. А он всякий раз

возвращался из библиотеки с хлопцами; шагал мрачный и недоступный, с конспектами и буханкой под мышкой. Притаившись где-нибудь, Таня жадно следила за ним, пока ребята не исчезали в сумраке вечерней улицы.

В те ночи одиночества и неприкаянности, как лунатик, бродила она по местам своей любви — по улице Вольной академии, где встретила с ним впервые, по студенческому «Острову любви», над Журавлевской кручей, где впервые узнала сухой, жаркий вкус его поцелуя. Освещенная электрическими огнями Журавлевка и далекая переключка ночных поездов только усиливали боль утраты. Возвращаясь в общежитие, слушая поздний гомон буйной своей студенческой республики — Толкачевки и Гиганта, все надеялась, все ждала: рано или поздно он вернется и с ним возвратится то, без чего она не могла жить.

Теперь он опять с нею. Цветет душа! — так могла бы назвать она свое чувство. Вот он здесь, рядом. Можно неслышно подкрасться к нему сзади и обнять, ущипнуть за ухо, дернуть за жесткий непокорный чуб... Однако нет, этого делать нельзя, ведь он штурмует средние века. Но можно скатать бумажный шарик и кинуть в его сторону — так она часто проказничала на лекциях, — шарик упадет перед ним на столе, он развернет его и, хмуря брови, прочтет: «Je vous aime»¹.

Штурмует, штурмует. Короли, папы, рыцарские походы, обычаи, а того не знает, что сам он для нее сейчас лучше всех рыцарей на свете. Как любит она его за этот нахмуренный лоб! Спартапская душа! Нелегко даются ему науки, намного труднее, чем ей, но из гордости он и знать не хочет шпаргалок, и не полагается на случай, он идет на экзамены с твердой уверенностью в себе, в своей силе, — в том, что никто ничем не собьет его.

Сама жизнь выработала в нем этот характер. Рос без отца, на нелегком хлебе. Чтобы дотянуть до стипендии, почками ходил на товарную станцию — разгружал вагоны. Во время каникул тоже работал. Прошлым летом в рыбо-ловецкой артели, где-то в днепровских плавнях, тяжелые неводы таскал. Вернулся, и от него пахло Днепром, шалашами, дымом костров вечерних. Загар никогда не сходит с него. Даже и зимой возвращался со своих запо-рожских каникул загорелый, будто под лучами тропического солнца побывал.

¹ Я вас люблю (франц.).

— С Сечи Богдан вернулся! — шутили друзья.

Весь факультет знает, что они — еще с первого курса — влюбленная пара, что Таня Криворучко его, Богдана Колосовского, невеста.

Сдадут последние экзамены, и откроется перед ними лето, вольное, солнечное, знойное. Как бы хотелось ей сейчас бросить конспекты и податься вдвоем за город, в поле за лесопарком, где трамвай влетает прямо в рожь!

Весна промелькнула для них совсем незаметно, только и видели из этого окна, как бродили по горизонтам высокие седые дожди, только и слышали, как шелестели они за окном по листьям деревьев, с тихим звоном барабанили по крыше, по разогретым камням домов. Потом опять было солнце — и дымились асфальты, и блестели деревья мокрой зеленью, а из окон студенческих аудиторий видно было, как где-то сразу же за Южным вокзалом, за сверкающими после дождя крышами домов радуга воду берет. Туда — к радугам, на просторы загородные — манило студенческую душу...

Зато лето нынче будет у них необычайное: они впервые проведут его вместе, поедут на археологические раскопки. Многие студенты разъедутся этим летом на раскопки — кто в Крым, кто к Каменной могиле на реке Молочной, где, по слухам, обнаружены доисторические рисунки в пещерах первобытного человека, а им, Тане и Богдану, старый профессор предложил Ольвию — именно то, чего им самим больше всего хотелось. Древняя Ольвия, по-нашему Счастливая, давно влечет обоих, давно им хочется раскопать ее, засыпанную песками, чтобы дознаться, почему она погибла, почему люди покинули ее. Полторы тысячи лет назад город бурлил жизнью, к нему от солнечных берегов Эллады прибывали корабли, шумел рынок многолюдный, на аренах проходили спортивные битвы, и в честь победителей на мраморных плитах город чекапил слова декретов: *«Пурфей, сын Пурфея, будучи архонтом, победил копьем и диском...»* Архонт — это вроде председателя горсовета, и Таня даже улыбнулась, представив, как бежит по арене председатель горсовета в трусах, завоевывая своему городу первенство.

— «Пурфей, сын Пурфея...» — подражая голосу профессора, торжественно скандирует она из своего угла, но Богдан не поддается на уловку, не оборачивается, и Таня только слышит:

— Не мешай!

Ей даже правится, когда он вот так покрикивает на нее, этот ее атлет факультетский, который тоже мог бы «побеждать копьем и диском». Не читается Тане. Все видится ей степное лето, ольвийское небо широкое, под которым они будут с Богданом вместе вдвоем. Сказочная Ольвия, лунные ночи, тихие лиманы — все это для них, для них...

Дверь вздрогнула от неожиданного грохота. Богдан удивленно поднялся:

— Кто?

И, еще не услышав ответа, бросился к двери.

Запомните этот миг! Навсегда запомните эту последнюю свою студенческую аудиторию на третьем этаже истфака, где, ворвавшись сквозь забаррикадированную дверь, пастигло вас страшное, ошеломляющее слово:

— Война!

2

Новый Хасан?

Халхин-Гол?

Нет, — видать, это что-то пострашнее.

В дверях аудитории стоит неуклюжий широкоплечий Степура, их друг и однокурсник. Никогда Таня не видела его таким. Губы бледные, прерывисто дышит, хочет заговорить и не может, будто что-то застряло в горле.

Богдана это бесит.

— Говори же!

Степура тяжело двигает толстыми губами:

— Бомбили ночью Киев... Севастополь... и еще какие-то города...

— Ты откуда знаешь?

— Весь город знает... Только вы как на острове...

Я тоже сидел читал, потом вышел за папиросами, а там все кипит. Громкоговорители разрываются, людей на площадях тысячи... Так-то, брат Таня. — Степура с горечью посмотрел на девушку. — Бомбы летят, вот какая история. А мы пели: «Если завтра война...»

Достав из пачки папиросу, он пытается закурить, но спички ломаются одна за другой. Наконец одна зажглась, он подносит ее к папиросе, и Таня замечает, как грубая

рука его еле заметно дрожит, и сам он, неуклюжий, криксивый, кажется ей сейчас удивительно беззащитным.

— Как бандиты напали,— говорит он.— Без предупреждения, вероломно, бесчестно...

Богдан, нахмурившись, стоит у стола над раскрытым конспектом, словно вспоминает что-то. Потом решительно закрывает конспект, складывает тетрадь к тетради аккуратной стопкой. Таня невольно фиксирует каждое его движение. На какой срок складывает он свои конспекты? Когда их снова откроет?..

Они выходят.

Таня все не выпускает его руку. Как ухватилась в аудитории, так и не выпускает, будто предчувствуя разлуку.

В коридорах — вече новгородское. Студенты разных курсов, толпясь тут и там, возбужденно гомонят, спорят.

— Этого надо было ждать!

— Но ведь договор о ненападении на десять лет?

— Фашизм есть фашизм!

Двери аудитории распахнуты настежь — теперь не до наук. Скорее на улицу! Сердцу хочется услышать, что это всего-навсего какое-то ужасное недоразумение, что оно вот-вот разъяснится и опять все будет как было.

На первом этаже, проходя мимо военной кафедры, увидели через приоткрытую дверь Духновича. Худой, сутулый, он стоял посреди комнаты над миниатюр-полигоном, и по его едва заметной улыбке было видно: он еще ничего не знает и думает, вероятно, не о муляжном этом рельефе, не о войне, которая уже ворвалась в тишину аудиторий, а о чем-то другом, далеком.

— Мирон, слышал?

— Что именно?

— Война!

Лицо его скривила недоверчивая ухмылка.

— Я еще не подготовился,— ответил он шуткой.

Но вид у них был слишком необычен, чтобы можно было подозревать розыгрыш.

— Соберайся, брат...

Военная кафедра. Это та самая комната, где им так надоедал придирчивый и педантичный майор, руководитель кафедры, где так осточертели им потрепанные военные плакаты на стенах, носатый противогаз в разрезе, учебный пулемет с дырочкой, просверленной в патроне.

ке... Остаповпвшись перед огромным столом с бутафорским полем, словно другими глазами рассматривают «пересеченную местность» с крохотными холмами и речками. Гипс, раскрашенные опилки, изображающие траву, метелочки деревьев... Как убого! Неестественная желтизна хлебов и ядовито-зеленый простор лугов, и речка, и лесок — все мертвое, неправдоподобное, засохшее, будто сама война вставала в образе этого неживого пейзажа. Мертвый ландшафт лежал перед ними вполкомнаты, а им виделась живая степь, с ее запахами, с созревающими хлебами, и ветер полевой, и небо, полное жаворонков, и дуги, что над полями светятся сочно! Бомбы упали сегодня на хлеба. Где-то их уже топчут танки, кромсают ряды...

На муляжных пригорках распластался портфель Духовича. Он туго набит книгами, а сверху, на портфеле, лежат замусоленные восковые уставы — Духнович никак не мог постигнуть всю их премудрость и сейчас, похоже, снова зубрил, готовясь к передаче зачета. Как-то получилось, что Духнович, этот факультетский философ, охотно и легко штудировавший даже внепрограммные науки, до сих пор так и не смог осилить Устав караульной службы, не научился как следует «козырять», ходить с компасом по азимуту на занятиях в лесопарке, где он всякий раз сбивался с заданного направления, вызывая насмешки товарищей и недовольство преподавателя.

— Ну как, друже? — кивнув на уставы, обратился Богдан к Духновичу. — Одолеи?

Духнович скривился, что должно было означать улыбку.

— Эти уставы нагоняют на меня какой-то ну просто мистический ужас. Они будто на санскрите написаны: сколько ни расшифровываю, никак не доберусь до смысла.

— То уже вчерашнее, — печально заметил Степура. — Теперь, видно, не такие зачеты будем сдавать.

Они вместе вышли на улицу. Все как раньше: спокойная зелень деревьев, и день тихий, ни солнечный, ни облачный, в теплой дымке мгlistой; но тревога как бы разлита в воздухе, она уже проникла в город, в души людей. Сумская клокочет. На перекрестке, у репродуктора, — толпа. Особенно людно в парке, возле памятника Тарасу Шевченко. Все ждут чего-то, не расходятся... Суровый

бронзовый кобзарь, склонившись над людьми, молча думает свою думу.

В толпе Степура заметил Марьяну и Лагутина. Они стояли обнявшись, чего раньше не позволили бы на людях. Он бледный, сосредоточенный, будто бы равнодушный к ней, а она прижалась к нему плечом, будто говорит: ты мой, мой, никому тебя не отдам...

Степура не может взять в толк, как он, Лагутин, этот худощавый белобрысый его соперник, может сейчас быть безразличным к ней. Если бы к Степуре так льнула она, любовь его давняя, безнадежная! Сколько мечтал о ней почтами, сколько стихов ей написал, а она, ласковая, горячая, с румянцем калиновым,— для другого, который уже привык и, кажется, не дорожит ею!

Вверху меж деревьями блестит на солнце могучая, лилая фигура поэта, а ниже, вокруг пьедестала,— бронзовая покрывка¹ с ребенком на руках, и повстанец с косой, и тот, который цепи рвет, и тот, который лежит раненный у переломленного древка знамени, и все вы, кто сейчас смотрит на них,— не ваша ли это судьба, вчерашняя и завтрашняя, темнеет суровой бронзой высоко меж деревьев?

Заглядевшись на памятник, Степура не заметил, как потерял в толпе Марьяну и Лагутина. На глаза ему попала стоящая поблизости незнакомая женщина с ребенком на руках; лицо женщины заплакано, а в широко открытых глазах — мольба о помощи, немой вопрос: неужели правда? Она смотрела на Степуру так, словно бы он мог еще опровергнуть это ужасное известие...

— Ты идешь? — услышал Степура позади голос Богада. — Мы с Таней пошли.

Выбравшись из толпы, они двинулись вверх по Сумской, к студенческому городку. Духовнич поплелся с ними, хотя жил в центре у родителей. Молча перешли на Бассейную, заглянули в знакомый магазин, где обычно брали хлеб, но сейчас магазин пуст: полки голые, хоть шаром покати. Возле другого магазина — шум, толкотня: расхватывают все, что есть,— мыло, спички, соль...

— С ума, что ли, походили? — пожал плечами Духовнич. — Зачем вам, гражданка, столько соли? — придер-

¹ Покрывка — незамужняя мать, которая «покрывается», то есть повязывается платком, как замужняя женщина. Один из образов шевченковской поэзии.

жал он женщину, которая со свертками в обеих руках бежала навстречу.

С виду интеллигентная горожанка вмиг превратилась в сущую бабу-ягу.

— Что ты в этом понимаешь, чистоплюй? — люто набросилась она на Духновича.

И побежала, одарив студентов таким взглядом, что Тане стало не по себе; и в словах женщины, и в этих ее с бою взятых кульках Тане почудилось что-то страшное, пока еще далекое, но приближающееся, почувствовалось горе тех многострадальных матерей, обездоленных солдаток, которые, впрягшись в санки, отправятся по оккупированной земле сквозь выюги-метели менять эти спички и мыло и будут замерзать с детьми, замеченные снегом на пустынных зимних дорогах. Такого Таня и в мыслях не допускала, и все же слова незнакомой женщины глубоко рапили девушку, легли на душу тяжким предчувствием.

Шли и как бы не узнавали знакомых скверов, улиц, домов. В окнах квартир чьи-то руки уже обклеивают изнутри стекла полосками бумаги, крест-пакрест, а во дворах роют щели, укрытия от бомб, — оказывается, есть такой приказ штаба МПВО.

Возле корпусов Гиганта увидели маленького красноармейца с кисточкой в руке, он что-то наклеивал на стену. Подошли, прочитали только что отпечатанное, крупно набранное объявление — приказ о мобилизации. Обращение к людям, которых страна первыми зовет на бой. Годы, годы, годы...

— Все мои братья подпадают, — глухо молвил Степура. — И батько тоже.

— А мой давно уже там, — сказал Духнович: отец его был военным врачом. — Видно, теперь и мать призовут, она будет нужна... Один только я вот ни к селу ни к городу...

— Думаешь, нас это минует? — сказал Богдан, и Тане послышалась злость в его голосе.

Духнович растерянно захлопал глазами.

— А отсрочка? — Худое, веспушчатое, с рыжими бровями лицо его выражало удивление. — У нас же отсрочка до окончания университета?

Богдан пахмурился, глянул на Таню:

— Какие теперь отсрочки...

В темноту окунулся город.

Кажется, никогда не было такой густой темноты, как в первые ночи светомаскировки. Ослепли призрачно вырисовывающиеся громады домов, таинственностью наполнились парки, скверы. Черное небо нависло над городом, необычной звездностью удивляя горожан, из которых мало кто спит в эту ночь.

На крышах домов — посты. Посты и на земле. На каждую полоску света в окне — свисток мплицейский.

Из глубины улиц ползут трамваи с сонными фарами во лбу. Станным становится лицо человека, попавшего в полосу этого мертвенно-синего, низко ползущего света. Прогромыхает трамвай, и снова тишина.

Не почтальоны — рассыльные воспкоматов снуют в этот поздний час с пачками повесток в руках — от дома к дому, от подъезда к подъезду. В самых глухих переулках звучат их торопливые, четкие шаги, слышно, как один, остановившись перед домом, громко спрашивает у дворника:

— Какой номер?

А через улицу другой рассыльный допытывается — так же требовательно, нетерпеливо:

— Номер, номер какой?!

По всем районам города в тысячи квартир стучит война, вручает повестки.

Только к студенческим общежитиям не сворачивают рассыльные. Пока студенты могут спать спокойно — у них броня до окончания университета. Однако и студентам теперь не спится.

В комендантской у телефона бессменно дежурят вооруженные комсомольцы, при входе в общежитие стоит часовой с винтовкой и противогазом. Не учебная малокалиберка — настоящая боевая винтовка в эту ночь у студента на плече. Комендантская отныне именуется штабом — окна в ней плотно завешены студенческими одеялами. Старшим здесь Спартак Павлуценко, член университетского комитета комсомола, ответственный за осови-ахимовскую работу. Во время финской он попал в лыжный батальон, и, хотя до фронта их так и не довели, возвратился Спартак вроде бы фронтовиком, с той поры во всех президиумах восседал с видом утомленного боями ветерана. С тех же времен на правах человека военного

Спартак посит гимнастерку, портупею и ремень с медной командирской пряжкой, которая сверкает на нем и сейчас. Правда, для полноты впечатления Павлущенко немпого не хватает роста — он едва ли не самый маленький на факультете, — зато солидности у него хоть отбавляй; она во всем: в походке, в повороте головы, в неестественно приподнятых плечах, в локтях, оттопыренных на какой-то особый начальнический манер.

Когда в комендантской звонит телефон, Спартак опрометью бросается к нему:

— Историки! Штаб МПВО слушает!

И, припав ухом к трубке, слушает с таким видом, будто с ним разговаривает кто-то стоящий сейчас в самом центре событий. Полное, розовощекое лицо Павлущенко в эти минуты сосредоточенно, серые расширившиеся глаза полны высокой решимости.

Время от времени он выходит из комендантской и, громко постукивая каблуками в вестибюле, направляется проверять пост, выставленный у входа в корпус. На посту сейчас Слава Лагутин, надежный парень, которому Спартак не может не доверять, но Павлущенко раздражает, что возле Лагутина все время вертится Марьяна Кравец, эта чернявая красавица, которая не могла придумать ничего лучшего, как прибежать из девичьего общежития на свидание в такое время и в такое место.

— Я тебе уже говорил, — раздраженным тоном обращается к девушке Спартак, — пост не место для свиданий.

— Иду, иду, — отвечает Марьяна, отступая шаг назад и делая вид, будто собирается уйти.

— Это я уже слышал. А уйду — ты опять тут как тут!

— Ну что случится с тобою, Спартак, если я немножко, самую малость тут постою?

— Со мною — ничего. Но должен же быть порядок! И вообще, что за разговор? Сказано, уходи — значит, уходи, ежели не хочешь неприятностей себе и ему.

Спартак при этом покосился на Лагутина, к которому Марьяна опять прижалась.

— Почему ты ей ничего не скажешь? — обрушился Спартак уже на Лагутина. — Ты ж знаешь порядок?

— Правда, Марьяна, иди, — говорит Лагутин и неохотно отстраняет ее. — До завтра!

Перед тем как уйти, Марьяна еще раз приблизилась к Славику, торопливо не то поцеловала, не то шепнула ему что-то, а уходя с независимым видом, так крутанула

туго заплетенной косой перед Павлущенко, что даже хлестнула его по плечу.

Некоторое время Спартак молча смотрел Марьяне вслед. Убедившись, что девушка исчезла в темноте, повернулся к Лагутину:

— Ты смотри тут. Прислушивайся!

— Весь — внимай! — В голосе Лагутина прозвучали насмешливые нотки.

Спартак подошел к нему вплотную, снизил голос до шепота:

— Есть данные, что они диверсантов к нам забрасывают. Говорят, в милицейскую форму переодеты. Ясно?

— Ясно. — Лагутин перестал улыбаться.

— Особенно туда вон поглядывай. — Спартак пастораживающе кивнул в сторону кладбища и затих, словно оттуда, из темных зарослей, уже и в самом деле выползали, подкрадывались к общежитию диверсанты.

Оставшись один, Славик не мог глаз оторвать от темной чащи кладбищенской зелени за забором, где они еще вчера с Марьяной загорали, вместе готовились к экзаменам.

Это кладбище, его густые, дикие заросли — излюбленное место студентов. Каждую весну и лето они там загорают, зубрят конспекты да целуются, либо целыми компаниями фотографируются под крылатыми ангелами и у могил своих прославленных предков. Там похоронено много профессоров и ректоров университета, в том числе баснописец Гулак-Артемовский, академик Баглий, художник Васильковский — «небесный» Васильковский, которого так любит Лагутин... Прошлой весной на кладбищенском просторе среди студентов мелькали и госпитальные халаты: неподалеку был госпиталь, и раненые да обмороженные коротали тут свое время, поправляясь после финской. Со многими из них студенты подружились, один из командиров попытался было даже отбить у Лагутина его Марьяну, но, несмотря на это, они остались друзьями.

И вот теперь в сторону кладбища, которое было укромным местом для студенческих свиданий, ты должен смотреть с зоркостью часового, должен прислушиваться к малейшему шороху в сиреневых зарослях; а если оттуда появится вдруг, перемахнув через забор, чья-то подозрительная фигура, — останови ее суровым окриком:

— Кто идет?

Окажется, что это идет Дробаха Павло, беспечный гуляка, парепь доибасский, из тех, что не боятся ни черта, ни декана, — когда-то из таких вот выходили повесы, дуэлянты лихие. Там, за кладбищенской оградой, почками напролет пропадал Дробаха, там, среди сиреневых зарослей и крапивы, буйно расцветала его неприхотливая любовь. И война, кажется, ничего не изменила. Привычно перескочив ограду, подошел к Лагутину веселый, взлохмаченный, попросил закурить.

— Тут не курят, — сказал Лагутин. — No smoking! — И добавил: — Чуть не бахнул по тебе.

— Не попал бы. А ежели и попал, не пробил бы: кожа на мне — будь здоров!

— Да знаем... Где плялся? Небось на свидании был?

— А где ж еще бедному студенту шляться? Бродил. Промышлял. Пил радости мира, как сказал бы поэт. И дурак тот, кто не умеет вкусить радости жизни полной мерой.

— Ты считаешь, для этого сейчас подходящее время?

— А что?

На эту жизнь покушаются сейчас...

— Черта пухлого!

— Что черта пухлого?

— Руки им поотбиваем, не горюй!

И пошел в вестибюль, насвистывая.

Вскоре из темноты появилась перед Лагутиным еще одна фигура — высокая, стройная, подвижная — Богдан Колосовский. Похоже, провожал Таню до общежития на Толкачевке. Богдан подошел к Лагутину, неловко улыбаясь: видно, ему было малость неудобно, что в такое время, когда другие стоят на посту, делают дело, он идет себе со свидания, обцелованный девушкой.

— Тебе, наверно, пора сменяться? Хочешь, я встану?

— Нужно Спартак спросить.

— Зачем?

— Без этого нельзя. Там списки.

— Ну так я пойду к нему.

В комендаптской Спартак тем временем разговаривал с кем-то по телефону, то и дело приговаривая: «Есть!», «Есть!», — а хлопцы — среди них и Дробаха, — рассеявшись на столах и на подоконниках, молча смотрели на

¹ Не курить! (англ.)

него — кто хмуро, кто с веселым любопытством, наблюдая его в этой новой и, видать, очень приятной для него роли.

Когда Павлущенко кончил разговор, Лагутин полушутя доложил, указывая на Богдана:

— Привел вот «задержанного». Могу ли передать ему пост?

Спартак исподлобья посмотрел на Колосовского, потом на Лагутина, и круглая голова его в светлых волнистых кудрях наклонилась над каким-то списком, который лежал перед ним на столе.

— Разреши мне сменить Лагутина,— после томительной паузы обратился Богдан к Спартаку.

— Лагутин сменяет Ситник,— холодно ответил Павлущенко и крикнул в угол, где столпились ребята: — Ситник, заступай на пост!

Первокурсник Ситник, шустрый, стриженный под ежик парнишка, юркнул в дверь. Через минуту сдав пост, Лагутин вернулся.

— Ну, что ж ты? — обратился он к Богдану.

Колосовский шагнул ближе к Спартаковым спискам:

— Когда там моя очередь?

Спартак, начальнически хмурясь и не подозревая, как не идет это к его полным, по-детски розовым щекам, долго ищет Богдана в списке и наконец раздраженно объявляет:

— Тебя нет.

— Как нет?

— А так вот — нет.

— Кто составлял список?

— Известно кто. Бюро. Я.

Колосовский до боли прикусил губу. Помолчал под внимательными взглядами товарищей.

— Почему же ты меня не внес в список?

Скрипнул стул. Круглая голова Спартака снова склонилась, рассыпалась кудрями над бумагами.

— А мы не вносим всех подряд. Тут отобрали кого следует.

Эти слова окончательно возмутили ребят.

— А его, по-твоему, не следует? Отличник учебы! Ворошиловский стрелок! — закричали отовсюду. — Чего тебе еще нужно?

— Допиши! — соскочил с подоконника Дробаха. — Скажи, что пропустил случайно! По темноте своей.

Спартак сразу же осадил его:

— Ты лучше помаду вытри на щеке! Кому война, а кому мать родна!..

Проведя кулаком по щеке, Дробаха продолжал, однако, свое:

— Что ты душу выматываешь? Стреляешь хуже него, а тут уперся... Такому товарищу — и не доверяешь? Не можешь доверить Богдану отстоять один час на твоём дурацком посту?

Это совершенно взбесило Спартак. Он подпнулся из-за стола — приземистый, плотно затянутый ремнем толстячок.

— Вижу, о тебе тоже следовало бы подумать, если ты считаешь наш пост... бессмысленным, — падувшись, глянул он на Дробаху, и в голосе его вдруг зазвучали угрожающие нотки. — Тебе известно, что такое пост? Известно, что объявлено военное положение?

Дробаха спокойно шагнул к столу.

— Ну и что?

— А то, что нам нужна сейчас утроенная бдительность!

— К кому?

— Ко всем! К тебе! Ко мне! Ко всем!

Лагутин, подойдя к Спартаку сзади, положил руку ему на плечо:

— Ты, товарищ Цидерон, речей нам не закатывай. Объясни толком: почему в списке нет Колосовского? Кто тебе дал право унижать, оскорблять — да еще в такое время — нашего товарища, честного, надежного?..

— Ты меня не учи! — Спартак сердито стряхнул руку Лагутина. — И вы тут не митингуйте! Демократия кончилась! Позвольте уж мне судить, кого надо включать в список, кого нет! Прежде чем защищать, вы у него спросите! — крикнул он, не глядя на Богдана. — Спросите, где его отец.

Богдан почувствовал, как жаркая кровь огнем заливает ему лицо. Отец... Ничем иным сейчас нельзя было сравнить его так тяжело, как напоминанием об отце... Ты сын человека, которого называли врагом народа, который вычеркнут из этой жизни, отправлен рубить тайгу. На курсе знают об этом, некоторые хлопцы тайком даже сочувствуют, и все же сейчас ты перед ними как бы и действительно в чем-то виноват. Будто бы утаил. Будто бы украл. Не находилось слов для возражений Спартаку, и вообще не оставалось ничего другого, как молча выйти из комендант-

ской. Богдан повернулся и вышел, избегая взглядов товарищей.

Поднимаясь в темноте по ступенькам, чувствовал, как горит лицо, как бьет в висках кровь. У себя в комнате Богдан, не раздеваясь, упал на постель, зарылся головой в подушку. Недоброе, мстительное чувство душило его, сердце жгла боль незаслуженной обиды. Этот Спартак, может быть, и сам не подозревает, какой глубокой кровоточащей раны в сердце Богдана коснулся. Недоверие, недоверие, с такой грубой откровенностью высказанное!

В углу заскрипела кровать Степуры. Оказывается, тот еще не спит. Вдохнул, обратился к Богдану:

— Будешь ужинать? Там хлеб, повидло в тумбочке.

Богдан не отозвался.

— Лежу вот и думаю,— заговорил немного погоди Степура,— наверное, повестки уже получили...

Глуховатым баском он рассказывает о том, что Богдан слышал от него не раз,—о старших братьях своих, Степурах, один из них — тракторист, другой — комбайнер, третий — копюх, все с женами, с кучей детей. Еще говорит что-то о батьке, он тоже подлежит мобилизации, и о своей отсрочке, которая дает ему льготу, дает почему-то преимущество перед братьями...

— И за что? За какие такие заслуги перед народом?

Богдан почти не слышит его. Вцепившись зубами в подушку, он никак не может подавить в себе обиду, ворочаясь, сжимает кулаки от боли, которая жжет и жжет его. В это грозное, напряженное время, когда родина в опасности, ему не доверили оружия, его отбросили прочь! Тут, возле общежития, не доверяют, что же думать о фронте!

Жарко в комнате, хотя окно открыто. Вскочил с постели, разгоряченный подошел к окну. Сразу же за дорогой темнота, будто и конца ей нет. Далеко над районом заводов мигнул прожектор. Мигнул, упал, погас, и стало еще темнее. Вспомнилось небо Запорожья в заревах металлургического гиганта. Оттуда, из Запорожья, был взят отец — перед арестом он работал в горвоенкомате. Вспомнилось висевшее на стене в комнате отца Почетное революционное оружие, которым он был награжден за участие в ликвидации махновских банд. В сознании Богдана никак не укладывалось, что отец его изменил родине, что надо отречься от него. Богдан беспредельно верил в честность отца.

Острые холодные глаза Спартака увидел перед собой. Так что ж, по-твоему, если мой отец там, мне, его сыну, доля народная, родина моя советская менее дороги? Хлопнула дверь. Вошел Штепа. Не зажигая света, начал шарить в тумбочке — его кровать у двери.

— Еще не спите?

— А что? — отозвался Степура.

— Только что мы видели — ракету кто-то пустил.

— Где это вы видели?

— Мы с Безуглым на крыше дежурили, смотрим, а пад лесопарком — вжик! Есть же, кто сигнализирует, а?

Богдану казалось, что Штепа в это мгновение обращается со своими подозрениями именно к нему и только ждет, что Богдан скажет на это... А может, вообще выдумал о ракете — Штепа и на такое способен. Может, по заданию Павлущенко выведывает настроение? Или это уже просто мерещится?

Темно за окном, душно в комнате. Хоть бы Таня была здесь. Она одна знает о нем все, она сердцем чувствовала его боль и страдала, видя, как страдает от подозрений гордость его, достоинство человеческое, и Тапя, как никто, умсет облегчить его горе.

Словно бы почувствовав его настроение, Степура встал с кровати, в трусах, в майке подошел к окну.

— Чего не ложишься? — потормошил он Богдана.

— Да так...

— Что-нибудь случилось? С Таней что-нибудь снова?

— Да нет...

Богдан не хотел ничего говорить при Штепе. Он слышал, как тот возится у своей тумбочки, как ужинает в темноте — колбаса аппетитно хрустит у него на зубах.

— Завтра наши хлопцы собираются отсрочки свои сдавать, — сказал Степура вполголоса.

Но Штепа услышал его:

— И чего им эти отсрочки мешают? Государство дало, стало быть, оно знало, что делало. Не пойму, зачем спешить поперед батька в пекло.

— Ты можешь не спешить, — сердито бросил ему Степура.

— И не собираюсь. А ты разве пойдешь?

Степура ответил после паузы:

— Я пойду.

— А ты, Богдан?

— Я тоже.

— Ну, как хотите.— Спова хрупнула колбаса.— Что касается меня, то я так рассудил: раз у меня отсрочка, значит, я больше нужен тут, чем там.

Пужинав, Штепа разделся, лег и вскоре захрапел.

Степура и Колосовский долго еще стояли у окна. Богдан в нескольких словах сообщил Степуре, что случилось в комендаптской.

— Не горюй,— сказал Степура.— Рано или поздно все стапет на свое место. «Война спипшет»,— слышал я сегодня на улице. А я думаю, ничево она не спипшет. Напротив, железом и кровью панишет правду о каждом из нас.

Спокойные раздумья его вроде бы пемного остудили Богдана. Но даже и после того, как ребята улеглись, они долго еще не могли уснуть, взбудораженные пережитым за день. Коротки летние ночи, а эта была непривычно долгой, мучительпой,— казалось, никогда и не копчится.

4

Солнце?

Да, оно еще было.

Поднялось и осветило Журавлевку, заводы, и площадь Дзержинского, и стройную железобетонную громаду Госпрома — этот первый украинский небоскреб.

Возле Госпрома с самого утра людно. Можно подумать, тут сборный пункт какого-нибудь райвоенкомата. Но тут не военкомат. Тут Дзержинский райком партии. В его кабинетах непрерывно заседают комиссии, вместе с представителями армии рассматривают заявления добровольцев. Сегодня райком осаждают студенты. С утра было объявлено, что в этот день пройдут лишь гуманитарные факультеты, но те, чьи дела пачнут рассматривать завтра, тоже не расходятся, спуют по площади, толпятся у подъездов, в коридорах. Ждут. Не зря же бросали они деревянные гранаты, не зря же ходили с малокалиберками на осоавнахимовское стрельбище!

Истребительные батальоны, о которых до сих пор еще никто не слыхивал, диверсионные группы, которые будут заброшены в тыл врага, маршевые роты, которые вскоре покинут этот город,— все они начинают свою жизнь тут.

От папиросного дыма не продохнуть в тесном коридоре, где сбились историки, филологи, географы... Каждый

здесь чувствует себя словно перед сдачей тяжелого, решающего экзамена. И как во время экзамена, все внимание обращено на дверь, за которой заседает комиссия, все взгляды устремляются к тому, кто выходит оттуда. Когда выйдет, обступают его, заглядывают в лицо, по блеску глаз угадывают, что все в порядке, и шутливо-радостным хором приветствуют:

— Годен!

И те, кто успел пройти комиссию, припимают его к себе — ведь он уже их, он уже кровный брат им.

А бывает, выйдет — и глаза его неуловимы. К нему:

— Ну как?

А он пробует что-то объяснить. Мол, и тут, в тылу, кому-то нужно оставаться. И порок сердца. И то и се. Он ищет сочувствия, по ему никто не сочувствует. От него молча отворачиваются. И он уходит и перестает для них существовать.

— Следующий!

Тот, кто готовится войти, держит наготове комсомольский билет и в нем — свою отсрочку, свою студесческую броню. Обыкновенная справка, обыкновенный листок бумаги, а какую силу обрел он сегодня, как много значит он в судьбе каждого пришедшего сюда! Сохранишь эту бумажку при себе — и останешься далеко от огня, а положишь ее вот тут, на стол, и уже не студент ты, а маршевик, пехотинец или сапер, и уже дорога твоя лежит туда, где черным ураганом бушует война, посерьезнее Хасана и Халхип-Гола, где такие, как ты, истекают сейчас кровью в пограничных бетопированных бункерах.

Первыми комиссию прошли парторг факультета Дядечко, профорг Безуглый, члены комсомольского бюро, в том числе Спартак Павлущенко, который умудрился получить тут право распоряжаться, свободно входить и выходить из кабинета. Всякий раз он появляется перед товарищами все более озабоченный, серьезный, будто придавленный грузом многочисленных и пелегких обязанностей. Он попытался было провести без очереди на комиссию кого-то из пединститута, уверяя, что это персональный стипендиат, но отовсюду дружно закричали, что все, мол, мы здесь, перед райкомом, одинаковы, все комсомольцы, — значит, даешь равноправие! Павлущенко пристыдили, а его дружка все-таки и не пустили — шли одним живым потоком — стипендиаты и нестипендиаты,

отлщпкпк и троечники, ребята с блестящими биографиями и неблестящими.

В одно из своих появлений Спартак, заметив среди ожидающих в коридоре худощавую, сутулую фигуру Духновича, был немало удивлен:

— И ты тут?

— А что я? У бога телятю съел?

— Ну, телятю не телятю... Однако от тебя, правду скажу, не ожидал.

— Почему ж не ожидал? — Духнович захлопал светлыми, без ресниц, глазами.

— С твоим отношением к военному делу...

— Военное дело — то другое дело, — невесело отшутился Духнович.

Проходя мимо Колосовского, который заметно первничал, Павлуцелко каждый раз хмурился и отводил глаза в сторону, как бы давая этим понять, что ему нежелательно присутствие здесь Богдапа, что лучше бы тому вовсе не стоять среди добровольцев, у этой заветной двери.

Колосовский зашел в кабинет одним из последних. Ему показалось, что комиссия встретила его так, будто только что речь шла о нем. Настороженно. Официально. Полногрудая, средних лет женщина с яркими, сочными губами, с родинкой на щеке и тугим аккуратным кольцом еще не поседевших волос держала заявление Богдапа, но смотрела не в бумагу, а прямо на него. Смотрела изучающе, и, как ему показалось, в прищуренных, холодных глазах ее затаились неприязнь, подозрение.

Ледяным голосом спросила:

— Колосовский Богдан Дмитриевич?

Он кивнул почему-то почти сердито.

— Итак, вы изъявили желание идти добровольцем в Красную Армию?

— Изъявил.

— В окопы? Под пули? Под танки? Туда, где — совсем не исключено — вас ожидает смерть? Вы все это взвесили?

— Да, взвесил.

— Мы отдаем должное вашему патристическому чувству. Но если вы при этом проявили просто юношескую горячность, поддались общему настроению, то еще не поздно взять заявление обратно: вот оно.

Женщина положила заявление Богдана на самый край стола.

— Нет, я не возьму.

— Подумайте. Хорошенько подумайте.

— Об этом я подумал раньше.

По правую руку от женщины сидел армейской выправки бритоголовый мужчина в гражданском, за ним смугловатый военный с сединой на висках, с мешками усталости под глазами. В петлицах — шпалы: комиссар. Оба они — и бритоголовый и комиссар, не вмешивались в разговор, внимательно слушали ответы Колосовского. Когда он отказался забрать заявление, женщина, словно подстегнутая его упорством, набросилась на него с новыми вопросами:

— Где отец?

— В анкете сказано.

— Он репрессирован?

— Да.

— Враг народа?

Колосовский, стиснув зубы, промолчал.

— Вас еще в школе исключили из комсомола... Это правда?

— Правда.

— За что?

— Все за то же.

— За что «за то же»?

— За отца. За то, что отказался отречься от него.

— А почему отказались? Ведь он враг народа?

— Он не враг. Он красный командир. Имел орден Красного Знамени еще за Перекоп. Был награжден Почетным революционным оружием.

— Так вы считаете, что он пострадал невинно?

— Считаю.

— Вы не верите в наше правосудие?

Богдан молчал.

Женщина переглянулась с Павлущенко, который сидел в стороне за телефоном, и холодно бросила Богдану:

— Вы свободны.

Он не тронулся с места.

— Как это понимать — свободен?

— Идите. Продолжайте учебу.

Белой полной рукой она отложила его заявление в сторону, отдельно от тех, что горкой лежали перед ней.

на столе. «Иди. Продолжай учиться. Нам ты не нужен...» Значит, крах. В ее представлении отец враг, стало быть, и ты тоже почти враг, во всяком случае, человек сомнительный, ненадежный...

Направился к двери, стараясь идти ровно, хотя ноги подкашивались и тяжесть была такая, будто опустились ему на плечи все двенадцать этажей Госпрома. Уже подходил к двери, когда за спиной у него вдруг прозвучал спокойный густой голос:

— Минутку, молодой человек.

Богдан оглянулся: это военный обращался к нему. Заявление и анкета Богдана были у него в руках.

— Колосовский!

— Я вас слушаю.

— Подойдите сюда.

Богдан снова подошел к столу.

— Дайте вашу отсрочку.

Военный, разгладив бумажку, положил ее перед собой, прочитал. Молча взял графеный карандаш с красной сердцевиной, и раз! — толстая красная полоса уверенно легла наискосок через весь бланк отсрочки и еще махнул наискосок: крест-накрест!

Колосовский почувствовал, как горячая спазма перехватывает ему горло. Неожиданная поддержка незнакомого человека, доверие комиссара и не совсем даже понятная его готовность с первого же взгляда поручиться за тебя, за всю будущую твою жизнь так поразили Богдана, что он только усилием воли удержал себя, чтобы не разрыдаться тут, перед комиссией. Бритоголовый в гражданском, видно, был с комиссаром заодно, потому что сейчас приветливо улыбался Колосовскому своими бесцветными, как бумага, губами. Казалось даже, что и эта женщина, которая только что допрашивала его ледяным тоном, теперь как-то подобрела, ее выпуклые красивые глаза ожили, влажно заблестели, и этим новым взглядом она как бы хотела сказать: это я только так, это я только проверяла тебя, твою стойкость, хотела узнать, насколько твердо твое решение и желание... В конце концов сын за отца не отвечает.

Итак, ты тоже годен! Члены комиссии поочередно пожали ему руку. Отсрочка его лежала на самом верху таких же отсрочек, твердо, навсегда перечеркнутых толстым красным карандашом.

Будут окопы. Будут атаки. Будут ночи в пожарах и дни, когда ты сотпи раз заглянешь смерти в глаза, но никогда не расскажешься в том, что в тяжелое для родины время студенческая твоя отсрочка добровольно была положена на этот райкомовский стол.

5

Таня знала, что Богдан пошел в райком. Не мог он поступить иначе. И хорошо, что пошел. Может быть, одна только Таня и знала по-настоящему, каким обостренным было у него то чувство, которое повело его сегодня в райком. Однажды он рассказывал ей полушутя о том, как еще мальчишкой писал заявление, чтобы послали его в Испанию воевать с фашистами. И вот твоя Испания, Богданчик, сегодня начинается здесь.

Таня не переставала волноваться за него. Чем мог быть для Богдана райком? Чем это могло кончиться? И хотя она понимала, что сейчас, может быть, именно там решается их будущее, может быть, райком — это конец их встречам и свиданиям, что, может, это — страшно подумать! — разлука с ним навечно, и навсегда разойдутся их дороги, и никогда не будет того светлого счастья, о котором мечтали, — все же для нее было бы величайшим горем, если бы его там забраковали, если бы он не прошел комиссию. Кто-то, а она-то знала: для него сейчас не могло быть более страшного удара, чем этот. Хорошо зная Богдана, Таня просто не представляла себе, как он будет жить, если его отстранят при отборе в райкоме.

Трагическая история с отцом — самая большая рана его жизни. Как часто Тане хотелось помочь ему, утешить его, развеять глубокую печаль, которая почти всегда стоит в его темных горячих глазах, даже когда он смеется. Печаль, эта безысходная грусть более всего и поразили ее при первой встрече с ним на улице Вольной академии, в главном корпусе университета, когда они, толпясь у списков зачисленных на истфак, разыскивали свои фамилии, а потом, разыскав, на радостях, совсем как-то случайно, пошли вместе бродить по городу.

Почти три года минуло с того далекого светлого дня. Были между ними перебранки, раздоры, мучительная ревность, и потом опять было счастье примирения, чувство жаркое, сладкое до слез.

Богдана любили на факультете. В обращении с това-

рицами он был ровный, надежный, девчата называли его совестью факультета. Когда обсуждали кандидатуры на повышенную стипендию, его выдвинули единодушно. Для этого у него были, кажется, все основания: отличник, интересуется научной работой, в университетских ученых записках в прошлом году была опубликована его первая работа об археологических находках при строительстве Днепрогэса, готовил новый реферат о скифских курганах в степях, но ни скифы, ни мамонты днепростроевские на этот раз не помогли ему, и стипендию получил кто-то другой.

Уже в ректорате, где этот вопрос обсуждался вторично, с горячей речью против Богдана выступил все тот же Спартак Павлушенко, и оказалось, что Богдан недостойн такой чести, ибо он... «пассив»!

— Не пассив, а пасынок, — едко заметил тогда Мироп Духнович, комментируя эту новость.

Случай со стипендией Богдан перепес внешне спокойно, в кругу товарищей даже съязвил по поводу своей пассивности, но в душе — от Тани ничего не могло укрыться — он пережил это тяжело: ему больно было от сознания того, что с ним поступили несправедливо, что в этом решении опять был элемент дискриминации за отца, оттепок недоверия.

И вот теперь Таня опасалась, как бы не повторилось это сейчас в райкоме. Хоть бы там сумели заглянуть в его душу и увидеть его таким, каков он есть, — готовым на подвиг, со своею советской Испанией в сердце! Этого более всего хотела, об этом думала Таня, торопясь вместе с девушками через площадь Дзержинского к бетонно-стеклянным солнечным корпусам Госпрома.

С Танией туда же спешат и Марьяна (копечно, к своему Славику!), две девушки с филологического да ее Ольга-гречанка, темнотица, казавшаяся старше своих лет, — второй год живет она с Таней в одной комнате, и только Таня знает, к кому идет сейчас гречанка... Ольга подстрижена коротко, по как-то небрежно, волосы у нее густые — черный спок, надетый на голову.

— Гляньте, вот наши! — кричит Марьяна.

Среди студенческих толп возле райкома они в самом деле увидели компанию своих, длинный и тощий, как жердина, Духнович с золотистым своим чубом, рядом размахивает кулаками Дробаха, видко, рассказывает анекдот; там же и Степура, Лагутин, четверокурсники Мороз

и Подмогильный — Богдаповы товарищи по спортивной секции. Только Богдапа нет. Где же он?

Оказывается, хлопцы тоже ждут Колосовского.

— Что-то долго держат его там. Не пошлют ли прямо в маршалы? — пошутил Дробаха, но в шутке его Таня слышалась горечь.

— Видать, Павлущенко его там допимает, — сказал Степура. — Тот как вопьется — клещ.

Наконец Богдан появился. По ослепительной улыбке, по тому, как с разбегу прыгнул он со ступенек подъезда и тряхнул чубом, отбрасывая его назад, Таня догадалась: все в порядке! У нее сразу отлегло от сердца. Хлопцы встретили Богдана хором:

— Годеп!

А он, улыбаясь, сказал, обращаясь ко всем, и к Тане в особенности:

— Вот и все!

Таня уже была возле, она взяла его под руку выше локтя и крепко-крепко сжала. Этим незаметным для других пожатием было сказано все: как она рада за него, и как гордится им, и как, если даже придется очень и очень долго ждать, она будет ждать, потому что другого такого, как он, для нее на свете нет.

— Хоть бы с отправкой не торопились, чтобы можно было спокойно собраться, — заглядывала Славику в глаза Марьяна. — Что вам с собой брать?

— Внимание! Поступил вопрос, — выкрикнул Дробаха сухим скрипучим голосом, явно подражая одному из преподавателей военной кафедры. — Что брать в лагерь? Отвечаю: жену, гардероб, диван, инаипо... Однако все это нужно для того, чтобы потом бросить при входе в лагерь, оставив при себе только зубную щетку и пару белья!

Все смеялись. Таня, кажется, была счастливее всех, она то с нежностью обнимала Богдапа, то украдкой поглаживала руку своего добровольца. Этого не могли уже не заметить другие.

— Да обними его, Таня, как следует! Не стыдись! — подзуживал Дробаха.

А Таня и не стыдилась. Разве грех, что она так любит Богдапа? Она и раньше не таила чувства к нему, а что ей скрывать сейчас, когда разлука близко и словпо дает ей право на все.

— Вы, девчата, теперь можете спать спокойно. Будем защищать вас, аки львы, — улыбался коренастый

широкоплечий Мороз, адресуясь более к Гале Ключко, высокой блондинке с филфака, к которой он давно был равнодушен и которая только сегодня, победив свою гордость, пришла встречать его.

— Такие хлопцы! — храбро заговорил невзрачный на вид Подмогильный. — Да мы как пойдем, да как ударим — пух с них полетит!..

— Папического страху нагонит па них, конечно, маэстро Духнович, известный спец по тактике и стратегии, — заметил Лагутин, и все засмеялись.

— Мироп, рассказал бы ты хлопцам, — обнимая Духновича за плечи, попросил Степура, — как тебя бабы сегодня схватили на Чернышевской.

— Было дело, — смущенно подтвердил Духнович. — За парашютиста приняли, за переодетого арийца. Страшно. Девчата, пу какой из меня ариец? Рябой. Рыжий.

— Ты не охайвай себя, — смеясь, сказала Марьяпа. — Ты ж у нас красавец... Брови воп какие, как пушок у цыпленка! Да что говорить, все вы сегодня красивые, даже Степура, — лукаво глянула она на Степуру, который густо покраснел при этом. — Только чего же мы стоим? Пошли! — вдруг сказала она и подхватила одной рукой своего Славика, а другой — Степуру.

Огромная, залитая солнцем площадь Дзержинского широко, вольно стелется перед ними. Взявшись под руки, вперемежку девушки и парни, двинулись они площадью, словно степью. Идут, как не раз ходили на демонстрациях, во время вечерних прогулок, гурьбой, со смехом и шутками. Как хорошо, когда чувствуешь: сделал именно то, что нужно было сделать, можешь теперь открыто посмотреть каждому встречному в глаза!

Солнце стоит высоко, льется густыми лучами в открытые юные лица. Над ними — ясное небо, то небо, в котором более двух десятилетий не взрывались снаряды, не свистела шрапнель, не было ничего, кроме птиц и радуг высоких. И чтобы это небо почерпело? Дымом заволоклось и сполохами пожаров? Идут и твердо чекапят шаг по брусчатке парусиновые студенческие туфли, и девчата уверены, что, пока есть на свете их чубатые хлопцы, не ступит нога чужеземца на эту площадь, широкую и светлую площадь их юности, площадь, которой они так гордятся, — ведь она самая широкая и самая большая из всех площадей Европы!

На Бассейной, у трамвайной остановки, где Духнович остается дожидаться своего номера, они встретили Администратора — так ребята кличут Михаила Штепу, который, находясь в контакте с театральными администраторами, распространяет в свободное время билеты и кое-что за это имеет.

Сейчас он идет сдавать средние века. Что бы там ни случилось, а он — зачетку в зубы, шпаргалки в карманы и чешет к профессору: хоть на тройку, лишь бы сдать.

— Опять ведь провалишься, — говорит Таня.

— Откуда такие прогнозы? — улыбается Штепа своими вывернутыми губами. — Или тебе так хочется?

— Да, и хочется.

Таня терпеть не может этого Штепу. Тихий, чистенький, прилизанный, а на темени уже лысина просвечивает. Галстучек всегда завязан идеальным узелком, на устах — никогда не исчезающая улыбка, вернее, даже не улыбка, а просто верхняя губа у него так вывернута, что кажется, он всем и всему улыбается. Он и сейчас улыбается ребятам, хотя не в состоянии понять ни их настроения, ни волнения. Штепа в райком не пошел. Утром, когда Таня забежала в комнату хлопцев, она застала там его одного. Он стоял возле гардероба перед зеркалом и спокойно поправлял на шее тоненький этот галстучек.

— Богдан почуял в себе Минина или же Пожарского, — не оставляя своего запятия, ответил на ее вопрос Штепа. — Пошел в райком сдавать свою отсрочку, а вместе с ней, возможно, и свою буйную голову.

— А ты?

— Я не комсомолец, ты же знаешь... Останусь копчать университет. Пускай мне будет хуже. Если бы мне официально сказали: Штепа, сдай отсрочку декану, получи обмотки, винтовку и иди стреляй, убивай — разве не пошел бы? Пошел бы и убивал бы. Но чтобы вот так, самому... Иметь отсрочку и вдруг отдать ее... Нет уж, извините...

С этими словами он еще раз оглядел себя в зеркало, снял кончиками пальцев с рукава какую-то ниточку и направился к двери. Встретившись теперь с ребятами, он не чувствовал перед ними ни малейшего стыда, хотя, кажется, должен был бы чувствовать.

— Так-так, волоптеры,— одаривал он своей просто-душной улыбкой то одного, то другого.— И ты тоже записался? — насмешливо обратился он к Духновичу.

— Грешен, отче: записался.

— О, хвалю, хвалю!

— А почему же тебя там не было? — сурово спрашивает Ольга.

— Да я ведь не комсомолец, — опять тянет он свое. — Переросток я или как там по-вашему?

— Скорее недоросток,— резко поправляет Марьяна.

— Ну и оса! — примирительно улыбается Штепа.

— Я что-то не припоминаю: был ли ты когда-нибудь в комсомоле? — спрашивает Подмогильный.

— Нет, он родился членом профсоюза,— шутит Дробаха.

В самом деле, почему Штепа прошел где-то мимо комсомола? Почти одного с ними возраста, разве чуть постарше, а в комсомоле почему-то так и не был, миновал как-то незаметно...

— Гляжу я на тебя, Мишель,— подступает к нему Дробаха,— и вижу — плохи твои дела: хитер ты, как Талейран, а ведь Таня правду говорит — провалишься. Хронологию вызубрил?

— Вызубрил.

— Ну так скажи, в каком году неграмотный бабдит Писарро завоевал государство инков?

Штепа неопределенно бегаёт глазами.

— Что ему ипки,— говорит Лагутин.— Говорят, ты уж на большую сцену пробрался?

— Пробовал.

— Да неужели? На каких ролях? — притворно ахают хлопцы, хотя им хорошо известен недавний оперный дебют Штепы.

— Я не гордый,— говорит Штепа, а Степура объясняет:.

— Вы видели, в «Тихом Доне» казаки с деревянными винтовками пробегают через сцену? Так и он там бежал. Лампасы, бутафорская винтовка, остервенение на лице — роль хоть куда...

— Теперь вот и вам придется бегать, только уже не с деревянными. А может, вас не взяли? — спрашивает Штепа, и вывернутые губы его продолжают улыбаться.

Колосовский сразу нахмурился:

— С чего ты взял?

— Смотрю, такие веселые идете... С чего, думаю, радуются?

— Тебе этого не понять, дитятко,— промолвил Дробаха, и его скуластое, каменно-тяжелое лицо стало серьезным.

— Почему не понять?

— А потому,— Дробаха слегка дернул Штепу за язычок галстука,— что ты еси болван или дубина...

— «Стультус» по-латыни,— добавил Духнович.— Иди уж на экзамен, попытай счастья.

— Да я и пойду. Девчата, вы тоже?

— Мы дорогу знаем,— холодно бросила ему Таня.

Хлопцы еще по пути из райкома решили, что не пойдут сдавать — вольные теперь птицы.

— Немного неудобно, правда, перед Дедом,— говорит Богдан.— Да уж пусть извинит.

— Сдадим после войны,— беззаботно бросает Дробаха.— Под звуки литавр за все сразу придем экзаменоваться.

— Не забудем к тому времени? — спрашивает Лагутин, как бы обращаясь к самому себе.

— Ты думаешь, это надолго? — удивляется Мороз. Колосовский смотрит на него иронически:

— А ты думаешь, на три дня?

— Пускай не в три дня, но за два-три месяца, я уверен, все будет завершено. Гитлер заскулит.

— Наше время — не время тридцатилетних войн,— поддерживает его Подмогильный.— При современной технике, при нашей силе дай нам только размахнуться...

7

В общежитии ребята захлопотали у своих чемоданов. Никто из них не знал, когда прикажут отправляться: через неделю, через две, а может, через час. Всем добровольцам комендант общежития предложил сдавать вещи на хранение в кладовую, как они это делали каждое лето, разъезжаясь на каникулы.

Богдан, достав из-под кровати чемодан, склонился над ним, вздохмаченный, задумчивый: перебирает, укладывает студенческое свое добро. Несколько рубашек, вконец застиранных в студенческой китайской прачечной, пара недавно приобретенных футболок, а больше всего — книги,

фотографии, записи. Вот они группой — хлопцы, девчата — сфотографированы среди зелени у надгробного памятника отцу украинского театра Кропивницкому. Вот маевка в лесопарке. Таня, смеясь, качается на дереве. Фотографии он, наверное, заберет с собой, а куда денешь эти толстые тетради, заметки, черновики его будущей дипломной работы? Древний Боспор, Ольвия, степные скифы и половцы, запорожская Хортица, рядом с которой подпоясаны Днепрогэс, — вот мир, которым он жил, и, кажется, Богдан никогда не устал бы раскапывать, изучать свои солнечные стены от седой древности до грозных лет революции, когда в этих степях летала на тачанке буйная отцова молодость...

Рядом, у кровати, перебирает какие-то записи Степура, а за ним, в углу, копается в самодельном добротном чемодане Мороз — они тоже собираются, притихли, погрузились каждый в свои мысли.

— Послушайте-ка, — сказал вдруг Мороз, достав из чемодана какую-то тетрадь, — что писал еще на первом курсе один из ваших современников. «...Не хочу быть мечпанином, не хочу довольствоваться малым в жизни... Завидую поколению Корчагиных, которое начертало как девиз своей юности: «Райком закрыт, все ушли на фронт». Завидую тем, кто сквозь полярные льды пробивается к полюсу, стратопахтам нашим завидую... Это жизни!.. Что может быть достойнее для человека? И я буду счастлив, если именно на такую жизнь позовет меня родина...»

— Это из твоего дневника? — спросил Степура.

Мороз промолчал, смущенно сунул тетрадь в карман.

— Ясно же, что не Плиний Старший, видно по стилю, — заметил Колосовский. — А в общем-то, он прав. Отчень даже прав.

В дверь постучались. По стуку, легкому и озорному, Богдан узнал: Таня! В самом деле, в дверях появились ее загорелые ноги, юбочка белая мелькнула. Танюша вообще умеет не ходить, а вроде бы порхать — летает на своей юбочке, как на парашютике, легкая, будто невесомая, точно и нет для нее силы земного притяжения... Такая она сейчас, такой была и три года назад, когда они впервые встретились в главном университетском корпусе.

— Сдала! — Таня дернула Богдана за чуб.

Он поднял от чемодана повеселевшее лицо, увидел Таню улыбку, радостную, приветливую.

— Сколько?

Показала на пальцах: пять!

— Ей просто везет! — сказал Богдан ребятам. — Никогда не готовится серьезно, пробежит, как коза, по эпохам, по датам, а, глядишь, сдает на пятерки... Не иначе как профессор ей симпатизирует.

— Он не только мне, он и тебе. — Таня снова взъерошила его чуб. — Где это, спрашивает, ваш верный рыцарь? Почему не пришел сдавать?

— А ты объяснила?

— Ну конечно. Только не резон, говорит, экзамен остается экзаменом. Он просил передать, чтобы ты пришел непременно. Так что иди!

Богдан переглянулся с ребятами: вот, дескать, положение.

— Ну что ж, двигай, — посоветовал Степура.

Богдану и самому стало странно: почему, собственно, не пошел? Сидит он сейчас в аудитории, седой, краснощекий их Николай Ювенальевич, сопит перед разложенными на столе экзаменационными билетами, а в углу стоит его палка с серебряным набалдашником в форме маленькой скифской бабы. Каждый раз, когда кто-нибудь, отвечая, прибегает к шпаргалке и пытается как-то выпутаться, обмануть профессора, Николай Ювенальевич в молчаливом возмущении начинает сопеть, лицо его багровеет, вот-вот, кажется, ухватит он эту суковатую палку да и треснет студента за нерадивость. Богдан был исполнен к старому профессору искреннего уважения и благодарности и, конечно, меньше всего хотел бы обидеть его на прощание. Разпосторопный ученый, друг и соратник известного украинского историка Яворницкого, профессор своими руками перекопал весь юг, изучил самые большие скифские курганы, теперь исследовал Ольвию и, кажется, все искал среди студентов достойного себе помощника, а может быть, и преемника. Богдан замечал, что профессор присматривается к нему, возлагает на него особые надежды. И что же? Он, Богдан, отблагодарил его тем, что вот так махнул рукой, не пошел на этот свой последний студенческий экзамен...

— Пойду, — решительно тряхнув чубом, поднялся Богдан. — Только застану ли?

— Застанешь, он еще принимает, — подбодрила Таня. — Еще трое было после меня...

Через полчаса Богдан уже стоял в аудитории перед профессором. Не было никого, он зашел последним,

оставив Тапю в коридоре. Поздоровавшись, приблизился, как обычно, к столу, выбрал один из разложенных билетов, на которые кивнул ему профессор. Нидерланды, Марко Поло, иквизития — все было хорошо знакомо.

Пока Богдан, присев у стола, готовился, Николай Ювенальевич поднялся, взял палку и, слегка постукивая ею, пошел к открытому окну. Косые лучи солнца просвечивали сквозь густые кроны деревьев, и они были словно залиты зеленым светом. Внизу, где-то там на улице, слышались команды, четкий топот ног, — видно, проходили строем мобилизованные.

— Я готов, — сказал Богдан.

Профессор обернулся и посмотрел на Богдана так, будто не сразу узнал его или вдруг увидел в нем что-то не совсем понятное для себя, не до конца разгаданное, что хотел осмыслить, расшифровать, уяснить.

— Что там у вас? — наконец нарушил он молчание.

Богдан назвал вопросы и хотел было начать, но профессор жестом руки печально остановил его и неожиданно заговорил совсем о другом:

— Какого числа наполеоновские войска вторглись в нашу страну? Двадцать четвертого июня. Вечером двадцать второго июня французы переправились через Неман. В тот же день — ровно через сто двадцать девять лет — эти перешли Буг. Такое совпадение, конечно, случайно, но наводит на некоторые размышления... Конец их будет такой же! — Он жестом подождал Богдана к окну. — Посмотрите!

Сквозь ветвистые, освещенные предзакатным солнцем деревья видно было, как внизу по асфальту все идут и идут колонны мобилизованных. Еще в гражданском, разномастные, в кепках и с непокрытыми головами, с сумками на спине, с чемоданами в руках...

— Войны были одной из причин гибели многих цивилизаций, — с грустью заговорил профессор. — Достаточно посмотреть во время раскопок на мертвые, сожженные ордами наши городища, чтобы убедиться, чем были войны для народов. Человечество нашего, двадцатого, столетия могло бы избежать этой трагедии, так, по крайней мере, до сих пор казалось нам, чужакам моего поколения. Но, очевидно, есть силы, которые, если их не остановить, приведут человечество к самоуничтожению. Из года в год мы устрашаем студесческое воображение картинами средне-

вековой инквизиции, но ведь это же была детская забава в сравнении с размахом дьявольских действий инквизиторов современных! Как они озверели! Костры книг полыхают на всю Европу. Нет Сорбонны. Нет Карлова университета. В центре Европы, где мы привыкли когда-то видеть источники света, сегодня — концлагеря, фашистские казармы, омерзительный смрад расизма...

Профессор помолчал, следя за колонной, которой не видно было конца.

— У меня тоже есть сын. Служит в парашютно-десантных войсках. Он у меня единственный, и, если с ним что-нибудь случится, сердце мое, наверное, не выдержит, но, поверьте, больше, чем жизнь моего сына, — я уже не говорю о своей собственной, — дорого мне сейчас то, что можно было бы назвать великим последним человеческого духа, доставшегося нам в виде культуры эллинов или так еще мало изученной культуры славянства...

Богдан почувствовал на плече его руку.

— Смотрите, сколько их идет. Это завтрашние солдаты, простые, обыкновенные люди, люди от станка и от плуга, большинство о фресках Софии Киевской, видимо, и не слышали, Рафаэля не знают, но это все друзья Рафаэля, друзья Пушкина и Гоголя, единственные теперь их защитники. Только вы, только такие, как вы, как мой сын, такие, как те, кто марширует внизу по улице, еще вселяют в нас надежду. Вам может показаться странным, что я сейчас заговорил с вами об этом. Но я знаю, что вы записались добровольцами, перед вами дорога тяжелых испытаний, и хочется, чтобы, шагая по ней, вы помнили о самом важном: в жестокий наш век, среди крови и дикарства, великие гуманистические традиции не должны быть утрачены! Они должны быть сохранены, и сохраните их вы!

Разволновавшись, профессор снял с носа свои старомодные очки и начал протирать их уголком борта белого парусинового пиджака. Протер, надел, кашлянул сердито:

— Давайте ваш матрикул. — И тут же, у окна, старательно вывел оценку: «отлично».

— А Ольвию мы еще раскопаем, — напомнил он, когда Богдан, пожав ему руку, выходил. — Желаю вам счастья и прошу не забывать свою альяма матер! Думаю, ничему плохому она вас не научила...

Вечер.

В студенческом общежитии проводы: объявлено, что завтра поутру хлопцам в дорогу. Со второго этажа то и дело доносятся крики «горько» — там, в одной из комнат, студенческая свадьба. Марьяна и Лагутин женятся.

Вчера о свадьбе не было и речи; вероятно, и сами молодожены еще не думали о ней, а когда стало известно, что позавтра Лагутину идти, Марьяна ошеломила своих факультетских друзей неожиданным приглашением:

— Приходите, женимся!

Зубровка стоит на столе, лежат горки печенья, черный хлеб и свежая зелень, привезенная Марьяниной матерью из дому, с Тракторного. Мать и отец Марьяны сидят за столом среди студентов, мать то и дело вытирает платком глаза, а отец строгим взглядом осматривает то светловолосого худощавого жениха, то его друзей — они с непривычки быстро захмелели, побледнели и уже покачиваются, ословело встряхивают чубатыми головами, которые едва держатся на худых студенческих шеях.

— Горько! — кричат молодым. — Горько!

В самом деле, горькая какая-то, безрадостная эта свадьба. Все делалось торопливо, на скорую руку. Мать давно знала, что у Марьяны есть жених — не раз бывал он у них дома, этот гибкий, как стебелек, хлопец с голубыми, упрямыми и малость пасмешливыми глазами. Ему двадцать лет. Он молод, как барвипок, от него так и веет свежестью, молодостью, чистотой. Славный зять! Только надолго ли? Хлопцы эти, сидящие за столом, молодые такие, здоровые, уйдут завтра, оставят свои книги и науку, а все ли вернутся, доведется ли им еще когда-нибудь собраться вместе? Не о такой свадьбе мечталось матери. Думала, справят ее, когда дети закопчат учебу; сыграют всем на радость, пригласив родных и заводских знакомых. И сваты, мать и отец Славики, приехали бы — где-то они учительствуют на Сумщине. Не в этой душной комнате, где окна замаскированы одеялами, а дома, на открытом воздухе, в саду, стояли бы, ломаясь от яств, длинные столы, а электрические лампочки висели бы гирляндами прямо среди листвы деревьев — и светло было бы, илюдно, и весело, и музыка гремела бы до утра, весь заводской поселок знал бы, что это Северин Кравец, знатный человек завода, справляет свадьбу дочери.

— Горько! Горько!

Славик вроде бы немного стыдится своей свадьбы и, кажется, даже несколько иронически относится к ней, старается отделаться шутками, когда требуют «горько», — чтобы они с Марьяной при всех целовались! — но от матери ничего не укроешь, она видит, как сквозь юношескую эту стыдливость и насмешливость время от времени так и проглянет, так и сверкнет в голубых его глазах глубокая нежность и грусть, когда Славик смотрит на свою невесту.

Марьяна весь вечер нервно весела, свадебное возбуждение как бы захватило ее всю, целиком, но минутами веселость вдруг исчезает, глаза туманятся, и тогда она смотрит на своего суженого пристально и напряженно, будто запоминает. В такие минуты для нее не существует гостей — она видит только его одного. Светлое, с тонкими чертами лицо Славика, прямой нос, и по-детски припухшие, только что целованные губы, и туманная синева глаз — все это ее, ее! Смотрела в голубые туманы его глаз, забыв обо всем на свете, и то загоралась жарким румянцем, то вдруг, будто испуганная чем-то, — может, предчувствием каким? — бледнела, и тогда ее лицо с веспушками становилось вдруг жалобным и измученным... Он, только он существовал тут для нее, и на него смотрела, на его добрую, открытую улыбку, а других едва ли и замечала — замечала, как-то не замечая. Когда же взгляд ее невзначай падал на его рюкзак походный, она, казалось, готова была закричать и, забыв о присутствующих, льнула к Славiku.

Она сама пастояла на этой свадьбе, узнав, что завтра он уходит. Раньше и ей свадьба представлялась не такой, какой она была в эту прощальную, суровую ночь, когда весь город погружен в темноту и все так возбуждены, встревожены, когда посты стоят на крышах и плачут женщины, отправляя на войну своих самых дорогих. Днем бы, при самом солнце, играть эту свадьбу! Но не солнце озаряет их в эти неповторимые минуты, когда они на всю жизнь соединяют свои судьбы, не песня буйная, разудалая, радостная, а печаль, тревога, разлука, что уже прочно поселилась здесь. В своей руке Марьяна ощущает горячую руку Славика, весь вечер не выпускает ее.

Рядом со Славиком сидит Марьянин отец — круглолобий, коренастый усач, с густыми, еще совсем черными бровями. Он был против этой свадьбы, к Славiku от-

носился все время с нескрываемой настороженностью и, только изрядно подвыпив, обратился наконец к зятю:

— Скажу тебе, Ярослав, не хотел я этой свадьбы вашей скороспелой, не так это делается у нас, по что же,— он придвинулся ближе,— такие дни переживаем. Все довоенное идет вверх тормашками. Вот и мы на заводском дворе щели роём, цеха на новую продукцию переводим... Если бы меня завод отпустил, я и сам бы пошел туда, куда вы, несмотря на мои годы. Наступило, видно, время огнем проверить, чего стоим мы и наши дела. В добровольцы вы записались — что же... За это хвалю. Но это еще полдела: главное, чтобы там штаны не замарали. Знаешь, куда идете?

— Приблизительно,— улыбнулся Славик.

— В кузнечный цех идете. У нас на заводе в кузнечный отбирают людей особой породы, хлипкие там долго не удержатся. Вот так и в армии. Иди честно в пехоту — это как раз он и есть, ваш кузнечный цех...

Славик слушал старика и, кажется, не чувствовал, как Марьяна горячо гладит под столом его руку.

— Если уж он решил, за него не беспокойтесь, тату,— уверенно, с гордостью сказала она.

Хлопцы завели патефон, но он хрипел, его неприятно было слушать. Тогда кто-то подал мысль:

— Лучше попросим Ольгу, пускай она споет.

Ольгу-гречанку не пришлось долго уговаривать. Притихли, и из угла, где она сидела, полилась мелодия старинной малознакомой песни, которую Ольга принесла в университет откуда-то из своих приазовских украинско-греческих поселений: «Долина глибока, калина висока, аж додолу гілля гнеться».

Сейчас, когда она пела, некрасивое лицо ее неожиданно преобразилось, обрело какую-то строгую привлекательность, глаза, разгоревшись, смотрели через свадебный стол на занавешенное одеялами окно, словно бы куда-то далеко-далеко посылала она грустную свою песню.

А внизу, на улице, стоит на посту Степура, добровольно подменив Мороза, который поехал к родственникам в Основу. Стоит, отстаивает свой последний студенческий пост и слышит, как там, наверху, время от времени кричат «горько», слышит и песню гречанки, она льется оттуда, песня, которая в эту ночь забирает от него его возлюбленную и навеки отдает другому.

«Если бы не Лагутин, если бы его не было в университете, разве она не могла полюбить меня? — думалось Степуре. — Неужели нет во мне чего-то такого, что могло бы понравиться девушке, привлечь ее? Неужели все мои стихи так ничего ей и не сказали?»

Степура был поэт. Писал длинные, темного сентиментальные стихи о несчастной любви, о весенних соловьиных ночах, о месяце и зорях над своей Ворсклой, чистой, как слеза, речушкой на южной Полтавщине, откуда он родом. И хотя стихи его еще нигде, кроме факультетской стенгазеты, не печатались, товарищи считали Степуру настоящим поэтом. Но всякий раз, когда он мысленно сравнивал себя с Лагутиным, это сравнение было не в пользу Степуры. Тот — остроумный, красивый, блестяще учится, а Степура — тугодум, с грубым, широким лицом и утиным носом. В минуты отчаяния Степура думал, что должен казаться ей просто неандертальцем пещерным с доисторической тяжелой скулой, и тогда ненавидел свою внешность и неповоротливость. Была в нем сила, но и в силе этой проглядывало нечто деревенское, тяжелое, неотесанное, и когда на занятиях в спортивном зале по очереди подходили к турнику, то и здесь преимущество было на стороне Лагутина. Крутя на турнике «солнце» не хуже Колосовского, Лагутин легко и красиво взлетал в воздух, и Марьяна смотрела на него с нескрываемой влюбленностью, а когда на тот же турник забирался он, Степура, то под ним металлическая перекладина прогибалась, все сооружение скрипело и содрогалось, и девушки с визгом отскакивали в сторону.

Однажды Степура случайно услышал, как Лагутин, стоя с ребятами возле свежего номера стенгазеты и читая вслух его стихи, насмешливо комментировал их, удивляясь, откуда, мол, у такого увальня столько сентиментальности, откуда у него все эти «очи-ночи». И хотя говорил он легко, беззлобно, весело, стоявшему неподалеку Степуре хотелось в этот миг задушить его. В душе Степуры после того случая укоренилась неистребимая, темная ревность к Лагутину, та самая, что бродила в крови его дедов и прадедов, дубинами взметывалась по сельским улицам, валила плетни, носила ворота на плечах.

С той поры они почти не разговаривали. Глухая неприязнь легла между ними: Лагутина она больше удивляла, а у Степуры временами перерастала в ненависть, особенно когда он видел, как Марьяна бежит за Лагутиным

или терпеливо ждет его где-нибудь возле библиотеки, по-девичьи покорная, а Ярослав, подходя к ней, как бы пехотя берет ее под руку, берет как нечто от природы принадлежащее ему...

Пыткой для Степуры обернулась эта свадьба. Они и его приглашали. Этого только не хватало ко всем его терзаниям... Сменившись с поста, он, точно вор, прокрадывается по коридору к своей комнате, мимо настежь открытой свадебной двери. На какое-то мгновение увидел за столом Марьяну, возбужденную, яркую. Она что-то говорила Славику, смеялась, заглядывая ему в глаза, и рука ее мягко лежала у него на плече...

Степура прошмыгнул мимо двери, забрался в красный уголок, опустевший, темный сейчас, сел возле кадки с фикусом и жадно закурил. Слышал отдаленный свадебный гомон, и перед глазами его стояла она во всей своей яркости — белозубая, краспощекая... Если бы Степура был скульптором! Если бы он был живописцем!.. Если бы имел право, счастливое право любимого, как бешено целовал бы он ее глаза-звезды, с их жгучим, пьянящим светом... Но прочь эти мысли! Ты — сбоку, ты — лишний...

9

— Историки, стройся!

Духнович вырывается из материнских объятий и бежит в строй. Мать какое-то мгновение еще остается с распростертыми руками, ощущая в них пустоту. А сын ее уже там, где действуют другие, железные законы, где звучат другие, железные слова:

— Шагом... ари!

Как их много! Все студепты и студепты. Идут историки, филологи, географы, биологи, химики... Идут, четко печатавая шаг по мостовой, и ее Мирон вот-вот затеряется между ними со своим рюкзаком. Вот он оглянулся, помахал ей рукой и даже в эту тяжелую прощальную минуту не обошелся без шутки, на ходу откозырял матери, бросил, улыбаясь:

— До свиданья, мама, не горюй!

И эти слова вдруг подхватила вся колонна, и они стали песней. «До свиданья, мама, не горюй, на прощанье сына поцелуй!» — а ей, матери, зябко оттого, что эти случайно, как бы в шутку брошенные ее сыном слова уже

стали песней, звучат над колошной могучим прощальным криком юных сердец. Сама юность идет, красивые какие люди все идут... Идут и поют бодрыми голосами, и видны улыбки на юношеских лицах, и блеск солнца в глазах. Прощальной песней плещет колонна в лицо матери, и сердце разрывается от этого песенного разлива, который как бы выхлестнулся из университельских коридоров, с недавних их шумных комсомольских собраний.

Становится тихой, безлюдной улица — улица Вольной академии, которая видела студенческие баррикады 1905 года и бурлила митингами 1917-го. Бронзовый Каразин, основатель университета, стоит одиноко против белого опустевшего университетского корпуса. Студенческая колонна вышла на центральную магистраль, вытягивается в направлении к заводам.

Люди приостанавливаются, смотрят вслед. Кто идет? Кого провожают? Студбат идет. Студенческий батальон добровольцев проходит по городу. Студбат. Странное это слово отпыне навсегда войдет в жизнь матери, в ее бессонные ночи, тревоги. Торопливо семенит она по тротуару в толпе провожающих, едва поспевая за колонной, мелькающей рюкзаками, студенческими чубами и щедро разбрасывающей налево и направо шутки и подбадривающие прощальные улыбки. Пока что на юношеских лицах улыбки и шутки на устах, а материнскому взору рисуются иные, тревожные картины...

Она до последней минуты не знала, что сын ее идет, что он был в райкоме. Узнала об этом лишь тогда, когда нужно было готовить рюкзак. Как врач, она теперь тоже в армии, с трудом отпросилась сегодня у начальства проводить сына, а отец и вовсе не смог: военный врач, он сейчас дни и ночи в военкомате, на комиссиях, на медосмотрах, где перед ним бесконечным потоком проходят мобилизованные, которые отправляются туда же, куда идет сейчас их сын.

Соседка Духновичей по квартире, не скрывавшая того, что хотела бы видеть Мирона своим зятем, прибежала на кухню испуганная, растерянная, казалось, еще больше, чем мать.

— Куда же вы его пускаете?

— А что делать?

— Оба врачи, разве же вы не можете достать ему справку?

— Какую справку?

— О состоянии здоровья...

Мирон, вошедший в кухню как раз во время их разговора, по привычке все перевел в шутку:

— Плохого вы мнения о моем здоровье, Семеновна, — сказал он. — Да вы только посмотрите, какие у меня бицепсы! А кроме того, духовная мощь... Обижаете своими разговорами.

Шутки шутками, но кому как не матери лучше знать, какое у него в действительности здоровье, как легко цепляются к нему всякие болезни, а кто же их там отгонит от него — ведь матери не будет рядом в окопах...

Возле моста она отстаёт: студбат ускоряет шаг, двигаясь по залитой солнцем улице заводского района. Мимо ХПЗ, «Серпа и молота», ХЭМЗа, Тракторного, куда-то вдаль, на Чугуевский тракт, простирается их путь...

Духнович, оглянувшись в последний раз, ещё видит на мосту среди других силуэт матери, и все, что ему хотелось бы сказать ей в этот миг, только бурлит в нем, душист, обжигает. Никогда не думал, что так тяжело будет расставаться, отрывать ее руки от себя. Сегодня впервые он увидел ее в военной форме. Гимнастерка повестькая, шелестит, и петлицы со знаками различия, и морщинистая белая мамина шея, и седина из-под пилотки, такой неуместной на пей... Весь город будто окутан сейчас ее печалью, ее любовью. Город баррикад, бастион заводов, крепость силы индустриальной, город, который, как высокое творение народа, поднялся среди живописных просторов Слобожанщины... Каменные, разогретые солнцем громады, от которых пышет зноем, — какими они вдруг стали для него дорогими, как все его сейчас волнует! Смотрит на степи, и хочется крикнуть им: «Я люблю вас, стены!» Смотрит на камень: «Я люблю тебя, камень!» Не те ли это камни, что зовутся священными. Пока буду жить, не угаснет к тебе любовь, город моего детства и юности!

В окопах, в солдатских скитаниях, в самые темные ночи твоей жизни, когда душе твоей, теряющей силы, нужна будет поддержка, на помощь ей придет в воспоминаниях этот залитый солнцем город, где ты оставляешь своих родных, площади и библиотеки, оставляешь эту улочку Вольпой академии, от одного названия которой тебя охватывает трепетное волнение: там твой университет, твоя альма матер!

Покидают родной город, и неизвестно, кто из них вернется, а для кого не будет оттуда возврата. Но Духнович

вовсе не испытывает страха. Ему почти радостно ощущать в себе страстное желание самопожертвования, желание посвятить себя всему тому, что он оставляет, прикрыть собой этот город, спасти, сберечь. Идут и идут. Уже взмокли спины под рюкзаками. Есть прохлада в тени деревьев, но она теперь не для вас. Прощайте, деревья! Прощайте, заводы! Прощайте, железо и серые камни родные...

Вышли за город, и тут оказалось, что не все провожающие отстали, что вслед за колонной торопятся стайкой девчата-студентки, не ведают устали молодые ноги. Немного их, девчат, — остались самые упрямые. Вот Марьяна Кравец, вон Ольга-гречанка (никому из ребят не известно, кого она провожает), вон Лида Черняева, блондинка с химфака. Ну и, конечно же, Таня Криворучко, которая со своей широкой улыбкой, казавшейся порою даже легкомысленной, не колеблясь, пойдет за Богданом на край света. Богдан идет правофланговым впереди колонны — там возвышается стройная его фигура, рядом с ним Степура, неподалеку Духнович и другие, самые высокие ростом.

Девчата далеко от них, им видны лишь рюкзаки и головы хлопцев, — их загоревшие шеи блестят потом. Иногда ребята оглядываются, кричат, чтобы возвращались, ведь и сами они не знают, куда их ведут и сколько еще идти. А девчата не слушаются. Сняв босоножки, несут их в руках и все идут, идут за колонной, будто не до Чугуева, а и вправду на край света.

— Возвращайтесь, хватит! — кричат им командиры.

Только после этого они останавливаются, и хлопцы, оглянувшись, видят девичью стайку у дороги. Застыли на месте — маленькие, опечаленные. Через некоторое время их затягивает текучее степное марево, и тогда они кажутся хлопцам уже вечными, песенными, теми, что когда-то провожали своих милых за Дунай, в поход.

Есть в Днепропетровске, немного выше острова Комсомольского, залив, в котором стоят челны; кривые городские улочки спускаются к самой воде. Лодками тут — хоть к крыльцу приставай. Летом вода плещется о

фундаменты, а на стенах домиков, подобно ватерлиниям на судах, — полосатые следы весенних паводков.

Жизнь людей тут как на ладони. На весь Днепр виднеется белье, развешанное на веревках, и кучи мусора, который валят с берега, и чья-то перекошенная, покрытая ржавой жестью голубятня...

Этакая надднепровская Венеция. Трудовая Венеция, с плеском воды под окнами, с зелеными шатрами акаций, которые в солнечный день, как в зеркале, отражаются в тихой синеве Днепра. Кроме акаций, тут еще несколько тополей растет, дикий виноград по верандам вьется, а в одном дворе, где-то среди ржавых жестяных заборчиков и старых разошедшихся просмоленных лодчонок, рдеют мальвы! Кто-то посадил. И тополя, и мальвы, и жесть на голубятне, и перевернутый вверх дном дряхленький просмоленный челн — все это слитая в единое гармоническое целое картина жизни, а в центре ее сидит девочка с кошечками, круглолицая, не красивая и не дурнушка. Это Таия Криворучко.

Ей восемь или десять лет.

Покосившаяся лестница ведет к самой воде. Прямо под окнами на Днепре — стойбище лодок, которые охраняет дедушка этой маленькой Тани, потомок запорожца. Длинная белая борода, в плечах сила кряжистая — восемь пудов якорной цепи поднимает. Вечером стоит на берегу, высокий, задумчивый, седой, как Гомер. Долго думает о чем-то, потом скажет вдруг:

— Цари были неграмотны.

И снова молчит. На все у него свой взгляд, обо всем свое суждение, и Тание правится, что он никого никогда не боится, а о Днепре и порогах днепровских говорит как о своем подворье.

Почти каждая лодка, что стоит в заливе, имеет имя, и уже по нему можно узнать, чья она. Большой голубой «Арго» — это профессора из горного, который жепитси третий раз; чуть дальше «Ермак» — старого прокатчика с завода, за ним заводской парусник «Скиф», а возле самого причала скромная двухвесельная отцова «Мечта».

Танин отец работает прокатчиком, а в свободное время — завзятый рыболов, целыми почками на Самаре, возле рыбацких костров. Первые впечатления Таниного детства — это утренние гудки, которые зовут отца заступать на смену, и высокие заводские дымы на левом берегу, а еще неотделимы от ее детства две бетонные радуги

железнодорожного моста через Днепр, белеющие за скалами Комсомольского острова, и сам этот остров, поблескивающий камнями посредине Днепра, весь как бы подернутый дымкой дедушкиных легенд. Тот остров, где княгиня Ольга спасалась со своим флотом от бурь, где Святослав отдыхал, идя в поход на Византию. А холмы вдали за Днепром — это те, откуда казаки, спускаясь с верховьев, уже искали глазами Сечь.

Красив Днепр в верховьях, чудесен возле Киева, но не меньше в нем очарования и здесь, где вбирает он в себя Самару, где широко и вольно раскинулся среди степей, что разлеглись далеко на юг и на восток. Нигде не найти такого раздолья и простора! Днепр как небо, он будто решил собрать возле острова всю свою силу, чтобы раздвинуть камни, разрушить скалы и еще стремительнее ринуться дальше, через пороги вниз. Оттуда, с татарщины, на эти холмы за Самарой выскакивали когда-то на диких своих конях ордынцы-крымчаки с натянутыми луками, там где-то рождалась дума «О трех братьях Азовских...».

Вечером, когда из той татарщины, из сипей мглы засамарской всходит луна, Таня, усевшись у дедушкиных ног, слушает легенды, которым нет конца-краю. С древних времен селились здесь на зимовье запорожцы да лощманы днепровские, мужественные, отважные люди, которые знали все капризы порогов и, рискуя жизнью, проводили вниз и княжеские струги, и купеческие караваны, и батрацкие чайки.

Кто знает, не дедушкины ли легенды, воспоминания и рассказы о давних временах заронили в Танину душу первую любовь к родному краю, с детских лет пробудили страстное желание поскорее выучиться, стать исследователем этих островов и степных курганов, которые всю жизнь раскапывал дедушкин знакомый, академик Яворницкий, сделаться историком родного Днепра с могучими старыми и молодыми заводами на его берегах?

Когда перед нею, дочерью рабочего, открылась университетская дверь и она стала студенткой, казалось, что достигнуто все самое заветное. Университет был ее мечтой, но он превзошел мечту: он дал ей любовь. До встречи с Богданом при всем бурном своем воображении Таня не могла представить, сколько чар таит в себе это удивительное, волнующее человеческое чувство.

И теперь, когда чувство с такой полнотой выросло в ней, когда и сама наука с ее скифскими курганами отступила перед ним, девичьему сердцу суждено было до краев наполниться горечью разлуки, жизнь теперь превратится в постоянную, неутихающую тревогу за него, за самого дорогого, — ведь война может в любой день, в любое мгновение навсегда забрать его у нее.

Скрылась в балке колонна студбата, потом еще раз появилась на той стороне, на пригорке, и, снова скрывшись, больше уже не появлялась. Ушел Богдан, остался город, пустой без него, пустые общежития, куда не хотелось и возвращаться.

— Пошли ко мне, — почувствовав ее состояние, предложила Марьяна, и Таня тут же согласилась.

Как бы сразу увядшая, без улыбки, маленькая, измученная — такая теперь брела она рядом с Марьяпой.

Марьянины родители живут в районе заводов, в поселке Тракторного. Он встретил их садами, по-июньски рдеющими вишнями. Таня и раньше бывала здесь. И хотя этот рабочий поселок был вовсе не похож на тот, где выросла она, — тут все размерено, распланировано, домики новые, и кинотеатр в стиле модерн, — однако сама атмосфера здесь напоминала Тане родной дом. Под вечер заводили патефоны, было полно музыки, по садам била из шлангов вода на зелень, на цветы, за столиками под деревьями клацали костяшки домино, будто по всему поселку проходила конница. Сейчас ничего этого не было. Была какая-то пастороженность, напряженность.

У калитки встретили Марьянину мать. Неприятливая, сердитая, она несла куда-то подмышкой радиоприемник с обрывками антенны и заземления, свисавшими до самой земли.

— Куда это вы с приемником, мама? — обратилась к ней Марьяна.

— Сдавать несу.

Марьяна удивилась:

— Вот еще! Зачем?

— А велели... Клава вон приехала. Такое рассказывает...

Клава — это старшая замужняя Марьянина сестра. Увидели ее в саду возле столика: она кормила ребенка, прижав его к груди.

— Клава! — бросилась к ней Марьяна. — А мы столько раз говорили о тебе... Ты прямо оттуда?

Оттуда — это значило из-под самой границы, там служил Клавин муж — лейтенант, и она жила вместе с ним. Очень еще молодая, сейчас она выглядит измученной, сидит сгорбившись, и по плечу ее расползается тяжелый клубок кос, таких же черных, густых, как у Марьяны. Глаза у Клавы с восточным разрезом, миндалевидные; они полны печали, неостывшего горя, — видать, насмотрелась...

— Рассказывай, как там? Ваня живой?

— Не знаю, — Клава тяжело вздохнула, — ничего не знаю. Когда началось, забежал на минуту: «Клава, бери малыша и на вокзал». А вокзал уже пылает, взрываются цистерны, горит хлеб в вагонах, тот самый хлеб, который отправляли им же, в Германию... В чем была выскочила, ничего не успела захватить с собой, только с ним, вот с этим. — Она плотнее прижала ребенка к груди.

— Не страшно, будешь жить у нас, я ведь теперь тоже солдатка... Вместе будем, пока все это не кончится. Я уверена, что это скоро кончится.

— Ой, вряд ли. Там столько танков они пустили, в небе от самолетов черпо... Чем только наши до сих пор держатся — ведь совсем врасплах нас застали. Перед нападением фашистов артиллерию как раз на ремонт отвели. Надо ж было додуматься!..

Она стала рассказывать, как бомбили их по дороге, как горели станции, на одной она едва не погибла, а подругу ее, тоже жену пограничника, с девочкой лет четырех при бомбежке убило прямо у нее на глазах. В пожарах, в ожесточенной битве вставала перед ними страпа из Клавиных рассказов.

Вскоре возвратился с работы отец. Сдержанно поздоровался, вроде бы и не очень удивленный появлением старшей дочери, как бы загодя знал, что встретит ее здесь. Взяв малыша из рук Клавы, внимательно рассматривал его:

— Ну, пограничник? Вытряхнули тебя из гнезда?

И, скупно пощекотав внука оттопыренными усами, отдал его Клаве.

— А где же мать? ..

— Приемник сдавать понесла, — сказала Марьяна, расставлявшая посуду на столе.

— Что ты мелешь... Какой приемник?

— Наш, конечно.

Отец засопел, подошел к умывальнику под деревом и, сердито позвякивая клапаном, стал мыть руки. Таня, глядя на эти руки, подумала, что они такие же огромные и огрубевшие в работе, как у ее отца, и еще думала, что этими руками старый рабочий на баррикадах когда-то завоевывал эту жизнь, которую сегодня пошли защищать Богдан и все остальные ребята-добровольцы.

Однако надо было помочь матери с обедом. Тут же, в саду, за самодельным столиком, над которым нависли вишневые ветки, девочки принялись чистить картошку.

Клава рассказывала отцу о своих мытарствах, а он сидел молчаливый, угрюмый, смотрел вдоль улицы, в конце которой открывались поля, голубела колхозная рожь. Может быть, все это напомнило старому Кравцу, как лет десять назад вот здесь, где сейчас поселок тракторостроителей, и дальше на север, где раскинулся цехами Тракторный, была такая же рожь и открытая степь, и когда строили завод, то первый его директор, старый чекист, по строительной площадке разъезжал верхом на коне, потому что пешком было совершенно невозможно пройти — такая была грязь. Жили тогда в бараках, инженер-механиков не хватало, и в его, Кравцовом, доме было целое общежитие — пять племянников теснилось, которые пришли из села к своему дяде с деревянными сумочками. Всех выучил, устроил — пополнил рабочий класс. Кажется, это было совсем недавно: и директор на коне, и первый трактор, выкатившийся из ворот цеха под музыку, и Марьяна в школе среди иностранных ребятшек — там у них был целый интернационал, потому что на заводе работали в те годы и американцы, и чехи, и немцы, и англичане, приехавшие сюда вместе со своими семьями... Давно уже обходятся без иностранных специалистов, и тысячи собственных тракторов пошли на поля, и сами рабочие из бараков перебрались жить в эти вот утопающие в садах домики... Вишневые поразрастались — лезут ветвями через заборы на улицу; клубника, садик стали для Северина Кравца вторым занятием, — для него и для его товарищей по кузнечному нет теперь лучшего завода на свете и лучшего соцгородка.

Он слышит: Марьяна рассказывает Тане о том же самом — как первые деревья сажали здесь, как отец с матерью заспорили тогда, что сажать.

— Тато — вишни, потому что с каждого деревца, мол, можно будет сплести самое малое по ведру ягод. А мама —

тополя. «Что толку с тех тополей — один пух летит...» Кончилось же тем, что посадили, как видишь, и вишни и тополя.

Вишни давно уже плодоносят, и пух тополей летит, когда они цветут в начале июня, и Марьяна любит этот пух...

Возвратилась мать хоть и без приемника, но, кажется, в несколько лучшем настроении, чем уходила из дому. Присев к столу, стала рассказывать:

— Только что у Писаренчихи на петухах ворожили. Поначалу ихний все время был сверху, а потом наш как расправил крылья да как бросился, только перья с Гитлера полетели! Вот оно какое дело!

В другое время смешно было бы слушать подобное, но сейчас не смеялись, лишь Клава «пограничник», разыгравшись, расплывался в улыбке и все ловил ручонками ягоды на вишневой ветке.

Отец на почь собрался снова на завод. Перед тем как выйти со двора, еще раз склонился над внуком, которого Клава пристроила под вишней в гамаке.

— Не падай духом, держись, казак, — глухо внушал ему старик. — Ежели в зыбке бомба не взяла, будешь жить... Все еще у нас впереди. Еще будет раскаливаться от нашего железа ихняя поганая земля...

Клава с ребенком в этот вечер рано легла спать, дорога вконец измучила ее. Только Таня с Марьяпой допоздна стояли у калитки, будто ждали кого-то, и слушали, как высоко над ними шелестят верхушками тополя — ровесники Тракторного.

Летят студенческие чубы! Ворохом лежат они на земле — русые, каштановые, черные, светлые, ноги топчут их, грубо смешивая, сбивая в солдатский войлок.

Возле бани, в тени зеленых густолистных деревьев, где стригут добровольцев, слышны хохот, выкрики. Со всего лагеря, как на веселое зрелище, сошлись смотреть на эту процедуру. В помощь солдату-парикмахеру встал сам помкомвзвода первой роты студбата сверхсрочник Гладун: для него, видать, было немалым наслаждением собственноручно снимать роскошные вихры учепой братии. Сапоги его с явным презрением топчут студенческие чубы, он

плотно стиснул зубы, прохаживаясь машинкой по студенческой голове; тот, кто попал ему в руки, только покрякивает да ойкает, когда немоготу.

— Терпи, студент, пехотой будешь! — приговаривает сквозь зубы Гладун. — Это тебе, брат, армия, а не университет!

Сядешь — и не успеешь оглянуться, как чуб твой слетел, острижен ты под пуль, расческу свою можешь забросить в кусты. Смешные выходят ребята из-под машинки: у каждого сразу как бы убавился рост, а головы стали бугроватыми, у этого какая-то шишка выпирает на темени, у того куст остался за ухом, а Духнович без своей густой рыжей шевелюры и вовсе выглядит комично: все сразу заметили, что голова у него как-то вытянута и напоминает дыню, а по бокам нелепо торчат огромные красные уши, тотчас же ставшие предметом острот.

Казалось бы, студенты воспринимают все это как должное, расстаются с прическами вроде бы даже легко, подтрунивают друг над другом, перестреливаются шутками, но в этом их смехе и шутках слышится и сожаление об утраченном, и ощущение, будто вместе с чубами летит прахом все то, что делало их непохожим друг на друга. Летит в безвозвратное прошлое студенческая вольница, беззаботность, привычка жить и действовать кто как хочет.

Стриженные, с бугроватыми и шишковатыми головами, повобранцы подхватили от кого-то из сверхсрочников и уже охотно заучивают вместо премудростей университетских шуточные заповеди солдата:

1. Будь подальше от начальства: даст работу.
2. Держись ближе к кухне.
3. Если что непонятно — ложись спать.

Студбатовцам, учитывая их звание курсантов, выдали командирское обмундирование, в том числе добротные, с голенищами чуть по выше колен яловичные сапоги, до этого, похоже, годами лежавшие где-то на случай войны. Помкомвзвода Гладун, несмотря на свою сверхсрочную службу, носит кирзовые, и его сейчас разъедает зависть.

— Ну за что тебе такие сапоги? — говорит он, небрежно бросая Духновичу его пару. — Чтобы их заслужить, нужно семь пудов солдатской соли съесть. А ты? Ну кто ты такой?

Духнович с таинственным видом, почти шепотом, признается ему:

— Мы — интеллектуалисты.

— Это еще что такое? — Гладун смотрит на него подозрительно. Оставшись одни, хлопцы хохочут:

— Вот увидишь, он тебе покажет «интеллектуалиста»!

А Дробаха по этому случаю рассказывает историю, как в свое время один художник едва не попал в беду за то, что назвался маринистом.

С помкомвзвода Гладупом у студбатовцев с первого же дня пошли нелады. Назначенный к историкам, Гладун понял свои обязанности так, словно бы ему вручили табун диких степных коней и он должен их объездить, должен словить, стреножить, взнуздать и всеми правдами и неправдами елико возможно скорее подружить на каждого армейское, всеми уставами предусмотренное седло. Ему казалось, что падо прежде всего выбить из них универсптетский дух, который они принесли с собой в лагерь. Теперь излюбленная поговорка Гладуна: «Это вам не Вольная академия — это лагерь, ясно?»

Сам он даже среди сверхсрочников выделялся своей подтяпутостью и бравым молодецким видом. Здоровенный, осанистый, с такой шеей, что впору ободья гнуть, идет на тебя, а в глазах холод, лоб упрямый, хоть какую стену пробьет. За пределами лагеря, среди чугуевских молодцов, он одержал немало побед и, говорят, будто даже вел им список. С виду более бравого в лагере не найти: все на нем как влитое, будто родился он в этом обмундировании, пилотка от бровей на два пальца, воротник вокруг налитой кровью шеи даже в самый горячий зной сверкает белоснежным ободком. Не помкомвзвода, а живое воплощение лагерной дисциплины и буквы уставов! Лагерь, его посыпанные песочком аллеи, грибки часовых, палатки, продырявленные пулями мишени, спортивные снаряды и полосы препятствий — вот мир, без которого невозможно было представить себе Гладуна, точно так же, как немислимо было бы представить и сам лагерь без этого грозного помкомвзвода.

Он тешился своей властью над студентами, своим правом врывать на рассвете к ним в палатки и вытряхивать из «интеллектуалистов» их утренний сон.

— А ну, подъем! Подъем! Довольно нежиться! Сегодня строевая, а не биномы Нутона!

На пладу он гонял их до седьмого пота. Где самые глубокие рвы, где самая колючая растительность, там они

с утра до ночи ползали перед ними по-пластунски, а когда кто-нибудь, не выдержав, попробует роптать — горе тому! Другие уйдут на отдых, а этому бедолаге одному придется маршировать под палящим солнцем либо дополнительно трепироваться в штыковом бою, вновь и вновь до одури прокалывая набитые соломой, истерзаные чучела. Само собой разумеется, более всего доставалось Духновичу, однако и после помкомвзводовской «надбавки» он не мог держать язык за зубами.

— Да что это в самом деле? — говорил он, сплевывая землю, которой во время ползания как-то умудрялся набить рот. — Николаевская муштра? Кос-Арал? Только Тараса Шевченко когда-то гоняли, как вы нас гоняете...

Этого было вполне достаточно, чтобы гимнастерка Духновича в тот день не просыхала вовсе.

— Вот я тебе покажу Кос-Арал!

— Не «тебе», а «вам».

— Это все равно.

— Кому все равно, а кому — нет.

— Комиссару пожалуешься? Встать! Кому сказано, встать? Во-он до той кобылы по-пластунски туда и обратно, марш!

Духнович, вероятно, полагая, что Гладун только пугает, не спешил выполнить команду. Но Гладун крикнул уже с угрозой:

— Сполпий!

И Духнович, только было присевший возле товарищей, должен теперь снова подняться, потом упасть прямо в пыль, ползти по горячему, раскаленному от солнца плацу при полной выкладке, на локтях преодолевая расстояние до кобылы, которая «пасется» черт знает где, у самого горизонта.

Колосовский, хмурясь, некоторое время смотрел вслед товарищу, а потом неожиданно встал, поправил ремень и по всей форме обратился к Гладуну:

— Товарищ старший сержант! Разрешите мне за него проползти.

Гладун был искренне удивлен, что Колосовский, один из самых приметных в студбате яравофланговых, пемногословный и пропикнутый больше, чем другие, уважением к военной науке, берет вдруг под защиту Духновича, этого совершенно безнадежного в военном деле человека, к тому же еще и баламута.

— Почему это у вас, Колосовский, шкура за него болит?

— Он мой друг. К тому же у него здоровье слабое.

— Ну, уж если сюда попал, пускай знает, что тут слабых да хилых нет. Армия все болячки как рукой снимает!

— Жестокость без нужды нигде не может быть оправдана.

Старший сержант оглядел Колосовского снисходительно, улыбнулся краем рта:

— Не к лицу вам, товарищ Колосовский, заступаться за таких разгильдяев... Ведь сами вы образцовый курсант. Какая между вами может быть дружба? Перед вами, может, дорога в Герои Советского Союза, а перед ним куда?

— Одпа у нас дорога.

— Не понимаю, чем он так провипислся, наш Духнович? — спокойно вмешался в разговор Степура. — На два или на три пальца пилотка от бровей — не это сейчас главное.

— И не здесь главное, — мрачно бросил Лагутин.

— А где же? — Гладун насмешливо прищурил глаз.

— Главное сейчас там, где нас с вами нет, — стоял на своем Лагутин.

— В конце концов мы записывались на фронт, — добавил Дробаха, — а не для того, чтобы шагистикой вот тут запиматься.

— Туда успеете, — ухмыльнулся Гладун. — Там таких понадобится ого сколько!

— Так отправляйте же!

Гладун насмешливо покачал головой:

— Эх вы, «интеллектуалисты»... Учили вас, учили, а головы мякиной набиты.

Когда после этого он отошел от них, отправившись наблюдать за Духновичем, Дробаха почти с печалью бросил ему вслед:

— Дубина! Фельдфебель!

— У меня такое впечатление, что он всю войну решил вот так отсидеться здесь, — сказал Лагутин, вытирая с обгоревшего лица пот женским, с кружевной каемкой платочком. — Из кожи вон лезет, чтобы только не потерять тут место.

— А что, и отсидится, — угрюмо заметил Мороз. — Иныче гоняет нас, потом будет гонять других...

— Такой где угодно сделает Кос-Арал,— сказал Степура.

Колосовский, которого помкомвзвода оставил старшим вместо себя, сел продолжать с хлопцами занятия по уставу. Место, где их посадил Гладун, открытое, жара невыносимая, и ничто не лезло в голову, солнце, казалось, расплавляет мозги. А совсем неподалеку — тень, зеленеют столетние деревья...

И случилось так, что, когда Гладун возвратился с Духновичем, который еле плелся за ним, взвода не оказалось на прежнем месте: беспокойное воиство Гладуна самовольно переместилось в тень...

— Кто разрешил? — набросился на них Гладун.

— Я,— поднялся Колосовский.

Он ждал, что Гладун наложит на него взыскание, по тот почему-то не сделал этого. Зато сильно пострадал весь взвод: немилосердие Гладуна тотчас же обрушилось на всех сразу. Другие командиры повели солдат на обед, уже за ними и пыль улеглась, а Гладун все держит своих на пустыре, где жара тридцатиградусная и воды ни глотка. Ведет их с плаца последними. Вроде бы он выжал из своих курсантов все, что только можно было выжать, по ему этого показалось мало — приберег еще кое-что...

— Запевай!

Молчание.

— Запевай!!

Молчат.

— Запевай!!!

Как в рот воды набрали. Идут будто оглохли, онемели.

Гладуну, однако, такие номера хорошо знакомы. Только не на такого нарвались. У него запоете, он из вас выбьет эту дурь.

— Бегом... арш!

Тяжело подняли ноги, побежали, застучали каблучками.

Гладун не отрывает от них глаз.

— Шире шаг!

Ужарятся, ослепнут от пота, тогда запоют... Все быстрее и быстрее бегут они, бегут, стиснув зубы, и только яловичные сапоги грохают в тяжелом однообразии. Плохо, однако, что и самому помкомвзвода приходится, не отставая, бежать рядом с ними, с него тоже пот градом катится, и чем больше он глотает пыли, поднятой их сапогами, тем большая ярость охватывает его — гнал бы,

кажется, пока не попадают, но у самого уже не хватает сил, хочешь не хочешь, а придется останавливать.

— Направляющий... стой!

Но они продолжают бежать. Не услышали, что ли? Все увеличивается расстояние между помкомвзвода и добровольцами. Собрав все силы, всю буйную непокорность, которую Гладун не успел еще из них выбить, мчались куда-то напрямик, как табуны необъезженных коней, который скорее расшибется на скаку, чем остановится от окрика. Гонясь за ними по огромному опустевшему плацу, Гладун и сам был не рад, что подал команду «бегом». Теперь помкомвзвода боялся, что они без него так и прыскают к палаткам, на главную линейку, па глаза командиров.

— Стой же! Стой! — зывал оп.

А им нет удержу, ей-же-ей протопают вот так мимо столовой, где ждет их гречневая каша, пробегут мимо часовых под грибками, вылетят из лагеря на простор — лови их тогда где-то в ихних вольных академиях...

Бросившись паперерез, оп все-таки преградил им путь, остановил уже па линейке, возле первых палаток. Застыли на месте, запыхавшиеся, в мокрых, хоть выжимай, гимнастерках, а на лицах — сама покорность, одно послушание, только в глазах у каждого и в прикушенных губах Гладун читал скрытую пасмешку и полное удовлетворение: проучили.

— Почему не остановились? Почему не выполнили команду?

— Какую команду? — пожал плечами Дробаха. — Ничего не слышали. Сапоги дуже гупают.

Другие тоже, как агнцы божьи, спрашивают с притворным удивлением:

— Разве вы кричали?

— Была команда «бегом», мы и бегом, а «стой» никто не слышал.

С удвоенным аппетитом ели они в этот день крутую солдатскую кашу с маслом, и Гладун ел вместе с ними, словно бы ничего и не случилось. А когда, встав из-за стола, последними направлялись к себе, то и без помкомвзводовского «запевай» дружно, бодро, всеми глотками гаркнули на весь лагерь:

Дан приказ: ему — на запад... —

и этой песни им хватило до самых палаток.

Еще был Брест.

Еще были их десятки, сотни больших и малых Брестов, этих разбросанных по всему пылающему приграничью узлов сопротивления, где, отрезанные, окруженные, истекающие кровью, в болотах, на полях и в лесах до последнего бились наши бойцы, а сквозь прорванные пояса пограничных укреплений уже неслась на восток, громящая всей своей тяжелой силой, «молниеносная война» — «блицкриг». Ревела моторами, скрежетала железом танковых армад, тарахтела мотоциклами по вишневым подольским садам, выкрикивая над Украиной боевой арийский девиз:

— Млеко! Яйка!

Днем было жарко от зноя, ночью — от пожаров, от горячих руин разбомбленных станций. А они, завоеватели мира, все шли и шли и, вылетая из пыли, поднятой на дорогах, распугивали по селам женщин, наполняли выкриками дворы, жадно шарили по огородам, по садам, даже вверх, на деревьях, на красных, будто кровью облитых вишнях, были видны их раскоряченные ноги и серо-зеленые, цвета гусеницы, мундиры. Да это и была гусеница — гусеница размером с человека.

Студбат еще далеко от всего этого, еще не пахнуло на него раскаленным воздухом фронта. Лежа и с коленя стреляли на стрельбищах по давно пробитым мишеням, кололи штыками чучела, множество раз проколотые курсаптами пехотного училища и запасниками, проходившими в этих лагерях летнюю переподготовку. Может быть, только в том и была разница, что учеба проводилась ускоренно, в лихорадочном темпе, дисциплина была еще более суровой, а горны то и дело трубили над лагерем тревогу.

С непривычки студбатовцам трудно было выдержать этот режим. Занятия с утра до позднего вечера, огневая, строевая, пылица, зной, ночью — посты, наряды, тревоги... Но даже в самые тяжелые минуты, когда новобранцы были до крайности измучены, Колосовский не позволял себе раскиснуть, каждый раз подстегивал себя беспощадной мыслью: «А там, на фронте, легче?»

Ему было стыдно, что он еще не там, в окопном университете, среди неизвестных ему братьев и ровесников. Ведь он шел туда, а до фронта еще далеко... Чтобы не так

мучили угрызения совести, всю душу вкладывал в суровые лагерные уставы, в штыковой бой, в стрельбы и тактические занятия, нередко превосходя учителей своих — сержантов сверхсрочной службы, этих подлинных богов крутой лагерной науки. Было что-то заразительное в той науке, она пробуждала в Богдапе честолюбие, и хоть неудобно было перед товарищами, он ловил себя на том, что ему приятно время от времени выходить из шеренги на три шага вперед и выслушивать перед строем на вечерней поверке благодарность командира. Особенное удовольствие получил он, когда однажды, стоя вот так перед строем, поймал на себе взгляд Спартака, исполненный ревнивого удивления: как же это, мол, не я, а ты стоишь перед строем и выслушиваешь похвалу?

Зато в политинформациях Спартак всегда читал фронтовую сводку. Неблагодарным, правда, было это поручение, тяжело было читать: «После упорных боев сданы...», «После жестоких боев оставлены...». Внутренние районы страны, которые вчера казались недосыгаемыми для врага, сегодня стапоставились арпами битв.

В первое же воскресенье к студбатовцам пришли девчата. Едва закончилась политинформация, дежурный радостно выкрикнул из-под грибка:

— Колосовский, на линейку! Лагутин, на линейку! Влюбленные, все на линейку! Девчата за лагерем ждут!

Все, кто был в этот час свободен от парадов, радостно устремились к выходу, потому что это ведь касалось всех: девчат будто прислал к ним на свидание сам университет.

Девчата стояли за входной аркой под деревьями, в ряби тепей и солнца, просвечивающего сквозь листву.

Богдан еще издали увидел среди них Таю. Она быстро пошла навстречу, не сводя с него глаз, никого, кроме него, не видя, неловко прижимая к груди букетик полевых цветов, маленькая, хрупкая его Татьяна. Видел сначала только эти словно замороженные глаза и улыбку, ясную, неповторимую...

— Здравствуй, родной!

— Здравствуй, родная!

Это было сказано тихо, вполголоса.

Лицо ее обожжено солнцем, она стоит разутая, боспожки держит в руке... Ему почему-то до слез стало жаль ее.

— Пешком?

— Да нет, немного и подъехали... На, возьми.— Она подала ему цветы, среди которых больше всего было васильков. Он жадно втянул в себя густые запахи степи.

— Где насобираала?

— А там, вдоль дороги, когда шли...

— Устала?

— Малость.

Опираясь на Богдана, она стала надевать босоножки. Пыль еще лежит на исхлестанных бурьянами тугих загорелых икрах.

— Эх вы, пехота!

Он чувствует, как голос срывается от переполняющей его нежности.

Никогда еще Таня не была ему так дорога. Только здесь по-настоящему понял, каким бедным был бы без нее, без ее улыбки, без этой безоглядной преданности, что привела ее сюда. Обыкновенная девчонка, возможно, для других даже малоприметная, она выделялась из всех людей на свете, которых он только знал и будет знать, и уже стала самой родной, незаменимой, с этой ее безграничной ласковостью взгляда, с маленьким носиком и ямочками на щеках, с опьяняющей прелестью девичьей груди... Ему опять почему-то стало до боли жаль ее, жалко и обидно, что, погибнув, может сделать ее несчастной. «И если мне не хочется погибнуть на войне, то это прежде всего ради тебя, любимая, ради нас, ради нашего с тобой счастья».

Улыбаясь, глядел и не мог паглядеться на все то, что принесла она ему в своих ясных глазах.

— Почему не поехала домой?

Губы ее вповато дрогнули... Да, собиралась же, а не поехала. Не смеет даже признаться: осталась ради него, чтобы находиться ближе к нему. И разве они не вознаграждены за это? Вот он стоит перед ней, стоит, опаленный солнцем, стриженный и, кажется, еще более вытянувшийся, похудевший, в новом, военном наряде, в новой, с красной звездочкой пилотке. Форма ему к лицу, в нем есть военная жилка, передалась, видно, от отца. Стройный, высокий — даже и на каблуках она достает ему лишь до плеча, а сейчас и вовсе перед ним маленькая... Сколько за эти дни передумала о нем! После разлуки он еще больше вырос в ее глазах. Чувство к нему заполнило всю душу, она все время теперь ходит словно ослепленная. Иногда ей кажется, что она стала жестокой ко всем,

кроме него, в такое время вот не поехала к родителям, о родном брате вспоминает в эти дни меньше, чем о Богдане, хотя брат у нее военный летчик, он где-то в самом огне, может быть, его и в живых уже нет.

— С понедельника отправляемся всем университетом на окопы. Противотанковые рвы будем рыть где-то под Красноградом.

— Где, где?

— Под Красноградом.

«Противотанковые под Красноградом? На этом берегу Днепра?»

Это не понравилось Богдану, и он, отгоняя от себя мрачные мысли, взял Таню за руку.

Раскачивая сплетенными руками, они пошли между деревьями в глубину леса, полного свежести, прохладной тени, травы, буйных широколистных папоротников.

— Хорошо тут у вас, — сказала Таня.

— Сколько здесь людей побывало, можешь себе представить! — взволнованно откликнулся Богдан. — Тут ведь и до революции были лагеря. Эти дубы, видно, еще предками Репина посажены. Ты же знаешь, Репин из этих мест, из чугуевских военных поселенцев, мы были на той сотне, где он родился.

— Ты и тут исследуешь? — улыбнулась Таня.

Богдан тоже улыбнулся и, обняв Таню, стал целовать ее в шею, губы.

— А мне и не стыдно, — смеялась Таня. — Пускай смотрят, я ж твоя...

Издали на них в самом деле смотрели курсанты, о чем-то весело переговаривались.

— Крапивой меня обожгло, — призналась Таня, потирая ногу. — Помоги мне выбраться отсюда...

Он подхватил ее и почти на руках вынес из крапивы, из папоротников. Пошли по тропинке, углубляясь в лес.

— К кому это Ольга пришла? — спросил Богдан. — Такая грустная стояла там, у входа в лагерь...

— Ольга? — спохватилась Таня, только теперь, видно, вспомнив о подруге. — Она просила никому этого не говорить... К Степуре... Ольга давно в него влюблена!

— А он все еще из-за Марьяны переживает... — задумчиво отозвался Богдан.

— Как у них с Лагутиным?

— Как и раньше. Просто беда с ними! По росту им выпало ходить в строю рядом, идут и дуются друг на

друга, а нашим хлопцам, известно, только подай... Духнович уже предлагал им свои услуги секунданта.

— А оп, Духпович наш... осилил уставы наконец?

— Худо ему, бедняге. Смешно и горько смотреть, во что превращается homo sapiens¹ на плацу.

Сквозь зелепь кустов внизу, в камышах, засверкала вода.

— Дальше пе пойдем,— сказал Богдан, остановившись над обрывом.

— Дальше речка,— засмеялась Таня.

— Не только потому.

— А почему?

— Нужно, чтоб на случай тревоги лагерь был слышен...

Солнечные отблески прыгали в искристо-карих глазах Богдана. Они, эти родные, горячие глаза, улыбались Тане, излучая какую-то силу, которая пьянила девушку, заставляла забывать обо всем на свете. Она прильнула к нему, припала головой к груди.

— Вот мы и с тобой... Вот мы и счастливы... Сколько вы еще тут пробудете?

— По тому, как нас гоняют, видно, торопятся с нами. Да хлопцы и сами рвутся.

— Как это хорошо, что мы вас застали... Мы и в следующее воскресенье придем. Не возражаешь?

— Еще бы!

— Давай сядем.

Если, она прилегла к нему на колени, ловила каждый лучик в его глазах, каждую черточку на его лице, хотела запомнить. Она и в самом деле была ослеплена им и счастлива этой ослепленностью, этой безграничной преданностью ему. Пусть скажет: кинься вот здесь с обрыва, разве пе кинется? Руки его, сильные, загорелые, солдатские руки, а как нежно обнимали они ее сейчас! Иногда ей казалось странным и непоптым, отчего это Богдан полюбил именно ее, Таню, а пе такую красавицу, как, скажем, Марьяна, или Майя Савенко с геофака, или... Да ему первая красавица была бы под стать. Одна из пединститута просто глаз не сводила с него в библиотеке, всегда поровила сесть напротив, хотя что ей известно о нем? Только Таня знает, сколько за этой внешней сдержанностью, даже суровостью, таится любви, сколько горячей

¹ Человек, мыслящее существо (лат.).

страсти в этой груди, сколько пытливого ума кроется за выпуклым юношеским лбом! И все это она может потерять?

Он словно бы отгадал ее мысли. Какая-то тень пробежала по его лицу.

— Вот такое наше лето. Такая наша Ольвия, Тапя.

— Как здесь липа чудесно пахнет... Просто не хочется думать, что где-то идет война...

— А между тем она идет.

— Идет, это правда. Как буря, как ураган идет. Именно такой она мне почему-то представляется — ураганом, черным, смертопосным... Где-то я читала о летчике, который не мог сесть на землю, охваченную ураганом. Летчику ничего не оставалось, как поднимать свой самолет все выше и выше, куда не мог достичь ураган, и попытаться пройти над ним...

— То летчики, — сказал Богдан, и Тапя перехватила на себе горькую его улыбку, — а нам, пехоте, ничего не остается, как только пробиться сквозь все это. — Он вдруг потемпел и повторил глухо: — Сквозь все это пройти.

— Скоро? — спросила Тапя чуть слышно.

— Скорее бы. С фронта худые вести.

— Не думай об этом.

— Как же не думать? Такое полыхает... — Богдан вдруг пасторожился. — Трубят!

Он вскочил на ноги. Таня за ним, растерянная, побледневшая.

— Богданчик... Милый...

Он прижал ее к груди, поцеловал жадно, торопливо.

— Надо бежать!

Схватив Таню за руку, Богдан побежал. Она, спотыкаясь, еле поспевала за ним.

В одном месте, вспугнутые тревогой, из кустарника выскочили Марьяна и Лагутин. Марьяна жарко покраснела, глаза ее светились необычно, она что-то поправляла на себе, застегивала блузку на груди, и Таня впервые позавидовала подруге, пожалела, что они с Богданом не успели испытать такой близости.

Горн грозно трубил, звал, отовсюду бежали к лагерю, и вот уже Таня с Богданом оказались возле арки, возле того места, куда вход девушке воспрещен.

— Ну... — Богдан крепко пожал ее руку.

Отбежав несколько шагов, он вдруг повернулся, протягивая ей свою студесческую зачетную книжку:

— Возьми, сохрани...

В его голосе и в каком-то немного растерянном виде было что-то необычное. Сердце у псе сжалось: «В последний раз!» Взяв зачетку, глядела на Богдана большими, до краев наполненными слезою глазами и все не отпускала его руку.

— Богданчик, милый, если... в случае чего... ты хоть пиши! Слышишь, любимый мой! Хоть в мыслях пиши, если не будет возможности... Знай, я мысли твои услышу! За тысячу верст!

«За тысячу верст!» Девичий этот крик так и вошел ему в сердце. А горн трубит над лагерем все настойчивее, все требовательнее. Подстегиваемые призывным его кличем, студбатовцы быстро подбежали к лагерю, скрылись за аркой, среди палаток, и перед стайкой вдруг осиротевших девчат снова стоит лишь лагерный часовой с виптовкой у ноги — молчаливый, строгий, недоступный.

13

Собирали, оказывается, для того, чтобы выдать оружие. Вместо старых, с трехгранными штыками винтовок, которыми курсанты были до сих пор вооружены, привезли новейшего образца десятизарядные полуавтоматы с плоскими штыками-пожами. Потом, на фронте, курсанты хлебнут горя с этими красавцами, которые будут отказывать, едва столкнувшись с песком и болотом, и придется в ярости выбрасывать их, подбирая на поле боя старые, отцами испытанные трехлинейки. Но пока что СВТ¹ вызвала среди добровольцев всеобщее оживление.

Винтовки лежали в новеньких заводских ящиках. Уложены они были так ладно и так щедро смазаны густой заводской смазкой, что жаль было к ним притрагиваться, возникало желание тут же, не прикасаясь, опять закрыть их в ящике и отправить на вечное хранение. Но старшины и помкомзаводов ловко извлекали винтовки, раздавали по списку, проставляли напротив фамилий номера, требуя, чтобы тот, кто получает, тотчас же запомнил свой номер навсегда.

— Потому как с этим номером, может, и помереть придется, — солидно пояснил Гладун, вручая винтовку Духновичу.

¹ СВТ — самозарядная виптовка Токарева.

— Я бессмертный,— ответил на это Духнович.

До самого вечера получал батальон новое оружие. Кроме винтовок, еще выдали каски, зеленые, тяжелые.

— Чугунные теперь кумпола у нас,— крутил Дробаха своей мощной головой; в каске она будто осела на плечах.

А вечером, еще и солнце не зашло, батальон, быстро поужинав, снова строился: предстоял марш на всю ночь и боевые учения. Каждый из курсантов был навьючен полной выкладкой, с флягой, противогазом, с положенным боекомплектom и суточной нормой НЗ в солдатском ранце.

Перед выходом из лагеря сверхсрочники, разувшись, показывали студбатовцам, как нужно наматывать портянку, чтобы не натереть ногу в походе. Гладун тоже это проделывал, он сидел на стуле и, уверенными, четкими движениями обмотав белой байкой свою лапищу, горделиво тыкал ею студентам чуть ли не под нос.

— Видите? — вертел он туда-сюда ногой.— Как куколка!

А потом, стоя возле цинкового бака с водой, он подзывал к себе каждого из своих бойцов, брал ломтик черного хлеба и, словно бы священнодействуя, насыпал сверху щепоть соли, и всю эту крупную, как стеклышки, соль, которая едва держалась горкой на хлебе, подавал курсанту:

— Ешь!

Тот недоумевающе отступал: соль? Да еще после ужина? Да еще в такую жару, когда и без того пьешь не напьешься?

— Я ж не верблюду.

— Бери ешь, говорю!

Приказ есть приказ. Хрустит на зубах натрий-хлор. А когда соль съедена, Гладун указывает на воду:

— Пей!

Черпаешь кружкой, которая вместительностью не уступила бы, пожалуй, ковшу запорожскому, и пьешь, аж стонешь, а помкомвзвода подбадривает:

— Пей, пей вволю, чтоб брюхо было как барабан! На марше не дам ни капли.

В стороне, с улыбкой наблюдая за этой сценой, стоят группой старшие командиры, среди них и тот, со шпалами в петлицах, с сединой на висках, который был в райкоме партии, когда студенты проходили комиссию. Они уже знали его: батальонный комиссар Лещенко. Старый

политработник, долгое время служил в авиации, но по состоянию здоровья вынужден был перейти в пехоту. В лагерь прибыл вчера, будет комиссаром студбата. Колосовского он узнал. Как раз в тот горький миг, когда Богдан прожевывал порцию гладуновского «бутерброда», комиссар с приветливым видом подошел к нему:

— Ну как, товарищ Колосовский? Солона курсантская жизнь?

Богдан, у которого аж скулы сводило от соли, мотнул головой.

— Солоня!

Комиссар смотрел на него, слегка улыбаясь, или, быть может, глубоко залегшие на сухом, вытянутом лице складки придавали ему приветливое, улыбчивое выражение. Богдану радостно было встретить тут этого человека. Сердцем чуял Колосовский, что ему желают добра эти терново-черные пронизательные глаза, чем-то близким, почти отцовским повеяло на Богдана от них, от мужественного лица, согретого улыбкой. Сколько ему лет? Судя по медали «XX лет РККА», он давно в армии, наверно, и воевать приходилось... Виски серебристые, а сам еще стройный, свежий, смугловатый, и оттого седина выделяется еще заметнее. Похоже, большую жизнь прожил он, если с первого же взгляда сумел тогда понять Богдана, если лучше других разгадал, с чем тот пришел на комиссию, что принес в своем сердце в райком. Такой и должна быть душа у коммуниста!

— А со сверхсрочниками как вы тут? Нашли общий язык? Дружно живете? — спросил комиссар, переводя взгляд на Духовича, которому Гладун как раз насыпал на корку от всех своих щедрот преогромную щепоть соли. Духович стоял перед ним сгорбленный, будто навьюченный больше всех — в хомуте скатки, в каске, которая словно придавила его, — стоял и ждал Гладуновой порции с каким-то мученическим, фатальным выражением на лице.

— Беда с ними, товарищ батальонный комиссар, — поспешил доложить помкомвзвода, услышав, чем интересуется комиссар. — Разболтанности еще у некоторых много. Забывают, что тут им не университет!

— А вы свое требуйте, товарищ старший сержант, со всей суровостью требуйте, — сказал комиссар, весело блестя терново-черными глазами. — Однако, требуя, не забывайте, что перед вами все же вчерашние студенты, да

все комсомольцы, да все добровольцы, то есть ребята, сознательно отказавшиеся от льгот и пошедшие защищать отчизну. Как по-вашему, такие люди вправе рассчитывать на внимательное к ним отношение?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар!

— А потом это же такой народ,— веселым тоном продолжал комиссар,— сегодня он курсант, а завтра, глядишь, ему кубики нацепили, и он уже командир. И дело может обернуться так, что и вам, товарищ старший сержант, у кого-то из них придется быть подчиненным. Как тогда, а? Ведь спросит за все?

— Да, я бы с него спросил! — под дружный хохот товарищей пообещал Духнович, дожевав соль и поворачиваясь в строй.

— А вам, товарищи курсанты, я тоже должен заметить,— комиссар уже не улыбался,— поменьше иронии, когда речь идет о солдатской науке. Больше пота в учебе — меньше крови в бою, — это не фраза, скоро вы в этом сами убедитесь.

Он помолчал, осматривая курсантов, будто проверяя каждого.

— А теперь дайте и мне соли,— сказал комиссар Лещенко, обращаясь к Гладуну.— Испытанный способ,— добавил он, съев соль и со вкусом залив ее кружкой воды.— Напейся тут раз и навсегда, а на марше в бачлагу не заглядывай.

С первыми сумерками за клубилась, удаляясь от лагеря, пыль — студенческий батальон вместе со всем училищем двинулся в поход.

Душная, словно в тропиках, была ночь, пахла людским потом и пылью. Растянувшись в темноте, шли форсированным маршем по незнакомым местам, через балки, буераки, уснувшие села, взбив сотнями ног дорожную пыль и глотая ее всю ночь. Несли на себе, кроме винтовок, еще и пулеметы, динковые ящики с патронами, которых было взято больше, чем когда-либо. Батальон взмок. Хомуты скаток, набитые патронами под сумки, вещевые мешки, каски на головах — все давило, становилось тяжелее с каждым километром.

Не раз в эту ночь помянул Колосовский добрым словом помкомвзвода Гладуна. Вероятно, многие не выдержали бы такой напряженности похода, если б не было на них все хорошо подогнано, прилажено и если бы ноги перед походом не были обмотаны у каждого, «как

куколка». Даже Духнович и тот держался, — похоже, впрок пошли ему Гладуновы соль да наука. Как и у других, на боку у него была стеклянная, в матерчатом чехле фляга с водой, но выпить и глотка себе не разрешал — не потому, что боялся нарушить приказ помкомвзвода, а просто совестно было: ведь другие тоже терпели, зная, — начнешь пить на привалах, разморит тебя, раскиснешь, и уже не пехотинец ты — кисель. А пить хотелось, ой как хотелось! Особенно когда откуда-то из темноты, из-за белой хаты возникал силуэт колодца с журавлем, с огромной бадьей деревянной...

Привалы были коротки, после них еще тяжелее вставать, все кости разламывало, трудно было открыть глаза. Двигаясь дальше, спали на ходу, спотыкались, пошатываясь, клевали носами в спины передним.

Солнце застало их в каких-то болотах. Наступали, отступали, форсировали водные преграды.

— Эгей,— слышен был и тут голос Дробахи,— где ты живешь, кулик? — И сам себе отвечал: — «На болоте!» — В нем же поганой! — «А я привык».

— Из этих болот,— мрачно оглядывался вокруг Духнович,— может быть, еще пращуры наши воду пили, динозавры и мамонты водились тут, а теперь мы вот пришли им на смену...

Одна вода копчалась, начинялась другая.

— Спимай сапоги!

Стащив сапоги, подняв оружие над головой, брели пехотой куда за своими командирами среди зарослей камыша, осоки, вспугивали водоплавающих птиц.

В лагерь вернулись к обеду. Утомились так, что и есть не хотелось, хотелось спать, спать. Кое-как перекусив, покачиваясь от усталости, добрались до палаток, попадали на матрацы — и как убитые. Через несколько минут весь лагерь уже спал мертвым сном, кроме часовых, бодрствовавших под грибами.

А через каких-нибудь полчаса студбатовцев, изнуренных ночным походом, снова будил лагерный горн. Подымали тяжелые, налитые свинцом головы: не чудится ли? Просто не верилось, что это не снится,— так это было жестоко после бессонной, до крайности напряженной ночи. Но звук горна будил, звал, предвещал какое-то новое испытание. Всклакивали, на ходу застегивали пояса, сонные бежали к пирамидам, расхватывали оружие.

Приказ на этот раз необычный: брать с собой все, матрацы и подушки распороть, вытряхнуть, сдать на склад...

До сих пор такого не было. И в лицах командиров улавливалось что-то новое, такое, что говорило о необычности этих минут, и горнист играл тревогу как-то особенно, неподдельное волнение, тренет сердечный слышался в звуках его горна. Может, не учебная уже? Может, настоящая? Даже тех, кто был в наряде, стоял на посту, сейчас вернули в батальон, и они заняли свое место в строю.

Рота за ротой выходят из лагеря. Без разговоров. Без расспросов. Винтовки, ручные и станковые пулеметы, все записанное за батальоном оружие — на плечах, и вместе с тяжестью оружия выносят они из лагеря и какую-то тяжесть на душе, новую, неизведанную...

— Вот когда б я хотел, чтобы девчата были тут, — негромко сказал на ходу Лагутин Богдану.

Но девчат сегодня не было. Были зеленые деревья, под которыми они вчера стояли, была запыленная дорога, по которой они вчера ушли... Уже далеко отойдя от лагеря, ребята заметили: Духнович чего-то прихрамывает.

— Натер? — спросил Гуцин.

— Да нет. Утром на болоте ногу камышиной проколол.

— Там мог и на ржавый гвоздь наколотся, — заметил Мороз. — Прямо возле меня Иванов доску с гвоздями из воды вытащил.

— Нет, я не гвоздем, я камышиной, — словно бы оправдывался Духнович. — Там камыш был скошен, а под водой незаметно...

Гуцин и Мороз предложили взять часть его снаряжения, но он отказался:

— Нет, я сам, сам... Каждому свое.

Впереди — разомлевшая от зноя открытая местность, посреди оазисом встают деревья железнодорожной станции и виднеется длиннющий эшелон красных товарных вагонов, загнанных на запасный путь, почти в степь. Сомнений быть не могло: для них! Вагоны поданы им! Правда, эшелон был без паровоза, стоял на запасном, но стоял. Приказано расположиться вдоль эшелона и ждать распряжения. Видно, пока подадут паровоз.

Куда же повезут? На какой участок фронта? Это теперь интересовало больше всего. В лагере только и мечтали, чтоб скорее на фронт, а вот теперь, когда дождались

отправки, стало даже чуточку жаль расставаться с лагерем, на смену которому придет другая жизнь, неведомая, полная опасностей.

Расположившись повзводно, вдоль всего эшелона, сидят против своих вагонов. Возле Духновича, которому Степура перевязывал ногу, собралась целая толпа историков. Ступня у Духновича покраснела, заметно припухла, однако Духнович считал это пустяком, бодрился, ему даже неудобно перед товарищами за свою столь неуместную сейчас болячку.

— Простите, что немного нарушу стройность ваших рядов,— острит он и, морщась от боли, берется натягивать сапог.— Постараюсь не хромать.

— Ничего, Байрон тоже хромал,— заметил Дробаха, развалившись на траве.

— Может, все-таки фельдшера позвать? — нахмурился Колосовский, видя, как Духнович, сжав зубы, медленно втискивает в сапог больную ногу.

— До фронта заживет,— обувшись наконец, махнул рукой Духнович. Лицо его покрылось крупными каплями пота. Утершись рукавом и желая перевести разговор на другое, он посмотрел в сторону поля: — Что это там бежит?

— Только сейчас заметил? — охотно откликнулся Степура. — Это же гречиха цветет. И будет цвести все лето. Всех перецветет! — И в голосе его прозвучала печаль.

Небо над гречихой синее, высокое — ни облачка. В прозрачной дали, на горе над Донцом, поблескивает Чугуев. Деревья лагеря чуть виднеются на горизонте темно-синей полоской. И те деревья, и белый разлив гречихи, и спорыш, на котором лежат хлопцы, такой мягкий, теплый, ласковый, — все теперь вдруг стало бесконечно родным.

Все словно бы подобрели. От этой ли гречихи подобрели, от полей да от неба или от того, что ждало их впереди, где им суждено быть. Даже Гладун, который любого мог согнуть в бараний рог железом уставов и не терпел никакого панибратства, сейчас подошел к ребятам какой-то притихший, смятенный и, как бы ища у них поддержки, присел, заговорил грустно:

— Так что же — прощай лагерь?

— Прощай...

Колосовский, упершись локтями в землю, смотрел на безлюдную дорогу, уходившую в поля, и казалось, будто

ждал он, что вот-вот оттуда, из-за текучего марева, из-за белой разлившейся к самому небу гречихи вдруг появится та единственная, которую он сейчас больше, чем когда-либо, хотел увидеть. Но дорога оставалась пустынной, лишь пыль временами неожиданно взвихривалась и маленькие смерчи уходили по гречихе к горизонту, то разрастаясь, то пропадая...

Постукивают колесами вагоны.

То, что было мирной жизнью, остается позади. Впереди — неведомые испытания судьбы. Но это потом, потом. Сейчас в их сердцах одна лишь готовность — пройти дантов ад войны, удержать рубеж, который им доверят, любой ценой преградить путь новым ордам чингисхановым, что не с луками, не со стрелами — с гремящей сталью надвигаются по земле и по небу на родимый край.

Куда везут? Этого им не говорят. Где встретятся с врагом? Об этом могут высказывать лишь догадки.

Локомотив неудержимо мчит вперед. Воропой их конь на красных колесах...

Когда эшелон тронулся, ребят стали оформлять по-фронтовому. Выдали наспех заготовленные справки о том, что отправляются на фронт курсантами-политбойцами, и вместе с такой справкой каждому курсанту вручали еще одну штуку: похожий на желудь черпый пластмассовый пенальчик — медальон, который позднее будет назван медальоном смерти. Каждому надлежало вложить в этот медальон собственноручно заполненную, свернутую трубочкой анкетку, самую краткую из всех анкет: кто ты и кого оповестить, когда тебя найдут на поле боя...

Написав что нужно, курсанты, плотно завинтив медальоны, молча прятали их в маленькие карманчики возле пояса.

Когда студбатовцам раздавали справки и медальоны, вдруг выяснилось, что у многих из них до сих пор при себе студепческие билеты, зачетные книжки и даже паспорта.

— Богаты же вы, — сказал комиссар Лещенко, для которого это известие было неожиданностью. Он приказал немедленно собрать по эшелону все гражданские документы и принести в теплушку, где он ехал вместо

с курсантами. Вскоре перед комиссаром, прямо на полу, на листе жести, лежал ворох документов...

Курсанты первой роты, с которой ехал комиссар, обступив его, недоуменно ждали.

— Все сдали?

— Все.

Комиссар некоторое время сидел молча, склонясь над этим ворохом. Затем наугад взял сверху чей-то паспорт, развернул, прочитал: год рождения — 1917. Взял другой: 1918. Стал дальше просматривать: 1918, 1919, 1920...

— В те годы, когда вы только появлялись на свет, — начал он задумчиво, — мы как раз брались за оружие, шли в красногвардейские отряды... Мы — это ребята с рабочих окраин. Тогда мы были такими же, как вы, юными... А иные были еще моложе. Мы и не думали, что матери рожают вас для таких испытаний.

Вечерело. В вагоне, по углам, уже стояла плотная темнота. Комиссар зажег спичку, подержал перед собой, пока она разгорелась, потом медленно поднес ее к уголку чьего-то новенького паспорта. Студенты затаили дыхание: что он делает? В голове не укладывалось, что паспорта можно жечь. Вспыхнувший паспорт комиссар положил под другие, разворошил над ним сверху остальные документы, — получился костер, будто где-нибудь в поле.

— Товарищ комиссар! — не выдержал кто-то из ребят. — Зачем вы? Зачем все это жечь?..

— Пускай горят, — спокойно возразил комиссар. — Фронт — это фронт, и мы не можем допустить, чтобы враг в случае чего воспользовался честными вашими именами... А после войны все вам вернут, все выпишут послевоенные писаря...

Теперь уже весь ворох был охвачен огнем, пламя осветило вагон. Комиссар Лещенко, отодвинувшись от костра, сидел на ящике, студбатовцы тесным кругом стояли возле него и в оцепенении смотрели на яркое полыхание огня, быстро пожирающего их паспорта, зачетки. Корчатся в языках пламени чьи-то имена, годы, национальности, маленькие фотографии, круглые печати... Сворачивается, исчезает в огне студенческая невозвратимая молодость. Что же — вся она теплом развеется, отполыхает, как этот яркий недолгий огонь?

Эшелон грохочет, тяжелые двери вагонов раздвинуты настежь, и за ними до самого горизонта — таинственная,

мягкая, певедомая тьма. Мапит к себе воп тот далекий огонек, что блеснул в степной балке... Теплая июльская ночь пролетает мимо садами, посадками, скирдами в полях. В тех скирдах, может, будете вы искать укрытия, в тех посадках придется, может, занимать боевые рубежи...

Поздней ночью, когда студбатовцы крепко спали, их внезапно разбудил клекот зениток. Очумевшие спросонья, выскакивали из вагонов. Тьма и огонь! Весь мир — только эта первозданная тьма и тревожный, неправдоподобный, невиданных размеров огонь. Земля в сполохах, в заревах, все небо в мечущихся прожекторах, во взрывах снарядов, в угрожающем гудении невидимых самолетов. Вот еще элее заливаются зенитки. На землю обрушился гром. Где-то за вагонами, как из кратера вулкана, взметнулся огонь. Еще удар. Еще огонь.

Курсантов бегом отводят от эшелона в сторону. Оглядываясь на ходу, они видят за собой Помпею, новую, kloкочущую огнем Помпею, возникшую перед ними в образе только что разбомбленной станции, видят множество освещенных пожаром железнодорожных путей, пылающие вагоны, цистерны, склады... Вся почь бушует пожарами, всюду взрывы, треск, вот совсем где-то близко взметнулось пламя над вагонами, может быть, даже над теми, в которых они только что ехали сюда.

А небо гудит. Их отводят в сады, огороды, где они ждут конца налета. Лишь здесь, немного опомнившись, пытаются разобраться в этом ревущем космическом хаосе, который окружает их.

Слова быют, стучат зенитки. Прожекторы шарят по небу, по облакам — редким, высоким. Как руки войны, взметнутся вверх, сграбастают все небо, скрестятся, потом один остановится на мгновение в туче светлым огненным кулаком и вдруг, укротившись, вмиг исчезнет, сея тревогу. И уже в другом месте снова появится меч прожектора, потрогает небо, пошарит по небу, то заторопится, то медленно охватит тучу, будто прощупывает — нет ли там чего-нибудь? А еще через миг в небе вырастает целый лес прожекторов. И вот на самом острие одного из них вдруг сверкнуло что-то белое, ослепительное. И уже исчезает, теряет значение все остальное, и над бесконечным хаосом тьмы блестит на острие прожектора только одна она, эта точка — человек в гудящей ночной вышине. Человек, дюралюминий и бомбы.

Еще раз придут в лагерь девчата, и мать Духновича придет.

Будет это на следующий день после отправки батальона на фронт. Между деревьями, у знакомой лагерной арки, станут ждать, разглядывая толпу других женщин, измученных, заплаканных, с детьми, с охапками только что переданной им из лагеря мужской одежды.

— Мама, мама! Тато мне свою расческу оставил! И ремешок...

Мимо Тани прошмыгнул мальчонка, отцовская кепка съехала на глаза, маленький, курносый; в одной руке зажата расческа, в другой — брючный пояс.

Людей в лагере еще больше, чем в прошлый раз. Полон лагерь мужчин! Их стригут, переодевают, выдают им котелки, каски, новые серые шинели. Но где же студбатовцы? Затерялись в столпотворении людском или... Попросили через часового узнать о студептах.

Ждали.

Дождались:

— Нет таких!

...Студбат в это время был далеко за Днепром.

С железной дорогой расстались на той разбомбленной станции, где их застиг налет, дальше к фронту добирались пешком. Шли остаток ночи не отдыхая, не зная, где идут, куда. Только по тому, как тревожно полыхает горизонт впереди, и по скопницам войск на дорогах чувствовалось: война где-то близко.

Когда рассвело, один из студентов узнал окрестность; оказалось, идут по шевченковским местам или где-то неподалеку от них. И вербы, которые так низко склопятся над прудами, — быть может, те самые, что описал когда-то Нечуй-Левицкий. Утро родилось в росах, в зеленой кипении левад. Весь край засветился подсолнухами; они уже могуче разворачивали для цветения свои тугие короны. Картофельная ботва по пояс. Конопля в лощинах густая, непролазная. Все буйно росло, все наливалось жизненной силой в эту благодатную пору раннего лета. Казалось, земля неудержимо стремится порадовать людей своей щедростью, одарить их всем самым лучшим, чем только может. Цветет картофель, и здесь же мак цветет. Подсолнух выгнало до самой крыши, и граммофончики по нему вьются.

Левяды манят к себе зеленой прохладой, поблескивают подою прудов, шелестят по-над берегом вершинами верб, ливров, кустами калины.

В садах белеют хаты удивительной красоты. Что пи хата — произведение искусства, сколько хат — столько народных художников! Одна подведена красным, другая — синим, та покрыта соломой, соседняя — камышом с аккуратной бахромой по углам и тугим гребнем вверх; у одной наличники на окнах голубые, а у другой еще и с красненьким узором. Будто соревновались в красоте. И все белые-белые, еще не тронутые непогодой, не иссеченные дождями, чистые, праздничные. Не для войны — для счастливого лета белили их женские умелые руки.

Когда солнце поднялось высоко, встали наконец на привал. Хлопцы сидели у дороги, любясь селом, белевшим випзу в долине.

— Гениальной была та украинская женщина, которая первая так вот побелила хату, — рассуждал Степура. — Гляньте, какая красавица выглядывает вон из-за той вербы... Была бы она рыжей мазанкой, смотреть бы не захотелось, а так — глаз не оторвешь... И как гармонирует белый цвет с зеленью верб и мальвами красными, с небом! А какой дивной становится такая белая хата ночью, при луне, когда тени от веток разузоряют ее! Что за душу нужно было иметь, чтобы догадаться и таким белым сделать свое жилье, какой нужно было иметь от природы высокий вкус эстетический...

Даже Дробаха, вовсе не склонный к поэтической растроганности, и тот на этот раз поддержал Степуру:

— А и верпо... Что пи хата, то индивидуальность, — сказал он, уплетая пирог, которым успел запастись где-то в селе. — И что не по струнке стоят, тоже здорово. То тут, то там, словно слиты с природой. Моя бы воля — выбрал бы вон ту, на краю села, у нее жито под самыми окнами голубеет. Кто-то в ней живет? Славная, видно, какая-нибудь молодайка, так разукрасила дом... К белому, видишь, еще и синего, небесного добавила!

Эта хатенка была и в самом деле не просто белой, а белой с небесным отливом. Волны хлебного моря катились ей под самые окна.

Привалу вскоре наступил конец. Вставай и шагай дальше пудовыми от усталости ногами.

Да, это Киевица... Еще недостают сюда снаряды, еще не опустели колхозные фермы, не охвачены пожа-

рами гребни белых хат с аистовыми гнездами, но и над этим чудным краем, по которому проходит сейчас в тяжелых своих касках студбат, война словно бы уже запесла свое невидимое крыло. Воронки по обочинам. Свежий холмик земли — кого-то похоронили там. Колхозное стадо лежит у водопоя, расстрелянное, видать, с самолета: туши разбухли на солнце, смрадом несет от них.

От линии фронта колхозники, одетые по-зимнему, гонят скот в глубокий тыл, и коровы тоскливо режут навстречу студбатовцам, спотыкаются, патирая ногами давно не доенное, набрякшее вымя, роняя теплое молоко на камни шоссе.

В одном месте дороги лежит неразорвавшаяся бомба — застряла, торчит из земли черным оперением. Студенты заспорили. Двухсоткилограммовая? Полутонка? И не взорвется ли, когда начнут ее вытаскивать?

— Удивительно, как много у дикости общего, — сказал Колосовский пагавшему рядом Лагутину. — Помнишь стрелы из скифских могил? Стрелы Батыевых орд? Они тоже с таким оперением. Грустно становится от подобных ассоциаций.

Все более явственным и мощным гулом дает знать о себе фронт. То и дело налетают вражеские самолеты, разгоняют студбатовцев по хлебам, по канавам. Носом в землю — и слушай, как, выворачивая душу, воет над тобой металлический хищник, как прямо на тебя падает оп с пронзительным визгом.

Бредут из хлебов, и неловко, стыдно смотреть друг другу в глаза — от унижения, которое только что пережили, оттого, что вынуждены прятаться, ползать по родной земле.

— Позор... Затравленным зайцем себя чувствуешь, — отряхиваясь, признается Мороз. — Землю носом роешь, ползаешь на четвереньках...

Филолог Чемерис смеется нервно:

— Мы вот с Калюжным как раз спорили, кто гениальнее: Стендаль или Флобер? Я говорю — Стендаль, он — Флобер... Я свое, он свое... А когда налетели да трахнули, так он шлепнулся и руками замахал: Стендаль, мол, Стендаль, черт с тобой!

Смешно, кажется, но ребята не смеются.

Меж хлебов высоких идет студбат, сухим металлическим звоном позванивают тугие колосья; седыми волнами переливается рожь; густо зарумянилась перепутанная,

закрученная ветрами пшеница. Во всем — нарастающее беспокойство, усиливающаяся тревога. Везут раненых, бредут беженцы, грохочут грузовики с боеприпасами. Тысячи человеческих лиц мелькают перед тобой, и среди них ни одного веселого. Нет в этом краю веселых лиц!

Во время одного из привалов возле Духновича собрались товарищи. Просто непонятно было, как он до сих пор шел. Нога нарывала, и сейчас ее разнесло так, что насилиу стащили сапог. Распухла, как бревно, посинела, блестит нездоровым блеском.

— Почему же ты молчал?

Но Духнович и сейчас не жаловался, только по его веснушчатому, вдруг покрывшемуся капельками пота лицу можно было догадаться, как ему плохо. Еще ночью, в вагоне, когда все спали, он мучился. Никогда не думал, что такую боль может причинять нарыв. Кажется, если бы ногу отрубили, было бы легче. Никому не жаловался, не хотел. Мог ли он признаться, что уже на полдороге к фронту оказался негоден? Ничего себе доброволец!.. Беспомощный, лежит у дороги с обнаженной, отвратительно распухшей ногой и не верит сочувствию товарищей, кажется, что сейчас они могут испытывать к нему лишь одно — презрение. Как он пойдет дальше? Ведь нога, наверно, и в сапог не влезет!

— Добрую вавку приобрел, — подойдя к ним, заговорил Гладун и, наклонившись, пощупал распухшую ногу почти с завистью, будто сожалея, что такой дар судьба посылает не ему, а недотепе Духновичу, который не сумеет как следует и воспользоваться им. — Вавка хоть куда... Имеем первое ЧП.

Подожел комиссар Лещенко, с ним командир роты — молодой лейтенант из училища. Стали советоваться. Ясно, Духнович дальше идти не сможет. Куда же его сдать? Кому поручить? Духновича испугал этот разговор.

— Я пойду. Я могу идти, — ухватился он за сапог. — Прошу вас, никуда меня не сдавайте. Это скоро пройдет. Богдан, дай руку!

С помощью Колосовского и Степуры он поднялся и так, опираясь на них, двинулся в одном сапоге дальше. Винтовку и скатку его теперь несли другие, а он, повиснув на плечах товарищей, двигался позади колонны, как живое распятие, в тяжелой своей каске, клонившей голову набок. Каждый шаг отдавался нестерпимой болью. Духнович прыгал по шоссе, как по огню; что бы ни случи-

лось, он должен идти по этим разбитым камням вперед, идти, хотя бы и безоружным, навстречу войне, навстречу тому, что гремело и стонало по всему горизонту. Ничего не было более страшного, чем оказаться покинутым, остаться одному, без товарищей, самому признать свою помощь и не быть вместе с другими в деле, к которому внутренне готовился все это время после райкома. В ногу стреляло и стреляло огненной болью, мир заплывал желтизной, порою Духнович чувствовал, будто падает куда-то, и горячие плечи товарищей были ему единственной опорой.

Комиссар остановил первую же машину, что стремительно мчалась навстречу. Перемолвившись с запыленным лейтенантом, который сидел рядом с водителем в кабине, он подождал, пока ребята подвели Духновича к грузовику.

Слезы бессилия брызнули из глаз Духновича. Умоляющим голосом он снова стал просить не сдавать его, не бросать.

— Товарищ комиссар, я пойду, я прошу...

Но его все-таки посадили через борт в кузов, устроили между брезентами, пустыми ящиками из-под снарядов, туда же бросили сапог, винтовку, скатку и вещевой мешок с привязанным к нему теплым от солнца котелком.

— Счастливо, друг...

У него был вид человека, смертельно обиженного, уничтоженного, отброшенного прочь.

Когда машина промчалась, Гладун, оглянувшись, промолвил ей вслед:

— Считайте, один отвоевался...

Чадно грохают мины в хлебах. Зной, грохот и дым. Весь мир уже словно бы пропитался этим горячим тошнотворным чадом рвущихся мин, свежие воронки еще дымятся, и опаленная, взрытая земля пахнет смертью, а воздух снова пружинит, и снова то тут, то там среди хлебов — грах! грах!

Прямо с марша студбат угодил под шквал огня. Когда приближались сюда, впереди, в разливе хлебов на пригорке видели хуторок какой-то — хата, повесть, садик. Там командный пункт дивизии, именно туда их ведут. Хлеба

стояли могучие, почти в рост человека. Тихо было, и курсанты даже слышали крик перепелов во ржи и видели аиста над хатой, а возле хаты — просвеченные солнцем высокие мальвы цветут, прекрасные, как девочки! И вдруг — черные гейзеры взрывов, все ближе удары мин в хлебах, бегут оттуда бойцы, окровавленные, в копоты, кричат что-то... Минометный палет, а они выстроены у садика, где им приказано ожидать осмотра, и стоят, пока из-под деревьев не налетел на них грузный мужчина — генеральские звезды в петлицах.

— Студбат! Чего застряли? — чуть ли не с кулаками набросился он на командиров. — В оборону! Ложитесь! Окапывайтесь! Вот здесь занимайте оборону!

Вмиг рассыпавшись вдоль сада, к которому прилегали хлеба, курсанты лежат теперь рядом с автоматчиками комедантской роты, никого и ничего не видят, кроме пшеницы, ржи и комьев земли, фоптаном взлетающих до самого солнца. А мины снова сверлят воздух, бьют сухими ударами, и студбатовцы прижимаются к земле в своих борозденках, шарахаются от каждого варыва.

«Так вот она, война», — с горечью думал Колосовский, глубже втискиваясь в борозду. Неподалеку от него в той же борозде еще кто-то жмется — каска у самой земли. Степурины плечи.

— Ты живой?

— Живой.

А мины бьют, и неизвестно, кого из них накроет вот эта, что визжит и с сухим треском грохает где-то неподалеку. Шелестят, трещат колосья, кто-то подбегает, с разгону падает возле них — кто это? Залит кровью — кровь на лице, на гимнастерке. Колосовский с трудом узнает — Ярошенко с геофака.

— Мина! — хрипит он. — Упала вот так от меня, рукой мог бы достать. В плечо вот и в лицо... Глаза не выжгло? Я вижу? Я не слепой?

Колосовский, разорвав индивидуальный пакет, кое-как перевязал ему искромсанную скулу и направил к санитарам:

— В садике они. Беги!

И Ярошенко побежал, оставив после себя брызги крови на сухих комьях земли, на белой, выющейся по стеблям повилке.

Обстрел усиливается. Вибрирует, пружинит от металлического свиста воздух. Это уже не мины — снаряды

летят, проносятся, кажется, над самой головой, аж гложешь от пих, аж барабанные перепонки лопаются. Один из снарядов жажнул в хату, прямо в лицо ей, и с грохотом взрывается внутри, в самой сердцевине человеческого жилья. Еще один врзается под застреху, поднимает облако соломенной пыли, и вся крыша рушится, оседает, охваченная клубами дыма, пламенем, — уже нет ни подстриженной бахромы по углам, ни аистова гнезда с аистятами возле трубы, — одна только аистиха кружит в воздухе.

Нет штаба. Разнесло штаб. После этого огневой налет прекратился.

— Хуже всего, что можешь вот так, ни за что ни про что пропасть, и никакой пользы от твоей смерти, — слышит Колосовский голос Степуры. Присев, тот внимательно разглядывает зазубренный, еще не остывший осколок. — Врага живого в глаза не видели, а уже попали в эту кашу...

В самом деле, словно черный ураган, который с корнями выворачивает деревья, сметает человеческое жилье, разрушает все на своем пути, — так и тут пронеслось, искромсало землю, отравило степной воздух запахом гарн, пороха и крови... Пронеслось, и снова зазвенела тишина.

Колосовский поднялся, огляделся. Дым стелется над хлебами, над садиком. Горячая хата пышет жаром, она горит себе и горит, никто и не пытается ее тушить. Не до того сейчас. Среди знойной, дымной тишины то здесь, то там стонут раненые. В одном месте, на меже, которая отделяет огромное поле ржи от пшеницы, собралась целая толпа студбатовцев; склонившись, что-то рассматривают. Колосовский и Степура, шутаясь в густой ржи, заторопились к ним.

Невероятно было то, что они увидели. Как от удара молнии, которая в летнюю грозу бьет среди поля, была разрыта земля в этом месте, а среди изорванных, измочаленных и смешанных с землею стеблей лежал Дробаха. Ноги разбросаны, голова неловко вывернута, зубы оскалены, а лицо черное, сожженное... Правая рука лежит отдельно от тела, желтая, присыпанная землей. Страшно было поверить, что это оторванная, обескровленная рука Дробахи, рука, которая могла одним ударом сшибить противника с ног, сильная юпошеская рука, которая в жизни знала и кпигу, и отбойный молоток, и касалась твердой девичьей груди...

Нет Дробахи. Погиб со всеми своими подвигами, к которым был готов и которых так и не успел совершить. Тут же у хлебов, возле садика, они принялись рыть первый и последний для него окоп — вечную, с темными стенами хату для Дробахи.

Маленькими саперными лопатами роют первую студенческую могилу, засыпают ее молча, и растет она высоко — на всю степь, и видна она далеко, как Саур-могила, и уже с ветрами говорит. Но это она только кажется им такой высокой, на самом же деле маленькая, едва приметная среди густых колосистых хлебов.

17

Колосья стоят, как люди.

Тот — высокий, вытянувшийся, словно на страже. Тот — пониже — попик, размышляет. Переплелись усами, неисчислимые, сложились один к другому в молчаливой задумчивости. А тот, глянь, с подломанным стеблем, вообще утонул в гуще и вроде бы все хочет подняться... Буря его сломала, дождь ли, осколок?

Больше всего тех, что стоят в задумчивости: все поле думает думу. Пробежит ветерок — колосья слегка зазвенят шершавым, жестяным звоном...

Дым разошелся, горький сырад развеялся, и опять поле дышит горячими запахами лета. Перепелный, кузпечиковый мир окружает свежую студенческую могилу. Вьюпок полевой вьется по стеблям, склоняется белыми колокольчиками, степной горошек краснеет капельками крови...

А день угасает. Тревожное, марсово-красное солнце лежит пад хлебами, а там, на пригорке, где стояла белая хата, чьими-то заботливыми руками выбеленная, дотлевает черная куча руин. И только мальвы, высокие, девичьей стройности, по-прежнему красуются за углом дома в палисаднике, пронизанные солнцем, еще ярче полыхают в этот предзакатный час.

18

Духновича до самого вечера возили на грузовике. Трясся в кузове среди ящиков со снарядами и чувствовал себя лишним, никому не нужным балластом, так некстати

навязанным этим молчаливым, суровым людям. Все они на своем месте, все знают свое дело и целиком поглощены им. Заснут в лес, погрузят боеприпасы и без разговоров, без задержки по тряской дороге — скорее к огневой, где в садах за селом ждет их, израсходовав все снаряды, батарея.

— Что вы ездите, как на волах! — сердились артиллеристы, и не успеешь оглянуться, они уже растащат из кузова все ящики, и грузовик пуст.

Когда впервые заметили Духновича, заинтересовались:

— Что за пассажир?

А потом уже и внимания на него не обращали, только всякий раз, когда сгружали ящики, невольно давали ему почувствовать, как он мешает им тут. Было нестерпимо ощущать себя обузой для людей, которые здесь, у орудий, не знают минуты отдыха и ведут себя так, будто они тут единственный заслон и только одни они могут еще сдерживать, не пропустить противника.

По дороге грузовик несколько раз попадал под обстрел вражеских самолетов. Духнович, оставаясь в кузове, видел косые струи огня, которые лились с самолетов на землю, — из огнеметов, что ли, они там били или из каких-то особенных, скорострельных пушек? Впервые он видел вдоль дороги трупы людей. Потом артиллеристы высадили его в лесу, возле склада снарядов, велели подождать.

— Вот еще одна ходка, и тогда уж завезем тебя в медсанбат.

Но делали одну ходку, и другую, и третью, а его все не трогали.

Около снарядов стоит часовой, молодой красноармеец, он так пастороженно держит свою винтовку, будто враг где-то здесь, за кустом. С Духновичем часовой в разговор не вступает. «Посадили — и сиди, — как бы говорит он, — а у меня свои заботы — я на посту».

Ночью пошел дождь. После дневного зноя сразу повсюду свежестью, зашумел лес, магниевой вспышкой сверкнуло небо, разламываясь в бомбовых ударах грома. Разгулялась настоящая гроза. Все небо, казалось, содрогается, озаряясь трепещущими сполохами света, голубого, пепельного. Вспыхнет и выхватит из темноты очертания туч, тяжелых, набрякших влагою, волокнисто разметанных по небу. Становится виден лес, гнущиеся под ветром деревья, и сквозь сверкающие листья макушек снова ос-

лепительно блеснет кусок неба, дрожащий в магнеливых сполохах. Гром в пучине туч грохочет и грохочет на разные лады, ударами неземной силы сотрясает, раскалывает небо — то ближе, то дальше, то выше, то ниже. Еще тут не затихло, а уже взрывается там, сердито перекачивается, и вся земля, оцепенев, будто ждет чего-то страшного, неотвратимого.

Около часа, наверное, бесповалось небо, лютовала гроза, а когда наконец отгремело, отсверкало, осталась только крошечная темнота, и в темноте этой лил и лил дождь. Нет неба, нигде — ни звездочки, только тьма и хаос, и по всему лесу — хлюпанье воды. Будто и вправду разверзались хляби небесные. Черный почной дождь льет и льет, готовый залить все и вся, как при всемирном потопе.

Часовой, когда начался дождь, заботливо прикрыл спаряды брезентом, а для Духновича и такого укрытия не было. «Да разве не естественно это? — думал он. — Спаряд сейчас нужнее».

Дождь не упирался. Часовой предложил наконец Духновичу перебраться под брезент, но тот решил терпеть, мокнуть до конца. Съежился в одной гимнастерке и мок, мок. При нем была шинель, скрученная в скатку, но Духнович не догадался развернуть ее. Как скатал еще в лагере с помощью ребят и по указаниям Гладуна, так и держал все время на себе это туго скрученное, сукожное, набрякшее водой ярмо. Вода ручьями стекала с веток прямо за ворот, Мпроп промок до пятки, но не прятался, находя даже некую отраду в том, что природа глумится над ним. Он беспомощно и покорно горбился на том самом месте, где усадили его артиллеристы. Выставил под дождь ногу, налитую болью, и, поникнув над ней, все думал. В самом деле, что дождь, что тьма, если ему казалось сейчас, будто вся планета погрузилась в темноту. Фашистская ночь поглотила Европу, волны вандализма катятся все дальше и дальше, уже на дорогах Киевщины валяются трупы, самолеты огнем поливают с неба людей.

— И это у них называется движением вперед, прогрессом? — саркастически восклицал Духнович. — Всего сто тысяч лет назад мрачные неандертальцы с низкими лбами выходили из своих пещер, вооруженные примитивным кремневым топором. Прошло, по сути, очень немного времени, и человек обрел крылья, поднялся в воздух, пе-

ресек океаны. Человек стал Гомером, Шекспиром, Дарвином, Циолковским... Богоравный! И вот теперь, на гребне двадцатого столетия, снова этот черный, смердящий взрыв дикости, каннибализма... Высокоразвитая, культурная нация вдруг рождает армию убийц, разбойников. Планета во тьме. Один за другим гаснут города.

Первые воспоминания детства Духновича — это отцовский кабинет, заставленный от пола до потолка книгами; позднее вторым домом для него стала городская библиотека имени Короленко. Как иные вырастают среди степей и хлебов, так он вырастал среди книг. Он верил им чистой верой сердца, и для него Толстой и Горький, Роллан и Барбюс были не просто именами на корешках книг — они были для него такими же живыми, реально существующими, как отец, известный в городе хирург, как Николай Ювепальевич, университетский профессор. Однако сейчас Духнович был в таком глубоком отчаянии, что даже с ними, с самыми дорогими своими учителями, не мог найти общего языка. Сейчас, когда он, оторванный от товарищей, остался почти калекой в лесу, среди апокалипсического грохота грозовой ночи с ее черным дождем, он уже не способен был ничем и никем восхищаться; в отчаянии он видит лишь, как фашисты все уничтожают вокруг и силы человеческие, разум человеческий поставлены на службу этому уничтожению, и в собственной душе его разрушается самое дорогое, рассыпается под ударами действительности, по-своему понятой, все прекрасное, что вошло в его душу вместе с книгами отцовской и короленковской библиотек...

Вековой прогресс, движение человечества по восходящей? Хотелось возразить книгам, хотелось вступить в циничную и злую полемику с профессорами, сокрушая их силой фактов с этой снарядной кафедры, на которую в эту ночь поставила его жизнь.

Лес шумит от дождя, зловеще чернеет, наполненный неизвестностью, а он тут один, без товарищей, у сваленных боеприпасов. Капотада то стихнет, то загремит снова. Машины возят и возят снаряды. Заскакивают в лес как будто бы еще чаще, и подноски снарядов, эти молчаливые труженики войны, с удвоенной яростью бросают в кузов ящики. Духновича для них будто не существует, о медсанбате они уже и не напоминают. И он, однако, не может обвинять их в жестокости, он не то чтобы подал им — они в самом деле не замечают его, поглощен-

ные своей жаркой работой. Он просто оказался лишним в этом огромном, непрерывно действующем махапизме войны. Не вышло из него бойца. Не вышло для вас защитника, Ролланы, Барбюсы и Горькие.

А какие у него были порывы! Не только свою альма матер, свой родной университет и родной город с небоскребом Госпрома, но и Акрополь в Афинах, и парижский Лувр, и Софию Киевскую, и немецкую готику — все-все он готов был прикрыть своей грудью, а чем кончилось? Не повоював, не изведав боя, сидит калекой в лесу, под дождем, возле кучи снарядов, начиненных смертью. В решительный час, для великого дела оказался непригодным — зачем же тогда жить?

Если бы там, на шоссе, где за их грузовиком гонялись «мессершмитты», он поймал пулю, — разве это не было бы лучшим выходом из тупика? А может, самому себе пустить пулю в лоб? Из этой вот винтовки, что ни разу еще и не выстрелила. Может, это действительно выход? Чтобы навсегда покончить и с этой ногой, и с душевными терзаниями, исчезнуть и ни для кого не быть обузой?.. Но нет, не бывает тому, чтобы он первую свою пулю, первую и последнюю, послал в себя, а не во врага...

Машину снова грузят снарядами. Вот она отъехала, затрепав кустами, ушла в чашу, как в пещеру.

— Что, ранен?

Духнович даже вздрогнул. Позади него стоит за кустом человек в накинутой на плечи плащ-палатке. Видимо, новый часовой, только что сменивший прежнего, — Духнович этого и не заметил.

— Ранен, а? — обращается он к Духновичу, и в голосе его звучат человеческие нотки, теплые, сочувственные. Это, вероятно, оттого, что он считает Духновича раненым. А он не ранен! Он передовой и не шюхал! Он просто недоученный студент, который возомнил себя воякою и позорно выбыл из строя, наколовшись на какую-то дурацкую камышину! Болотная прошлогодняя камышинка сломила его, сделала беспомощным, ни на что не пригодным! Духнович так и сказал часовому, отрывисто, перво, с надрывом. Но часовой, оказывается, на этот счет придерживался своего взгляда:

— Ежели болит, так болит одинаково, от чего б там ни было: от пули, от осколка, от нарыва ли. Я знаю, как оно, когда парывает. Еще мальчишкой был, корова

на ногу наступила. Ноготь с большого пальца так и срезала, долго нарывало потом, ночами не спал...

Часовой уже стоял перед Духновичем. Лица не видно, винтовка в руке, и слышно, как дождь плещет по плащ-палатке, которая топорщится на нем. Присветив фонариком, он наклонился:

— А ну, покажи, что там у тебя...

Духнович размотал мокрое тряпье.

— Ого, разнесло! — Артиллерист покачал головой. — Знаешь что, товарищ, давай я тебе проколю: созрело уже.

Перед глазами Духновича мелькнули отцовские ланцеты, блестящие, хорошо продезинфицированные хирургические инструменты.

— Чем же вы проколете?

— Найду чем. Вот хотя бы штыком.

В темноте сверкнул штык.

— Посвети-ка мне. — Часовой передал фонарик Духновичу.

Свет фонарика выхватил из темноты щетиnistое мокрое лицо, грубые руки, снимавшие штык с винтовки, полу плащ-палатки, какой-то пятнистой, не нашей.

— Немецкая?

— Ихняя. На той неделе взята.

Присев, солдат зажал большую ногу Духновича коленом, словно кузнец, который собирается расчищать конское копыто, и не успел Духнович опомниться, как что-то там чиркнуло, потекло, а он, доброволец-хирург, не выпуская ноги, держа ее, как в тисках, осторожно, но сильно надавливал вокруг раны, выжимая всю боль.

Как полегчало сразу! Духнович будто заново на свет народился. Хотелось плакать, от благодарности хотелось поцеловать эти грубые солдатские руки, которые так помогли ему. А часовой уже поднялся, просто и буднично вытирая руки о мокрые листья, и говорил Духновичу:

— Теперь тебе сразу легче будет. Если б еще подорожника, но где тут его найдешь ночью... Утром поищем.

— У меня отец врач, хирург известный, по, думаю, и он лучше бы не смог.

— Солдат все должен уметь. Ты, кажется, здорово промерз? Почему шинель не раскатаешь?

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Раскатаю, а потом не скатаю,— ответил Духнович полушутя.— В лагере товарищи помогали.

— Поможем и тут, коли сам еще не научился... Перекусить хочешь?

Откуда-то из-за ящиков артиллерист достал полбуханки хлеба, разломил ее и половину подал Духновичу. Хлеб раскис от дождя, прилипал к рукам.

— Что, сырой? — весело спросил артиллерист.— Это ничего. Хлеб сырой — да живот не пустой.

Расположившись под брезентом на спарядах, они ели этот раскисший, набухший дождевой водой хлеб, и артиллерист тихо, степенно рассказывал Духновичу свою жизнь.

19

— Кадровик я, кадровую службу. А фамилия моя Решетняк. Осенью был бы дома, если бы вот не война.

Артиллерист немного помолчал, прислушиваясь к хлюпающую темного мокрого леса.

— По-всякому для людей война начиналась,— продолжал он.— Того застала в море, того в поле среди хлебов, того в дороге, тебя вот — за книгой, а меня — на самой границе, на реке Буг. Знаешь, что такое граница? Такая полоска земли, перепаханная и заборонованная, оплетенная, перепутанная колючей проволокой. Первый ряд проволоки высокий, второй — малость пониже, а третий — еще ниже, а дальше проволока по земле стелется, как плетень на бахче, а земля перепахана да еще и заборонована — против диверсантов. Вот тут мы и закалялись. Незадолго перед тем были на учебных стрельбах, километров за восемьдесят ездили от своих зимних казарм. Пустынные места, болота, пески, сосенки колючие, пизенькие... Узкоколейка была там, по ней тянут тросами фанерные танки, а мы по ним должны стрелять. Как трахнешь, так и разлетится.

Сколько-то дней воевали с этими фанерными танками, а в субботу прибыли к себе на зимние квартиры. Казармы наши как раз на ремонте были, и нам команда — натянуть палатки. Не хвально скажу, всегда я был дисциплинированный, и ежели нужно куда, то первым — меня. Так и тут. «Беги, Решетняк, к тем вон сосенкам, выруби четыре кола», — посылает меня командир взвода. Взял я топор, пошел, вырубил три колышка, а четвертого подходящего все никак не найду, бо уже стало

смеркаться, и сосепки возле меня все какие-то кривые и низкие.

«Да руби какой-нибудь, — слышу вдруг над собой голос и, подняв голову, вижу командира батарееи. — Может, палаткам недолго и стоять». Мне очень запомнились эти слова командира батарееи, что, может, им педолго и стоять. «Почему же это недолго?» — думаю. А потом и решил, что небось скоро в казармы переберемся, да и вырубил колышек первый попавшийся.

Растянули на скорую руку палатку, матрацы уже и пе набивали, потому как утомлены были зверски. Так на пустых матрацах легли и уснули. Крепко уснули. Известно, какой бывает сон после марша.

Долго ли, коротко ли, слышу сквозь сон: вдруг что-то с клетотом пронеслось в воздухе — неужели снаряд пролетел? «Это мы все еще, знать, на учениях», — подумал я сквозь дрему, а оно уже снова: гух, гух. Удары какие-то. Продираю глаза, а брезент надо мной уже как решето — посеченный, продырявленный, а ведь целый был вчера! Видно, бил шрапнелью, а может, зенитные осколки осыпались; никому из нас не причинило вреда, только брезент посекло. Но про все это я позже раздумывал, а в ту минуту сразу стал будить товарищей. Наматываю портянку, тащу сапог, а другой ногой сослуживца толкаю: «Сивков, слышишь? Вставай! Началось!» А он — здоровенный, две порции по приказу командования получал — никак верить не хочет.

В этот момепт тревогу заиграли. Все повскакивали, выбегают кто как, а я все пилотку не найду. Так без пилотки и выскочил. Прибегаю к коновязи, вижу, один мой конь сатанеет возле своей бирки, а другой уже сорвался, мечется у самых казарм. Кругом суета, крики, ну что ты хочешь — война! Я схватил чьего-то коня, да к своему, накинул постромки и с пушкой — в парк! А в передке гильзы холостые; и в подсумках и у нас ни единого боевого патрона. Все с одним лишь порохом, учебные. Воробьев пугаты!

Склады боеприпасов рядом, склады огромные, и там, знаем, снарядов — тьма. Стоишь, бывало, часовым возле них ночью, и жуть берет. Вдруг, думаешь, ахнут, взорвутся? До облаков полетишь. Кинулись мы сгоряча к тем складам, а часовой не допускает. Видит же, что свои и что творится пеладное, летят из-за Буга снаряды, но — пельзя! Без начальника караула пе подпущу, и крышка!

А начальника караула уже убило, и никто того часового снять не может. Только когда подбежал командир дивизиона и открыл склады, взяли боевые припасы и — огонь за Буг!

Доколе буду жить — не забуду того дня. Нас полегло, но и их положили черным-черно. На проволоке висят, меж проволокой лежат, позапутывались. Вся пограничная полоса, правду тебе говорю, была, как лягушками, завалена теми первыми фашистами.

И с тех пор с боями до этих мест отступаем. Видали уже, как не фаерные — настоящие их танки горят от наших попаданий. В одном месте они обманом на нас танки пустили с красными звездами, — думаем — наши! Подмога прибыла! А они как полоснули из пулеметов, ну и мы же им дали потом... Никто не скажет, что мы, артиллеристы, плохо присягу выполняем. Так уж за эту землю цепляемся, так уж держимся, — каждый вершок ее с кровью у нас выдирают.

Артиллерист помолчал, прислушиваясь из-под плащ-палатки к отдаленному грохоту канонады, к лесу, который все еще хлюпал, истекал в темпото дождем.

— Подкрепился? — спросил он Духновича, когда тот дожевал свой раскисший хлеб. — Это еще ничего, хлеб как хлеб, а мне вот в тридцать третьем пришлось... Напинкую, бывало, лебеды — да в котел, залью водой и варю. Пухлый, ноги в водянках, а как-то выжил. Трудная была весна у нас, ох трудная! Куда ни зайдешь — пусто... Окна повывиты, п в домах нежильем пахпет... Кому бы, казалось, я пужен, а придет ночь — запираюсь на все запоры: страшно! Сам не знаю почему. Да и то сказать — мальчишка... А когда стали хлеба созреть, захвачу, бывало, наволочку, ножницы, да в поле. Рожь высокая, урожай тогда был не хуже, чем этим летом. Заберусь подалее, чтобы объездчик не увидел, и тайком парежу, настригу колосков полную наволочку. Тех, кто ходил тогда вот так стричь колоски, объездчики ловили, называли «кулацкими парикмахерами», хотя среди них были просто голодные люди. Приду домой, натоплю печь, выгребу пепел прямо на землю — не до чистоты тут! — а на горячий под насыплю колосков, пасушу, перетолку и тогда уж пспеку себе лепешек. Колоски были еще зеленые, потому и лепешки из них тоже получались зеленые да горькие, но все-таки наешься и оживешь.

— Да, горек был ваш хлеб,— сказал Духнович со вздохом.— Впрочем, это, кажется, не помешало вам стать хорошим солдатом.

— Я так себе думаю, товарищ: родина, она ведь не только тому дорога, кто всю жизнь кулича ел.

«Выходит, я всю жизнь кулича ел,— подумал Духнович.— А чем отблагодарил? Этот пот насмерть против врага стоит, а я? Что я в сравнении с ним, который столько выдержал и столько еще выдержит?..»

— Скажите,— спросил он Решетняка,— бывают у вас такие минуты... мучительные минуты отчаяния такого или злости... что и жить не хочется?

— Всякое с человеком бывает. Разве легко смотреть, как оставляем рубежи, как оскверняет враг нашу землю родную? Глядишь ночью на пожары, и все закипает вот тут. Не злой я по натуре, а теперь так хотел бы стрелять, чтобы ни одна пуля мимо не летела, чтобы каждый снаряд в фашистский череп попадал... Вот и сегодня день был сумасшедший. С ходу немец хотел прорваться и прорвался бы, и в лесу уже фашисты колготели бы, если б не наш артогонь.

Он стал подробно рассказывать о сегодняшнем бое, о потерях на батарее, о том, сколько снарядов было выпущено, а Духнович, прижавшись к нему, согретый влажным распаренным теплом его плеча, едва слушал сквозь дремоту, такую сладкую после двух бессонных ночей. Потом и вовсе не стало ему слышно слов Решетняка, видел лишь сады под селом, пушки вкопанные, а возло них суетятся люди, заросшие, почерневшие от зноя и копоты, бегом таскают ящики со снарядами, загоняют снаряды в стволы, и среди тех, кто молча, люто трудится, он видит знакомую фигуру Барбюса со скаткой через плечо, а рядом с ним хлопочет возле пушки и новый товарищ его — артиллерист Решетняк.

Полк был кадровый, краснознаменный, еще недавно на смотрах он выстраивался в полном составе, а теперь... Горстка мужественных, обстреленных, прокипевших не-павистью к врагу людей — это теперь и был полк. Он не то что поредел в боях — он был почти истреблен и все же держал такие рубежи, какие полагалось бы держать нескольким полкам. И не только держал, но еще сам то

и дело переходил в контратаки. Чем меньше оставалось кадровиков в полку, тем больше веса приобретали они в бою. Один кадровик, кажется, стоил троих из пополнения — так ценился теперь человек по его умению держать оружие, по его в боях проверенной цепкости, живучести, стойкости. Если бы враг знал, сколько их против него здесь, по-над речкою Рось, залегших в зеленых садах и буйно поднявшихся огородах, он не поверил бы, что именно они его сдерживают, они, которые понесли уже столько жертв и у которых в обороне столько пустых окопов.

Потери были огромные, особенно от минометного огня, против которого у них не было никакой защиты, кроме этой родной земли, куда они могли зарываться. Мины молотили по ним с утра до ночи, трахая по шоссе, обламывая ветви над окопами; случалось, они попадали и прямо в окопы — горький, смрадный дух от них весь день стоял над обороной. И только с темнотой, когда сила огня ослабевала, можно было сосчитать, скольких не стало сегодня.

От неприятеля их отделила Рось, живописная речушка Рось, что тихо, бесшумно течет среди густой зелени берегов, между вербами, которые кое-где почти смыкаются над ней своими плакучими ветвями. В мирное время на этих берегах всю весну щелкали соловьи, а сейчас круглые сутки свистят пули, и немало уже крови людской упесла отсюда Рось в Днепр.

На берегу, под кустами лозняка, лежат убитые, и, когда ночью коснется их волна, кажется, что они шевелятся, что они еще живые, хотя лежат там уже несколько дней. На деревянном мосту, перекинутом через реку для соединения шоссе, убитых еще больше: это те, кто ходил в контратаки. Всякий раз, добежав до середины моста, они падали, скошенные перекрестным огнем вражеских пулеметов, замаскированных где-то совсем близко в вербах того берега. По ночам наши делали несколько попыток оттащить, убрать с моста убитых, но это стоило новых жертв, и мертвая та застава на мосту только увеличивалась.

Вот в этот-то полк к этому-то мосту и суждено было среди ночи прийти студбатовцам.

— Студенты пришли!

— Курсаптский батальон!

— Ни грома, ни молнии не испугались!

В словах, которыми встретил их полк, чувствовалась

искрепняя солдатская благодарность за то, что студбатовцы пришли, принесли сюда свои жизни, свою поддержку. Под проливным дождем, в тревожных сполохах воробьиной ночи занимали они свободные окопы по огородам, а кому не хватало свободных — втискивались по двое, вместе со старожилами, пока не освоятся и не выкоют свои.

После того мипометного шквала, под который они попали в открытых хлебах возле штаба дивизии, где понесли свои первые потери, тут, в мокрых окопах, студбатовцы чувствовали себя в большей безопасности, даром что праг постреливал где-то совсем близко, а с вечера, как рассказывали старожилы полка, там, за Росью, даже слышны были немецкие губные гармошки.

Наутро дождя уже не было, небо очистилось от туч, а прямо над студбатовскими окопами свисали яблоневые ветви, отягченные плодами и густой росой. Когда противник, начиная день, резанул из пулемета по садам, роса посыпалась, как дождь, а зеленые яблоки покатались прямо в окопы, студентам на головы, лишний раз подтверждая закон Ньютона о всемирном тяготении.

Эти кислые, недозрелые яблоки в течение пескольных дней были для ветеранов полка чуть ли не единственной пищей. Правда, был еще сахар, много сахара, который они добывали, как песок в карьере, неподалеку, в подвале одного из домов на шоссе. Раньше в этом здании был райпродмаг, а в подвале склад, который теперь никому уже не принадлежал и никого, кроме солдат, не интересовал — в городке безлюдье и запустение. Со всей обороны бойцы ползли с котелками к этому подвалу и, набрав, кто сколько мог, возвращались в свои норы. В каждом окопчике, рядом с патронами да гранатами, стояли котелки, наполненные сахаром, из которого готовили себе сахарную тюрю, приправляя ее терпкими кислыми яблоками, чтоб не тошнило.

Такой сахарной кашей-тюрей утром угощал Колосовского его сосед по окопу — веселый, долговязый сержант, один из ветеранов полка. Губастый, с орлиным носом, с отчаянно озорными глазами и сочным басовитым голосом, он принадлежал к тем людям, что запоминаются с первого взгляда и с первого же взгляда чем-то подкупают, вызывая симпатию и доверие.

— Ты тут повоюй, а я приготовлю завтрак, — сказал он и, достав из ниши котелок, до половины наполненный

сахаром, долил туда из фляги воды, нарезал яблок, старательно размешал все это и уж тогда предложил Богдану: — Доставай ложку — и за дело!

Бруствер, замаскированный картофельной ботвой, скрывал их от противника. Земля была мокрая, черная, и розовые лепестки мака, сбитые ночью дождем, повсюду прилипли к пей. Расчистив на краю окопа местечко, поставили там котелок и приступили к своей тюре.

Звучно отхлебывая, сержант для более тесного знакомства рассказывал Богдану о себе:

— Цоберябой я. Странная фамилия, эге ж? Кое-кому она кажется смешной, а ведь есть и посмешнее: Пищуха, Непийпиво, Обийдихата... Был еще у нас в полку старшина Папибудьласка, теперь уже нет его... Ты ешь, ешь, — поощрял он Колосовского, — завтрака не будет, а обеда — и вовсе. Походные кухни наши все порасстреляны, третий день вот так, на подпожном корму живем.

Вскоре Богдан узнал от него все самое важное, что нужно врать бойцу: откуда немец чаще всего бьет, и когда он особенно пеистовствует, и каким путем надо пробираться за этим вот сахаром или, скажем, на КП батальона, если туда вызовут.

Из рассказов сержанта перед Колосовским вставал тяжелый боевой путь полка, путь, отмеченный кровопролитными боями на разных, начиная с границы, рубежах, из которых Рось — далеко не самый трудный.

— Они все хотят спихнуть нас отсюда, чтобы вырваться на шоссе, — объяснял сержант, — но если уж без вас не спихнули, то теперь... разве только обойдут. Когда им в лоб не удастся — десанты забрасывают в тыл, сволочи. Ну, мы им не Греция, это они могли несчастную ту Грецию парашютами накрыть. В общем, не жалей, что попал к нам в полк. Командир полка — старый вояка, еще у Котовского воевал.

Слушая сержанта, Богдан легко представлял себе отца, Дмитрия Колосовского, во главе такого полка. Одно время, в первые годы после гражданской, и отец служил у границы, на Збруче, пока не перевели в Запорожье. Может, сейчас он командовал бы вот таким же полком — стрелковым, Краснознаменным...

Тишина. Пальбы не слышно. Бойцы смелеют: то тут, то там выглядывают из окопов. Колосовский и сержант тоже не прячутся. Склонившись над котелком, они заканчивали сладкую свою тюрю, как вдруг между ними, меж

их головами что-то вжикнуло. Пуля! Не успели даже испугаться. Сдохнули лишь потом. Инстинктивно присев, оторопело поглядели друг на друга.

— Вот гад! — ругнулся сержант. — Снайпер ихний... Высунулись, а он сразу и напомнил, чтобы не забывались.

«Это она, смерть, пролетела», — подумал Богдан, все еще глядя на сержанта, который точно так же смотрел на него с улыбкой, будто радуясь, что не только он сам остался в живых, но и студент жив тоже.

Вовек не забыть им этой пули, что пролетела между ними, между их головами и породнила их каким-то особенным родством, объединила особым таинством — таинством самой жизни. «Теперь мы побратимы», — подумал Богдан, глядя на сержанта.

— Вот это и называется — на волосок, — тихо проговорил сержант. — Сантиметр сюда или туда — и одному из нас уже ложка не нужна. Надо, брат, одеть голову в сталь.

Они падали каски. Цоберябой достал из кармана непочатую пачку махорки, сперва понюхал ее, затем разорвал:

— Бери крути, не жалея, у нас этого зелья вдоволь. Хлебом снабжают не всегда, зато махорки позавчера целый чувал привезли, у каждого теперь полно. Крути, чего ты?

— Я не курю.

— Это пока студентом был, а сейчас, брат, начинай. В окопах с этим веселее...

Богдан, улыбнувшись, неумело стал сооружать из газетного обрывка сигарку; она расклеивалась, но он все-таки свернул, прикурив, затянулся. Голова пошла кругом, он почувствовал, что пьянеет, и после первых же затяжек вынужден был бросить самокрутку. А Цоберябой попыхивал так, что дым валил из окопа, как из паровоза.

— Не заметят? — спросил Богдан.

Сержант успокоил:

— Подумают, земля после дождя парит. Видишь, как припекает, даже на сон клонит. Завалюсь-ка я минут этак на двести. И тебе советую: ведь у нас тут только днем и поспишь, ночью не дадут.

— Нет, я не буду спать, — отказался Колосовский и снова выглянул из окопа. — Интересно, откуда он бьет, снайпер этот?

— Хочешь выследить? Вряд ли. Он где-то там в чаще, в вербах — левее моста. Ну, я сплю.

Сержант съежился на дне сырого окопа, согнув в три погибели свое могучее тело, и вправду быстро уснул. Богдан, устроившись в другом конце вырытого углом окопа, приковал взгляд к вербам противоположного берега. Он следил за шатрами зелени — не шевельнется ли в их глубине ветка, не сверкнет ли где выстрел. «Ты снайпер, но я тоже не мазал на стрельбах», — подумал он, напрягая зрение.

Вербы, казалось, дремали. Ни единого движения в тенистых ветвях, ни единого выстрела оттуда, — только где-то на левом фланге потатакивает пулемет.

Несподалеку, за картофельной ботвой, хозяйничает в своем окопе Степура — его небритая щека виднеется из-под каски.

— Сторожишь? — обращается он к Богдану.

— Да, хочу выследить, откуда он бьет.

— Тогда запасайся терпением...

У Богдана терпения хоть отбавляй. Все время, пока сержант спал, он, изготовив винтовку к стрельбе, напряженно всматривался в зеленые заросли противоположного берега. Один раз ему показалось, что в глубине верб мелькнула какая-то тень, и он уже ждал выстрела, но выстрела почему-то не последовало.

Сержант, выславшись, сладко потянулся в окопе, зевнул:

— Ну, как там? Не появляется фашистская кукушка?

Он поднялся, похрустел суставами, потягиваясь.

— О, Корчма мой снова землю ворочает... — Цоберябой кивнул куда-то направо. — Он как только затоскует, так сразу и за лопату — ковыряет да ковыряет, все ему кажется, что мелко. Ох и трудяга!

— Кто он, этот Корчма?

— Земляк мой, односельчанин, всю кадровую вместе служим. Из одного села мы и какие-то даже родственники дальние, а вот характеры у нас — небо и земля. Я больше песни люблю, а он сапоги. Все время только и твердит: «Вот кабы мне, милоч, командирские сапоги раздобыть!» А я и в обмотках отлично себя чувствую... Э-гей, Корчма, до воды доберешься! — крикнул он туда, где взлетала вверх земля, выбрасываемая невидимым бойцом, и потом снова обратился к Богдану: — Там у него в окопе целый склад: в одной нише патроны, в другой — гранаты, в третьей — пудра, вазелины и кремы всякие...

— Зачем они ему?

— Набрал в магазине и ноги натпрает да ботинки смазывает, чтоб мягче были. А пудра — и не знаю зачем, — может, для Фанаски бережет. Девушка была у нас с ним одна на примете, Фанаска, недавно вышла замуж, в Винницу переехала... — Сержант помолчал, а затем голос его изменился, погрузнел. — Теперь там, в нашем селе, захватчики немецкие свои порядки наводят. Хоть убей, не верится, что они уже там... С засученными рукавами соскакивают с мотоциклов — млеко давай, яйки. Ну, погодите же, получите вы от нас яйки. Немало мы уложили вас у границы — еще больше уложим. Будем давить по одному, истреблять десятками, сотнями, как крыс, — так я решил.

— Погоди, кажется, что-то промелькнуло, — принял к винтовке Богдан.

Сержант, навалившись грудью на бруствер, тоже стал всматриваться в вербы на том берегу. Солнце теперь глубже проникало в заросли, но и сейчас там не наблюдалось никакого движения.

— А не спробовать ли нам выманить его? — предложил сержант. — Немец, что ни говори, все-таки глупее нас, как думаешь?

Надев на штык каску, Цоберябой отодвинул ее в сторону, в кусты картофеля, и, пригнувшись, стал там пошевеливать ею. Богдан тем временем, не спуская глаз, следил за вербой, которая казалась ему наиболее подозрительной.

Прошло немало времени, пока сержанту удалось-таки спровоцировать снайпера на выстрел. Неприятельская пуля звякнула о каску, и в тот же миг Колосовский нажал на спусковой крючок.

Ветви качнулись.

— Падает, падает! — крикнул сержант.

Теперь они оба хорошо видели, как, ломая ветки, валится раскоряченное тело, им даже послышалось, как оно глухо шлепнулось на землю.

— Упал, ей-же-ей, упал! — закричали из окопов. — Гупнул, как груша! А еще говорят, что груш на вербе не бывает!

— Кто это там его? — послышалось от дороги, из командирского блиндажа.

И Цоберябой ответил громко, с хвастливой гордостью:

— Студент мой сбил!

Враг почти не тревожил их в этот день. Он словно бы выбыл о них или не хотел замечать. Далеко слева гудела канонада, да и справа все содрогалось, будто танки своими бронированными лбами разбивали, таранили где-то там железное небо. А тут, над тихой Росью, среди разомлевших верб, война вроде бы задремала, как дремали сейчас, согнувшись в своих окопах, бойцы, пригретые солнцем и парной землей.

Под вечер снова прошел дождь, короткий, летучий, и студбатовцам было видно, как он седой стеной уходит за густые вербы, где был убит снайпер, длинными прядями седеет, пронизанный солнцем на лугах зеленых, далеких. И только пробежал дождь и проглянуло солнце, бойцы увидели, как где-то на ловадах, за Росью, среди мокрых, сверкающих верб радуга воду берет.

Степуре хорошо была видна радуга из окопа. Она стояла под темной тучей, поднимаясь над войной, над побоищем, кромсавшим землю, стояла в вечной семицветной красе своей, недосыгаемая для вражеских снарядов. Потом радугу почти всю закрыло тучей, лишь кусок ее остался на горизонте, круглый, как яблоко... Огромное яблоко рдеет в темных далеких тучах. «Немой стою перед твоею красой, природа!» — хотелось воскликнуть Степуре. Странная душа человеческая: глядел на радугу в себе, а видел Марьяну, харьковчанку краснощекую. Замужнею стала, и надо бы давно выбросить ее из головы, а не получается, приходит она и сюда к нему в окоп со своей жаркой, недоступной для него любовью... «Неужели Марьяна не могла полюбить меня, если бы не было его? — думалось Степуре. — Ведь должно же быть и во мне что-то привлекательное для девочек? Вон приходила в лагерь вместе с остальными Ольга-гречанка, она же ко мне приходила. Если Ольга могла, — значит, могла бы и Марьяна, не обворожи, не перехвати ее другой!»

Окоп Лагутина неподалеку от Степуры, наискосок, если смотреть в сторону моста, под расщепленным стволом яблони. Степура и сейчас видит Лагутина, его затылок. Прислонившись грудью к брустверу, Лагутин смотрит куда-то в сторону реки. Без каски, в измятой шинели, еще и воротник поднял, — видно как спал в шинели, так и остался в ней, чтоб высохла прямо на нем, как

высыхает сейчас шинель и на Степуре. Винтовка Степуры лежит на бруствере, закрепленная, пристрелянная к мосту, готовая в любую секунду открыть огонь, как только появится противник. По линии прицела Степура видит кусок вербы — это сразу же за мостом (почему-то кажется, что именно из-за того куста должен выскочить враг); а чуть поведешь глазом в сторону, опять наткнешься на Лагутина, на его выставленный над окопом затылок...

С досадой отвернувшись от Лагутина, Степура видит в окне Колосовского, который все наблюдает из-под каски за вражеским берегом, и его соседа — сержанта Цоберябого, которого уже каждый тут знает по громоподобному голосу и веселому, компанейскому нраву. Цоберябой! И верно, чудная фамилия. Тысячами проходят вот так мимо тебя люди, и среди них вдруг Цоберябой. Откуда? Почему его зовут так, а не иначе? Когда-то, давным-давно, знать, окрестили так вот паны, записали в ревизские сказки, не без злого умысла приравняв человека к волю, да так и песут из поколения в поколение это имя и прадеды сержанта, и деды, и отец, и сам оп... В родном селе Степуры немало людей с такими же вот странными именами, как бы в насмешку придуманными когда-то паном; в революцию эти имена делались крылатыми, звучали грозно и славно, а в наши дни многие из них стали именами знатных людей страны, орденоносцев, участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

У отца Степуры, бригадира огороднической бригады, тоже медаль, полученная на выставке. Из рода хлеборобов вышел Андрей Степура в студенты. Будучи уже студентом, вставал, как хлебороб, на заре, спешил, торопился собрать урожай знаний, до очумения сидел, обложенный грудями книг, в библиотеке даже по выходным. Знал: там, куда поедет после университета, не будет таких книгохранилищ. Сын села трудового, он с детства проникся любовью к труду земледельца, подростком умел управлять трактором, переняв эту науку от старшего брата; знаком его рукам и штурвал комбайна; каждое лето во время каникул односельчане видели его то у штурвала степного корабля, то среди самых плечистых, что возят зерно на станцию. С малых лет парню привито глубокое уважение к хлебу, отношение к нему как к чему-то самому святому, и когда война прямо с марша бросила

студбат в массивы колхозных хлебов и Степура увидел, что хлеб тут уже ничего не значит и его безжалостно топчут, оскверняют, и сам он брел с виптовкой среди зарумянившейся полноколосной чудесной пшепиды «украинки», против воли топча, попирая ее сапогами, — это был самый тяжкий день в его жизни, это было для него самым ужасным из всего, что принесла с собой война. Колосья, собранные в красивый стоп на народных праздниках в День урожая, колосья, гордо золотящиеся в государственном гербе, — увидеть их вдруг повергнутыми, смешанными с землей в черных смрадных воропках — что может быть большее для хлебороба! Все это до сих пор стояло перед глазами Степуры, как стоял перед ним образ растерзанного миной Дробахи, которого они похоронили там, в хлебах. Отсмеялся Дробаха, отгулял... Если бы можно было остановить войну одним ударом — ничего другого не хотел бы Степура от жизни.

С наступлением сумерек приказано было получать сухари. Сухарей было мало, и Корчма, пригнувшись в картофельной ботве, начал их делить, умело, ловко разламывая и раскладывая ровными кучками на расстеленной плащ-палатке.

— Гляди хорошенько, а то как раз себя и обделишь, — подтрунивал Цоберябой над Корчмой.

А Корчма разложил, подравнял кучки и, потребовав, чтоб один из них отвернулся, громко крикнул:

— Кому?

Так обычно поступают дети, которые, спрятав руки за спину и зажав в одной из них конфету, заставляют угадывать: «В какой?» Студентам, однако, такой способ дележки пришелся не по душе.

— Давай без фокусов, — буркнул Лагутин.

— И без этого обойдемся, — поддержал его Колосовский. — Разбирайте, я согласен последним.

Корчма, похоже, был очень обижен, что его метод дележки не получил у студентов одобрения и что они только посмеялись над его предложением.

— Значит, не совсем еще проголодались, ежели крутите носом, — сказал он, оскорбленный в самых лучших своих намерениях. — Вот когда затянете ремни на последнюю дырочку, тогда каждой крохой дорожить будете.

— Торопись, землячок, паек съесть, — весело посоветовал Цоберябой Корчме, когда тот забрал свои сухари. — А то убьют, и порция твоя пропадет.

Еще не догрызли сухари, как из тени садов появились командиры, слышался над окопами молодой, задорный голос политрука Панюшкина:

— А ну, орлы, кто хочет размяться? Есть задание!

Возле статного, туго перетянутого ремнем в талии Панюшкина Степура увидел командира своей роты, лейтенанта Осадчего, невысокого, с выпяченной грудью. Вот он, присматриваясь, склонился над Степуриным окопом.

— Это кто здесь?

— Курсант Степура.

— Ну, Степура, пойдешь?

Степуре хотелось узнать, куда, о каком задании идет речь. Но не успел он спросить, как из лагунтинского окопа прозвучало — с готовностью и словно бы даже с вызовом:

— Иду, товарищ командир!

Это Лагутин отвечал Панюшкину, и Степура заспешил:

— Иду, иду.

Ему стало досадно, что Лагутин и тут его опередил.

Колосовский и сержант Цоберябой тоже вызвались пойти, однако Панюшкин, который перед тем приходил благодарить их за убитого вражеского снайпера, отказал им:

— Снайперы? С вами у меня будет особый разговор.

Вскоре десятка полтора отобранных из разных подразделений бойцов стояли на темном подворье, позади кирпичного дома, в подвале которого разместился КП батальона.

Майор Краснопольский, щуплый, болезненный на вид человек (перед войной он заведовал военной кафедрой в одном из харьковских институтов, а теперь был назначен командиром студбата), объяснял существо задания.

— Городок этот, как вы сами знаете, пуст, — говорил он сердитым, надтреснутым голосом. — Население эвакуировано. Однако нам сообщили, что в тылу батальона, в окне одного из домов, был только что замечен подозрительный свет. Ваша задача — обыскать дом, выяснить, в чем дело, кто светит.

Майор не сказал, что это, возможно, немецкие автоматчики уже забрались туда, засели в ближнем их тылу, в пустом доме, но и без объяснений каждый понимал, что Краснопольский имеет в виду.

— Блеснуло и тут же погасло, — взволнованно отзывался Гладун, который до сих пор почти незаметный стоял под темной глухой стеной. Оказывается, это он

первым и увидел подозрительный свет в доме, когда возвращался из полковых тылов (Гладун выполнял теперь обязанности старшины батальона).— Жителей-то в местечке нет, из наших там тоже никого нет, кому там светить? Не исключено, что и автоматчики забрались...

— Итак, выполняйте, — сказал Краснопольский. — На выполнение задания вас поведет товарищ Гладун. Забирайте людей, товарищ Гладун, и ни пуха ни пера.

Гладун вовсе не ожидал такого оборота дела. Думал, достаточно будет сообщить, высказать подозрение, и кого-нибудь пошлют, а они посылают его. Слышно было, как он даже захлебнулся, отвечая Краснопольскому уставным, неслухом «слушаюсь».

И вот они идут. Молчаливые, сосредоточенные, идут на задание, которое неизвестно чем для них кончится. Большинство — студбатовцы. В темноте Степура узнает знакомую, с поднятым воротником шинели фигуру Лагутина, слышит возле себя Ребрика, Бутенко с филологического — они изредка обмениваются на ходу короткими фразами. Для студбатовцев это первое боевое задание, первая проворка нервов, выдержки, мужества. Тут можешь встретиться с врагом лицом к лицу. И либо ты его, либо он тебя. На таких вот заданиях пускают в ход и штык, и приклад, а может случиться, что и цепкую руку врага почувствуешь на своем горле...

Гладун идет вблизи от Степуры насупленный, его все время угнетает мысль, что он дал маху и эта оплошность может стоить ему жизни. Какой черт потянул его за язык, кто заставил сболтнуть комбату об этом огоньке — будь он трижды проклят! Промолчи он, так не попал бы в такой переплет, никому бы и в голову не пришло посылать его на это задание, из которого, кто знает, вернешься ли живым.

— Выпало же нам, — говорит он доверительно Степуре. — Хуже и не придумаешь...

С той поры как Гладун оказался на фронте, его не узнать. Куда только девалась его самодовольная молодцеватость, которой он так отличался в лагере! Похудел, осунулся, весь как-то обмяк и раскис, стал равнодушным ко всему. И сейчас ведет их между темных домов не строем, просто гурьбой, кажется, ему теперь на все наплевать: какое ему дело, что у того вон воротник поднят не по уставу, а у этого хлястик болтается на одной пуговице и что противогазов на многих уже нет...

Не до того теперь Гладуну. Поставленный волей случая во главе группы, он ведет ее куда-то через заросли огородов, часто останавливаясь, пугливо приглядываясь к домам, к садам. Бурьян под ногами, деревья вокруг — все полно тьмы. Зловещая тьма, окружающая их, похоже, целиком завладела Гладуном, тревожит его, страшит; он идет в темноту, как тот конь, который за каждым кустом чувствует волка. Наконец пришли. Гладун приложил палец к губам:

— Тс-с!

Все замерли. Огромный, темный и словно бы насторожившийся дом. Полуразбитые окна, бурьян выше фундамента...

— Тут!

Руки сами сжимают оружие, холодок близкой опасности пробегает по телу. Ждут команды. Она подается шепотом:

— Окружить дом!

Украдкой, тихо ступая, обходят, окружают дом. Присев, притаились под окнами то ли в бурьянах росистых, то ли в цветах. Если бы не дышать, стать невидимкой! Может быть, на них уже смотрят из окон, с чердака? Целятся? Вот-вот громом и молнией хлестнет оттуда. Под кустом против углового окна собралась целая группа. Гладун, присев на корточки и указывая на темный провал окна, шепчет каким-то не своим, потерянным голосом:

— Ну, кто первый?

Это означает: кто первым полезет в выломленное окно, кто первым бросится навстречу струям автоматного огня, навстречу собственной смерти?

— Ну?

Молчат. Поглядывают на дом как на крепость. Положение того, кто сейчас внутри дома, куда выгоднее. Притаившись за стеной, он, возможно, только и ждет, пока ты начнешь карабкаться к окну, он услышит каждое твоё движение, а ты будешь лезть в ту дыру, как в черную зубастую пасть.

— Ну, кто, кто? — нетерпеливо повторяет Гладун, и голос его свирепеет.

Из тех, кто притих в бурьяне, вдруг один поднялся и, сбросив шпатель, двинулся к окну. Степуру бросило в жар: Лагутин! Он первым идет, берет на себя самое трудное. Поди́лся из бурьяна и как бы сразу поднялся

над ними всеми, стал самым лучшим, и будто Марьяна увидела его в этот миг, увидела, как он, ее Славик, победив страх, первым устремился навстречу опасности, чтобы только выручить товарищей. В мгновение Степура очутился возле другого окна. Почти одновременно они ухватились за подоконники, подтянулись на руках — один легко, другой тяжело, неловко — и бесшумно исчезли внутри дома.

Гладун, присев в бурьяне еще ниже, замер в напряжении. Он ожидает, что вот-вот весь дом заходит ходун, засверкает огнем из стволов, послышатся стоны, предсмертные крики, возня; но ничего этого нет. Слышно только, как оба они, живые и невредимые, неторопливо ходят в гулкой пустоте дома — один тут, другой там, — чем-то громыхают, что-то переворачивают и, забравшись наверх, возятся на чердаке, будто домовые.

Через некоторое время они появились в оконных проемах.

— Нема, — сказал Лагутиц, и в голосе его Гладупу почудилось нечто похожее на насмешку. — Сдается, их тут и не было.

Гладун поднялся из бурьяна.

— Не может быть... В погреб вы заглядывали?

— Пусто всюду, — отозвался Степура. — Можете зайти убедиться. Я дверь вот открою.

Вскоре дверь была распахнута, и бойцы, разом ввалившись в дом, обошли, обыскали все его уголки. Шкафы перевернуты, на полу перья из подушек, обрывки газет... Думали, хоть газеты немецкие, оказалось — наши.

Собравшись вместе, стали гадать: куда же они могли деться, те таинственные сигнальщики, куда могли скрыться так быстро?

— Может, это не тот дом? — высказал сомнение Степура, обращаясь к Гладуну. — Вы не ошиблись?

— Нет, я не мог ошибиться, — твердо возразил Гладун. — Вот там я шел, тут повернул... — Он вдруг пригнулся, будто кого-то заметил в темпоте. — А что, ежели они в соседний дом перемахнули?

— Мы бы их увидели.

— А еще до нашего прихода?

Лагутиц подсказал:

— Давайте и там посмотрим, все прочедем.

Разбредясь и уже громко разговаривая, стали заглядывать в окна соседних домов, дергать за ручки дверей, переключаться.

— Эй, а ну сюда! — вдруг прозвучал посредине двора голос студбатовца Бутенко. Чувствовалось, он там обнаружил что-то важное.

Когда сбежались, Бутенко показал на дом, который они только что тщательно обыскали.

— Вот отсюда гляньте на него, в этом ракурсе. Видите, блестит, переливается?

И верно, в одном из окон мерцал, пореливался свет. Видно, там осталось несколько стекол; напротив, далеко за Росью, что-то горело, и в окне отражались отблески зарева.

— Вот эти отблески вы и видели, товарищ старшина, — сказал Лагутин.

— Вот это и есть ваши автоматчики! — подбросил Бутенко. И все их нервное напряжение разрядилось неудержимым хохотом.

Несмотря на комичность своего положения, Гладун, кажется, тоже был доволен тем, как обернулось дело. В приливе доброты разрешил хлопцам перекур. Мокрые, по пояс в росе, забрались в какой-то темный сарайчик, где было уютно, сухо, и, рассевшись по углам, начали крутить сигарки.

Степура уже курил, когда кто-то тронул его рукой.

— Дай прикурить, браток...

По голосу узнал Лагутина. Поднес ему сигарку, и тот, жадно посасывая, стал прикуривать от нее. Когда Лагутин втягивал воздух, огонь разгорался, озаряя его осунувшееся, испачканное грязью лицо и светлый пухок, заметный на подбородке. «Марьянин фронтовик», — подумал о нем Степура, и ему почему-то стало до боли жаль обоих — и Лагутина и Марьяну.

Что там за Росью? Что за теми черными купами верб, где небо всю ночь тревожно рдеет от пожаров? Неизвестность, пожары, тьма. Враг уже хозяйничает на том берегу. Легко сказать — на том берегу. Казалось, сам воздух там дышит смертью и деревья там не такие, как тут, и земля не такая, и вода. Кажется, и птица, залетев туда,

упадет мертвой. Непроницаемо, недоступно. А все же можно было проникать и туда. Разведчики проникали.

Около полуночи Богдана Колосовского вызвали на КП батальона.

— Пойдете в разведку, товарищ курсант, — поднявшись из-за стола, сказал комиссар Лещенко, которого Богдан едва узнал в сумраке подвала.

— Есть, товарищ комиссар.

— Поведет вашу группу политрук Панюшкин.

Среди утонувших в махорочном дыму людей Колосовский разглядел и Панюшкина, как всегда улыбающегося, а возле него в группе бойцов — сержанта Цоберябого, который был вызван сюда чуть раньше. Некоторые из бойцов как раз снимали с себя противогазы, шинели и, суровые, молчаливые, бросали все это в одну кучу, в угол.

— В тыл идете, к врагу в тыл, — говорил комиссар, остановившись перед Колосовским и строго осматривая его. — Документы, какие есть, сдайте батальонному писарю на хранение... Это временно, — добавил он как бы между прочим.

Вынырнув откуда-то из-за спин командиров, у стола тотчас появился Спартак Павлущенко. Последнее время он исполняет здесь писарские обязанности и на этом основании не вылезает из КП.

Колосовский неохотно положил на стол свое курсантское удостоверение, перед тем как расстаться с комсомольским билетом, невольно задержал его в руке, посмотрел на комиссара:

— И комсомольский сдавать?

— Все, все, — подтвердил комиссар.

Комсомольский билет... Положив его, вспомнил вдруг, что остался еще медальон, тот черный медальон, что выдали в дороге.

— И медальон?

— Нет, — ответил комиссар. — Медальон оставь при себе.

Богдан присоединился к группе разведчиков.

— Все это нам возвратят, не горюй, — успокоил его политрук Панюшкин, который, кажется, один еще здесь, среди этих суровых людей, не разучился улыбаться. Его широкие белые зубы будто не умещались под губами, так все время и светились, сверкали в приветливой улыбке. — Шинель тоже брось туда, все это нам сейчас ни

к чему, — пренебрежительно кивнул он в угол. — Разведчик должен быть легок и бесшумен, как ночная птица.

Сам политрук Панюшкин был настоящим воплощением такой легкости — она чувствовалась во всем его теле, во всей его юношеской стати. Стройный, упругий — пи шинели на нем, ни рапца, даже каски нет на голове, только пилотка лихо сбита набекрень да непокорно выбился из-под нее светло-русый чуб. Пилотка с рубиновой звездой да черный трофейный автомат поперек груди. «Вот так я живу, вот так я люблю — чтоб ничего на мне лишнего, чтоб только автомат через грудь да гранаты торчали из карманов», — будто говорит он всем своим видом, и Богдану невольно захотелось быть таким же.

Бойцы, окружавшие политрука — их было человек десять, — за исключением сержанта Цоберябого, были незнакомы Богдану. Впереди стоял коренастый ефрейтор с монгольским типом лица, Богдан так и называл его в мыслях — Монгол, за ним пабивал патрупами подсумок курпосый парень, этого так и называл — Курносый, еще один был в фуражке пограничника — для Богдана он стал Пограничник... Они его тоже не знали, для них он был просто новичок из студбата, и, наверно, так его и называли — Студент. И вот, впервые сведенные в одну группу, в большинстве совершенно незнакомые между собою, объединенные лишь улыбкой политрука Панюшкина, они должны были уйти с ним в почную непроглядную темень, в зону смерти — за Рось.

Как на обреченного посмотрел Павлущенко на Богдана, когда тот с новыми своими товарищами уходил с КП. Похоже, задание было какое-то особенное, потому что во дворе к разведчикам присоединилось еще несколько саперов с тяжелыми ящиками — эти ящики со взрывчаткой потом по очереди будут нести бойцы.

Незамеченные, перебрались в темноте через Рось довольно далеко от деревянного моста, что напротив позиции батальона. Пограничник, который родом из этих мест, вброд провел их на ту сторону, прямо в кусты лозняка, в вязкий песок, провел так тихо, что ни одна ракета не вспыхнула над ними, ни одна пуля не просвистела.

За песком, за ивняком начались болота и озера — побрели по ним. Нужно было брести так, чтобы не хлюпало, не булькало, не чавкало, брести неслышно и в то же время не потерять в темноте товарищей. Руки немели от тяжелых ципковых ящиков с патронами, псевдобные ящи-

ки со взрывчаткой то и дело сползали с плеч — для тех, кто их нес, это было настоящей пыткой.

Враг держался шоссе, а разведчики шли стороной, в обход. По болотным кустам, кочкам ступали, как по мхам, всякий посторонний шорох настораживал — притаившаяся за каждым кустом тьма могла в любой миг послать ракету, ударить в лицо выстрелом. Мир, в который они углублялись, был для них теперь действительно зоной смерти, где за малейшую неосторожность можешь заплатить жизнью.

При всем своем юношеском жизнелюбии Колосовский в эту минуту боялся не столько смерти — применительно к себе он ее просто как-то не представлял, — его ужасало другое: возможность быть раненым, попасть в плен. Сейчас это было самым вероятным и самым страшным. Если не вернешься отсюда — пропал бесследно, пропал без вести, сгинул в зафронтовой безвестности — для одних честный, а для других навсегда опозоренный, потому что откуда узнают, как и где ты остался за огненной чертой... Самые дорогие для тебя люди, как они узнают правду о тебе, о твоих последних шагах в бою? В медальоне оставил два адреса: университетский — Танин, и второй — матери, она живет теперь на Кубани у старшего сына, механика совхоза. Два самых дорогих адреса в медальоне. Но кто откроет этот медальон, кто пошлет весточку, когда наступит для него смертный час тут, за линией фронта?

Чем дальше продвигались разведчики, тем труднее становился их путь; болота не кончались, брели по ним, спотыкаясь о какие-то корневища, путаясь в жилистых, густых лозняках. Вода то исчезает, то опять хлюпает под ногами, черная, тяжелая, как нефть, с типой да осоклой-резучкой, сквозь них с трудом проталкиваешь ногу, скользишь по корягам, падаешь, вязнешь. Что ни шаг — новое усилие. Сапоги стали пудовыми — в них полно воды.

А политрук Панюшкин, шагая впереди, все потирает: скорее, скорее — близится рассвет! Он уже сообщил им, куда идут. Группе приказано захватить и уничтожить железнодорожный мост — паши в суматохе отступления не успели разрушить его, и мост целым и невредимым остался у врага в тылу. Разведчикам нужно выйти к мосту затемно, пока не разгорится утренняя заря, пока можно будет подкрасться к нему незаметно. Потому-то политрук Панюшкин так торопит своих бой-

цов, не дает им отдыха, хотя и сам дышит тяжело и пот с него катит градом.

— Еще рывок, хлопцы, еще рывок!

Особенно задерживают группу те, кто в очередь несет ящики со взрывчаткой. Измученные тяжелою ношей, они не успевают за другими, запыхавшись, часто спотыкаются в зарослях, падают, отстают. В конце концов стало ясно, что при таком темпе им затемно не выйти к мосту. Панюшкин на ходу принял решение: разделить группу на две части. Саперы во главе с сержантом Цоберябым будут нести взрывчатку и двигаться вслед за ушедшей вперед во главе с Панюшкиным основной группой.

Политрук повел разведчиков почти бегом. Никто не роптал, хотя бойцы едва не падали, умытаясь соленым потом. Каждый понимал — скоро развиднеется, скоро конец темноте, прикрывающей и защищающей их. Знали, к какому объекту должны были выйти, и все же было совершеннейшей неожиданностью, когда впереди из предрассветной мглы проступила вдруг, как на огромном негативе, седая радуга моста. Притаившись в кустарнике, стали всматриваться в эту холодную, застывшую в тумане радугу, которой должны были овладеть. Вот он, мост. Целый-целехонький! Будто только что построенный.

Согнувшись, осторожно стали пробираться вперед. На фоне светлеющего неба все ярвственнее вырисовывались металлические фермы, а у входа на мост — неподвижная фигура часового в плащ-накидке. За мостом по ту сторону темнела сторожевая будка — там, несомненно, тоже был пост. Нужно было немедленно подкрасться и снять часового. Ждали, кого из них пошлет Панюшкин. Но он не стал никого посылать.

— Колосовский, остаетесь за меня!

И, припав к земле, пополз к насыпи. Колосовский и Монгол, которые лежали ближе всех к политруку, тоже поползли за ним. Все трое уже подбирались к насыпи, когда от моста ударило струей огня — рваной струей трассирующих пуль. Бил из автомата часовой. Пули шли высоко над ними, часовой стрелял покамест наугад. Но это был плохой знак: тревога поднята. Теперь нельзя было мешкать. Отсюда, из-под насыпи, фигура вражеского часового на мосту хорошо вырисовывалась, и Панюшкин, выставив автомат, дал по фашисту короткую очередь. Одна очередь — и часового не стало. Они видели, как он упал навзничь, как бы переломившись в позвоночнике.

— Вперед!

Панюшкин, поднявшись, махнул в направлении моста своим черным автоматом, который казался сейчас каким-то особенно легким, игрушечным в его огромной, напряженно поднятой руке. Только они бросились по насыпи вверх, как с другой стороны, от будки у моста, оглушительно ударил пулемет. Панюшкин приказал Монголу взять остальных бойцов, оставшихся внизу, и захватить будку. Вскоре, пробравшись под мостом через овраг на ту сторону, разведчики уже поднимались по насыпи к сторожевой будке. Они торопились, стреляли щедро, бешено. Панюшкин и Колосовский поддерживали их огнем, но немцы, видно, успели нырнуть в хлеба: когда бойцы вскочили в будку, она была пустой. Еще воняло здесь вражьем логовом, валялись кучи закопченных горячих гильз, невыстрелянные пулеметные диски, запасные обоймы для автоматов...

— Улизнули! Теперь лови их!

В хлебах, далеко тянувшихся от будки, мелькнула чья-то согнутая фигура. Пальнули вслед, а догнать — куда там. Хлеба высокие, густые, а дальше — посадки, в тумане — сады какого-то села...

— Как же это мы их выпустили? — сокрушался Пограничник, оглядывая хлеба. — Теперь держись! Приведут целую стаю!

Несмотря на близость опасности, их охватила радость — мост захвачен! Разгоряченные, взбудораженные, собрались возле убитого часового. Белобрысый, с облезлым от загара носом, немец был вовсе не страшный, лежал, скрючившись, на пятнистой своей, мокрой от крови плащ-накидке. На сапогах — крепкие стертые подковы, которые прошли небось пол-Европы...

Быстро обыскав немца, бойцы забрали документы и столкнули труп с моста; он полетел вниз головой, тяжело плюхнулся в густое, заросшее осокой болотце. Они — хозяева моста. Даже не верилось: один натиск, несколько минут боя, и уже им принадлежит эта серебристая металлическая радуга, которая мощно высится в предрассветный час среди родных просторов. Все тут исправно, добротно, фермы аж гудят, рельсы еще не поржавели, поблескивают сталью — хоть сейчас пускай по ним поезд!

Удивительное чувство овладело Колосовским, хмельное чувство первой боевой удачи. Окруженные врагом,

полками фашистскими, дивизиями, они, горстка советских бойцов, приступом отбили и удерживают этот мост среди открытых полей, удерживают эти вот высокие серебристые фермы, которые поднимаются в утреннюю зарю, будто железное знамя бесстрашия и непокорности! Но где же саперы? Подойдут ли они сюда прежде, чем появится с подкреплением немецкая охрана, успевшая ускользнуть? Нет, саперы должны успеть, должны!

Залегли вдоль насыпи и стали с терпением ждать.

Папюшкин, лежавший в одной цепи с бойцами, рассматривал документы убитого. Не полагаясь на свое знание немецкого языка, он подозвал Колосовского, и Богдан, как мог, принялся переводить ему записки в солдатской книжке.

За сухими сведениями, которые оставил в книжке немецкий штабной писарь, Колосовскому хотелось разглядеть человеческую судьбу того, кто лежал сейчас там, под мостом, в болотной трясине. Кто он и как очутился на Руси? Сам пришел или заставили? Название части, год рождения да еще звучное имя Ernst — все это говорило мало. Как он жил, кто его ждет дома? Кому напишут, что такого-то нет, пропал без вести? Одурманенный фашистской пропагандой, может, и в самом деле представлял себя сверхчеловеком, был уверен, что дойдет до Урала, станет властелином мира? И вот теперь, отброшенный этим миром, валяется под мостом, как падаль, и не для него встанет погостнее летнее утро...

— Да, этот больше не будет стрелять, — говорит Папюшкин, пряча документы убитого в карман. — А солнце, глянь, какое всходит!

Красное, сочное, выглянуло оно из утреннего тумана за далекими садами, осветило хлеба, фермы моста и залегших у насыпи разведчиков. Однако и солнце не обрадовало их. Сейчас, при свете дня, чувствовали они себя голыми подле этого моста, который возвышается среди просторов, как огромная мишень.

— Однако где же это наши? Не сбились ли они там?

Папюшкин нетерпеливо всматривался с насыпи в болотистый лозняковый край — оттуда должны были появиться саперы.

В этот миг сверху, по фермам моста, с металлическим звоном застучали пули.

— Каски в хлебах! — вскрикнул Пограничник, спрятавшийся на мосту за опорой.

Вскоре все уже видели, как, выпрыгнув из посадки, заблестели над хлебами немецкие каски. Автоматчики. Их много.

Рассыпавшись, идут медленно, вразброд, по с каждым шагом все ближе и ближе к мосту. С ходу ведут огонь, стреляют не целясь. Автомат в пузо — и нажимают, строчат перед собой, будто слепые. Металлический град все чаще докает по фермам. Разведчики, затаившись вдоль насыпи, не открывают ответного огня.

А еще через минуту на полевой дорожке вдоль посадки затарахтели мотоциклы. Влётев в хлеба, они быстро приближались, уже видны были пулеметчики.

Наиболее тяжелое для разведчиков начиналось именно сейчас. Это каждый понимал. Захватить мост было делом не таким уж сложным, главное — удержать, во что бы то ни стало удержать вот теперь, до прихода саперов! Пули со звоном ударялись о рельсы, рыли землю на насыпи перед самыми лицами разведчиков.

— Без приказа не отходить, — предупредил Панюшкин, готовя автомат к стрельбе. — Держаться во что бы то ни стало! Бить прицельно! Только прицельно!

Автоматная трескотня нарастает. Каски в хлебах все ближе. Видны оскалы ртов, черные от яростного крика.

Панюшкин, как и его соседи, приготовился к стрельбе лежа, рельс служит ему опорой, но в последнее мгновение, вскочив, стал прицеливаться с колена.

— Прицельно!

И только успел он выстрелить, как рука его неестественно дернулась, и автомат, отлетев, пополз с насыпи вниз. Панюшкин, поникнув, остался лежать на месте.

Колосовский бросился к нему и, стащив ниже под насыпь, приподнял, тряхнул за плечи:

— Товарищ командир! Товарищ политрук! — и поистово тряс, тряс его, словно хотел оживить.

Но в отяжелевшем, еще теплом теле уже не было жизни: он был убит наповал, несколькими пулями; одна из них ударила в висок, пробила голову — брызги крови запеклись в светлом чубе.

Уложив политрука на траву, Богдан подхватил его автомат и снова бросился на насыпь. Все уже вели огонь. Колосовский с ходу лег на том же месте, где был убит Панюшкин, и с того самого рельса, откуда только что

собрался вести огонь политрук, теперь он, Колосовский, стиснув зубы, выпустил длинную очередь по противнику. «Прицельно, прицельно! — упорно долбила мысль. — До последнего патрона!»

Живые фашистские каски в хлебах так близко — целься, не промахнись! Колосовский выстрелил. Слетела каска, и только после этого немец упал. Еще выстрел, и еще один упал, а он целился снова в эти ненавистные каски, видел, как падали враги, и это только распаляло его, каждую каску хотелось разбить, раздавить, расколоть, как скорлупу, вместе с черепом, который под нею прятался. О себе Колосовский не думал. Пули вызванивали по фермам все злее, щелкали по рельсам, вшивались в шпалы, но он не хотел их замечать, он люто презирал их, он впервые почувствовал в себе сейчас то, что отец его когда-то называл полнейшим презрением к смерти.

23

Мост этот, вероятно, имел какое-то особое значение; к тому же кто-то, видимо, чувствовал свою вину за то, что он достался врагу целым, — не потому ли из полка все время звонили по телефону на КП батальона, нетерпеливо допытывались, как там, не возвратилась ли почная разведка.

— Еще нету, нету, — отвечал комиссар Лещенко, и сам все больше и больше нервничал.

В углу подвала после бессонной ночи спал на расстеленной шинели комбат Краснопольский. У изголовья сидел Спартак Павлущенко и, следя за комиссаром, угадывал на его лице внутреннее беспокойство, с трудом скрываемую тревогу. Спартаку казалось, что он хорошо понимал состояние комиссара: ведь успех и неуспех разведки на его совести. Сам подбирал людей, сам посоветовал Панюшкину взять из числа студбатовцев Колосовского. Павлущенко считал тогда своим долгом предостеречь Панюшкина, но тот не обратил внимания на его предостережение. А зря. Ведь люди пошли в тыл врага! Там малейшая трещина может пропастью обернуться...

Отвечать за последствия должен, конечно, комиссар. Спартак решительно не мог понять того усиленного внимания, какое, начиная с райкома, комиссар Лещенко проявлял к Колосовскому, к человеку, как бы там ни было,

все же запятнанному. Спартак терялся в догадках: чем, в самом деле, объяснить это покровительство Колосовскому на каждом шагу? Стреляет хорошо? Но не один же он так стреляет! Храбр? Не один он храбр!

«Хорошо, что хоть документы у них отобрали,— думал о разведчиках Спартак,— а то враг мог бы еще и их комсомольскими билетами воспользоваться...»

Комиссар, прилегли в углу между связистами, снова с кем-то разговаривает по телефону. Похоже, опять с Девятым. Разговаривать с Девятым — мало в этом приятного. Крутой, бранчливый, он и сейчас, видимо, ругается повсю, потому что Лещенко краснеет и, еле сдерживая себя, отвечает с подчеркнутой вежливостью: там, на другом конце провода, видно, тоже интересуются, что за люди пошли в разведку, достаточно ли проверены, надежны ли; Лещенко уверяет, что людей послали надежных.

— А я и сейчас считаю, что не все там такие,— решается возразить Спартак, когда комиссар, закончив разговор, кладет трубку и сосредоточенно смотрит на аппарат, продолжая о чем-то думать.

— Что вы сказали? — не придя еще в себя после разговора с Девятым, обернулся Лещенко к Спартаку.

Тот повторил. Комиссар помолчал.

— Это вы из соображений перестраховки?

— Нет, от души.

Лещенко пересел поближе к нему, глянул ему в глаза внимательно:

— Кого вы имеете в виду?

— Вы же знаете. Я еще в райкоме предостерегал.

Комиссар встал, прошелся по подвалу и снова присел на ящике против Спартака.

— Товарищ комсорг, а вы в какой семье воспитывались?

— Семья здоровая. Отец завкадрами на оборонном заводе, мать — юрист...

Комиссар все пристальнее всматривался в Спартака:

— Вы никогда не думали, товарищ Павлущенко, что у вас чрезмерно развита подозрительность? Вам, студенту-гуманитарнику, у которого глаза должны быть открыты прежде всего на все самое светлое в людях, вам такая роль... к чему опа? Вот вы, начиная с райкома, да, верно, еще и раньше, упрямо преследуете одного из своих сокурников.

— Я не преследую. Я просто не до конца верю ему.

— У вас есть какие-нибудь основания не доверять Колосовскому?

— Я полагаю, товарищ батальонный комиссар, что логика тут может быть одна: человек, отец которого осужден советским судом на основе наших, советских законов, едва ли с такой уж охотой будет сражаться за эти законы, за наш строй. Во всяком случае, посылать такого человека во вражеский тыл...

— Ну, ну?

— Я ничего не сказал. Я только убежден, что подлиппых, до конца преданных нашему делу патриотов нужно искать среди не таких людей.

— У вас, товарищ курсант, превратное понимание патриотизма, в корне ошибочное, — холодно возразил Лещенко. — Вы, видимо, полагаете, что патриотизм — это священное чувство доступно только тем, к кому наша жизнь была повернута все время своей солнечной, своей самой щедрой стороной. Быть патриотом, когда жизнь тебя только по головке гладила, — это, конечно, хорошо. Но ты побудь вот в положении хотя бы того же Богдана Колосовского, когда сердце кровоточит, и с таким кровью облитым сердцем сумеешь стать выше всех бед и обид!

— Вы так говорите, будто сам я недостаточно обладаю этим чувством.

— Нет, товарищ Павлущенко, я знаю, что, когда понадобится, вы тоже не пощадите себя для защиты того строя, который вам так много дал в жизни. Вы участник финской, теперь доброволец, ваш патриотизм вне всякого сомнения. Но вы должны понять меня, человека, который видел в жизни чуть-чуть больше, чем вы. Я знаю людей, которые, оказавшись по несчастью даже в заключении, не изменили своим убеждениям, не перестали быть ленинцами. Колосовский тоже представляется мне таким человеком.

Сила убежденности чувствовалась в словах комиссара. Спартак сидел притихший, присмиревший. Вот он сказал тебе — гуманитарник... Подумай хорошенько. А что, ежели ты и в самом деле был несправедлив в своем недоверии, в предубежденности своей к Богдану? Что, если твоя линия в отношениях с людьми была действительно ошибочной и лишь теперь у тебя раскрываются на это глаза?

Связисты, проснувшись в своем углу, задымили сигарками и тоже завели разговор о судьбе ушедших в тыл к немцу. Один из них спросил комиссара:

— Если выполнят задание, товарищ комиссар... представите их к орденам?

Лещенко посмотрел в угол на связистов.

— Ордена их, может, где-то там сейчас кровью запекаются, — сердито ответил он и резко поднялся.

Подойдя к узкому подвальному окну, стал смотреть на ту сторону, за Рось, будто пытался увидеть сквозь заросли тальника своих разведчиков, и тропинки, по которым они идут, и тот далекий, облитый солнцем железнодорожный мост, который они пошли отбить у врага и уничтожить. День, белый день, а их нет, и можешь какие угодно делать предположения... Стрельбы не было, и вдруг за рекой среди полуденной тишины громыхнул далекий, приглушенный расстоянием взрыв. Комиссар переглянулся с телефонистами, посмотрел на Павлуценко:

— Слыхали?

— Слышал.

— То-то и оно.

У комиссара, видно, сразу полегчало на душе. Заходил по подвалу, взволнованный, просветлевший.

Наконец они из вражеского тыла подали первую весточку о себе. Мост взлетел на воздух. Моста больше нет! Но выйдут ли, вернутся ли они после этого? Ведь взрыв может означать и то, что разведчики живы, и совершенно противоположное — что их уже нет.

24

— Встать! Смирно! — гаркнул где-то у входа в подвал Гладун, и все, кто был в этот момент на КП, повскакивали и, вытянувшись, обратили взоры к двери. Последним вскочил на ноги майор Краснопольский.

По каменной лестнице, ведущей в подвал, спускался Девятый. Здоровый, широкоплечий, с волевым, скуластым лицом, в пятнах румянца как бы от мороза. Несмотря на жару, он был в кожаной куртке нараспашку, из-под которой виднелся крепко привинченный орден Красного Знамени; все знали — орден у Девятого за финскую. Он значительно моложе Краснопольского, старого воина, участника гражданской. Однако разницы в возрасте в данном

случае для Девятого, видимо, не существовало. Уставившись глазами на Краснопольского, который вытянулся перед ним, седой и взъерошенный после сна, с рубцом от чьей-то шинели на щеке, Девятый бесцеремонно набросился на него:

— Спите? Другие воюют, а вы дрыхнете?

Можно было возразить, что командир студбата прилег всего на часок после бессонной ночи и что впереди у него опять бессонная ночь, но сказать об этом Девятому означало вызвать еще большую бурю гнева и ругани, поэтому все промолчали.

Пройдя к окну, обращенному к реке, Девятый глянул туда, спросил, не возвратилась ли разведка.

— Разведчиков еще нет, — сказал комиссар Лесенко, — по думаем, что задание выполнено.

— Всё думаете... Какие основания?

— Только что слышали оттуда огромной силы взрыв.

— Э, до черта теперь всяких взрывов! — махнул рукой Девятый, отходя от окна, и этим нетерпеливым резким движением как бы отбросил разведчиков куда-то в прошлое: о них, мол, и говорить больше не стоит. Временно заменяя раненого командира полка, он теперь неистовствует вовсю.

— Не ударим лицом в грязь... Отомстим за командира... Надо только действовать, действовать! Хватит нам тут топтаться!..

Наступление. Перейти в наступление! — об этом он заговорил сейчас, широко шагая по подвалу, и только одно это владело теперь всеми его мыслями, на одно это была направлена вся его бурлящая энергия. Приказал немедленно вызвать командиров рот и политруков — он сам объяснит им задачу, поднимет их боевой дух. Ходит из угла в угол этой каменной клетки КП, как лев, и все внушает Краснопольскому, что не так, мол, страшен черт, как его малюют, что там за рекой немцев — кот наплакал, а когда командиры и политруки собрались, заполнив подвал, мощный бас Девятого зазвучал еще сильнее, и серые глаза его, глубоко притаившиеся под надбровными дугами, возбужденно засверкали, будто видели перед собою кипение боя и поверженных врагов. Да! Он переходит сейчас на этом участке в наступление. Приказывает немедленно готовить атаку! По его данным, враг отводит отсюда свои части, может быть, там, за рекой, вообще уже никого нет, а мы, как суслики, зарылись в зем-

лю и только прислушиваемся, как гудит на других участках война. Он размахивал картой, выхваченной из планшета, тыкал пальцем в какие-то пупкы: захватим этот, захватим тот, и к вечеру распроклятый железнодорожный мост уже будет в наших руках. Мост, потерю которого до сих пор не может простить нам старший хозяин. Воспламеняя других, он распалялся и сам; видно было, что душа его искренне жаждет атаки, боя.

Спартак смотрел на Девятого с восторгом. Вот таких бы нам больше! Прощал ему и грубость и вспыльчивость, все прощал за эту железную волю, неукротимую жажду броситься на врага, смять его, победить.

— У вас там кто у переправы? — обратился Девятый к Краснопольскому.

— Третья курсантская.

— Вот и поднимите ее для начала.

Краснопольский попытался было возразить, что сейчас, мол, неподходящее время для атаки, к тому же без артподготовки, среди бела дня, — не лучше ли провести ночную атаку, чтобы избежать лишних потерь? Но все его доводы не поколебали Девятого.

— А вы думали как? — набросился он на майора. — Война — и чтобы без потерь?

С первого же дня, едва прибыли на рубеж, майор Краснопольский и комиссар Лещенко почувствовали какую-то необъяснимую неприязнь к себе и к своему батальону со стороны этого человека, который тем не менее мог теперь распоряжаться ими, их судьбой. «А мы что, хуже?» — это были первые слова, какие услышали они от Девятого, узнавшего, что в полк вливается батальон студентов-добровольцев. Девятому почему-то казалось, что командир и комиссар студбата претендуют на какое-то особое, исключительное бережное отношение к своим курсантам, поскольку все это люди, которые еще вчера сидели на студенческой скамье, а теперь вот по собственной воле сменили тишину аудитории на фронтовой окоп. И хотя ни о каких привилегиях они вовсе не помышляли, Девятый, сам приписав им какие-то претензии, считал необходимым поскорее выбить из них несуществующий дух исключительности, подвергнуть их суровой закалке и жесточайшим испытаниям.

В боях, тяжелых, кровопролитных, полк потерял по дорогам отступления добрую половину личного состава. Подвергаясь с первых дней войны ударам моторизованных

частей врага, зубами цепляясь за каждый рубеж, Девятый, насколько это было в его власти, не щадил бойцов, не щадил ни самого себя, ни ближайших помощников — а этих должен жалеть?

— Кто поведет?

Майора Краснопольского и комиссара Лещенко, которые тут же изъявили согласие, он будто бы и не услышал, отвернулся от них, командира роты — пожилого, узкогрудого лейтенанта из Чугуевских лагерей он тоже не услышал, и вдруг взгляд его упал на Павлуценко, который, вытянувшись в струнку, не мигая, смотрел на Девятого исполненный восторга.

— Вы кто?

— Комсорг, товарищ подполковник...

— Вот вы, комсорг, и возглавите.

— Есты! — ответил Спартак, бледнея.

Гладуп, затаившись у входа, видимо, молил сейчас всех богов, чтобы пронесли мимо него эту чашу, но боги не вняли его мольбам.

— А вы, старший сержант? Где ваша винтовка? — набросился на него Девятый. — Многовато вас тут болтается без дела! Также в атаку!

Через несколько минут Девятый с револьвером в руке уже стоял на самом солнцепеке под стеной псклеванного осколками дома возле шоссе, которое переходило в деревянный настил моста, перекинутого через Рось. Комиссар Лещенко и комбат тоже стояли здесь, наблюдая, как из картофельной ботвы, из окопов, из садов выползают бойцы третьей роты, накапливаясь в кюветах для атаки. Их каски густо зеленели, тускло поблескивали, будто крупные арбузы.

Перед самой атакой Девятому доложили, что прибыло пополнение.

— Где оно? — крикнул он на поджарого капитана, который сообщил ему об этом.

— Вон там, в садах. Еще и окопаться не успели.

В глубине садов, под деревьями группами расположились вновь прибывшие; где-то там была кухня, и у некоторых бойцов в руках дымились куски только что отваренного мяса.

— Не успели пороха понюхать и уже жрут? Сюда их! Капитан на миг замаялся:

— Это в основном приписники, колхозники, только что из военкоматов... У многих еще и винтовок нет.

— Винтовки добудут! Оружие в бою добывают! Ясно? Сюда их!

Когда лейтенант побежал выполнять приказ, Девятый, обернувшись к Лещенко и Краснопольскому, бросил им укоризненно:

— Видите, сколько резервов? Людские резервы у нас неисчерпаны, их только развороши!

Вскоре, пригибаясь в кюветах, к студбатовцам уже приближались бойцы из пополнения, удивленно, оторопело озирались по сторонам, доверчивые, послушные. У одного в руке была винтовка, у другого — граната, а у третьего и вовсе ничего не было.

Когда людей набралось в кюветах порядочно, Девятый крикнул:

— Вперед!

Бойцы один за другим начали медленно подниматься, направляясь кюветом к мосту. Впереди твердой походкой шли командир роты и Спартак Павлущенко.

Тишина горячего лета окутывала вербы за Росью, ни одного выстрела не раздавалось оттуда; казалось, и в самом деле пикого нет на том зеленом берегу; казалось, война — всего-навсего мираж, чья-то злая выдумка, о ее реальности напоминал лишь тяжелый, тошнотворный запах с моста, где под палящими лучами солнца громоздились трупы.

Подходя к мосту, бойцы сначала пригибались, ожидали, что противник вот-вот откроет огонь, но все было тихо, и передние, осмелев, выпрямились и уже в полный рост, гурьбой, бросились на деревянный настил продырявленного снарядами, но еще крепкого моста. Затаив дыхание следили за ними сидевшие в окопах. Первые из атакующих уже приближались к середине моста, когда с противоположного берега по ним вдруг ударил длинной захлебывающейся очередью пулемет. Мост, конечно, был хорошо пристрелян; из тальников справа и слева люто по нему хлестал перекрестный огонь, по шоссе трахнули первые мины.

Отсюда, из-за дома, где стоял Девятый, было видно, как падают на мосту атакующие, а те, что успели перебежать на ту сторону, спасаясь от шквального огня, скатываются под мост, пытаясь перебраться к своим по воде. Пальба, крики, кровь раненых... Девятый будто и не видел всего этого, он ловил взглядом лишь тех, кто

укрывался в кюветах, видимо ожидая, что он отменит атаку, вернет всех назад.

«Зачем? Кому нужна эта бессмысленная атака?» — стоя возле Девятого, едва сдерживал себя комиссар Лещенко. Сердце его обливалось кровью от того, что творилось на мосту. Даже отсюда слышны были крики раненых, видно было, как бросаются они в воду, спасаясь от пуль и осколков, как то тут, то там уже выбираются из прибрежных зарослей назад, на берег...

Девятый не унимается.

— Вперед! Вперед! — размахивая револьвером, выкрикивает он, будто заклинание, тем, кто еще остался в кюветах. — Слышите: вперед!!

— Да что вы делаете? — не удержавшись, шагнул к нему комиссар Лещенко. — Прекратите эту мясорубку.

Девятый оглянулся, окинул его невидящим, помутневшим взглядом. Понурил голову. Потом обратился к Краснопольскому:

— Что, будем копчать?

Краснопольского передернуло от негодования, а Лещенко ответил резко:

— Этого не нужно было и начинать.

— Отставить атаку! — крикнул Девятый упавшим голосом и, засунув револьвер в кобуру, медленно зашагал в глубину сада, словно бы и не слыша пуль, которые посвистывали над ним, не обращая внимания на мины, которые зло, яро кромсали шоссе.

25

Потом опять стало тихо.

Только груды неподвижных тел на мосту да следы крови всюду: на картофельной ботве, на камнях шоссе, а больше всего — на подворье возле КП, где на скорую руку был устроен перевязочный пункт. Раненых тут не задерживали. Как только обстрел прекратился, их сразу же стали направлять через сады в тыл, на окраину городка, откуда их должны были забрать грузовики. А из тыла в направлении к передовой снова шли маршевики, двигались растянутыми колоннами; командиры, которые вели их, не разрешали нарушать строй, и лишь один брел сбоку: это был Духнович.

В медсанбат он так и не попал. Немного придя в себя у артиллеристов, Духнович счел невозможным искать убежища где-то в тылу. Он решил непременно разыскать своих и искал их с упорством, неожиданным даже для самого себя.

Уже в городке, пробираясь по кювету вдоль садов, Духнович встретил Гладуна. Это было невероятно: Гладун бежал навстречу, слепой от ужаса, бежал, пригнувшись (хотя тут и не стреляли), неестественно выставив вперед, словно тлеющую головешку, свою раненую руку, неумело обмотанную набухшими кровью тряпками. Духнович искренне обрадовался ему. Помкомзвода здесь — значит, где-то тут должен быть и родной студбат! И как ни натерпелся от Гладуна в лагере, все сейчас простил ему и готов был броситься па шею, как брату!

— Товарищ командир!

Гладун остановился перед ним, запыхавшийся, какой-то затравленный, с бледными дрожащими губами. Нельзя было понять, узнал ли он Духновича, — в одичавших, безумных глазах его сейчас горел страх.

— Грузовиков не встречал? Грузовиков с ранеными, а? Меня вот тоже рапило, осколком рапило! — бормотал он, выставляя руку в окровавленных тряпках. — У нас тут такое творилось! Ох, что творилось! — продолжал он, испуганно озираясь и переходя на доверительный тон. — Девятый среди бела дня на пулеметы погнал. Третьей роты небось и половины нету. Еще одна-другая атака — и всем нам хана! Только тот и спасется, кто ранен! Так грузовиков там с нашими не встречал?

— Не встречал.

Духнович все смотрел, как кровь капает и капает под ноги с Гладунова тряпья.

— А как думаешь, будут грузовики? — Гладун перешел почти на шепот. — Говорят, уже в клещах мы, Умань и Белую Церковь немец захватил, а ведь это рукой подать! На шею у нас веревочка — только затянуть!

Духнович глядел на него и не узнавал своего помкомзвода. Гроза студбатовцев, да он ли стоит сейчас перед Духновичем, этот охваченный ужасом, затравленный человек? Так вот здесь как, вот что делает с людьми война!

Для Гладуна Духнович сейчас будто и не существовал. Он и не заметил, что перед ним курсант, на котором все, как в лагере, целехонькое: и противогаз, который другие уже давно бросили, и стеклянная фляжка в чехле, кото-

руку другие уже разбили,— все будто специально сохранено, чтобы только порадовать Гладуна, недавно выдавшего Духновичу это добро со строгим наказом беречь как зеницу ока. Но сейчас Гладун был слеп ко всему, весь мир сосредоточился для него на раненой руке, на желтых с жесткими ногтями пальцах, деревянно торчавших из-под окровавленного тряпья,— он держал эту руку перед собой бережно, будто драгоценнейшее сокровище.

— Теперь все,— хрипел он.— Теперь тут все ваши атаки без меня.

В своем животном страхе он был бы отвратителем сейчас Духновичу, если бы не эти капли человеческой крови, которые медленно и тяжело срывались в кювет, на бурьян. Где-то далеко застрочил пулемет, и Гладун судорожно вздрогнул.

— Ну, я побежал!

Духнович задержал его:

— Обождите! Где же паши? Студбат наш где?

— Дуй прямо и прямо, их не минуешь,— забормотал Гладун скороговоркой и, уже оставляя Духновича, вдруг глянул просветленным взглядом, кажется только теперь сообразив, кого видит перед собой.

— Мы думали, ты за Днепром где-нибудь в госпитале, на белых подушках... Не вышло, эпачит, а?

И, не дожидаясь ответа, втянув голову в плечи, что есть духу побежал куда-то в сады.

Духнович еще некоторое время постоял, сумрачно разглядывая закапанный кровью Гладуна стебель травы. Потом поправил на себе скатку, ремень винтовки и, прихрамывая, зашагал дальше. Студбатовцы первыми заметили его. Было предвечернее затишье, и они, выглядывая из окопов, еще издали увидели, что по обочине вдоль садов одиноко пробирается человек, очень похожий на их Духновича. Ей-же-ей, это он, их факультетский Сковорода, ковыляет, идет воевать! Было странно, удивительно видеть Духновича тут, на передовой, когда все уже думали, что он для войны списан, не существует. И все-таки это был он, рыжий и конопатый Духнович, это он, сутулясь и прихрамывая, шагал навстречу войне, по-журавлиному вытянув вперед свою худую, жилистую шею, которая, казалось, еле выдерживает стальную тяжесть каски.

— Эй! Курсант Духнович!

Духнович растерянно оглянулся, не сразу сообразив, откуда этот голос.

— Сюда заворачивай! — громко кричал из своего окопа Степура, и Духнович в полный рост заспешил через картофельное поле к Степуре.

— Пригнись! Пригнись, дурень, — закричали на него какие-то уже незнакомые голоса. — Это тебе не парк культуры и отдыха. Здесь сразу причастят!

Подстегиваемый криками, Духнович поспешно прынул к Степуре в окоп.

— Откуда ты взялся? — обрадованно рассматривал Степура товарища, его веснушчатое, раскрасневшееся от ходьбы лицо. — Как нога?

— Порядок. Народная медицина помогла.

— Неужели знахарка какая-нибудь подлечила?

— Нет, артиллерист штыком проколол. Оперировал в пастоящих, так сказать, полевых условиях... А потом еще и траву какую-то приложил...

Из ближних окопов приползли свои, университетские, — заросшие, измазанные, только глаза блестят. Заметно похудели все, у Мороза еще больше скулы выпирают. Легли вокруг окопа, глядят на Духновича, с удивлением рассматривают его курсантскую амуницию, которая на нем в столь образцовом порядке.

— Гладун бы похвалил.

— А я его только что встретил. Раненый бежал.

— Раненый? Разве и он ходил в атаку? — Степура недоуменно глянул на Мороза и Подмогильного.

— Не знаю, — сказал Мороз. — Во всяком случае, среди первых его не видно было.

— Зато наш Спартак сегодня геройски вел себя, — отозвался Подмогильный.

— У нас тут ад сегодня... Хорошо, что ты не застал... — взволнованно начал рассказывать Степура Духновичу об атаке. — Видишь вон кучу тел на мосту? Если бы не комиссар Лещенко, то и мы, наверное, лежали бы там.

— Девятый тут такой у нас есть — настоящий самодур, — заговорил Мороз, а Лагутин, который только что подполз к ним из картофельной ботвы, громко объявил:

— Считайте, звезда Девятого закатилась.

Хлопцы посмотрели на Лагутина с удивлением:

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал. Я сейчас с перевязочного, отправлял Яланского с геофака — он сам не добрался бы. Как раз там при мне на Девятого корпусной комиссар

налетел. Ох и давал же он ему за эту бессмысленную атаку!.. Так что Девятый свое, кажется, откомандовал.

— Но тех не поднимаешь,— кивнул в сторону моста Степура.

— Аспирант Черный убит, литфаковец Скиба здорово покалечен,— глухо повествовал Духновичу Подмогильный.

— А Дробаху потеряли еще в тот день, когда ты отстал,— сказал Мороз.— Во ржи, среди открытого поля накрыло нас. Там и похоронили мы Дробаху.

Все, что он слышал, было так невероятно, ужасно, что почти не воспринималось Духновичем как реальность.

— А где же Богдан, почему его не видно? — с тревогой спросил он и заметил, как хлопцы — и до того по веселые — еще больше нахмурились.

— Богдан там,— махнул Степура за Рось.— Еще почью пошел в разведку и до сих пор нет.

Степура стоял понурый; ребята, пависая касками над его окопом, тоже мрачно молчали.

— А ну, что там за сборище? — послышался резкий голос командира роты откуда-то из-за яблонь.— Марш по окопам!

Через минуту Степура и Духнович остались одни.

— Нечем тебя и угостить,— оправдывался, шаря в окопе, Степура.— На вот хотя сахарку поешь.

Достав из ниши, он подал Духновичу котелок, наполненный желтоватым влажным сахаром-песком. Духнович присел, стал послушно жевать. Степура тем временем показывал ему свое нехитрое окопное хозяйство.

— Вот в этой нише гранаты, чтоб ты знал, а эта — продуктовая, а в этой — бутылки с горючей смесью...

— А я гляжу, что это там за кучи темных бутылок в садах...

— Только сегодня привезли.

Взяв из ниши одну бутылку с тяжелой темно-бурой жидкостью, Степура встряхнул ее и стал рассматривать на солнце.

— С этим навоюешь... Разве что поймаете фашиста да в горло ему нальете.

— Мне тоже выдадут? — спросил Духнович.

— А их тут хватит. Видишь, целая батарея. Только бы не промахнулся.

Из-за реки громко ударил немецкий пулемет. Духнович, бросив котелок, вскочил удивленный:

— О, да они тут совсем близко!

— А ты думал... Только Рось и разделяет.

Им были видны старый деревянный мост, заваленный трупами, роскошная зелень противоположного берега, густые вербы, облитые красноватым предзакатным солнцем. Где-то там притаились вражеские пулеметы, минометы, готовые в любую секунду ударить огнем.

— Оттуда выбраться... Ох и нелегко же это,— заговорил Степура, глядя далеко за речку, и Духнович догадался, что он имеет в виду разведку, с которой пошел Богдан.— Всем несладко, но им горше всех.

— Богдану всегда выпадает самое трудное.

— Выпадает, потому что сам ищет.

То, что их друг первым из всего студбата взял на себя самое опасное задание, Духновича и Степуру несколько не удивляло, они хорошо знали Богдана. Но чем это кончится? Жив ли он там или его уже нет? Отбивается где-нибудь с оружием в руках или, быть может, терзают его фашистские палачи, добываясь сведений, которых он им никогда не даст? Они уверены в нем, его друзья. Три года Богдан был душой их университетской дружбы. Родной университет не представлялся им без Богдана, как не представлялась им без него Таня, озорная, веселая его спутница. Как она будет без него? Никто ей никогда не заменит Богдана. А легко ли им потерять такого друга! Немного замкнутый, временами угрюмый, он сближался далеко не с каждым, но те, кто дружил с ним, хорошо знали его глубокое и чистое сердце.

— Я жалею только,— глухо произнес Степура,— что не удалось пойти с ним вместе. Большое дело, когда в трудную минуту возле тебя верный товарищ...

— Может, еще вернется,— с надеждой сказал Духнович.— А когда возвратится, знаешь что, Андрей... Давайте так, чтобы не разлучаться. Конечно, вам от меня пользы немного, этот вечный неудачник Духнович всегда был для вас лишь обузой...

— Да брось ты! — прервал его Степура.

— Но и я же не пропащий,— продолжал Духнович.— Я вот, пока разыскивал вас, о многом передумал... Какие люди есть, Андрей, на свете! Встретишь такого, и на душе — праздник...

Ночью война с ее опасностями проявляет себя еще более зримо, возникая в образе ракетной метели и зловещих багрово-красных сполохов по горизонту. Пожары видны уже не только за Росью, но далеко слева и справа и даже где-то позади полыхают, смыкаясь огромным огненным кольцом. Смотришь на зарева, на огни ракет повсюду и впрямь начинаешь верить слухам о надвигающейся угрозе быть отрезанными от днепровских переправ.

На горизонте пожары, а в садах над Росью темпо, как в яме, только ракета время от времени вспыхнет над вербами мертвенным пламенем да полоска воды сверкнет перед настороженным взором тех, чьи окна у самого берега. Как и в прошлую ночь, опять посылали бойцов вытаскивать убитых с моста и с берега. К мосту противник не подпустил, сразу же отсек путь пулеметами, осветил ракетами, как днем. А подальше от моста удалось пробраться до самой воды. Среди тех, кто бесшумно крадся в прибрежных зарослях, были и Степура с Духновичем. Под покровом темноты они вытащили из воды неизвестного, у которого руки были уже негнущиеся, отвердевшие, точно из мрамора. Даже не разглядев, какой он, оттащили в картофельное поле, торопливо засыпали в пустом полуобвалившемся окне.

Возня с трупом кончилась тем, что Духновичу стало плохо. Когда они вернулись к себе, его начало тошнить, выворачивать, и руки, он уверял, теперь «отдают смертью», как тщательно ни оттирал он их землей и листьями.

— Это первы, это пройдет,— успокаивал его Степура, когда тот судорожно корчился, а потом, обессиленный, распластался пичком возле окопа.

— Это не пройдет, пикогда не пройдет,— заговорил Духнович, когда ему стало немного легче.— Та рука, тот лоб, которого я печально коснулся... Кто он? Зарыли, а что мы знаем о нем? И медальона-то не было...

— Чей-то отец. Чей-то сын,— глухо прозвучал из окопа голос Степуры.— Еще один боец или командир.

— Не только это, не только! — нервно возразил Духнович.— Нечто большее пытаются уничтожить, разрушить, убить! Властелина планеты, высочайшее создание природы, самое мудрое из всего, что только есть во вселенной!

Услышали, как кто-то ползет к их окопу. Подполз, заглянул:

— Браточки, винтовки лишней нету?

— Тебе что здесь, склад? — вроде бы беспричинно уверился на него Степура.

— Да, может, лишняя. Мы из пополнения. Обменялись бы... У нас бутылки есть горючие...

— Свои имеем,— буркнул Степура сердито, и тот пополз дальше, к другим окопам, уже где-то там спрашивая, нет ли случайно лишней винтовки.

Ночь была темная, небо вызвездило, раскинулось над садами, над фронтом широкой полосой древнего Чумацкого Шляха — Млечного Пути. Степура и Духнович, сняв каски, чтоб отдохнула голова,— сидели в окопе, упершись коленями друг в друга; сидели, смотрели на небо. Из окопа оно казалось особенно звездным. Гроздя созвездий, мерцание светлой пороши неведомых галактик...

— Вот такое же звездное небо,— размышлял вслух Степура,— было и над Гете, и над Коперником, и над философами и поэтами Эллады. Люди менялись, поколения за поколениями проходили, а оно было все таким же, мерцало и мерцало звездами, как вечность...

— Мерцало-то мерцало,— заметил Духнович,— видело много, но никогда, похоже, не видало оно столько пожаров на земле, столько крови, столько преждевременно оборвавшихся жизней людских...

— Да, теперь насмотрится...

Где-то над Росью в небо взметнулись ракеты противника — даже в окопе стало светлее.

Степура поднялся. Его не покидала тревога за Богдана. Каждая ракета над Росью, казалось, преследует где-то там Богдана, каждый пулемет, что вдруг гулко вспарывает темноту, казалось, бьет по разведчикам.

На душе становилось все тоскливее, пока — где-то уже за полночь — над окопами не прозвучал вдруг знакомый голос сержанта Цоберябого:

— Где тут мой Корчма? Живы ли да здоровы родичи гарбузовы?

А вскоре в Степурином окопе стоял и Богдан Колосовский, мокрый, пахнувший болотом, будто целый день торчал в пем.

— Выбрался? — обнял его Степура.— Рассказывай же!

Присев в окопе, Богдан, к удивлению Духновича, свернул толстенную сигарку, жадно затянулся махорочным

дымом. Молчал. Что он им расскажет? Как из семнадцати их осталось пятеро? Ценою жизни товарищей они все-таки удержали мост до прихода саперов, удерживали, пока те не подготовили взрыва, и только тогда отошли. Видели, как разламывается окутанная облаком взрыва серебристая их радуга, как где-то у самого солнца разлетаются разорванные взрывом фермы.

Противник вначале был ошеломлен этим огромной силы взрывом, но вскоре опомнился, начал преследование. То было пострашнее самого боя. Разведчики чувствовали себя дичью, за которой гонятся охотники, которую разыскивают и вот-вот найдут. До вечера скрывались в камышах, погрузившись в теплую, кипящую лягушатами воду. Бег времени словно бы остановился для них. День казался вечностью, но все же наступила ночь и вывела их куда нужно, и вот через сутки они снова вошли в подвал командного пункта. Возвращая Колосовскому комсомольский билет, комиссар Лещенко крепко пожал ему руку.

Успешно выполненное задание было бы для Богдана самой большой радостью, если бы все семнадцать разведчиков возвратились оттуда, если бы не оставили навсегда у того моста стольких товарищей, политрука Панюшкина, от которого перешел в наследство Богдану этот черпный трофейный автомат, что висит у него сейчас на груди.

— Дружнице, что же ты молчишь? — ласково тряхнул Богдана за плечо Духович.

— В другой раз. В другой раз все расскажу, — сказал Богдан, выбираясь из окопа. — А сейчас пойду — глаза прямо слипаются. До смерти устал. — И через минуту исчез в темноте.

Ощущать в окопе рядом с собой живую душу — счастье. Может быть, ни в каком другом месте не сможешь так глубоко, по-настоящему оценить человека, друга, как тут. После блуждания по дорогам, после того неопределенного положения, когда Духович словно бы болтался где-то между фронтом и тылом, окоп Степуры казался ему сейчас таким уютным, таким надежным. Хорошо здесь, спокойно. Земля, правда, за воротник сыплется, и поги не меют, пельзя их выпрямить, но и теснота тут не в тес-

поту; кажется, никогда Духновичу не было так просторно, как сейчас; по совету Степуры прилег на дне окопа, с головой закутавшись в раскатанную наконец шинель, отгородившись ею от всего тревожного мира. Впереди ночь, свободная от всяких забот, несколько часов отдыха — Степура настоял на своем и первым заступил на пост. Вот он стоит в углу окопа, настороженный, недремлющий, а Духнович, свернувшись вниз, подложив под голову каску вместо подушки, может свободно предаться самым сладким воспоминаниям, подумать, поспать. Не беда, что тело как на прокрустовом ложе, важно, что в душе — простор и легкость, удивительная какая-то, почти детская безмятежность! Как все относительно в мире! Дивным, сказочным дворцом может стать для человека обыкновенный, тесный фронтальный окоп. Только вот на сколько дней и ночей будет он для тебя жильем и крепостью?.. С этими мыслями Духнович и уснул.

Когда засыпал, вокруг было совсем тихо, лишь кое-где за Росью срывались выстрелы, а вверху, где-то у застывших звезд, ветерок слегка покачивал ветви деревьев. А когда Степура разбудил его, с силой тормоза за плечо: «Вставай! Вставай!» — Духнович, очнувшись, увидел нечто фантастическое: огненный метеоритный дождь с шипением бушевал вокруг. Все было невероятным, ошеломляющим со сна — и ночь, и гомон людей, и всплески ракет, и этот дождь метеоритный, пока Духнович сообразил, что это трассирующими бьют по садам.

Из темноты, из-за реки, доносился непонятный грохот.

— Танки за речкой! — закричал кто-то с берега.

— Танки! Танки! К мосту идут!

— Без паники! Товарищи, без паники! — слышалось над окопами, и студбатовцы узнали напряженно-спокойный голос комиссара Лещенко. — Гранаты, бутылки у всех есть?

— Есть! Есть!

— Забирайте — и к мосту! Командиры, ведите людей!

Возня в садах, резкие окрики командиров, которые собирают в темноте своих бойцов, а за рекой — гул, гул...

Степура, выхватывая из ниши гранаты, бутылки, сул бутылку и Духновичу.

— Бери! Бежим!

Пригибаясь под перекрестным ливнем трассирующих пуль, через окопы, через картофельное поле бросились бежать туда, куда бежали все: к речке, к мосту.

Грохот за Росью нарастал. Небо над вербами заметно побледнело — начало светать.

В кюветах возле моста было уже полно людей.

— Ложись, ложись! — кричали командиры тем, кто подбегал, и Духнович со Степурой тоже упали, как и остальные — головой к шоссе.

Лежали тут, плотно прижавшись друг к другу, студбатовцы, и кадровики, и резервисты; в предрассветной мгле лица их под касками были серые. Опершись подбородками на холодные камни шоссе, бойцы всматривались куда-то за реку. Духнович тоже высунулся и увидел по обе стороны шоссе, в кюветах, множество касок, множество человеческих голов, которые тускло поблескивали до самого моста и даже за мостом, — там тоже сновали человеческие фигуры, копошились у самого берега, должно быть, какие-то смельчаки уже успели перебраться низом на ту сторону.

На том берегу росистые заросли верб были еще полны темноты, таинственности — оттуда, из уходившего в глубь зарослей шоссе, все слышное падало тяжелый, грозный грохот.

Духнович почувствовал, как дрожь побежала по всему телу. Почему он дрожит? Потому ли, что прохладой тянет от речки и остывших за ночь камней шоссе? Или бросает его в дрожь вот этот грохот, который медленно, неотвратно подвигается и от которого содрогается все заречье?.. «Но ведь я же не боюсь! — страстно убеждает он себя. — Мне не страшно, не страшно! Это, видимо, и есть то мгновение, когда даже самый обыкновенный, самый певческий человек и тот обретает силы на решительный поступок!..» Он чувствовал себя частицей этого застывшего в напряжении коллектива и с удивлением открыл для себя, что он тоже не трус, что он не отступит с этого места, не утратит самообладания, не падет ниц перед надвигавшейся на них черной силой. Это надвигался фашизм, его вероломство, кровавая жестокость, дикость. Были в том грохоте сейчас для Духновича и лейпцигский процесс, и окровавленная Испания, и растоптанная Чехия, надвигались из-за плачущих верб концлагеря, надругательства, смерть миллионов людей на Западе и тут, на земле его

родины. Все это будет, если ты отступишь, не уничтожишь!..

Взгляд его упал на бутылку, которая маслянисто лоснилась, крепко зажатая в руках Степуры. Посмотрел на свою и тоже крепко сжал ее и, сжимая, как бы ощутил заключенный в ней огонь.

— Вот он, — сказал кто-то. — Выползает!

Пепельно-серое, скрежещащее чудище появилось из густой тени верб, вырвалось из сумрака чащобы, будто из далеких веков, откуда-то из кайнозойской эры. Оно двигалось, рвало лаппами нашу родную землю...

Фропт молчал, стрельбы не было, был только скрежет железа о камни, скрежет, который грозно, псумолимо накатывался на застывших в оцепенении людей.

— Приготовиться! — услышал Духнович неподалеку от себя юношеский голос командира взвода. А через минуту где-то уже возле моста прозвучал на высокой, звенящей поте голос комбата Краснопольского:

— За мной! В атаку! Вперед!

И все, вскочив, бросились из кюветов на мост. Пуля разрывали воздух, настил моста грохотал под ногами, а люди летели вперед, навстречу переднему танку, и Духнович тоже бежал вместе с другими, спотыкаясь о падавших, бежал, что-то крича, забыв о страхе, желая лишь одного — добежать до фашистского танка и швырнуть в него огонь, зажатый в руке.

Какого-то бойца впереди Духновича охватило вдруг пламенем, — видимо, пуля попала в бутылку, и он, как живой костер, еще продолжал бежать, пока кто-то не столкнул его с моста в воду. Будто на вулкан ворвались они — такой стоял тут грохот; передние уже сошлись с танком в смертельном поединке, видно было, как летят в него бутылки, бьют в башню, в борта, а он, окутываясь текучим пламенем, все ползет дальше на мост, блестя гусеницами. Стальная наползающая гора была совсем близко, Духнович уже слышал смрадное дыхание горящего мазута, железа и краски, видел, как струящееся пламя ползет, обтекает башню, а бутылки все летят туда, плещут огнем на танке, и Духнович, боясь только одного — как бы не промахнуться, — швырнул и свою бутылку. Ударившись о башню, она лопнула легко, как ампула.

«Попал! Не промазал!» — радостно замерло сердце, и в этот миг будто кто камнем ударил его в ногу. Духнович почувствовал, что падает. Инстинкт самосохранения дал

силу и цепкость его рукам, и скоро он был под мостом, задыхаясь, спускался куда-то вниз по стропилам. Тут все уже было облеплено людьми; они лазили в полумраке — одни торопились куда-то, другие делали передышку, ухватившись руками за металлические скобы, за стропила, за почерневшие от времени перекладины. Духнович, чтобы перевести дух, тоже приник к одной из таких перекладин. Наверху еще все содрогалось, ходило ходуном, оттуда летели куски пламени, — видно, так как раз проходил по мосту на ту сторону. Тот ли это, который подожгли, или другой, — только он прогремывал, за ним снова грохот и снова куски пламени. Тапки идут по мосту! Их не остановили! Сквозь горячие бутылки, сквозь гранаты прорываются, сквозь всю отвагу и мужество их студбата! Кричать хотелось Духновичу от бессилия, от невозможности остановить врага.

Сверху уже и сюда падало кусками пламя.

— Горим! — услышал над собой Духнович. — Мост загорелся!

— Давно бы нужно его сжечь! — возмущался какой-то раненый, пробираясь вниз, а ему отвечал сердитый голос:

— Может, для своих берегли! Для наступления!

Пробираясь между стропилами все ниже, Духнович в предрассветном сумраке узнал студбатовца Чирву. Ухватившись за скобу, тот висел, будто подвешенный где-то в застенках инквизиции, хотел, видимо, прыгнуть вниз, но не решился: в воде можно напороться на сваю.

— Прыгай, прыгай! — крикнул ему кто-то внизу, и он прыгнул, а за ним плюхнулся в воду и Духнович.

Воды было по грудь, и она сразу же стала красной вокруг них, красной от крови.

— Тебя куда? — Чирва посмотрел на Духновича.

— В ногу, выше колена!

— А мне, кажись, ребро повредило... И все же мы его подбили! Это ж он горит!

Барахтаясь в воде, пробираясь к своему берегу, они увидели неподвижную глыбу пылающего танка. Рядом с ним, выглядывая башней из кювета, горел черным пламенем другой. А там, где тянулась их оборона, шел бой с третьим танком. Огромный, еще не подбитый, с черно-белым крестом на борту, он полз по окопам, ломал деревья, а на него отовсюду из земли летели бутылки, лопались от удара, разбрызгивая желтое пламя, пока и этот

паконец не вспыхнул; люк его тогда открылся, и из него показались поднятые костлявые руки фашиста.

Пройдет время, немецкие военные историки будут исследовать эти дни. Они напишут, что внезапные дожди помешали их танкам быстро овладеть Уматью, Белой Церковью, но мы-то будем знать, что не о дождях пойдет речь,— это будет сказано о тебе, пехота с бутылками горючей смеси, о тебе, небольшой курсантский студбат, о всех вас, известные и неизвестные подвижники сорок первого года, кто насмерть стоял на пылающих своих рубежах.

28

Пылает мост, горят танки, и далеко стелется в садах над Росью непривычный для этих мест запах горелого железа, краски, бензина. В бой с фашистскими танками вскоре вступили и артиллеристы. До сих пор немногим было известно, что они находятся где-то поблизости,— пехота узнала о них только теперь, когда снаряды один за другим низко полетели над шоссе в направлении моста. Артиллеристы били прямой наводкой, в лоб танку, который, выбравшись из верб, вздыбился перед самым мостом, уже пылающим, полуобвалившимся. Танк, видимо, был подбит, потому что он так и остался стоять на месте, открыв, однако, бешеный орудийный огонь.

Теперь, когда дорога танкам на эту сторону была отрезана, противник обрушил на позиции студенческого батальона шквал минометного огня. Затрещали сады, черпо стало от поднятой взрывами земли, горячий свист осколков не затихал. Казалось, даже металл, летящий сюда, начинен злобой,— так свирепо рыли мины картофельное поле, разрушенные танком окопы, с такой яростью вгрызались в деревья, в камень шоссе.

Многим из тех, кто уцелел в бою с танками, теперь суждено было пасть в этом неравном поединке с ливнем горячего, непрерывно воющего в воздухе металла. Студбат истекал кровью. У берегов Роси, в садах, в окопах — всюду слышались стоны раненых. Не от солнца, выглянувшего из-за верб, а от крови багровели в это утро чистые воды Роси.

По глубоким кюветам вдоль шоссе отползают в тыл те, кто еще может двигаться. Строители-дорожники,

задолго до войны проложившие это шоссе, рывшие вдоль него глубокие кюветы,— думали ли они тогда, для скольких людей станут однажды эти придорожные канавы местом спасения, сколько раненых проползет здесь? Ползли студенты, ползли старослужащие, ползли вчерашние маршевики — колхозники из здешних районов, которые, быть может, еще совсем недавно мчались по этому шоссе на грузовиках со знаменами, с песнями, тороясь в райцентр на какой-нибудь свой колхозный праздник.

Духнович тоже полз, с трудом работая локтями, волоча за собой отяжелевшую раненую ногу. Все сильнее горела рана, которой он еще не видел. Видел лишь свежую кровь тех, кто полз впереди; крови было столько, что она адела лужами на дне кювета — земля не успевала впитывать ее. Впереди Духновича кто-то, пригнувшись, тащил на спине тяжелораненого Лагутина. Безжизненный, с раскрытым ртом, рука болтается... Слышно было, как он непрерывно стопет глубоким стопом. Духнович не мог узнать, кто именно выносил Лагутина из боя, и только когда они выбрались из зоны ожесточенного обстрела и остановились передохнуть, Духнович увидел Степуру, мокрого, в грязи. Гимпастерка, брюки его были в крови — то ли своей, то ли Лагутина. Тот лежал возле — бледный, с закатившимися глазами.

— Порвало ему и грудь и живот,— кивнув на Лагутина, сказал Степура Духновичу.— Я нашел его уже в беспамятстве... Мне тоже вот и в ногу и в плечо — осколки, что ли... Но где же перевязочная? Замучится он...

— Давай его сюда,— подползая к ним с плащ-палаткой, предложил сержант Грицай из второй роты.

Лагутин заревел от боли, когда они укладывали его на палатку. Потянули по кювету дальше.

Духнович тем временем решил снять сапог, освободить раненую ногу: ему казалось, что так будет легче. Пока он стаскивал с себя мокрый сапог, возле него остановилось несколько бойцов, которые, видимо, относили кого-то из тяжелораненых к месту перевязки, а теперь снова возвращались на передовую. Один из них — резервист — был без винтовки и пристал к Духновичу, чтобы тот отдал ему свою десятизарядку.

— Но как же я без винтовки явлюсь?!

— Раненому можно. Это если бы так бросил...

Духнович, поколебавшись, передал винтовку, и тот рассматривал ее с удивлением:

— Вишь, какая новенькая, похоже, ни разу и не выстрелила... А патроны?

Духнович отстегнул от ремня брезентовый, туго набитый патронами подсумок. Обоймы были еще в смазке, чистые, без единого пятнышка ржавчины.

— На, забирай все.

Другой боец — светлоглазый, набычившийся, нахмурив лоб, молча разглядывал сапог Духновича. Портянку, набрякшую кровью и водой, он уже вытряхнул из голенища.

Подоспевший откуда-то усатый санитар распорол на Духновиче штанину, стал осматривать рану, которая показалась ему неопасной: порвало мякоть выше колена, но кость, видимо, не зацепило. Санитар на скорую руку стал накладывать повязку, а боец, завладевший сапогом, все вертел его, размингал в руках, пробовал даже вывернуть голенище и посмотреть, какая на нем подклейка. Боец был в старых ботинках с обмотками, и добротная кожа курсантского сапога прямо-таки приворожила его, и он, завладев правым, потянулся теперь и к левому.

— Дозволь, браток, и этот.

— Где твоя совесть? — пристыдил его санитар.

— А на кой ему? — нисколько не смутился тот. — В госпитале в тапочках будет прогуливаться. — И снова пристал к Духновичу: — Так дозволю, а?

Жадность его была Духновичу противна, однако он не стал возражать, сам протянул ему погу:

— Ладно, тащи, забирай...

В самом деле, что ему сапог, когда он душу готов был сейчас отдать всем этим людям, остающимся тут. Одну ночь он переночевал в окопе, одну бутылку швырнул в атаке, и его уже повезут в тыл, а они, сражавшиеся тут, видно, задолго до него, останутся в этом пекле, и кто знает, какие еще выпадут на их долю испытания.

Корчма, однако, захотел быть справедливым: взамен стянутых с Духновича курсантских сапог отдал ему свои ботинки с обмотками. Связал их и сам накинул Духновичу на шею:

— Мне они маловаты, а тебе будут в самый раз...

Босиком ползти было легче. В садах и возле домов слышался гомон, в одном месте артиллеристы на руках перекатывали через дорогу замаскированную зелеными ветками пушку. Среди тех, кто толкал ее, Духнович увидел и своего друга Решетняка, радостно окликнул

его. Артиллерист, оглянувшись, сразу узнал своего пациента.

— О, уже колупнуло?

— Уже.

— Молодцы ваши студенты! Показали себя нынче. Ну, ремонтируйся, дружище, будь здоров...

И, склонившись к зеленым ветвям маскировки, Решетняк приналег плечом, покатил вместе с товарищами пушку дальше. Духновичу еще некоторое время видно было, как работают под промокшей гимнастеркой его широкие лопатки.

На окраине села, в садах, где раненые ждали машин, былолюдно, шумно. Людей тут как снопов, кровавых снопов. «И это только один бой!» — ужаснулся Духнович, очутившись здесь. Всюду видел он искалеченных людей. Одних еще только перевязывают, другие, уже перевязанные, устало лежат на окровавленных шинелях, в пропитанных кровью бинтах, кое-кто без гимнастерок, кое-кто, как и он, босиком. Те стонут, те дремлют, те, собравшись группками, разговаривают о только что прошедшем бое.

У колодца с журавлем толпятся бойцы. Пьют не пьются, журавль все скрипит. Подобрал палку и опираясь на нее, Духнович тоже заковылял к колодцу.

— Мороза при мне убило, — услышал он в толпе раненых. — Уже на воде осколок его догнал, на дно Роси пошел наш Мороз.

— А Подмогильного — я сам видел — раненого потащило гусепицами под тапк...

— А Борисова в окопе приутюжило...

— А где Химочка? Где Колосовский?

— Колосовского за рекой видели. Он еще до начала боя вброд пошел с отделением навстречу танкам, из сады их бил...

— Успел ли выскочить оттуда?

— Жив он, ваш Колосовский! — пробираясь к бадье с водой, сказал географ Щербань, до неузнаваемости почерневший, будто задымленный. — Я вот только что от КП, видел его там... В голову чикнуло слегка. Не считает себя выжившим из строя — просил у комиссара разрешения остаться...

«Это на него похоже», — подумал Духнович.

Раненые все прибывали. Большинство, как и Духнович, добирались сюда сами, а тяжелораненых санитары доставляли на носилках, приводили под руки, обмякших,

обескровленных, и укладывали тут, в садах, ждать грузовиков.

Грузовиков не было, и никто не знал, когда они будут. Кто-то пустил слух, что едва ли придут они сюда до ночи; днем проехать по шоссе почти невозможно — накануне колонна грузовиков с ранеными попала под бомбежку, под пулеметы вражеской авиации, и многие из тех, кто выехал отсюда живым, так и не добрались до днепровской переправы.

Протолкавшись наконец к деревянной бадье, что стояла на залитом срубе колодца, Духнович вдоволь напился студеной ключевой воды и словно бы стал здоровее от этого. Опраясь на палку, он снова заковылял по саду и вскоре разыскал среди раненых Степуру. Уже с перебинтованными ногами, Степура сидел неподалеку от колодца на поваленном плетне и время от времени отгонял эсеной веткой мух, роившихся над Лагутиным. Славик лежал перед ним на разостланной шинели почти голый, полосы бинтов перетянули в разных местах и ноги его, и грудь, и живот. Духновича поразила холодная сероватая бледность его лица. Глаза были закрыты, он тяжело дышал, и кровавая пена с каждым выдохом пузырилась в уголках губ.

Духнович сел рядом со Степурой. Молчали. Слышно было, как в груди и горле у Лагутина что-то все время клокочет.

Скрипел и скрипел журавль у колодца, где бойцы доставали воду тяжелой бадьей, зеленели сады вокруг, краснели вишни, и солнце, поднявшись, светило ярко, пятна света и теней от листьев лежали на бронзовом от весеннего загара, обнаженном теле Лагутина. Так противоестественны были среди этих буйных садов, под щедрым июльским солнцем искалеченные люди, вчера еще здоровые, цветущие, и обессиленное, изуродованное тело товарища, стройное юношеское тело античной красоты... Выживет ли он, их Славка? Налется ли когда-нибудь это прекрасное тело прежней силой, той упругостью, которая давала Лагутину возможность так легко и красиво крутить «солнце» на турнике в университетском спортзале?

— Хотя бы скорее вывезти его отсюда, — удобнее поправляя под головой Лагутина свернутую клубком гимнастерку, заговорил Степура. — Я думаю, таких заберут в первую очередь.

— Ему бы теперь быть на операционном столе,— сказал Духнович.— Слышишь, как дышит?.. Осколком легкие порвало.

— Он воды просил, только пельзя ему.

— Нельзя. Где ты его подобрал?

— У моста, чуть ли не из-под тапка выхватил. Он был уже без сознания, и гимнастерка на нем тлела... На руках у меня пришел в себя, сказал что-то, а потом снова...

Сами того не замечая, говорили о Славке так, будто его не было здесь. Да он и в самом деле не приходил в сознание. Иногда его омертвевшие, в синих прожилках веки тяжело размыкались, но взгляд закатившихся глаз был отрешенным.

С рукой на перевязи, в хорошем построении подошел студбатовец Бондарь.

— Видите вон ту хату? — кивнул он хлопцам в глубину сада.— Там сейчас трибунал заседает. Твоего друга, Духнович, судят.

Духнович не понял:

— Какого друга?

— Гладун там, наш лагерный бог, приговора ждет.

— Ты что-то путаешь. Я сам вчера встретил его. Он бежал раненый.

— Ну да, «раненый». Не раненый, а самострел он! Знаешь, что такое самострел? Перепаниковал, растерялся, забежал в кусты да и бухнул сам себе в руку, ладонь прострелил, а во время перевязки сразу все и обнаружилось. Ну, да с этим теперь просто: статья кодекса, и вон уж, посмотри, какие хлопцы стоят, ждут голубчика.

На соседнем подворье, куда указывал Бондарь, в самом деле что-то готовилось. За невысоким тыном, в глубине вишенника, стояла у хлевка группа бойцов в зеленых фуражках пограничников. Нахмурившись, не спуская взгляда с дверей хаты, они ожидали, и было что-то грозное в молчаливом их ожидании.

Светленькая хата была облита солнцем, лучи его играли на вишеннике, на цветах во дворе. В маленьких окнах виднелись горшки с распутившейся красной геранью: даже не верилось, что в этой беленькой, нарядной, такой пепохожей на судилище хате сейчас заседает военный трибунал и, может быть, как раз в этот миг раздаются там суровые слова приговора и вот-вот оттуда выведут во двор разжалованного Гладуна.

Но его все еще не выводили. Тем временем пришли грузовики. Торопясь, санитары начали забирать раненых. Магутаина удалось положить на первую же машину, Степура и Духнович тоже устроились на пей и, когда грузовик тронулся, увидели бывшего своего помкомизвода. Не успели заметить, откуда его вывели, но стоял он не под белой хатой, а под низким покривившимся курятником в противоположном конце двора. Без пилотки, без ремня, гимнастерка топорщилась на нем, на плечах белели перья и куриный помет,— похоже, в том курятнике и почевал...

Жалкий, осупувшийся, со старчески обвисшими плечами, сгорбившись, стоял он под тем хлевушком и ждал, держа на весу свою простреленную, темными кровавыми тряпками обмотанную руку, будто защищался ею от невидимого удара. Когда грузовик тронулся, Степура и Духнович увидели, как за вишнями, против Гладуна, торопливо строились зеленые фуражки...

Грузовики с ранеными вырвались из садов на шоссе и помчались по разбитой дороге в сторону Днепра. Машины пещадно бросало на выбоинах, и стоны все громче раздавались в кузовах. А навстречу двигались по обочинам маршевые роты пополнения: шли только что мобилизованные, кое-как вооруженные люди; хоть не у каждого винтовка на плече, зато у каждого в руке поблескивает бутылка с горючей смесью. «Человек с горючей бутылкой в руке... В нем сейчас все,— подумал Духнович.— Бессилец, как Прометей, и велик, как он». Растянувшись вольным строем, бредут вдоль шоссе хмурые маршевики, исподлобья поглядывая на небо, которое, видно, по раз обстреливало их в пути и против которого у них сейчас есть только вот эти черные, черным огнем палитые бутылки.

Как из огня, выхватывали в этот день грузовики раненых, мчали по шоссе на бешеной скорости, — и не только потому, что хотели поскорее уйти от самолетов, то и дело появлявшихся тут над дорогами, а еще и потому, что призрак окружения нависал над этим краем все более грозно. Грохотом бомбежек, несмолкаемым гулом артиллерии надвигалась война со всех сторон. В одном селе

грузовикам пришлось остановиться: дорогу преградила колонна кавалерии, пересекавшая шоссе на взмыленных лошадях,— торопилась куда-то, вероятно, спасти положение. Где-то прорвались, обходят, отрезают... Эти слова не сходили с уст.

В другом селе, пережидая палет авиации, грузовики снова стояли под прикрытием садов. Чьи-то матери подходили к ним — в старинных корсетках, в черных платках, повязанных рожком на голове, выносили молоко в глечиках, хлеб мягкий, вишни в ситечках. А одна старушка даже ранние груши поднесла к кузову.

— Нате, сыночки...

Глядя на молодые обескровленные лица раненых, женщины едва сдерживали слезы, горестно допытывались:

— Похоже, опять студенты?

— Почему опять?

— Все студентов нынче оттуда везут... Это вы там с танками бьетесь?

— Да, бьем и фамилии не спрашиваем.

— Были бы учителями, если бы не войда, учеными людьми...

И снова машины вырываются на дорогу.

В ногах у Степуры нечеловеческим криком кричит всю дорогу Славик Лагутин. И ни товарищи, ни фельдшер, который их сопровождает,— никто не может ему сейчас помочь; они даже от водителя не могут требовать, чтобы не так гнал машину, потому что все понимают — нужно гнать. Скорее, скорее на операционный стол бы его — это теперь единственное, что могло еще Славика спасти.

«Не погибай! Не умирай! Выдержи!» — мысленно заклинал его Степура, с болью глядя, как Славик судорожно мечется на дне кузова. Сердце Степуры разрывалось от страданий товарища, от его стонов. Сейчас и в мыслях не было, что когда-то ревновал к нему, видел в нем соперника, чуть ли не желал ему смерти. Все это отошло, исчезло, развеялось в чаду, в дыму боя, и перед Степурой сейчас только товарищ, друг, брат, для которого он не пожалел бы собственной крови, лишь бы ему стало легче. Как ребенка, хотелось поднять Славика на руки, держать, чтобы не трясло, да так и цести хоть за Днепр, спасая из этого пекла.

Раны Степуры тоже разболелись, горят! Привалившись к борту кузова, он стискивает зубы, чтобы не сто-

пать, когда машину подбрасывает. При каждом таком ударе он чувствует все свои изорванные мускулы на ногах, все осколки, как железные запозы, застрявшие у него в теле. «А как же ему,— думает он о Славике,— он же слабее меня, такой нежный, хрупкий, как девушка...» Осторожно вытянул чью-то скомканную шинель, подложил Славiku под голову.

— Мне кажется, это его последние минуты,— шепнул Духнович, наклонившись к Степуре.— И это наш Славик! И это мы сидим над ним! Просто невероятно!..

Огромные свежие воронки от бомб чернеют у дороги. За дальними холмами что-то горит — Степура видит, как густой дым тяжело стелется по горизонту. Снова села с хатами расписными... Дым пожаров, песмолкающий грохот, печаль, тревога на лицах людей — это твоя Украина, такой ты видишь ее. Не песня, которая еще недавно раздавалась в лунные ночи над этим краем, над садами и левадами, а великая народная печаль разливается повсюду. Этой печалью шумят деревья, она в воздухе, она в прекрасных глазах матерей, которые выносят к грузовикам глечики молока, во взглядах молодых женщин, которые стоят среди подсолнухов, печально прислонившись грудью к плетню, во взорах девчат, которые тоскливо смотрят тебе вслед очами рафаэлевской чистоты. Прощальная тоска в девичьих глазах, крики, стоны, канопида и рыдания материнские — вот сейчас твой голос, Украина! Кто останется в живых, не забудет этого вовек.

Вечерело, когда грузовики подъезжали к Днепру. Тучи заволокли небо. Лагутин на последних километрах стонал все тише и тише, а когда остановились у переправы, во все затих: сняли с кузова мертвым. Тут неподалеку от переправы, у подножия Тарасовой горы, его и похоронили. Чью-то разбитую, расколотую каску положили на свежем холмике земли.

Задыхаясь от слез, Степура стоял над могилой, и думы его сами собой складывались в горькие строки: «Пройдем мы, и нас не будет. Что ж останется после нас? Каски разбитые? Белые кости во ржи? Ильobelisks встанут до туч?»

Надо бы, по народному обычаю, посадить у пголовья Славика калину красную или тополь серебристый. Но где та калина? Где тополь? Когда-нибудь придет сюда Марьяна, придет и посадит, и вырастет печаль ее, ее

любовь, живой песней встанет над всем днепровским краем...

Тучи заполнили небо, тяжело плыли на запад... В суматохе у переправы случилось так, что Духовича отправили с первой партией на тот берег, а Степуре после этого пришлось еще долго ожидать. Сидел в стороне под горою и смотрел на Днепр, на великую реку, воспетую Кобзарем. Тучи клубятся над водою, ветер гонит волну, и весь простор воды переливается волнами, будто только что вспаханное поле. Пружкнят, бьются на ветру лозняка, возле них группками собрались рапеные в ожидании переправы. Говорят, вчера тут разбомбили баржи с рапеными, как бы не повторилось это и сегодня... Правда, пасмурно сейчас для авиации, низкие тучи плывут, чуть не касаясь могилы Тараса, свинцово нависают над ширью днепровской.

Впервые в жизни Степура видит Днепр. Когда напразлялись на фронт, проспал Днепр ночью и теперь вот встретился с ним уже на обратном пути. Надеялся увидеть его светлым да солнечным, в разливе синевы, а Днепр явился перед ним в тяжелом стальном отливе предвечерья, в неприятном шуме ветра, в сумеречной волнующейся шире...

Еще только середина лета, а вода в реке какая-то тяжелая, взвихренная у берегов, порывы ветра шумят в лозьях, вербы древние гнутся, осоки рябят под ветром, словно чешуей, своими листьями — то сразу потемнеют все, то вдруг, вывернутые ветром, замелькают белым. Эти растрепанные ветром деревья, и распаханый им Днепр, и Чернечья Тарасова гора, что высится рядом, и тучи вечерние, что идут над рекою, над самой могилой Кобзаря, — какую тоску все навеивает, какой печалью ложится на душу!

Сгущаются сумерки, и за Днепром все ярче становится зарево далекого пожара, — паверное, там днем что-то бомбили. А с запада доносится грохот войны. Уж и сюда достает война. Как хотелось бы Степуре сейчас заглянуть в будущее!.. Станет ли Днепр последним рубежом или дальше перекинется непасытный огонь? Что будет с теми, кто остался на Руси? Что будет с тобою, святая могила Тараса, с тобою что будет, родной народ мой? Выстоишь ли, переборешь ли? Разве явился ты, чтоб только дать миру песню, песню свою бессмертную и опять уйти в небытие? Солнечпой, цвстущей пазывали

тебя, Украина недавняя, вчерашняя, — а теперь? Какой назвать тебя сегодня? Темно-багровая, в пожарах до туч, в слезах матерей и в жгучем горе сыновнем — такая ныне ты, Украина сорок первого года...

30

Противотанковые рвы копала, земляными валами опоясывалась в эти дни Украина. Откуда брали они начало, эти длинные рвы противотанковые, и где им будет конец? От самого моря через виноградники юга, через солнечные раздольные степи тянулись они в глубине республики, опоясывая Донбасс, огибая Харьков, свежей землей темпея по Левобережью — все дальше и дальше на север. Рвы и рвы. С беспощадной прямолинейностью ложились они по стерням полей, по бахчам, через гречиху медовую да колхозные сады, прорывались сквозь золотое войско подсолнухов цветущих (не скоро еще короны их угаснут и пыль падет на шершавые их листья).

Тысячи людей с лопатами в руках работают на сооружении оборонительных линий; с утра и до ночи, словно чайки морские, белеют в степях косынки девчат, женщин-солдаток и солдатских матерей. Верится им, что не напрасным будет тяжкий их труд, что рвы эти — три метра в глубину, семь метров в ширину! — сделают свое, помогут родной армии преградить путь врагу.

Так, по крайней мере, думали харьковские студентки, оказавшиеся в числе тысяч и тысяч горожан, мужчин и женщин, в жгучем зное далеко за городом на земляных работах.

Высокая стерня после паспех убранных комбайнами хлеба, сухая и твердая земля от горизонта до горизонта — загоняй лопату, копай. Кровавые мозоли, которые в первый день появились на девичьих ладонях, успели полопаться, запыться и затвердеть, а работе нет конца.

Таня Криворучко, Марьяна и Ольга-гречанка попали в бригаду, состоявшую почти из одних женщин. Знойная степь, скрежет лопат, пересохишие губы, опаленные солнцем лица... Только сознание, что эта их тыловая работа все же нужна и что она как бы объединяет их с теми, кто на фронте, — только это и придавало девушкам силы, помогало сносить и жару, и лишения, и тяжесть изнуряющего труда землекопов.

— Вот наша Ольвия, — говорит Таня, всем телом налегая на лопату, которая никак не хочет идти в землю. Пот заливает глаза, чувствуется, как он под одеждой крупными каплями катится по спине, по груди. На губах солоно. После нескольких часов работы лопата вываливается из рук и в глазах темнеет от усталости.

Вот как все обернулось: не ольвийские раскопки ведут, а степь раскапывают, преграждая путь танкам. И профессор их, Николай Ювенальевич, тоже тут. Засучив рукава, молча долбит землю от зари до зари, долбит, наверно, все с той же давнишней своей думою: отчего погибла Ольвия? Ведь были у нее и сторожевые башни, и земляные валы против диких степных кочевников...

Война еще далеко, о ней напоминали лишь подводы эвакуированных из-за Днепра, да тревожные сводки с фронтов, да эти вот противотанковые рвы. Однако опасность с каждым днем, видимо, приближалась: однажды к ним привезли откуда-то визгливую сирену, установили на насыпи и давали пробные сигналы воздушной тревоги. Было также приказано женщинам поснимать косынки. Значит, и тут можно ждать налета! Где же тогда спрячется весь этот человеческий муравейник, до самого горизонта растянувшийся под открытым небом по золотистой стерне? Ходили слухи, что ближе к фронту на таких вот, как они, окопников пенцы уже налетают, обстреливают их из пулеметов, сбрасывают на головы жепщинам листовки с безграмотными глумливыми обращениями: «Девушки и дамочки! Не ройте эти ямочки, придут наши тапочки, засыпят ваши ямочки...»

Тут еще этого не было. Тут еще тетки не хотят снимать с себя белых платков, несмотря на требование военных, руководивших окопными работами. Военных немного, лишь кое-где зеленеют гимнастерки, а то все гражданские и гражданские. Студенты, преподаватели разных институтов, служащие, колхозники, освобожденные или по возрасту, или по особому распоряжению («пока винтовки для нас сделают»), — все сейчас тут. Жизнь ведут цыганскую, ночуют кто где: в коровниках колхозных, в яслях и под яслями, а большинство — прямо под открытым небом, в разворошенных скирдах, зарывшись в солому, да по степным посадкам в колючих зарослях одичавших абрикосов. Хлеб доставляют им из Харькова, а воду привозит в бочке дед Лука, крутым лбом напоминающий студенткам-историкам афинского гражданина Сократа,

Прав у деда Луки веселый, он не пропускает случая пошутить с девушками, и его появление всегда оживляет их, сулит веселую передышку.

Сигнал подает Марьяна:

— Девчата, воп дедова кобылка выпыривает из глубины столетий...

Лука сидит на передке водовозки, кобыла крупом почти совсем закрывает его, только соломенный брыль маячит над кобылой как знак того, что и дед тут. Появление дедовой водовозки вызывает оживление и среди мальчишек-пастухов, резвящихся у посадки, и уже кто-то из них во всю глотку приветствует деда:

— Эй, диду Лука, там Махно вас искал!

Дед грозит кнутовищем:

— Ах ты ж, байстрючок!

— Байстрючок растет как стручок!

— Расти, расти, только не дубиной...

К окопникам дед подъезжает улыбающийся, он не сердится, что ребята его поддразнивают. Да и сам он как мальчишка: малепький, щуплый, ситцевая рубашонка на одной пуговице, из-под рубашки острые ключицы выступают. А голова, когда дед снимет брыль, в самом деле сократовская: лобастая голова мудреца, круто посаженная на щуплых дедовых плечах.

Окопницы, окружив бочку, набрасываются на воду; те, кто утолил жажду, сразу веселеют, и Таня Криво-ручко уже шутит, задевает старика:

— Дедушка, а это правда, что вы были махновцем?

— Коли дети дразнят, стало быть, правда,— спокойно говорит дед Лука.

— И Махна выдали?

— Выдал и Махна, и царя, и кайзера... Всех видал и всех пережил. Думаю, и Гитлера переживу.

Ольга, устроившись на куче земли, приглашает старика. Дед, присев на корточки, стаповится будто еще меньше, и Марьяна лукавыми глазами критически оглядывает его, словно меряет.

— Не представляю вас махновцем,— говорит она.— Среди головорезов... Да вас же, наверное, и бабка ваша бьет?

— Бабка имеет право, бо она моя, а другие — шалишь! — говорит дед Лука степенно, поудобнее располагаясь среди окопниц на земляном валу.— А махновцем, девчата, я стал не по своей воле, а скорее по принужде-

нию. Наскочила вот такая оса вроде тебя, — он кивает па Марьяну, — вся в пуговицах да ремнях: «Давай в тачанку, будешь моим кучером!» Куда же денешься! Сядишься, берешь вожжи. Да еще, шельма, заставляла, чтоб стоймя стоял в тачанке — для форсу...

— Ну, и вы слушали ее? — спрашивает Таня, усаживаясь у деда в ногах.

— А что подделаешь, коли уж попал к ним в лапы, не сумел от них спрятаться? Перед тем я три педели скрывался у тестя своего па бахче. Как-то утром сварили кашу, завтракаем, вдруг — будто снег па голову! — едут па подводе денкипцы, а мы уже их повадки знаем: найдут — ага, дезертир! — тут тебе и крышка. Едут, сворачивают прямо к нашему шалашу! «В солому зарывайся!» — говорит мне тесть. Залез я под солому, затаился, как мышь. Чую — подъехали. «Ну, дед, дезертиры есть?» — «Нема». — «А кавуны есть?» — «Кавуны перед вами». — «Выбери нам получше...» Пошел старик по бахче, а я все лежу в соломе, уже и мыши меня кусают. Думаю; паберут кавунов, да и поедут себе, а они не торопятся, у шалаша и расположились угощаться. Один сел прямо па меня, устроился, как па мешке, да на мне и позавтракал, стерва...

Дед Лука, спяв брыль, медленно потирает ладошью покрывшиеся потом голые просторы своего сократовского черепа.

— А ухо почему у вас порвано? — спрашивает Ольга.

— Пас коров да уснул, а телок подошел да отжевал, — не моргнув глазом отвечает дед.

— Он жевал, а вы и не чувствовали?

— Крепко спал. Сквозь соп слышу, будто свербит что-то. Очнулся — теля надо мпой, совсем уже ухо дожевывает.

Девчата почти верят, так серьезно дед Лука рассказывает, по тетка Хотипа, пышная доярка из одного с ним колхоза, прямо-таки колышется от хохота:

— Слушайте его! Это дед еще с той войны такое ухо принес. Австрийцы ему отжевали!

— Так вы и па империалистической были, дидусю? — заинтересовалась Таня. — Ветеран двух войн?

— А какая же без меня обойдется... — Дед устремляет вдаль малюпкие зоркие свои глазки. — Лучишие годы своей жизни войне отдать пришлось, растратить на солдатчине... И впрямь прошли года, как вода. Разве таким я

тогда был? — Он хвастливо поглядывает на свою любимцу Тапю. — Была силепка! Схвачу, бывало, коня за копыто — не вырвется. А сейчас вот не то.

— Да, состарился, а вот голос до сих пор молодой, — говорит тетка Хотина девушкам. — Ночью как запоем на току, за тридцать земель слышно.

— То я, когда сторожу, — пояснил дед Лука, — сон разгоняю.

Таня сочувственно смотрит на него, на его высохшую шею, на простенькую его рубашонку с одной пуговицей. Спокойствием, добротой веет от него, бывшего вояки.

— Просто не верится, дедушка, что и вы когда-то были на войне, в атаки ходили, в людей стреляли... Скажите, неужели стреляли?

— Больше в небо, впучка, в белый свет, как в копеечку. На позициях, бывало, пригнешься в окопе, голову вниз, а винтовку выставишь, да и бахаешь, чтобы только офицер слышал.

Марьяпа посмотрела на него вдруг построжавшим взглядом:

— Вот какой, значит, из вас был вояка?

— А я, дочка, за «Георгиями» не гонялся. Человека убивать вера моя тогда мне не позволяла. Незадолго перед тем я учение Льва Николаевича графа Толстого принял, вот ведь какое дело.

— Я почему-то так и думала, что вы были толстовцем! — откликнулась Ольга. — Вы и в Ясную Поляну ходили?

— Нет, в Ясную не ходил, куда там было за работой. А вот моя мать, так она даже в Палестину хаживала, в Ерусалим... Темная женщина, а представьте, аж оттуда, из аравийских пустынь, принесла в слободу святого огня. Больше года ходила, дома за это время хозяйство совсем пришло в упадок, и батюка так рассердился на ее странствия, что, когда она вернулась из Ерусалима со своей зажженной свечкою, он в сердцах свечку ту погасил и все как есть иконы из хаты повыбрасывал и топором посреди двора изрубил в щепки... А мы за своей верой никуда не ходили. Толстовские проповедники к нам сами в слободу пришли и несколько парубков, таких, как и я, учением своим тогда завлекли. Потому-то, девчата, и стрельба моя была такой.

— Выходит, вы, дидусю, пацифист? — пристально посмотрела на него Ольга. — Вы, как Роллан, были «над схваткой»?

— В разных схватках бывал я, девчата, — будто не расслышал дед, — а скажу вам только: нету в этих войнах ничего доброго. Это как чума, которая раньше ходила по свету, або холера. Кто хоть раз войны попробовал, тому на всю жизнь хватит от нее отплеиваться... Но коль уже полезли эти гады фашисты, так надо им всыпать по первое число!

— А спросить их, чего им надо от нас? — сказала тетка Хотина. — Никто их не трогал, а они идут, жгут — рвы против них, как против саранчи, копай. Хоть бы за Днепром наши как следует им шею намылили.

— Черного кобеля не отмоешь добела, — отозвался дед Лука, поднимаясь.

— Вам, дед, еще ничего, — беря лопату, сказала тетка Хотина, — ваш сын в морфлоте, где-то на Тихом океане, а мой вот Трифон прямо в огонь пошел. В разум не возьму, как-то он там будет воевать. Вы ж знаете, какой он у меня тихий да плоховький. Курицу боялся зарезать, мухи не убьет. Как же он людей будет убивать?

— Не людей, а фашистов, — резко поправила Марьяна. — А фашистов я и сама вот этой лопатой, как жаб, перерубила бы...

— Достается и вам, девчата, — сочувственно глянула на студенток высокая, с отечным лицом пожилая женщина из соседнего колхоза. — Молодые, цветущие, матерями бы вам скоро быть, а где оно, ваше материнство? Где они теперь, ваши суженые?

— Героями, в орденах возвратятся, — сказал, проходя мимо, Штепа со своей неизменной усмешкой. (Когда университет отправлял людей на окопы, Штепе судьба тоже вручила лопату и послала сюда вместе со всеми.)

— Да оно и тебе, парень, — искоса посмотрел па Штепу дед Лука, — больше подошло бы там сейчас быть, а не тут, между бабьими юбками. Одпокашники-то твои где?

— А я не протиснулся, — ухмыльнулся Штепа.

— Глянь, ему еще и весело, — с возмущением воскликнула Марьяна. — Тысячи наших студентов за рюкзаки и — в поход, а он не протиснулся! За шкуру свою дрожит! — И, покрасневшись, крикнула деду Луке: — Не давайте

ему, диду, воды! Пускай высохнет, пускай в мумию превратится — сохранив будет!

Снова занимая свое место на водовозке, дед Лука отчужденно глянул на Штепу:

— Видишь, как оно трясогузу-то на свете жить...

— Вам, дед, — огрызнулся Штепа, — лучше бы помолчать с вашим махновским прошлым.

Дед, не ответив, молча щелкнул кнутиком в воздухе, поехал.

Под вечер того же дня неистово заверещала сирена. Завыла, затанула: ву-ву ву-у, ву-у!..

— Немец летит!

— Прячьтесь!

Не успели и опомниться, как над окопами, хищно сверкнув, с воем пронесся самолет. Ударил над полем пулеметной очередью, потом от него отделилось что-то темное, круглое и с нарастающим тарахтением, со свистом полетело вниз. Самолет пронесся над ними на небольшой высоте — был даже виден в кабине летчик, оскаливший зубы: он хохотал.

— Бочку кипул! — слышались голоса окопников. — Бочку пустую из-под горючего! Еще и дырки пробил, чтобы сильнее свистела!

— Никого не ранил? — пробегая, встревоженно спрашивал военный.

— Хотел, да не попал, — отвечали женщины.

— Бочку тракторную кинул, надо же придумать!

— В другой раз целый трактор на голову бросит! Под Иваповкой, говорят, полтелеги бросил на окопников.

— Самого б его об землю бросило, бандита, — ругалась тетка Хотипа, грозя вслед самолету. — Еще и хохочет, душегуб!

— Потребуем, пусть завтра зенитные пулеметы нам тут поставят! — кипела лютой ненавистью Марьяна, приступая к работе. — Нужно проучить хулиганье фашистское.

С утроенной энергией трудились в этот день девчата. Трудились так, будто мстили за этот налет, за поруганную мирную жизнь, за искалеченные судьбы свои. Таня, хотя и была среди своих подруг ростом самая маленькая и хрупкая, выполнила до вечера полторы нормы. Горели ладони, все тело разламывалось от усталости, когда они в конце дня, помогая друг другу, выбрались наконец из глубокого рва наверх.

— Хотя бы искупаться где-нибудь,— сказала Ольга, оглядывая выжжепую степь.

Выпрямясь, стояли они с лопатами на земляном валу, смотрели на развернувшуюся в полнеба буйную красоту заката. Солнце, прежде чем исчезнуть за горизонтом, подняло высокие паруса света перед неподвижными, как бы окаменевшими облаками, которые казались фантастическим скалистым ландшафтом каких-то других планет; и где-то за теми скалами раскаленными, под теми солнечными парусами бились с врагом их хлопцы на войне.

31

Зноем жатвы палиты были дни.

Нежных акварельных тонов были вечера.

После раскаленного слепящего дня сиреневой дымкой затягивалась степная даль, мерцала и звала девчат туда, где стрекочут кузнечики на всю степь и высокая шуршит стерня, золотясь под ногами, словно упавшие за день с неба да так и застывшие солнечные лучи.

Где-то вдали проступают у края степи очертания стройных тополей. Там полустанок. Обнявшись, идут девчата туда.

Николай Ювенальевич задумчиво смотрит вслед девушкам. «Сколько доброго чувства нужно иметь друг к другу, какую близость душевную, чтобы вот так нежно обняться и пойти...

Пожалуй, только с тихой и грустной песней можно сравнить вот такое настроение, что заставляет этих девчат обняться и молча уводит их все дальше в вечернюю степь...»

Все дальше и дальше бредут девчата в сиреневую мглу, и степной простор вокруг них все звонче свиристит и стрекочет. Такой душный, еще не отравленный пойной вечер в поле, вечер, что пахнет снопами, гулко тарахтит где-то арбой,— так и кажется, вот выйдут из посадки их хлопцы-студенты в майках, чубатые, загорелые, встретят веселыми студенческими шутками да остротами... Как вы тут, девчата?

А там вон тракторы пришли с волокушами, разравнивают насыпанные в течение дня валы, растаскивают по полю выброшенный из противотанкового рва грунт. Поле, которое только что было золотым, становится пепельно-серым, темнеет, а женщины-солдатки, глядя, как

их труд рассеивается по полю, запевают ту песню, в которой все горы зеленеют, только одна гора черная, только та гора черная, где пахала бедная вдова...

А девчата тем временем уже совсем далеко от рвов. Земля, волокуши, лопаты, дневные заботы — все куда-то отступает, и девчата окупаются в недалекое свое прошлое, в чудесный мир студенческой жизни со всеми ее тревоблениями, где переплелись и любовь, и ревность, и счастье примирений, и переживания на экзаменах, и мечты об ольвийском лете...

— Жить бы только да жить, — говорит Таня задумчиво. — Небо вот. Степь широкая. Песня. Любовь. Кому же дозволено поднять руку на это извечное право людское на труд людской, на счастье? Было время, когда человек был зверем, жил в лесах, в пещерах, добывал себе пищу охотой, — тогда он вынужден был воевать. С примитивными своими орудиями набрасывался на мамонтов... Теперь же стоят перед человеком тысячи книг, в которых собрана мудрость веков, стоят нацеленные в небо трубы телескопов, в которые он рассматривает дальние миры. Он проник на дно океана и научился быстрее птицы летать в воздухе! Он стал всевластным, всемогущим, разум его — это диво дивное! Всем хватило бы и земли, и пеба, и песен, если бы люди научились жить без войн, если бы все эти ужасные войны не забирали у народов столько, сколько они забирают, — и ума, и сил, а самое главное, людей, цветущих, одаренных. — Таня разволновалась, душевная боль слышалась в ее голосе. — Достичь того, что достигнуто человечеством, и вот теперь, после всего этого, — назад? К пещерам, к пирамидам из людских черепов? Тот цивилизованный бабдит, который пролетел сегодня и швырнул бочку, — чем же он лучше Батыевых башибузуков, хоть и появился не на монгольском коне, а на современном летательном аппарате? Варвар он, фашист проклятый, трижды варвар!

Мглистая синева степных просторов становилась все гуще. Некоторое время девушки шли молча, потом Ольга будто очнулась от каких-то раздумий, заговорила грустно:

— Может быть, Лев Толстой потому так и бунтовал на старости лет против цивилизации, что предчувствовал, как преступно будут использованы его достижения, сколько бедствий принесут народам новые, певдашные по размаху разрушительные войны.

— А ведь этого могло и не быть, — сказала Марьяна. — Достаточно было, чтобы в свое время все трудящиеся Германии проголосовали за Эрнста Тельмана!

— Ну это не так-то просто. А к тому же никто не мог всего предвидеть, — тихо промолвила Таня. — О, если бы человек мог сквозь годы заглядывать вперед! Многое на свете было бы по-другому...

Стерпя копчилась, они вышли на дорогу, и Таня, словно уловив какую-то мелодию, стала вслушиваться в предвечерние сумерки.

— А степь стрекочет и стрекочет, — голос ее зазвучал печально. — Неужели и там так же стрекочут кузнечики?

И это «там» девчата понимают: там, где хлопцы, где сейчас вот угасают последние краски заката.

Когда пошли дальше, Таня попросила:

— Оля, спой что-нибудь...

И Ольга сразу же, будто мелодия звучала в ее душе, запела песню, пачав ее откуда-то с полуслова, с середины.

Песня незнакомая — это греческая. Ольга рассказывала как-то, что в Приазовье, в Ногайских степях, она училась в греческой школе, такие школы были во многих греческих селах.

Ольга, вся в песне, тревожит степь задушевым своим голосом, а подруги, шагая рядом, думают о ней, о ее пележкой девичьей доле. Идет с ними, высокая, сухопарая, темполицая, и темные круги под глазами. Губы, как всегда, сухие, обветренные, будто от внутреннего жара. Она ровесница им, но ее можно было бы принять за молодую женщину, которая уже выкормила ребенка; была в ней какая-то усталость и одновременно ласковость, тихая материнская доброта. Девчата понимали, что усталость эта, видимо, от душевной боли, от неудачной и почти безнадежной ее первой любви. И только когда Ольга поет, она преображается, делается красивее, особенно теперь, когда после прощания со Степурой в лагере перед ней словно бы сверкнул лучик надежды. Степура обещал писать с фронта, и хотя ничего еще не написал, она ждет, надеется и от одной этой надежды как бы расцвела, помолодела. Но особенно меняется их подруга в эти песенные минуты, от этих страстных гортапных песен греческих, которые она поет хотя не часто, зато каждый раз с каким-то особенным подъемом, потому что песни эти — девчата знают — предназначаются прежде всего для Андрея Степуры. Для него, для души его поэтической льются

по вечерам над степью ее задушевные песни, это ему, далекому любимому, на своем полузабытом языке рассказывает она о безответной любви своей...

На окопах девчата подружились еще больше, стали как сестры; от Тани и Марьяны нет теперь секретов у Ольги. Не таясь, в такие вот вечера, в такие теплые ночи июльские изливает она подругам то, что до сих пор таила в себе.

— Поэт! Ведь он настоящий поэт, поймите вы! — говорит она жарко, когда заходит речь о Степуре. — Я вижу в нем все самое лучшее, что унаследовано им от народа, от родной земли; все в нем чистое, как Ворскла его или Орилька. И сила его. И уравновешенность. И правдивость, и внутренняя чистота! А голос? Да у него же речь шелком шелестит, поэзия светится в его глазах!

— Прибавь к этому редкую его неуклюжесть, — подшучивала Марьяна. — Она у него, видать, тоже от национального характера.

— Смейся, но он все-таки характер... Когда все песни твоего народа, слагавшиеся веками, живут в тебе, живут даже забытые... А в нем они живут. Разве это не характер, не проявление сильной, глубокой натуры!

— Прости, Ольга, — тронула гречашку рукой Марьяна, — но только вот неповоротливость и сентиментальность никогда мне в нем не нравились.

— Не тебе, Марьяна, оценить его по-настоящему! — распалившись, возразила Ольга. — Для тебя он только еще один поклонник, и все потому, что для тебя Славик твой — идеал. Ты влюблепа в него. Не зря ведь говорят: богатому и черт детей баюкает, так и тебе. А кто знает, если бы не ты, если бы не морочила ты голову Андрею три года, может, и у нас с ним все сложилось бы по-иному!

— Чем же я виновата? — лукаво, как цыганочка, повела Марьяна плечом.

— Перестань хоть сейчас-то кокетничать... Хорошо ведь знаешь, что Андрей лишь тобою живет, только о тебе стихи свои пишет, а другие для него... А разве мы не могли быть с ним счастливы?

— Надо было смелее на него наступать, — улыбнулась Татьяна.

— Даже сейчас признаться стыдно... Что я только не делала, — вздохнула Ольга. — Как-то вечером шла я из библиотеки. Разбитая, усталая — вы же знаете, как нелегко мне наука дается. И вот возле «Гиганта» вижу вдруг

в окне на втором или третьем этаже два силуэта: он и она. Студент какой-то и студентка. Мне, как на экране, видно каждое движение их, распушенные волосы у нее на плечах, изгибы тела, руки, которые сплелись в объятиях... Я видела, как сближаются и поцелуе их лица и, соединившись, надолго замирают. Потом снова отстраняются, смотря друг на друга, и, казалось, видно даже, как они ласково улыбаются друг другу. Ах, девчата! Можно было с ума сойти от этой немой сцены любви! Оглянувшись и вдруг увидела, что и весна кругом, и вечер чудесный, и все на свете любит, целуются, пьянеют от поцелуев, и только я одна, одна...

— Знаю я такие вечера,—вдохнула Таня.—Из-за мелочи какой-нибудь повздоришь, а потом ходишь, мучаешься, переживаешь, в пору хоть руки на себя паложить!

— Пойду! Сама, думаю, сейчас к нему пойду! — продолжала Ольга.— Как была с книжками, с конспектами, так и повернула в корпус, где жили хлопцы. Набралась храбрости, было ужасно стыдно, и все-таки постучала к нему. Он был один. Сидел у стола, как притомившийся косарь или тракторист, который вернулся с поля после тяжелой работы. Дым стоял облаком, и окурков полная тарелка. Он был для меня как в тумане, был — и будто не был. Даже не удивился, что я пришла, и, кажется, не заметил, в каком я настроении. Поднял голову, смотрит на меня сквозь табачный дым, а мысли его где-то далеко, и видел он кого-то другого в тот миг, не меня. До смерти мне обидно стало!.. Я прибежала к нему, готова была на все, а он? О чем, по-вашему, мечтал он в те минуты? О ком были его стихи в раскрытой тетради, что лежала перед ним на столе? Не подозревая моих чувств, он доверчиво, как ребенок, показал мне только что написанное, сам даже прочел несколько стихотворений... О тебе были эти стихи, Марьяна! Я слушала их, и, боже, каких мне стоило усилий, чтобы сдержаться, чтоб не разреветься...

— Видно, я все-таки виновата перед тобой, Ольга,—обняла ее Марьяна.— Но теперь все пойдет по-другому. Я ведь замужняя, мне своих детей пилить, а тебя я сама сосватаю за него, пускай только возвращаются скорее. Они же возвратятся — не может быть иначе!

— Вдруг там уже письма есть? — сказала Таня с надеждой.— Давай мы тебя, Марьяна, завтра командирuem домой на разведку, а?

— Ой, отпустят ли?

— Отпустят. Мы твою норму возьмем на себя.

— Что ж, я готова.

Девчата невольно стали на ходу оправлять волосы, платья: они приближались к полустанку.

Что влечет, манит их сюда каждый вечер? Они и сами боятся себе признаться, что приходят смотреть эшелопы с фронтовиками — ранеными, искалеченными людьми. Вчера в это же время проходил санитарный поезд. Женщины из совхоза, бегая вдоль вагонов, выкрикивали имена, допытывались, нет ли среди раненых кого-нибудь из близких. Девчата, припадая к окнам в напряженном ожидании, тоже спрашивали, нет ли харьковских студентов, не откликнется ли из вагона знакомый голос... Нет. Пограничники были. Летчики. Колхозники. И даже студент один оказался, но ленинградец, — а университетских не было. То ли в боях, то ли их везут другими дорогами, то ли... Приходили сюда каждый день, но за все время только одна весточка дошла до них из уст раненого пожилого командира, с которым разговорились на перроне. Слышал он про студентов, будто действовали они где-то за Днпром, на белоцерковском направлении, дрались честно. Он так и сказал: честно...

— Ваши или не ваши — не скажу, — рассказал он, — а только добрая слава о тех студентах по фронту прошла об их батальоне. Сбутылками да гранатами бросались на танки и не пропустили врага.

Сегодня оттуда, со стороны Днпра, снова подходил эшелон. «Может, опять раненых везет?» — переглянулись девчата, торопясь к перрону.

Поезд приближался. Паровоз засвистел так тревожно, словно сам был ранен. Без огней — черный, слепой. Подошел и остановился, вытянувшись далеко за полустанок, в вечернюю степь; и на невысокой насыпи между посадками будто еще одна посадка выросла: весь эшелон был укрыт ветками. Привидшая густая зелень, которой были замаскированы платформы.

На платформах среди станков, труб и болванок — халабуды какие-то, узлы, женщины с детьми.

Слышен тоскливый, причитающий голос какой-то старушки:

— Ой, де ж це воно, той Урал! Там же, кажуть, і баклажани не ростуть, і ми всі, мабуть, померзнем!..

Не успели девчата приглядеться, расспросить, кто едет и откуда, вдруг с одной платформы послышалось:

— Ей-же-ей, то Таня Криворучко! Таня, это ты? Таня встрепенулась:

— Я!

— Это же наш завод. Разве не узнала? И мама твоя тут! Будто током Таню ударило.

— Мама?! Где она?

— Где-то там, в хвосте эшелона!.. — кричали с платформ жепщины. — Беги спрашивай... А отец еще на заводе остался!

Таня помчалась вдоль эшелона.

— Мама, мама! Это я, Таня! Криворучко Таня! Мама! Где ты? — кричала в сумрак, в железо платформ и бежала дальше, а в это время эшелон тронулся. Тронулся и поплыл маскировочными ветками, разлучая Таню с матерью будто навсегда, навеки. Слышала какие-то выкрики, видела платки женщин в потемках на платформах, и все это были для нее матери, матери...

Эшелон набирал скорость, а Таня все бежала за ним, и, даже когда последний вагон с ветром промчался мимо нее, она и тогда какое-то время летела в степь будто неприкаянная. Споткнувшись, не удержалась, упала на гравий, ободрала колено. Поднялась и, не в силах тронуться с места, стояла, будто в оцепенении. Вот так. Нет дома, нет завода, все на колесах, мама не услышала... Попикнув, стоит, точно беспризорная, за полустапком и только слышит, как удаляется стальной перестук рельсов, как с каждым мгновением все меньше дрожат под ногами шпалы.

Все, что случилось тут, было похоже на сон, тяжелый, повероятный. После разлуки с Богданом для нее это самый страшный удар. Пришла поглядеть раненых, а тебя вот самое рапило, с лету в самое сердце, оглушило, бросило на произвол судьбы. Все собиралась поехать к родителям, откладывала со дня на день, а теперь и ехать некуда, догонять их теперь... Почему эшелон не постоял еще немножко? Дура она: нужно было броситься, ухватиться за первую попавшуюся ступеньку платформы, потом бы уже разыскала маму... А девчата, а се Богдан, а университет, куда только и может прийти от него весточка?

Подруги, подбежав к Тане, схватили ее, оттащили в сторону:

— Смотри, вот еще один товарный идет!

Опять задрожала земля — приближается новый эшелон. Этот также затемненный, лишь из трубы паровоза

дым вырывается с искрами. На платформах ящики, моторы, станки... Тоже заводской! Может, тато здесь? Или кто из родственников, из соседей? Сядет и поедет с ними! Вот так, как есть! Или хотя сообщит, что она непременно найдет их, догонит!

Пролетают платформы, прикрытые ветвями родных заводских акаций, пролетают и... не останавливаются. Будто выстреленный, промчался мимо них эшелон, ударил тугим ветром. Кусая губы, Таня стоит на краю насыпи, смотрит вслед. Красный глазок последнего вагона быстро удаляется, гаснет в степи.

— Пошли.— Марьяна подала Тане руку.

— Одна теперь, — прошептала Таня. — Совсем одна...

— Не одна, будем вместе, — прижалась к ней щекой Ольга.

Спустились с насыпи и, снова обнявшись, побрели в вечернюю тишину, где после грохота эшелона, как и раньше, неутомимо и нежно стрекочет кузнечиками степь.

32

До сих пор, когда Таня думала о войне, ее все же при всей трагичности событий не покидала надежда на какое-то чудо, упование на то, что в один прекрасный день война закончится так же внезапно, как и началась, что каким-то образом будет остановлено ужасное это бедствие, втягивающее в свой круговорот миллионы и миллионы людей. Теперь, после этих эшелонов с диспровскими демонтируемыми заводами, она поняла окончательно: это были всего лишь наивные фантазии, что ни о каком замирении не может быть и речи. По всему было видно, что борьба эта надолго, борьба не на жизнь, а на смерть, — ей не видно конца. Война, подступая к каждому порогу, разрушила и ее родное надднепровское гнездо. Что будет с мамой? Всю жизнь она не покидала родного города, часто болеет, а теперь вот в дальнюю дорогу на платформе — куда и насколько? А где тато? Где дядусь? Что думают о ней?

Разрушается тот привычный мир, в котором прошло ее детство, гаснут мартены, пустеют цехи, а отец, может, сейчас собственными руками уничтожает то, что сам всю жизнь строил. Нет дома, нет Днепра, не будет больше поющих рассветов с переключками заводских гудков. Огля-

дываясь в прошлое, Таня видела там жизнь, залитую светом юности, жизнь, которая во всей ценности и красоте предстала перед нею только сейчас. Знала ее, какой она была — вместе с трудностями, с огорчениями, драмами людей, — и все же это была жизнь, которая возводила Днепрогэсы, пробивалась в стратосферу, взламывала арктические льды и всем стремительным ходом своим была пацелена в будущее, в будущее. И словно все было освещено тем будущим... А теперь эта черная напасть, истекающие кровью фронты, вой сирен в городах, демонтированные заводы на колесах, и она, оказавшаяся на распутии, еще и сейчас не знает, бросить ли все и догонять эшелон, где была мать, или по-прежнему держаться университетских подруг, с которыми больше, чем где бы то ни было, и больше, чем с кем бы то ни было, она ощущает себя ближе ко всему вчерашнему, к своей первой и последней студенческой любви.

За время разлуки с Богданом чувство, которое она испытывала к нему, заполнило ее всю. Не думала, что можно любить больше, чем она любила, а выходит, можно! И то, что они размигнулись с матерью на полустанке, кажется Тане заслуженной карой за невниманье к родным, за то, что не поехала домой сразу, как только началась война, забыла обо всем и обо всех на свете, кроме него одного. Хотя бы слово услышать о Богдане, вель писем нет, нет ни единой весточки, и это угнетает, мучит все время, воображение рисует самые мрачные и притом страшные своей реальностью картины. Ранен? Если бы знала, что лежит где-то раненый, бросила бы все и помчалась туда, день и ночь была бы сиделкой при нем. В неволе фашистской? Пошла бы и в неволю, чтоб и там облегчить его страдания. И все-таки даже самые горькие предположения отступали перед непобедимой верой в его удачу, в его судьбу, в то, что он жив. Где-то он есть. Где-то в боях. Рано или поздно отзовется!

Охваченная своими мыслями, Таня сейчас еле слышит разговор девчат, хотя они идут рядом с нею вдоль посадки — мягкая дорожная пыль пыхает под их босыми ногами. Они разговаривают о тетке Хотине, о том, как ждет она своего Трифона, того добряка Трифона, который и курицы не мог убить. «Без рук, без ног будет — все равно заберу...»

— Я иногда спрашиваю себя, — говорит Ольга, — способна ли я на такое? На любовь безоглядную? На по-

ступок по-настоящему добрый? Мне ничего такого в жизни не довелось сделать, и это меня мучит.

— Не наговаривай на себя, Ольга, — возразила Марьяна. — Уж если кто у нас на факультете и был добрым к товарищам, чутким по сердцу, а не по обязанности, так это, конечно, ты. Ты родилась быть сестрой милосердия, в будущем ты прекрасная мать, и жаль, что этого до сих пор не мог понять твой непутевый Степура...

— О, не нужно об этом, не шути такими вещами, Марьяна... Каждый, кому довелось сделать добро другому, должно быть, пережил радость какую-то особенную, радость, ни с какой другой не сравнимую. Может, это и есть счастье. Когда я пытаюсь представить себе общество будущего, оно рисуется мне именно таким: люди, приносящие радость друг другу...

— Я иногда думаю: не слишком ли много университет дал нам в дорогу разных иллюзий? — сказала Марьяна. — Вот ты заговорила про общество будущего. Для нас оно самое прекрасное, за него мы боремся, о нем мечтаем... Но если быть реалистами: не отдалит ли его эта война? Отбросило же татарское иго Киевскую Русь на триста лет назад... Порой, как подумаешь, даже жутко становится: в какой тяжелый век мы живем, сколько коварства, жестокости, вероломства на свете. Тысячу лет назад, когда воины на своих пиршествах черпали вино черепами побежденных, — даже тогда перед нападением предупреждали врага честно и открыто: иду на вы! А теперь, в двадцатом столетии, совершают нападение ночью, по-разбойничьи, бомбы с неба сбрасывают на спящих детей, матерей...

— И это после вчерашних уверений в дружбе, — сокрушенно добавила Ольга.

Таня не вмешивалась в разговор, но мысли ее были о том же.

«Век каменный знало человечество, век бронзовый, век железный, — думала она, — а скоро ли будет легендарный век золотой? Ждет ли он нас впереди? Или, может, он уже миновал, отошел, не успев расцвести?»

— Кто это тут ходит так поздно? — слышался внезапно голос из посадки.

Вздвигнув, девчата остановились.

— Хенде хох! — И из зарослей к ним вышел дед Лука. В брыле своем неизменном, с винтовкой в руках.

— Так до смерти испугать можно,— сказала Марьяна.— Непротивленец с винтовкой — чудеса.

— Степь стерегу,— сказал дед Лука.— Тут теперь стрелительный батальон действует. Днем мы на своей работе, а ночью поля от диверсантов охраняем да железную дорогу.— И, снизив голос до шепота, добавил:— Сам енкаведе попросило.

— Толстовец — и вдруг по липпи НКВД,— улыбнулась Марьяна.— Да вам же, как толстовцу, оружие не полагается брать в руки!

— Теперь и сам Лев Николаевич взял бы,— сказал старик.— Час такой настал. В этой войне старые и малые будут воевать, землю родную защищать...

— И не страшно вам здесь в посадках? — спросила Ольга.

— А чего ж страшно? Когда парубком был, черти за мной гонялись, и то не боялся. А один раз, как с гулянки шел, ведьма за мной с версту гналась...

— Ведьма?.. — оживилась Марьяна.— Вы видели ведьму?

— Как вот тебя. Только ты стоишь, а она клубком, клубком по земле передо мной, под ногами. Я остановлюсь — и она остановится. Я тронусь — и она тронется.

— Изрядно, видать, выпили? — засмеялась Марьяна.— Хотела бы и я на эту кралю посмотреть хоть раз...

— Теперь нет,— убежденно сказал дед.— Все ведьмы и лешие пропали: не стало им житья промеж теперешних людей. Раньше, бывало, подоит молодца корову, пацедит всего-то два стакана, а несет в хату — еще и фартушком прикроет, чтобы соседка не сглазила. А ведьмам, так тем на всю ночь работы хватало: слышишь, у той ночью корову выдоила, той подсобила, ту присушила. А зараз вон моя певичка на ферме дояркой, ведро полное набухает, несет открыто, и никто не сглазит, бо корова из автопоилки воду пьет.

— В нечистую силу, вижу, не верите,— пристаёт Марьяна.— А в бога?

Дед Лука помолчал, вздохнул:

— Есть бог, нету ли — никто не докажет... А совесть краше бога.

— Совесть краше бога — это хоть записывай,— улыбнулась Ольга Тапе.

Пыхает под ногами прохладная пыль, стеной темнеют вдоль дороги заросли-посадки. Марьяна в темноте заце-

нилась юбкой за какую-то колючую ветку, осторожно стала отцеплять ее.

— Какая тут посадка густая да колючая! А у вас, дедушка, ружье заряжено?

— Все как следует.

— Если бы кто-нибудь — ну, парашютист ихний или еще кто, — сразу и бахнули бы? — спросила Ольга.

— Еще как! Правду сказать, больше двадцати лет виптовки в руках не держал, думал, и не придется. А вот привелось. Баба говорит: ты словно помолодел с нею.

— Правда, диду, лихость какая-то у вас появилась. Но зря, видать, мальчишки дразнят: «Диду Лука, там Махно вас искал»?

— Дразнят, враженьята, смеются... А я, признаться вам, девчата, иногда и правда чую ночью, словно кто-то зовет. Да только знаю, то не бандит Махно зовет, то кличет меня молодость моя, степи широкие, кони, воля революции. Тогда я уже не был толстовцем, а был чертом, дьяволом, и под конец войны пошел Сиваш штурмовать. Звали и меня пойти с Махно в последний рейд, когда он в Румынии очутился, а потом где-то аж в Африке в иностранном легионе рыскал на своих тачанках... Но это не моя дорога, бо правду свою трудовую я тут увидел — она дома, на родной земле.

Отдыхает степь, наливается прохладой после дневного зноя. Небо кое-где в полосах облаков. Луна — щербатое цыганское солнце — выплыла из-за облака и встала над степью с запада; где-то далеко, в той стороне, за балкой горит стерня, и видно, как огромная багрово-бурая туча дыма, освещенная луной, клубясь, тяжело стелется над долиной.

— Есть что-то зловещее в ночных пожарах, — сказала Ольга, глядя на зарево. — Неужели это все стерня горит?

— Стерня, — спокойно подтвердил дед, — хлеба там поблизости нету... Зерно из-под комбайна прямо на станцию ушло...

— А до нашей скирды не дойдет?

— Нет, там по балке толока, вытоптано скотиной все, печему гореть...

И хотя горела только стерня и горела далеко, все же и вправду было что-то зловещее в этом разлитом по всей степи, сплошным фронтом наползающем пожаре. С другого края, откуда-то со стороны села, донесся еле слышный собачий лай, тревожное, разноголосое завывание.

— На лупу опи там воют, что ли? — спросила Марьяна.

— Собачьи маневры зараз возле совхоза, ночная учеба,— пояснил дед Лука.— Недавно привели их и теперь дрессируют, чтоб под танки бросались. Глядеть больно, как она, тварь бессловесная, а и та понимает, жить хочет. Пустят танк старый, бросят под него кусок мяса: беги! хватай! А оно, несчастное, хоть и голодное — перед тем целый день не кормят, — а мяса не хочет, удирает от танка куда глаза глядят, бо смерть свою чуёт.

— Вряд ли думал академик Павлов, что так придется использовать его учение,— сказала Ольга, прислушиваясь к собачьему скулежу.

— А ты забыла,— почему-то раздраженно ответила Марьяна,— еще у ассирийцев были отряды боевых собак, принимавших участие в битвах?

— Ожесточились, ожесточились люди. А все из-за них, фашистов проклятых,— печально бросил дед Лука и, пожелав девушкам спокойной ночи, повернул в сторону села, откуда доносился собачий лай.

Девчата направились через поле к своему табору. Разрытая скирда свежей соломы — это и был их степной табор. Когда подошли к скирде, все уже спали; вскоре и подружки лежали рядышком на своей роскошной соломенной постели. В лунном свете солома поблескивала; она впитала в себя за день потоки солнечных лучей и теперь будто еще дышала солнцем.

Марьяна и Ольга, улегшись поудобнее, быстро уснули, а к Тане еще долго не приходил сон... Слышала, как прокричала какая-то ночная птица в посадке, кто-то кхекал на скирде паверху, где спали мужчины, а Таня, подложив руки под голову, все смотрела на высокую мерцающую звезду в небе. Это были те минуты, когда Таня, как она говорила, «настраивалась на одну волну с Богданом», вела с ним самые сокровенные разговоры, слышала его голос и иногда почти физически ощущала его рядом с собою. Она думала сейчас о том, как ревновала его, как ревность порою делала ее прямо-таки смешпой в его глазах, а она хотя все понимала, была не в силах совладеть с собой. Сейчас было бесконечно жаль каждого дня, каждого часа, что уходили у них на ссору и были безвозвратно утрачены. Ведь она ревновала его к каждой улыбке, которой он невзначай обменивался с кем-нибудь, ревновала к каж-

дой девушке, которая, как думала Таня, могла бы ему поправиться. Ей казалось, что Богдан покинет ее, найдет лучшую — ведь лучших так много было вокруг! И то, что ровность эта была от громадной к нему любви, не могло служить ей оправданием. Теперь, когда он пошел на фронт, она перестала наконец ревновать его и поклялась в душе, что никогда, никогда больше не будет, — пусть он только позвратится! Пусть его любят все, пускай всем он нравится, милый ее Богдан, только бы он остался живым, только бы не погиб!

Луна опустила еще ниже, налилась краснотой, а стерня все еще горела, и жутко было смотреть, как растекается по долине тяжкий, багрово-красный дым. Вместе со стерней сгорает все дневное — стрекотание кузнечиков, аромат и золото солнца, черно делается там, где прошел пожар...

Какое-то смутное желание подняло Таню с постели. Встала, осторожно пробралась между девчат и побрела в степь.

Так страшно, когда ты почью одна-одинешенька в степи и на тебя ползет у самой земли огромный клубок бурого огня и дыма, а над тобой — пустота небес да холодное цыганское солнце дотлевают на горизонте бесформенной красной купой...

«Где ты? Что с тобой? Что волнует тебя, что болит у тебя? — остановившись над балкой, звала Таня через шлепающую стерню к Богдану, звала всем своим сердцем, одиночеством своим девичьим. — Тебе тяжело? Богданчик, серденько, чем я могу помочь тебе? Ничего мне сейчас на свете не надо, только бы помочь тебе, облегчить твою боль, твою долю солдатскую, твои страдания. Все вокруг живет тобою. Все вокруг наполнено тревогой за тебя. Верно, для родителей своих я плохая дочка, коли дом потеряла, поезда грохочут, мимо меня летят на восток, а я всем существом рвусь к тебе, только к тебе одному! Днями и ночами жду твоего слова, жду весточек от тебя, а их нету. Почему их нету?»

В полузабытьи каком-то жгучем возвратилась к скирде.

— Это ты все бродишь, лунатик? — спросонья заговорила Марьяна и, поднявшись, словно чем-то встревоженная, села на соломе. — Что это за огонь?

— Да это ж стерня горит.

— А-а, я и забыла.

Когда Таня легла, Марьяна своим упруго-жарким телом плотнее прижалась к ней, обняла.

— А мне, Таня, сон приснился. В эти степные ночи какие дивные сны снятся... Только уснула, как вдруг над самым моим ухом — голос, такой славный, веселый, слов не разберу, но слышу, как этот голос смеется. Чей он? Да это же Славик! Смеется и что-то шепчет... Силюсь хоть слово из его шепота разобрать, по ничему не пойму, а голос трепещет надо мной и все смеется, и уже чувствую горячие руки Славика на плечах.

33

Домой, в родной город, с окопов мчал поезд Марьяну на следующий день. Еле отпросилась — хорошо, подружки помогли. Побывает дома, а заодно и в университет, может, там будут письма для девочек. А ей письмо от Славика придет на Тракторный, к родителям. На этот раз оно должно быть непременно — не зря же такие радостные, дивные сны ей снятся... Кажется, прошла целая вечность с того дня, как они расстались со Славиком. Его нежность, его улыбка, свадьба скороспелая и жар их первой короткой ночи, — было ли все это или только приснилось, пронеслось в жгучем пьянящем забытьи?

Кажется, у нее должен быть ребенок. Будет сын. Вырастет и будет похож на Славика. Такой же стройный, спокойный и немного насмешливый... Но неужели и тогда, когда он вырастет, будут войны? Нет, их не должно быть больше!.. «Мы не будем рожать детей для войны! — хочется Марьяне крикнуть женщинам-пассажирам, среди которых она замечает одну, у которой скоро будет ребенок. — Если для войны, то лучше им и не родиться... Для радости, для счастья — вот для чего приходит человек в жизнь, вот для чего только и стоит рожать его!»

В Харькове, когда Марьяна, выйдя из вагона спешила по перрону вокзала, первое, что она увидела, — это падши на стенах — черные, угрожающие, со стрелками, показывающими куда-то в землю: «Бомбоубежище».

Санитары несут раненых на носилках. Бегут женщины. В их глазах тревога.

— На пятом пути, на пятом!

— Что там, на пятом?!

— Санитарный стоит, раненых сортируют: кого оставляют здесь, кого дальше...

Теперь уже и Марьяна, так же встревоженная, с неброжно заброшенными за спину косами, бежит вдоль санитарного поезда, жадно заглядывает в окна вагонов. Полно раненых. Одних кормят сестры, другие, уже позавтракав, теснятся у окна с забинтованными головами, с подпешенными на повязках руками, а лица у всех исполнены ожидания, надежды встретить кого-нибудь из своих.

— Марьяна!

Степура первым окликнул ее, иначе она могла бы так и пробежать, не узнав его среди раненых. Как она обрадовалась ему! Как встрепелась вся от этого его окрика. Окно было полуоткрыто, и она, припав к нему, смотрела на Степуру с радостной жадностью и страхом.

— Андрей! Голубчик!..

Его широкое лицо с редкой светло-русой бородкой было непривычно бледным, и сам он в белой госпитальной сорочке был какой-то посветлевший.

— Где Славик? Ты видел его?

Степура сделал длинную, глубокую затяжку (он курил «Беломор», пачка «Беломора» лежала перед ним на столике), медленно выпустил дым и почти скрылся за этим дымом. Как-то нехорошо скрылся.

— Чего ж ты молчишь? Ты видел его? Вы же вместе были?

— Вместе. — И умолк.

Она видела, как тяжело ему сказать что-то большее.

— Говори, говори, — настойчиво требовала она. — Всю правду говори!

— Правду?

С трудом выдавливая слово за словом, он заговорил, заговорил о бое с танками, о каких-то бутылках с горючим. О том, как потрепало их студбат, как ранены были многие... И Лагутин тоже.

— А потом, потом? Где сейчас он?

Насупившись, он помолчал, будто подыскивал какие-то менее ранящие слова.

— В грузовике на переправу нас везли. Он все кричал. Уже у самого Днепра перестал кричать...

Степура окутался дымом, потом выдал из себя:

— Совсем перестал.

Марьяна чуть не упала. Крепче ухватилась руками за окно вагона, чтобы удержаться на ногах.

— Ты врешь! Врешь! Врешь! — вдруг закричала она на весь перрон, и лицо ее перекосилось, глаза налились злостью. Степура никогда не видел у нее столько злости на лице, в глазах. На месте той Марьяны, которая с ясной, радостной улыбкой кипулась несколько минут тому назад к Степурину окну, перед ним стояла теперь разъяренная волчица, которую он даже не пытался унять.

— Это ты выдумал! Нарочно выдумал! — кричала она, не помня себя. — Из зависти к нашей любви! Выдумал. Непавижу тебя, обманщик, ревнивец проклятый! — Она заплакала, обливаясь злыми слезами. — Так знай же: у меня ребенок будет от Славика! Будет! Будет! Славиков сын!

Голос ее слышен был на весь перрон, ранешние смотрели на нее как на безумную. Припав к окну, она с плачем и яростью иступленно кричала Степуре что-то оскорбительное, а он с поникшей головой молча принимал на себя удары ее горя и отчаяния.

— Успокойся, Марьяна, успокойся.

Она почувствовала на своем плече чью-то цепкую, суховатую руку и, оглянувшись, увидела Духновича.

Он стоял перед нею заросший, рыжий, некрасивый, на костыле, на ногах ботинки без обмоток, расшнурованные. Штаны заскорузлые от засохшей крови.

— Напрасно ты набросилась на него. Ты бы сперва расспросила толком. Ведь он, — Духнович кивнул в окно на Степуру, — истекая кровью, под пулями выносил Славика из боя. На себе выносил.

Марьяна от этих слов тотчас притихла, обмякла. Кажалось, силы совсем покидают ее. «Сам выносил, из боя выносил...»

— Прости, — посмотрев на Степуру, сказала она чуть слышно.

Пошатываясь, как пьяная, она пошла от вагона, и, глядя ей вслед, они видели, что это уже пошла вдова. Косы вдовьи... Горе вдовье легло невидимой тяжестью на ее опустившиеся вдруг плечи. Добрела до трамвая, и вскоре он со звоном умчал ее по улице Свердлова.

Сидела у окна, смотрела на город своего промелькнувшего счастья, и почему-то из головы не выходила, все стучала в помутившемся сознании песня свадебной ее тещи: «Долина глубока, калина висока, аж додолу гілля гнеться». Где-то он за Днестром похоронен. Харьков без

Славика. Она без Славика. Навсегда без него. На всю жизнь.

Дома сестра Клава, встретив Марьяну во дворе, сообщила, что ее уже третий день ожидает от Славика письмо.

— Не сердись, что мы прочитали: живой, здоровый...

Марьяна молча зашла в дом и сразу увидела на столе в стеклянной вазе треугольничек письма.

— Да ты что, хвораешь? — спросила мать, глядя, как она слепо разворачивает письмо.

Склонившись и не отвечая матери, стала читать: «Марьянка, родная моя... Обо мне ты не беспокойся... Пришли мне хоть одну свою улыбку, а я тебе шлю свою уверенность в том, что мы бессмертны...» — и дальше шутка какая-то, дальше не могла читать. Упала головой на письмо, забилась в рыданиях.

Мать и Клава ничего не понимали.

— Что с тобой? Чего ты?

— Славика... Славика уже нет. Он убит!

И будто потемнело в комнате, горе на какое-то мгновение сковало женщин. Потом сестра и мать, сами едва сдерживаясь от слез, принялись утешать Марьяну, успокаивать.

— Может, это еще не так?

— Может, ошибка, это же часто бывает...

— Нет, это правда, правда, — повторяла Марьяна, уставившись невидящим взором в окно, и глаза ее черно застыли в тупом оцепенении. Вдова. Вдова. Нет самого дорогого. Нет и никогда уже не будет Славика. А горе только начинается...

Вскоре Клава собралась на работу, во вторую смену, — оказывается, она уже работает.

Когда Клава ушла, мать присела возле Марьяны.

— Знать, вещало мое сердце, когда смотрела я на вашу свадьбу... Но что же поделаешь... Не у тебя одной сейчас горе такое... Нужно пересилить, доченька.

— Где тато?

— Батько днюет и ночует на заводе, — рассказывала мать, — они теперь танки делают.

— И я пойду на завод.

— Ой, дочка...

— Пойду, пойду! — повторяла она. — День и ночь буду работать. Только больше бы танков! Тысячи, тысячи танков на них!

И, упав головой на стол, она опять зарыдала.

«Не нужно было ей об этом говорить. Зачем ей такая правда! — укорял себя в ту ночь Степура, продолжая свой путь в санитарном поезде. — Пускай бы лучше не знала или узнала бы от кого-нибудь другого, от Духновича, например, только не от меня».

Ее крик, крик внезапно раненного человека, до сих пор стоял в ушах Степуры: «Выдумал, нарочно выдумал!..» Неужели она хоть на мгновение могла это допустить, подумать о нем такое?

Правда, она знала Степуру только по прошлому, по тяжелой его ревности, и откуда ей было знать о том переломе, который произошел в Степуриной душе в последнее время? Славикова смерть все перевернула в нем. После всего пережитого Степура смотрел на погибшего товарища взором, уже не затемненным безрассудной репностью, взором, просветленным и очищенным в горниле общих испытаний. Лагутин, он и только он, был достойным Марьяны, достойным ее любви, только он мог быть ее мужем, веселым спутником ее на всю жизнь. Теперь это было ясно Степуре. Душа Славика, простая и мужественная, его ум, острый и немногословный, его красота, какая-то легкая и светлая, — все это было сотворено природой будто бы для Марьяны, для ее крутого права, ее диковатой красы... Страшно подумать, но неужели для того, чтобы он, Степура, мог правильно, честно оценить своего соперника, — неужели для этого должна была разразиться катастрофа и должен был погибнуть Лагутин? Вспомнил, как увидел его во время перевязки, увидел прекрасное тело его с ужасной открытой раной... Тело, которое могло бы служить натурой для античных скульпторов, тело Дискобола или молодого Гермеса, таким его знала и любила Марьяна, а тут оно лежало изуродованное, изорванное, в самом своем расцвете обреченное на смерть и тлен. Перемололо в мясорубке войны и выбросило, и не вернется он к Марьяне даже калеккой, хотя она и такому, наверное, была бы рада...

Санитарный поезд медленно, но неуклонно отдаляется от фронта. В вагоне готовятся ко сну, сейчас здесь только и разговоров об уколах да перевязках — этим живут тут люди, которые еще совсем недавно были здоровыми, знали и любовь и песни и были отважными в бою, а теперь,

как птицы с подрезанными крыльями, только злятся на свою беспомощность или горько высмеивают себя.

Напротив Степуры лежит колхозник Довгалюк с раздробленной, зажатой в лубки рукой. Он был невольным свидетелем сцены на вокзале и все, кажется, понял по их короткому и такому беспорядочному разговору. Когда соседи уснули, Довгалюк подсел к Степуре на постель, заговорил вполголоса:

— Та, которая прибегала к тебе... Она тоже студентка?

— Студентка.

— По какой же она специальности?

— По истории.

— Нелегкая у нее история... Она ему жена была или как?

— Перед самой отправкой на фронт поженились.

— Горячая дивчина, видать, с жаром в сердце, и такое горе постигло... Но пока детей нет, это еще полбеды. Переболеет, перегорит, а там и найдет себе. Вдовье горе такую не согнет, не прибьет. А что ты сказал ей сразу всю правду, это как раз добре, не расканивайся. Хуже нет, когда люди начинают дурить голову друг другу. Когда моего земляка убило в первом бою, я в тот же день написал его жене, чтобы знала. Пускай наплачется хорошенько, да и начинает думать, как быть дальше, как детей в люди вывести. Ох, дети, дети! Если б не они, легче солдату было бы и смерть принять.

— Сколько их у вас?

— Тройка. У меньшого еще только зубы молочные выпадают — всю веспу их на чердак забрасывал, чтобы новые покрепче росли. Не знаю, как там моя теперь с ними...

Довгалюк помолчал, прислушиваясь, как стонет во сне артиллерист на верхней полке.

— Не журись, ты еще найдешь свое счастье, — снова заговорил он, обращаясь к Степуре, — только бы живой остался... Не знакомы вот вы мне, ни ты, ни она, ни тот, третий, и не знаю я всех ваших тонкостей, а все-таки вижу, что было все у вас по-хорошему... А ведь бывает по-иному. Возвращался в прошлом году хлопец из армии в Тарасовку, соседнее с нами село. Финскую прошел, срок отслужил, и вот домой, где мать его ждет и девушка-невеста. Ночь темная, осенняя, дождь проливной, слякоть, говорили ему на станции: «Погоди до утра, пойдешь, как

рассветет». Не послушался. Не терпелось — пошел напрямик, на ночь глядя. В поле, педалеко от села, был колодец старый, обвалившийся, пи сруба в нем, и воды давно уже не было. И — нужно же случиться такому — поскользнулся в темноте и — бух в колодец! Местность запущенная, хуторок когда-то тут был, да давно уже нету, люди редко сюда заходят: кричи — не докричишься. Однако в один из дней забрел сюда охотник, счетовод артельный. Собака пухом его навела. Чемоданчик лежит у колодца — солдат, падаю, уронил его. «Вытащи!» — просит хлопца. «А кто ты?» — «Я — Андрей Михайлишин, из Тарасовки, демобилизованный». Что же, согласился. Вытащу, кажет. Бросай сюда свою амуницию, ремни. Попробовал связать те ремешки — не хватило, мол. «Сбегаю за веревкой!» Забрал все имущество солдатское, пошел домой да больше к колодцу и не возвратился. А думаешь почему? Девушка, невеста того солдата, перед тем приглянулась счетоводу! Не раз подбивал клип, а она все отказывала. И тут вдруг такой случай. К тому же жаднящий был, даже на солдатское позарился...

— А с солдатом что ж?

— Погоди, доскажу. Сидит счетовод дома, день, и другой, и третий, а у матери и у девушки уже тревога, бо солдат перед тем телеграмму отстукал: еду, мол! Ждут-пождут, а его все нет. Телеграмму в часть — и там не оказалось. Через какое-то время и счетовод не выдержал, пришел в сельсовет да сам все и рассказал. Но все, конечно, как было на самом деле: во время охоты заглянул-де в колодец, обвалившийся, кулацкий, увидел там мертвого человека... Видно, упал, силился выбраться, землю руками царапал, по — где там, глубоко... Пошли всем селом, вытащили беднягу. Мертвый-то он мертвый, босой и без ничего, да только в нагрудном кармане гимнастерки записка, как от живого! А в ней все и рассказано: как шел ночью, как упал в колодец, как такой-то на него наткнулся и, обманув, бросил... Вот как еще бывает.

Слушая его, Степура воочию представил себе ту ночь, и красноармейца в колодце, и то, как счетовод к нему пришел вслед за собакой, а потом ушел и не вернулся... Оказывается, в жизни случается еще и такое... А разве ты тоже не стоял какое-то мгновение над подобной же бездной, хотя и выглядела она иначе? Но ведь ты победил, ты раздавил в себе того минутного зверя и дал про-

стор человеку, и человек вынес из боя на себе товарища и готов был, рискуя собственной жизнью, под пулями нести его тысячу верст, чтобы потом встать с ним перед любимой: «Вот тебе твое счастье, Марьяна. Я принес, и добыл его для тебя из огня, тебе отдаю и ничего по требую взамен!.. Нес, но не донес, и не моя в том вина. Вместо счастья весть черную тебе принес, горя столько, что его хватит на всю жизнь». Что она думает там сейчас, в эту первую вдовью ночь? Разве не в такие ночи, не от такого горя становились девчата в песнях тополями в поле, вырастали кустами красной калины из той земли, где казачье белое тело лежит?

Всю ночь думал Степура о Марьяне. Что-то братское появилось в его чувстве к ней. Еще ближе ставилась она ему в своем несчастье, и печальность чувствовал к ней более глубокую теперь, но одновременно чувствовал и то, что со смертью Славика возникла между ними какая-то непроходимая пропасть, пропасть, которую он, вероятно, уже никогда не сможет переступить. Час за часом поезд шел ночным неведомым краем, останавливался на каких-то крохотных полустапках, и тогда видны были деревья за окном, темные, грузные, словно бы отлитые из чугуна. Порою в просторах ночной степи проплывали причудливые нагромождения, похожие на египетские пирамиды. Что бы это могло быть?

В вагоне все спали. Довгалюк храпел на своей полке и во сне поддерживал зажатую в лубки руку. Уже перед рассветом, утомленный беспокойными своими думами, задремал и Степура.

То, что представлялось ему загадочным и непонятным ночью — те черные египетские пирамиды по степи, — сейчас, при свете дня, оказались терриконами Донбасса.

Терриконы. Шахты. Трубы заводов — донецкий, суровый, прежде невиданный Степурой край. «Это тоже твоя Украина, — все говорило ему. — Угольная, черная, шахтерская, с терриконами, что высятся в степи, как немые величественные памятники человеческого труда... Этот край достоин твоих песен не меньше, чем родная Ворскла, чем лунные полтавские ночи с вербами да соловьями». Сейчас, однако, ему было не до песен.

Шахтерские жепы встречали солдат на перропах станций, и на их лицах написано было горе, суровость, а глаза искали и искали среди раненых кого-то самого близкого,

самого дорогого. Вспомнил Степура, что и мать Павла Дробахи живет где-то в таком вот шахтерском поселке и, может, выходит каждый день высматривать сына, может, и теперь стоит тут в толпе, стоит и ждет, что подойдет к ней кто-то и расскажет о его судьбе...

Шахтерские больницы, даже школы во многих поселках были превращены в госпитали. В один из таких госпиталей положили и Степуру. Когда выгружали их из автобуса на школьном дворе, первое, что Степура увидел, была гора беспорядочно сваленных под открытым небом школьных парт, а возле высилась куча выброшенных после перевязки грязных окровавленных бинтов.

35

В тот же госпиталь, только двумя днями раньше, с партией раненых прибыл и Спартак Павлущенко. В атаке, предпринятой Девятым, Спартак был легко ранен пулей, а на днепровской переправе, во время палета немецкой авиации, едва не погиб от бомбы. В госпиталь его привезли контуженным. Ему перекосило скулу, весь он был измят и, что еще хуже, утратил дар речи. Это его больше всего угнетало, представлялось ему самым ужасным: боялся на всю жизнь остаться немым.

Тяжкие думы не оставляли в эти дни Спартак. Слишком большим оказался разрыв между его прежними представлениями о жизни и войной, жестокой наукой, преподаваемой у Роси. К таким испытаниям, какие свалились на него, он вовсе не был подготовлен. Павлущенко до сих пор легко все давалось в жизни. Как-то получалось, что, начиная со школьной парты, с пионерского отряда, он всюду был впереди, везде его избирали, и даже когда стал студентом, и тут, словно бы по традиции, из года в год он попадал то в факультетское комсомольское бюро, то в члены комсомольского комитета университета и еще более утверждался в уверенности, что жизненное его призвание — руководить, находиться все время на виду, быть во всем инициатором, запевалой.

Та бессмысленная атака на Роси многому научила его. Если на первых порах Девятый своей решительностью вызывал в Спартаке искренний восторг, то после атаки он готов был плюнуть Девятому в лицо. Он не мог простить ему, что атака была так легкомысленно организована и закончилась лишь напрасными жертвами. Люди

гибли, даже не увидев противника. И это в то время, когда каждый из них при других обстоятельствах способен был совершить подвиг, стать героем. Однако и теперь, когда все это отошло в прошлое, Спартак вновь пытался найти какое-то объяснение атаке. «Девятый послал нас под пули, на гибель, но, может быть, так было нужно? Может, жертвы, представляющиеся нам бессмысленными, продиктованы какой-то военной целесообразностью, может, они все же, хотя на миг, задержали продвижение неприятеля?»

Во всем этом Спартаку хотелось сейчас разобраться, доискаться истины. Милая и добрая девушка, смуглявая шахтерочка Наташа ухаживает за ним в палате. Молоденькая, хоть и рано располневшая, она стала медсестрой после десятилетки и среди других сестер выделяется тем, что как-то по-особенному ласкова и внимательна к раненым. Для Спартака это единственная радость, когда Наташа забежит в палату и глянет в его сторону, а потом они о чем-нибудь побеседуют при помощи бумаги и карандаша. Наташа, как никто, умела подбодрить его в самую тяжелую минуту, и, может, только благодаря ей он не пал духом окончательно. Она была уверена, что он заговорит.

— Все будет в порядке, — улыбалась она, и ему становилось легко от ее улыбки.

Когда Спартак узнал от Наташи, что прибыла новая партия раненых и среди прибывших есть несколько студентов, то сразу попросил ее пойти и разузнать, кто именно эти студенты. Ему очень хотелось все выяснить, он лихорадочно перебирал в памяти друзей и знакомых и чувствовал, что каждому он сейчас будет рад от души. Наташа возвратилась довольная (видимо, ей приятно было услужить ему), а вслед за нею в палате, стуча костылем, появился — кто бы мог подумать! — Духнович, казалось, еще более долговязый, стриженный, в грубом, каком-то потрепанном халате, он улыбался, как бы говоря: «Погляди, какой я теперь смешной...»

Присев на табуретке возле Спартака и стараясь не смотреть на его перекошенную скулу, Духнович сообщил, что ранение у него пустяковое, и что ему здесь нравится, и что среди прибывших «славный наш поэт Степура», — он сейчас на перевязке...

«А Колосовский? Вернулся он из разведки?» — спросил Спартак запиской. Духнович рассказал все, что знал

о Богдане, о том, что разведка закончилась успешно и что в бою с танками Богдан тоже отличился.

— На совесть воюет парепь,— закончил Духнович с гордостью за товарища.

Он посидел недолго, посетовал на то, что не сбежал в Харькове с эшелона, не подался на лечение к родителям, пошутил над своим видом, над халатом, который почему-то казался ему арестантским, но вся эта словоохотливость была какой-то напускной, видно было, что со Спартаксом Духнович чувствует себя скованно, к тому же, кажется, ему неприятно было смотреть на перекошенное лицо Спартака и слушать вместо членораздельной речи какое-то бормотание, с которым взволнованный Павлушенко пробовал к нему обратиться.

И все-таки после этого посещения на душе Спартака сделалось как-то легче, спокойнее. Духнович не принадлежал к числу тех, с кем Павлушенко мог скорее всего пайти обций язык,— это, конечно, так, но сейчас ему дорог был каждый из студбатовцев, он, кажется, был бы рад и Колосовскому. И разве это не иропия судьбы: именно теперь, когда у него есть что сказать товарищам, появилось в сердце нечто новое, человеческое, теплое, чем он хотел бы поделиться с ними,— именно теперь контузия лишила его дара речи.

— Все будет хорошо,— утешала его Наташа, очевидно разгадав самое страстное его желание.— Это скоро пройдет, обязательно пройдет. У нас уже был такой случай.

Ночью он метался на своей койке. Тишина в госпитале, лишь то тут, то там прорвется стон, а ему душно, хочется кричать, сказать всем, на весь мир, что он не такой, каким был совсем недавно, что собственное горе сделало его более чутким и к другим. О, если бы к нему только возвратился дар речи, если бы он мог говорить! Вся воля его, все желания были сейчас устремлены к этому. Измученный, провалился в тревожный, горячий сон, а проснувшись вскоре, весь в поту, почувствовал вдруг, что и впрямь может заговорить. Вот так — возьмет и заговорит! Добудет, вымолвит любое слово, какое только захочет!

Поднялся, накинул на себя халат и, осторожно, чтобы никого не разбудить, прокравшись на воздух, полный радостного предчувствия, устремился в степь. Там попробует! Там сбросит с себя капдалы контузии. Путаюсь в халате, бежал напрямик к ночным террикопам, чтобы

там, на воле, убедиться, не обманывает ли его предчувствие, на самом ли деле к нему вновь возвратился материнский дар!

Остановился перед терриконом, запыхавшийся, готовился вымолвить первое слово, и стало вдруг жутко: а что, если не выйдет? Что, если он потеряет здесь последнюю свою надежду на это? Нет, выйдет, выйдет!

Набрался духу и, замирая от неуверенности, от страха, выдавил из себя, сначала тихонько, еле слышно, а потом смелее:

— Ма-ма... мама!

И, запрокинув голову к небу, ошалев от радости, закричал во всю силу легких:

— Мама! Я говорю!!!

36

Рассвет, самый чудесный в его жизни рассвет, занимаясь над терриконами, папомнил Спартаку, что пора возвращаться в палату. В полуосвещенном коридоре госпиталя неожиданно столкнулся с Наташей, она сегодня дежурила.

— Откуда вы? Что с вами? — воскликнула медсестра приглушенно, а ночной нарушитель вместо ответа радостно схватил ее в объятия, будто пьяный. И хотя она не сопротивлялась, губы ее сами собой шептали счастливо-испуганно:

— Что вы делаете? Врач увидит!

— Пускай видит... Все пускай видят. Я же тебя люблю!..

Он говорил. С трудом, с натугой, с запинкой, но говорил. Теперь она поняла, что с ним произошло, поняла, что творилось в его душе. Хоть это было безумием, было против всяких правил — стоять вот так в госпитальном коридоре и обниматься, тем не менее некоторое время она так стояла, отдавшись на волю его внезапно прорвавшейся горячей нежности. Потом осторожно, мягким, ласковым движением отстранила его:

— Иди. Иди в палату.

— Без тебя?

— Я приду.

Он почему-то был уверен, что Наташа придет. И вправду она пришла, когда Спартак уже лежал в постели.

Пробралась в палату, крадучись и не зажигая света, приблизилась к его кровати, тихо, бесшумно села возле него, и он взял ее руку. Он знал эту руку, полную и шершавую, когда она касалась его, выполняя свои сестринские обязанности. Но теперь эта рука была какая-то иная. Взял и гладил. Первый раз в жизни. «В жизни,— думал он,— много есть редкостного, неповторимого, что бывает только один раз. Первое вымолвленное тобою слово. Первая любовь».

«Вот и мое счастье пашло меня,— думал он радостно.— Явилось в образе этой смуглой кареокой шахтерочки, которая из всей палаты, из всего госпиталя избрала почему-то меня и сидит сейчас вот тут, рядом со мной, в предраассветной полутьме, и я вижу, как взволнованно дышит ее грудь под белым накрахмаленным халатом». До сих пор ты отделял девушку от себя пекоей служебной неприступностью, а теперь уже не отделяет, рука Наташи в твоей руке, ты чувствуешь ее нежность. И пусть это будет так всегда.

Наташа понравилась ему тотчас же, как только он ее увидел. Ему нравилось, как она входила в палату, как улыбалась, ласково и немного лукаво. Нравилось, как раздавала термометры и терпеливо выслушивала грубости тяжелораненого сержанта, который лежал в противоположном углу. Когда она подходила к кровати Спартака, ему казалось, что она улыбается как-то особенно, вроде бы берегает для него что-то за своей улыбкой. Чувство, пробуждавшееся в нем к Наташе, облегчало его страдания, в часы ее дежурств к нему приливали радостные силы, и всякий раз, когда она присаживалась на стульчике, ему хотелось коснуться ее, но тогда он не имел на это права, а сегодня имеет право, ведь это она выходила его, подняла, сделала человеком.

— Я знала, что ты поправишься,— тихо, как-то бархатно говорила Наташа,— поправишься и заговоришь.

— Это все ты...

— Ну, что я... Хотя я этого и вправду очень хотела. Мне почему-то было так жаль тебя... Приду, бывало, домой и дома думаю: как там мой студент?

В противоположном конце палаты кто-то закашлял, застонал спросонок, затянул обычное:

— Сестра-а!

Наташа испуганно сжалась и перед тем, как встать, быстро нагнулась к Спартаку, коснулась его щеки своей

разгоряченной щекой. Он почувствовал, как пахнут ее волосы, ощутил ее дыхание. Еще миг — и ее уже не было, уже стояла возле того, кто позвал ее, — это был артиллерийский старшина Христенко, которому она несколько дней назад дала свою кровь. Всей палате было известно, что Наташа, когда начали привозить тяжелораненых, добровольно согласилась быть донором, и за это в палате ей еще больше симпатизировали, а Спартак знал, что она и не могла поступить иначе, его Наташа, его любовь.

Так это началось. Началось на рассвете, а днем, хотя Наташа и была свободна от дежурства, она несколько раз забегала в палату, будто случайно, будто по какому-то делу, а Спартак знал, что это ради него. Уже от порога ее глаза сверкали прямо ему, ему послала она свою самую ясную, добрую, самую прекрасную в мире улыбку.

Брала у него какую-то книгу, а в той книге между страницами лежала для нее записка. «Как я люблю тебя, Наташа, солнышко мое, моя спасительница!.. Как хочу, чтобы мы с тобой были всегда вместе!» А через некоторое время она приносила ему другую книгу, якобы взятую для него из библиотеки, и он находил там записку для себя: «И я тоже. Не видела тебя час и уже соскучилась. Мы нарушаем госпитальные правила, и, кажется, все уже о нас догадываются, а я почему-то ничего не боюсь...»

Чувство их, вспыхнувшее столь неожиданно, скоро действительно ни для кого не было тайной, да они и сами перестали скрывать его. Чистое, искреннее чувство, сразу сделавшее их богатыми, сильными, счастливыми, — зачем же прятать его? Разве кому-нибудь от него плохо? Однако на следующий день Спартак встретил Наташу возле операционной в слезах.

— Что с тобой?

— Евдокия Павловна, врач, узнала все... «Это позорно, это непозволительно, я не потерплю разврата в стенах госпиталя!..»

Спартака бросило в жар.

— Где она?

— Не связывайся с нею, не нужно. Она хороший хирург, золотые руки, только вот беда — старая дева и ничего в этом не смыслит.

— Нет, этого так оставить нельзя.

— Что же ты сделаешь?

— Сегодня мы пойдем к тебе. Наперекор всему. Согласна?

— Хорошо. Пойдем.

После обеда они пошли к Наташе. Через весь шахтерский поселок промаршировал он с нею в своем госпитальном халате, стриженный, чуть ниже ее ростом, беспечный, и чувствовал только гордость, что идет рядом с ней, на виду у всех, как ее будущий муж. Это тоже было нарушение — выйти вот так за ограду госпиталя, идти к сестре домой, но Спартак сейчас способен был и на такое.

Наташина мать знала о нем и, видно, ждала его в добротном шахтерском доме, откуда двое таких, как он, на этих днях отправились на фронт. Спартак сидел с Наташей в ее девичьей горенке, где было уютно и тихо, на стене красовались наивные лубочные лебеди, над которыми он раньше только посмеялся бы, а теперь и эти лебеди чем-то были милы ему. Окно открыто в сад, там наливались на солнце груши, и в горенке тоже пахло грушами: Наташина мать принесла полную тарелку и гостеприимно поставила перед ним.

— Это скороспелки, попробуйте, пожалуйста.

Когда мать вышла, Наташа села на кушетку совсем близко возле него, она уже не была заплакавшей, только бледнее обычного — вчера снова давала кровь.

— Ты мой, мой! — блестя она глазенками и сама прижималась к нему.

Вчерашняя десятиклассница, она тем не менее казалась взрослее его; смеясь, призналась вдруг, что еще в школе целовалась с хлопцами, потому что у них в поселке девчата рано начинают целоваться, по все это были шутки, баловство, и только сейчас она почувствовала, как приходит это настоящее...

— Расскажи мне все про себя, про университет, про ваших девчат, про товарищей.

И он рассказывал ей все без утайки, как жил, как порой ошибался, какое чудесное было у них студенческое товарищество, какие славные эти хлопцы из студбата — Степура и Духнович. Еще был у них Колосовский, с которым Спартак передко ссорился, хотя и не должен был делать этого, — теперь он это видит, и вообще он подчас бывал просто невыносимым и сейчас даже удивляется, как она могла полюбить такого...

— Нет, ты хороший, хороший,— уверяла Наташа.— Если ты так хорошо говоришь о товарищах, то и сам ты хороший... Я сразу угадала, что в тебе есть что-то необыкновенное и что на фронте ты был храбрым... Ведь правда, ты был храбрым, мужественным?

— Не знаю, каким был, но теперь, когда пойду, во сто раз лучше буду воевать, знай это. — С этими словами он прижал девушку к себе и не выпускал, а она вдруг почувствовала: сейчас он думает о том, что скоро им придется расставаться.

— Делаюсь сама не своя, как только подумаю, что тебя в любой депь могут выписать. Ты не жалеешь, что так быстро поправился?

— Нет, не жалею.

— Я так и знала... Ведь не все же такие — в госпитале всякого можно насмотреться: некоторые ведь и рады, что больше не вернутся, — будут работать в тылу, а вы, мол, хоть сто лет воюйте... Ты не такой, не такой!

Она всем сердцем верила в него: она все время видела его гораздо лучшим, чем он был в действительности, но это-то как раз и заставляло его быть лучшим, и сам он чувствовал, что отныне очень многое изменится в его жизни. Уйдет из госпиталя с ее любовью и будет воевать за эту любовь, всего себя отдаст борьбе с ненавистным врагом. Сейчас он не тешит себя, как в первые дни войны, никакими иллюзиями, не преуменьшает опасности, но знает и то, что борьба только разворачивается и враг еще почувствует на себе силу упычтожающих ударов.

— У них техника сильная, но они не сломят нас, не завоюют никогда. Не такие наши люди, Наташа, чтобы признать над собой власть завоевателей. Не для того революцию делали, чтобы превратиться в рабов...

— Это правда,— положила ему голову на плечо Наташа, — я вот о подругах своих думаю... Ко всему готовы. Если нужно в партизаны — пойдут в партизаны. На фронт — на фронт. Сестрами, санитарками, кем угодно. Ты знаешь, милый, я тоже ведь хочу проситься на фронт.

— Ты и тут нужна.

— Не хочешь, чтобы я была рядом с тобой?

— Я буду воевать за двоих. За тебя и за себя. А ты и тут воюешь — отдаешь раненым свою кровь.

— Это и комиссар мне сказал... А все-таки не удивляйся, когда на поле боя возле тебя вдруг появится твой

хорошая знакомая. В шинели и сапогах кирзовых, с большой санитарной сумкой.

Он прижал ее к себе еще крепче, с нежностью поцеловал карие глазенки, а сердце пело без слов: «Ты меня спасла. Ты сделала меня счастливым. И где бы я ни был, в любых боях, никогда тебе не придется краснеть за меня!..»

37

На сваленных во дворе партах сидят Степура и Духнович. У них тут свой укромный излюбленный уголок, где они коротают вечера в тихих и долгих беседах, и степь стрекочет цикадами, и сияют над ними ясные звезды, и душа наполняется в такие вечера чувством бесконечности. Когда, выбравшись из палат, пропахших тошнотворными лекарствами, придут сюда и рассядутся вот так, на партах, в своих грубых госпитальных халатах, им становится вдруг странно, что это они успели побывать в боях, что на каждом из них уже затягиваются рапы, полученные где-то на далекой Руси, и теплый этот вечер застает их в эвакогоспитале, среди террикопов Донбасса, а не на раскопках исторических мест. Тут звездно и тихо, а там, откуда их привезли,— Украина в дымах, в руинах, в крови.

Нет для них больше университета, нет больше жизни, к которой привыкли, парушены планы, которые каждый из них вынашивал, есть лишь страстная вера, что все это вернется, что из этого свирепого черного урагана, что бушует сейчас за Днестром, родится победа.

Родится, но когда? Они долго думают над этим. Они еще не знают, что будут снега Подмосковья, будут Сталинград и Курская дуга, им хочется верить, что эта историческая схватка произойдет значительно скорее, и не где-нибудь, а тут, в украинских степях, на Днестре. Живут тем, чем живет в эти дни весь госпиталь, весь шахтерский край: жадно ловят сводки Совинформбюро, с нетерпением ждут радостных известий о том, что там, на фронте, наступил наконец перелом... А добрых вестей нет, вместо них оглушительные удары сообщений о новых фронтовых направлениях, скудные слова о том, что после упорных боев оставлен еще один город, еще один важный рубеж.

Столько событий произошло за это время, и развиваются они с такой бешеной стремительностью, что ре-

бятam кажется: прошло много-много времени с той поры, как они ходили в райком, прощались с университетом и, постигая военную науку, ползали по-пластунски в Чугуевских лагерях. Сгорел их студбат, разбросало, разметало его...

— Инквизиция за все времена своего существования не сделала того, что сделал один какой-нибудь фашистский концлагерь... — размышляет Духнович. — Но средние века — это ведь не только инквизиция. Какую поистине изумительную силу творчества, жажду открытий проявило в те далекие времена человечество! Марко Поло идет через континенты. Колумб плывет через океан. Солдат Сервантес и актер Шекспир творят для всех народов и для всех веков. Бурный рост гуманизма, города-республики... Нет, человек тогда был велик!

— А сейчас разве нет? — слышат Духнович и Степура из вечерних сумерек.

Из-за нагромождения парт появляется Спартак Павлущенко. Наверно, от Наташи. Он улыбается. Он счастлив. Он хмельной от любви.

— Теперь я вижу, что любовь приходит сразу же после контузии, — говорит Духнович. — Жалею, что меня не трахнуло так же, как Спартака, глядишь, и я попробовал бы этого меда... А так остается только поздравлять других. Поздравляем тебя, товарищ влюбленный!

— Она в самом деле славная девушка, — говорит о Наташе Степура. — Видит ведь, как наши хлопцы из окна порой выуживают на веревке пол-литра, знает, что некоторые в одних подштапниках убегают на целую ночь в поселок, но еще ни разу не накапала начальству. По сути, она в сговоре с нарушителями порядка, но... Ты женишься на ней? — спрашивает он Спартака.

— Женюсь.

— Сейчас или после войны?

— Обстоятельства покажут.

— Хотелось бы знать, — будто спрашивает кого-то Степура, — много ли нас, студбатовцев, останется после войны?..

— Если останемся, нам нужно будет жить иначе, — говорит Спартак, усаживаясь с ногами на парте. — Совсем иначе, друзья!

— Как, разрешите спросить? — насмешливо поглядывает на него Духнович.

— Ты не иронизируй, Мирон. — Павлущенко, начиная

волноваться, заикается. — То, что переживаем сейчас, не должно пройти для нас бесследно. Ж-жить дружнее, к-как-то теплее. С новым, более чутким отношением друг к другу... Так будем ж-жить... Разве это невозможно?

Закурив, Степура хмуро замечает:

— Этого действительно кое-кому из нас частенько по хватало.

— Я знаю, что вы сейчас ду-думаете, хлопцы. Вот, мол, Спартак влюбился и запел по-другому. В сантименты ударился. Но это не только потому, что влюбился... Рось кое-чему научила меня, хлопцы: жил я, вижу, не так, как должеп бы жить. Вы имели все основания относиться ко мне пренебрежительно и холодно, а иногда и п-просто ненавидеть меня.

— Ты преувеличиваешь, товарищ комсорг.

— Нет, не преувеличиваю, Мироп. Чувствую, что перед некоторыми своими университетскими товарищами я действительно виноват, сильно виноват. Фронтовой наш университет, хотя и очень кратковременный, на многое открыл мне глаза. Я будто глянул на себя со стороны, глазами товарищей, сравнил себя с вами — с тобой, Духнович, с тобой, Степура, с Колосовским, и сравнение это, скажу вам откровенно, получается не в мою пользу. Вы казались мне людьми ненадежными, которых все время пужно держать в шорах, и представлял себе, что все это должен делать именно я. А что мне давало на это право? То ли, что чуть не с пеленок начал считать себя непогрешимым? Что сам себе казался безукоризненным?

— Все это в конце концов можно понять, — как бы оправдывая его, тихо сказал Степура. — Мы жили в суровое время. Кругом нас были праги. Капиталистическое окружение... Война показала, что это далеко не пустой звук.

— Но она показала и другое. Лично мне, например, она показала, что наше дело дорого не только таким, как я, а что, скажем, и такой человек, как Богдан Колосовский, который казался мне человеком уязвимым, не колеблясь, берет оружие в руки и идет на подвиг, потому что несет в сердце своем нечто значительно большее, чем личные обиды.

— Ты тоже шел. Роту в атаку водил.

— Водил... Когда стану командиром, никогда не будет у меня таких бездарных атак. Я буду дорожить каж-

дым бойцом, как комиссар Лещенко. Если умирать, так умири с наибольшей пользой для дела, — в этом вся суть, в этом наука войны.

— Лучше бы ее и вовсе никогда не знать, этой науки, — сказал, ковыряя костылем землю, Духнович. — Как это все-таки символично, что первым декретом нашей революции был декрет о мире! Для простых людей, видимо, ничто не может быть более ненавистным, чем война, военщина, милитаризм. Я думаю, рано или поздно человечество в конце концов покончит с войнами, они станут для него черным и постыдным прошлым, как, скажем, работорговля или каннибализм.

Допоздна тянется беседа студбатовцев. Могли бы и целую ночь так скоротать, но — порал! Здесь не студенческая республика — здесь режим. С госпитального крыльца дежурная сестра уже пастойчиво звала их в палату.

38

Быстро в это лето заживали солдатские рапы. Не успели хлопцы обжиться в своем уютном госпитале, как их уже выписывали, срочно освобождая место для новой партии раненых, только что привезенных с фронта. Врачи так и не стали вытаскивать осколки из Степуриных ног. Просветили рентгеном, посоветовались и сошлись на том, что лучше к этому добру не прикасаться.

— Пускай сидят. Кость не повреждена, вытащим после войны.

В иных условиях Степуре в его состоянии, конечно, пужно было остаться в госпитале, как и многим другим раненым, но не такое сейчас было время. Отправлялись, даже не сняв бинтов, и Наташа, провожая команду выздоравливающих на вокзал, чувствовала себя так, словно бы в чем-то провинилась перед ними, словно бы это она выписала ребят преждевременно.

— Может, в батальоне для выздоравливающих вас дольше продержат, — неловко оправдывалась она, бросая жалостливые взгляды то на Павлущенко, то на Степуру.

Как это ни странно, но сейчас бодрее всех был Духнович. Не беда, что он, как и Степура, малость прихрамывал, он не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над своим весьма невоинственным видом.

— Дон-Кихоты без Россинаптов, рыцари печального образа в потрепанных обмотках, — дурачился он по дороге к вокзалу. — А вообще это вы хорошо сделали, Наташа, что вовремя спровадили нас, иначе не только Спартак, но и я, грешный, влюбился бы в вас. Отбил бы у Павлушенко.

— Нет, не отбили бы.

— Так крепко сошлись характерами?

Наташа зарделась.

— Крепко.

На ходу она прижалась к Спартаку, влюбленно заглянула ему в лицо своими добрыми, ласковыми глазами.

Степуре Наташа напомнила чем-то Марьяну, — может, черными косами, которые были закручены тугим узлом и выглядывали сзади из-под белой накрахмаленной косынки. Наташино простодушное сочувствие и это ее ощущение вины, хотя она ни в чем и не была виновата, как-то растрогали Степуру, вызвали в нем ответное желание утешить эту милую, добросердечную девушку, сказать ей, что виновата во всем только война, которая шлет и шлет сюда искалеченных людей.

На станции — проводы. Женщины-шахтерки толпами провожали своих мужей и сыновей, которых, по слухам, отправляли в Чугуев, в те самые лагеря, которые совсем еще недавно прошли студепты-добровольцы. Новобранцы, видать, только что вылезли из забоев, вышли из душевых — блестят на солнце мокрые шахтерские чубы. Плач, пение, звуки гармонок по всему привокзально, повсюду распевают в полную глотку о том, как вышел в степь донецкую парень молодой...

Вниманье Степуры привлекла одна компания в пристанционном скверике: сидя под деревом, старательно пиликает на гармошке подросток, серьезный, бесстрастный, как юный Будда, а напротив него среди водочных бутылок, разбросанных по вытоптанной траве, в кругу родственников пляшут двое, похоже — отец и сын. Они такие же серьезные, как их юный гармонист. Отец лишь редко, сосредоточенно притопывает ногой, как бы выполняет какой-то важный ритуал, притопывает эконопно, больше дирижируя руками, а парень весь в буйном отчаянном танце, бьет, прибивает землю, отшвыривает ногами пустые бутылки, когда нога натыкается на них. Чуб растрепанный, мокрый, пот течет ручьями, а он все отплясывает.

В толпе родственников стоит дородная круглолицая украинка, — видно, мать этой семьи — и, сложив руки на груди, не вытирая слез, что катятся у нее по щекам, все глядит и глядит на эту невеселую пляску батьки и сына. Черный суконный пиджак сыновний висит внакидку у нее на плечах, родственники обращаются к ней с какими-то словами, а она, не слыша их, все глядит сквозь слезы на мужа и сына, на прощальную их пляску...

Распростившись с Наташей, ребята сели в вагон — ехать им на юг, к морю. Из окна вагона они некоторое время еще видели, как неугомонно пляшут те двое шахтеров. Молодой — бледный от солнца и от выпитой водки — по-прежнему упрямо идет по кругу, а старый, еще больше ссутулившись, мрачно дирижирует руками.

На узловой донецкой станции, шумной, многолюдной, переполненной эвакуированными женщинами и детьми, студбатовцы во время остановки стали свидетелями бурной сцены: возле одного из вагонов слышали шум, крики, кинулись туда, и в это время прямо перед ними, брошенный откуда-то сверху, вдруг трахнулся об асфальт огромный чемоданчик, трахнулся, раскрылся, а из него — ворох депьжиц! Полный чемодан денег! Тугие пачки поменьших червонцев, тридцаток, сотенных ложились у ног людей, и никто их не трогал. А вслед за чемоданом со ступенек вагона женщины-шахтерки с яростным криком волокли уже и хозяина чемодана — какого-то лысого толстяка.

Поставленный женщинами перед своим растерзанным, разбитым чемоданом, он пробовал что-то объяснить им, в чем-то оправдаться, а женщины, не слушая, разъяренные, награждали его щедрыми звонкими пощечинами.

— Паразит! Хапуга! Казнокрад!

— Наши в боях умирают, а он наживается!

— Зарплату чью-то присвоил, не иначе!

И снова на весь перрон слышится сочное: хлясть, хлясть! А толстяк только по-рыбы вскидывается от пощечин и с каждым разом все шире таращит глаза.

Прибежал милиционер, высокий, с подтянутым животом, и хозяин чемодана тотчас же бросился жаловаться ему. Однако вывалившиеся из чемодана пачки денег, к которым так никто и не прикоснулся, говорили сами за себя, и милиционер быстро сообразил, что за субъект стоит перед ним.

— Ваши документы!

Оказалось, этого типа волной эвакуации занесло откуда-то из-за Днепра, сам он работник банка, и чемодан, конечно же, набит народными деньгами, чьей-то зарплатой, которую он не забыл прихватить, пустившись наутек в глубокий тыл.

Милиционер, по-видимому, в душе был заодно с женщинами, потому что, когда они, подняв шум, снова стали рваться к лысому, представитель власти сдерживал их больше для приличия.

Чем эта сцена закончилась, хлопцы могли только догадываться: поезд вскоре отошел от перрона, помчался дальше.

— Не завидую я этому типу, — заметил Духнович, растянувшись на полке. — Не хотел бы я его чемодана...

— Накипь времени, грязная пена, — буркнул Степура, закуривая. — Меня больше те интересуют, что отплясывали в скверике. Сколько печали и силы в этой их пляске...

В тот же день они увидели море. Тут, на окраине города, на огромной территории приморских парков расположился батальон выздоравливающих, «выздоровбат». Когда студбатовцы регистрировались, среди писарской братии им неожиданно встретился знакомый — Лымарь с геофака.

— О, и вы тут, — уткнув острый подбородок в свои длиннющие списки, сказал он буднично, пудшовато. — Здесь уже есть один ваш историк...

— Кто? — пасторожился Степура.

— А этот, высокий... Колосовский. Он сегодня из здешнего шахтерского санатория приехал...

Хлопцы оживились. Мир, оказывается, действительно тесен. Богдан здесь, их полку прибыло!..

— Как нам его найти? — обрадовался Степура.

— До вечера, пожалуй, не найдете — тут на весь день разбредаются кто куда. Жизнь привольная...

Через некоторое время Лымарь, освободившись от своих списков, смог наконец уделить внимание университетским товарищам. Расположились в тени под деревом, и Духнович, рассматривая испачканные чернилами пальцы Лымаря, бросил насмешливо:

— Штык, значит, приравнял к перу?

— Как видишь.

— А не смог бы ты и мне тут протекцию устроить? Писарем аль хотя бы писарчуком?

Лымарь понял издевку.

— А как у тебя с почерком?

— Как курица лапой,— ответил за Духновича Степура.

— Ну, тогда трудновато будет,— сказал Лымарь, улыбаясь как-то не только губами, а даже и своим острепьким носиком.— Писарь — это надо уметь.

— Верю, верю... А ты надолго застрял? — допытывался Духнович.

— Это как прикажут. Наше дело солдатское.

— Да, брат, ты настоящим солдатом стал...

Лымарь сорвал листик с дерева, пожевал, выплюнул. Судя по его тону, ирония Духновича его не задела. Он продолжал:

— До сих пор мороз по коже подирает, как вспомню ту рожь... Люди бегают в крови, а сверху свистит, грохает, среди бела дня черно становится — конец света, рев, схватка демонов, безумство стихий! Слышу крик, стон, бегу куда-то, путаюсь по ржи и падаю, душа разрывается от страха, и нет стыда — только ужас! — Лымарь рассказывал все это так, будто его собеседники там не были и ничего подобного не испытали. И за словами его стоял животный страх и горькое раскаяние: «Вот твое добровольчество. Жест! И ведь мог бы жить! А теперь умирай! Мина долбанет в спину — и каюк! Над всеми чувствами, над всеми желаниями — одно: выжить, во что бы то ни стало выжить, вырваться из этого ада века! Ординарцем, холуем, только бы в тыл! Судно носить! Нужники чистить!..» — И после госпиталя, как видите, повезло: писарь войска приазовского,— закончил Лымарь.

— Жалеешь, значит, что отсрочку сдал?

— Теперь жалей не жалей, а может, и не падо было пам спешить...

— А если бы все так думали? — нахмурился Степура.— Кто бы воевал?

— Вы, хлопцы, идеалисты. Разве не было у вас в госпитале таких, которые температуру себе нагопили, бередили раны, только бы выиграть день-два? А я честно.

— Это, по-твоему, честно? — резко бросил Спартак. — Ты просто раскис.

— Называйте как хотите. Побыл, кровь пролил, хватит. Пускай другие попробуют. В тылу тоже люди нуж-

ны. Кроме того, ходят слухи, студентов скоро вообще будут отзывать с фронта.

— Это почему же? — удивился Степура.

Лымарь с таинственным видом зыркнул туда-сюда.

— Говорят, приказ вот-вот должен прийти насчет студентов, это я вам по-дружески говорю: отзовут всех нас.

— А тех, не студентов, кто в боях гибнет каждый день? — гневно глянул на Лымаря Степура. — Тех, которые уже полегли? Кто их отзовет?

— И чем мы лучше их? — спросил Духнович. — Интеллектуалы?

Лымарь отмолчался, а у хлопцев пропало всякое желание разговаривать с ним.

Колосовского они разыскивали под вечер у моря с какими-то моряками и летчиками, похоже госпитальными его товарищами: Богдан и пятеро или шестеро его спутников шли вдоль берега и смеялись; один из морячков, жестикулируя, рассказывал, видать, что-то очень смешное. На голове у Богдана из-под сдвинутой пабекрень пилотки белела марлевая повязка, но рана, вероятно, его уже не беспокоила — он громко, от души хохотал.

Удивленный и обрадованный, Богдан весело здоровался с хлопцами, тряс за плечи Духновича, обнял Степуру, и, кажется, более всего его поразило, что вместе с ними увидел Спартак Павлушонко.

— Мы думали, ты еще и поныне воеводишь на Руси, грудь в орденах, — пошутил Духнович, — а ты тут разгуливаешь, как и мы, грешные.

— Чиркнуло малость в тот же день, что и вас. — Богдан небрежно коснулся повязки. — А теперь прохлаждаюсь тут вот с ними. — Колосовский стал знакомить хлопцев со своими новыми друзьями.

Хотя сам Богдан редко бывал веселым, он любил людей озорных, жизнерадостных, удалых — с такими-то и свела его судьба в госпитале, а потом он перекочевал с этой шумной ватагой сюда, в батальон для выздоравливающих.

Танкисты без танков, моряки без кораблей, пограничники с бывших застав, летчик, который горел в воздухе над морем, — все они, несмотря на трагичность времени, не теряли уверенности в себе, их дух не был сломлен, и это больше всего привлекало в них Колосовского... То

были люди высокой пробы, Богдан чувствовал, им можно во всем довериться, дружба с ними крепка и надежна, такие никогда не подведут, такие в самую тяжелую минуту — в бою или даже в неволе — не предадут тебя, не побоятся глянуть смерти прямо в глаза с мужественным презрением. Не искали они укрытий, не искали для себя никаких лазеек в жизни, шагали по земле с открытым сердцем, на виду у всех, держались независимо, гордо, ни о чем не заботясь, ибо все, что нужно, было всегда при них: песня, и шутка, и дружба, и отвага, и любовь.

Такие не скучают нигде, не скучали они и здесь, в выздоровлате. Выздоровлат — это скопище людей на берегу моря, людей, прибывающих сюда еще в повязках, с еще не зажившими ранами, одетых в вылипившие, со следами крови гимнастерки, «бывшие в употреблении», БУ,— и сами они — люди БУ. Стреляные. Горевшие. Коптуженные. С осколками в теле. С пулями в груди. Люди с примесью железа, стали.

Они ходят тут на перевязки, и, помимо этого, — никаких обязанностей. Живут как птицы небесные. В их полном владении парки, беседки, загородные пустыри; по вечерам — наперекор всем смертям — раздаются над морем их песни, а потом всю ночь полная луна льет на них свой призрачный свет, потому что большинство выздоравливающих ночует под открытым небом, в парках. Утром для укрощения зверского молодого аппетита получают они буханки черствого хлеба да в придачу к нему веселое изречение старшины:

— Плесень — это здоровье. А для моряка — еще и гарантия, что никогда не утонет.

Свободного времени было предостаточно, и пользовался им всяк, как хотел. Степура и Павлущенко, сделав примитивнейшее приспособление, принялись ловить в море бычков; Духнович, хоть сам и не ловил, охотно помогал им в этом почти бесплодном занятии, а Колосовский тем временем с вольницей выздоравливающих отправлялся на далекие промыслы, за город, где можно день прожить на подножном корму, где перед отощавшими хлопцами открываются плантации огурцов, моркови, помидоров — красных, мясистых, сочных. Добытые в этих походах дары природы доставлялись в лагерь и включались в общий пай — на пропитание тем, кому раны не позволяли участвовать в столь дальних вылазках.

— Тут нашего брата в самом деле, как волка, только

поги и кормят,— рассуждал вечером Духнович, грызя па берегу моря морковку, принесенную Богданом.— Вот скоро и мы со Степурой присоединимся к вам, конкистадоры.

— А ведь правду говорит Духнович. Кабы не эта огородная благодать, туговато бы нам пришлось,— горестно заключил Степура, налегая на помидоры.

— Когда тело отощает — это еще полбеды,— продолжал Духнович.— Вот Лымарь — тот отощал духом. Это гораздо хуже. Душевная дистрофия — болезнь опаснейшая, друзья мои.

Богдану приятно смотреть, как хлопцы с аппетитом уничтожают овощи, а море шелестит у ног, и неподалеку, в группе выздоравливающих, течет тем временем тихая беседа о жизни довоенной: тут любят вспоминать довоенное.

— Море, видишь, какое красивое,— слышится чей-то ласковый голос,— по ничего я так не люблю, как смотреть на осенние ливни, ровно падающие на землю, или на хлеба, когда они созревают... И в тот выходной решил пойти полюбоваться нивами — в райземотделе я работал,— только вышел на площадь, а из громкоговорителя: «Внимание! Внимание! Слушайте важное правительственное сообщение!» Разное в тот миг промелькнуло в голове — что за сообщение? Война? Но с кем? Мысль прежде всего о войне — видно, потому, что это самое страшное. А уже через какой-нибудь час весь наш районный актив мчался по селам с секретными пакетами для председателей сельских Советов. Приезжаю в один сельсовет — председателя нет. Где? На полевом стане! Мчусь туда. Подаю председателю пакет, вскрыл он его: повестки! Таким-то и таким-то собраться возле здания сельсовета. Молча берут повестки, молча разбегаются по домам. Это молчание почему-то больше всего меня поразило...

— А меня в Севастополе беда эта застала, — повествует другой.— Ночью в небе загудели самолеты, в районе порта ударили вдруг зенитки. В огнях прожекторов видим, как один за другим спускаются над бухтой огромные парашюты,— позже мы узнали: пятисоткилограммовые мины сбрасывали немцы в бухту. Две упали на берег, несколько домов взрывом снесло. Курсанты наши выстроились по тревоге, стоят на линейке и не поймут, что такое: огни, парашюты, взрывы. И страшно и смешно. Только смех наш ненатуральный, первый какой-то... Чьи

самолеты? Турции? Германии? В шесть утра по радио объявляют: были самолеты, один сбит, по обломкам сейчас распознают, какому государству он принадлежал...

Поговорят — и снова молчание. Море лежит перед ними спокойное, только лунная дорожка, простершись в даль, тихо трепещет. От берега узенькая, а дальше — широкая, манит куда-то. Те, кому раны позволяют, купаются при луне, и видно, как поблескивают мокрые мускулистые тела, а вдоль берега всюду звучат песни, будто и нет войны, все тут как бы отрицает ее, это тихое море уже одним своим видом протестует против нее: «Я для немота тополей... я для счастья влюбленных... для рыбацких костров... для мартезовских величественных огней...»

На берегу моря, неподалеку от лагеря выздоравливающих, раскинулся металлургический завод. Он работает с пригашенными огнями, замаскированный, но никакой маскировкой не может скрыть своего зарева, как здоровый человек не в состоянии скрыть своего здоровья, своего полыхающего румянца. Зарево чуть-чуть пробивается над цехами, и его видно далеко, порой в районе завода целую ночь хлопают зенитки, и тогда все небо — над морем и над заводом — в тревожном гудении самолетов, в лучах прожекторов. Сейчас ничего этого нет, лишь где-то далеко, за горизонтом, в море, время от времени слышатся глухие непонятные взрывы; возможно, немец опять бомбит теплоходы, которые везут из Одессы эвакуированных. В выздоровленье есть такие, что чудом спаслись с тех разбомбленных в море теплоходов.

Когда Богдан сидит вот так на берегу моря, а хлопцы заводят разговор об университете, всякий раз перед ним появляется со своей легкой улыбкой Таня. Босая, припорошенная дорожной пылью, такая, какой он видел ее в последний раз в Чугуеве. Он написал ей уже две открытки, но не уверен, получила ли, — если бы получила, была бы уже здесь, он знает ее прав. А может, еще придется, может, еще застанет его перед отправкой на фронт? О, как он хотел бы увидеть ее, хоть на миг встретить тут, возле моря, среди горячих степей приазовских! «Где ты сейчас, хорошая, родная моя? Разве мы с тобой не имеем права на это море, на запахи степи, на шелест парков в эти лунные ночи?»

Сердце томилось тоскою, болью разлуки. Может, Таня уже выехала с родными на восток и письма его лежат в университете, не дойдя до нее? Подхваченная вихрем

войны, неумолимо отдаляется она от него, а без нее все то — и дивная южная ночь, и полная луна над морем, тихим, светлым...

Там, где луна, вдруг тревожно забегали прожекторы, тянутся своими острыми ножницами к далекому, молчаливому, мертвому светилу. Неужели будет налет? Или просто прощупывают небо?

Товарищи беседуют о приказе, согласно которому якобы начнут отзывать студентов, и Богдану на миг в самом деле захотелось быть отозванным, вернуться в жизнь, где не будет ни свиста авиабомб, ни грохота мин, ни гибели людей, — а жизнь с самозабвенным трудом, с любовью, с белым, как мечта, университетом. Но желание это было минутным, он отогнал его прочь от себя, ибо то, что он пережил, что передумал за все эти черные недели войны, указывало ему иной путь — к фроптовым товарищам, к людям, которые подчинили себя законам войны. Танкист Вася, и юный летчик Андреев, горевший и не сгоревший в воздухе, и моряки, которые разлеглись неподалеку и тихо поют какую-то свою матросскую песню, — разве они ищут для себя облегчений, льгот? Они приготовились к самому тяжелому. Мечтают, конечно, и они, но их мечты особенные: танкист думает о том, чтобы снова сесть в танк, а не оказаться в пехоте, летчик — чтобы поскорее получить самолет и подняться в небо, а сам он, Богдан...

— Не будем мы ждать этого приказа, — говорит Колосовский, вмешиваясь в беседу хлопцев. — Если отзывать, то всех, а не избранных. Почему нам такое предпочтение? У нас что, дети? Семьи?

И товарищи согласны с ним. Им только хочется узнать, куда их отсюда направят и когда это произойдет.

— Может, о нас забыли? — улыбается Духнович, лениво бросая в море камушек за камушком.

Но о них не забыли.

Приходит утро — их уже строят.

— Артиллеристы — шаг вперед!

— Танкисты — два шага вперед!

— Саперы! Повара! Химики! Топографы..

По всему лагерю их собирают, сортируют, а потом пиcаря целыми днями запоят имена в бесконечные списки, в многочисленные, линейками разбитые графы. И чем скорее заживают, присыхают на выздоровевших раны, тем чаще интересуются ими...

Стали появляться вербовщики из училищ; по случаю их приезда выздоравливающих опять выстраивают, снова вшучит на плацу:

— Желающие! Шаг вперед!

Когда объявили о наборе в бронетанковое, Спартак Павлущенко сразу согласился, попробовал было уговорить и хлопцев. Степура и Колосовский наотрез отказались: как начинали пехотинцами, так и останутся ими. Духнович поначалу вроде заколебался:

— Вологда? Владимир? Это заманчиво!

Но потом отказался и он:

— Училище выпускает командиров, а я рожден быть рядовым. И хоть нашему брату рядовому достается на фронте, пожалуй, больше всех, зато после войны, — разместся, если к тому времени уцелеешь как мыслящая материя, — будешь вольной птицей. Снова перед тобой университет, и Николай Ювенальевич будет показывать тебе с кафедры какие-то допотопные разбитые горшки: «Амфоры! Золотая пыль веков!»

Подражая профессору, Духнович так торжественно, нараспев произносит это «амфоры», что ребята не могут удержаться от смеха. В день отъезда Павлущенко они пошли провожать его на вокзал.

— Поверьте, друзья, иду в бронетанковое не потому, что, как Лымарь, передовой испугался, — горячо говорил Павлущенко у вагона. — Война надолго, и кадры командиров будут необходимы.

— Маршалом хочешь войну закончить? — съехидничал Духнович.

— Дело не в том, — спокойно возразил Павлущенко. — Ты вперед заглядывай... В первые дни войны кто из нас мог подумать, что именно так развернутся события? Слава... Ордена... Да, я этого хотел. А вы разве нет? Рось, эта маленькая безвестная речонка, отрезвила многих из нас. Я увидел, скажем, что война — это не ордена, это горе народное, бедствие самое великое, какое только можно себе представить... И еще понял, что для победы одного желания мало, это я очень хорошо понял теперь. В броню хочу заковаться и пойти на них во всеоружии, а не как там, на Роси... На танках своих в Германию ворваться — вот чего я хочу!

Богдан понимал Спартак, понимал его настроение. В последнее время они сблизились, и то, что их раньше

разделяло, теперь обоим казалось мелкими распрями, через которые им давно нужно было перешагнуть, подать друг другу руку с таким же доверием, как вот здесь, при прощании у вагона.

— Скажи хоть теперь, Богдан,— обращаясь к Колосовскому, промолвил Спартак, и в голосе его прозвучала какая-то неожиданная теплота.— За что твой отец был репрессирован?

Этого вопроса Богдан никак не ожидал.

— Думаю, за усы,— ответил он хмурой шуткой.

— За какие усы? — Павлущенко, видно, не понял шутки.

— Мой отец любил носить усы, длинные они были у него, черные, приметные. Как-то, помню, мальчишкой тогда был, один из товарищей отца сказал шутя за столом: «Ох, Дмитро, отпустил ты усы запорожские, дадут когда-нибудь тебе по усам». Так оно и вышло.

— Ну, а кроме усов?

— За связи, возможно,— нахмурился Богдан.— Отец еще с гражданской дружил с Якиром, с Федько, с Блюхером... Вместе воевали...

— За то, что человек в дружбе был... Ну, я, скажем, за это не судил бы,— задумчиво молвил Спартак.— Без дружбы, думаю, отцы наши и революции не совершили бы...

Прозвучала команда, и Спартак торопливо бросился к вагону.

— Ну, бывайте, хлопцы!

— Счастливого пути!

На прощание Колосовский крепко обнял Спартак, пожелал ему удачи. Сейчас он и впрямь искренне желал, чтобы у Спартак все было хорошо в жизни.

— Счастливо тебе, Спартак!

— Счастливо вам, ребята!

Вместе с бойцами, отобранными в бронетанковое училище, Павлущенко вскоре был в вагоне. Его приземистая, коренастая фигура затерялась среди других, и видно было, как он старается поглядеть еще раз на хлопцев через чье-то плечо. Было в этом его стремлении нечто такое, что растрогало Богдана, и ему стало жаль расставаться с ним.

— Прощай, друг,— крикнул он Спартаку. Где и когда они встретятся теперь? На поле боя? В госпитале? А может, и вовсе не встретятся?..

Едва тронулся эшелон, как вслед за ним в том же направлении, на восток, двинулся другой: длиннющий товарняк, забитый заводским оборудованием.

— Говорят, авиазавод какой-то, — услышали ребята от пожилого железнодорожника возле ларька, где они остановились выпить газировки.

Эшелон охраняли расставленные на вагонах зенитные пулеметы, все было старательно уложено, укрыто брезентами. Колосовский не отрывал от эшелона глаз. Тот поехал на восток с будущими курсантами военных училищ, этот — со станками, с моторами — на новые места, где снова станет заводом. В движении эшелонов и даже в этих брезентах, зенитных установках — во всем чувствовалась властная направляющая рука.

— Целые заводы перебазировуются на восток, — сказал Богдан хлопцам, которые тоже внимательно следили за набиравшим скорость эшелоном. — Конечно, оборудование это покамест мертвое, но ведь оно оживет. И как хорошо, что у нас есть сейчас, в самое критическое время, эта крепкая рука, которая все направляет, планирует, готовит в глубоком тылу могучие арсеналы. Иногда, проснувшись ночью, почти наяву вижу, как идут уже на фронты эшелоны нового вооружения, тыл возмущает страницей то, что грохочет сейчас на восток, и фронты наливаются силой, и мы уже гоним врага назад, гоним быстрее, чем он сейчас наступает...

— Часто и я думаю об этом, — признался Степура.

Со станции студбатовцы вернулись уже под вечер. Еще издали увидели между деревьями парка гору арбузов. Подошли ближе — нет, не арбузы мелитопольские — каски зеленой горой лежат на опушке, молчаливо ждут их буйных головушек. Всюду суета, гомон, бойцы примеряют только что выданные им железные шапки, с озабоченным видом получают винтовки и патроны. Кроме выздоробатовцев, здесь вооружаются и недавно мобилизованные, которых накануне доставили сюда паромом; людям сугубо гражданским, все им в диковинку, у одного это вызывает печаль в глазах, у другого — искреннее любопытство.

— Если пуля с желтеньким кончиком, — допытывался молоденький новобранец у своего сержанта, — это какие?

— Да я ж объяснил: трассирующие!

А другой, держа в руке обойму, приставал со своим:

— А эта — с черным и красным поясточком?

— Бронебойные! Зажигательные! — односложно отвечал занятый раздачей оружия сержант. — Постреляете — сами разберетесь!

Теплое предвечерье окутывало приморские парки. Где-то над самым морем взвилась песня, молодой красивый голос вел ее легко, задумчиво, и к нему постепенно стал прислушиваться весь выадоровбатовский вавилон.

Із-за гори світ біленький,
Деся поїхав мій миленький...

Бойцы стояли под деревьями, сидели на лавках, на земле, среди своего нового оружия, и слушали бесхитростную эту песенку, как бы прощаясь с нею.

Пожилый красноармеец, видимо из запасников, в очках, похожий на бухгалтера, сидя среди солдат и прислушиваясь к песне, задумчиво вертел и вертел в руках только что полученную гранату-лимонку. То ли она в самом деле интересовала его своим устройством и формой, как может заинтересовать человека яблоко неизвестного ему сорта, то ли, прислушиваясь к песне, он крутил лимонку механически... Крутил до тех пор, пока не случилось ужасное: выдернулась чека, и бойцы, сидевшие рядом, услышав негромкий щелчок, враз шархнулись от него.

— Бросай! Бросай! — закричали ему.

Судорожно стиснув гранату, красноармеец оторопело глянул по сторонам, ища, куда бы бросить, а бросать было некуда — всюду люди... «Что мне делать? Куда кинуть? Ведь кругом вы? Спасите! Подскажите!» — страдальчески кричало его побледневшее лицо. Растерянный взгляд его повсюду натывался на лица таких же, как он сам... Не найдя, куда бросить, он вдруг сорвал с головы каску, накрыл ею гранату и навалился на нее грудью...

Когда развеялся дым, едкий, вонючий, на искромсаппой, сразу пропахшей гарью земле валялись лишь клочья — все, что осталось от запасника.

— Доигрался дядька, — вздохнул кто-то в толпе.

— Его же предупреждали! — сердито отозвался другой.

— Чеку невзначай выдернул, вот и все...

— Мог бы кинуть в сторону, но, видишь, пожалел товарищей...

Вскоре санитары убрали останки, молча и торопливо,

а там, возле моря, где ничего не знали о том, что случилось здесь, все плыла в предвечерье песня — та самая песня об отъезде милого в далекие края...

Это была последняя песня, которую, хлопцы слышали в выздоровбатовском лагере. Ночью их погрузили в эшелон, море и парки остались позади, и только луна, высокая, недостижимая, провожала их в ночные степные просторы.

40

Еще бьется энергетическое сердце Украины — Днепрогэс. Еще дымит трубами под небом юга степной гигант «Запорожсталь», круглые сутки работают другие заводы, и ходит трамвай от старого до нового Запорожья, — а высоко над городом, как привидения войны, висят до утренней зари аэростаты. Команды девчат-аэростатниц запускают их с вечера, и воздушные часовые ночуют в небе, стерегут ночной город — заводы тем временем работают на оборону, домны и мартены дают плавку.

Аэростаты в раннем чистом небе над Запорожьем, разбомбленные дома, огромные воронки на улицах, на площадях — вот чем встретил Богдана Колосовского родной город.

Когда бойцы высыпали из вагонов, кто-то, не разобравшись, даже пальнул в небо по аэростатам: спросонья ему показалось, что это вражеские парашютные десанты спускаются на тихий, повитый утренней дымкою город.

— Куда стреляешь? Своих не узнал? — закричали девчата, которые вели по улице на веревках аэростат, стянув его с неба, а он все вырывался у них из рук, будто хотел снова вернуться вверх, на свой высокий пост.

Выгрузившись из эшелона, бойцы форсированным маршем двинулись через город в сторону Днепра.

— На защиту Днепрогэса! Днепрогэс в опасности! — этим тут наэлектризован воздух.

Неужели правда? Неужели опасность так близко? В эшелоне были разговоры, что направляют их куда-то за Днепр, на Кривой Рог, а то и дальше, а вот теперь, оказывается, вместе с запорожским народным ополчением они встанут тут защищать Днепрогэс. Растянувшись по магистральной улице, идут все быстрее, быстрее, почти

бегут, тяжело дыша, и гимнастерки темнеют от пота, и из-под касок грязными ручьями стекает пот.

Богдан сурово поторапливает бойцов своего отделения. Побрякивая оружием, спешит он с товарищами через знакомые места Шестого поселка, с болью душевной шагая мимо скверов, где теперь роют окопы, мимо кинотеатров, где не раз бывал, мимо залитых утренним солнцем кварталов, где жили когда-то его друзья и ровесники. Кое-где на местах домов — только кучи развалин, обломки стен, обнаженные комнаты... Так вот куда привела его судьба, вот в какую годину привела! Тут он вырос, на его глазах возникал, ширился этот новый социалистический город. Отец Богдана считал себя днепрогэсовцем, он служил в полку внутренней охраны, в том любимом запорожцами полку, над которым шествовали заводы, — полк нес охрану Днепрогэса, и его бойцы выходили на первомайские парады в голубых, как днепровская вода, фуражках. Такая фуражка была мечтой его детства. В отцовском полку было все особенное — и фуражки, и оркестр с огромными, сверкающими на весь город трубами, и, когда полк проходил по Запорожью, казалось, голубая река течет по широкой солнечной магистрали нового рабочего района. Впереди полка идет, чеканя шаг, человек мужественной и гордой осанки — то идет со своим почетным оружием черноусый твой отец, герой революционных боев на юге Украины, товарищ Колосовский! И вот теперь вместо него ты, его сын, побрякивая оружием, спешешь по центральной улице Шестого поселка, только не в голубой фуражке, а в тяжелой зеленой каске, и уже не парад тебя ждет, а война.

Запорожские курсанты на грузовиках, ополченцы в промасленных кепках, в рабочих спецовках, и ты, курсант-студбатовец, вместе с товарищами, все вы — в одну сторону, все — к Днепру.

У Богдана дух перехватило, когда впереди блеснула родная река...

Днепр! Синяя песня его детства, вот он уже ударил в очи лазурью, могучим разливом света, выгнулся дугою, забелел кружевами пены у высокой плотины... И огромная — через весь Днепр — бетонная пребенка быков, и краны над плотиной, и похожий на сказочный дворец дом электростанции на правом берегу, облицованный темно-розовым армяпским туфом, — все это вместе с гранитом берегов, с лазурью Днепра, с зелеными холмами Хор-

тицы, с высоким куполом неба сливается здесь в единое целое, встает как одно гармоничное творение, начатое природой и завершенное человеком. Сила и гармония. Свет и чистота. Кажется, ни пылинки никогда не падало на это сооружение, на все, что сиет тут новизной, какой-то праздничностью. Кажется, эта солнечная картина выхвачена откуда-то из грядущего как образец того, что когда-нибудь восторжествует на всей земле.

Бойцы движутся через плотину, измученные, с мокрыми спинами, нагруженные оружием, разгоряченные боем. Под плотиной, далеко внизу, видно, как ходит рыба у самых бетонных быков.

— Гляньте, сколько рыбы! — кричит кто-то на ходу.

Рыба кишит под плотиной, чуть ли не уткнувшись в бетон. Вверх ей дальше плыть некуда. Всюду в прозрачных, пронизанных солнцем глубинах, как тепи затаившихся торпед, темнеют рыбы спины.

Ниже Днепрогэса широко раскинулся ослепительный Днепр, по нему то тут, то там выпирают из воды знакомые Богдану с детства камни, рыжеватые, будто прокаленные на солнце. Вот скала Любви. Два Брата. Скала Дурная, на которой, по преданию, запорожцы дубинами выбивали дурь из тех, кто провинился... Богдан не разулся там, прыгая с мальчишками со скалы в ласковую днепровскую воду. Сейчас на камнях, как и в годы его детства, сидят разморенные солнцепеком белые крышки, днепровские чайки и глядят в эту сторону, на плотину, на пробегающих бойцов, на курсанта Колосовского, глядят и словно спрашивают: «Куда это вы? Что случилось? Почему вы все в такой тревоге?»

За скалами, за чайками — зеленая Хортица, славный остров казацкий в объятиях Днепра. Буйные сады по всему острову, над ними семидесятипятиметровые, самые высокие во всей округе мачты. Где-то там железнодорожный полустанок Сечь, на том полустанке Богдан садился в поезд, впервые покидая родной город, пускаясь в широкий мир...

На правом берегу в конце плотины контрольный пост. Распоряжаются тут военные в зеленых фуражках. Пограничники! Почему они тут? Дожить до того, чтобы государственная граница по плотине Днепрогэса проходила?! Суровые, замкнутые лица у пограничников, в глазах неумолимость. Преградив дорогу на плотину, сдерживают натиск беженцев, проверяют всех: кого — пропустят, ко-

го — в сторону. Особенно насторожены к военным: не беглец ли, не паникер ли? Вот задержали какого-то длинноногого всадника, сидящего на коне без седла:

— Слазы!

Он ругается, кричит, но на пограничников это не производит решительно никакого впечатления — стащили с коня, потому что есть только Днепрогэс, который нужно защищать.

Высоченные осокори склонились над озером Ленина. Наконец-то тепь. Пока командиры что-то там выясняют, пополнение может немного передохнуть. Навалившись грудью на бетонированные парапеты в тени деревьев, бойцы все глядят на полноводное озеро, на Днепрогэс, о котором так много слышали и раньше.

— Я не думал, что это так величественно, — не отрывая глаз от плотины, говорит хлопцам Степура. — Какое сооружение! И это на Днепре, где столетиями несмолкаемо грохотали пороги...

— Да, это действительно гордость нашего века, — подхватывает Духнович. — Помните, Наполеон говорил в Египте: «Солдаты, с этих пирамид на вас смотрят сорок веков человеческой истории». Здесь на вас смотрят только пять лет, но зато каких пять лет — пятилетка новой, социалистической цивилизации...

— И нигде ни царинки, — заметил кто-то из бойцов. — Авиация ихняя еще ни разу, видать, его не бомбила?

— Бомбил, да не понал, — бросил один из местных ополченцев, проходивших мимо. — В скалу шарахнул.

«Все, что так вдохновенно строилось, возводилось миллионами трудовых рук, разве же оно строилось для бомб? — думает Богдан. — На целые столетия мирной жизни было рассчитано это сооружение!»

— Мне кажется, на такую красоту рука не поднимется, будь ты варвар из варваров, — говорит Степура. — Разрушать бомбами это изумительное творение человеческое...

«При мне тут укладывали первый бетон», — думал Колосовский, и мысль его убегает в прошлое, в те времена, когда не только днем, но и ночью, при свете прожекторов, устраивались авралы, трудовые штурмы, когда заводские коллективы со знаменами шли к котловану, спасая сооружение от весенних паводков. Знакомые выплывают лица, далекие слышатся голоса...

«Вы, проектировавшие Днепрогэс. Вы, месившие тут бетон. Девчата-бетонщицы, грабари, монтажники, инженеры-энергетики, люди в резиновых сапогах, в комбинезонах, люди, днями и ночами работавшие тут,— вас хотят уничтожить одним ударом, под ноги войне хотят бросить ваш труд, ваш навеки зацементированный здесь пафос, энергию, вашу любовь...»

Резкие слова команды обрывают думы Богдана.

Идут.

Зелень и металл вокруг. Мимо черного железного леса трансформаторов, сквозь утопающие в садах рабочие поселки — на голые, опаленные солнцем высоты Правого берега, где-то между новым Кичкасом и Великим Лугом пройдет по холмам их линия обороны. Чем выше поднимаются, удаляясь от Днепра, тем горячее обжигает ветер их лица, ветер степного августа.

Вот они уже на круче. Остановились, придавленные тяжелыми горячими касками и небом, горячим, будто каска. Открытое поле, бурьян да посадки.

— Окопаться!

Достали саперные лопатки, отложили оружие — началась солдатская землекопная работа. Тихо вокруг, войны не слышно, неприятеля и признака нет. А они роют. Земля сухая, твердая, трудно поддается — окопы тянутся вдоль межи. Все тут седое по-степному: седые полыни стоят, тысячелистник седой, серебрится неподалеку в посадках седая маслина. Колючая она, терпкие на ней плоды, а бойцы уже пасутся в колючках.

Вперемежку с армейскими подразделениями занимают оборону народные ополчения, бойцы военизированных заводских дружин, которые большими и малыми отрядами прибывают из Запорожья. Среди них немало таких, что еще ночью стояли у мартенов, а узнав об опасности, прямо со смены являлись в парткомы:

— Разбронировуйте нас!

Бронированные и разбронированные, в рабочих спецовках, кое-как вооруженные, на ходу вскакивали в трамваи, и девушки-кондукторы впервые не требовали брать билеты: знали, куда люди едут, куда пойдут, соскочив с трамваев. Целыми отрядами появлялись они теперь на правобережных высотах, на выжженных зноем днепровских кряжах.

Где враг? А врага не было, был лишь зной и затишье степное под огромной каской неба.

Неожиданно ребята встретили тут среди ополченских политработников одного из своих студбатовцев — Миколу Харцишина, историка-старшекурсника. От него узнали, что остатки студбата влиты в другие части, Лещенко назначен комиссаром полка и продолжает воевать где-то на киевском направлении. Разговор с Харцишиным происходил на ходу; увешанный гранатами, запыленный, он спешил со своим отрядом куда-то еще дальше в степь и на вопрос, где противник, лишь пожал плечами:

— Никто ничего толком не знает. На грузовиках послали разведчиков в сторону Кривого Рога, в сторону Никополя, если вернутся — расскажут.

С Левого берега все время прибывает вооруженный люд — дружинники, ополченцы. Их встречают на высотах жадными расспросами:

— Как там, в городе? Что слышно?

— Всякая погань голову подымает... Муку тащит из пекарен — пыль столбом стоит!

— При мне двух мародеров на улице расстреляли: грабили магазины.

— А у нас — слышали? — Белобрысый, запыленный ополченец, рывший окоп неподалеку от Колосовского, бросил лопату, весело огляделся вокруг. — У нас ночью возле силового цеха меридиан лопнул!

— Что? Что? Какой меридиан?

— Известно какой: географический. В аккурат возле силового тренцину дал. Быть бы аварии, если б не бросились сразу. А тут мигом — электросварщики и бригада с кузнечного — у нас братва знаете какая! — до утра меридиан снова склепали, сварили, не увидишь, где и лопнул.

— От заливает! — кивнул Богдану пожилой рабочий, который поблизости ломал полынь для маскировки. — А положение-то ведь в самом деле аховское. Окопы уже роют возле ворот Днепрогэса. Не зря же нас подняли, а?

— Конечно, — ответил, хмурясь, Богдан.

— Приехал к нам ночью на завод какой-то высокий чпн, чуть не из самого главного штаба, — продолжал рабочий, — ну, сказать, вроде начальника главка. Мы, дружинники, к нему: «Дайте оружие!» — а он нам: «Оружия нет!» — «Ну, а как же быть?» — «Куйте сабли». Думаем — шутит, а он всерьез: «Куйте». Известно, заводы у нас такие, что и черта выкуют, но где же ты вчера был, милый человек? Да и саблей ли воевать сегодня, хоть мы

и запорожцы? Как же это? А он, пачальник тот, пожимает плечами: «Так сложилось». Обозлило меня это его «так сложилось». Не должно, говорю, у нас так складываться!..

Многое из того, что Богдан видел здесь сегодня, было и для него непонятным, не находило оправдания. Чувствовались беспорядок, растерянность, которой не должно бы быть в такое время, да еще возле такого объекта! Он полагал, что самые отборные воинские части, самые лучшие дивизии следовало сейчас бросить именно сюда, на защиту прославленного сооружения и такого промышленного центра,— во всяком случае, если бы это зависело от него, то он распорядился бы именно так.

Запасная дивизия. Курсанты. Заводские воензированные дружины... Они берут на себя сейчас всю тяжесть. «И чем меньше нас, тем большая ответственность ложится на каждого из тех, кто здесь окапывается, — подумалось Богдану.— Вот заводские говорят, что оборудование у них демонтируют, эшелон за эшелон вывозят. Но ведь Днепротэс не вывезешь, не вывезешь и Днепр! Его нужно защищать».

Группа рабочих стоит в полный рост на пригорке, они успокоены тишиной, разговаривают, поглядывают вокруг. Над ними горячая голубизна неба, родные степи вокруг, а внизу далеко за Днепром,— родной город с лесом черных заводских труб, растущих будто из земли. Рабочие задумчиво рассматривают все, что их окружает: и небо высокое, и степи, залитые солнцем, и затуманенный, задымленный город за Днепром. Богдан будто слышит их растревоженные мысли: «Это же наш отчий край. То, без чего мы не сможем жить...»

— Как на душе, запорожцы? — выбравшись из окопа, весело окинул взглядом оборону тот белобрысый озорник, что рассказывал о меридиане.— Напоим фашетской поганой кровью нашу землю сухую?

Из города грузовиками подвозят патроны, ручные гранаты. Эти гранаты только что изготовлены на запорожских заводах; они шершавые и будто бы все еще горячие после заводской обработки. Из ближних колхозов привезли на обед харчи — огромные, густо посоленные пласты свежего сала, которое так и тает на жаре; снимают его с кузовов, расстилают перед бойцами, как белые медвежьи шкуры.

— Делите.

Был хлеб — белый, как солнце; сало — в ладонь толщиной; а воды вот не хватало. Весь Днепр выпили бы, будь он ближе!

Посланные за водой к Днепру приносили ее кто в чем: в ведрах, в котелках, в баклагах, а Степура принес днепровской водицы прямо в каске. Позвал Богдана, Духновича, и они возле его окопа пили из каски вволю.

Это была вкуснейшая в мире вода. Мягкая, сладкая, она пахла летним сицим Днепром, и когда Богдан пил, не верилось ему, что будет иначе, что со временем они уже не смогут пить эту воду и только в воспоминаниях будет для них жить ее пресный, ни с чем не сравнимый сладкий вкус.

Возле окопа Степуры — головастый чертополох, татарник, цепкий дикий цикорий да собачья роза цветет. На примятой полыни, раскинувшись, спят Духнович и Коловский, и пот течет с них, струится грязными ручьями. Степурина каска лежит в ногах у ребят пустая, вода вся выпита.

Степура разморепно сидит возле окопа, курит. Эти будяки в малиновых шапках, синие косарки да дикая роза — все это друзья его детства. Будто оттуда, с берегов Ворсклы, пришли и встали тут, на запорожских холмах. А ниже стелется, цепко держится за сухую землю «собачье мыло». Летом, когда, бывало, набегаясь по ранним холодным росам за коровой и ноги твои покроются цыпками, потрескаются, а мать заставит хоть немного отмыть их к воскресенью, — ничем ты их не возьмешь, кроме этого вот шершавого, как паждак, «собачьего мыла». Трешь, пока не сдерешь кожу... Все это было так давно, будто и не с ним. Все изменяется, и сам он изменился, вырос, только неизменен для него образ матери — встанет она сейчас перед ним такой, какой была для него в детстве, какой была все эти годы. Проводила мужа и сыновей на войну и одна теперь дома, только тем и живет небось, что ждет от них весточки. Каждый год приезд его на каникулы — для нее праздник, только и заботы ей тогда, чтоб он получше поел, побольше поспал, чтоб набрался сил для науки. Никак не могла понять, почему он сам рвется к той же работе, что и брат его, комбайнер, хотя

и душе гордилась, что рослого, загорелого ее студента колхозники все лето видят то на току, то у штурвала комбайна. И вот вместо золотого лета с мирным стрекотанием комбайнов бросила его судьба в другое лето — лето черных пожаров! Свалилось горе на них на всех; не для урожаев, не для мирного труда живут теперь люди, и жилистый отец его, садовник и огородник, пошел на войну, прихватив свои медали с выставки за капусту, за помидоры... А могли же быть каникулы и этим летом, мог и Андрей на радость родителям быть сейчас дома, в родном селе, а не томиться душой тут, на знойных заднепровских рубежах. Вот куда докатилась война! Еще два месяца назад он назвал бы сумасшедшим всякого, кто сказал бы ему, что в августовский этот день он будет лежать на холмах под Запорожьем, с винтовкой в руках будет защищать Днепрогэс. И все же, как ни тяжело, как ни горек для них этот август, на душе у Степуры сейчас уже нет того отчаяния, что терзало его под Каневом, когда, раненный, он ждал на берегу переправы. Тогда ему казалось, что все рушится, что нет спасения; в причитаниях матерей на киевских шляхах, по которым надвигалось горе, он на мгновение словно бы увидел в черном видении, как погибает его народ. То было мимолетное отчаяние, вопль души, потрясенной первыми несчастьями, первой кровью и смертью товарищей. Хотя и нет просвета с тех пор, хотя война, как степной пожар, все быстрее перекидывается во все концы, уже опалая своим дыханием Днепрогэс, сейчас на сердце у Степуры — уверенность: есть силы, которые не растопчешь войной, есть вещи, которые не уничтожишь огнем. Непобедим народ, воздвигший своим трудом такие сооружения, такую красоту, какая сегодня встала перед взором Степуры. Вон дымят на горизонте запорожские заводы, живут, хотя их бомбят каждую ночь, а ближе, на гранитных плечах днепровских берегов, возвышается он, Днепрогэс. Символ новой Украины, детище новой социалистической цивилизации. Электрическим сердцем республики, солнцем электрическим назвал тебя народ, и тобою в самом деле, точно солнцем, был озарен весь край. Первая любовь страны созидательной, ее энергия, ее порыв к счастью воплотились в тебе, гордом первенце пятилетки. Разум и руки, создавшие такое чудо, — они сильнее всех разрушителей.

Еще не побывав на Днепрогэсе, Степура писал о нем свои стихи. Это наивное его стихотворство — зачем оно

было? Славы хотелось? А что такое слава? И такая ли уж это необходимая вещь для человеческого счастья? Ты считал себя поэтом, вымучивая неуклюжие свои вирши, а поэтом, может быть, ты становишься только сейчас, когда сердце твое наполнено горем народным и бесконечно близкими стали тебе думы народа, его страдания, его великая борьба. Нет, не в стихах дело, не хочет он никакой славы, не падо ему ничего, только бы не было горя материнского, да не багровело бы почное небо от пожаров над его землей, да вечно красовалось бы над миром это самое лучшее произведение его народа — залптый солнцем Днепрогэс!

Заводские ополченцы, что вместе с красноармейцами занимают оборону по холмам, гомопят, перекликаются, чистят винтовки. Тут много рабочей молодежи, смелой, смекалистой, а еще больше пожилых рабочих, у которых дома семьи, дети, а то и внуки. Рабочие хотя и с винтовками, но они и тут, на огневых рубежах, остаются больше людьми труда, которые ночью стояли у мартепов, и немного для них радости в том, что они вынуждены были бросить станки, домны, краны и взять в руки оружие.

Духнович, проснувшись, лежит на спине, смотрит в небо.

— Тебя не удивляет, что небо голубое? — обращается он к Степуре.

— А каким же ему быть?

— Ну, могло же оно быть... черным, скажем.

— Небо — черное? Ну что ж, пофантазируй...

— Ну, не черное, так бурое или еще какое-нибудь. А то — голубое. Умна, Андрей, умна мать-природа! Самую нежную краску, какая только у нее есть, чистую лазурь эту она дала небу. Именно голубизну — краску, такую приятную для человеческого глаза... Отдала, окрасила ею весь свод небесный, под которым человеку положено жить... Живи!

— А что с этим небом делают! — отозвался Богдан; проснувшись, он тоже лежал на спине, подложив руку под голову. — Даже его запоганили.

— Помните, хлопцы, картины Васильковского в харьковской галерее? — снова заговорил Духнович, страстие которого к живописи было хорошо известно (все факультетские стенгазеты он оформлял). — Никто так, как Васильковский, не умел передавать цвет неба.

«Небесный» Васильковский!.. И тут вот небо точно как на стенных его акварелях...

Далеко было сейчас от них все это: Харьков, картинная галерея и Васильковский с его несравненным степным небом... Разбросало, разметало в ураганах войны молодой их студбат. Новые люди вокруг, новые померя подразделений, только черные медальоны в карманах еще студбатовские.

— Сколько наших товарищей-студентов уже никогда не вернутся в университетские аудитории! — вздохнул Степура. — Отчислен навеки Мороз. И Славка Лагутий. И Подмогильный.

— И неугомонный наш Дробаха, — добавил в раздумье Духнович, — певун, забияка, разбойник...

Стали припоминать тех, кто остался с комиссаром Лещенко на Руси, заговорили и о самом Лещенко, который теперь уже с новым полком где-то там воюет на киевском направлении.

— Нам повезло, что мы с ним пачипали, — сказал Колосовский. — Но представляю себе лучшего комиссара для нашего студбата... Помните, как он жег наши документы в вагоне?

— Еще бы, — вздохнул Степура. — Огнем паспортов и зачеток освещена наша ночь выпускная...

— А может, хлопцы, мы и вправду идеалисты, как говорит Лымарь? — промолвил вдруг Духнович, словно бы борясь с какими-то своими сомнениями.

— Тогда нужно считать идеалистами всех этих, — поднимаясь, кивнул Богдан на ополченцев, рассыпавшихся по холмам. — Как и мы, они пришли сюда по доброй своей воле, по собственному желанию, вот в чем дело.

— Потому что им так же, как и нам, дорого все здесь, — с чувством промолвил Степура, — от сооружений Днепрогэса до этого вот татарника.

— И татарник не зря на свете живет, — бросил мимоходом мешковатый дядька-ополченец. — Он в степи, как барометр, погоду предсказывает: колется — будет ведро, не колется — жди дождя...

Духнович потянулся к татарнику:

— Колется. К жару, значит. К засухе. Эх ты, хороший мой татарничек, хотя некрасивый и колючий...

— Почему некрасивый? — возразил Степура. — Казак в малиновой шапке...

— Вот вы скажите мне такое, хлопцы, — заговорил серьезным тоном Духнович. — Неужели и в далеком будущем останется у людей привязанность к своему краю, к определенному месту на планете, то есть к своей земле, — привязанность, которую ты, Степура, так высоко ценишь? Не станет ли все это только предметом таких наук, как, скажем, этнография, краеведение?

— Не знаю, как уж там будет, — проворчал Степура, — но сейчас это человеку дает силы. Думаю, что, как и любовь к матери, это никогда не исчезнет.

— Да я, собственно, и не хочу, чтобы это чувство исчезло, ты не пойми меня так, — сказал Духнович. — Есть вещи, без которых душа человеческая поистине стала бы бесцветной и пищей. И все же сколько тысячелетий еще будет волновать человека татарник, этот дикий кактус украинских степей?

Неподалеку проходила от Днепра группа бойцов с водой, и Богдан, увидев среди них Васю-танкиста с обожженною щекою, позвал его:

— Заворачивай к нам!

Этот Вася был единственным из госпитальных товарищей Богдана, попавших сюда. Остановленный Богданом, танкист уже дальше и не пошел, задержался здесь.

— Кого напоить, хлопцы? — подойдя к студентам, спросил танкист и протянул Богдану погнутое ведро, в котором плескалась вода.

Ребята стали по очереди пить прямо из ведра.

— Вашего полку прибыло. Этот вот гражданин тоже почти студент, — указал танкист на бледнолицего ополченца в белой вышитой рубашке, который стоял немного в стороне и неловко улыбался. — Учитель здешний, хортицкий. Киевский университет кончал.

— Голобородько, — учтиво представился учитель, подойдя ближе, и на вопрос Духновича, какой же он предмет преподает, ответил: — Язык и литература, словесник то есть... А вы?

— Мы бывшие историки...

— Почему бывшие?

— Ну, может, и будущие. А сейчас пока что не историки, не словесники, не поэты. — Духнович иронически посмотрел на Степуру. — Все мы здесь только активные штыки.

— Это верно, — согласился учитель негромко.

Был он средних лет, с приветливым лицом и одет так, словно бы собрался не в бой, а на учительскую конференцию, одну из тех традиционных конференций, что проходили прежде в эту пору: в новой кепке, в чистой вышитой голубым рубашке, в сером новом костюме, сейчас безжалостно перетянута патронташем.

— Какие степи! — увлеченно произнес Вася-тапкист, присев сверху на бруствер и осматривая местность. — Вот где надо было танкодромы-то делать!

— Когда-то в этих степях дикие туры водились, — мягко заметил учитель.

Танкист удивился:

— Что за туры?

— Это предок домашнего быка, вольный житель степей... Последний тур, как свидетельствуют летописи, погиб в начале семнадцатого столетия...

— Славный край, ничего не скажешь, — загляделся в степь Вася-тапкист. — Только что же это противник — ни слуху ни духу? Разведка, правда, тут никудышная. У нас, танкистов, за такую разведку по шее дают. И разве ж не стоит, как считаешь, Богдан? Лучшие б нам поручили, а?

Богдан глядел на него с улыбкой. Ему нравился этот парень. Маленький, коренастый, летамп почти подросток, а уже сутулый, будто от долгого сидения в тапке; лицо землистое, со следами ожогов, а глаза светлые, широко посаженные, малость нагловатые, так и жди от него какой-нибудь озорной выходки. Богдан еще в госпитале узнал, что родом Вася саратовский, перед тем как пойти в армию, учился на Урале, в автодорожном техникуме, а службу отбывал на границе и с первых же дней войны принимал участие в танковых боях. Он и сейчас был уверен, что рано или поздно переседет «с лопаты на танк».

— Это правда, что ваша Хортица, — обратился он к учителю, — была когда-то столицей запорожских казаков?

— Была одно время.

— Вот те воевали так воевали! А у нас что же — другая кость? Пороха, что ли, не осталось в пороховницах — отдать все это... Заводы вон еще работают, Днепр-гэс на ходу. По этим проводам ток еще идет, — указал он на стоявшую неподалеку мачту с толстыми проводами. — Высоковольтная?

— У нас тут все высоковольтное, — подбросил из соседнего окопа работяга. — Зайдемь в столовую пообедать, так даже у буфета слышишь: «Сто грамм высоковольтной», — это значит водки пятидесятишестиградусной.

— Это здорово! — щелкнул языком танкист. — А помнишь, Богдан, казака Дудку, что с нами в палате лежал? На шестой день после операции сто граммов уже попросил, и молодница, говорит, приспалась. Ох, Дудка, неупывающий человек. Как начнет, бывало, рассказывать свои байки, вся палата гогочет, аж швы на хлопцах лопаются!

В разговорах, в шутках прошел день.

Ночью несколько подразделений было снято с холмов, и командиры, торопя, повели их куда-то на новое место. Сперва думали: перебрасывают на Хортицу, потому что на остров, говорят, высажен вражеский парашютный десант: там — слышно было — все время бой. Но, кажется, не на Хортицу их ведут.

Шагают селениями Правого берега, где все утопает в садах, только крыши домиков поблескивают под лунным светом черепицей. Без дорог, бредут напрямик, и трещат под ногами бойцов поваленные заборы, палисадники, цветники, взращенные рабочими руками, кусты винограда, с покрытыми росой лапчатыми листьями, с тяжелыми холодными гроздьями плодов. Время от времени останавливаются в садах, и командир роты, старший лейтенант Лукьянов, подозревал Колосовского, как местного, начинает советоваться с ним, и Богдану стыдно, что он не узнает этих мест; чувствует, что знакомы, но не узнает: то ли сильно разрослись запорожские сады за последние годы, да и новые появились поселки, то ли военная эта ночь все сместила, изменила, пересутила. И роса, и блеск яблоневых листьев, и запах цветов почпых — все было каким-то полуфантастическим, незнакомым, тревожным и болью отдавалось в душе.

Пока они там сверяют с картой местность, Степура стоит под ветвистым деревом и слушает, как сочно хрустят яблочки на солдатских зубах, а в почпном небе гудят самолеты. Тревожно гудят, бомбами нависают над этой землей — землей роспых садов, гидросооружений, новых рабочих селений, и земля от них, от бомбовых ударов, защититься может лишь своей открытой красотой, лишь яблоками, сверкающими в ветвях, и нежными запахами любистка, мяты, фяналки. «Красота против войны, —

думает Степура, — нет, этого недостаточно. Тут еще нужны сталь, беспощадность, нужна неутолимая жажда истребления врага, пужны против них стальные дожди-ураганы, которые могли бы прикрыть, спасти все это».

Ночь светлая, высокая. Затаила шелест садов, пастороженно прислушивается к чему-то... Для песен девичьих, для шепотов влюбленных была эта тихая, колдовская ночь приднепровская. Не слышно сейчас песен, война хозяйничает в садах. Кто-то тряхнул поблизости ветку, и яблоки глухо падают на землю, как ядра. Под другим деревом чьи-то руки шарят среди ветвей и второпях срывают яблоки вместе с листьями. А Степура не рвет почему-то, не решается сорвать, стоит и смотрит на облитое лунным сиянием дерево, которое светится вечным, неумирающим светом обильных плодов.

— Рвите, — слышит он возле себя тихий, добрый голос. — Почему вы не рвете?

Это учитель Голобородько.

— А то вот, прошу, возьмите мое, попробуйте.

Достав из-за пазухи яблоко, он подал Степуре, и тот, прежде чем надкусить, понюхал, как оно пахнет. Яблоко пахло всеми садами этого края, всею мирной солнечной довоенной жизнью.

...А дерево, сверкающее яблоками, уже штурмуют, кто-то безжалостно тянет ветку, его предостерегают:

— Осторожнее, сломаешь.

— Не сломаю!

И сразу же слышен треск, падают яблоки, их собирают, к дереву уже подбегают другие, трясут его...

— Как обесценился человеческий труд! — с горечью сказал учитель. — Посмотрите на сады... Знаете, тут же каждый рабочий еще и садовник, и виноградарь, и цветовод.

— У меня отец тоже садовник, огородник.

— Я слышал, вы поэт? Это правда? Когда я учился в Киевском университете, были у меня друзья, чудесные молодые поэты Игнат и Леонид... — И после паузы продолжал: — Кто узнает, сколько наших Шекспиров и Чеховых мы потеряем в это лихолетье, изобретателей, талантов народных... Конечно, никому не хочется умирать, каждый хотел бы выжить, но если уж выжить, так только для нашей жизни, а не для того, чтобы быть рабом у захватчиков! Вы слышали, какую они комедию разыграли в Ровно?

— Не слыхал.

— Привезли в своем обозе какого-то Вышивающего, куклу, марионетку, предателя и проходимца, претендующего, однако, на пост гетмана...

— Знаем цену таким штукам. Разве на примере чехов, поляков и других народов Европы не видно, что делает фашизм? То же самое, а может, еще похуже, несет он и нам.

— Да, кукольной комедией нас не обманешь, — согласился учитель.

Опять их ведут куда-то. В домиках селения суета, плач, двери распахнуты настежь, в руках у людей узлы — похоже, собираются в эвакуацию. В одном месте туча какая-то повисает над бойцами, заслонив луну. Туча — это дуб, ветвистый, мощный. Раскинулся кроной во все стороны — песколько взводов бойцов могло бы спрятаться под ним от дождя или от солнцепека.

— Это казачий дуб, — объясняет учитель Степуре. — Ему слыше семисот лет. Мы еще этой весной были тут на экскурсии со школьниками. Когда-то Тарас Григорьевич в тени этого дуба отдыхал. Сколько тут молодежи по праздникам собиралось! Колхозные собрания летом тоже проводили не в клубе, а под этим дубом.

Стоит великан, не шелохнется. Столетня выстоял, слышал голос битв далеких, слышал гомон Сечи, зов сабель казачьих. Из века в век все шумел на ветрах, все тянулся упрямо вверх, разрастался.

Бойцы из-под касок поглядывают на него. Сила, мощь. Такого никаким бурям не сломить, такому и молния не страшна.

И снова идут дальше, петляя по поселку, путаясь в виноградных лозах, скользя и спотыкаясь на твердых ядрах яблок, устилающих эту богатейшую землю.

Неожиданно над садами трепетно вспыхнула ракета, одна, другая, послышалась отдаленная стрельба. Перебегая табунном через дорогу, встретили группу гражданских, которые, как выяснилось, были работниками местного райкома партии. С ними был также командир истребительного батальона.

— Враг близко, — предупредил он. — Тапки только что обстреляли наших разведчиков на грузовой машине, мы посылали их по днепропетровской дороге. Машину разбило снарядам, а часть людей вернулась.

В этих же садах стали торопливо занимать оборону. Степура начал рыть ячейку, разрубая саперной лопатой мускулистые яблоневые корни. Тяжко было рубить. Степура чувствовал, как больно корням от каждого удара. Еще не успели окопаться здесь, как бойцов уже подняли и бегом повели в другое место, где тоже сады и виноградники, и лопатки снова кромсают живые корни.

Ракеты раз от разу ближе, стрельба громче. Недалеко на садами слышен грохот тревожный, грохот, передвигающийся в сторону Днепра.

— Там уже танки проходят!

— Не танки — танкетки...

— Оди́й черт!

— Курсант Колосовский! — послышался среди деревьев голос командира роты. — Возьмите несколько добровольцев и разведайте, что за гул.

В группе Колосовского — Степура, Вася-танкист, учитель и еще несколько бойцов и ополченцев. Перебежав через двор, через огороды, они оказались в каком-то скверике с подстриженными кустами, с дорожками, посыпанными песком. Ракеты рассыпаются совсем близко, цепочки трассирующих пуль прошивают темноту, крошат где-то поблизости стекла окон и черепицу крыш, сбивают листья с деревьев, п листья, как от града, вместе с веточками сыплются на разведчиков.

Колосовский приказал лечь, пробираться дальше ползком, ближе к грохоту, к ракетам. Кусты туи опьяняюще пахли, шуршал песок.

— Кто-то стоит между деревьями, — толкнул Степуру незнакомый боец.

Степура припик к земле.

Действительно, среди деревьев виднелась чья-то фигура. Трассирующие пули, прошивая сквер, летели на одном с нею уровне, а она все стояла, не падала.

— Да это же Ленин! — тихо воскликнул учитель, лежащий впереди Степуры.

Они быстро поползли туда, где виднелась фигура. Да, это был Ленин. Бронзовый Ленин на высокой клумбе скверика в рабочем поселке... Горячо дыша, бойцы поползли к самому монументу и залегли возле него плотным полукругом. Ракетами его освещают, а он стоит. Из пулеметов бьют по нему, аж пули плавятся, а он все стоит.

Немного передохнув, бойцы поправили каски, поползли дальше, вперед. На гул, на свет ракет, все ближе расплескивающийся перед ними, под ливни пуль, что хлещут, свистят навстречу...

Неподалеку от Степуры кто-то чуть ойкнул, будто вздохнул. Степура пополз на голос. Учитель Голобородько. Горячая кровь проступает на вышитой сорочке. Склонился над ним: дышит ли? Но тот уже не дышал, и только разгоряченным телом да яблоками от него пахло: яблоки были у него, как у мальчишки, за пазухой.

42

Днепрогэс трудится. Непрерывный равномерный гул стоит в машинном отделении. От работы турбин все помещение слегка дрожит: мощные лопастные генераторы, выстроенные один за другим через весь зал, несут свою многолетнюю вахту.

Машинный зал полон солнца. Тут рядом живут зеленые пальмы и серебристо-оливковые богатыри-генераторы, среди которых хозяином похаживает человек. С тех пор, как была пущена первая турбина, и до нынешнего дня не перестают вертеться валы, не перестает вырабатываться ток. Ритм и разгон тут взяты словно на вечность.

Выше машинного зала — пульт главного управления, просторное полукруглое помещение с огромными окнами на все стороны света. Как и вчера, как и позавчера, как год и два назад, стоит на вахте у щитов дежурный инженер-энергетик, привычно следя за работой приборов, поддерживая связь с теми, кто отдален от него степными просторами и кто на протяжении многих лет получает отсюда по проводам энергию Днепра.

Принимая после ночной смены вахту, инженер нашел, что все в порядке, хотя, расписываясь в вахтенном журнале, он, как и его предшественник, отчетливо слышал пулеметную стрельбу где-то на окраине Четвертого поселка — рукой подать оттуда до Днепрогэса.

Инженер, только что заступивший на вахту, — высокий, седой, с худощавым лицом аскета, был из числа кадровых рабочих Днепрогэса, принадлежал к поколению тех людей, для которых это сооружение на Днепре — их комсомольская молодость, и пора возмужания, и самая

большая гордость их жнзпи. Босым подростком-грабарем пришел он сюда из села, ломал днепровский камень, месил бетон, тут и учился, а теперь вот стоит у пульта, и уже давно его никто не называет Ваньком, давно для всех он здесь Иван Артемович.

Ночью он отправил семью в эвакуацию. Вместо с семьями других днепрогэсовцев жена его с узлами и детьми теперь уже на Левом берегу, сегодня эшелон их двинется на восток, по неизвестному маршруту — Иван Артемович лишь приблизительно знает, что эшелон пойдет куда-то на Северный Кавказ. Где их разыскивать? Договорились: днепрогэсовки там, где остановятся, будут выходить по очереди на станцию, днем и ночью станут сторожить под станционным колоколом, чтобы не пропустить своих, последний запорожский эшелон...

Вся ночь прошла в сборах, в суете, никто не спал, дети надрывали душу отчаянным криком, слыша, как пули крошат черепицу домов, видя — впервые в жизни — жуткий свет чужих ракет за поселком. Провожая семью, Иван Артемович, вопреки своему обычаю, не успел побриться, чувствует теперь под ладонью колючую щетину на щеке, и это вызывает у него досаду: негоже в таком виде являться на вахту.

Монтеры, сбившись возле окон, выходящих на Хортицу, обсуждают кем-то принесенный слух: немцы якобы еще с ночи владеют частью острова, а накануне будто бы неожиданно ворвались в Никополь, с ходу захватили город...

— Кто это может знать? Где этот Никополь? — сердится инженер.

Как коммунист, он считает, что ему не к лицу верить таким слухам, он считает своим долгом успокаивать людей, добиваться, чтобы тревога не проникла сюда. Тревога, уже нависшая над Днепрогэсом, пад целым краем, она не должна иметь доступа сюда, на пульт. Человек здесь должен быть спокоен, как приборы, которые не знают отклонений, как сигналы, что строго и значительно вспыхивают разноцветными огоньками лампочек на черных панелях. Тут только следи, чтобы не было аварий.

Серьезных аварий Днепрогэс не знал с тех пор, как его построили, с тех пор, как гидростанция выросла на этих надежных гранитах Днепра. Много гидростанций видел Иван Артемович, бывал и за границей, но такой, как эта, нет на свете. Красавица! Среди южной природы,

в садах вся, абрикосы встречают тебя своим белым цветением, когда идешь весной на смеху, и из окон станции тоже повсюду видны сады: бывало, еще и листьев не видать на деревьях, а вишни и абрикосы уже белеют буйным цветом по склонам оврагов, на месте бывших пустырей и свалок. Но сердцу энергетика дорожке всего полная силы днепровская вода. Как она здесь поет на разные голоса! Когда пласт воды тонок, она почти беззвучно стекает с плотины белоснежным, только что сотканным кружевом, течет ровно, ласково, а когда натиск весенних вод могуч и сотни тонн воды падают одновременно, она летит, как молния, обрушивается тяжело и стремительно, словно расплавленный металл, и внизу взрывается с грохотом грозным, глубинным. Во время паводка, когда сбрасывают лишние воды, все тут ревет львиным ревом, шум могучий стоит окрест, в нижнем бьефе, падая с плотины, бушует белая буря весенних вод, высоко над всей округой в воздух вздымается сняющая метель разбитой в лучистую пыль воды! Будто расщепилась она, вся превратилась в энергию, в свет. Грохот, радужная пыль взбунтовавшейся воды, а ты — пад нею, и тебя радует ощущение, что все это ты можешь укротить, обратить на пользу людям...

Потом появились черные огромные шторы в помещении пульта, появились шторы и в машинном зале — на всю стеклянную стену эркера, и этими шторами-запавесами они на всю ночь стали отгораживаться от звездного неба, от Днепра, от зловещего гула чужих самолетов в небе. Потом слышали далекие взрывы, похожие на те, что доносятся сюда, когда рвут камень где-то внизу, на далеских карьерах. Но это были не карьеры, это падали бомбы. Одна из них упала в аванкамеру, вторая черкнула, будто гигантское кресало, о скалу на Днестре, и воздушной волной так ударило по Днепрогэсу, что стекло огромного эркера потекло вниз, точно вода. Исковыряли берег, наглушили рыбы, а теперь бомбят заводы на той стороне реки, налетая почти каждую ночь.

Дней за десять перед этим по плотине отступали войска откуда-то из-под Одессы — те, которым удалось избежать окружения, прошли, и не стало их, а здесь жизнь продолжается, каждый остается на своем посту, трудится Днепр, и не затихает вечный ветер турбинных валов.

Потом снова хлынули через плотину запыленные войска, подводки с беженцами, стада, тракторы, комбайны. Будто все Правобережье, снявшись с места, двинулось че-

рез днепрогэсовскую плотину на восток, и коровы тоскливо ревели, бредя по асфальту мимо блестящих витрин соцгородка...

Лавина эвакуированных теперь прошла, и несколько дней Днепрогэс молчаливо изучают минеры во главе со своим полковником, присматриваются; о некоторых вещах полковник расспрашивает рабочих и его, Ивана Артемовича.

— План у нас такой, — говорил ему полковник, — если придется разрушать, то разрушить лишь на время войны. Вывести из строя, а не уничтожать навсегда. — И пояснил: — Испортить частично плотину, сжечь генераторы, выпустить масло из подшипников... Словом, сделать так, чтобы ГЭС не работала приблизительно год.

«Значит, через год вернемся? — подумал инженер. — Это он хотел сказать?» Однако в голове инженера никак не укладывалось, что может дойти до этого, что события продиктуют такой трагичный исход... И отряд минеров, и стрельба за поселком, и отъезд семьи нынешней ночью — все это казалось Ивану Артемовичу нереальным, призрачным, и он по-прежнему был уверен: ничто не пошатнет Днепрогэс, не нарушит ритма его жизни.

Иван Артемович чувствует себя здесь, в своей электрической крепости, увереннее и безопаснее, чем где бы то ни было. Нигде, наверное, человек не осознает так свою силу, как тут, у пульта. Приняв дежурство, он становится как бы владыкой этого края, ибо его воле на это время покорны и титаническая энергия Днепра, и работа мощных агрегатов, и линии электропередач, что разбегаются отсюда на сотни километров. Те, кто видел Ивана Артемовича скромным рыбаком на Днестре, кто встречал его в выходные где-то в плавнях с удочкой, кто на реке запросто обгонял его неказистую моторку, не узнали бы его, когда он надевает свою синюю рабочую блузу и становится у щитов. Перед ним — полукругом черные панели с приборами, разноцветно мигают на щитах световые сигналы, автоматические приспособления сами ведут записи на бумажных лентах: одни фиксируют температуру, другие — напряжение, частоту. И все это сходится к нему. Тут стоит совершенно другой Иван Артемович: расписавшись за судьбу Днепрогэса в вахтенном журнале, он начинает жить иной жизнью, всегда напряженной, небудничной. Перед его глазами зримо встают все, кого он снабжает электроэнергией: рудники Криворожья, и

металлургические заводы Приднепровья, и далекие шахты Донбасса, и бесчисленные колхозные гумна в степи, — ногами напролет все они работают на его токе, при его свете. С далекими потребителями электричества у днепрогэсовцев всегда контакт, с ними Иван Артемович связан неразрывно, и трудно ему представить, что связи эти вдруг могут нарушиться, оборваться и весь край погаснет.

Из глубины поселка все явственнее слышится стрельба, с Хортицы громыкает куда-то в степь артиллерия. Крепко бьет, — может, еще отбросят врага и положение стабилизируется...

— Иван Артемович!

Лида, светленькая, не по летам серьезная девушка-практикантка, зовет его к телефону. Он подходит к столу, берет трубку:

— Дежурный по щиту слушает!

— Мы — Кривой Рог! Нас окружают танки! Отключите нас!

Одна из самых крупных подстанций, которую питает Днепрогэс своим током, просит отключить ее, умертвить одним ударом. Он чувствует, как кровь приливает, бьет в виски: отключите, отключите!.. Чтобы отключить — достаточно повернуть рукоятку. С гулко бьющимся сердцем инженер подходит к щиту, кладет руку на черный эбонитовый ключ. Нужно сделать только одно движение, только одно, но ему тяжело и страшно сделать это движение. Но ведь нужно. Делай!

Лида, подскочив, уставилась на него, как на сумасшедшего.

— Иван Артемович! Что вы?

С посеревшим лицом он резко повернул ключ.

— Что вы делаете? — вскрикивает Лида, метнувшись к нему так, что казалось, глаза ему сейчас выпарапают.

И в этот миг снова звонок. Кто еще? Инженер приложил трубку к уху:

— Щит слушает.

— Мы — Днепродзержинск! Подстанция в опасности! Отключайте нас! Немедленно!

Взгляд инженера снова на щите — тяжелый, прощальный взгляд. Он медленно идет, останавливается у панели приборов, и рука его еще ожесточеннее поворачивает ключ.

Практикантка плачет, упав головой на стол, в отчаянии сжимая кулачки.

— Вы их сами... И Кривой Рог, и этих... Весь Правый берег отключили...

Он отвечает ей молча: «Да, отключаю. Отключаю заводы, которые питались нашей силой. Отключаю стены, которые мы освещали ночами. Отрезаю от себя всю ту жизнь с нервами, с кровью».

Однако это еще не конец. Остается еще Левый берег. Левому нужен ток — там на заводах работают краны, идет демонтаж. Ток туда должны подавать до последнего.

Из проходной звонит Поля-уборщица.

— Иван Артемович! Я тут одна! Пропуска на столе, вся документация лежит открытая. В коридоре уже размещают раненых... Что мне дальше делать, скажите?

— Оставайся там. Не пускай на территорию никого.

— А раненых?

— Раненых пропускай.

Монтеры и Лида уже у окна, выходящего на Левый.

— Иван Артемович, сюда! Посмотрите, что это они делают?

На той стороне видны грузовики, подъезжающие к самому выходу из потерны — километрового туннеля, проложенного глубоко под водой в бетонном теле плотины, и фигуры бойцов, которые, сгибаясь под тяжестью, торопливо несут туда какие-то ящики.

Лида в тревоге следит за ними.

— Что это они несут?

Иван Артемович знает что. Он знает об этом еще со вчерашнего дня. Взрывчатку несут в потерпу! Главный инженер и военные подрывники сейчас уже все там готовят к взрыву. Но что скажешь ей, этой девчонке-практикантке, которая приехала сюда учиться мирному труду, приобретать мирную профессию, а теперь видит, как начинают Днепрогэс взрывчаткой?

— Неужели это будет, Иван Артемович? Неужели всему конец?

Девушка смотрит на него с мольбой, щеки ее мокры от слез, слезинки дрожат на ресницах, и он испытывает стыд перед ней за все происходящее вокруг, за то, что он не в силах спасти ее надежды, мечты, будущее.

— Тебе тут больше печего делать, Лида. Иди. Отправляйся на Левый.

— А вы?

— Нам еще нужно задержаться.

— Почему — нужно? Почему?
— Почему да почему! — сердится один из монтеров. — Мы — коммунисты, вот почему. Мы уйдем отсюда последними.

— А меня первой? — всхлипнула девушка. — Не пойду, не могу. Я буду с вами.

Инженера злит ее упрямство.

— Тебе сказано: отправляйся!

— Не кричите! Я имею право... Я практикантка!

— Копчилась твоя практика.

Крупные слезы побежали по щекам Лиды.

— Для чего ж я училась? Для чего старалась? Чтобы увидеть смерть Днепрогэса?

— Молчать! Не увидишь ты его смерти! — крикнул Иван Артемович, теряя самообладание. — Уходи!

Она пытается от него. Через дверь из помещения пульта выйти уже нельзя. По двери бьют снайперы. Схватив девушку за плечо, инженер потянул ее к лифту, сердито втолкнул в клеть, грохнул за нею железной дверью. Сквозь металлическую сетку он еще видел заплаканное, искаженное болью ее лицо, видел до тех пор, пока оно не исчезло, не провалилось вниз в клетки лифта.

Когда он вернулся в зал, монтеры ошеломили его известием:

— На Хортице пемцы!

Он бросился к южному окну. То, что он увидел, не было плодом большого воображения: вражеские солдаты были совсем рядом; рассыпавшись, будто для облавы, они медленно спускаются по склонам острова вниз, к Днепру, к разбросанным над рекой домикам. Оттуда им, как на ладони, виден весь Днепрогэс. Они уже оскверняют его завоевательским взглядом, уже считают Днепрогэс своим богатейшим трофеем. Живой, действующий, родной Днепрогэс и цепи наступающих фашистов перед ним — от этого можно было сойти с ума! Итак, все это не сон, а жуткая, раздирающая душу реальность: и прорыв вражеских бронетанковых авангардов, и внезапно захваченный Никополь, и десанты... Были ночи тревог, аэростаты в небе, бомба упала в воду аванкамеры, и жену отправлял, но до самого этого мгновения еще теплилась в сердце надежда: ничто не коснется Днепрогэса, дух разрушения не будет хозяйничать здесь. И вот теперь, глядя на врагов, топчущих сапогами священную землю Хортицы, собственными глазами увидев фашистов из окна Днепрогэса, инженер

почувствовал, что в нем пробуждается разрушитель, растет жестокая готовность в один миг поднять на воздух все, что строил своими руками, все, что на протяжении многих лет было гордостью и славой народа. Пусть сгорят генераторы! Пусть развалится плотина! Пусть груда развалин останется тут от всего — только бы врагу не досталось!

Инженер, отойдя от окна, подозвал монтеров, и все вместе они начали советоваться, как закончить эту свою последнюю вахту.

43

Тяжелые железные ворота открыты настежь, крошь заисклась на бетонированной дорожке, ведущей на территорию Днепрогэса. Днепрогэсовская территория, святая святых, куда раньше без разрешения не мог ступить ни один посторонний, теперь свободно, без всяких пропусков принимает группы раненых. Свежие раны, кровь, би-ты — сейчас это одишественные пропуска для начальницы проходной тети Поли. Директор сказал: сиди, — вот и сидит, стережет. Пропустит раненых, окровавленных, вглядываясь, не затесался ли среди них какой-нибудь дезертир, крикнет: «Воп там, в садах, располагайтесь!» — а сама снова занимает пост у окна бюро пропусков, где сидели раньше караульные начальники в низко надвинутых на лбы фуражках. Еще не высохли чернила в чернильнице, еще не заполнены плотные книжки пропусков — лежат на столе с корешками, простроченными, как на швейной машинке. Впервые села она за этот стол. И руки ее, грубые, большие, потрескавшиеся от работы, руки, знавшие только мокрое тряпье, щетки да ведра с помоями, теперь по-хозяйски лежат на столе, на чистых, незаполненных пропусках.

Поля, Поля-уборщица... Назвали ее так, когда была молоденькой, да и осталась для всех на Днепрогэсе с девичьим именем, хотя давно уже прошли лета ее девичества днепрогэсовского, беспокойного... Все до сих пор зовут ее ласково по имени, будто девчонку-днепрогэсовку, хотя она уже мать взрослого сына, студента авиатехникума, которого позавчера проводила в армию. Одинокая теперь. С самого утра в проходной, на посту, с польским карабином, из которого не умеет стрелять, среди бумаг, что

бросили хлопцы из секретной части, уходя туда, в поселок, где идет бой, где с ночи не затихает перестрелка.

Волею событий поставлена Поля вот здесь, у ворот Днепрогэса. Сидит с никому не нужными пропусками, прислушивается к отдаленной перестрелке в рабочем поселке. Большие серые глаза, лицо широкое, суровое, нестарое, но в глубоких складках — не очень много улыбок знавало оно, зато от горестей искажалось не раз. Всяко бывало в жизни: были и обиды, были и премии, но все это теперь куда-то отошло, когда ее оставили здесь одну, словно бы на страже Днепрогэса: стой, охраняй. Одна тут теперь — и за НКВД и за дирекцию. Хотя и малограмотна, но до чего ж ясно видит она сейчас, что было хорошо в жизни и что неладно. Добре умели строить, даже ночами с музыкой приходили сюда заводские помогать днепростроевцам, и целые ночи при свете прожекторов кипела работа в котлованах. А как спасали стройку от весенних паводков, работали, не боясь никаких простуд, не жалея себя, — и вот он поднялся над дикими скалами, их Днепрогэс. Каждое лето экскурсии шли здесь потоком, люди, словно зачарованные, ходили по этому электрическому царству, где прямо у трансформаторов яблоки наливаются, где алые розы все лето буйно пылают среди черного леса металлических конструкций. Теперь там свищут пули, бродят по садам рашепы, которых она туда направляет, быют снайперы по окнам, по деревьям, и, чтобы понасть на открытую подстанцию, монтерам приходится пробираться подземными ходами. А на той стороне к потерне подвозят взрывчатку грузовики. Лучше, кажется, ей ослепнуть, чем видеть, как начиняют взрывчаткой плотину, ту плотину, где каждая капля бетона, каждый прутик арматуры будто бы вложен ею самой, где вроде бы не инженеры планировали, а распланировала все она сама...

Вольность какая-то в природе и чистота — это и есть Днепрогэс. Даже птицы его любят. Ласточки в плотине, у шлюза, в недоступных местах под выступами бетона вылепили себе гнезда, целые гроздья, целые колонии гнезд. А этой весной все кукушка куковала. Не в вербах, не где-то в садах, как другие, а на самой плотине, на высоком крае куковала, понравилось ей в его железных ветвях. Неутомимая, много лет накуковала Днепрогэсу. Что ж, выходит, соврала кукушка? Вои какое горе лихое

теперь нас постигло! На территории Днепрогэса свистят пули, смертью звякают о бетон. Где же наши самолеты, где наша броня?

Во второй половине дня раненых стало прибывать из поселка еще больше. Вот двое ведут под руки третьего, почти волочатся его сапоги по асфальту, такой, видать, тяжелый. Каска сползла ему низко на глаза, изо рта — кровь.

— Сюда, сюда его, — командует Поля, проводя их через открытые ворота на территорию, где сады, где тепы. В саду недавно скошено сено, оно лежит еще рядками, сушится. Раненого кладут на сено под яблоней, в холодке. Весь в крови: и грудь и живот. Кое-как перевязан какой-то простыней, она набухла кровью и стала красной, как материя, которой накрывают столы на собраниях.

— Снимите каску, — просит раненый. Ремешок каски, видно, сдавливает ему горло.

Сняли.

Те, что привели — одип будто подслеповатый, заросший рыжей щетиной, а другой тоже в щетине, но черной, цыганской, — скорбно стоят над товарищем.

Раненый спрашивает слабым голосом:

— Что это пахнет? Сено?

Ему небось странно, что на Днепрогэсе пахнет сеном. Не только сеном, но еще и яблоками спелыми. Под деревом, где его положили, скошен бурьян и множество упавших яблок на стерне. Возле плеча раненого одно — блестящее, краснобокое, накололось на стернину, запенилось соком. Пахучие, теплые, нагретые солнцем яблоки, они наполняют воздух ароматом, и раненый, наверное, особенно чувствует это после гари и пороха.

— Пять... — тяжело хрипит он.

Поля бросилась к проходной, там у нее еще есть вода, но один из тех, кто привел раненого, худощавый и черный, похожий на осетина, остановил ее:

— Не нужно, тетя Поля. Ему нельзя.

Он назвал ее «тетя Поля»... Она удивленно посмотрела на него.

— Кто же ты? Откуда знаешь меня?

— Колосовского помните? Я его сын.

— Неужели это ты... как же тебя... Богдан? Ни за что бы не узнала.

— А вас я сразу узнал. Вы все такая же.

Сын Колосовского. Да, это он. И сухим блеском карих глаз, и продолговатым лицом, и всей врожденной военной осанкой он и впрямь напоминает отца. Когда тот, бравый, усатый Колосовский, проводил, бывало, учения со своим днепрогэсовским полком, помнится, возле красноармейцев вертелся смуглявый мальчонка, сын командира, который так и рос возле полка. Давно ли пацаненком бегал, а теперь стоит перед нею высокий юноша, заросший, до черноты прокопченный на солнце. Гимнастерка вылиняла, весь в пыли, в кропи, а рука с крепким волосатым запястьем держит тяжелый автомат — наш уже, такой покамест редко у кого увидишь.

Прежде чем уйти, молодой Колосовский наклонился над раненым, а когда поднялся, глаза его блестели от слез.

— Вы уж тут присмотрите за ним, тетя Поля... Самого лучшего друга вам оставляем.

Не успела она и расспросить Колосовского, что там, в поселке, как уже был с товарищем у проходной, а дальше бегом помчались, стуча сапогами, через улицу, к задымленным пороховой гарью садам.

— Пить, пить,— опять хрипит раненый и ворочает головой так, будто его все еще душит ремешок каски, хотя каска лежит в стороне, на солнцепеке.

— Нельзя тебе пить, голубок...

— Все уже можно,— стопет он тяжело.— Огнем все горит во мне...

Богатырского здоровья, видно, хлопец. Кровь хлещет из него, как из вола, жизнь вытекает, а он живет. Внутри у него все искромсано, грудь разорвана, а сердце могуче бьется, не хочет умирать. Хрипит, хватает ртом воздух. Помутневший взор блуждает где-то вверху, где над садами вздымается к небу железо, где звонко цокают пули и белыми брызгами черепков осыпаются вдребезги разбитые чашечки изоляторов.

Рука раненого, пошарив, вытащила из окровавленных лохмотьев какую-то закрутку, черный желудь.

— Возьмите вот...

Поля догадалась: это и есть медальон смерти — она слыхала про них; неумело открутила, извлекла крохотную полоску бумаги: «Степура Андрей Минович...» Она не дочитала. Ее уже настойчиво звал к себе из проходной звонок телефона.

— Ты что, оглохла там? — услышала в трубке голос дежурного инженера. — Немедленно сюда!

— А документация?

— К чертям твою документацию!

— А раненых?

— Направляй к нам.

— К плотине?

— Да ты что там, ничего не видишь? Немец уже по плотине мины кладет... Через потерну будем отступать. Скорее, ждать не будем!

Она слыхала, как инженер бросил трубку.

— Вот те раз... Враг уже минами бьет по Днепрогэсу, пост приказано оставить.

Кажется, только теперь поняла Поля всю опасность. Нули бьют по окнам, раскалывают черепицу на крышах... Скорее схватить узел и бежать! Узел ее в углу. Утром прихватила с собой на работу, чтобы все было под рукой, если придется сниматься в эвакуацию. А как же с этими бумагами, кучами незаполненных пропусков? И шкафы и кабинеты набиты бумагами, которые начальство называло солидным словом «документация», — куда все это деть? Нет, этого она не могла так оставить.

Схватила свой узел — огромный тюфяк со всякими домашними вещами, вытряхнула из него все, даже парадное одеяло из разноцветных лоскутков, которое сама шила, — никакие тряпки теперь не дороги. Вместо них торопливо стала закидывать в чехол от перины папки, книжки ордеров, охапки бумаг... Никогда не думала, что бумага такая тяжелая, — еле подняла эту перину-капдедирню, а чернильницу, чтобы тем не досталась, смахнула рукой со стола, аж брызги заляпали стену.

В саду раненых уже не было, только Степура Андрей Мипович, как и раньше, лежал на прежнем месте, подливши кровью.

— Что же, голубок, мне делать с тобой? — шагнула она к нему. — Как тебя заберу?

И вдруг отпрянула. Он лежал перед нею успокоенный, бездыханный. Глаза закрыты, запекшиеся губы уже не просят воды. Сердце у Поли сжалось: почему она не напоила водой днепровской хоть напоследок? Кто же похоронит тебя здесь, голубок? Сады наши запорожские будут тебе шелестеть, Днепр будет шуметь, Днепрогэс будет тебе памятником!

От поселка приближалась стрельба, падавал какой-то грохот, и через минуту в садах блеснул маслянистым боком танк. Ломая деревья, он продирался в направлении открытой подстанции, подминал под себя клумбы, цветущие розы, оборванные провода.

Запахавшаяся, сгорбленная под тяжестью перины, Поля бежала вниз, к потере, и ей уже ничто не было страшно, не кланялась под пулями, защищенная от них лишь бурдюками надвое разделенной перины, которая все сползала ей на голову и словно бы сама подталкивала вниз по крутому склону. Пули бьют, лязгают — свинцовый град стучит по изоляторам, по железу мачт.

Внизу, у входа в потерю, собрались все, кого тут настигла беда: инженер, монтеры, раненые бойцы. Когда Поля, задыхающаяся, растрепанная, остановилась возле них и сбросила свою ношу, все ахнули, глянув на ее перину: истерзана пулями в клочья, бумаги из дыр вылезают.

Иван Артемович нахмурился.

— На кой черт тащила еще эту канцелярию?

— Не оставлять же им, — сказала Поля и обернулась туда, откуда прибежала.

Там, на огромной территории их Днепрогэса, разгуливали вражеские танки, ломали сады, распахивали гусеницами клумбы. Сюда, вниз, пули не долетают. Зато плотину враг обстреливает все сильнее, кладет мины точно по ней, хотя там — ни одной живой души. По плотине для людей уже нет хода. И на Левый берег они будут пробираться через потерю.

Когда, собираясь в путь, Поля снова взялась за свою перину, к ней подошел в окровавленной гимнастерке знакомый лейтенант из спецчасти. Наклонившись над периной, он порывался в ней, потом достал из кармана спички, чиркнул, и через минуту всю Полину документацию, вытряхнутую на землю, охватило жаркое пламя. Не был предан огню лишь один документ — вахтенный журнал последней смены; его держал сейчас под мышкой дежурный инженер Иван Артемович. Так, с журналом под мышкой, он и вступил в потерю.

Раньше через нее мог пройти даже грузовик, а теперь вход в туннель полузавален мешками с песком.

— Зачем это? — спрашивают раненые. — Для чего здесь эта баррикада?

Инженер молчит. Он знает, что этот завал, эта гора мешков с песком — для направления взрыва, который вскоре должен сотрясти все сооружение. Сыростью, холодом подземелья дохнуло на людей, когда они стали углубиться в потерну. Вода хлопает, как в шахте, толстые кабели тянутся по степам, с потолка свисают известковые сосульки, как сталактиты.

Впереди идут инженер, лейтенант из спецчасти, монтеры, Поля-уборщица, за ними, растянувшись, наполняя туннель стоном, бредут раненые, которым, кажется, нет числа. Одних несут, других поддерживают на ходу, и все они идут еле-еле. Далеко не все осознают опасность этого перехода, далеко не все чувствуют титаническую темную силу Днепра, которая бурлит, нависает над ними миллионами тонн бушующей воды. Идут медленно, чуть бредут.

«Как медленно! — думает Иван Артемович. — А надо было бы бегом пробежать этот подводный километр!»

Главный инженер, передавая Ивану Артемовичу с того берега по телефону распоряжение немедленно забирать людей и отступать потерной на Левый, не сказал всего, но по его голосу, нервному и тревожному, Иван Артемович понял, что там все решено, все готово и осталось только подать команду. Ноги сами спешат, хочется рвануться и бежать, но раненые не побегут, их не бросишь, и он, то и дело оглядываясь, только просит сердито, чтобы они прибавили шаг.

Кто-то из раненых, прихрамывая, бубнит недовольно:

— Некуда теперь спешить.

— Есть куда!

— Может, скажешь куда? — снова ворчит раненый.

Инженеру ничего не остается, как открыть им то, о чем раненые даже и не подозревают.

— Плотина будет вскоре поднята на воздух.

Тревожный гул прокатился по туннелю.

— Не может этого быть!

— Будет!

— Когда?

— Может, через час. Может, через минуту. Может, в этот миг!

После этого даже раненые жаркой толпой ринулись вперед.

Еще сумрачнее стало теперь в потерне. Углубляясь в темную туннельную гулкость, видели известковые сталактиты над головами, слышали хлюпанье воды, фильтрующейся через бетон. С каждым шагом туннель словно сужался, и казалось, еще ниже нависал над ними бетонный потолок в разводах белых известковых пятен, названных гидростроителями «белой смертью». Прошло много лет, но «белая смерть» не смыла, не подточила плотину, зато черная воющая смерть теперь нависла над ней, давит этих шагающих в полутьме людей всей тяжестью обреченного на взрыв бетона. Они чувствуют эту тяжесть, как спустившийся в шахту чувствует вес земных пластов, но люди чувствовали в душе, что должны быть благодарны тем строителям, которые, закладывая плотину, как бы предвидели далекую эту беду, загнавшую их ныне сюда, в днепровский подводный туннель.

Только спасет ли он их? Успеют ли они проскочить на ту сторону, где свои? Или еще раньше будет подожжен шнур, и взрыв триханет туннель, разломает бетон на глыбы, и бездна топи днепровской воды, нависшей сейчас над ними, закрутится, взревет здесь, где они сейчас идут...

— Скорее, товарищи! Скорее!

Туннелю не было конца. Казалось, сколько ни шагай, не кончится эта сырость подземелья, известковые сталактиты, гулкая немота склепа, куда не проникает ни один звук надземного мира. Звонкие шаги. Выстрелы падающих с потолка капель. Тяжелое дыхание торопящихся людей...

— Стой!

— Что случилось?

— Нет дальше хода. Потерпа перекрыта!

Да, перекрыта. Гора ящиков поднялась впереди из мрака, преградила путь. Ящики со взрывчаткой. Люди сбились перед ними гурьбой. Мышь не пролезет, так плотно они уложены, эти тяжеленные, начиненные толлом ящики. Тупик. Мешок. Лбами в тол! И выхода нет. Живые в могиле! Именно так — живыми в могиле — почувствовали себя.

И в это время голос инженера:

— Товарищи, есть проход!

В одном месте среди нагромождения ящиков — узенький проход, только человеку и протиснуться. Оставлен, видимо, минерами специально для них, для последних отступающих.

Кос-как начали пробираться, перелезая через ящики, протискиваясь через щель.

— Раненых вперед!

Это было мукой — протискивать раненых в темпото между ящиками. Стоны, ругань, вскрикивания, и казалось, все это длится бесконечно долго, а роковая минута приближалась. Пропуская раненых, Поля и Иван Артемович ждали, ждали, пока пройдут все, и пробрались последними.

Когда вышли наконец из потемок туннеля, первое, что им ударило в глаза, — наплывшие светом высокие красные облака. Красные, яркие, как утром, когда всходит солнце из-за днепровских скал. Но сейчас оно не восходило. Сейчас оно заходило. Там, за плотинкой, за кранами Днепрогэса, топило в кровавых пожарниках степных. На берегу возле шлюза расположился штаб армии, и Поля сразу набросилась на командиров, плача, стала укорять их за плохую оборону. Они не отвечали ей, но слушали внимательно, и все поглядывали в бинокли на ту сторону Днепра и на плотину.

Среди военных были и директор Днепрогэса, и главный инженер, и секретарь обкома, и даже представитель из центра, который находился тут как уполномоченный Ставки. Иван Артемович, подойдя к нему, передал ему вахтенный журнал.

— Товарищ инженер, — взяв журнал, сказал представитель, — через год снова будете принимать вахту.

Из города подошли трамвайщицы (трамваи остановились), подошли и спрашивают простоудшно:

— Когда же будет ток?

Им никто не отвечает.

Солнце зашло. Небо в лохматых красных облаках заката угасает, седые сумерки окутывают все вокруг, а люди, собравшись на берегу, — и генералы, и рядовые, и обкомовцы, и днепрогэсовцы, — все глядят на плотину, будто хотят паглядеться на нее в последний раз. Повитая сумерками километровая гребенка с десятками бетонных быков, водовыпускных прогонов, щитов — все застыло и словно ждет чего-то...

Взрыв, был он или нет? Это, скорее, напоминало землетрясение. Содрогнулась земля всеми своими гранитами. Инженеры и рабочие сняли фуражки и напряженно глядели с берега, как медленно оседает, разламывается плотина, будто при замедленной киносъемке... В пролом сразу

рипулась вода, буря ревущей воды, а в небо с огнем, с брызгами поднялась черная туча взрыва. Властвуя в хаосе пролома, стихия воды довершала начатое взрывом: доламывала, выворачивала бетон, бушуя среди руин, стреляя брызгами в небо.

Как голос времен мипувших, в сумерках над Днепром раздался грозный, порожистый гул, глубинный, kloкочущий рев, в котором было что-то первобытное, дикое, злое.

Оглушенная этим ревом, стояла Поля среди молчаливых командиров, бойцов и днепрогэсовцев, столпившихся на берегу возле шлюза. Отчаянно впевившись руками в бетонный парапет, все смотрели в сгущающиеся сумерки на черную kloкочущую рану своего Днепрогэса; то были минуты, когда горячие слезы сами застилают взор, и мир темнеет, и хочется умереть.

45

Ночью подошли танки. Заглушив моторы, остановились в Шестом поселке лбами к Днепру. Нельзя ли как-нибудь перебраться на Правый? Нельзя ли перебросить через пролом в плотине какой-нибудь мост? Это сейчас больше всего волновало тапкистов. На плотину была выслана разведка. Разведчики дошли до самого места взрыва. Нет, о перекидном мосте не могло быть и речи. Метров на восемьдесят вырвало живую часть плотины, и в проломе между оскаленных бетонных развалин с дикою силой кипит вода. Пропасть. Бесформенные нагромождения глыб искалеченного бетона. Отдельные глыбы висят на прутьях арматурного железа высоко над водой, а внизу kloкочет, ревет водопад, беспуется в черной прорве так, что вибрирует, содрогается весь бетон уцелевшей части плотины.

Из помещения гидростанции, из машинного отделения, вымахивает пламя — горит обмотка генераторов, горит все, что сегодня еще действовало. А на Правом берегу взлетают ракеты и слышна стрельба. Там бой. Там еще сражаются те, кто не успел отступить на Левый.

Среди тех, кто остался на Правом, был и Колосовский.

Депь боя — это целая жизнь, так много он вмещает в себя. Утром Колосовский был командиром отделения, потом, когда ранило взводного, стал взводным, а часом позже, когда убило командира роты, возглавил роту, вернее, ее остатки. В наследство от взводного ему и достался

отечественный автомат, скосивший сегодня немало фашистов.

Кроме Васи-танкиста, Духовича и еще нескольких бойцов из старого состава роты, были теперь у него и ополченцы из города, и бойцы местного истребительного батальона, и какие-то люди из других разбитых подразделений. Местные мальчишки, еще не знавшие, что такое страх, вызвались ходить в разведку, откуда-то приносили бойцам то гранаты без запалов, то запалы без гранат...

Это был тяжелый, исполненный неимоверного напряжения день. С утра сдерживали на окраине поселка вражескую пехоту, появившуюся на бронетранспортерах. Гитлеровцы, высыпав из них, с пьяными выкриками пошли в атаку на сады. Задрав головы, уперев автоматы в живот, они шли прямо на сады и строчили, как слепые.

Богдан подпускал врага для близкого огня, несколько раз поднимал своих в контратаку. Удивительное состояние: идешь в контратаку — и ничто не страшно, не боишься умереть, а позже, когда все кончится, не можешь цигарку свернуть — руки дрожат. Даже перед бойцами стыдно. Оттесненные прагом в глубину поселка, вели огонь из Дома культуры, засев на чердаке, отстреливались из скверов, с каких-то веранд; на одной из таких веранд едва не убило и Богдана — немецкая с длинной ручкой граната, упав, завертелась у его ног, в последний миг он успел ударом сапога отбросить ее назад, за угол дома... Потом вели бой с танкетками, которые прорвались на улицу, и в этом бою потеряли Степуру. Бывает, человек идет на подвиг с отчаяния, не имея другого выхода или в слепом экстазе, Степура же пошел на подвиг сознательно: когда надо было остановить танкетку, он с тяжелой гранатой в руке бросился из сада ей наперерез и, кинув гранату, подбил танкетку, хотя самого его изрепетило, изранило — выживет ли теперь?.. Видели врага в этот день вблизи, с малых дистанций, стреляли по зелено-серым мундирам, которые ползли по огородам, энергично подбрасывая зады; слышали из-за соседних домов лай команд на чужом языке, а порой сходились и врукопашную — таков был день.

Потом налетели самолеты. Звенело в ушах от рева их моторов, сплошной дым и пыль стояли там, где они кружились, а когда их крестообразные тени, черкнув по земле, исчезали в уверенности, что все живое тут уничтожено, —

из кустов, из ям, из подвалов снова появлялись бойцы, и снова Колосовский собирал, сбивал их в отряд, способный продолжать бой.

В короткие передышки, когда Богдан смотрел на Левый, на высокие корпуса соцгородка, на горячие днепровские скалы того берега, до которых отсюда было так далеко, ему казалось, что живым отсюда им уже не выйти, что будут они приперты тапками к тем вон скалам, будут раздавлены бропированными фашистскими лбами и только кровь и тряпки будут гореть на днепровских гранитах, как у серой стены Пер-Машеза, где когда-то расстреливали парижских коммунаров.

Ночь застала Богдана с его сводным отрядом все в тех же садах Правого берега. Тут было их много, таких летучих отрядов, больших и маленьких, наспех сколоченных из оставшихся, из отбившихся от тех, которые сами теперь решали, как им быть, как дальше вести себя. Они ждали почти с памерением пробиться на ту сторону через плотину. Горит Запорожье. Сегодня несколько раз бомбили район заводов, то и дело над Днпром, над Хортицей завязывались короткие ястребиные воздушные бои. И сейчас слышно, как стреляют над заводами зенитки, стучат в вечернее небо, будто пабивают его чем-то. С Хортицы гулко бьют крупнокалиберные пулеметы, после каждой очереди в скалах днепровских далеко раскатывается эхо.

Колосовский готовил людей для прорыва на плотину, когда внезапно оттуда раздался мощный взрыв. Неужели плотина взорвана? Им не верилось. Им не хотелось верить. И они не оставили своего намерения прорваться. Лежали в садах, и враг их уже не тревожил, только ракетами то и дело освещал над ними листву деревьев, переплетения металлоконструкций. Ракеты падали рядом, гасли с гадючьим шипением.

Нужно было разведать, какими силами охраняется вход на плотину, и Колосовский решил отправить туда нескольких добровольцев. В числе других в разведку вызвался и Духнович, который в этот день вообще удивлял Богдана выдержкой и умением ориентироваться в сложных ситуациях. Богдан послал и его, поставив во главе группы Васю-танкиста.

Возвращения разведки ждали с нетерпением. Притаившись по кустам, по рвам, вели приглушенные разговоры, высказывали всякие догадки.

— Только вы их и видели, тех разведчиков,— слышал Колосовский неподалеку от себя чей-то сиплый, словно бы пропитый голос.— Ежели можно пробраться, так сами проберутся, а вы тут пропадай. Только черта с два проберутся! Слыхали, как бухнуло? То ж плотина валетела вверх тормашками. Одно ведь знают: командовать «вперед» да «вперед», а когда сниматься — ни у кого язык не поворачивается. Весь день вот тут нас дурачили: будет, будет приказ, отзовут, не забудут, а чем все кончилось?

— Есть, кажется, приказ, который запрещает отступать,— послышалось в ответ.

— Тем, кто приказы пишет, хорошо: они далеко,— все бубнил тот сиплый голос. — А нас вон бросили на произвол, уже нам никто и ничем не поможет. Сидим, а что высидим?

— Что ж, по-твоему, сдаваться?

— Не сдаваться, а по домам...

— На печь? Под юбку к жене? Думаешь, там не найдут?

— А коли пайдут, так что? Они культурные.

— Культурные? Чего же тогда их культурность на нас тапками да бомбами прет?

— Ты меня политграмотой не корми. Накормлеп ею, аж тошно...

Богдан не мог больше терпеть. Подполз к бойцам:

— Кто это здесь язык распустил?

— Воп он,— указали бойцы на мордастого, который лежал между ними, опершись на какой-то узел. — Все поет и поет...

Колосовский подполз к нему ближе:

— Ты кто?

Узнав командира, толстомордый сделал движение, будто хотел встать, но не встал, лишь присел на корточки.

— Рядовой Храпко.

— Так ты считаешь, лучше по домам?

— А что?— В голосе Храпко зазвучали наглые нотки. — За что гибнуть? Я в жизни своей яйца по съел!

— Бедолага, яйца он не съел! — насмешливо произнес один из ополченцев.— А глянь, какой портрет нажрал.

— И вправду портрет,— засмеялся другой боец.— Кирпича просит...

— Ну, ты, полегче с кирпичом-то! — огрызнулся Храпко.

— Вот что, Храпко, — перебил его Колосовский. — За эти твои разговоры...

Но он не закончил. Вернулись разведчики. Вася-тапкист, присев и все еще возбужденно дыша, доложил, что охрану у плотины несет броневи́к. Возле него — всего песко́лько немцев, разговаривают, смеются.

— Если их убрать — плотина наша!

— Приготовиться! Идем на прорыв! — скомандовал вполголоса Колосовский. И команда, передаваемая шепотом, побежала от бойца к бойцу. — А ты, Храпко, будешь рядом со мной. Граната есть?

— Есть...

— Пойдешь первым.

— Почему я? Почему первым? — вскочил тот, держа гранату в руке. — А вы?

— Я-то пойду, по сперва ты. — Колосовский с пенавистью толкнул его вперед. — Слышь? Иди, гад!

И тот, согнувшись, стал пробираться сквозь кусты, за ним по пятам с гранатой в руке Колосовский.

Тигриной настороженной походкой шел отряд. Немцы не ожидали нападения. Они о чем-то громко галдели возле броневи́ка, когда отряд Колосовского подкрался к ним. Вспышка! Удар! Нескольких гранат оказалось достаточно, чтобы возле броневи́ка остались одни трупы. Не мешкая ни минуты, бросились вперед.

Сапоги бойцов уже гулко стучали по плотине. Плотина взята! Плотина снова в их руках. Богдан бежал, и сердце его замирало от счастья. Бежал к жизни, которая была на том берегу, к родному Запорожью, что пылало и звало, как маяк, полыхающий в полнеба. С каждым шагом вперед укреплялась надежда: вот-вот они будут там. А навстречу приближался густой рев водопада. Этот рев уже сказал им все, но они еще не верили и бежали вперед изо всех сил, бежали так, что казалось, с ходу перелетят, каким бы широким ни был провал!

С разбегу Богдан чуть не сорвался вниз, в пропасть, так неожиданно разверзлась она перед ним. А кто-то с разгона ухнул туда, в темный бушующий водоворот.

— Кто упал?

Молчат.

— Где Храпко?

Нет Храпко: то ли сам сорвался, то ли кто помог... Задыхающийся Колосовский стоит у края обрыва. Уцелевшая часть плотины дрожит, вибрирует под ногами от натиска воды, в горячее лицо бьют брызги, словно дождем сечет снизу, из kloкочущей черной пропасти... Прорваться на плотину, увидеть черный водоворот — и обратно? Это было выше их сил. Но другого выхода не было.

— За мной! — скомандовал Колосовский. — Пробьемся в другом месте. В плавнях переправимся.

И через миг отряд табуном бежал по плотине назад, в темноту Правого берега. Немцы не успели еще толком опомниться, как бойцы промчались через трупы часовых у плотины и, преследуемые лишь вспышками ракет да беспорядочным огнем трассирующих пуль, исчезли в ночных садах, в железных чащах трансформаторного леса.

С Левого еще услышат их. Еще живой стоит на берегу генерал, командующий их армией, который скоро сам будет сражаться в окружении и вместе со всем своим штабом встретит героическую смерть в запорожских степях.

Еще несколько недель продержится Запорожье. Еще на некоторое время наши части отобьют у врага Хортицу, и будет произнесена, ставшая крылатой в войсках, фраза: «Чем хвалитесь? Хортицу отбили? Запорожцы и не сдавали ее никогда!»

Несколько недель еще будут разрезать на заводах дома, чтобы по частям вывозить их отсюда, десятки тысяч вагонов с заводским оборудованием пойдут из города на восток.

Но рапу Днепрогэса уже не закрыть. День и ночь будет kloкотать она грозным потоком, пойдут прорвавшиеся воды на всю низовую часть города, буйное половодье будет топить застрявшие в плавнях войска, а выше — на обмелевшем озере Леппина, когда вода спадет, выпрыпнет старый Кпякас, один за другим вылезут из воды черные, замшелые, зеленой слизью покрытые пороги, вылезут и заревут на всю Украину.

Может быть, кто спросит: зачем это было сделано?

Это была сознательная и тяжелая жертва, с большою принесенная народом, это была баррикада, преграждающая путь врагу. Полностью уничтожить Днепрогэс попы-

таются фашисты: злобно и бессмысленно они взорвут его, отступая в 1943 году, и если не весь он будет уничтожен, не до последнего камня разрушен, то лишь благодаря мужеству и паходчивости советских бойцов, первых днепро-вских разведчиков, которые успеют кое-где перерезать адские провода, подведенные к сотням тонн взрывчатки.

Но все это еще далеко.

Еще бескопечно далек тот день, когда наступающие полки форсируют Днепр и создадут на Правом берегу первый плацдарм.

Еще враг сам создает плацдармы, неудержимо рвется через Днепр, на Левобережную Украину, чтобы с захваченных плацдармов развить наступлению дальше на восток, оставляя позади себя новые пространства, окутанные пожарами, зноем и пылью этого черного лета...

Латвия, Литва, Эстония захвачены врагом. Фашистские дивизии у стен Ленинграда. К тяжким оборонительным сражениям готовится Москва, пылает Смоленщина, в лесах Белоруссии разворачивается партизанская борьба. Настает час — и страшными для врага станут брянские, белорусские и украинские леса, зачернеют вражьи трупамн снега Подмоскoвья, и обмороженные, засопливевшие колонны гитлеровских вояк, сгорбившись, побредут под нашим копьом; а покамест он, самопадевший пришелец, еще полон наглой веры и, даже понав к нам в руки, заученно, по дням рассказывает, когда и какой из наших городов будет взят, когда его армия выйдет на Волгу и на Урал и когда мы погибнем.

Ураган войны бушует над Украиной. Миллионы людей выброшены на дороги — на тяжкие дороги отступления, лишений, мук. Почерневшие от пыли и горя, бредут по дорогам беженцы, а их отход прикрывают такие же почерневшие изможденные войска. Командиры, комиссары, бойцы в расползающихся, изъеденных потом гимнастерках, неустомимые труженики войны, — они принимают на себя самые тяжелые удары. Отступая на восток, они все время обращены лицом и оружием к западу, к его танкам, минометам, к его моторизованным дивизиям.

Дорого стоила врагу битва на Днепре, битва за левобережные плацдармы, но Гитлер и его генералы не хотели замечать потерь. В середине сентября моторизованные войска врага, перейдя в наступление с кременчугского

плацдарма на север, прорвали нашу оборону на двухсоткилометровом фронте и, соединившись со своими танковыми группами в районе Лохвицы, отрезали многочисленные войска Юго-Западного фронта, героически защищавшие Киев, а потом оборонявшиеся на Левобережье, восточнее Киева. Долго еще днем и ночью будут идти здесь бои, будут пробиваться на восток группы окруженцев, гибнуть в неравных схватках. В числе павших будут и командующий фронтом генерал-полковник Кирпосов, и штабные его офицеры, и писатель Гайдар.

Еще будут звучать выстрелы окруженных, а танковая группа фоп Клейста, высвободившись отсюда, устремится на юг, разрезая тылы наших армий, возьмет Орехов, двинется на Мариуполь, и угроза окружения нависнет над южными нашими армиями. Неожиданным будет появление вражеских танков в нашем тылу, в запорожских степях. Еще не вывезенный хлеб золотыми горами будет лежать на колхозных гумнах, еще будут двигаться по этим местам обозы эвакуированных, а уже закипит здесь жестокая битва насмерть. Ожесточеннейшие, какие только в окружении бывают, бои завяжутся на этих последних рубежах; разбившись на большие и малые группы, со страстным упорством станут пробиваться на восток окруженцы. Потом настанет день, когда в осенние сумерки в терновом степном буераке генерал, командующий армией, соберет всех оставшихся в живых — ездových, шоферов, штабных офицеров и даже раненых из полевых госпиталей — всех, кто еще способен держать оружие, — соберет и скажет:

— Товарищи, мы в окружении. Пока живы, останемся бойцами родины. Пробьемся или умрем!

Бросив в балке легковую машину, отказавшись от самолета, на котором он мог еще вырваться отсюда, генерал поведет остатки своей армии на прорыв. Всю ночь продолжится неравный бой с вражескими заслонами, аренами схваток станут колхозные дворы, загнанные красноармейцы будут отстреливаться из-за сеялок, из садов, из посадок, а к утру возле полезащитной полосы за селом останутся лежать груды трупов немецких, груды трупов наших, и среди рядовых будет лежать генерал, а возле него по бокам — двое бойцов.

Немцы похоропят его с почестями, даже памятник поставят ему в степи, отдавая должное храбрости советского генерала (тогда они еще позволяли себе такие

жесты). А после войны это степное селение будет названо его именем, и подымется в центре села высокий обелиск с высеченной на нем надписью: «Генерал-лейтенант Смирнов Андрей Кириллович (1895—1941)».

Гибли армии, и, может, кое-кому это уже казалось концом, но это было только начало. В те горькие дни, когда одни гибли, другие, пробиваясь из окружения, шли стенами на восток, в этих бескрайних просторах оставались еще места, куда не докатывался грохот войны, где еще мирно поблескивали в степи тихие светлые лиманы и еще не пуганные ни одним выстрелом птицы безмятежно паслись у моря перед осенним отлетом...

47

Ногайщина, степь и море, и две девушки идут по безлюдному побережью.

— Так это ты здесь выросла, Ольга?

— Здесь, Таля, здесь. Вон в море выступила коса Белосарайка, маяком белеет — этот маяк светил мне в детстве. Не знаю, как сейчас: погас или все еще мигает.

— Дождемся вечера — увидим.

В просторной впадине, что тянется вдоль моря, тут и там зеркально светятся спокойные лиманы, а между плесами воды земля в разливе чего-то синего, пещного, сиреневого...

— Это что?

— Кермек цветет. Всю осень синет, до самых холодов. Это наш бессмертник... А вон, видишь, вверху?

Девчата, остановившись, загляделись в небо на птиц. Это было редкостное зрелище: видеть, как орлы величаво — именно величаво, иного слова не найти! — делают круги в вышине, в той вышине, откуда весь мир, паверное, кажется иным.

— Орлы!

— Настоящие орлы?

— Да, настоящие степные орлы... Все лето вот так кружат над степью и морем.

Стояли, смотрели на орлов в себе, а думали о людях на земле. Потом тихо тронулись дальше.

— Перед отлетом столько здесь перепелов, — рассказывала подруге Ольга, — скворцов, всякой птицы собирается! Все побережье укроют...

Они идут, а чайки белые с тоскливым криком посятся над ними.

— Этих чаек у нас каганцами и героликами зовут...

— Как тут тихо! Только чаек и слышно.

— И на море никого... Помню, еще маленькой, стою как-то на берегу, а далеко где-то у самого горизонта, на тихом, спокойном море, в мареве, белые паруса плывут один за другим. Над морем утро, дымка голубая, а они сквозь эту дымку — ослепительно-белые от солнца, фантастически красивые, словно каравеллы какие-нибудь. Спрашиваю маму, что это? А она: пошли с косы за глиной на Крутенькую... Так просто, буднично... За глиной.

Войны тут еще не было, на этом тихом, забытом побережье. Безлюдно, пустынно. Только фелюги рыбацкие, челны, баркасы да байды просмоленные черпеют на берегу, лежат сиротливо, покинутые, некоторые уже порассыхались, видать, давненько не прикасалась к ним рыбацья рука.

На одной из таких фелюг девчата сели передохнуть. Давно они не ощущали такой тишины, такого покоя, что льется прямо в душу. Как птиц бросает в воздухе во время бури, так бросало и их в последнее время вихрем событий.

С окопных работ они снова вернулись в Харьков. Город был уже какой-то растревоженный, неприветливый, на улицах металлические противотанковые ежи, мешки с песком. Всюду множество продуктов, на площади возле ДЦА продают сливочное масло, красноармейцы берут его прямо в каски.

В университете, куда они прежде всего забежали, среди других знакомых, которые как раз получали стипендию, встретили и Марьяну. Она была какая-то чужая, отстраненная от них своим горем. Узнали, что она работает на заводе, но завод скоро должен выехать.

— И ты с ним?

— Там видно будет, — ответила скупно и как-то многозначительно посмотрела на глухую, обитую дерматином дверь спецотдела, возле которой они ее встретили. — Остаться хочу.

— Как остаться?

— А так... Радисткой, диверсанткой, да кем угодно, — добавила она с непривычной жесткостью в голосе.

С подругами распростилась без нежностей, почти холодно. В аудитории, в коридорах факультетских на узлах

с пожитками какие-то незнакомые люди, — оказалось, все это эвакуированные сюда из Киевского университета. Среди них только и разговоров что о боях под Киевом, где в рядах защитников города было много студентов, которые тоже пошли добровольцами на фронт. Завтрашний день и киевским и харьковским представляется одинаковым: эвакуация, дорога, Кзыл-Орда, — там, где-то в глубине Средней Азии, они должны найти для себя убежище.

Таня и Ольга были далеки от этих планов, вернее, их Кзыл-Орда рисовалась им не иначе как с теми, кого они должны разыскать. После того как они получили письма, которые ждали их на факультете (Таня — от Богдана, Ольга — от Степуры), и узнали, что хлопцы рапены и с ними можно повидаться, никакая сила не могла удержать девчат здесь. В тот же день они выехали в Мариуполь (оттуда писал Богдан), договорившись, что по дороге заедут к Степуре в его донбасский госпиталь.

В госпитале Степуру не застали, однако узнали, что он теперь тоже в Мариуполе, в том диковинном выздоровел. Поехали туда. Везли хлопцам из университета новость, что война для них почти закончилась, что студентов теперь отзывают и их опять ждет университет, учеба... Уже видели себя вместе с хлопцами, вместе с ними ехали куда-то в азиатские просторы, куда не долетит никакая пуля, не достанет никакая война.

В Мариуполе их ожидало горькое разочарование. От Лымаря, которого девчата встретили среди штабных писарей, они узнали, что хлопцы два дня назад снова отправились на фронт.

Впервые с начала войны Таня тогда разрыдалась. До сих пор за все время разлуки с Богданом она ни разу не плакала — Ольга, по крайней мере, никогда не видела ее слез, — а тут не удержалась. Зато после этого в ее характере появилось злое упрямство, какое-то ожесточение. Несколько утешило девчат лишь то, что их хлопцы отправлялись, как сказал Лымарь, в хорошем настроении и что уже после их отъезда пришло известие об ордене, которым награжден Богдан.

— Орден Красного Знамени — это же вещь! — восклицал Лымарь. — Такие награды редко дают, а ему дали. Гордись, — сказал он Тане и еще хвалился, что его самого куда-то переводят, отзывают, но Таня его уже не слышала. Она в эти минуты не слышала ничего на свете, кроме

голоса собственного сердца, которое рвалось вслед Богдану и искало его по всем фронтам.

— Куда теперь? Назад в университет?

Таня сказала:

— Ни за что!

Учиться дальше одной, пока он воюет, никак не помогать ему сейчас, а потом оказаться к тому же на разных курсах с ним? Это было совершенно невозможно. Нет, ждать, ждать, сколько бы ни пришлось. Вместе доучатся когда-нибудь.

Уезжать отсюда не хотелось. Места эти стали дорогими для них: тут ходили хлопцы, тут залечивали свои раны, отсюда писали письма. Это был последний их адрес, место свидания, которое не состоялось: и если девчата останутся здесь, они будут вроде бы поближе к ним, своим любимым.

Таня и Ольга пошли в горком комсомола, попросились на работу. На какую угодно, потому что не было сейчас на свете работы, за которую они не взялись бы. Несколько дней работали на строительстве степного аэродрома, потом устроились в госпитале, стали донорами, убирали в подсобном хозяйстве овощи для рапечных, с утра и до вечера собирали помидоры, а мимо них по дороге все время шли на Таганрог обозы эвакуированных, и они видели детей, состарившихся от горя, и жевщиц, которые рожали прямо на подводах... Никто не мог помочь этим несчастным, и девушки помогали им только тем, что давали помидоры на дорогу. Потом и овощи были собраны, и госпиталь выехал, и появилось в сводках новое — мелитопольское — направление.

Тане ничего не оставалось, как принять приглашение Ольги и отправиться с нею к ее родителям. И вот они сидят теперь на черной расколовшейся фелюге. Таня, достав из чемоданчика студенческую фотографию Богдана, — в который раз! — всматривается в нее. Оп. Ее суженый. Самый лучший. И этот полный силы, высоколобый юноша, он может быть убит? Неужели зарокот в землю эту ослепительную улыбку? И высокий этот лоб, в котором собрано столько знаний, столько веков человеческой истории — от ассиро-вавилонян до наших дней?

— Что будет, если его не станет, Ольга? Я не представляю себя без него, совершенно не представляю. Я была счастлива просто быть с ним, даже и тогда, когда мы были в ссоре и сидели порознь, в разных углах

аудитории... Жизнь, в которой не будет его, для меня бессмысленна.

— Гони прочь такие мысли,— посоветовала Ольга.— Почему его обязательно должны убить? Представляй его лучше героем, возмужавшим в боях командиром, с орденом Красного Знамени на груди... Ты же слыхала, его уже награды ищут...

— Хорошо. Так и буду.

Поднявшись, девочки пошли дальше.

Снова кермек цветет, и солонец стелется темно-зеленый, безлистный,— наверно, сродни убогой тундровой растительности или той, что, возможно, произрастает где-то на Марсе.

Впереди огромное село раскинулось по побережью, стайка тополей выбежала почти к самому морю.

— Вон там, где тополя, там мы и живем.

А Таня вспоминает позднюю осень в Харькове, студеный вечер ноября; ветер гонит тополиные листья по аллеям Шевченковского парка, по которым они идут с Богданом с последнего сеанса кино. Листья еще зеленые, но уже подмерзли и звенят по ночному асфальту, словно железные. Будут ли звенеть те листья еще когда-нибудь ей с Богданом, или все то уже навеки миновало и нет ему возврата?

48

Хата Ольгиных родителей полна тревоги. Суета, беспорядок, сборы в дорогу... Мать, статная, смуглая гречанка, которую можно было бы принять за старшую сестру Ольги, в момент появления девочек увязывала пожитки. В первую минуту она растерялась, какое-то время топталась возле своих узлов, потом со слезами бросилась обнимать дочь.

— Я уж не знала, что и думать... Не пишешь, никакой весточки от тебя... А это ж кто? — подошла она к Тапе.

— Подруга моя,— сказала Ольга.— Самая близкая подруга.

— Вот и хорошо. Вдвоем-то веселее вам будет.

Она тотчас усадила девочек обедать, словно знала, как они голодны. Продолжая свою работу, рассказывала, что тут творится, какая поднялась сегодня с утра суматоха.

До последних дней жили спокойно. Разговоры об эвакуации расценивались чуть не как проявление малодушия: ведь на западе были еще Днепр, Каховка с оборонительными сооружениями, Мелитополь; тысячи людей, местных и присланных сюда даже из Средней Азии, целыми трудовыми уходили туда на рытье противотанковых рвов; враг где-то там должен был найти себе могилу. И вопреки всему этому из района вдруг телефонограмма: уводить тракторы, немедленно гнать за Кальмиускот, эвакуировать семьи актива.

Здесь тоже одним ударом была разрушена жизнь.

— А Федорка-то Михайлова поехала на фронт, — рассказывает мать о соседке. — Слух прошел, что Михайло убит, а он на днях объявился, из Захаровки звонит в сельсовет: вызовите мне семью к телефону. Посыльный не верит, говорит: тебя же нет, а он кричит, ругается: это я! Побежали в сельсовет мать и жена, плачут у трубки, а трубку взять боятся. Потом Федорка взяла-таки, переговорила с ним, в тот же день выпросила двуколку у бригадира и метнулась к Михайле в Захаровку — он там в своей части...

В хату убежал маленький, живой, до черноты загоревший на солнце носатый грек, оказавшийся Ольгиным отцом. Поздоровался с дочерью, потом, окинув быстрым взглядом Таню, мимоходом обнял и ее, как свою, и сказал почти весело:

— Вы держитесь теперь нашего табора... Вот она будет вами командовать, — кивнул он на жепу и добавил: — Двигаться будем порознь. За Кальмиусом встретимся.

Механик МТС, коммунист еще с двадцатых годов, он получил задание сопровождать тракторы. Трактористы с техникой уходили сейчас, а семьи с подводами должны были выезжать рано утром.

— Вот только без этого, без этого, — осторожно оторвал он от себя жену, которая зашлась в плаче. — Мы еще с тобой будем петь, старуха! Слышишь?

Отцу и в эту трудную минуту прощания вспомнилось, какая у них семья певучая, сколько в этих стенах песен спето...

Узел с харчами был для него уже приготовлен, и, схватив его, он выскочил из дому. Через минуту девчата видели его на одном из тракторов, с грохотом проходивших по улице.

А вскоре после этого — крик на все село. Федорка вернулась с фронта, из окружения на двуколке выскочила!

На подворье у нее, куда побежали и девчата, полно людей, а Федорка — бледная чернявая молодлица, еще девичьему стройная, — стояла возле запряженной двуколки и горделиво рассказывала о своем Михайле:

— Набрехали о нем, что убит, а он теперь уже лейтенант, командует взводом артиллерии. Сама видела его пушки и полный боевой припас возле них в ящиках. Гляди, говорят, Федорка, в какой каше были, а ничего не бросили, наша пушка хоть и маленькая, а знаешь как танки берет! Где-то они еще за Черниговкой попали в окружение, думал — смерть всем, один лейтенантик с перепугу давай переодеваться в рядового. Подскочил, стал просить моего: отдай, говорит, мне твою гимнастерку! Михайло отдал, а самому-то ведь как быть? Надел лейтенантскую. Потом, когда тревога улеглась, попал мой Михайло на глаза генералу, тот остапавливает: «Товарищ лейтенант!», а Михайло ему: «Я не лейтенант, я рядовой, это только форма на мне лейтенантская». И рассказал все как было. А тот выслушал и говорит: «Ну и будешь теперь лейтенантом. Такое тебе звание за то, что ты не растерялся!» И вот он теперь законный командир, — гордо закопчила Федорка.

Соседок, однако, интересовало другое.

— А моего ты там случайно не бачила? А моего? А моего? — сыпалось отовсюду.

— Ваших не видела, только Грицка Харченко из Бахтармы встретила, он при Михайловой батарее. Я им еще и ужин варила с хозяйкой, у которой они в саду стоят. Приготовила им ужин, переночевала, а наутро там такое началось, что не приведи господь. Михайло говорит: «Ну, Федорка, откомацдируйся, двигай домой, бо нам воевать. Только подальше от главных дорог, проселками пробирайся. А как придешь домой, передай там всем: отступление — это еще не смерть, папике не поддаемся, есть пушки, есть снаряды, чего нам их бояться?» Он же у меня знает какой боевой, да еще и коммунист, он и в Берлине побывает — вот увидите!

Толпа еще не разошлась, когда из степи в село влетел военный грузовик с двумя красноармейцами. Остановились возле двора, стали спрашивать, где больница.

— Перевязочный материал ищем. Только что под Мангушем был бой, там наши раненые лежат, пужно подбрать. Может, из вас кто поедет?

— А отчего же! Я первая поеду,— сразу подала голос Федорка.— Я уже там была, у меня муж лейтенант!

— И мы тоже поедem,— сказала Таня.

— Мы студентки,— пояснила красноармейцам Ольга,— сумеем перевязать, у нас значки ГСО.

— Садитесь!

Забрав в опустевшей больнице медикаменты и бинты, помчались в степь.

По дороге узнали от красноармейцев, что танковые части врага, прорвавшись откуда-то из-под Бердянска, устремились по тракту прямо на Мариуполь, минуя эти селения. Все побережье теперь, с десятками колхозов, рыбозаводов, сельсоветами и Белосарайским маяком, оказалось отрезанным, враг отхватил его как ломоть, и бросил — знал, что все это теперь от него не уйдет.

Пригорюнившиеся и какие-то совсем беззащитные, девчата притихли в кузове. Что же теперь? Еще утром шли вдоль моря, наслаждались тишиной и покоем, не чувствуя близкой опасности, и вдруг эти разбросанные по Приазовью греко-украинские села, что стали для них последним прибежищем, и сами оказались под угрозой окружения.

— Не тужите, девчата,— утешает Федорка, поняв их настроение.— Я вот была в окружении, да вырвалась и жива, а ведь там такое было! Всех не окружат! Войско — оно как вода, сквозь пальцы протечет.

— Протечет,— мрачно заговорил насупившийся красноармеец, который все время зорко всматривался в степь.— А вы видели, что под Черниговкой творилось? Видали, как танкисты наши сами сжигали себя в танках, когда кончались снаряды и никакого выхода не было...

— Ты мне не рассказывай, у меня муж там,— гордо твердила Федорка.— И снаряды у него есть, и голова на плечах — выскочит. Такой из ада выскочит. Не пюня, посплютай какой-нибудь — на море шкипером был, теперь командир, лейтенант артиллерии... А я, девчата, теперь, выходит, командирская жена...

Подводы какие-то галопом несутся по степи; грузовики с зенитными пулеметами, нацеленными в небо; у посадок бродят брошенные кони. Машина с двумя красноар-

мейцами, Федоркой и девушками остановилась возле пескошешной высокой суданки. Раненые красноармейцы, выползая из суданки, встретили их радостно:

— Мы уж и не надеялись, что приедете.

Бойцы все были молодые-молодые. И Таня почувствовала, что невольно ищет среди них знакомое, самое родное лицо. Один чем-то походит на Богдана — молодой, заросший щетиной лейтенант, смугловатый, похоже кавказец. Она бросилась перевязывать его. Лейтенант сам поднял на себе окровавленную, забитую пылицей гимнастерку, показал рваную рану на спине.

— Наверное, легкое пробило, — хрипел он.

— У Горького тоже было пробито легкое, — перевязывая, утешала Таня, — а ведь жил и сколько сделал! Вы тоже будете жить. Непременно будете!

Лейтенант посмотрел на нее с благодарностью.

Набрали раненых полный кузов и уже хотели ехать, когда один из них вдруг ошеломил:

— Обождите. Там еще бригадный комиссар. Он тоже ранен.

— Где он? — встрепелась Федорка.

— Вон там, за посадкой.

Завернули к тому месту, где суданка подступала вплотную к густой колючей лесополосе. Группа бойцов занимала тут оборону. Каждый лежал лицом на запад. Бригадный комиссар был среди них за станковым пулеметом. Заросшее, запыленное лицо в ссадинах, глаза ввалились, и только где-то там, в глубине их, еще проглядывал живой упрямый блеск... Голова перевязана пыльным бинтом, командирская фуражка валяется в стороне.

— Мы за вами, — крикнула Федорка комиссару, — садитесь скорее.

Он не пошевелился. Как лежал у пулемета, так и остался лежать.

— Садитесь, говорю! — требовательно повторила «командирская жена».

— Что же вы? Идите садитесь!

— Езжайте, — слышали они его сухой властный голос. — Мы пока останемся.

— Вы же ранены!

— Это вас не касается... Мы будем прикрывать.

Видно было, что комиссара не уговорить. Так они и поехали, а он остался с бойцами у колючей степной посадки.

Девчата все время оглядывались с машины туда, где он остался, удивительный этот человек. Они уже подъезжали к селу, когда услышали за посадкой пулеметный клекот. Словно в пустыне, одиноко проклекотало в огромной степи среди безлюдья, тишины, пылицы...

— Вот это коммунист, — сказала Федорка. — Я почему-то так и думала, что он не поедет.

— Почему? — спросила Ольга.

— Потому что я уже видела таких. Говорил мне мой: «Ты не знаешь, Федорка, что такое солдатский стыд, какой он горький. В глаза не можем глянуть людям за это наше отступление».

Над селом вставал дым. Горела только что подожженная эмтээсовская нефтебаза, по улицам мчались подводы вниз, куда-то к морю.

— На косу давайте, на косу! — крикнул им председатель сельсовета, когда они остановились возле больницы. — Район уже не отвечает. — И в подтверждение своих слов он показал телефонную трубку с оборванным проводом.

Как ни спешили, по все-таки подкатили к Федоркиной хате, чтобы хозяйка могла захватить что-нибудь из вещей, остановились и возле Ольгиного двора, но в доме и во дворе было пусто.

На центральной улице догнали Ольгину мать, которая вместе с другими женщинами едва поспевала за подводой.

— Там, на косе, нас ждите! — крикнула она девчатам.

Грузовик помчался вниз, к морю. Кажется, все, что было тут живого, устремилось теперь со всего побережья на косу, что виднелась вдаль своими деревьями, маяком. Бежали к морю с узлами, мчались на конях, на двуколках, на тачанках. Откуда-то трактор тащил туда комбайн. Когда девчата с ранеными въехали на косу, перед ними открылась страшная картина: вдоль морского берега, сбившись, стояли тракторы, а вооруженные ломами люди — и Ольгин отец, механик, среди них — ударом лома разбивали моторы. На Мариуполь им не удалось прорваться. Колонна с полпути возвратилась сюда; тут-то и падали свой конец тракторы, большей частью новенькие, может, только в этом году выпущенные Харьковским заводом.

А дальше, из глубины косы, где черпели вдоль берега суда рыболовецкого флота, слышны крики: там толпятся люди — председатели прибрежных сельсоветов на скорую

руку заполняют эвакуационные листки, а заполнив их, молча — к колепу — прихлопывают печатью. На фелюги, на баркасы грузили муку, продукты, и слышен был чей-то раскатистый голос:

— Где паруса? Ищите паруса! Они где-то здесь!

Оказалось, паруса на складе, а склад закрыт и ключей нету.

— Чего вы глядите? — сразу вступила в дело Федорка. — Целовать будете этот замок? А окно?

И, схватив весло, попавшееся под руку, с размаху ударила им в раму окна. Вскоре добрались до брезентов. Таня с Ольгой тоже волокли к берегу тяжелые эти брезенты, которые должны были наполниться ветром и превратиться в тугие ветрила их суденышек. Одни отплывали, другие готовились к отплытию, а они долго возились на своем, ставили парус, и командовала ими Федорка, она все умела. Вся мокрая, растрепанная, натягивала парус, рассказывая своим молодым помощникам:

— Бо я сама, девчата, рыбачка и родилась на море. Вышли отец с матерью на лов, далеко отошли, а тут я и подала голос, — там, среди моря, и пуповину мне завязали...

Работа приближалась к концу, когда палетел вражеский самолет, пачал бросать на косу бомбы. Одна бомба с жутким свистом падала прямо на их фелюгу, и Таня, забившись под парус, видела уголком глаза, как, обезумев от ужаса, учитель-инвалид иступленно рвал на груди рубашку. Ему, видать, так же, как и ей, Тане, показалось, что это смерть, что бомба летит прямо на него. Однако бомба, плюхнувшись неподалеку от фелюги, лишь подпала тяжелый фонтан воды и никого не зацепила. На косе дико ржали кони, кричала не своим голосом какая-то жепщина — раненая или, может, от испуга, — а Федорка, только побледнев, решительно распоряжалась:

— Сети давайте! Сети растягивайте!

Девчата, вскочив, принялись таскать с берега на фелюгу порванные рыбацкие неводы; путаясь, развешивали их так, чтобы с самолетов было видно: тут, внизу, мирные люди — авось у воздушных бандитов пробудится, ворохнется что-то человеческое...

После налета погрузили к себе на фелюгу нескольких раненых, которых не успела забрать специально выделенная под лазарет моторка, сюда же сели Ольгина мать, суетливый кооператор с портфелем и тот учитель-инвалид. Последней прямо с тачанки к ним метнулась запыленная женщина с двумя детьми — семья какого-то работника из района. Муж только помог ей сесть на фелюгу, передал детей, а сам, попрощавшись, снова вскочил на тачанку и помчался в степь: он оставался партизанить. Фелюга отчаливала, когда от берега, прыгая по воде, к ним подбежал еще один пассажир — краснорожий пожарник местной команды. Федорка люто сцепилась с ним. Он лез в фелюгу, а она его не пускала. Он что-то ей бормотал, а она кричала на всю Белосарайку:

— Не пушу! Какой ты, к черту, коммунист? За пьянку сколько выговоров имеешь? Вот у меня муж коммунист — так он в боях прокипел! Вот политрук — коммунист, так в ранах лежит. Вон тот с пулеметом в посадке прикрывает всю степь — так тот коммунист! А сорняк нам не пужон!

Она ногой столкнула его в воду, и пожарник, поняв, что с Федоркой ему не сладить, устремился к другим фелюгам.

Под вечер вышли в море. Обязанности капитана взяла на себя Федорка, она знала, куда вести.

— На Кубань пойдем. На Должанскую косу.

Тая, расположившись с Ольгой на корме на изодраных рыбацких неводах, не могла оторвать глаз от берега, который все удалялся и удалялся от них.

Побережье было фантастически красиво. Предзакатное солнце утопало в облаках, и весь горизонт повит молочно-матовым светом: необычайный свет стенами стоит вокруг, а в нем разлито золото, и на стенах тех светящихся покоится небо — высокое, прощальное. Ближе и дальше на море виднеются суда, большие и маленькие, парусно-моторные и просто на одних парусах, фелюги, байды и едва приметные на воде челны, баркасы — все выходит в открытое море, летят на рыбацких своих крыльях к тебе, далекая, не занятая врагом земля отчизны!

Долго еще им виден был Белосарайский маяк на косе. Когда стемнело, он не мигал им своим огоньком, как мигал в море рыбакам на протяжении многих лет. Вместо маяка багрово, тревожно светит им в эту ночь пылающий Мариуполь — горят порт, горит «Азовсталь».

Ночь застала их в открытом море вдали от берегов. Разбрелись друг от друга парусники, исчезли в темноте. А кругом вода и вода. Таня, окоченевшая на ветру, забралась с Ольгой вниз, расположилась возле раненых под жестким тяжелым брезентом. Холодно. Дождь пронизывает тело, а душу не покидает тревога. Стонут раненые. Один из них в бреду все выкрикивал, звал какого-то Мартынова, а потом вдруг умолк, притих, и глухо прозвучал из-под брезента голос его соседа:

— Отмучился...

Федорка с помощью Ольгиной матери положила умершего на какую-то доску. Вздохнули обе. Потом приподняли его и, по морскому обычаю, спустили за борт.

— А документы взяли? — спросил кооператор.

— Все как пужно, — буркнула в ответ Федорка.

Очевидно желая развеять гнетущее настроение, она опять громко принялась рассказывать кому-то в темноте о своем муже-лейтенанте и его непобедимой артиллерии, а потом перешла на своего удивительного свекра.

— Девяносто девять лет прожил и болезней никаких не знал, только узлы на руках вздулись. А в тот день, когда исполнилось ему девяносто девять, подзывает меня и говорит: «Беги, Федорка, на море и на сушу, пускай сыновья сюда спешат скорее. Скажи, что, мол, я уже умер». — «Но вы же еще живы!» — «Не твое дело. Скажи — умер». Так и передала па косу, бо перечить ему никак нельзя было. Приезжают под вечер сыновья, а батюшко... во дворе сено дергает из копнушки. Они набросились на меня: зачем, мол, зря их от работы оторвала, а отец им: «Нет, не зря. Это я ей так велел». Сели обедать. А старик на лавке прилег. «Где же Федорка?» — спрашивает. «Я здесь, тато. Это же я». (Он уже не узнавал меня.) «Дай воды холодной». Я подала, только комнатной. «Нет, принеси из колодца». Приехала из колодца, дала, выпил, а мы себе дальше обедаем. Вдруг один из сыновей встал и говорит: «А тато уже померли». И мы положили ложки и все встали. Так-то умирали старые люди. Отжил свое — и как уснул. Не то что сейчас, когда такой вот преждевременной смертью умирает человек, какого пон молоденького забрала! Не в девяносто девять, а, видать, в девятнадцать.

Возле Тани под брезентом лежит раненый, тот, что похож на Богдана. Потерял крови много и теперь дрожит, замерзает.

Когда другие притихли, начали дремать, она вдруг почувствовала на себе, у самой груди, где только Богдановой руке разрешалось, боязливую руку раненого. От робкого его прикосновения ей стало больно и приятно. Не отодвигаясь, она некоторое время лежала так, грела раненого своим телом.

Но руку его потом осторожно отстранила.

— Почему? — спросил он еле слышно.

— Нельзя, — так же тихо ответила она.

— Почему нельзя?

— Так. Нельзя.

— Ты меня перевязывала днем... Ты так на меня смотрела. Никто в жизни на меня так не смотрел... Скажи... Ты могла бы меня полюбить когда-нибудь?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я уже полюбила другого.

После этого он больше не трогал ее.

Таня приподняла брезент.

Все дальше холодное, растревоженное зарево над Мариуполем: где-то над морем гудят самолеты. Фелюги идут без огней. Словно бы темные тени — над черной поверхностью воды. Многие уже спят, только Федорка не дремлет у паруса — оттуда слышен ее голос: рассказывает кому-то, как они доберутся до Кубани на Должанку, где в рыбцехе работает брат ее мужа. Кубань — это уже спасение.

При слове «Кубань» Таня вспомнила, что где-то там мать Богдана. Таня ни разу не видела ее, но мать знает о Тане, как Таня многое знает о ней, о ее характере, привычках, о ее нежной любви к сыну. В каком-то совхозе она учительствует. Как пригодился бы сейчас ее адрес! Разыскала бы, явилась бы к ней: «Я — Таня, я — Богданова невеста...» Попробует разыскать, найдет, вместе будут работать, вместе будут ждать его. Рядом с Таней, съжившись, лежит Ольга. Она, оказывается, не спит.

— Пропали б мы с тобой, Таня, если бы не эти парусники, — говорит она шепотом. — Теперь я почему-то уверена, что непременно встречу Андрея, встречу и расскажу ему обо всем, об этой нашей почти в открытом море, о единственном маяке, по которому еще можем ориентироваться, о пылающей туче над Мариуполем...

— А я все думаю о том комиссаре, который остался с пулеметом прикрывать. Один на всю степь... — говорит

Таня. — Спасется ли он? Сколько их рассыпано в степях...

По тону ее Ольга почувствовала, что она снова думает о Богдане.

— Спасутся... Еще вернемся мы в Белосарайку, Таня... Еще созовет нас университет...

Размечтавшись, девушки мысленно уносятся к тому желанному времени, когда произойдет перелом на фронтах, и все будет иначе, и рано или поздно хлопцы вернутся к ним с войны живыми и невредимыми...

Было уже за полдень, когда из морской темноты до них долетел истощенный крик, надорванный, хриплый:

— Эй, люди, люди! На помощь! Спасите!

Оказалось, они плывут мимо маленького островка, каких немало в Азовском море. Песчаная плешь среди морского простора, ободренные рыбацкие курени, и одна-единственная фигура мечется в темноте возле воды, надрываясь от крика. Подплыли ближе, подобрали этого Робинзона. Был он мокрый весь, бежал к ним по воде, падая, а когда, запыхавшегося, тащили его через борт, дохнуло от него водочным перегаром. Федорка признала его: заготовитель из Мелекина. Уплыл он еще с первой моторкой, с вечера у них тут был привал: изрядно выпили, он уснул, и его забыли. Даже теперь, оказавшись на судне, он еще не верил своему спасению, отрезвевший, трясся с перепугу. Немного опомнившись, стал рассказывать, как бегал тут и кричал всем парусникам, которые проходили в темноте, но там не слышали, проплывали мимо, и горе-заготовитель думал, что так и останется один возле дырявых этих шалашей и крылатых голодных мартинов, которых много на острове. Перед рассветом на горизонте появилась полоска кубанского берега.

— Радуйтесь, земля! — объявила, стоя у паруса, Федорка.

Таня не слышала ее. Утомленная за день, согревшись под брезентом, она задремала. В дремотном забытии отчетливо увидела перед собой Богдана, ощутила на себе его теплую желанную руку. Ей стало так хорошо и приятно, что она проснулась. Но это было чье-то чужое, не его тепло, и оно сразу перестало греть. Резко отодвинулась, одиноко сжалась комочком, и ей вдруг так захотелось увидеть хоть на миг того, для кого берегла себя, свою нежность, девичьи свои перестраченные чувства. «Где ты? Жив ли? — страстно обращалась в мыслях

к нему, к своему Богданчику.— Может, лежишь в степи, среди таких же несчастных, как те, которых мы подбирали в поле, у суданки? Или ты живой и невредимый и мои опасения, тревоги напрасны?»

Отчаяние сменялось надеждой, душа была в смятении, не находила покоя. Смертоносной тучей движется враг по родной земле, день за днем отступают по степям на восток почерневшие от горя войска, и гусеницы вражеских танков подминают под себя человеческие жизни вместе с их мечтами, порывами, вместе с их горячеей, растерзанной любовью... Куда-то под холодными звездами несет Таню ее туго натянутый парус, а тот, кого она ждет, все отдаляется во мраке ночи вместе с уходящей землей; или, может, его и нет в живых, а ей все слышится на расстоянии голос его и все видится сквозь ураган войны его далекая улыбка...

ПИСЬМА ИЗ НОЧЕЙ ОКРУЖЕНЧЕСКИХ

50

Мы не погибли. Мы живы! Перед нами, как перед скифами, степи стелются пустынные. Только самолеты в небе напоминают: XX век!

Небо огромное, степное. Ночи сухие, звездные, душистые. Человеческим потом, пылицей, полынью пахнут эти ночи, от зари и до зари сухими травами, евшан-травой шелестят...

Это мы идем, окруженцы. Люди прервавшихся связей, те, кого отовсюду подстерегает смерть. Всю ночь идем, не отдыхая. Птицы вспархивают у нас из-под ног, и нам самим хочется быть птицами. Хочется поднять в воздух свои тела, свои раны, свои еще не пробитые пулями головы, взлететь над заревами пожарищ по горизонту, над вражьиими заслонами и вырваться из этой тяжелой пустыни, что зовется окружением, из этой огромной пустоты, которую мы не в силах заполнить.

Нас мало. Нас горстка. Мы — только одна из тех многочисленных групп, которые пробираются сейчас через степи на восток после того, как нас разбили, после того, как и штаб нашей армии во главе с генералом Смирновым пал в бою под Черниговкой. Мы вели бой до полного истощения сил, и мы не виноваты, что так случилось.

И теперь этот изнурительный поход.

Бредем по степям, всюду натыкаемся на следы Днепрогэса, точно на останки погибшей цивилизации. Мачты. Пустота вокруг, и в ней — стройные днепрогэсовские мачты. словно девчата с коромыслами на плечах, пошли, зашагали на восток степью — через балки, через холмы и пригорки, — чуть заметные, исчезают в дали степной... Оборванные их провода грузно свисают на землю, теряются в полынях. Иногда мы остапавливаемся возле такой мачты, и она высоко поднимается над нами, как монумент иной жизни, как напоминание о жизни электрической, трудовой, когда пчелиный гул электромоторов все лето слышен был на колхозных гумнах и «лампочки Ильича» светились в домах степняков. Теперь, отрубленные от Днепрогэса, от востока, мачты одиноко высятся в степях, безотрадно никнут растрепанными косами проводов. Токи, силой своей равные молниям, пропосылись над степью по этим проводам, а сейчас нет в них ни искры, и свисают они над полынным этим царством бессильно, как жилы, из которых выпущена кровь. Сколько же стоять этим мачтам вот так? Сколько гудеть в неволе на ветрах степных? Покроетесь ржавчиной, и полынь, может, вырастет выше вас, пока мы вернемся сюда.

С каждым днем нам все труднее. Нас мучит жажда. Изнуряет голод. А главное, никто не знает, чем кончится этот окруженческий наш поход: пробьемся ли к своим, или в стычке с врагом погибнем, или — еще хуже — кощлагерь, плен. Плен — это страшит больше всего, это горше, чем смерть. Таких, как мы, сейчас вылавливают по степям, набивают нами кошары степные, кровавыми колоннами гонят на запад, за Днепр, откуда нет возврата.

Заградотрядник говорит мне:

— Ежели что — стреляйся!

А я не хочу стреляться. До последнего дыхания хочу бороться. Разве я не имею права на это? Ползком ползти. Обманивать врага. Притаиться, если нужно. Притвориться мертвым. Чтобы потом вдруг ожить, выпустить когти и вогнать их во вражеское горло.

Ты скажешь: это на тебя так не похоже, Богдан, когда только ты этому научился, ведь раньше ты был добрым, я тебя знаю нежным, открытым...

Да, были мы добрыми. Книга, наука были нашим знаменем. Этот сеял хлеб. Тот учился. Тот строил корабли

в Николаеве, а Заградотрядник охотился на зверя в далекой тайге. Богаты были мы каждый своим трудом, творчеством, мечтами, думами. Теперь у нас осталось только одно орудие — орудие смерти в руках да сердца, до краев наполненные жгучей ненавистью. Для человека это так мало! Вот у него, у Заградотрядника, я знаю, бритва в противогазной сумке. Он хотел покончить с собой, когда стало известно, что нас окружили. А теперь готов без колебаний перерезать горло первому попавшемуся вражескому часовому, который встанет на нашем пути.

Вчера один из нас отстал. Нарочно отстал, спрятался. Когда мы спали, он отполз от нашей группы и залег в подсолнухах, ожидая, пока мы уйдем. Но прежде чем уйти, мы его разыскивали. Как раз зарывал в землю документы. Оглядели: уже нет на его пилотке звездочки. Час назад была, а сейчас нет, только невылинявшее пятнышко на том месте... И будто погасла без этой звездочки пилотка, погас он сам. В кармане — листовка, пожелтевшая, выгоревшая, тайком подобранная где-то в степи. Passierschein. Пропуск в другой мир, не наш: пропуск в лагерь, в те кошары, в бесправие, под палки надзирателей. И стали его топтать. Потом он, поднявшись, стоя перед нами на коленях, выпачканный в пыли, просил пощады у нашего окруженческого суда, нищепски выклянчивал жизнь, не видя, как Заградотрядник за спиной у него уже вытащил из противогазной сумки бритву, а мы все сурово смотрим на предателя, смотрим на его шею, туда, где судорожно перекачивается адамово яблоко.

Мы пошли дальше, а он остался у подсолнухов мертвый, на добычу воронью. Такими мы стали. И за это самый страшный, самый беспощадный наш счет тебе, Гитлер, тебе, война!

Знаем, что есть где-то люди, которые живут вне опасности. И могут ночью спать. И могут свободно напиться воды.

Безводье — вот чем мучит нас степь! Когда перед рассветом выпадает роса, мы падаем и по-собачьи слизываем ее с травы языками. Но скупа степная роса. Если бы только напиться! Если бы хоть раз утолить жажду! Мы вспоминаем полные воды Днепра, во сне припадаем к ним пересохшими, потрескавшимся губами. Однажды ночью в темноте что-то забелело перед нами в лощинке — озеро степное, плес или лужица какая-то? Обезумевшие, броси-

лись мы туда. Забыв об осторожности, грохаем сапогами на всю степь и бежим, бежим... И вот оно, озерцо! Ждали, захлопает водой, а оно звонко застучало у нас под ногами: белое, твердое! Солончак!

Шелестит трава под ногами, шелестят языки в пересохших наших ртах. Трудно передать всю силу нашего стремления вперед, силу жажды вырваться из окружения. Вся сила, энергия вся — на прорыв. Вперед, вперед! Только бы вырваться! Только бы пробиться! Любой ценой! Во что бы то ни стало!

В пути встречаем зарю рассветную, но она не радует: перед нею, перед светом ее, как ночные духи, должны мы прятаться, дожидаясь снова темноты.

Днем нас не видно. Днем мы как звери степные. Отлеживаемся в бурьянах, в колючих посадках и подсолнухах, обливаемся потом — солнце немилосердно жжет с вышiny, и ветер не пробьется к нам в заросли. Проснувшись, видим небо над собой и в нем иногда орлов.

Не знаем, кто из нас останется в живых. Может, все превратимся в прах, ветер, траву... Может, эти орлы выклюют нам глаза в степях. Но, верно, и травую став, почувствуем радость, когда все это кончится, когда покореженными фашистскими танками и ржавыми пушками будут заваливать возрожденные печи «Запорожстали».

Слышишь ли ты меня, Тая? Может, в самом деле существует в природе какой-то таинственный магнетизм, какие-то неисследованные токи, которые передают человеческие мысли от мозга к мозгу на расстоянии?

«Пиши хотя в мыслях...» Об этом ты просила, когда в последний раз мы виделись в Чугуевском лагере, и вот я посылаю тебе теперь эти непаписанные письма, эти мысли свои, которые не пройдут ни через одну полевую почту.

Сейчас ты от меня на расстоянии звезды, и пусть душа свободно говорит с тобой, со звездой далекой, недоступной. Тая — так будет называться эта звезда моя.

Как часто я сдерживал свои чувства к тебе, скупым был на ласку, стыдился говорить тебе нежные слова, чтобы не казаться сентиментальным. Сейчас я даю себе волю, даю волю всему тому, что клокочет в моем сердце, — пусть оно говорит само. Сейчас отсюда я еще сильнее

люблю тебя, хотя думал, что сильнее нельзя. Руки люблю твои, что меня обнимали, очи, что так солнечно мне смеялись. Капризы твои, и озорство, и ревность — все люблю. Когда еще на Киевщине, в первом боевом нашем крещении, поднявшись живым из-под шквального минометного огня, увидал под хатой чудом уцелевшую среди черного кипения войны высокую, горящую на солнце мальбу, ты мне представлялась как она — красивая, чистая, гордо устремленная куда-то ввысь.

Ты для меня самый дорогой человек на свете, но — страшно подумать — иногда мне кажется: было бы, пожалуй, лучше, если бы тебя не было вовсе; если б я не был твоим суженым, человеком, которого ты ждешь, — тогда б я остался лишь бойцом, который может уже не дорожить собой, солдатом, который несет в сердце своем только ненависть. Без близких, без родных, один на свете, как штык. Без любви, возможно, легче было бы нам воевать и умирать в бою.

Но это — минутное, преходящее, этому не верь. Я знаю, любовь придает нам силы, помогает переносить все.

Рядом со мной лежит Духнович. Из всего студбата он остался один возле меня. Ты не узнала бы его теперь, нашего Мирона. Зарос рыжей щетиной, в ушах земля, из противогазной сумки торчат гранаты и желтый початок кукурузы. Те, кто не забраковал его в райкоме, могут не краснеть за него: Мирон стал солдатом. В боях на Днепре и позже, на этой стороне, в степной Украине, я видел его бесстрашие. Невероятно быстро война перековывает человека. Еще «Илиада» не отзвучала в нашей памяти, еще сонеты Петрарки дышали на нас любовью, а мы уже готовы были взять оружие в руки и сражаться.

Можешь ли представить себе, что Духнович, тот самый Духнович, который в университете так и не научился ни ходить по азимуту, ни стрелять по мишеням, теперь научился убивать! Я видел, как он делал это, потом признавался мне:

— Понимаешь, Богдан, чем дальше, тем больше чувствую в себе потребность истреблять, потребность убить себе подобного какого-нибудь соплеменника Шиллера, Гете. Иногда у меня возникает непреодолимое желание выпустить из него дух. Чем это объяснить?

Как давно мы воюем! Как состарила каждого из нас война! Будто не месяцы, а годы, десятилетия отделяют

нас от студенческих аудиторий, от библиотек, общежитий, от солнца студенческой юности... Идя по степи окруженной, где-то в дали недостижимой видим родной университет, и железобетонный небоскреб Госпрома, и ту заветную райкомовскую дверь, через которую мы вышли в бурный, взбаламученный войною мир. Придут после нас иные поколения, будет у них иная жизнь, иные права, и будет их жизнь, наверно, легче, чем наша, но испытают ли они в новых условиях наше горение, изведает ли они когда-нибудь чувства, с которыми мы оставляли райком, уходили на фронт? Отсюда, со скифских степных равнин, гигантское здание Госпрома для нас как маяк. Эти родные небоскребы новой, социалистической Украины, каскады бетона и стекла — они и здесь все время живут для нас за горизонтом, манят и зовут как символы.

Пора, однако, в путь. Встаем. Заспанные. Злые. Едим гречневую крупу, сухую, соленую, — гречневый концентрат. Когда нас разгромили, мы, блуждая в степном буераке среди разбитых дивизионных обозов, натыкались на растерзанное, разбросанное на поле боя армейское наше добро. Валялись треснувшие рогожные мешки, из них высыпались на землю сухари. Сахар кучами. Консервы. Концентраты разные в промасленных бумажных пачках — сухие супы. Тогда ни я, ни Духнович, ни Вася-танкист ничего не брали. Нам казалось все это пенужным, мы не думали, что нам еще придется есть. Только этот вот артиллерист — увалень Гришко, до войны работавший кладовщиком в колхозе, да рядовой Новоселец успели набрать в свои солдатские вещмешки сухих армейских супов и концентратов. Теперь все это стало нашей коллективной собственностью, и, перед тем как трогаться дальше в путь, каждый получает из шершавой ладони Гришко свой рацион — горсть сухой соленой гречки, придуманной мудрыми интендентами для приготовления скороспелых солдатских супов.

Во время переходов тяжелее всего достается грузину Хурцилаве. Толстый, с одышкой, он едва поспевает за нами, мы всю ночь слышим, как он трудно дышит, и нам жаль его. Все дни он мрачен, не обронит слова, только и слышно его прерывистое дыхание да еще это вот хрюканье, когда он жует гречиху, которая должна зарядить его силой на всю ночь перехода.

Насыпая в ладонь порцию черной концентратной греч-

ки, я вижу другое — вижу, как белели перед нами чугу-евские гречихи, когда мы отправлялись на фронт.

— Неужели та самая, которая так бело цвела в Чугу-ове? — говорю Духновичу.

— Она. Почернела.

Перед тем как тропуться, приподнимаемся, оглядыва-емся вокруг.

Неистово красное солнце садится над степью. Словно курится оно, словно только что образовалось из тех крас-ных вихрей, раскаленных ураганов, которые окружают его, разлившись на весь запад. Среди просторов степ-ных то там, то тут возвышаются древние курганы. Это та степь, Тяпюша, которую мы с тобой собирались исследо-вать. По этим полям отец мой гонялся когда-то за степ-ными пиратами — махновцами.

Век тачанок миновал — танковый век пад степью гро-хочет. Слышим отдаленный тяжелый гул. Идут танки. Из багровой пылицы запада по далекой дороге степной дви-жутся на восток громадной колонной, чтобы где-то там с такой же колонной сойтись стальным клином. Стоя в почерневших сухих подсолнухах, видим, как танки один за другим выныривают башнями из закатного тумана, из океана кровавой мглы, что словно бы надвигается вместе с ними с запада. О Германия миннезингеров, Германия Бетховена, Шиллера и Гете! Погляди на себя сегодня! Прежде шло от тебя на восток мудрое слово философов, поэтов, великих гуманистов, а сегодня идет железный ту-полобый каннибал в каске, идут молодые арийские бестии, закованные в броню, разрушители и убийцы, идут уничтожить нашу землю, нашу культуру, нас самих. Мол-ча смотрим, как они проходят. До скрежета стискиваем зубы. Мы не можем их остановить: за Днестром у нас были против них хотя бы черные, начиненные огнем бу-тылки, а тут и этого нет.

— Будут и у нас танки, — говорит угрюмо Вася-танкист, стоя возле меня. — Будут, будут! Еще больше будет!

Оборванные, измученные окруженцы, мы предчувству-ем: грядут битвы победные. По тысяче стволов выставит армия наша на километр фронта. В несколько этажей на-виснет в воздухе наша авиация. Тысячи танков, перво-классных боевых машин, ринутся на запад, и содрогнет-ся от ударов артиллерии Берлин, и, может кто-то из нас,

идущих сейчас в окружении, увидит Гитлера в клетке, увидит поверженный рейхстаг, освобожденный Белград и Прагу, далекую, прекрасную...

Мы трогаемся, и багровые ураганы запада гаснут для нас уже в пути.

Этой ночью ведет нас Колумб.

Он только что присоединился к нам. Он единственный среди нас гражданский. Такими мне представляются запорожцы. Плечистый, могучий, из тех, кто двух хлопцев за шиворот поднимет, тихо стукнет лбами и так же тихо снова на землю поставит. А сам смирный, полнолицый, усы красивые, светлые. В фуражке, в вышитой льняной сорочке и дубленом брезентовом плаще поверх нее. Мы почти ничего о нем не знаем. При проверке документов запомнилось, что зовут его Христофор, Духнович добавил — Колумб, отсюда и пошло: Колумб да Колумб. Так и идет с нами этот степной мореплаватель.

Встретили мы его, как только миновали поле подсолнухов, где днели и откуда наблюдали за колоннами немецких танков. Еще и не стемнело как следует, когда увидели у лесополосы табун беспорядочно брошенных тракторов. Будто напуганные копы, свернув с дороги, бросились они кто куда да так, недалеко от посадки, на стерне, и застыли. Раньше мы видели в степи расстрелянные стада, убитых пастухов, гнавших скот в эвакуацию. Теперь перед нами были расстрелянные тракторы. Мы еще днем слышали, как строчил из пулемета здесь, над этим полем, немецкий самолет, но тогда мы не придали этому значения. А теперь перед нами результаты дьявольской его работы — железное кладбище тракторов. На ближайшей к нам машине привалился к рулю, будто задремал после утомительной дороги, юноша, белокурый, чубатый. А под трактором в пыли свежая еще лужа крови и другая лужа — мазута. С другого трактора свалился тракторист, будто в последний миг рванулся, хотел спрятаться под трактор, да не успел: так вот и лежит — вниз головой. Еще, и еще... Мы думали, нет тут никого живого, но возле лесополосы между тракторами вдруг заметили коренастую фигуру дядки в картузе и плаще. Стоял, глубоко задумавшись, среди расстрелянных трактористов, среди

мертвых тракторов и, кажется, даже не услышал, как мы к нему подошли.

— Ты из этой колонны? — сразу же набросился на него Заградотрядник.

Дядька не шелохнулся.

— Из этой.

— А почему живой?

Тот посмотрел на него долгим усталым взглядом:

— Судьба.

— Один живой среди стольких? Орлы будут клевать твоих трактористов, а ты живой?

Дядька рассердился:

— Да и ты ж почему-то живой!

— Не тебе меня спрашивать... А ну, руки вверх!

Заградотрядник кинулся было к нему, чтобы обыскать, но тот не дался.

— Не подходи! — угрожающе поднял стиснутый кулак.

Пудовый был тот кулак. Размером чуть не с голову Заградотрядника. И на кулаке — следы засохшей крови. Помогал ли кому, своя ли...

Потом дядька сам показал нам эвакуационный лист, из которого мы узнали, что он агроном одной из степных МТС. Был назначен от райкома партии старшим колонны, а теперь вот она... Часть трактористов разбежалась во время обстрела и не вернулась, то ли ранены, то ли просто скрылись, а эти вот здесь — тот повалился вниз головой, тот навсегда уснул на руле...

Вася-танкист, который уже рылся у ближайшего трактора, вдруг закричал:

— В радиаторах есть вода! Вода!

Но и радиаторы, оказалось, были разбиты. Лишь из некоторых удалось напедить немного теплой, еще не остывшей воды — хватило только горло промочить.

Колумб присоединился к нам. У нас есть компас, чтобы ориентироваться, есть звезды в небе, чтобы знать, где восток, где запад, но Колумб, хорошо знакомый с местностью, должен будет вести нас в обход населенных пунктов, где, наверное, уже полно немцев. Он поведет нас глухой степью. Перед тем, испанским, Колумбом были океаны воды, необозримая гладь морская, а перед этим — необозримая суша.

Зарево в степях. Горят эмтээсовские нефтебазы, горят элеваторы на далеких станциях, скирды. Среди этих

пожаров и проходит наше окруженческое плавание. Мы не можем идти по прямой. Нам приходится кружить, далеко обходя село, в котором слышен гул танков, приходится держаться подальше от больших дорог. Главные дороги не для нас, мы теперь люди темных дорог, как говорит Гришко. Опасность подстерегает нас на каждом шагу. Всякий миг ждешь, что всыхнет, прямо в глаза ударит ракета и рывкнет кто-то: «Хальт!»

Осторожно бредем по какой-то залежи, по высокой трескучей полыни. Ох уж эта полынь! Мы пропахли, прогоркли насквозь, наши губы горьки от нее, горько во рту, горько на душе.

Кончается жесткая полынь, что-то мирное, хрупкое, легкое, ломкое под ногами.

— Гречиха! — поясняет Колумб. — По гречихе идем, — добавляет он, тяжело ступая своими сапогами.

Где-то недалеко, на дороге, взлетают вверх ракеты, и мы падаем, ползем дальше по-пластунски. Гнутся, ломаются хрупкие стебли, каждый из нас оставляет за собой вдавленный след. Гречиха не трава, она не поднимается.

Уже выползли из гречихи, когда где-то в балке, в стороне, услышали вдруг приглушенный голос Гришко:

— Сюда! Пасека!

Да, это была настоящая колхозная пасека, привезенная сюда, наверное, еще перед началом войны к гречихам на июньское цветение. Рамочные ульи похожи на миниатюрные домики, в каждом из них живет пчелиная семья, а вся пасека напоминает игрушечное село, что притаилось у поля гречихи, как на опушке леса. Пчелиное поселение! Весь край разворочен, лежат расстрелянные стада по степям, горят хлеба, и ничто живое не находит себе места, а мирная пчелиная артель спокойно трудится здесь, не замеченная войной, счастливо ею забытая.

Ненадолго забытая. Среди ульев в темноте уже слышны возня, треск — там разламывают рамки. Вытряхивают пчел, ломают, торопливо делят налитые медом соты. Потрявоженные пчелы гудят над нами, сердито жалят — за этот ли грабеж, за то ли, что не гречишным медовым духом, а горькой полынью пахнут эти люди, горькие, полынные.

По долгу командира я должен был остановить, запретить, но я знаю, как все мы изнурены голодом и как

много нам нужно сил. Мне и самому Татарин уже протягивает кусок сота, и я беру, жадно высасываю сладкую пчелиную добычу, что пахнет летом, солнцем довоенным, цветом степным. Лакомятся все, только Колумб не принимает участия в этом недобром деле. Он стоит в стороне, как укор, как живая совесть.

— Ешьте, ешьте, сыночки,— слышим вдруг незнакомый старческий голос.

Рядом с Колумбом остановился кто-то. Пасечник! Занятые своим промыслом, мы и не заметили, как он подошел. Маленький старичок с палкой в руке; в мохнатой шапке, одетый уже по-зимнему, будто готовится тут и снег встречать, возле этой гречихи, возле пасеки, и зиму с ними зимовать...

— Только у меня же в шалаше вон накачанный есть, а ульи... зачем же их так? Пасека колхозная, может, наши еще приедут за нею; голова сказал: ждите!

— Никто, кроме пемцев, сюда не приедет,— глухо и смущенно бурчит Гришко.— Из наших мы — последние.

— Ой, не говорите! Фропт еще может по-всякому обернуться...

И он снова приглашает нас в курепь, на готовый мед.

Никто из нас не идет. Горячий воск сотов будто бы забил каждому из нас глотку — молчим. Пристыженные, шаг за шагом отступаем, пятимся от пасечника, от пасеки, от пчел. Очутившись за пределами пасеки, опрометью кидаемся в темноту...

Жгучий стыд опалает нас.

— Что поделаешь,— как бы отгадав наши душевные терзания, говорит Колумб мрачно.— Все равно тем достанется. Придут, разнесут в щепки. Кончился наш медосбор.

Идем по какой-то балке. Кажется, не совсем туда, куда нужно, а туда, куда она нас ведет, эта кривая степная балка. Уже поздно. Небо заволакивается, из-за далекого облака светится ущербный месяц, будто далекое, кровью налитое око из-под насупленной брови сурово следит за нами: «А ну, кто вы? Куда идете среди ночных пожаров? Почему бродите по ночам в степи, исхудавшие, заросшие, как звери? Почему не найдете себе пристанища на этой просторной, еще вчера такой приветливой земле?..»

— Где мы? — спрашиваю Колумба.— Не слишком ли отклоняемся?

— Нет,— спокойно говорит он.— Тут где-то неподалеку должна быть птицеферма колхоза имени Энгельса. Леггорнов разводили.

Вскоре на склоне горы замечаем хату, а в ней — желтовато-бледный, чуть приметный свет. Нигде никого — ни жизни, ни власти, а окошко светится. Кто его засветил? Крадучись, пробираясь дальше по дну балки, натыкаемся вдруг на маленький колхозный пруд; забыв об осторожности, бросаемся к нему, припадаем к воде, жадно пьем ее, теплую, густую, пропахшую илом и еще чем-то. Перья густо белеют на берегу пруда — перья леггорнов...

С оружием наизготовку окружасм хату. Вот передо мной уже белеет стена, скупо освещенная из-за туч ущербной луной. А на стене, под самой застрехой, висят, как на выставке, щедрые дары степной природы: золотистые, оставленные, видно, на семена, початки кукурузы, перец красный, стручковый, огромные венки лука...

Венки эти сразу как-то успокаивают нас: значит, война еще тут не была, не было тут, видно, ни врага, ни таких, как мы, окруженцев, иначе не висеть бы вот так спокойно тугим этим золотистым венкам на белой стене.

Бесшумно оцепив дом, принимаем к окнам... Люди в доме! Полная комната девчат... Стоят на коленях на полу, глазами в угол, словно секта какая-то: молятся. Электрическая лампочка свисает перед ними с потолка, но нет в пей света, вместо нее мигает в углу лампадка. Возле печи, опершись на нее плечом, печально стоит женщина, высокая, смуглая, щедрой степной красоты, хотя уже и немолодая. В ушах полумесяцем блестящие сержки. Как птица, которая охраняет свой выводок в степи, так и она стояла над девочками. Сама не молилась, была только глубокая печаль на ее чистом материнском лице.

Услышав шорох за окном, она тревожно вскинулась, и девочки мгновенно повернулись к окнам, и их сосредоточенные, какие-то светлые перед тем лица вдруг перекосило ужасом. За всеми окнами — приплюснутые носы, черные запыленные физиономии каких-то пещерных варваров, — именно такими представлялись им завоеватели. Значит, их уже окружили в этой хате, сейчас будут хватать, мучить, глумиться, убивать.

— Открывай! — Заградотрядник грубо застучал в дверь.

И вот дверь открыта, и мы в хате всей своей окружеческой ватагой, и одна из девушек, испуганно забившаяся в угол, вдруг воскликнула радостно:

— Звездочки! Звездочки на пилотках! Наши!!

И сразу лица девчат осветились улыбками, и стали они такими, будто вся Красная Армия снова вернулась сюда и можно жить, как раньше.

— А вы уже, значит, молитесь? — подошел к девчатам Заградотрядник, опухший, искусанный пчелами. — И не стыдно? А еще, наверно, комсомолки?

— А что же нам остается, хоть и комсомолки? — ответила ему одна из девчат, очень похожая на ту женщину, что стояла у печи, только тоненькая, юная, длинноносая. — Вы не защитили, — может, бог защитит... если он есть где-то там... в стратосфере.

— Нет его и не будет, — решительно отрезал Вася-танкист и обратился к женщине: — Это что, все ваши дочери?

— Вон моя, — кивнула женщина на тоненькую черпавку. — А это ее школьные подруги, тоже девятиклассницы, из села прибежали. Там уже тапки фашистские режут. Где от них спастись? Сюда, в степь, на птицеферму...

В углу за лампадой икона, больше похожая на картину: на огромной тарелке отрубленная голова человеческая в терновом венке.

— Это кто? — спрашиваю у женщины.

— То ж голова Иоанна Крестителя... От стариков еще осталась.

— А какими же молитвами вы молитесь? — спрашивает Духнович, умываясь над тазом у порога.

— А мы без молитв, — ответила ему маленькая, круглолицая. — Мы стихами.

— Какими стихами?

— Просто что в голову придет... Из «Кобзаря» или из Леси...

— А я сегодня из «Моисея» Франка читала, — призналась хозяйкина дочь. — Вступление к поэме: «Народе мій, замучений, розбитий...»

— Да разве они верующие? — промолвила женщина. — Церкви и знать не знали, все клуб да клуб. А когда вот подкатилось, так и молиться начали.

— За то, чтобы наши вернулись, — смутившись, призналась из угла вespущатая, тонкобровая девушка.

— Сами учили, что есть только атомы, материя,— в нервном возбуждении щебетала хозяйкина дочь.— Но так вдруг захотелось, чтобы хотя какая-нибудь сила была над нами там, вверху, чтобы какие-нибудь стратосферные боги там существовали да помогали Красной Армии...

— Это просто смешно,— говорит Новоселец, но ни ему, ни нам не смешно.

Женщина велит девочкам, чтобы они шли резать и ошипывать кур, готовить бойцам на ужин белых своих леггорнов. Но такая роскошь не для нас. Мы не имеем права больше здесь задерживаться. Умылись. Кое-кто на ходу успел даже соскрести щетину тупыми бритвами. Подтянулись. Помолодели, снова стали похожи на боевое подразделение.

— Когда же вы вернетесь? Откуда вас выглядеть? — обступили нас девочки, когда мы уже стали выходить.— Говорят, они нас эшелонами будут вывозить в Германию, с торгов продавать... Неужели это может быть?

И словно из их будущего ударил нас стон невольничий, стон девчат — черниговок, полтавчанок, киевлянок, которых эшелонами отправляют на запад, в рабство, а в городе Люблине, на пороге великого рейха, гонят в баню, а перед тем ведьмы-эсэсовки стригут девчат ножницами, косы обрезают. Позже, через много лет, один из нас услышит: «У моей подруги были такие красивые косы, а те схватили — и долой!» Но эти ли, юной этой птичницы, которая молилась сегодня Франковым «Моисеем»?

Скоро и домик и девочки исчезли из виду. Мы уже за другим пригорком. Из головы не выходит у меня «Моисей». Это была любимая поэма Степуры. Помню, отправляясь на фронт, он читал ночью в вагоне:

Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї...

И еще это:

І підуть вони в безвість віків,
Повні туги і жаху.
Простувать в ході духові шлях
І вмпрати на шляху...

Но мы не хотим умирать! Мы идем для того, чтобы жить. Мы пробьемся, вырвемся из этих степей окруженных, где чувствуем себя как под огромным стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.

Шумит и шумит высокая стерня под нашими ногами, шелестит бурьян под ударами тяжелого Колумбова плаща. Еще сильнее пылают на горизонтах пожары. В небе тесно от туч, беспокойных, клубящихся. Небо и все вокруг потемнело от них, лишь там, где прячется горбушка месяца, светлеет растрепанная прядь, как борода микеланджеловского Моисея, помнишь?

Знаем — не одни мы идем. Много таких, как мы, большими и маленькими группами идут в эти почти степями на восток. Трусов отгоняют. Предателей казнят. Идут, случайно сведенные судьбой, объединенные лишь одной целью: пробиться! Иногда почью мы встречаем таких, как мы сами. Сходимся настороженно, недоверчиво. Они остерегаются нас, мы остерегаемся их. Они поднимаются из бурьянов, мы тоже поднимаемся, перекликаемся, как птицы ночные, потом сближаемся, готовые в любой миг прибегнуть к оружию. Кто? Свои — и легче на сердце. Посоветовавшись, обменявшись слухами, предупредив друг друга: «Туда не идите, там засада», снова расходимся и продолжаем путь небольшими группами — так легче выходить. Многие из нас погибнут, попадут в неволю, а другие все-таки выйдут, вольются в регулярные войска и не раз потом будут вспоминать эти степные окруженческие блуждания.

Лето отступления, лето тяжких оборонительных боев, окружений, лето скорых и праведных судов на дорогах, упрямых атак, которые копчались ничем. Вспоминается Рось, что стоила нам столько крови, а теперь давно уже в руках врага. Взорванный Днепрогэс, что ревет сейчас там сильнее Ненасытца, сильнее Волчьего Горла, ревет вместе со всеми девятью своими дикими порогами, как самый большой и грозный из них. После взрыва плотины — как он бешено разлился в ту ночь, Днепр, затопляя все понизовье! Горе было тому, кто оказывался в этой пучине, в безумном разгуле стихии. Наши бойцы, оставшиеся в плавнях, спасаясь от наводнения, карабкались в темноте на деревья, мы тоже в поисках переправы, как обезьяны, лазали по деревьям до тех пор, пока не подплыли к нам рыбаки на лодках... Что ж, может, все это нужно было пройти? И горечь невозвратимых потерь,

и бои до последнего, и эти окружения, — может, все это нужно пережить, чтобы стать другими и победить? И тот взрыв Днепрогэса сделал свое дело, точно так же, как сделала его и наша, пусть неумелая, контратака на Роси и эти последние, на сторонний взгляд, напрасные бои, которые мы вели в окружении. Как ничто не пропадает в природе, так, думаю, не пропадут понапрасну никакие, даже самые малые солдатские усилия.

Рассвет застает нас в посадке, далеко от дорог. Этот тихий, не потревоженный войною степной рассвет — что может сравниться с ним? Что может сравниться с этой мягкостью воздуха, с этим покоем, который наступает в природе с первой осенней серебришкой?.. Туман плавает над степью, а сколько росы в посадке! Мы бредем по ней, как по воде. Крупная, густая, она отливает сединой на кустах перекати-поля, бисером блестит на каждой паутинке, которая опутывает бурьян. В посадке натываемся на свежие лежбища, что, видать, оставили такие же, как мы, передневаив здесь. Мы тоже облюбовали тут себе прибежище на день. Колючая степная рощица, раньше защищавшая колхозные хлеба от суховеев, теперь будет защищать нас от вражеского глаза. Дикие голуби — горлинки — глядят на нас с верхушек посадки — они как наш двор, и тут, возле них, располагаемся мы.

Сегодня мы можем позавтракать. На шее у Гришко сияет золотистый венок дородного лука-саянца, достает он из своей сумки еще и буханку белого хлеба. Все это дала ему та женщина с птицефермы. Гришко разрывает венок лука, дает каждому по луковичке, а Татарин тем временем делит хлеб. Всем достается по ломтику. Мы едим его осторожно, чтобы не обронить ни крошки. И мы никогда не забудем этот хлеб, не забудем эти ломтики.

Степь лежит перед нами ровная, как футбольное поле, до самого горизонта; Колумб, оглядывая ее, рассказывает:

— Урожай в этом году на хлеба — давно такого не видывали. Выйдешь в поле — стеной стоят. Комбайны пустили — ножи ломались.

Любопытным, мудрым человеком оказался этот Колумб. Представляю, как близко сошелся бы с ним Степура, который так любил открывать людей крепкого народного склада. Словно бы не о себе, о ком-то другом рассказывает Колумб, и мы видим: утро воскресное, усадьба МТС; степной агроном, встав с восходом солнца, побрился ради выходного дня, чистую сорочку надел и выходит

и поле посмотреть хлеба: скоро их убирать, комбайны и тракторы стоят наготове, тока на полевых станах подметены. Чисто всюду, как перед праздником. Вышел агроном и встал посреди своего океана: кругом хлеба! Голодную Индию вспомнил, эрозию в каких-то других далеких краях и как варварски где-то истребляют леса, а тут — разлив хлебов праздничный. Покладистого, доброго характера был этот человек, по призванию земледелец, выращивающий плод и злаки, — один из тех, которым так любо смотреть, как падают теплые весенние дожди на поля и как буйно после них все растет. Шел агроном в то утро воскресное и ничего не знал, душа его тихо пела, и хотелось этому человеку всю землю засеять, всех людей досыта накормить белым пшеничным хлебом...

— Это я выходил в поле, — говорит Колумб, — это я был в степи в то черное воскресенье... Двадцать второе июня — день солнцеворота, самый продолжительный у нас день в году, и ему суждено было стать самым черным днем нашей истории... Какие трактористы были у нас! Какие комбайнеры! А теперь мои трактористы да комбайнеры лежат пострелянные. И степь эта зарастает бурьяном, не принося радости людям.

Когда мы, поставив часового, ложимся спать, Колумб тоже ложится. Ложится, не снимая своего железного плаща, лишь расстегнув его немного сверху, чтобы не душил.

Первым собирается в дозор Новоселец. Этот тихий, дисциплинированный боец, еще совсем молодой, почти подросток, с бледным маленьким лицом, вечно загадочно улыбался всем и всему, даже самой смерти. В серьезном деле на него можно целиком положиться, но в какой-нибудь мелочи будь с ним начеку — обманет, легко что-нибудь утянет, и Гришко со своей торбой все время остерегается его. Это, однако, не мешает им быть друзьями, и сейчас я слышу, как они разговаривают. Гришко — в который уж раз — рассказывает Новосельцу о своем пятилетнем сыне:

— Откусит, бывало, кислое яблоко и мне сует: «На, и ты накисляйся, тато!» А то скажет: «Расскажи, тато, как это ветер в лесу елками вертит». Шумит то есты!.. Вот оно как, Новоселец, а ты, глупый, не женат...

Засыпая, я все еще вижу горлянку на верхушке акации в посадке. Она зорко посматривает вокруг, умища, она сторожит наш отдых... Все спят, и я уже сплю, как вдруг меня будит Новоселец.

— Товарищ командир!

— Что случилось?

— Все в порядке,— говорит он успокаивающе.— А такое вот дело...

И зовет меня знаками за собой.

Я иду за ним туда, где в кустах, раскинувшись, храпит агроном.

— Гляньте, что у него такое...

Из-под рубашки на груди Колумба что-то алеет, огнем горит на солнце... Знамя! Так вот почему он не дал себя обыскать, вот почему никогда не снимает с себя плаща!

Мы стоим и смотрим молча на этот жаркий багрянец материи. Кусочек пурпура. Кусочек китайки. Пламенем горел он на баррикадах, и его как вымпел понимали отважные люди на снежные вершины гор, и, может, где-то уже родились астронавты, люди будущего, которые повесут его в неизведанные дали космических пространств...

Как бы почувствовав наше присутствие, Колумб пошевелил усами, открыл глаза.

— Это ты, вожак? Чего вы? — И, глянув на распахнувшуюся, с оторванной пуговицей сорочку, догадался, и ему вроде бы даже стало неловко.— Переходящее. Этой весной нашей МТС вручили. С моей колонной было...

Он еще больше вырос в наших глазах. И когда вечером снова трогаемся в путь, даже Заградотрядник, вечно не доверяющий никому, говорит весело:

— Веди нас, Колумб!

Идем, и я слышу, как разговаривают между собой в темноте Колумб и Духнович.

Духнович словно жалуется:

— Такая малая у нас планета, такое, в сущности, немногочисленное на ней человечество, и очень важно, сможет ли оно когда-нибудь объединиться — объединиться для мирного труда, для жизни светлой, счастливой...

— Вот они говорят, жизненного пространства им мало,— гудит Колумб.— А вы знаете, что одна Индия с ее теплом, богатыми осадками могла бы прокормить население всего земного шара, конечно, при лучшем ведении хозяйства, не при колониальных порядках...

Через некоторое время в темноте опять натыкаемся на беспорядочно брошенные тракторы да комбайны, к кото-

рым крадемся с особенной осторожностью, потому что поначалу они показались нам танками. Замерли тракторы, А когда-то до поздней осени гудели тут целыми днями, и даже ночью при свете фар слышен был их гул.

В другом месте чувствуем, как что-то цепляет нас за ноги, и Духнович говорит взволнованным голосом открывателя:

— Кабелы!

Агроном поправляет его:

— Какой кабель? Это арбузные плети, товарищ.

Мы набрали на бахчу. Арбузы на ней частью собраны, большей частью перетоптаны, передавлены. Паслись тут, видеть, такие же, как и мы, которые прошли тут раньше нас. Остались нам корки и гнилье да зеленая завязь с детский кулачок, но это все же влага, хоть губы можно смочить. Ползаем меж упругих плетей, и впрямь похожих на перепутанный кабель, и жадно высасываем сок из раздавленных, растоптанных чьими-то сапожищами арбузят и в душе благословляем тех, кто эту бахчу насадил.

Выбираясь из бахчевых плетей, Духнович вскоре патыкается на обрывок настоящего телефонного кабеля. Откуда он тут? Наши бросили или, может, это уже не наш, а немецкий? Может, окруженцы, проходя здесь, порвали его вместе с арбузными плетями? Пока мы, сбившись в кучу, высказываем относительно кабеля разные предположения, на дороге, в глубине степи, вдруг сверкнул огонек, застрекотал мотоцикл.

— Связист!

Немецкий линейный надсмотрщик мчится прямо на нас, гулко тарахтя на всю степь, не желая знать, что, кроме него, тут могут быть еще какие-то живые существа.

Мы, конечно, могли б его подстрелить, но мы не будем стрелять. Колумб подсказывает нам другое: перехватить кабелем дорогу и держать на уровне головы мотоциклиста. Взять его живьем!

Мы искренне не хотели, чтоб он погиб, налетев с разгона на кабель, но случилось именно так. Сидевшему за рулем, как бритвой, перерезало горло; хотя нам, державшим кабель, содрало руки до крови, зато второй, который оказался в коляске, взят живьем. Он наш пленник. И мы его топерь ведем.

Светало, и как-то неожиданно высунулось, взошло солнце, наше безрадостное окруженческое солнце, похожее на какой-то снаряд. Где мы? Что это за земля? Нет тут лесов. Наши леса — подсолнухи. Бредем, пригибаясь, через огромные поля подсолнухов, среди их шершавых, кое-где и вовсе высохших, черпых, точно перегоревших листьев. Шляпы подсолнухов, колючие, жестяные, бьют в лицо. Семя там, где его не поклевали птицы, осыпается само. Гришко и Новоселец вылуцивают его на ходу, грызут, плюются шелухой, и пленный смотрит на них с удивлением. Он весьма послушен. Делает все, что и мы. Мы присаживаемся, присаживается и он, мы торопимся, прибавляет шаг и немец, не ожидая, пока кто-нибудь подтолкнет его прикладом.

— Пыль на листьях, — предостерегает Колумб, — значит, дорога.

В такое время, при солнце, дорогу переходить особенно опасно. Отступив немного назад, в глубину подсолнухов, мы устраиваем привал. Вот здесь, в пыли, под этим неподвижным небом мы и проведем весь день. Измученные переходом, товарищи садятся, разуваяются, блаженно вытягивают уставшие ноги. Немец тоже садится и по примеру других стаскивает с себя офицерские свои, пошитые где-то в Германии сапоги.

Заградоотряднику не терпится. Показывая на немца, он спрашивает меня, каково будет распоряжение насчет этого типа.

— Допрашивай, — говорю я Духновичу.

Духнович, который лучше всех нас знает немецкий язык, охотно принимает на себя обязанности переводчика. Во время допроса, а также из отобранных документов выясняем, что это тыловик, офицер химической службы дивизии горных стрелков, которая наступает где-то впереди, развивая удар на Ногайские степи. Что особенно поразило нас с Духновичем, вчерашних студентов: наш пленник еще недавно тоже был студентом и так же, как и мы, не закончил курса — во время гитлеровского похода на Францию ему пришлось надеть военную форму.

— Коллега, — кивая на пленного, насмешливо говорит Духнович. — Хоть «Гаудеамус игитур» с ним запевай.

Однако тут не до пения ни ему, ни нам. Духнович, став опять серьезным, расспрашивает пленного о разных

важных для нас подробностях. Мы с Васей-танкистом кое-что понимаем из ответов немца, нам хорошо знакомы отдельные слова его речи, но какие это слова! Лебенсраум... Блицкриг... Иприт... Люизит... На таком языке он изъясняется сейчас с нами, потомок Гете, потомок немецких гуманистов, современный лейпцигский бурш!

Он охотно говорит о газах:

— Та первая газобаллонная атака двадцать второго апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года, когда мы выпустили сто восемьдесят тонн удушливых газов на позиции французов и англичан, вывела из строя всего пятнадцать тысяч человек... Это было детской забавой в сравнении с тем, что мы имеем теперь. Сейчас в наших лабораториях рождается вещество, неизмеримо более токсичное. К тому же оно не будет иметь ни цвета, ни запаха, и обнаружить его в воздухе даже в смертельных концентрациях практически будет невозможно. Оно вызовет слепоту, паралич нервной системы, целым армиям оно принесет мгновенную смерть, понимаете, — мгновенную!

Глаза у него становятся блестящими, безумными. Ему, видимо, нравится потрясать наше воображение этой таинственной химической мощью. Он смотрит на противогазные сумки, которые висят через плечо у некоторых из нас, и скептически качает головой: не уберегут, мол, по спасут.

А в сумках тех и противогазов-то нет, давно выброшены. Мне вспоминаются резиновые, похожие на скафандры костюмы, в которых мы ходили на военных занятиях в университете дегазировать условно отравленную местность. Оказывается, и скафандры не защита.

— От нового нашего газа мир еще не знает защиты... Будут миллионы отравленных.

— И это говорит человек?

— Гадина, кобра, — хрипит Татарин, замахиваясь прикладом за спиной у пленного, по я останавливаю:

— Приказа не было.

— А что нам с ним цацкаться? — гневно кричит Заградотрядник. — Чего ждать?

— Подожди, — остановил его Духнович. — С твоей стороны, mein lieber Genosse, это было бы не гуманно...

Эти слова разозлили Васю-танкиста.

— Не забывай, Духнович, — перебил он, — если враг не сдастся — его уничтожат!

— Но ведь он сдался.

— Сдался? — возмущенно возражает Заградотрядник. — Мы силой, хитростью взяли его. Черта лысого он сдался! Стало быть, «его уничтожают»... Теперь он хочет хитростью спасти себе жизнь. А ты, курсант, уже и уши перед ним развесил, будто какой-нибудь беззубый пацифист...

— Вот видишь, уже и ярлык, — косо улыбается Духнович. — Только меня этим не запугаешь... Напоминаю, что речь идет о жизни хотя и пикчемного, но все же представителя рода человеческого...

— Ты еще считаешь его человеком?

— А кто же он? Гусак?

— Двуногий зверь! Такой же бесноватый, как его фюрер. Дать бы ему, чтоб и не пикнул!..

Я считаю, однако, что с такими вещами спешить ни к чему.

— Прекратить дискуссию! День проживет, а там видно будет.

Немец, похоже, понимает, что речь идет о нем, что решается его судьба. Притихший, внутренне напряженный, он вопросительно смотрит на меня своими голубыми арийскими глазами, пока я не говорю ему:

— Шляфен. Спать.

Духнович и немец ложатся рядом. И вот мы все уже, кроме часового, — и окруженцы, и наш пленник — впопалку лежим в сухих подсолнухах, лежим, как в огромной тюремной камере, где вместо стен каменных, вместо потолка низкого — небо высокое, открытое нашим думам.

Когда мне кажется, что все уже спят, неожиданно подползает Заградотрядник.

— Ну скажи, почему ты не разрешил прикончить его? Жалеешь?

— Нет, не жалею.

— Так в чем же дело? Принцип?

— Возможно.

— Ох, Колосовский!

— Охай за себя, за меня не охай.

Весь день, пока другие спят, распластавшись в подсолнухах, один из нас по очереди сидит над немцем, стережет, рассматривает его, своего смертельного врага, вблизи. Он молод, как в большинстве и мы. Светловолосый, стриженный под бокс, со свежим румянцем на щеках. Видно, от пережитого нервного потрясения он обливается потом, руки у него липкие, как в солидоле. Когда

солнце стало припекать, он снял с себя френч, снял штаны, остался в одних трусах, подставив солнцу свои хорошо натренированные мышцы. Он часто переворачивается, ложась то на спину, то на живот, — видно, не спится ему, терзают беспокойные мысли о своей теперешней судьбе.

Когда пришла моя очередь караулить его, немец будто вздремнул, но я заметил потом, он лишь делал вид, что спит: сквозь приспущенные веки неусыпно следили за мной голубые щелки его глаз. О чем он думал? На что надеялся? Может, только и ждал той минуты, когда меня одолеет дремота и он, вскочив, бросится туда, где за горизонтом грохочет война.

Неподалеку от нас по степи проходит железная дорога, и, когда приподнимешься, из подсолнухов виден переезд с черно-белым шлагбаумом. Кто опустил его, этот шлагбаум? Враг-оккупант или, быть может, последний наш железнодорожник, перед тем как покинуть свою степную будку, напоследок перекрыл за собою дорогу на восток? Там — никакого движения. Время от времени над нами в небе проплывают горбатые самолеты. Никакие шлагбаумы для них не преграда. Грузно идут курсом на восток. Я вижу, что пленный, прищурившись, следит за ними.

— «Юнкерсы»?

Немец утвердительно кивает головой: «юнкерсы». Бомбовозы.

— Руки бы отсохли у того, кто их выдумал! — говорит, проснувшись, Гришко и обращается к Духновичу, который, оказывается, тоже не спит: — Кто его изобрел, первый самолет?

— Тот изобретатель едва ли думал о войне.

— А тот, который изобрел бомбу?

— Тот скажет, тоже не хотел.

— А тот, что газы?

— Это вот у него спроси, — кивнув на немца, говорит Духнович. — А ведь действительно получается чертовщина какая-то, — говорит он после паузы, — ученые изобретают динамит и делают это вроде бы с самыми добрыми намерениями; делают бомбу, уверяя, что не хотят уничтожения; конструктор строит самолет тоже как будто из самых лучших побуждений. Сконструировали, сделали, а потом — на! — передают в руки сумасшедшему, в руки маньяку, который все плоды человеческого гения поворачивает

па войну, а ученые, видимо, считают, что они тут ни при чем, что они не соучастники преступления.

Колумб, проснувшись, рассматривает немца в упор.

— Вот интересно, сам-то он хотел войны? Спроси его,— говорит он Духновичу.

Немец, выслушав вопрос, отрицательно качает головой: нет, он не хотел. Отец его, майор, сам задохнулся в газах еще в ту войну...

— А что же его принесло сюда?

— Говорит, его воля ничто в сравнении с волей фюрера!

— Передай ему,— говорю я Духновичу,— фюрер их еще не раз пожалест, что начал войну. Она обладает свойством бумеранга. Рано или поздно останется от их поганого рейха пепел, скажи ему это.

— О! Это было бы ужасно,— говорит немец, выслушав Духновича.— Увидеть готику родного города в руинах, увидеть в руинах средневековые наши соборы, ратушу, старинные дома, памятники, которые стали известны всему миру по гравюрам прославленных немецких мастеров. *Майн гот!* Пусть этого никогда не будет. Я видел Варшаву, Львов, видел разрушенное ваше Запорожье, меня поразила ваш Днепродзержинск, это сооружение-модерн, которого я не ожидал встретить в скифских просторах... Скажите, это уже Скифия?

Он явно впал в меланхолию. Голос его стал печальным, каким-то падорванным. Поднявшись, пленный сел среди подсолнухов и, боязливо поглядывая на желчного, даже во сне хмурившегося Заградотрядника, начал делиться своими переживаниями, заговорил о том, какое тяжкое впечатление производят на немецкого воина эти безграничные степи, завоеванные и незавоеванные.

— Мы, немцы, привыкли к малым расстояниям, небольшим территориям, а тут у вас все кажется безграничным. Это действует на психику. Немец не привык мыслить категориями ваших просторов, и вид этих океанических степей рождает во мне сейчас чувство почти мистическое. Может быть, я слишком интеллигент, но я заметил с некоторых пор, что степь ваша разрушает во мне энергию, убивает воинский задор.

— Это не степь убивает...

— Нам говорили, что мы, немцы, властелины и идем сюда владычествовать. Но когда мы, наступая на Запо-

рожье, еще за Днепром вышли на холмы и увидели перед собой грандиозную панораму Днепрогэса и металлургического завода в степи, я подумал: «Мой фюрер, здесь будет нам тяжело!»

— Вот не думал, что молодчиков из гитлерюгенда могут мучить такие сомнения, — заметил Вася-танкист, проснувшись и растирая в ладонях подсолнечные листья для закурки.

— Вам может показаться, что я вымаливаю себе жизнь, — сказал немец, взглянув на звездочку на рукаве танкиста. — Но, поверьте, эти слова мои искренни. Нам говорили: судьба Германии решится на Украине битвой на Днестре, говорили, что за Днепр мы не выпустим ваших армий, а вы все дальше уходите на восток, а мы — все дальше от рейха.

— Ишь ты, разговорился, — вставал, ворчит Заградотрядник и поглядывает на меня с укором. — Почему он еще живой? Ждем, пока удерет?

Собираясь в дорогу, мы начинаем обуваться, немец тоже поднимается. Натянул мундир и теперь сосредоточенно выскабливает расческой из своего арийского чуба пыль и подсолнечную труху. Серьезно, без улыбки следит он, как Гришко раздает каждому из нас писк — уже только по полгорстки сухих наших рационов. Когда получили все, кроме немца, Гришко вопросительно смотрит на меня: давать ли, мол, этому?

Немец понимает: от того, как я сейчас отвечу, зависит его судьба. Если велю дать и ему, значит, он останется жить, если скажу не давать, то это будет означать конец, капут ему здесь на месте. Так и сгипет, не получив нашего окруженческого продаттестата. Глаза его, выпуклые, полные голубизны арийской, глядят на меня с ожиданием и даже с грустью какой-то, будто предсмертной. Дам или не дам?

В самом деле, что же с ним делать? Вести с собой? Так он же выдаст нас при первом удобном случае, погубит всех. Оставшись с нами, он только усложнит, сделает еще более опасным, еще более трудным и без того тяжелый наш поход. Что же делать? Разумеется, пострелять. Мне уже представляется, как он будет вырываться, отбиваться, когда хлопцы пустят в дело штыки. Не закапывая, мы бросим его тут в пыли, у этого подсолнечного стойбища. Мы способны на это, и нас не будут терзать угрызения совести: ведь он пришел сюда, неся смерть,

и голова его нафарширована смертоносными химическими формулами новых средств уничтожения людей...

Пленный все смотрит на меня — печально, вопросительно, будто выведывая, что его ждет, пока взгляд его вдруг не падает на Заградотрядника, который с мрачным, свирепым выражением на лице надевает на винтовку штык.

— Бум-бум? — тихо спрашивает пленный, ткнув себя пальцем в лоб. «Убьете, мол?»

Мы молчим.

— Бум-бум?

Он ждет решения.

— Как быть с ним? — подчеркнуто обыкновенным голосом, словно речь идет о самых будничных вещах, спрашиваю товарищей.

— Плюнуть и растереть, — отвечает Заградотрядник с показным равнодушием, чтобы не вызвать у немца преждевременного подозрения.

Гришко согласен.

— А что с ним цапкаться? Одним ртом меньше будет... Харчей — кот наплакал.

— Да, но это все-таки «язык», — говорит Вася-танкист.

Какое, однако, если вдуматься, странное выражение: «язык», «взять языка»... Не человек ценен, не разум его, не человеческая его сущность, а только язык, только сведения, которые он может дать.

— Вот этот «язык» нас и погубит, — стоит на своем Заградотрядник, и я вижу: Татарин и Новоселец в душе тоже согласны с ним.

Пленный весь превратился в слух. Кажется, он понимает все из нашего разговора по интонациям. Понимает и напряженно ждет.

— Духнович, переведи ему, — обращаюсь я к нашему толмачу. — Вот мы слышали от него о каком-то новом, изобретенном их учеными газе. Известна ли ему формула газа?

Духнович спрашивает, и впервые чуть приметная улыбка искривляет немцу рот.

— Он говорит, что это тайна, что формула газа является собственностью немецких вооруженных сил.

— А ему, ему она известна?

Пленный еще больше кривит губы в усмешке — как хотите, мол, так и думайте: либо известна, либо нет, этого

и ни за что не скажу вам, потому что заключенная во мне и так интересующая вас тайна сохранит мне жизнь.

— По-моему, никакой он формулы не знает, паршивый этот гитлерюгенд, — презрительно бросает Заградотрядник. — Бац-бац — да и пошли дальше.

— Все формулы с мозгом вылетят, — говорит Татарин. — Все газы в нем перемешаются.

Они хотят суда. Все мы ждем суда над ним.

Переглянувшись с танкистом, приказываю Гришко:

— Дай и ему, этому тевтону, сколько полагается.

— Только гречку зря съест... Больно он нам нужен, этот лишний рот, — ворчит Гришко, но все-таки дает.

Получив маслянистые черные зерна гречки, немец начинает старательно поедать их. Жует, как-то по-телячьи подбирая языком. А я думаю о том, что решил для себя еще раньше: мы не убьем его, мы поведем его дальше с собой. Офицер химслужбы дивизии, он наверняка знает эту важную тайну, тайну нового страшного оружия. Химик, начиненный формулами смерти, он будет идти с нами. Но не только потому я не уничтожу его, что он ценный «язык», и не только потому, что существуют какие-то международные конвенции относительно пленных, — фашисты растоптали эти конвенции, и мы знаем, сколько наших пленных они душат по кошарам, пристреливают по дорогам и зарывают живыми в противотанковых рвах. Принципы гуманности, человечности, справедливости для них не существовали и не существуют, но я не хочу быть похожим на них! Он нам сдался. Оружие выбито из его рук. Над таким утипать расправу?! Ведь этим я себя и товарищей — пусть частично, пусть на один только миг — поставил бы на одну доску с ним, с фашистом, а я не хочу опускаться до их уровня. Голодные, оборванные, окруженные, мы будем такими, как всегда, мы никогда не станем похожими на них — убийц, строителей концлагерей и фабрик смерти, палачей нашей светлой жизни!

Встаем. Дальше — за подсолнухами, за железной дорогой, куда нам идти, — степь ровная, полигонно открытая; выйдешь туда — и кажется, увидят тебя на тысячу верст вокруг.

— О, сегодня солнце заходит красное, с ушами, — говорит Колумб. — Видите, какие длинные уши-столбы вверх выставило. Значит, быть ветру.

Вскоре мы уже снова в пути. Шагаем в потемках родную степью, сами почти пленные, ведем пленного врага.

Всю ночь он будет идти с нами, голод и жажду наши изведает и усталость и почувствует нашу волю пробиться на восток. Будто невидимыми цепями приковала его судьба к нам, а нас — к нему. Мы не можем его отпустить. Мы не можем его убить. Он будет рядом с нами все время, как проклятие.

Ночью, когда из глубин космоса проступают звезды, пробиваются к нам скудным светом, мы чувствуем, что идем не просто по земле — идем по планете. Может быть, простор и открытость степей дают нам это ощущение — идем по планете. Несем с собой удивительную уверенность, что из всех творений природы, из всех миров, которые где-то блуждают в космической беспредельности, нет лучшего, чем наш, — теплая, зеленая планета, созданная для всего живого, для удивительно разумных существ. Воды на ней — океаны. Солнца вдоволь. Идем в земном поясе, где издревле бурно цвела под тем солнцем жизнь. Мамонты когда-то здесь водились. Эллинские мореплаватели стремились к этим берегам и слагали о них свои золотые легенды. Царства степняков, царства скифские, половецкие ржали тут конями, оставив после себя высокие курганы, размытые дождями, разрушаемые ветрами, но не сглаженные временем. Может, в этих курганах, которые мы собирались исследовать с нашим профессором, ждут нас греческие амфоры невероятной красоты, ждут немые свидетели жизни прошедших поколений.

Небо днем огромное, ночью еще больше. Всей темнотой, звездами, глубинами вселенной открывается над нами. Еще недавно в это небо поднимались радуги весенние, светились сочно под солнцем, дымились после дождя необозримые, посеянные человеком хлеба, и он стоял среди них, словно в океане, радуясь трудам своим, плодovitости земли... А нынче пылают по степям элеваторы, наполненные колхозным хлебом, и небо не в радугах, а в прожекторах и ракетах, и лежат расстрелянные в степи пастухи, колхозные механизаторы и дети — фабзавучники из Николаева, на которых мы в одном месте наткнулись. Они, как и мы, тоже отступали степью, и пули «мессершмиттов» пастигали их среди незащищенных степных просторов.

Детские тела разбросаны по стерне, за плечами убитых дорожные сумки, к которым мы так и не решились притронуться...

Такой ты стала, земля.

В небе ночном видим далекую красную планету Марс.

— Неужели и там так? — говорит мне Духнович.— Неужели и там высокоорганизованное существо не имеет покоя, радости, счастья? Как бы хотелось дожить до тех дней, когда человечество вырвется туда, на звездные трассы, пошлет к другим планетам свои космические корабли. Циолковский считал, что это произойдет еще в нашем столетии. Как быстро развивается человечество! Давно ли еще в этой вот степи скрипели деревянными колесами кибитки кочевников, шатры виднелись полочецкие, и человек был в возрасте детском, а ныне он полубог, только какой полубог! Возьми тех же немцев: были люди как люди, цивилизованная нация, а теперь их ненавидит весь свет...

— Не за то, что немцы, а за то, что фашисты, что хотят жить разбоем.

— Если верить этому типу, они изобретают или уже изобрели новое чудовищное оружие, — говорит Духнович, помолчав. — Мы тоже изобретем его, другие тоже создадут, какая же перспектива? Самоуничтожение? Нет, пока племя, которое населяет землю и зовется человечеством, не обуздает безумцев, не осознает себя как единое целое, не видать ему добра!

— Эта война должна быть последней из всех войн, какие были на земле, — размышляет вслух Колумб. — До каких же пор будут изобретать для войны — не пора ли уже изобрести что-нибудь — раз и навсегда — против нее? Земля — не полигон. Земля — нива, чтобы сеять...

Звездная ночь поднялась над степями, высокая, огромная, и мы идем сквозь нее с верою, что жертвы наши не напрасны, что мы — последнее поколение людей на земле, которое вынуждено взять оружие в руки.

— Даже детей не щадят, — говорит Гришко, видно вспомнив расстрелянных с самолета фабзавучников. — Орел охотится на зайца, ястреб — на полевую мышь, человеком созданная птица охотится за человеком... Нет, дальше так невозможно.

— И главное, что нет же в этом никакой необходимости в наше время, — вздохнув, говорит Духнович. — Атеист я, безбожник рыжий, но когда смотрел на девчат

там, на птицеферме, на их устремленные куда-то вверх, в «стратосферу», светлые лица, как я их понимал! Зачем? Зачем это все?.. Пожары до небес... Страшные разрушения, которые чужеземцы несут с собой?.. — Некоторое время он помолчал, потом голос его стал мягче, словно бы повеселел. — Если говорить о себе, то я до сих пор был больше объект войны, чем ее субъект. Солдат из меня был, кажется, пассивный. «Интеллектуалист», ха! Как всякая букашка, я, разумеется, хочу жить, хочу копошиться на нашей грешной планете еще этакое количество лет. Но если бы мне сказали: умри, Духнович, это нужно для того, чтобы на земле никогда больше не было войн... Простите мне высокий стиль, но, ей-же-ей, я не пожалел бы своей маленькой несуразной жизни. По-моему, каждый человек должен хотя бы раз когда-нибудь достигнуть своего зенита...

— Что ты пазываешь зенитом?

— Умение, когда нужно, пожертвовать собою, вот что.

Час за часом шуршит кукуруза, по которой мы бредем, шуршат подсолнухи, которые так и остались небранными, брошенными на произвол осенним дождям, зимним метелям да буранам. Плоды работающих человеческих рук, они утратили теперь свою ценность, никого уже не интересуют и становятся лишь укрытием для заросших, пропыленных, как мы, степных окруженцев. В одном месте натыкаемся на противотанковый ров и, перебравшись через него, оглядываемся, не потеряли ли немца в темноте.

— Газуй, газуй, — слышим голос Новосельца, который подталкивает пленного химика прикладом, и вот пленный уже встряхивает перед нами своим соломенным арийским чубом. О том, чтобы вырваться, ускользнуть, удрать, он, кажется, и не помышляет. Держится послушно. И хоть непривычен к таким переходам, старается не отставать, держится ближе ко мне — потому ли, что тут его меньше толкают, или хочет, чтобы я видел его: вот, мол, он, не убежал.

— Что ни говорите, — ворчит Заградотрядник, — не нравится мне его лошадиная арийская физиономия. Не терплю.

— По-моему, у него винтиков не хватает, — слышу позади голос Гришко. — Рехнулся с перепугу. Вы видели днем, какие у него глаза? Глаза сумасшедшего, а на уме — все газы, газы. Он будто угорел от них.

— Может, этот угар когда-нибудь выйдет из него, и он еще станет человеком,— говорит Колумб.

— Этот угар, видно, никогда из него не выйдет. Он ему уже и разум помутил...

— Ничего себе будет «язык»,— ядовито подхватывает Заградотрядник.— Пока приведем, он от страха совсем с ума спятит. Из тихопомешанного буйным станет... Нате, радуйтесь, сумасшедшего вам привели. Только смирительную рубашку поскорее на него!

Однако пленный, кажется, еще при своем уме, потому что, услышав во время разговора слово «Колумб», он засмеялся мелким смешком,— его позабавило, что среди нас находится свой Колумб. Но на его смешок Колумб так ошетинился своими усами, что немец сразу умолк.

А в самом деле, не горькая ли иропия судьбы в том, что среди нас Колумб? Море, разбушевавшееся море войны подхватило нас и бросает из одной опасности в другую, несет в темноту, в огонь, в неизвестность, и судьба наша так сходна с судьбой мореплавателей, потерпевших кораблекрушение на открытых океанских просторах, откуда не видать берегов. Те родные берега, которые по-нашему, по-солдатски, называются линией фронта, они все время перемещаются в пространстве и, несмотря на усиленную, изнурительную нашу ходьбу, кажется, не приближаются, а, напротив, неумолимо отдаляются от нас на восток. Линия фронта где-то там, в глубине ночи, где с вечера и до утра висят по горизонту, между звездами, огромные осветительные ракеты, которые противник развешивает на парашютах. Мы зовем их «паникадилами» и торопимся к ним, потому что там, где их зажигают, надо полагать, как раз и проходит в эту ночь линия боев.

Немец понимает наше положение, понимает, куда и зачем мы так спешим, и, когда мы на ходу посматриваем на далекие неподвижные ракеты на востоке, за которыми так упорно гонимся, он, кажется, в душе смеется над нами: «Гонитесь! Никогда вам их не догнать!»

«Но ведь и ты в наших руках,— думаю я с ненавистью,— и сколько бы мы ни шли, ты будешь идти вместе с нами, и жить тебе не больше, чем нам».

— Коммунист? — вдруг спрашивает меня пленный.

— Коммунист,— говорю.

Помолчав, пленный указывает на Колумба:

— А этот?

— Тоже коммунист.

— И тот? — спрашивает о Васе-танкисте.

— И он коммунист.

— Скажи ему, — слышим неожиданно хриплый, прерывистый голос молчуна Хурцилавы, — скажи, что все мы коммунисты с двадцать второго июня сорок первого года.

— И еще скажи, — говорит Заградотрядник, — что будет им крышка. Что б там ни было, а мы выиграем у них эту войну.

— Выиграем, — добавляет Колумб, — но никогда не перестанем ее ненавидеть. Так и скажи.

Какое-то время идем молча.

— Представь себе, Богдан, — слышу потом возле себя голос Духновича, — какими глазами посмотрел бы на нас человек далекого будущего... Солнечные, чудесные города. Свободные люди. Жизнь, где войны стали уже только достоянием археологов. И вот оттуда, из тех солнечных городов, смотрят на нас чьи-то глаза: кто они, эти оборванные, изможденные существа, которые в темноте бредут по планетам? И сколько им еще надо пройти, пока достигнут своей заветной цели?

Бредем через какие-то заросли, высокие, как бамбук. Это сорго, красное просо, у степняков оно на венки идет. Только стали осторожно выходить из проса, как вдруг — что такое? Музыка где-то поблизости, радио говорит. Не по-нашему говорит. Присев, видим из зарослей, как по открытому полю, которое раскинулось перед нами, перемещается какой-то огонек, в другом месте виднеется палатка — возле псо радио. Слышен смех, музыка, веселый гомон. А дальше в степи темнеет что-то.

— Самолеты! Аэродром!

От неожиданности внутри похолодело.

Да, это самолеты. Мы с ходу напоролись прямо на немецкий полевой, может быть, только сегодня освоенный аэродром. Огонек — это, видно, часовой фонариком освещивал, а в палатке вовсю горит свет, никакой маскировки... Радио слушают, ужинают, веселятся в завоевательской своей палатке. Им весело, им спокойно, выставили к самолетам одного-двух часовых и могут не тревожиться за этот степной аэродром, на который, возможно, только сегодня посадили свои победоносные машины.

— Эх, сюда бы мой танк, — шепчет идущий рядом со мной Вася-танкист. — Ох, походил бы я гусеницами по ихним «хейнкелям». — И вдруг поднимается. — Знаешь, я пойду. У меня есть гранаты. Я подкрадусь, подползу...

Мы накоротке совещаемся и решаем: да, нападать! В помощь танкисту вызывается Татарин. На поясе у него кинжал-штык, и я знаю, как он умеет им орудовать. Пойдут двое, остальные будут прикрывать их отсюда. По борозде они быстро отползают от нас в ту сторону, где ходит часовой.

— А как же с этим? — тихо говорит возле меня Заградотрядник. Это он о немце, который неподвижно лежит между нами. — Я, правда, заткнул ему кляпом рот, чтобы и не пикнул, но ведь он же длинноногий, гад! Как сиганет, разве его удержишь, в два прыжка будет у своих!

Пленный лежит, не шевельнется. Я чувствую локтем напряжение его тела. Все мышцы его напряжились, он весь подобрался, как перед прыжком, а глаза уже там, где музыка, где спасение... Но пусть только попробует. Вот он шевельнулся на локтях, и в то же мгновение чей-то штык снова прижал его к земле.

Впереди веселье в самом разгаре, все громче ржет-хохочет проклятый этот вражеский шатер, так нагло разбитый в нашей степи. Сейчас там отводят душу фашистские асы.

Мы берем ее на прицел, эту палатку, вместе с ее наглым смехом, чужой музыкой. Напрягая зрение, сжимая в руках оружие, ждем. Мы отлично сознаем всю опасность, мы впервые, находясь в окружении, обнаруживаем себя, но ведь такой случай, и мы не безоружны, мы готовы к этому бою, чем бы он ни кончился для нас. Товарищи растаяли в темноте, а часовой ходит. И вдруг его не стало: упал, даже не вскрикнув.

— Укокопили, — шепчет Заградотрядник.

Когда первая граната рванула самолет, мы залпом открыли огонь по палатке. Одним духом я разрядил весь диск. Пока вставлял второй, между темными силуэтами самолетов снова вспыхнуло пламя, гроыхнуло два взрыва — один за другим. Панические выкрики, стрельба, ракеты тут и там рвут темноту. Мы ведем огонь по самолетам, по палатке. Мы не сойдем с места, пока товарищи не вернутся.

Неподалеку из темноты послышался стон, и мы с Духновичем бросаемся туда. Это танкист.

— Я ранен... Возьмите меня.

Мы тянем его в нашу бамбуковую чащу,

— А где Татарин?

— Татарина нет. Он убит.

Через несколько минут мы уже торопливо отступаем в глубину степи через просо, через подсолнухи. Оглянувшись, видим, как зарево встает над аэродромом: горят самолеты! Горят!

Слышим за собой шум тревоги. В небе разливается мертвенный свет ракет, прошивают темпоту пунктиры трассирующих пуль... Наэлектризованные боем, с лихорадочным чувством отходим все дальше, а немцы выпускают и выпускают вслед нам ракеты, но до нас они не долетают.

Танкиста мы несем на плащ-палатке, несем вчетвером, и немец несет, тяжело дыша, крепко ухватившись за один из концов. Раненый стопет все сильнее, он истекает кровью, его нужно немедленно перевязать. На пригорке возле скирды мы останавливаемся. Отсюда хорошо видны костры пылающего аэродрома. Стрельба там все еще не прекращается, ракеты взвиваются в небо.

— У кого есть индивидуальные пакеты?

Торопливо разрывая пакеты один за другим, принимаемся с Духновичем перевязывать Васю-танкиста. Сейчас это делаем кое-как, днем разглядим, перевяжем лучше. Раны на спине, на ногах... Мы уже заканчиваем перевязку, как Гришко, возившийся у скирды, вдруг оглушает нас новостью:

— Бомбы! Целая скирда авиабомб!

Взволнованный, он рассказывает, как выдернул из скирды сноп и как рука его наткнулась на какой-то решетчатый ящик, и под ним еще и еще ящики, а в ящиках — бомбы. Мы бросаемся к скирде, раскидываем солому и видим: бомбы, бомбы, бомбы. Целая гора авиабомб.

— Наши, наша маркировка, — присмотревшись, говорит Новоселец. — Точно такие штуки наш завод вырабатывал...

Похоже, завезли их сюда для степного аэродрома совсем недавно, торопливо свалили ночью, замаскировали снопами... Так наши и не успели ими воспользоваться. Теперь воспользуются другие, как только обнаружат. А обнаружат непременно. От аэродрома все взлетают и взлетают ракеты, мне уже кажется, что они падают все ближе и ближе. Нужно уходить!

— Взять раненого!

Команда касается и Духновича, но он не трогается с места. Упрямо стоит у скирды и вдруг говорит глухо:

— Это нужно уничтожить.

Это он о бомбах. О складе черных, пачиненных смертью бомб, что не сегодня-завтра, если их так оставим, будут пущены в ход. Полетят... На войска, на станции, на эшелоны эвакуированных! Конечно же, нужно уничтожить, но как?

— Как ты их уничтожишь, курсант? — спрашивает Заградотрядник. — Чтобы их подорвать, нужен патрон с детонатором, несколько метров бикфордова шнура...

— У меня есть граната, — говорит Духнович настойчиво, с каким-то даже раздражением.

Я знаю, в противогазной сумке у него в самом деле есть граната — последняя граната, которая осталась у нас на всех. Да, граната может пачать, и тогда пойдет само... Но кто бросит? И что будет с тем, кто бросит? Не успеет отбежать. Будь он даже птицей, не успеет отлететь...

Вдруг в лощинке, где все чаще взрываются ракеты, явно слышим собачий лай. Погопя! Лай овчарок. Это нас травят, преследуют.

Духнович неожиданно делает рукой резкий жест.

— Уходите, я прикрою! — В руке у него сверкнула выхваченная из противотанковой сумки граната.

Я подхожу к нему:

— Дай сюда гранату!

— Не дам. Ты иди. Тебе вести людей... Я догоню! Идите! — кричит он всем. И, чтобы вывести нас из оцепенения, прямо при нас резко выдергивает предохранительную чешку. Теперь только стиснутыми пальцами он сдерживает слепую силу взрыва.

Ракеты падают уже у холма, собачий лай нарастает. Кажется, не собаки, сами враги там лают, гонаясь за нами...

— Взять раненого!

Снова вчетвером мы подхватываем его и, отдаляясь, видим возле темной скирды бомб темную одинокую фигуру человека. Он сказал: «Догоню». Зачем он сказал «догоню»? Ведь он хорошо все понимает. Некоторое время я вижу в полумраке сутулую, совсем не воинственную фигуру Духновича. Эта сутуловатость оттого, что много дней и ночей гнулся он над книгами в библиотеках.

Спустившись с пригорка в заросшую густой полынью долину, кладем раненого, останавливаемся передохнуть. Ждем взрыва, но его все нет. Отсюда нам хорошо видны на пригорке скирда, то и дело освещаемая ракетами,

и сутуловатая фигура человека, застывшего против нее. Ракеты и приближающийся собачий лай будто вовсе не касаются Духновича, он, как изваяние, стоит против огромной скирды, в которой вместо снопов золотых лежат бомбы.

— Боже, какой хлопец! — тихо говорит Колумб, стоя возле меня, и я так же думаю о Духновиче: какой он прекрасный! Как много мне хочется сказать ему! Такого друга, видно, уже никогда не будет у меня в жизни...

И в это мгновение там, где была скирда, земля взметнулась в небо огнем и грохот потряс земные недра. Ни ракет, ни лая, только пламя и удары, удары...

Упав в бурьян, на эту горькую, полынную планету, стискивая зубы, чтобы не разрыдаться, мы все ждем чуда — ждем, что из грохота, из бушующего огня появится перед нами знакомая фигура, ждем, хотя знаем, что Духнович никогда не появится больше.

55

И снова идем. Боль утрат, и дух степей полынный, и Днепра синеву, и чистые, как юность, рассветы — все забрали с собой и все несем на восток.

Думаю о тебе, далекая моя любовь. Была ли ты на самом деле? Или я выдумал тебя? Нет, ты была, ты и сейчас есть по ту сторону всего этого ужаса, который нас разделяет. Жди, мы выйдем. У каждого из нас в сердце такой заряд любви и нежности, который выведет нас из этого ада.

«Сильные духом», помнишь такое выражение? Тогда мы как-то по-книжному представляли себе таких людей, а за это время сколько я видел их в жизни, вижу рядом с собой и сейчас. На вражеские танки они бросались с зажигательными бутылками, грудью вставали на защиту Днепрогэса, держали рубежи, которые, казалось, удержать невозможно. Но, может быть, ярче всего эта сила духа человеческого раскрывается для меня вот здесь, когда мы, отрезанные от своих, в далеком окружении, идем полями под ничейным небом, не подвластные никому, кроме самих себя. Словно вне времени идем, не зная, что делается на других фронтах. Цель наша — где-то в тумане, за мраком ночи, мы готовы всю жизнь идти, лишь бы достичь ее. Мало у нас оружия, но самое верное, закален-

ное оружие в нас самих, в нашей воле, в наших сердцах.

Ветер ночной шелестит в посадках и впервые после стольких ночей доносит до нас отдаленный гул. Это гул фронта. Тревожное, в сполохах, небо алеет на горизонте, и на его фоне явственно проступают — ближе и дальше — скирды, разбросанные по степи, и все они нам кажутся теперь складами замаскированных авиабомб. На север шуршат под ветром без конца и без края темные поля кукурузы. И вдруг замечаем там силуэты людей! Множество людей в кукурузе, на стерне. Только мы их увидели, как тотчас же их и не стало. Приникли к земле. Залегли и мы.

Минуты тревожного выжидания, потом:

— Это кто там?

— Свои.

— Что за люди?

— С окопов люди. А вы... Наши?

— Наши.

И лес людей встал. Мы сходимся все ближе. Все они с лопатами. Насколько проникает глаз в темноту — люди и лопаты. Черные, заросшие землекопы с сумками окружают нас. Наперебой рассказывают, как копали противотанковые рвы, сооружали полевой аэродром, работая до последнего дня, а потом была им команда отправляться в ближайшие военкоматы; пошли, а военкоматов уже нет — снялись и выехали; гнались за последним военкоматом от села к селу; они туда, а его уже нет, они дальше, а он еще дальше...

— Сколько вас?

— Много. Возьмите с собой. У вас ведь компас...— Передние глядят на светлячок компаса, который фосфоресцирует у меня на руке. — Возьмете?

Они ждут нашего ответа. А я думаю, что без них выходить нам будет легче — мелкими группами пробираться безопаснее. Так что же, бросать их в беде? Бросить тех, которые, быть может, завтра станут солдатами наступления, бойцами победных битв?

— Хорошо, — говорю я им. — Мы вас берем. Только у нас — дисциплина.

— Дисциплина нам не страшна. Лишь бы выйти!

Когда трогаемся, все поле за нами шелестит. Уже не разберешь, где ветер ночной шелестит, а где люди, которые идут за нами в темноте, лавиной идут.

Гул фронта приближается, пожары растут. Нигде я не видел таких пожаров, как в эту ночь. Кажется, сама земля горит на горизонте, тревожным багряным светом наполняя всю гудящую ветрами степную ночь. Пылающие степи, пылающие города, тревожно-багровое небо над нами,— может, все это видно даже жителям других планет? Может, и оттуда видно в сверхмощные телескопы это колоссальное опустошение, что охватило нашу родную землю в 41-й год XX столетия?

Сквозь просветы в тучах — звезда далекая, планета красная Марс. Кровавый Марс, который видел столько войн, сколько он еще их увидит? А может, эта все-таки последняя? Когда-нибудь должно же это кончиться? Может, рождается уже то счастливое поколение, которое не будет гибнуть в войнах, ступит на поверхность иных планет и там утвердит вот это знамя, что сейчас несет Колумб под железным своим плащом.

Идем, идем. Как торпеды, пройдем сквозь эту степь, сквозь вражеские аэродромы, засады, сквозь все опасности, что встретятся на нашем пути. Кажется, стоит только выйти — и уже не будет войны. Кажется, стоит только пробиться, и перед нами, как с высокого перевала, откроются далекие коммунистические века. Кто из нас пробьется? Кто из нас погибнет в этих окруженческих, заревами охваченных степях? Может, всех нас ждет за тем воп бугром смерть? Или по раз еще будем в боях, и будем пропадать без вести, и будем пить воду из болот, и будем гибнуть в концлагерях, оставаясь и там твоими солдатами, отчизна.

Но, даже погибая, будем твердо верить, что после нас станет иначе и все это больше не повторится, и счастливый человек, разряжая в солнечный день победы последнюю бомбу, скажет: это был последний кошмар на земле!

ЦИКЛОН

РОМАН

I

В бетонных буреломах все побережье. Исполни какой-то, Геракл XX века, сражался здесь с морем, и остались развалины: многотонные глыбы железобетона, как после бомбежки, лежат вдоль берега в руинном хаосе. Незадолго перед этим здесь прошел циклон, несколько дней свирепствовал шторм ураганной силы и вот такое натворил. Прибыв сюда, мы еще застали разговоры о волнах высотой с трехэтажный дом, о баркасах, пропавших бесследно... Щетинится берег. Там, где все было благоустроено, стояло в белой геометрии балюстрад и беседок, сейчас на километры тянется искромсанный, загроможденный камнями пустырь. Все будто в обломках скал, свалившихся с гор. В голове не укладывается, что все это — работа моря, без тротила, без динамита... Среди серых бетонных нагромождений контрастно белеют остатки каких-то ступенек, вроде бы античных, разрушенных перилец и облицовки из красивого белого камня. Из хаоса глыб торчат скрученные рельсы, ржавые изогнутые прутья... Стихия тут показала себя. Трудно поверить, что на такое способна всего-навсего ласковая сила воды.

Лишь когда загудит-загрохочет весь берег и начнет от ударов содрогаться ночью наш дом, а утром увидишь, как все побережье кипит, бурлит ослепительными белоснежными бурунами и валы, накатываясь, разбиваются с разгону о груды бетона, стреляют брызгами и водяной порошей до самого второго этажа — до нас! — тогда поверишь. Поверишь, что ласковая волна может стать силою грозной, что, взъяренную, ее ни в какой бетон не закуешь. Навстречу побережью море катит литье бурунов. Вступает в силу весна; по нагорью уже цветет миндаль, но весна холодная, с ветрами, с дождями, и штормы бьют почти каждый день.

Вечером мы с Сергеем-оператором подолгу сидим на балконе. На других балконах никого: гостиница полупустая, не сезон, ветер гуляет по коридорам. Кроме нас лишь футбольная команда на первом этаже, да и та уже спит, товарищ режим уложил хлопцев.

Стонет побережье. Среди дня, бывает, море на какой-нибудь часок приутихнет, передохнет, а к вечеру, собравшись с силами, снова за работу! Из темноты накатываются валы еще более грозные, чем днем. Ухают канонадным грохотом. По ту сторону залива вытянулась изогнутой линией вдоль берега цепочка огней рыбацкого поселка. То и дело в воздухе между нами и поселком взлетают целые тучи воды, черные взрывы ночной стихии. На миг они заслоняют от нас ту далекую цепочку рыбацких огней, которые снова появляются, когда вздыбленная вода опадает.

Декорация мира довольно мрачная. Море, что бьет и бьет. Изредка прожектор откуда-то рванется в море, в неистовство крошечной темноты. Луна — дымчатый ломоть плазмы — в разодранных тучах... Еще силуэты гор справа. На одной из вершин пульсирует звездочка маяка. Пульсирует вот так, без усталости, из ночи в ночь. Глубже в горах обсерватория. Наверное, и сейчас где-то там, у телескопа, на своем бессменном посту мой старый знакомый, седой профессор. Но спит планета. По ночам сквозь разрывы туч — глаза во вселепную.

С каждым ударом прибоя, когда далеко в прибрежную темноту стелется шуршащее, белопенное, — светлее становится ночь! Вижу задумчивый профиль Сергея. Плечи устало опущены. Нелегко хлеб кинодокументалиста. Не первый день мы с Сергеем в одной упряжке. Куда нас с ним только не бросало! Снимали археологические раскопки. Крепость Овидия над водами лимана. Спуск новорожденного судна со стапеля. Гранит монументов на месте бывших концлагерей. Каменоломии. Птичьи перелеты... Была потом еще командировка. Особая, ответственная. Одна из тех, что ждешь долго, а потом она сваливается на тебя внезапно. Осень стояла багрово-пылающая, сухая. С такого же балкона, только обвитого виноградом, смотрели, как, падая, лопаются каштапы, как смуглеют лапчатые листья, а дальше, сквозь тишину деревьев, светятся золотые купола Софии... Стояли и прислушивались к чему-то. Потом звон: собирайтесь, полетите далеко, снимать будете... сами знаете что.

И летишь. Дремлет Сергей рядом с тобой в кресле паррофлотском. Внизу ущелья демонов, убежища снежного человека, а ты над хребтами самых высоких гор, над циклонами пролетаешь, чувствуешь себя человеком почти небесным! Разлив света вокруг. Свет высок, свет чистейший, почти первозданный купает твой лайнер, и тебя, и твоего спутника патлатого, и запасы тщательно упакованной чувствительной пленки... Еще она ничто, *tabula rasa*, а оттуда привезете на ней зной тропиков, дыхание джунглей, и горе чье-то, и черный напалмовый дым. Монтаж, печатный цех, экран. И снова в дорогу. А разве не искал ты жизни именно такой? Чтобы в вечном непокое да в тревогах, в каждодневной готовности получить задание и отправиться с кинокамерой хоть на край света... Или на какие-нибудь совсем будничные карьеры...

Однажды нам с Сергеем нужно было заспать редкостный взрыв на карьерах камешоломни. Около двенадцати часов все было готово. Умолкли перфораторы, громыхающие бурильные молотки. Серия мощных зарядов уже заложена в монолит, в только что пробуренные шпурь. В каждую скважину вставлен патрон-ударник: он должен выполнить роль детонатора. Вся серия соединена. Теперь слово за аммонитом. Опушены шлагбаумы. Поднят сигнальный флажок на мачте. Всюду выставлены предостерегающие знаки: «Взрыв! Опасно для жизни!» Тишина залегла над карьерами, люди спрятались в укрытиях. Идут в тревожном напряжении решающего мига... Тишина, тишина. Воздух светится, мерцает, и пчелиность золотая в нем звенит. Гудит, вибрирует, будто далекие пасхальные колокола детства.

Мы тоже покинули опасную зону, приготовились: камеры настроены, пленка на месте, все на чеку, получим, по крайней мере, шестьдесят метров редкостного взрыва. Тишину вот-вот расколет грохот, солнце окутается пылью, где-то задрожат стекла. День наполнится белым ветром, вокруг застучит камнепад... Вот-вот уже. И вдруг Сергей откладывает камеру в сторону:

— Не буду снимать.

— Что случилось?

— С меня довольно. В печенках они у меня, все эти взрывы...

— Но это же взрыв творческий, созидательный, — пробую полусхитрить уговорить коллегу.

Но он уперся. Музыку пчелы, полет ее — это бы он

согласен, а так... Сигарета уже лежала у него на губе, одутловатое лицо замкнулось в бесконечном равнодушии ко всему.

— Да бери же камеру! Сейчас взрыв!

Оператор не шевельнулся.

— Еще один гриб взрыва... Да вы понимаете, что он мне невыносим? Моя психика его не воспринимает. Ни метра пленки на это, — и вытянулся навзничь в канаве. В бездну неба смотрел грустновато и сонно.

— Так на кой же леший мы приехали на эти карьеры? Ведь нам нужен был именно этот взрыв, именно на него был заказ, а теперь...

Мы поссорились. И хотя это вроде бы парадоксально, однако с того момента мы, кажется, подружились еще больше. Это вовсе не означает, что между нами царит золотой мир, ведь такого, как мой коллега, выдержит по каждый: злоязычен, придирчив, все ему что-нибудь не дает покоя. На студийных собраниях и разных обсуждениях выступать не любит, но имеет привычку репликами обстреливать ораторов, в том числе и маститых, и это для него конечно же не проходит бесследно. Однако в своем деле Сергей виртуоз, один из лучших наших молодых операторов, и с его профессиональным умением не могут не считаться. Несколькими находками, пусть и весьма скромными, короткометражными, студия обязана именно камере Сергея. Ненависть к штампу, жажда поиска, постоянная неудовлетворенность собой — это в нем есть, и разве за это не следует человеку кое-что и прощать? Один из наших студийных порой удивляется моему долготерпению:

— Как ты уживаешься с ним, с этим Сергеем Тавченко?.. Он же псих... У него... мания справедливости!

«Мания справедливости» — порок немалый, конечно, но все же, когда пришлось выбирать оператора для работы сложнейшей, выбор снова пал на Сергея. Манера его мне по душе. Чем дальше, тем все меньше трюкачества, которым парень увлекался одно время. Теперь камера Сергея ищет прежде всего точности, выразительности, естественной глубины. Она не боится кадра даже «некрасивого», если это нужно; иногда ей будто из ничего удаётся вдруг добыть настоящий самоцвет. А теперь вот впервые нам предстоит снимать полнометражную художественную ленту. Дали для ознакомления пуд сценариев, дали время для размышлений, и вот мы с Сергеем забра-

лись сюда, подальше от нашего студийного вавилона. Бросили якорь, терпим друг друга, сосуществуем. Тут в самом деле есть возможность сосредоточиться, собраться с мыслями.

Сергей умеет читать галопом, уверяет, что уж «освоил», теперь от нечего делать целыми днями слоняется из угла в угол, посерел от тоски. Часами может молчать, думая о чем-то своем. Если изредка и нарушит молчание, то лишь затем, чтобы подбросить еще одну незапатентованную идею на изобретение более усовершенствованной киноаппаратуры или чтобы подпустить еще одну шпильку по адресу своих ближних — футболистов, чье гостиничное соседство Сергея порой даже раздражает. Хлопцы как хлопцы, живут по своему расписанию, тренируются на местном стадионе, готовясь к весенним баталиям, но для Сергея их мячи становятся преимущественно камнем, на котором он оттачивает свои парадоксы.

— Не пахожу в них ничего ни динамического, ни демонического. Взрослые дяди, развлекающие взрослых... След от мяча на зеленом поле — неужели это тот след, который должен оставить после себя человек?

Его не устраивает и то, как они ходят самоуверенно, и то, что свистят в коридорах и становятся на весы после каждой тренировки, и то, что во время дождя, собравшись в вестибюле, мелом на черной доске забивают воображаемые голы в ворота противника. Разрабатывают коварные комбинации, ломают головы, как лучше обмануть, одурачить противника, и все это вместо открытой схватки. Разве это честно?

Спит мой коллега мало, а лицо, однако, как бы опухшее, что-то сонное есть в нем, в его круглых, по-детски лсных глазах. Нос клювом. Каждый день видят девушки на почте этот гоголевский нос и полноватое, бледное от недосыпания лицо, как-то горестно склоняющееся к окошечку: может, что-нибудь есть? Но кинооператору снова ничего нет. Кто-то долго ему там пишет...

Иногда Сергей позволяет себе согреть душу стаканом кислящего рислинга в порту, после чего серая маска тоски сползает с его лица: придет, разляжется на диване нашего холодного полулюкса и, утопая в сигаретном дыму, начинает решать мировые неразрешенные проблемы. Чаще всего они у него сводятся к жгучим проблемам десятой музы. Искренне озабочен: не мельчает ли экран? А были ведь боги! Был Великий Немой...

В этот вечер мой коллега тоже, кажется, не в настроении. Сидит в шезлонге, курит, исподлобья рассматривает экран штормовой ночи. Хотя бы постригся — лохмы торчат из-за ушей, спереди чуб на лоб напущен, как у битла.

— Так на чем же остановимся? — спрашиваю Сергея. — Этот пуд сценарной руды... Много ли он нам радия даст?

— Радия нет, есть хлам. — Сергей употребляет еще более энергичное слово. Это в его манере — рубить сплеча, со всей категоричностью.

— Значит, напрасно читали? Зря потеряно время?

— А вы думаете иначе? Вы что-нибудь нашли?

Тон его язвительный, он иронизирует, потому что есть над чем... Похоже на то, что это ремесленническое сценарное добро побывало уже не на одной студии... Кому-то не подошло, тогда его отфутболивают нам...

— Ну, а тот сценарий, что о звеньевой, которая лен выращивает... Ты ведь с Полесья, а там есть полесский колер-локаль. Неужели не вдохновляет?

Сергей некоторое время молчит.

— Не говорите мне про Полесье. Не говорите про колер-локаль! — В его голосе боль, почти страдание. Передохнув, говорит уже тише: — Люди горят, запертые в школе... Конь вырывается из пылающего сарая... Ночь такая страшная, огонь, стрельба, крики... Лежу, как зайчонок, в бурьяне... Дух затаил. Не дыши, не шевельнись, потому что придут, заколют! Пламя гудит, стропила падают, конь испуганно ржет... Багровое, ночное, страшное — пот и все, что оттуда. Это мой колер-локаль...

Он надолго умолкает. Я же не рад, что напомнил Сергею про Полесье. Жгучая драма детских его лет. Малолеток партизанский, он совершенно случайно был спасен тогда от карателей... Чувствуется, что пережитое до сих пор еще ранит его.

Разговор наш после этого не клеится. Спать. Может, что-нибудь привидится в снах.

II

Утром снова ослепительность и белоснежность и какой-то уже не пугающий после ночи грохот ударов по всему побережью. Бьет море, сверкает прибрежной полосой, несмотря на то что день пасмурный, моросит дождь. Лес на горных крутосклонах мокро чернеет, а шапки гор, как

марсианские полюса, сверху до половины инеем покрыты. Между каскадами домиков, среди еще темных в весенней набухлости садов кое-где пробивается розовое — миндаль цветет. Раннее, словно бы даже противосезонное цветение...

Каждое утро из прибрежной дали появляется оп. Чей-то сын. Мальчишка того возраста, когда фантазия буйно цветет и береговые ребятишки себя чувствуют Магелланами. Откуда-то из-под самого рыбацкого горизонта, словно бы из сверкающей полосы прибоя, как и вчера и позавчера, появляется его темненькая шуплая фигурка. Все отчетливее проступает сквозь изморось, привычно шагает по берегу, и у меня сразу как-то теплее, отраднее становится на душе. Безлюдно, горы в изорванных клочьях туч, седые и мокрые, они окутали по склонам леса, море гонит и гонит крутогривые валы, буёк, не исчезающий ни при какой погоде, покачивается среди лоснящихся литых бурунов, ныряет и выныривает между ними одинокий, а тут — точно так же одинокий на всем побережье — появляется мальчишка. Наверное, сын рыбацкий. В черпачковой курточке, из-под которой ярко полыхает полоска пуловера, в сером картузике, оп неторопливо совершает свой ежедневный прибрежный маршрут. В руке потертый школьный портфельчик, который юный хозяин держит будто бы за ухо... На море ни суденышка. Все в барашках опо, текучее, белогривое. Открытость, беспредельность простора. До сих пор нет рыбацких судов, которые, казалось, должны были бы возвратиться из Атлантики. А мальчик есть. Вся береговая даль подернута морозящим туманом, и из этой измороси ежедневно неминуемо появляется он.

Вдоль развалин бетонного бурелома идет; приближаясь, порой перескакивает с камня на камень, чуть постоит, всматриваясь в бледно-зеленую, неприветливую безбрежность стихии. Может быть, ждет траулеры из Атлантики? Может, там отец его или брат? Иной раз присядет на вывороченную и поставленную торчком глыбу и, склонившись, заглядывает вниз, в бурлящий прибой, в его белопенное сияние. Как будто спрашивает: «Что ты такое? Почему светишься так?» Или, быть может, что-то другое его там интересует. Что море выбросит? Серебряную монету, давно кем-то брошенную на счастье? А может, отслеживает он рыбку какую диковинную, или

рачка, или дельфиненка израненного (несколько дней назад и таких подобрали, во время шторма побило их о камни). А может, ему просто интересно наблюдать, как ржавые изогнутые рельсы из кипящей пены вынырнут и снова скроются в ослепительном шелестящем кипении. Подолгу можно наблюдать, как плавно лижет вода корявую глыбу, как на мгновение окутывает прозрачной текучей пленкой обломки ступенек, сцементированных, сверкающих из-под тонкого слоя воды плитами белого, а кое-где розоватотелесного камня; среди грубых бетонных глыб эти плиты белеют так нежно, празднично, будто в них и впрямь есть что-то античное...

Мы не трогаем юного исследователя моря, не хотим отвлекать его внимания от стихии. Ни о чем не нужно спрашивать, не будем докапываться, что он там ищет; может, и сам он, этот мальчик, не совсем еще осознает природу своей любознательности, вероятно, и объяснить толком не мог бы, чем именно привлекает его бурлящий прибой, весенняя тревога моря.

— Юный сфинкс в красном пуловере, — замечает Сергей, наблюдая за ним с балкона.

— И сам он загадка, и для него вокруг сплошные загадки... Говорят, будто в генах уже заложена жажда исследования неосвоенного пространства... Вместе с инстинктом и цветом глаз закодирована тяга в неизвестность...

Что-то вроде игры: то море подкрадывается к мальчонке, то мальчонка весело крадется к морю. Из-под заношенного картузика с изогнутым козырьком краснеют исхлестанные ветром уши. Кеды видали виды, они отпрыгивают так ловко, когда пабегает волна... Лицо художавое, сосредоточенное. В особенности когда мальчонка вот так присядет и, наклонясь, отбросив портфельчик, все что-то выслеживает с терпеливостью истинного исследователя. Иногда он вдруг самому себе улыбнется, сидит так минуту-другую, озаренный сиянием улыбки.

Знать бы, чем вызвано это состояние души, что служит причиной его поистине загадочной улыбки? Худенькое личико проясняется, расцветает все, освещенное белопенной волной, даже сама улыбка освещена, мальчик в своем неутомимом поиске словно бы переживает миг вдохновения. Между ним и морем вроде бы возникает какой-то контакт, не постижимое ни для кого другого взаи-

мопонимание, возникает гармония, рожденная и поддерживаемая чем-то для нас недоступным. Вот так и пройдет, приглядываясь, мимо дома, и мы его не спрашиваем, что он ищет, к чему присматривается, нам почему-то радостно видеть этот его задумчиво-внимательный обход побережья, совершаемый в любую погоду, потому что для него, аборигена, ни ветер, ни дождь не страшны; для человека такого возраста, вероятно, нет ни сомнений, ни колебаний, при встрече с жизнью он не испытывает грусти... Весь в плену любознательности и познания, во власти своих, никому не ведомых, поисков, он подчас словно бы и шторма не замечает, грохота его не слышит, всем существом всматриваясь и вслушиваясь во что-то завораживающее, в неразгаданный язык стихии. Но и в момент задумчивости инстинкт самозащиты ему не изменяет, мокрые кеды ни на миг не утрачивают чуткой настороженности, не забывают своевременно отскочить от волны с веселым мальчишеским проворством.

Море ярится, прибой ревет, бетон, изломанный штормами, лежит всюду навалом, а над всем этим, в первоизданной бестровожности, со своими мыслями, поутру шагает, помахивая портфельчиком, юный человек. И каждое утро несет в себе эту ненасытную жажду выскидывать по берегу что-то совсем, быть может, незначительное для нас, а для него, малыша-школьника, такое важное, такое поражающее, что он сам себе улыбается, глядя вниз, в ослепительно белую кипень прибоя.

Пошло и пошло чье-то детство, совсем не похожее на детство Сергея, который грустновато провожает глазами фигурку мальчонки.

— Вот он, сын человечества... Маленький лопухий Геракл в картузике... Из Эллады шагает в грядущее...

Вечером стоим над морем на одном из выступов выщербленной набережной. Взгляды наши сфокусированы на темной точке, которая то и дело появляется в море между бурунами,— то она тонет, то вновь появляется... Ни дать ни взять — живое какое-то существо барахтается средь волн, из последних сил борется за свою жизнь. Неподалеку гостиничные футболисты потешаются над одним из своих, который, опоздав, прибыл только нынче и, не успев опомниться, сразу же поднял было тревогу на весь берег:

— Человек тонет!

Старая армянка-уборщица успокоила этого впечатлительного форварда: нет, это буск в бурунах, не человек...

Теперь и новичок, серьезный, перазговорчивый, вместе со всеми успокоенно смотрит в морское предвечерье.

III

Ночью все та же декорация мира: море, вершины гор, луна, что, словно медуза, плывет сквозь дырявые тучи...

Сегодня Сергей меньше сыплет сарказмами, настроен скорее на философский лад. Разлегся в пезлонге, руки закинул за голову.

— «В беспредельных далях космоса паша планета выглядит прекрасным оазисом», — цитирует кого-то. Излюбленная его фраза, слышу не впервые.

Вспоминаем народного артиста, нашего общего друга, который иногда, в минуты откровенности, делится с нами своим опытом, наблюдениями над психологией творчества. «Бываю недобрым, бываю даже злым, мелочным, — признался он однажды. — Но перед выходом на сцену стараюсь очистить душу от всякой житейской скверны, разбудить в себе самое что ни на есть лучшее, чистое... Только тогда до людей дойдет мое пение, это уж проверено на себе!»

— Чудесное правило для художника, — замечает по этому поводу Сергей. — Так пужко поступать и литератору, прежде чем садиться за письменный стол. И нам — перед тем, как браться за камеру... Чистой душой поэт! Отсюда и божественность его пения, то впечатление, которое лучше всех выразила не воздыхательница-рецензентка, а простая полтавская крестьянка: «Когда Иван Петрович поет по радио, мне кажется, что в хате... полевыми цветами пахнет».

Такую оценку Сергей, видимо, подхватил где-то в ярмарочной гуще — у Сергея страсть бродить по ярмаркам, по базарам. Можете неожиданно встретить его летом в каком-нибудь Кагарлике, на районном торжище, где глаза разбегаются от яркого изобилия глечиков, кувшинчиков, мисок, макитр да прочих изделий, что так и играют на солнце — звенящие, свежавыжженные, будто еще теплые, — о таких изделиях говорят: огонь печи дает звонкость, огонь души дает красу! Возле своих творений в независимых позах восседают, как над рекой времени,

и сами мастера — один покуривает, другой просто сидит в задумчивости. Достоинство, самоуважение мастера — тут оно властно и негромко живет. Нет суетливости, зазывания, он сидит почти суровый возле своих звонких, певучих изделий, и другой такой, и третий... Немпogosловные, торг ведут лаконично, степенно, без ярмарочной оживленности:

— Так будет?

— Не будет.

— А так будет?

— Так будет.

Только один среди них, покрасневшийся старичок дремучего возраста, больно уж весело рекламирует свои ложки-половники: с утра уже, видно, чарку опрокинул.

— Без такого половника хата пустая... Бери, молодича, будешь хозяйкой!.. Да не выбирай, они все одипаковы... Что ими, воевать?

— А может, и воевать?

Касса деда в небрежении — он забыл уже, с кого взял деньги, с кого не взял, — подмигивает молодичам, папешаст:

Віддай мене за того,
Що ложечки стружо...

— Диду, вы кино! — смеются женщины, и нам даже здесь, возле моря, слышен тот их задорный смех.

В настроении Сергея появилось великодушие — явный признак того, что на почте улыбнулись ему из окошечка или, может, подали долгожданное письмо либо телеграмму. В импровизациях на темы родного города пробиваются лирические ноты, встают вечерние аллеи, канделябры каштанов... Даже к футболистам появилось нечто похожее на списхождение. Где-то возле афишной тумбы сегодня Сергей случайно услышал их разговор о новом фильме, мысли хлопцев удивительным образом совпали с его собственными.

И сразу гнев сменился на милость:

— Не такие уж они дремуче отсталые. Среди них попадаются довольно интеллектуальные физиономии...

Такого права человек. Мысленно снова возвращаемся к тому мальчонке, которого мы видели утром. Этот его обход, пытлиное всматривание, жажда познания, улыбки загадочные — они почему-то имеют для нас значение.

— Вышел, как из мифа, и снова пошел, как в миф... Мимо нас, вдоль берега — в мифы будущего. Он будет

жить в третьем тысячелетии, это ж подумать!.. Вот бы для кого нам ставить фильм...— Сергей, как всегда, быстро загорается.— Фильм для сына рыбацкого!

— О чем?

Гримаса неудовольствия появляется на лице Сергея. Пуд сценариев, он нам ничего не дал, все отклонены безоговорочно. И не потому, что все они так уж безнадёжны, возможно, кто-то другой и найдет в этой руде что-нибудь для себя подходящее... А нам остается снова искать. Хотим пайти нечто созвучное жизни каждого из нас, такое, что отвечало бы нашим умонастроениям, вкусам, только при этом условии будет настоящее творчество, страстное, согретое душой...

А такого мы покамест не нашли. Сергей, глядя на белоснежную прибрежную полосу, дает волю своей фантазии:

— Этот свет прибоя, который снизу озарил мальчика и приоткрыл нам его загадочную, как у Монны Лизы, улыбку... Разве он сам по себе не является для нас чудом? Свет — это ведь сама загадочность, по крайней мере для меня! Удивительный, благороднейший вид материи, самое совершенное ее проявление... Граница ее возможного движения. Непревзойденное в скорости... Одновременно и волна, и частица... И возможно, еще что-то...

— Антипод космической тьмы.

— О, вы сразу переводите на шутки... Но это же правда... Вершинное самопроявление природы, ее шедевр! Согревает своей ласковостью... Создает волшебство фотосинтеза... Чудо из чудес! Недаром же берем его как образ чистоты, совершенства, наивысшей энергии жизни. Может, и в самом деле тут происходит переход реального в идеальное? Говорим ведь: свет разума. Свет любви. Свет надежды... Да! Я хотел бы снимать фильм... про Свет! Про свет как таковой. Так бы и ленту назвать: «Свет»!

— А как это тебе представляется на экране?

Сергей не слышит, размышляет, углубленный в себя:

— Свет, к примеру, как содержание, а форма... Ну, скажем, круг. Все в природе стремится обрести форму круга, выпуклости, шара. Планеты и электрон, небесное светило и яблоко или капля воды... И даже мозг человеческий с его полушариями... Как раз в форме круга природа, по-моему, полнее всего способна проявить себя, свое совершенство.— Помолчав, он продолжает: — Когда-то слышал от одного циркача, что круг у них на манеже

имеет постоянный диаметр и такой он во всех цирках мира — тринадцать метров. Ни меньше, ни больше, именно такой величины, иначе конь не пойдет по кругу, станет нервничать, запутается... Нужно непременно тринадцать. Почему? Просто кабалистика какая-то.

— Однако, дружище, так можно очуметь. Свет... Круг... Так и мы, вроде тех цирковых лошадей, можем запутаться... В общем, вряд ли это нам подойдет. А уж если мы решим делать фильм про Свет, так пусть это будет лента о внутреннем свете человека... Когда-то ты, кажется, собирался сам написать сценарий?

— Была попытка. О детстве хотел... Но потом отказался от этой мысли. Слишком затемненный фон. Лишь отдельные кадры впечатлений, отрывистых, мучительных... Ночь расправы, конь, выламывающийся из пылающего сарая... Красно-багровая тьма, хаос Герпики и все... А вот вы смогли бы.

— Тоже о детстве?

— Нет, о юности. Как-то вы рассказывали о себе, о друзьях своих. Почему бы не сделать, скажем, хотя бы о той черной одиссее окружения?

— На эту тему было.

— Смерчи взрывов, пожарища батальи — не это я имею в виду. Раздумья о неистребимости человека — так это мне представляется... Что вам светило? Что удерживало каждого из вас в жизни среди того вселенского хаоса? Какими вы были на самом деле? Ведь это о вас, кажется, и ваших ровесниках сказано: «Мы были высоки, русоволосы... Вы в книгах прочитаете, как миф... О людях, что ушли недолюбив, недокурив последней папиросы...» Теперь, когда расстояние времени многое стерло, приглушило...

— Нет, дружище! Ни расстояние, ни время этого не сотрет. Как болят в тебе твои полесские Лидице, так болит и во мне та горькая, трагичнейшая лента жизни. Есть такая боль, которая, наверное, навсегда в душе запекается... Кровоточит, к чему ни прикоснешься... Окровавленный наш студбат стоит во ржи, склонившись над первой молодой смертью... И живой Днепрогэс, взятый на короткое замыкание, где уже горят генераторы и пламя полыхает из окон машинного зала... Ту горечь уничтожения, отчаянье, ту боль, которая перестает быть болью, — какими кадрами все это передать? Нелегко? Болит? Или, может, именно потому и стоит браться, что болит?

— Да, да, вы это должны сделать, — настаивает Сергей. — Более того: вы не имеете права не сделать этого!

Фильм о самом тяжком? Их, никем не зафильмованных, воскресить и вынести на экран... А может, это и не совсем этично — друзей своих вывести напоказ, сделать объектом искусства? Ведь они вовсе не готовились к экранной жизни. Просто жили. Боролись. Никто из них не думал, что какое-то его слово, случайный жест или поступок со временем предстанет в свете экрана для всех. И наконец, что скажут они, эти твои экранные люди, тому, который будет жить в третьем тысячелетии, где-то за пределами нашего бытия? Поймет ли он их? Или нужно, чтобы услышал и понял?

Чувствуешь, что, собственно, это давно уже в тебе созревало. Быть может, даже еще тогда, когда в шипели демобилизованного пришел на восстановление своего Днепрогэса, где и встретил того заслуженного киноволка, чья камера как раз увековечивала хаос железобетонных руин. Рабочий-осветитель понадобился ему. Парень, до сих пор занимавшийся этим, сорвался с руин арматуры, получил серьезную травму, его отправили в больницу, срочно пужно было парня кем-то заменить, и этим кем-то оказался ты. Гигантские развалины гидросооружения, пороги, яростный рев воды сквозь проломы в плотине — все это пужно было заснять, сама история заказывала этот киподocument. Днепрогэс — столица турбинного света, сияния сказка твоего детства, она должна была вновь возродиться! Работы велись днем и ночью, и сам ты по ночам лазил среди руин со своим светильником, карабкался, пробегал над пропастями, ловкий как обезьяна, без опозданий являясь по первому зову, освещая снопом лучей то один, то другой участок этого хаоса. Даже руины эти не должны были пропасть для вечности, они должны были заговорить языком факта, обвинения и предостережения. Все, чего ни касался свет рефлектора, было тебе там близким и дорогим, и раненый дух твой находил живительные бальзамы в самой атмосфере пародного труда, в напряженной стихии восстановительных работ, которые радостным неистовством своим папоминали энтузиазм первых днепрогэсовских ночей... Ты был добросовестным осветителем, но как он тебя гонял, этот старый киноволк в резиновых грязящих сапогах! Ни солидный возраст, ни астма не мешали ему быть неутомимым, зажигать всех своей ловецкой жаждой. Лови кадр! Лови миг! Не это!

Вон то! То! А почему именно то! Треснутый бетон, темная вода в грохоте бурления, зеленоватый лишайник на камне... Зачем оно ему? Все, все дорого. И только схватил кадр, ищет другой, ищет вот так в течение всей жизни. Главное — схвати, не пропусти. Потом уж разберешься, какова ценность этого найденного. Покамест ему и названия нет. «Вон то, вон то!» Подчас ты искренне удивлялся своему толстому астматическому наставнику, который не растерял душевного огня, ненасытной жажды жизни, в осеннюю слякоть гонялся за своим «вон то» до упаду. Или, может, и вся соль именно в том, что где-то оно есть, но ускользает от тебя, не дается тебе? Может, и вся прелесть в том, что оно, как зайчик луча, бескопечно убегает и, не давшись, оставляет тебе лишь чувство ненасытности, разжигает новую жажду?.. Позднее ты и сам испытаешь это состояние, эту одержимость, волчьих хроникерские аппетиты, которые вначале тебя лишь удивляли. Но быть может, именно тогда, когда ты, рабочий-осветитель, ночью терпеливо стоял среди бетонного хаоса, и пробуждался в тебе художник, такой же неутомимый искатель, которого навсегда заполнит светопись экрана? В текучих раскадрированных лентах находил что-то общее с художественными фризами антики...

— Великое искусство ставит великие вопросы, — говорил киноволок. — Вечные, исконные вопросы, они в самом деле существуют для человечества... И кто их сумел хотя бы поставить перед своим временем, заставил над ними задуматься, тот не зря жил на земле...

Постепенно крепла дружба с киноволокком, с тем неутомимым, будто всегда запаленным от бега седым уже тружеником, который полмира изъездил со своей кинокамерой. Седогривый и неопрятный, он с первыми бойцами врывался в концлагеря Европы, чтобы схватить на пленку тени людей, ходячие живые скелеты... А когда-то, еще юношей, заснял он последний поход лощманов через пороги, через Ненасытец, который вскоре должны были затопить. В минуты хорошего настроения, в вечерних исповедях старик любил прихвастнуть кадрами своей молодости, когда снимал он самое историю в ее неистовствах, в самом крутом взлете, когда дед Яворницкий, чудак, академик, казачья душа, стоя с лощманами на плоту, отдалялся от кинокамеры, отплывая словно бы в иную реальность, махал брылем и что-то буйно кричал сквозь рев порогов тебе в объектив...

Давно уже нет киноволка. До последнего часа не мог утомиться, все жалел, что «вон то», главнейшее, он так и не успел... Но именно он привил тебе любовь к беспокойной своей профессии, взяв с тебя слово, что и после того, как он сам, старый непоседа, уже окажется «за кадром» (так он сказал), ты возьмешь на себя и «Аймо», любимую его кинокамеру, и все непрожитые хлопоты мастера возьмешь, сквозь его объектив будешь ловить этот неуловимый мир... «В тебе что-то есть, Колосовский,— говорил старик незадолго до финала.— Недаром ты с эллинами запанибрата... Умеешь схватить ядро события, вылущить кадр из руды несущественного. Не учился специально? А я? А Довженко? Киноматограф любит ворягов. Гладеньких, отутюженных много, а сюда подай ершистых пришельцев с цепким взглядом. У тебя есть эта цепкость, Колосовский, ты чувствуешь свет, ритм... И вообще — мыслишь... Ну, а вся эта наша алхимия... Не так черт страшен, как его в киноинституте малюют!..» Воодушевил тебя, помог увериться в своих силах, и вот, вместо того, чтобы вести раскопки, вымучивать диссертации, сам теперь носишься по свету, как Летучий голландец, и виновник все тот же, всегда охрипший от крика от надсасы, твой первый учитель, передавший тебе в наследство неутолимую жажду воссоздать на пленке развихренный жизненный макрокосм... Живешь, проникаясь чувством, что в самом деле нашел себя в этой стихии, все чаще воспринимаешь окружающее в причудливом мерцании кадров, и они разжигают твою ненасытность, потому что ты их ловец, расшифровщик, отборщик! С истрепанными первами, с желанием почти фанатическим готов черт знает куда гнаться за облюбованным кадром, добровольно посвятив себя этой вечной погоне и даже лавров особых не ожидая, — вместо лавров чаще всего патыкаешься на колючки, а короткие радости находок снова сменяются неудовлетворенностью.

«Лови! Лови кадр, Колосовский!» Поймай и увековечи! Останови время на его бешеном скаку! Заставь остановиться мгновение — прекрасное или даже уродливое. Чем не доктор Фаустус в его дерзновенном желании? Каждую росинку жизни, мимолетную вспышку ее останови — и станешь кудесником, потому что постигнешь то, чего никому еще не удавалось постичь. Но, не уловимое никем, оно покамест и тебе не дается...

Будут скучать парочки, смотря твою хронику будней

перед полнометражной любовью, будут с нетерпением ожидать, чтобы поскорее закончилась твоя кинопрелюдия. Еще одна новостройка в металлических каркасах, в холодности кранов... Комбайны, вышедшие на первую косовицу... Даже в такое будничное ты стремишься вкладывать душу. Поэтическая документалистика, она ведь возможна! Совсем не обязательно, чтобы волны банальностей наводняли экран. Ты кинорепортер-моменталист, в тебе, кажется, выработалась с течением времени даже своеобразная психология документалиста, охотника за мгновением. Врываясь в метелицу дней, ты отбираешь кое-что из пих для экрана, смотришь на сегодняшние страсти словно бы из будущего, камера твоя укрощает вихрь, сам ты должен быть объективен, как бог. Личное твое построение, радость, а в особенности грусть — все это должно оставаться за кадром, ты должен дать факт голый, как гвоздь... А где же «вон то»? И какое оно в тебе самом, в твоих чувствах? Насколько проявляет себя в индивидуальных особенностях твоего видения мира? В кинорепортажах не очень размахнешься, хронике дисей не до твоих субъективных эмоций и философствований... А размахнешься, того и гляди попадешь еще и в приказ за перерасход пленки: нарушил лимит!

Теперь открывается наконец возможность. Так расскажи же! Выведи на экран тех, кого, кроме тебя, никто не выведет! Но как? Какой должна предстать эта лента? В каких тональностях, в красках каких? Не одна еще ночь проходит в напряженных раздумьях. Ибо кто с уверенностью скажет, на каких путях следует искать свое неуловимое «вон то»? Есть граница, на которой никто уже тебе не советчик. Видимо, каждый человек сам должен искать кратчайший путь к истине...

IV

Итак, лента... Образ Человеческой Реки, тяжелой реки горя, мог бы впервые появиться здесь. По сухим безводным балкам течет бесконечная человеческая река.

Если кто смотрел на нее сверху, с самолета, то, вероятно, такой и видел: по всем руслам балок, под стволами орудий, что наводят с пригорков танки, течет и течет она, река людей, серая лавина человеческих жизней. По полях. По терновникам. По выгоревшему, вытоптанному дну буерака — бесконечным множеством чьих-то понурых

судеб, заросших лиц, распаленных дум и неразгаданных миров, что угрюмо несет в себе каждый, ничем, кроме горя, не похожий на других...

И товарищи твои, где-то там они идут, в отдалении лет, среди знойных степей. Запыленные, в порыжевших, окровавленных гимнастерках...

Где-то там...

V

Гора пад городом.

На горе — тюрьма.

В тюрьме — мы.

Kriegsgefangenenlager. Такое слово. Железное. Каменными стенами, колючей проволокой отделены мы от планеты. С четырех вышек, с четырех сторон света подстерегает нас одноглазая пулеметная смерть. Из всего живого остались для нас одни только мухи, что роятся над нами, облепляют нас, как воронье. Есть где-то орлы, есть львы, чайки белокрылые, а тут только мухи. Раны, да палки надзирателей, да поверженные — мы. Душит нас смрад, сжигает зной, и почти счастливец считается тот, кто успел захватить кусочек тени у стены. Полно нас па всех этажах, пекуда шагнуть па ступеньках, нами кишит весь двор. Уподобившись друг другу в своей поверженности, валяемся, пребывая в каком-то трансе; с пригасшими мозгами, с пригасшими глазами, с каждым днем приближаемся к самой роковой черте — черте крайнего равнодушия. На полдвора — клоака, кровавая дизентерийная топь. Там корчатся люди. Мучаются, там и умирают. Смерть никого уже не удивляет, она перестала быть загадкой, таинством.

Сколько нас здесь? Говорят, сто тысяч. Сто тысяч безымянных, непронумерованных, опрокинутых в небытие. Брошенных на расправу мухам и этому смердящему солнцу.

День ото дня тают наши силы. Угасаем. Все резко выпирают ребра, отрастают бороды. Скоро будем такими, как этот вот высохший человеческий скелет, что, скрючившись, сидит перед нами на жаре тюремного плаца и тихо, безутешно плачет. Горе его огромно. Все события, все беды и потрясения мира могут, оказывается, померкнуть перед таким горем:

— Украл котелок...

Котелок украли! Стоит на коленях, как во время молитвы, оглядывается безнадежно, в горьких своих слезах. Нет котелка. Теперь он обречен. Теперь он не сможет получить даже порцию той отвратительной, с черными баляды. Перекошенные от боли губы его перед этим что-то шептали о доме, о детях маленьких — уже не в силах шептать, дрожат, высохшие, пергаментные, безжизненные. Обреченный, он осознает это. Не просит, не вымаливает помощи, потому что нет здесь никого, кто бы ему помог. Решетняк с его добротой, конечно, первым бы откликнулся, но и сам он вынужден подставлять под черпак замусоленную свою пиютку, — только эта его пиютка покамест и спасает нас.

Где-то семья с маленькими детьми, где-то жизнь, которой он жил, а сейчас только ямы глаз, еще способных наполняться слезой, подлобные провалины, в которых, быть может, лишь этим блеском слезы в последний раз проглядывает тайна человеческой жизни... Он не ищет нашего сочувствия, он примирился с величайшим своим горем, которое раньше потрясло бы, взволновало и нас, а сейчас почти бессильно пробить тяжкую, липучую сопливость наших изнуренных душ. Неужели мы утрачиваем дар сочувствия? Это было бы самое страшное. Холодная Гора является для нас не просто местом заточения, ужасом лагеря, она становится понятием. Пожалуй, она на то и рассчитана, чтобы расплющивать, опустошать, разрушать человека. Да, неволя разрушает человека больше, чем рапы, чем болезнь и голод, в этом я убедился здесь. Самая страшная опасность, которую таит против нас Холодная Гора, — это способность делать нас равнодушными друг к другу, повергать в состояние отчуждения, разъединять, обрывать связи между людьми. Ненавижу собственное бессилие и это отчуждение, не предвещающее добра. И я благодарен Решетняку за то, что он все-таки смог сказать слово: советует несчастному пойти туда, где клепают, где создан уже целый цех клепальщиков, может, удастся хоть за рубаху там выменять консервную жестянку.

А ведь были же мы людьми! Знали дружбу, ходили в атаки. И уже с яростью галлюцинаций воображение рисовало мне тот горячий июньский день, когда со своей штурмовой ротой я врываюсь в Харьков со стороны Белгородского шоссе! Бегу, ликующий победитель... Не пугала

нас тогда смерть — кто был в бою, кто пережил счастливые экстазы наступления, тот понимает это состояние. Если уж умереть, так именно в штурме, на лету, освобождая родной город... Это была почти идея-фикс: если конец, то только так, только там, на площади Дзержинского перед Госпромом, влететь и упасть, как падали когда-то гонцы — вестники победы на площадях античных городов... Немного картинно? Но ведь и картинность чего-то все-таки стоит, если она готова подтвердить себя такой ценой, собственной жизнью. Во всяком случае, тебе с этим юношеским идеализмом, с этими, пусть даже чуть-чуть честолюбивыми видепиями легче было вставать в атаки... Уничтожали, истребляли фашистскую нечисть, а теперь она очутилась над нами на вышках. Нет ароматов жизни, только смрад, миазмы неволи. Мир, обезображенный, опоганенный фашистами, стал не похож на себя, он словно бы омертвел, для нас он только сплошная тюрьма и тюрьмой будет до тех пор, пока или смерть, или оружие снова в руках и снова штурмы, атаки...

Ночью все беспинельные стремятся втиснуться в помещение; между клубками тел, покрывающих ступеньки, нам иногда удастся пробраться на самый верхний этаж. Оттуда, с вершины своей тюрьмы, пытаюсь сквозь тьму ночи рассмотреть то, что мы когда-то с тобою любили. А любили мы Шевченковский парк с шелестящими ворохами осенних листьев, и белую колоннаду нашего главного университетского корпуса на улочке Вольной академии, и вечерние огни в ореолах тумана... Ничего нет! Безжизненность. Каменные дебри погруженного в темпоту города. Царство мрака и патрулей, а оттуда, из недавнего, сверкает тебе Днепрогэс радостным разливом турбинного света, Днепрогэс, который в виде плана ГОЭЛРО когда-то оставил Украине Ленин. На твоих глазах размывалась начиненная динамитом плотина, яростная разрушительная вода, ринувшись потоком, пошла на плавни, где еще полно было обозов и войск; опускался уровень озера Ленина, вылезали из воды обросшие скользким мхом пороги, — и теперь даже здесь, на Холодной Горе, режут они тебе мрачным первобытным ревом.

Такие тут ночи. Разрывают душу болями утраченного, топят потоком тьмы... А днем снова это отвратительное состояние безразличия, когда истощение убивает тело, и сознание уже еле теплится, и смрад баланды воспринимается как характернейший смрад неволи. Все пережитое

лишь видением появляется иногда из невероятно далеких сказок-ирреальностей. Ведь и сейчас не всюду же вышки и проволока? Может, где-то, хотя бы в джунглях, слышен человеческий смех, люди знают радости и любовь, а вы, заживо погребенные, думаете тут лишь про харч да про побег?

По ту сторону тюремных ворот целыми днями выстраивают чьи-то жены и матери, эти вечные неутомимые странницы, что в поисках близких вот так, с котомками, босиком, бродят от лагеря к лагерю, не проходят и мимо этой проклятой Холодной Горы, надеясь в ее невольничьем вавилоне разыскать, увидеть своего. Холодная Гора уже имеет черную славу, тут один из крупнейших фашистских концлагерей на Украине, и пыльные дороги этого лета отовсюду приводят сюда толпы изгоревавшихся женщин.

Решетняк глазами все время там, в толпе странниц. Не теряет надежды человек, уверен, что рано или поздно появится возле лагеря его Катря, увидит он ее перед воротами, опаленную ветром, с ребенком на руках. Где-то же она есть, когда-нибудь все же дойдут к ней его записочки — их он по одну перебросил в толпу, ловко увертываясь от палок надзирателей... Надеждой живет человек, только она, кажется, и поддерживает его дух в этом невольничьем пекле. Получает тумачи, подзатыльники, а потом опять-таки сторожит у ворот, где какой-нибудь из надзирателей, удивленный необычным упорством узника, порой разрешит себе даже пошутить:

— На волю так сильно хочешь? Но на волю вам отсюда, голубчики,.. — и укажет плетью верх: — Только через небо дорога!..

На грани крайнего истощения распаленная психика вдруг проявляет удивительное сопротивление угасанию, буйные вспышки таинственных сил жизни в последней напряженности дарят здесь людям необычайные художественные видения. Из бытия реального человек переносится в мир галлюцинаций, он становится... «мусульманином» — так на своем жаргоне называет лагерь доходяг, тех наиболее изуродованных, почти бестелесных, кто уже перешагнул порог царства призрачного, перед чьим горячим взглядом вместо лагерной грязи вырисовывается роскошный мир фантазий, игра предсмертных ярчайших видений... Если пошел какой-то спотыкаясь, будто не в себе, или сидит с отсутствующим взглядом, точно наку-

рившись опиума, если губы его сами шепчут стене что-то словно бы молитвенное, а глаза другого отчужденно блуждают над вышками, где-то в неземном призрачном мире, — так и знай, это уже «мусульманин», недолго ему топтать лагерный плац. Решетняк хотя и не дошел еще до состояния «мусульманина», но и он, случается, вдруг вскочит со сна и как очумелый: «Идет, идет! У ворот уже, воп опа с ребенком на руках...» И мчится поскорее к воротам.

Просто загадочно все это: тело неживое, а мозг горит в последнем усилии, дух сам рисует эти буйные, яркие фантастические картины, прощальные фильмы разгоряченной психики... Или, может, именно опи более всего и поддерживают Решетняка, не отпускают его из жизни?

Иногда нас ведут на работу. Через раскрытые ворота выходим в сутолоку зпойного города, ставшего до неузнавания чужим. Под усиленным конвоем гонят нас куда-то, движемся с горы серой колонной, плетемся, существа в лохмотьях, несчастнейшие страдальцы этого страшного мира. Босые ноги паши горят от камней мостовой. В полутьме истощения, с пригасшим сознанием идем в раскаленный камень, в тоннели душных улиц. Видим на тротуарах людей, каких-то персальных, поникших, мелькают смутные пятна лиц, исполненных боли, тоски и сострадания.

Ничто так не унижает, как бесправие. Есть что-то позорное в том, что тебя караулят, ведут под автоматами, подгоняют окриками, как скотину. И все же наша совесть спокойна. Выпрямившись, шагает рядом со мной Решетняк, даже среди нас выделяющийся своей костлявой — кожа да кости — худобой; с другой стороны как-то даже злобно-горделиво шагает с трубкой в зубах, в фуражке набекрень Давид, кавказец, которого Решетняк упорно именуется Шамплем. Для других он один из серого множества, и только для нас с Решетняком этот парень озарен светом необычайности: знаем о нем больше, чем кто-либо другой, знаем, какими грозами владел этот Шамиль, и паша общая тайна словно бы роднит нас в лагерной мешанине... Шампл так Шамиль — друг наш не возражает. Главное, что часовые даже не подозревают, кем был этот черный, дистрофической худобы кавказец на поле боя, как сметал, сжигал фашистскую пехоту своими огненными смерчами... А сейчас только угасшая трубка осталась... Трубка пуста, давно уже в ней не было табаку, но

она торчит, крепко стиснутая в зубах, словно бы вызывая к тротуарам: «Мы еще живы. Мы не сломлены. Мы сделали все, что могли».

Порой наступает черная депрессия, отчаяние сдавливает так, что ты уже готов на все, готов с пустыми руками броситься хоть и на штыки... И кто более всего поддерживает нас в минуты душевных кризисов, так это Решетняк. Спокойствием, рассудительностью своей поддерживает, потому что рассудительное и мечтательное — это в нем как-то уживается, сочетается при любых условиях. В минуты, когда захлебываешься от отчаяния, когда кажется, что впереди ждет тебя только смерть или безумие, вот тогда приходит Решетняк на выручку изверившейся душе, выводит нас из депрессии своими спокойными видениями появившейся откуда-то его Катерины — смуглолицей странницы с ребенком на руках. Она будет, непременно будет! Только пужко не поддастся истощению, держаться до того заветного часа.

— Становиться! Быстрее! — постоянно тормозит он нас, когда где-нибудь начинают выстраивать для работ. Потому что на работе, смотришь, что-нибудь да и перепадет от людей, а главное, может появиться тот единственный из тысячи шансов случай-просвет, после которого недосчитаются нас конвоиры!..

Этим мы теперь живем. На работе нам дают лопаты, мы должны перевернуть горы угля. Спизфов труд. Взрываясь пылью, шуршит уголь, скрежещут лопаты, обалдеваем, обливаемся потом в черной туче, наглатываясь угольной пыли. Решетняк и Шамиль, зная, что меня еще не совсем отпустило после контузии, оберегают, как могут, мою персону, заслопляют от часовых, слышу шепот возле себя: «Неполную лопату набирай...» Вскоре все мы становимся черными, как шахтеры в забое. Ноет все тело, судорожно сводят голодные спазмы. «Давай, давай, рус!» Антрацитные горы ползут нам на лопаты, снова скрежет, понукания, взрывы пыли — люди в ней черные, как обугленные, работают без передышки. Непонятно, зачем его перебрасывают с кучи на кучу? И где мы паходимся? Кажется, возле электростанции? Давай, давай! Кого-то уже бьют, другому угрожают автоматом. Угнетает бесцельность этой работы, ее жестокая бессмысленность. А где же обещанная кормежка? Не будет! Не заработали! Воды попейте, и все!

Снова выстраивают, еле ноги тащим к воротам. Конво-

пры возле нас неотлучно, с угрозами, бранью, стволы автоматов выслеживают каждого, кто лишь попытается оглянуться. Под забором — запыленный стебелек сорняка. Один из наших нагнулся, сорвал на ходу и сразу же принялся с жадностью есть этот бурьян. Отважно как-то ел, смаковал травинку, глядя конвоиру прямо в глаза. «Съем эту травинку и буду жить! Не уморишь меня! Не уничтожишь!» И чужеземец именно так истолковал это. Как вызов. Как бунт. Холодно смотрел своими голубыми выпуклыми глазами. Вытер грязным платочком вспотевший лоб. Спрятал платок в карман. Не спеша достал «вальтер» тяжелый из кобуры, приблизился и... выстрелил пленному прямо в живот.

Стража, разъярившись, подталкивает нас прикладами: — Вег, вег! Не оглядывайся!

Скрюченное тело еще извивалось, поваленное под забором. Если передается на расстоянии боль, то где-то содрогнется в этот миг материнское сердце. Безымянный. Чей-то. Непайденный. Остался в пыли лежать, а колонна дальше пошла. Обугленная, поникшая, как бы придавленная тяжестью мысли: неужели до такой уж степени обесценилась человеческая жизнь? Когда вытянулись на улицу, вздохнул Решетняк:

— За травинку...

Молчим. Через некоторое время кавказец выпул трубку изо рта:

— Не за травинку оп его.

— А за что же?

— За то, что не раб. За то, что человек. А если человек — на всю жизнь ты враг этой сволочи фашистской...

И трубка снова в зубах. И дальше уже молчим до самой Холодной Горы.

Возле тюрьмы женщины с передачами набросились на колонну, и одна из них, отбиваясь от конвоиров, все-таки успела сунуть Шамилю бумажный кулечек. В лагере, когда развернули, обнаружили в кулке... лапши черной граммов триста... Какое это богатство здесь! Расположились под стеной заговорщической своей троицей и черными от угольной пыли руками бережно развернули газетный кулек. Богачи, мы сейчас должны были разделить его на троих, каждый получит свой паек, получит и съест. И, осторожно деля, ощутил я вдруг на себе чей-то взгляд, гипноз жажды, молчаливый крик голода. Посмотрел и увидел, как следит за мной, за движениями моих паль-

цев тот, у которого котелок украли, у которого дома дети маленькие... Нет, он не посмел у нас просить. Тут не раздают. Тут нет щедрых. И может, именно потому, что он не просил, не канючил, не унизился до этого и что взгляд его какой-то изнуренной честностью словно бы напомнил нам о нормах иной жизни, я, переглянувшись с товарищами, почувствовал их молчаливое согласие: ладно... Не возражаем...

И разделили на четверых.

— Бери, товарищ.

Он не поверил даже. От неожиданности не смог даже поблагодарить. Нагнулся, торопливо сгреб свою долю с развернутого кулька, шмыгнул прочь, провалился в толпе.

Вот когда душа почувствовала облегчение! Впервые после дней и ночей неволи, после всех унижений плена каждый из нас пережил миг обновения, словно бы просветленными глазами посмотрели мы друг на друга... Ведь если пахло в тебе нечто такое, что победило спазмы голода, крик желудка, — ты еще не зверь, ты еще человек!

VI

Будет идти дальше лента жизни Решетняка. Ничем внешне не выдающаяся она, эта жизнь, хотя, на мой взгляд, не менее важная, чем жизнь какого-нибудь прославленного маршала, или мореплавателя, или ученого, расшифровывающего загадки древнейших клинописей. И пусть эта жизнь не очень купается в мудрости и, может, больше сейчас озабочена, где бы найти кусок консервной жестянки, чтобы выклепать котелок, чем мыслями о вечности и загадке бессмертия, — все же от этого она не теряет для меня своей значительности. Она ценна, как редкость, как вершина творения, в котором заложена сама тайна бытия. Драгоценна уже хотя бы тем, что единственная. Неповторимая. Что кто-то его ждет, вот таким кто-то любит, что для кого-то он дороже всего на свете.

Рядовой Решетняк... Тягач войны — так можно было бы ленту назвать, пользуясь распространенным у нас выражением. Один из множества загнанных сюда, за колючую проволоку. Здесь он уже не герой, не трус. Просто несчастный человек, лагерник, как и все, истощенный до желтого тумана в глазах, до состояния, когда все уже

в тебе дотлевают, ко всему становясь равнодушным, и ты постепенно погружаешься, как я трясину, в эту слабость, сопливость... Но нет, лагерь еще не выпил из него жизнь до конца! Переживаем исторический момент: Решетняк вознамерился сам стать клепальщиком. Раздобыл где-то металлических обрезков, а еще раньше, когда гнали с работы, подобрал по дороге расплюснутую консервную банку и теперь сидит, устроившись в тени среди дежа клепальщиков, клепают, кует... Обещает на завтра выковать посудину для себя и для товарищей. Руки работают умело, гнут, прилаживают, а взгляд то и дело за ворота, где все-таки должна появиться откуда-то издалека, будто из золотой античности, его смуглая босоногая мечта с младенцем на руках.

Как важно, чтобы человек верил в свое счастье, по растерял надежд! В наших обстоятельствах вещи словно бы малосущественные обретают подчас почти спасительное значение — воспоминание какое-то, улыбка полузабытая, примета, которая при иных обстоятельствах только повеселила бы... Перед самым началом войны, когда Решетняк с товарищами стоял на границе, однажды привезли им вместо снарядов огромное множество подков — но один эскадрон хватило бы подковать. По ошибке, паверное, прислали им столько этого добра, потому что часть их не кавалерийская, а кони на батареях были у них хорошо подкованы.

— А может, это нам на счастье? — сказал тогда Решетняк, прикасаясь рукой к острым шипам, которым прямо-таки тесно было в только что открытых тяжелых ящиках. В числе тех, кто задумчиво рассматривал новенькие, еще не тропутые комплекты подков, стоял и капитан Чимкасов, их батарейный.

— Так на счастье, говоришь? — переспросил он почти сурово и посмотрел на Решетняка тогда очень пристально. — Боекомплект счастья нам, артиллеристам, и впрямь не помешал бы.

Подковы эти вспоминались потом Решетняку не раз. Пройти все то, что он прошел... ночи в багровых пожарах и дни, что будто в постоянных сумерках над тобой... сражаться с тапками, прямой наводкой расстреливать их среди лобастых гранитов Подолни... принимать на себя всю тяжесть неба, налитого воем «мессершмиттов»... все пройти, выдержать, все вынести на крутых солдатских плечах своих и остаться в живых... Нет, для этого нужно

было иметь крепкую подкову, кем-то выкованную тебе на счастье!.. Отступали с тяжелыми боями. До Днепра были у них и пушки, и кони, и хозяйство батарейное, а на левый берег вышли без ничего — только души свои вынесли из святой днепровской воды. Горстка бывших пограничников оставалась к тому времени возле своего батарейного. Стали пехотой, чувствовали себя как бы голыми без своих орудий. Днепр ненадолго превратился в рубеж. Деревянные мосты были сожжены, а железнодорожный, для которого не нашлось взрывчатки, вынуждена была расстрелять наша же артиллерия. Дымился на той стороне, перед мостом, расстреливаемый клочок земли, на глазах сужалась шагрелевая кожа плацдарма... Тысячи солдатских глаз опечаленно смотрели с левого берега, следили, как, неведь откуда появившись, мечется перед разрушенным мостом обезумевшая артиллерийская упряжка, которая исторнику папомнила бы урартийскую боевую колесницу, окованную бронзой и обшитую мехом, а за пою, точно волчья стая, гонялись пемецкие мотоциклисты. Били по ней снаряды, накрывали мины, казалось, уже ее нет, разнесло, а она в этих взрывах, в дымках появлялась снова, черная, как ярость, как отчаяние, совершала свои безумные прощальные круги до тех пор, пока, подлетев к крутизне берега, вздыбилась лошадьми и с высокого обрыва пошла кувыркком в темные водовороты Днепра...

С каждым днем все меньше становилось их, вчерашних батарейцев, кадровиков-пограничников, а потом всего двое осталось: Решетняк и капитан Чикмасов, его командир. Однажды в суматохе отступления они потеряли друг друга, пришлось Решетняку присоединиться к другим, шел с незнакомым политруком, подчиняясь ему только потому, что он политрук. Бойцы ни фамилии его не знали, ни из какой он части, знали только, что он политрук, и этого было достаточно, чтобы довериться ему, признать вожакom, и он вел их по полям окружения, ни разу никому не улыбнувшись. И хотя, казалось, среди множества войск Решетняку совершенно невозможно было разыскать своего батарейного, невозможно было высмотреть знакомого человека в этой вселенной стихии, в тучах отступления, где стоило кому лишь на миг задержаться, и уже он потонул, исчез, как исчезают песчинки в песчаных бушующих бурях, — однако Решетняк и в этих бурях

все-таки заметил своего капитана, и, когда они встретились, не видевшись двое суток, невольно бросились друг другу в объятия.

— Вот тебе и подкова,— сказал тогда батарейный, и слезы сверкнули у него на глазах, хотя был он не из плаксивых.

Дальше уже не расставались. Вместе шли через болота, вместе залегали в оборону, горечь отступления делили одинаково терпеливо. И хотя оба они были молчаливыми, но и в их молчании жила родная батарея, и граница, и товарищи, и общность долга. Сколько было тех оборон, сколько земли передолбили маленькими саперными лопатками, взятыми у тех, кому они были уже не нужны. Однажды ночью в их окопы стали внезапно вваливаться — прямо с марша — мокрые, запыхавшиеся бойцы, прибывшие им на смену. Хватая грудью воздух, спрашивали оторопевших спросонок старожилов, где враг, в какую сторону стрелять. И хоть замену приказано было провести как можно тише, враг, вероятно, все-таки услышал ночную возню, потому что еще не успели одни отойти, а другие заняты окопы, как по ним полоснуло шквальным огнем, на флангах загрохотали танки,— струями трассирующих, вихрем огня враг создал словно бы коридор темноты, который единственный только и был теперь открыт для отступления. Танки, все время двигаясь, всю ночь гнали их по этому коридору, насквозь простреливали сдавливаемое пространство, где в смерче, в огненной метели трассирующих пуль вслепую летели толпы задыхающихся людей. Бежали по какой-то стерне, через кукурузные поля, путались ногами в гречихе, падали, поднимались и снова, задыхаясь, захлебываясь воздухом, из последних сил мчались в хаос ночи, в дьявольскую фантастику тьмы и огня. Пот из-под касок ручьями заливает лицо, разъедает глаза, горло пересохло, в груди горит от нехватки воздуха — кони запалились бы, упали бы от такого гона, а люди тут падали только от пуль.

Помнится, более всего беспокоило тогда их обоих: как бы не потерять друг друга в темноте. Если и хотелось тогда Решетняку еще жить, то, пожалуй, только для того, чтобы раздобыть где-нибудь росинку на губы, полжизни — за глоток воды!

На рассвете, измученные, запаленные бегом так, что не в состоянии уже были и пригнуться от пуль, увидели вдруг утреннее диво перед собой: огромное поле помидор-

ное, бесконечная плантация румянилась в росе! Всюду под погами, ботву повалив, лежали на земле эти степные дары, роскошные, болгарских сортов помидоры, каждый величиной чуть ли не с каску... Налетая на них, бойцы падали, в дикой жажде хватали, разламывали, с жадностью впивались, заливаясь соком, и ничто не могло теперь оторвать их отсюда, измученных этих людей, — жажда была сильнее пуль, сильнее смерти.

Целый день продержались, зацепившись за эти помидоры. Красное чудо природы, в котором объединились сила солнца и соки родной земли! Разломив его, а он весь искрится и неем мякоти, утоляет жажду, напиток спасительный... Еще и бахчу обнаружили поблизости, и когда Решетняк ползком катил перед собой огромный, в рябой сорочке арбуз, которым хотел угостить своего раненого в ту ночь командира, вжикнуло перед самым носом, пуля насквозь прошла арбуз, так и брызнуло соком Решетняку в лицо!.. Будь это в старые времена, подумал бы, что чья-то душа неустанно молится где-то о нем, потому что Решетняк еще и теперь не может объяснить себе, что же это за голос каждый раз подсказывал ему в критические моменты: пригнись на миг, отклонись воп туда, а тут приляг, прижмись, и пуля, предназначавшаяся для твоего лба, только арбуз разорвет, который ты катил... А то еще и так бывало: затишье, изредка постреливают где-то на фланге, ничего страшного; и вдруг почувствуешь какое-то смещение, внутренний голос какой-то начнет беспокоить, подсказывает: встань, перейди с этого места на другое. Только встанешь, перейдешь, а в ячейку, где ты только что лежал, — миша прямым попаданием...

Долго пробирались тогда на восток. Более всего Решетняк ставит себе в заслугу то, как он выводил из окружения раненого своего командира. Есть подвиги такие, которые лежат на поверхности, всем видны, сразу взяты на учет, а есть такие, которые совершаются совсем негромко, почти незаметно, наедине с собственной совестью. Мир о них не оповещен, медали за них не отлиты, носит их человек в себе, как тайну души своей, как знак того, что и ты чего-то стоишь. Не считал и не считает себя Решетняк героем, просто рядовой солдат-кадровик, и хотя не из тех был, которые на рожон лезут, но в службе был безупречен, воевал без лукавства. И если есть за ним подвиг, то скорее внутренний, ни в каких реликциях не зафиксированный, подвиг скромной души

Решетняка, которая не раз самое себя пересиливала, но раз пад собой поднималась. Как в ту темпующую осеннюю почь, когда он вдоль колючей лесополосы — на расстоянии человеческого голоса — проходил мимо родного села, проходил мимо дома на такой близости, что кажется, слышал дыхание жены в постели, ощущал горячий дух ее молодого тела... Прошел. Миновал свое Хмариное, дальше направляясь на восток, на пылающую уже Полтаву, до конца сопровождая своего батарейного, честного и справедливого человека. Раненный, он все время на плечо Решетняка опирался, иначе не мог бы идти. В скирдах почевали, с вражескими патрулями перестреливались, еженощно небо над ними клочотало, залитое огнем, кроваво-тревожным светом пожаров. И всюду тогда, может и вправду, подкова счастья берегла их обоих.

После выхода из окружения, когда присоединились к какой-то из отступающих частей, случайно встретился капитану Чикмасову его давний друг еще по училищу, теперь батальонный комиссар. Ночью они долго разговаривали между собой, а Решетняк, укутавшись шинелью, лежал поблизости под кустом. Было это на какой-то опушке, ущербная луна сквозь голые рукастые деревья светила, осенний почной морозец под шинель уже подбирался. Вероятно, командиры думали, что Решетняк спит, а он слышал, как речь зашла о нем, последнем из пограничников... Рассказывалось, как от западной границы вместе идут, какую выдержку и преданность проявил этот боец, слышно было, как в искренней задумчивости сказал своему другу капитан Чикмасов о нем, притихшем под шинелью Решетняке:

— Добрый солдат. Навеки добрый.

И это была самая дорогая награда, высшая аттестация, которую дал Решетняку, перед тем как уйти в тьму безвестности, его батарейный. На следующий день он погиб в бою, а Решетняк, раненный, окровавленный, очутился в санитарном эшелоне.

Сблизились мы с ним в сибирском госпитале, в том белом, пропахшем лекарствами раю... Да, то был рай! Пусть боль, пусть муки до потери сознания, когда хирурги ковыряются в твоих ранах, промывают, закладывают свежие тампоны, но ведь не воют миры, не жужжат осколки, никто не охотится за твоей жизнью. Живешь сегодня и знаешь, что будешь жить завтра и вроде бы жить будешь вечно. Приносят книги, обеды, выдают па-

пирсы. Сосед по палате, раненый карел, оказался пекурщиком, отдает тебе свой паек «Беломора»:

— Бери, Колосовский, если без этого не можешь...

Полная тумбочка «Беломоров» собралась, роскошь после фронтового махорочного голодания.

По утрам в операционной криком кричат хлопцы. Умирают почему-то чаще всего ночью. И боли ночью усиливаются. Бредовые кошмары в палате, стоны, вскрики, раздробленная рука соседа-карела так горит, что и он — на что уж терпеливый — сквозь зубы цедит, поводя в воздухе своим «аэропланом»:

— О, шорт, шорт.

Черта поминает. Если «шорт» появляется, значит, человеку совсем уже невмоготу...

И так ночь за ночью, до утра палата горит болью.

С Решетняком в один день мы и выписывались. Собственно, даже не днем, а под исчер, на почь глядя; это особенно возмущало одного из выписываемых, кавалериста-фокусника, который умел проделывать разные штуки с гривопником в платочке и даже на вечере самодеятельности с этим номером выступал. Горячий копчик, все допытывавшийся у комиссара, почему союзники тянут с открытием второго фронта, никак он не мог взять в толк: почему именно на почь глядя выпроваживают из госпиталя их команду, выписывают даже недолеченных, — неужели мир опрокинулся бы, если бы до утра пробыли, последнюю ночь провели бы в тепле палаты?

В подвале, в каптерке, все фронтовое вновь возвращалось к ним: вернулась Решетняку его легопькая, в рыжих пятнах от крови шинель. Вернулся Колосовскому его простреленный и тщательно кем-то заштопанный бушлат. Гимнастерки сложены аккуратно, штаны сохранены. Решетняк, получая взамен госпитального халата свое фронтовое, был почти растроган, что все так заботливо сложено и все так терпеливо ждало его в подвале еще с осени, пока он там, наверху, в палате, оживал. Когда уже переоделись, Решетняк, проверяя карманы, неожиданно обнаружил в одном из них остатки фронтовые: вывернув карман, натрусил из него на ладонь какую-то сухую зелесноватую труху. Зелье какое-то. Товарищи следили, как он неторопливо все это проделывает, а он, вытряхивая, сначала и сам, кажется, не понял, что это за зелень: табак не табак... Понюхал, и вдруг так и сверкнуло в памяти: ботва от помидора! Вспомнил, узнал... Сухой потерявший

стебелек и листики тех плантаций яростного отступления, где помидоры для них, как жизнь, алели в росах рассвета! Никогда и не подумал бы, что помидорная труха так долго может беречь в себе дух солнца, лета, дух родной земли!

Когда поднес Колосовскому, тот, вздохнув, улыбнулся: — Евшан-зелье, так оно называлось когда-то.

Словно бы еще сильнее сблизил их тогда этот стебелек помидорный. Случайно остался в кармане, засох, а теперь вон где повеял на них степью и зноем лета... Грустно было покидать госпиталь. Дверь, прижатая ветром снаружи, словно прикипела, не хотела открываться. Колосовский, назначенный старшим команды, налег на дверь плечом, и сибирская вьюга ударила им в лицо обжигающим снегом.

— Ох, дюдя!

Кончилась райская жизнь! Пригибаясь, ежась, один за другим, словно парашютисты в люк, выбрасывались в ночь, на ветер, на темный огонь ночного мороза.

Шалееет вьюга. Команда изгнанников из палатного рая молча шагает по вечерним улицам сибирского города, шагает словно в какую-то иную жизнь. Валиться, падать от ветра — для тебя это было там почти буквально, как и «холод пронизывает до костей», ибо кровь не греет, ее мало — война выцеживала ее из тебя то на поле боя, то в госпитале во время операций, когда из тела выковыривали осколки, загнанные туда вместе с фронтовым тряпьем. Защищено тело, залатана фронтовая одежда, но какая легопькая, какая воздушная эта летняя фронтовая одежка против силы пятидесятиградусного мороза! После уютного тепла палаты идешь, будто голый, ничего нет на тебе, — как на погибельное испытание, брошена слабенькая твоя жизнь в эту морозную, миллионами иголок пронизывающую купель. Ветер сбивает с ног, упорно пружинишь против него, подавшись всем телом вперед, навстречу темной жгучести ночи, и слышишь, как кто-то из товарищей яростно чертыхается позади, не понимая, почему в самом деле вас выписали с вечера, неужели что-то бы изменилось в мировой истории, если бы сделали это утром, дав еще одну ночь переночевать в тепле?

Это одна из загадок, на которую никто не ответит.

Приходите в полк, и отныне домом вам служит крепкая, пропитанная духом портянок казарма. На нарах места ваши рядом, Решетняка и твое, пачка махорки на

двоих, и ночь раздумий тоже на двоих. Белая Церковь, и Рось, и темно-багровые ночи скитаний окружающих — все вас объединяет, роднит. И госпиталь, конечно, который так сблизил. На экранах его снегом замурованных окон вместе видели свою Украину — то в небесных шелках детства, то в блеске стерни золотой, то в белоколонной стройности университетского корпуса на улице Вольной академии...

— Сколько лет ты учился, Колосовский?

— Тринадцать.

— А у меня четыре класса... и пятый коридор. Много, выдать, на свете такого, чего я не проходил.

«Тринадцать». Ты учишься тринадцать лет, идешь от обыкновенной азбуки до ассирио-вавилонской клинописи, вбираешь в себя весь тот древнейший старинный мир — и для чего? Неужели для того, чтобы в финале оставить себе эту единственную науку — винтовку к плечу и «пли»?.. Эти нары, казарма, пирамида для винтовок — кто их изобрел первым? Какой гений? Вот казарма угомонилась после отбоя. Грохочет ночь за окном, сушит валенки возле почки дневальный, и о чем-то далеко, золотом доверятся тебе полупшепотом на нарах Решетняк.

...Хорошо идти под вечер по тихой степной дорожке, где безлюдье, следы чьих-то колес, а в пыли сухо поблескивает приплюснутая колесами солома. На этой дорожке и встретил ее Решетняк, ту, которая стала потом его женой, матерью его сына... Сквозь тысячекилометровые заносы снегов, сквозь фронты и метели, сквозь рубленные стены казармы приходит к нему с той полевой дорожки она.

На конных граблях возвращалась с поля, а он, сероглазый русский парень, шел в ночную к трактору — работал тогда прицепщиком. Конные грабли заняли всю дорогу, плыли, позвякивая, пружинисто покачивались стальными зубьями, а сверху, на высоком металлическом сиденье, улыбалась, держа вожжи, словно бы какая-то совсем незнакомая девушка. Самая младшая из целого выводка дочерей бригаировых, голоногих, юрких, задиристых, которые так и тянулись к лошадям, носились верхом, на наряде хватались за мальчишечью работу. Между собой были похожи настолько, что старшие даже путали, кто из сестер Маруся, а кто Ганнуся... Эту звали Катрей. Самая младшая. Занятый своим трактором, Иван долго не

видел ее этим летом, а встретил, еле узнал: как выросла, налилась, расцвела! Уже и на сестер не похожа, не затерялась бы между ними,— девчата, подрастая, умеют как-то впезапно, словно бы за одну ночь, стать вдруг каждая на свое лицо. Запыленный платочек был надвинут на самые глаза, надвинут словно бы сурово, а ямочки на смугловатых тугих щеках трепетно улыбались Ивану. Может быть, так и промелькнула бы мимо Ивана его смуглощекая улыбающаяся доля, если бы не Лыска, которая, надвигаясь на него своей по-вечернему огромной телью, вдруг заржала потихоньку, с конской усталой ласковостью. Иван остановил Лыску, по привычке погладил по вспотевшей шее. Несколько лет подряд он эту Лыску запрягал и распрягал, поил после работы, ставил к яслям. Смирная, жилистая труженица. Уже, наверно, сто лет было ей. Кажется, еще с времен коллективизации появилась на колхозной конюшне, и с тех пор, как Иван Решетняк со взрослыми начал выходить на наряд, все выпадало ему надевать на Лыску ее ежедневный убор — мягкую сыромятную шлею. То ли бригадир заметил, что хлопец заботлив с лошадьми, с душой ухаживает за живым тяглом, то ли поощрить хлопца захотел за его усердие, только каждый раз упряжь на Лыску именно Ивану доставалась. Сегодня, Ванько, будешь подвозить воду косарям, а завтра — на гумно, сеткой солому будешь таскать из-под молотилки... Скирдоправы вверху, а ты с Лыской внизу, с полуслова понимаєте друг друга, день за днем растет в небо ваша скирда... За лето Лыска так изучит свои обязанности, что ей только подай знак, и она уже сама, без погонщика трогается, напружинивается вся, впряженная в волокушу... Умнящая лошадь, знает, куда и сколько ей идти, идет, понутившись, далеко в степь проторенной своей дорожкой, медленно таща на скирду туго охваченную волокушей гору свежей соломы... Подпаски караулят поблизости, ловят момент, чтобы уцепиться за натянутый струною трос и вместе с ним поплыть все выше в гору, дрыгая ногами между небом и землей, забыв, что это ведь Лыска тянет вас, шалунов, в соломенное поднебесье... Для них развлечение, а для Лыски — мыло трудового пота на ребрах... Всякий раз отгонял Иван малышню, не разрешал кататься, как бы ни клянчили, сколько бы яблок ни обещали... И не из благодарности ли за все это жилистая труженица подала голос ему при встрече тихим, сквозь зубы ржанием?

Привычно окинул взглядом конскую лоснящуюся шю, осмотрел холку — нет, не сбита нигде, не ранена — и похвалил девушку:

— Вижу, присмотрена у тебя Лыска.

— Труженица ведь, как ее не уважать. — Катря весело сверкнула карими глазами. — И характер — шелк! Никого не ударит, не укусит. Когда поведу поить, детвора под самым брюхом у нее пролазит...

— Пожалуй, даже слишком смиренная, — заметил Иван.

— Так это же ты ее воспитал, по своему характеру...

— А у меня, по-твоему, такой характер?

— Не узнала еще! А от тата только и слышу: «О, Ванько — золотой характер!..»

Засмеялась, с тем и поехала. И что-то необычно волнующее было в ее отдаленности, в девичьей фигуре, покачивающейся высоко на граблях, и в длинной тени от Лыски, пролежавшей по стерне, и в мелодичном позвякивании стальных блестящих зубцов, среди которых кое-где позастревали туго палитые зерном колоски пшеницы...

И все это было так значительно, что даже сейчас рисуются Ивану на парах казармы, выплывая словно бы из небытия, и соломинка, приплюснутая на дороге, и грабли, удаляющиеся с тихим порезвом, и смуглые тугие колоски, застрявшие меж стальных зубцов...

А на рассвете, еще ночь на дворе, уже крик на всю казарму:

— Подъем!

Толпясь в двери, раздетые вылетаете в предрассветную тьму, горящую морозом, во дворе среди снежных кучегур поблескивают при свете фонаря голые спины: ледяное растирание снегом до пояса! И все быстро, все мигом, так как уже:

— Равня-айсы! Смир-на! По порядку номеров!..

На лыжи — и на Енисей. Мороз берет, пар клубится, дышишь и чувствуешь, как воздух возле губ замерзает, становится туманом, — весь город седеет в искристом тумане этой яростной зимы. Выданы уже вам кожухи до колен, на ногах валенки, которые по-здешнему называются пимы. На марше то и дело звучит предостережение: «Следи за товарищем!..» То есть следи, не побелело ли у соседа лицо, не прихвачен ли нос. Потом выдали еще и шерстяные подшлемники — вещь совершенно невиданная для тех, кто из южных краев... Рядом с тобой все в масках идут, под шерстяным забралом даже Решетняка

не узнать. Страшное ощущение: ни выражения лица, ни улыбок, лишь в прорезях подшлемников сквозь иней глаза блестят. Безмолвный марш, без песен, только слышно надсадное дыхание от быстрой ходьбы. Точно привидения вышли на марш, точно каменные командоры в масках, один за одним, один за одним...

Сибиряки все это были, большинство таких, которые не изведали еще фронта. Из глубины тайги, с домашними еще харчами приходили в казарму, и не раз слушал Богдан их разговор о сохатых, о разных зверях и охотничьих приключениях. Привычны были они к холодам, не пугали их эти буйные зимы. Помкомвзвода, шахтер с северных шахт, фигурой на Решетняка похожий: плечи крепкие, голова низко сидит на них. Крутые скулы, обгоревшие от ветра и мороза... «А когда надоела шахта, тогда я заломил свои рога в лес, на повальные работы, — так он выражался. — Ибо после шахты никакая работа тебе не страшна...» Другой, родом откуда-то из-под Монголии, перегонял гурты скота по старинным трактам, а еще есть такие, что пришли с таежных рек или даже из тундры, из-за Полярного круга, не одному из них светило по ночам северное сияние, этот удивительный холодный экран планеты. Всех подняла, призвала к оружию великая тревога, долг защищать Родину.

Жизнь впроголодь, по скудной тыловой категории. Как о важном событии, узнает братва на заплатах:

— На обед сегодня обещают супец с медвежатинной! Одним медведем меньше в тайге, а курсак будет полон.

И ждут, заходя смакуют этого медведя. В положенное время, вооруженные ложками, располагаются вокруг тазика с мутной водицей, именуемой супом: в ней пшеничные зерна гоняются одно за другим и важно плавают медвежий мосол. Помкомвзвода берет ложку неторопливо, степенно, знает — без него не начнут.

— Ну, взяли!

— Молотнем!

Стучат ложки, бегают мосол с хрящем, вареный мозг из косточки выглядывает. Кому достанется? Искушение велико, каждому хочется, но имей выдержку... Гоняют этот мосол, все следят за ним, как за передвижением важной цели на поле боя, вполглаза следят, а черпают только водичку... По всем правилам тактики и стратегии ведется битва в этом тазике, тонкая, деликатная. Каждому хочется поймать, и все же и один и другой стыдливо отгоняет

кость с хрящом от себя, а Репетняк ложкой, как бы пизначай, подгоняет добычу к Колосовскому, словно бы говоря: бери, бери, ты более всех обескровлен, ты после госпиталя...

Битва в тазике разрешается в один миг, неожиданно: мосол, удачно подхваченный ложкой, словно бы взлетел на воздух, уже он у веселого худощеого Фомина, почти подростка, мечтающего стать снайпером. Пока другие проявляли деликатность, он прицелился, попал и выхватил этот мосол, больше, быть может, из любопытства, из своего охотничьего азарта: есть! Поймал, попал, вытащил, однако чего-то ждет, вроде бы учуяв что-то недоброе.

— Ну и снайпер ты, Хомичок! — говорит Репетняк и откладывает ложку в сторону. Не просто кладет, а с видимой обидой.

— Снайпер, снайпер, — осуждающе говорит помкомзвода и тоже откладывает ложку.

Остальные угрюмо последовали его примеру. Растерявшийся Хомичок сидит, не зная, как ему поступить, не прикасается к мослу, не вытягивает языком вареный мозг.

— Он только что из госпиталя, — указывает помкомзвода на студента. — Крови столько потерял... Мерзнет от бескровья, а ты... жадюга ты!

На глазах у Богдана выступили слезы. Больно и стыдно, что принимал участие в этой унижительной охоте за мослом... И что Репетняк ему эту добычу подгонял... И что Хомичок, не одолев искушения, теперь страдает, бойкотированный этими обиженно отложенными ложками, нахмуренностью голодных товарищей.

Встали все в плохом настроении. А ночью Хомичок подкатывается на нарах к Колосовскому:

— Вы не сердитесь на меня за этот мосол, товарищ сержант... Просто сдуру сама рука выхватила как-то. И ты, товарищ Репетняк, не обижайся. Если б это дома, я б тебе полмедведя отвалил!..

Совсем мальчонка, не похож на таежника, который с детства в лесах, который без промаха попадает белке в глаз. Никакой одичалости. Даже по-городскому худощавый, хрупкий, бледный с лица. Но рукавиц никогда не носит, уверяет, что руки не мерзнут. И на стрельбах Хомичок всегда один из первых. Когда получил снайперскую винтовку, просто не мог ею натешиться. За собой

парень не очень следит, пояс на нем всегда перекособо-чен, но когда, проверяя оружие, возьмет Колосовский винтовку Хомичка и заглянет в ствол, невольно улыбнется: ни пылинки!

А Решетняк еще и поучает:

— Знаешь, Хомичок, на что пужно больше всего внимание обращать, когда винтовку чистишь?

— На затвор?

— Нет, па помер...

— Почему па помер?

— Чтобы соседскую невзначай не почистил!

Привязался к ним Хомичок после этого случая с медвежатниной. Только расположатся на парах, уже он под боком у Колосовского, расспрашивает, одолевасмый любопытством:

— Товарищ сержант, а в разведку вы ходили? А живого «языка» брали?

Ночные вылазки более всего не давали ему покоя. Ему, кажется, и война представлялась главным образом как дело ночное, как игра, как азартный промысел в сплошной бесконечной темноте.

Колосовскому и Решетняку было чем поделиться с хлопцем... Фронтовые ночи, о, как знакомы были им обоим! Ночи по-звериному вкрадчивых шагов, паэлектризованных нервов, недоброго шепота, ночи коварства, коротких ударов, предсмертных агоний...

Ночи зла.

— Не было бы этих ночей, если бы враг не полез... Навизал все это нам. А пробудить ненависть легче, чем остановить...

Слушал, притаившись, Хомичок. Подросток почти, полудитя... И ты обучал его науке убивать. Современнейшей из наук...

Однажды после особенно трудных занятий, когда пришлось Колосовскому оттирать пальцы на ногах снегом, спросил его вечером Решетняк:

— Наверное, жалешь, что не остался при госпитале? Тебе же комиссар предлагал остаться на культработе... Там бы для тебя и война закончилась...

Богдан как будто бы даже обиделся на это:

— Девчата-медсестры на фронт просятся, а я чтобы раненым анекдоты в тылу рассказывал? Мало еще ты меня знаешь, друг... Я ведь страшно самолюбивый. И честолюбивый, как сто чертей!

После отбоя они позволяли себе витать в облаках воспоминаний, пытались предугадывать свой завтрашний день...

— Куда же нас отправят? — размышлял на нарах Решетняк. — Вот если бы на юг... Хотя бы еще разок увидеть, как терн цветет...

VII

Неужели это начинаются галлюцинации? Лежишь под стеной тюрьмы, зной полыхает, прожаривает насквозь эти человеческие скелеты, а лишь глаза прикроешь — уже белая-белая в снегах земля. Глотать бы этот снег, снежный, морозный. Голову бы погрузить в него, остудить жар...

Часто здесь вспоминаешь побратимов. Лишенный всех прав, которые за человеком признавались испокон веков, ты сохранил только это — право на воспоминание, на творчество воображения...

Океан чистоты и сияния. Мощь и раздолье планеты — Сибирь, ясная, белоснежная. И среди этих белоснежных просторов эшелоны летят — один за одним на фронт! Под открытые семафоры грохочет эшелонами только что сформированная Сибирская дивизия, и где-то там, среди людей в кожных, ты. Под вечер разыгралась вьюга, небо ослепло, всюду бурлят взбаламученные снега. Останавливается эшелон, а рельсы еще поют морозом. Возле железной дороги на крыже, на одном из отрогов Уральских гор, столб с надписью: «АЗИЯ — ЕВРОПА».

Веселыми толпами, по-медвежьи неуклюжие, в валенках, в жестких полуботках, бойцы высыпают из вагонов, поглядывают вперед: почему стоим? Колеса замечена или за столб зацепилась? Борются, играют в снежки, хотя снег не лепится, — сухой, рассыпается, как песок.

Вечер наступал, и низким было небо. Колосовский с Решетняком стояли, смотрели, как ветер намечает снег возле столба, как растет постепенно холмик сугроба, похожий на огромную компасную стрелку, повернутую острием... неведомо куда. Обоим хотелось знать: куда? С гор свистит, метет, однако зима не пугала, сильным чувствовал себя Колосовский тогда, готов был схватиться врукопашную хоть и с собственной судьбой. Обгорел на сибирских морозах, темно-вишневый загар появился на

щеках. Глаза, глубокие и горячие, снова читают эту надпись: «АЗИЯ — ЕВРОПА»... Межевой знак планеты, знак великого рубежа. Отсюда, с перевала, эшелон твой, кажется, еще стремительнее помчится вперед, и вскоре ты снова будешь в бою утверждать себя, свою и отцову честь...

Группа бойцов подошла, окружила столб. Большинство из них впервые переступало порог в Европу. Хомичок, весельчак, шутник, раскорячился, валенки разъехались в снег:

— Одна нога в Азии, другая в Европе!

Кого-то, в одной гимнастерке, товарищи ведут в вагон под руки, заслоня собой, чтобы не попался на глаза командирам, а он, захмелевший, пробует высвободиться, куражится:

— Не хочу в Европу! Я азиат!

И не поймешь: шутит он или всерьез.

— В Европе хоть постреляем,— бодрится Хомичок,— по живым мишеням!..

Когда снова застучали колеса вагонов, Хомичок подкатился на нарах к Колосовскому и опять принялся расспрашивать о разведке да о «языках».

Сильно все это его занимало. И, видимо, не даром. Очувтившись на фронте, парень показал себя. Как барсуков, вылуцивал из воронежских лесов прищельцев в мышастьях шинелях. Терпеливо, тщательно выбирал из засад живые мишени. Бедолага, он тоже не миновал колючей проволоки лагеря. Лишь на какой-то миг увидел его издали Богдан в Белгородском лагере, когда выстраивали одну из партий к отправке. Понурившийся, стоял Хомичок в хвосте колонны, оборванный, без пилотки, однако улыбнулся своему сержанту еще издали измученной улыбкой. «Где ж это мы? — словно бы спрашивал.— Как это случилось? Ведь мы же их так колошматили...» Колонну погнали, и сибирячок, уходя, грустно помахал на прощанье рукой...

Ничего подобного даже не представлялось тогда на том уральском кряже. Сквозь метель зимних циклонов, сквозь пляску снегов стремительно грохотали на запад эшелоны, пока однажды поздней ночью вновь не прозвучала команда:

— Подымайсь!

По тревоге выскакивали из вагонов: станция какая-то, огни фонарей мутно сверкают в метели, а перед вагонами

прямо на снегу — вороха новенького, слежавшегося на складах обмундирования. Летнее.

— Переодеваться! Нагрелись в кожных! Получай весеннее!

В снежной круговерти завихрилась уже людская живая круговерть. Прочь летят кожанки, валенки, шапки и подшлемники, штаны ватные швыряются в снег — остаются батальоны в одном лишь казенном белье, пританцовывая, суетятся возле ворохов нового, складского, расхвывают из щедрых старшинских рук шинели и кирзу, тяжелые ботинки и обмотки, путаются, спорят, примеряют: у того рукава короткие, у того длинные, тому два левых сапога попало, тому два правых...

Интенданты в этой кутерьме властно распоряжаются, покрикивают:

— Не привередничай! Тут не военторг! Бери, какие дадут! До Берлина хватит!

Решетняк топчется босой в снегу, стучит зубами, снег тает на теле, но улыбка не сходит с лица: выдают легкое, — значит, на юг! Туда, где весна, где Украина!

Мечутся в метели белые фигуры, всюду гомон, переключки, веселые возгласы:

— Прощайте, пимы!

— Хватай скорее, не то в подштанниках останешься!

Было что-то буйное, дерзкое, неодолимо-бесстрашное в этом переодевании на снегу, среди разгулявшейся метели. Сколько охватишь глазом, вся огромная узловая клокочет возбужденным людом, вдоль вагонов — толпы, гомон, — дивизия обновляется, принимает весенний вид! В белых сугробах, в одном исподнем солдатские фигуры толпами то исчезают, то появляются, земля и небо слились в метельном шабаше, и кажется, вся планета уже населена только этими существами в белом, — всюду они безудержно скачут в воздухе, приплясывают, будто какие-то легкие, бестелесные духи войны...

Оттуда, из метельной свистопляски, попали прямо в мартовский каламут, в болота войны. Через леса идут. Через трясину весенней распутицы. Через руины темного разрушенного города.

— Где мы?

— Говорят, Воронеж.

— Был Воронеж...

— Был и будет Воронеж!

И снова грязь, расхлябанные поля, спины, согнутые под тяжестью пулеметов и бронебоек. Лес. Черный лес полог грозного шума, и черное небо из-за леса с отблесками пожарищ на тучах, с фронтовой багряностью, делающей темноту еще более глубокой и мрачной. Все пройдет: и леса черные, и леса дневные, что потом обернутся первой зеленью. Втиснувшись где-то на опушке в окоп, услышите кукованье кукушки. «Ку!» да «ку!» — гулкими каплями будет падать в зеленые чащи, заполненные настороженными войсками. И каждый звук-ее весенний будет там сильнее орудийного выстрела.

А однажды на рассвете, когда овраг, служивший вам нейтральной полосой, налился туманом, увидели: впризу на заминированном поле лошадь пасется. Шаг за шагом переступает в траве, а из окопов все на нее смотрят.

— Пельмени ходят.

— Не пельмени, а Лыска.

— Троянский конь!

Совершенно спокойно, безбоязненно вела себя эта ничейная кляча, неведомо откуда приковылявшая на заминированное поле, на свое смертельное пастбище... В сумерках рассвета сквозь серебристый туман с графической четкостью выделялся ее силуэт. Откуда взялось оно, это странное существо, как выжило среди артиллерийских ураганов, чтобы забрести сюда и безбоязненно пастись? Каждый миг лошадь могла исчезнуть в пламени, в грохоте минного взрыва. Видели лошадь, безусловно, и с той стороны, но тоже почему-то не стреляли, молча выслеживали ее, похожую на тень. Невидаль, мистика, чертовщина какая-то: там, где вроде бы каждый сантиметр земли начинен спрессованным огнем и смертью, прихрамывая, спокойно продвигается шаг за шагом и вопреки всему не гибнет — нагнулась, мирно щиплет среди минных проволок свежую, сочную траву...

— Фойер!

— Огоны!

В буйном гротеске встает это утро, когда железным смерчем насквозь пробивало, крошило лес, и содранная кора осыпалась на ваши каски, и зеленые сбитые ветви устилали вам, может быть, последнюю дорогу.

Ярко зеленеет перед глазами дно ничейного безжизненного оврага, бойцы, залегая, бледнеют бесстрашной

бледностью напряжения, уже мы не дышим, и с чем-то прощаемся, и страха не чувствуем перед тем, что надвигается, ибо это надвигалась — а т а к а. Так бы и дать титром через весь экран:

Святе божевілля атаки
В тобі поглинає все...

Встали и ринулись. Овраг превратился в вихрь дыма, взрытой земли и пламени, в одном месте среди смешанной с землей травы взгляд нечаянно черкнул о что-то блестящее: на поднятом вверх лошадином копыте стерто блестела подкова...

Сквозь шум атаки уже слышен вам от немецких дзотов резкий, словно бы металлический, собачий лай. Все ближе дзоты, окруженные частоколом, рядами колючей проволоки. Видишь, как перед самыми дзотами Решетняк, налегая, люто выламывает колья ограды, аж кровь прыскает из свежепорванных колючей проволокой рук. От дзота сокут и секут крупнокалиберным, овчарка, захлебываясь своим железным лаем, подскакивает на привязи в конвульсиях ярости, и точно так же ярится неподалеку от дзота офицер в фуражке с кокардой, размахивает парабеллумом, командуя кому-то: «Фойер! Фойер!» Пока Хомичок, прицелившись, не всадил пулю прямо в его фашистскую кокарду. В хищной фигуре того осатаившего офицера, в ливне пуль, взрывающих землю прямо перед твоим лицом, в железном захлебывании овчарки, которая ощерившейся пастью вырастала перед вами на весь лес, — в этих образах отчеканилось все неистовство, весь свирепый накал и ожесточенность тех воспанных боев.

Захватывали дзоты, врывались во вражеские окопы, облепив броню, мчались вперед танковым десантом. А к вечеру гусеницы и броня были сплошь забрызганы кровью — своею и чужой... И все же в войсках царил дух наступления, воодушевлял каждого. Не сомневались, что Харьков будет наш, что где-то он рядом, за тем воп уже холмом. Бессмысленно было там щадить себя, и сам ты убедился тогда: силен тот, кто не боится смерти. Как вы тогда наступали! Не знали ни сна, ни усталости — знали лишь вдохновение боя. Горели сорочки на артиллеристах, но четырнадцать раз на день ходила в атаки пехота... Потом не стало горючего. Но танки еще и после этого

жили: зарытые в землю, били из башенных пушек, били, пока не осталось ни одного снаряда... Когда погиб последний из твоих командиров, Фомин-Хомичок почему-то именно к тебе подполз:

— Товарищ сержант, берите командование на себя.

И ты не колебался, не было там времени для колебаний.

— Рота, слушай мою команду!

А дальше все смешалось, не было ни дней, ни ночей, не знали, какой день на свете, какое число. Уже, казалось, и боли не было, была только оцепенелость изнурения, свист пуль, грохоты взрывов, атаки и контратаки. Подчас хотелось — чтобы конец. Стать ничем, перейти в небытие, в последний раз вздохнуть среди этих чадных воронок, в жутком водовороте, где повисли на кустах человеческие внутренности, а рядом, в месиве земли, грязи и крови, всюду лежат изувеченные останки тех, кто еще недавно был людьми. И когда ты, бывало, поднимавшись, нарочно стоял во весь рост, пренебрегая собой, рука Решетняка крепко хватала тебя за ногу, стаскивала в окоп:

— Так не годится. Жизнь, она не только твоя... Кому это надо, что ты вот так подставляешь себя под пули?

Тогда, на тех рубежах, вы видели солнце, которое не светило. Было в небе, стояло ослепительным диском над вами, но до вас словно бы не доставало, вы на земле были словно бы в сумерках.

Где все они теперь, те, которых жернова окружения день за днем перемалывали где-то за Белгородом, в лесах и в полях? Неизвестные солдатские подвиги, рассыпанные по лесам, честные безымянные смерти, оживут ли они когда-нибудь, хотя бы в легендах? Умирали, оживали, падали, скошенные, и снова поднимались, чтобы драться до последнего патрона! И все это пройти, чтобы очутиться в раскаленном аду Холодной Горы, чтобы тут завершился ваш страдальческий путь? Эти все, попавшие в беду, неужели их сила так и растает? Или еще возродится, даст о себе знать где-нибудь — в других полях и лесах — гневом мести и расплаты?

Жжет и жжет каменным зноем Холодная Гора. А под зажмуренностью ресниц, в фильмах воображения — буйные снега вихряются, и люди шагают в масках, и белые толпы призраков среди ночной метели.

Это же противоестественно — жить ненавистью, день за днем гореть ею, носить ее в себе. А ты носишь. А ведь могла бы жизнь каждого из вас расцвести в любви!.. Распрощайся с любовью, нет тут для нее места. Столько судеб, столько умов, столько чьих-то надежд, ожиданий, прощаний сбито в отару, брошено за колючую проволоку. И над ними лоботряс потливый на вышке, с автоматом, с губной гармошкой.

Пытаюсь понять тех, что на башнях, на вышках нашего горя. Вот один — потливо-рыжий сморкач в пирожочке пилотке, с автоматом, который дулом целится все время почему-то сюда, прямо в нас. Кто ты такой? Юбермепи, сверхчеловек? И ты действительно уверовал в это? Или что иное сидит там, в твоём арийском мозгу? С какой мыслью надевал свой мышинный китель и пилотку набекрень, с каким чувством осматриваешь людской муравейник под ногами? Что я значу для тебя, для твоего оружия? Мишень, цель, бесцветное пятно под стеной? Ты в самом деле уверен, что сможешь поработить меня, переименовать, уверен, что сможешь выдрать из меня и душу точно так же, как содрал с меня сапоги? Думаешь, что тебе удастся со временем растоптать мой дух, постепенно превратить меня в скотину, в раба? А как же тогда со всем тем, что было? С поэмой Днепрогэса, и с багряными листьями, которые шелестели для нас в парках, и с печальной тучей Тарасова чела? Как быть с глазами любимой, светившими нам в осенних туманностях?

Только что бегал по лагерю сумасшедший, пугал всех ямами глаз, налитыми дикой, почти белой голубизной безумия, — это уже не первый здесь случай сумасшествия: от горя, от ужасов, от солнечных ударов... Пока не поймали и не добили его часовые возле восточной вышки, все бегал с удивительным проворством по тюремному двору, в разорванной сорочке, чернобородый, вращая неистово глазами, кричал:

— Мои владения это! Мои!

И чем не владения? Чем не райх? Есть тут княжество Галанды, где господствует диктатура Черпака, и горе тому, кто отважится стать вторично в очередь или, вместо посуды, подставить пригоршни; есть тут герцогство дилеттерийного Болота, где царит относительная безопасность, ибо туда даже верховный комендант, а значит,

и более мелкие предпочитают не соваться; есть графства, маркграфства Отчаяния и Безднадежности (мне, как историк, эта классификация близка); есть республика Базарная, где уже появились менялы, барыги, ростовщики, где валютой служит кусок макухи или щепотка табаку, заключаются контракты, зарождаются заговоры, возникают средневековые ремесла: цех клепальщиков, где, расположившись рядом вдоль степи, трудяги-молчаливники целыми днями клепают из банок котелки для сбыта; цех сапожников, где умелые руки мастерят из потертых резиновых скатов нечто похожее на постолы... Муравейник людской, где все лихорадочно бурлит, спует, передвигается, создавая иллюзию почти нормальной жизни.

«А полезного жития было ему... столько-то лет», — писалось в старых эпитафиях, на камнях надмогильных. «Полезного жития!» А что «полезного» сейчас, в этом нашем «житии»? Валяться, мучиться, агонизировать здесь, пока за какую-нибудь травинку не пошлют тебе пулю в живот и ты не свалишься в последних судорогах где-то под забором, в мусор, в угольную пыль? Смерть в бою имела какой-то смысл, а здесь? Серо и буднично, под забором, без каких бы то ни было эпитафий... Так это делается сейчас, в цивилизованный век.

«Историки, стройся!» — вспоминаю звонкую студбатовскую команду из своего полуспа, полубезумия, когда мир уже окутывается желтизной крайнего истощения, пытаюсь понять эту карликовую и одновременно гигантскую державу Холодной Горы. Всевластную, уродливо разбухшую драмами, искалеченными судьбами, жестокостью расправ, горем, преступлениями, смертями... Как развращает человека сама возможность унижать других, топтать, расстреливать безнаказанно! Как опьяняет ничтожнейшее ничтожество его власть безграничная, наглая. Когда гонят колонну, автоматчики, кажется, только и ждут, чтобы кто-нибудь из нас совершил попытку к бегству. Им нужен беглец. Жажда садиста получит тогда поживу, дыркнет из автомата... увидит еще одного человека в конвульсиях...

Сумасшедший уже не бежит по лагерю — поймали, потащили за ноги куда-то. Дико вытаращенные белки глаз исчезли между кованными сапогами, а крик его еще словно бы и до сих пор летает в воздухе:

— Мои это владения! Мои!

Желтеет, как сквозь воду, нам этот уродливый мир Холодной Горы; люди спуют, как сомнамбулы, из-под кожи выпячиваются кости. Сонливость, апатия, равнодушие. А ведь совсем еще недавно все это были здоровые люди! Здоровые телом, здоровые психикой... Откуда взять силы? Носим ли мы еще в себе достаточное сопротивление обстоятельствам, сопротивление, которое только и способно делать человека человеком? Или начинаем привыкать, втягиваться в эту трясину неволи, привыкаем тупо и терпеливо страдать? Раньше говорили, что страдание способно очищать душу. Возможно, это и так. Но тут я покамест вижу чаще, как оно уродует нас, превращает в сонливые ходячие тени. Мудрые, донскиваясь когда-то смысла человеческой жизни, усматривали его в том, чтобы пройти неуловимым сквозь тесноту мира, постичь самого себя, открыть в себе божественное начало. В чем же оно проявляет себя в этой державе надругательства, на этой окающей Холодной Горе? В шумной кутерьме базара? В том однообразном, бесконечном клепании, от которого можно рехнуться? В изворотливости предсмертной, с которой цепляются за соломинку жизни? Или, быть может, я слишком суров к своим несчастным товарищам, которым тут выпало то, что до сих пор никому не выпадало?

Много дней и ночей перед этим разыгрывалась огромная драма, в которую были втянуты сотни тысяч людей. Огнем писалась где-то на восток от Белгорода трагическая прелюдия этой Холодной Горы. Еще мы по множеству раз на день ходили в атаки, наступали на какие-то перелески, обороняли какие-то бугры, а зловещая тень Холодной Горы уже нависала над нами. Мы не хотели замечать свою обреченность. Вечером тут, а наутро ползем по другому склону, закладываем на другом рубеже, вгрызаясь в землю под шквальным огнем... То был тяжелый, безоглядный труд солдат, и войска, в том числе и штурмовая твоя рота, сформированная из остатков батальона, ничем не запятнали свою честь. Уже принадлежало врагу наше небо, голубизна его была в те дни для рева вражеских штурмовиков и воя бомб, для струй огня, которыми они с коротких расстояний расстреливали нас. Сначала слышен был канонадный грохот где-то в направлении Воронежа далеко за спиной у нас, потом и грохота не стало слышно, а мы с ненавистью отчаяния в душе, с упорством смертников все еще вели здесь бой — более

ожесточенные, чем когда-либо. Зубами держались за каждый рубеж, не желая знать, что уже стряслось самое страшное, что огромное кольцо уже сомкнулось, и ни эти степи, ни леса, синевшие на горизонтах, и сами горизонты больше не принадлежат нам. Одним из обреченных был ты, носил в себе печаль человека, которого отныне уже ничто не пугало, для которого, кажется, облегчением было бы, если бы и настало то последнее, чтобы оборвалась наконец твоя последняя боль. Но и в самые тяжкие минуты, именно тогда, когда душа взывала о помощи, раздвигались стебли ржи возле тебя, появлялась из нее гранитная серость Репетнякова лица, — лицо в рыжей щетине, умытое струящимся потом, было для тебя такое родное!..

— А нужно же драться, — говорил он тебе, как бы утешая, и это была высочайшая мудрость, рожденная нашим положением.

И вы дрались снова. Потом потекли войска. Брели через хлеба, двигались по дну балок, шли и шли в грозной понурости, изможденные, сумрачно-молчаливые. Как полководье, они уже образовывали для себя свои русла, и ритмы, и законы — непостижимые законы стихии. Но даже и в отступлении, в бесконечности этих людских передвижений, в текучих этих реках горя пародного чувствовалось что-то неодолимое: разламывали прострапство, шли непрестанно, просачивались куда-то балками, через разгромленные обозы, шли и шли по земле, усеянной трупами, шинелями, противогазами... И не одному из вас тогда обжигало взор зрелище разбитого медсанбата, чья-то нога гапгренозная, которую отпиливают наскоро без наркоза, и чья-то брошенная габардиновая с петлицами гимнастерка, что, как образ самого поражения, висит, распятая на терновнике...

Много дней догорали кострища огромного окружения. Давили нас танками по степям, бомбили с самолетов по лесам и перелескам, и делали это неторопливо, с планомерной методичностью, словно бы решили не торопясь растерзать свою жертву, словно бы хотели продлить свое изуверское наслаждение расправой. Много нас большими и малыми группами, отрядами, ватагами блуждали по уже обреченным просторам, вновь наталкивались на разбитые обозы, медсанбаты, штабы, натыкались на танки, зарытые в землю, иногда в поле встречали коней, понурых, оглохших и несчастных, как мы. Черная окружен-

ческая одиссея — кто ее хоть раз пережил, не забудет повеки!

— Может, и впрямь нужно было пистолет к виску? — порой размышляет вслух Шампль.

— Постреляться? Всем? Нет! — говорит на это Решетняк. — Мы еще пригодимся.

Не чувствует он себя виновным в том, что остался в живых. Не сомневается, что еще будет полезен Родине.

Решетняку обязан я жизнью. Во время одной из бомбежек, когда черные извержения земли начисто закрыли солнце и жизнь твоя летела куда-то в тартарары, в желтую бурю огня, за которой нет уже ничего, именно он, Решетняк, оказался ближе всех. Хотя и сам был контужен, откопал, вытащил тебя из смрадной могилы, кое-как отходил. В самую трудную минуту не покинул тебя, как не покинул в прошлом году своего капитана Чикмасова. Тогда удалось вырваться из окружения, а теперь... Во время совместных блужданий впервые зародилась мысль о Черных лесах. Подобралось десятка полтора охотних, шли и наяву бредили этими Черными лесами, видели уже себя возле партизанских костров... А потом западня, ловушка, в которую направил вас встречный землячок. «Вон туда, туда идите... Тьма-тьмуца на вас тут уже перешла через мост... Днем у них там в будке ни души... Смело проскочите! Не вы первые, не вы последние...»

И направил их — не первых, видимо, и не последних — прямо в пасть замаскированным немецким засадкам.

Решетняк каждый раз приходит в возбуждение, вспоминая этого душепродавца.

— Иуда Искарriot... «Вон туда, туда...» Это же он специально вертелся перед мостом, в западню людей направлял... Еще и компас выманил за полпачки махорки... Ух, ползучий, попался бы он мне тут.

В Белгороде — первый Kriegsgefangenenlager. Много-тысячное скопище людское в колючей проволоке за городом. И там, среди общей подавленности, ты впервые увидел бесстрашное гордое лицо, образ непокоренного человека-воина, перед которым и лагерная стража в удивлении расступалась. В полдень ввели в лагерь новую группу запыленных, словно бы только что из боя, танкистов, артиллеристов. И среди них — молодой командир-кавказец, смугляк чернобровый, с кровью, запекшейся на щеке. Широко, размашисто шагал он впереди, выпрямленный,

со смелым, даже, словно бы веселым лицом, с орденом Ленина, который цветком горел на гимнастерке. Таким был необычным этот командир среди колючей проволоки и вышек, таким был непоптым своей вызывающей улыбкой и непоникшей головой, что даже немцы ошеломленно расступились, когда он проходил от ворот к толпе, поблескивая капельками пота на лбу, сверкая своим еще новеньким орденом. Улыбался он своей открытой улыбкой, будто не осознавая, где очутился, куда попал. Улыбка его просто отказывалась признавать эту новую действительность.

— Таким он долго не проживет, — с грустью сказал Решетняк.

Ночью подползли к нему, зажатому в толпе. Решетняк протянул гимнастерку свою запасную, солдатскую:

— Эй ты, Шамиль! На, надевай, а свою сними, чтобы утром не узнали...

Другие тоже поддерживали:

— Да, да, переоденься... Награду спрячь, согнись, стань как мы... Тут нечего ходить гоголем...

И объяснили из темпоты:

— Один из охранников выболтал: «Пусть, говорит, пофортит до утра, а там уже его песенка спета...» Так что ты лучше, друг, переоденься, не выдадим, нас тысячи, между нами не найдут!

И не нашли Шамиля. С нами вот тут он теперь, в солдатской спасительной гимнастерке, с орденом, спрятанным у самого сердца. Утром после той ночи поспешили вклиниться в первый же этап, готовившийся на отправку, и этим, быть может, спасли товарища.

Слепые телячьи вагоны. Забитые нами до отказа: всю дорогу вынуждены были стоять. Только и можно было стоять и задыхаться в темной горячей душегубке, мчавшейся певедомо куда. И лишь горемыка, потерявший сознание или умерший, ссовывался вниз, падал под ноги и там лежал, и считалось, что его уже нет, хотя он, возможно, еще и был. Душная перегоревшая тьма, в которой время от времени кто-то стонет, кто-то падает, потеряв сознание: коробка вагона закрыта словно бы герметически, не хватает кислорода, и ни к кому не достучаться из этого гроба, и не у кого допроситься глотка воды. Мир глух к вам, и часовых над вами вроде бы нет, запакованы вы и задыхаетесь; мчит вас в неизвестность тупая железная сила, только где-то в щелочку просачивается полоска

света, по которой вы догадываетесь, что на дворе день, светит солнце и что, быть может, пролетают ваши душегубки через поля, через цветущие луга, где вода голубеет, и струится ветерок, и свободно дышит каждая букашка...

...На вышке снова стоит с автоматом тот рыжий, ослоневший от зноя юберменш. Расстегнул ворот кителя, вытирает платком разопревшую шею.

— Жарко? Будет вам еще жарче, — поглядывает исподлобья на вышку Шамиль. — Должны были бы подумать, какую тут ненависть куете.

Гортанный его голос кипит яростью, хотя на смуглом, с восковым отблеском лице Шамиля еще заметны следы недавних улыбок — в уголках губ, в лучиках возле глаз, — раньше этот человек, видно, любил смеяться. По внешности Шамиль вовсе не похож на того боевого командира, который, появившись в Белгородском лагере, всех ошеломил своим мужественным и независимым видом. За дни неволи словно бы даже уменьшился: осунулся, сгорбился, зарос. Но дух его не разрушен, мы знаем это. Даже когда Шамиль стоит в очереди за баландой, то и тогда, взглянув на него со стороны, невольно подумаешь: «Нет, это человек, никогда не знавший рабства...»

— Я бы хотел, чтобы вот здесь моя камера передала внутреннюю монолитность человека, — говорит Сергей-оператор, когда мы с ним обсуждаем это место. — Было же что-то такое — назовем его Светом идеала, — что поддерживало вас в том пекле, где происходил, казалось бы, совершенно неравный бой между человеческим и животным, где обпаченный дух человека сражался с кровавой трясинкой, с собственным отчаянием, преодолевая слепую силу инстинктов...

— Не всегда преодолевал, бывало, что и они одолевали... Но Шамиль все-таки был, мы видели его собственными глазами.

— Я хорошо себе представляю, как он входит в кадр... Как отдает кулек с лапшой для товарищей... И как спит ночью под стеной, укрытый куском мешковины (это Решетняк укрыл его с вечера). Остатки человека, которые еле-еле дышат под мешковиной... Он представляется мне как тип человека, органически не способного существовать

в клетке... Рабство в любом виде: лагерное ли, которое с палками... Или самая постыдная форма — рабство внутреннее. Оно не для него. Камера моя возьмет Шамиля в его человеческом апофеозе: когда он, только что выхваченный из огня боя, появляется в лагере еще разгоряченный, в пылпще, в запекшейся крови... С его лица еще не сошла веселая отвага воина, и на груди орден Ленина горит — на весь лагерь горит, как символ самой жизни. В финале Шамиль, видимо, тоже появится? Среди тех, кто Зпамя Победы будет поднимать над рейхстагом, мог бы он быть?

— Мог бы. Но до этого далеко. Безмерно далеко.

— Понимаю. — Сергей встряхивает чубом. — Кровавый берлинский маньяк еще сидит в своем бункере, он еще жонглирует глобусом, как тот чаплинский его двойник — диктатор, комедиант с усиками... Ему еще рапортуют, его слушают, в припадке бешеной злобы он еще бросит миллионы одураченных жизней в фронтовую мясорубку... Быть может, дать нам здесь образ античеловека? Упыря-вервольфа, оборотня, засевшего в стальном бункере? Но нет, не станем портить пленку! Достаточно того, что история уже зарыла его на своих пепелищах... А Холодную Горы дадим знаете как?

— С птичьего полета?

— С космического! По крайней мере, чтобы впечатление было такое... Будто из иллюминатора космического корабля... Что-то вроде тех уникальных надпланетных кадров, которые в специальных ампулах будут замурованы в монумент открывателям космоса. Для грядущих поколений... И вот из этой же точки беру планету... Только не в голубом сиянии океанов, материков, а планету Холодной Горы, планету еще кровавую, пожарную, чадную...

IX

Если другие рапы, рваные, огнестрельные, можно лечить, то невольничьи не угомонишь ничем, лекарств для них нет и, наверное, никогда не будет.

Еще в школе был у нас учитель, мы его называли Колба, вероятно потому, что голова его, лысая, лобастая, на шее тоненькой, в самом деле напоминала колбу. Он сквозь парту выдел, что где у кого на коленях делается.

Топенькие чумацкие усы подковой свисали вниз и придавали чутьчку грустное выражение нашему зоркоглазому Колбе, его бескровно-белому, с мелкими чертами лицу. А фигурой был складный, «колбу» свою держал на плечах с достоинством и сам держался прямо, петушисто, как большинство низкорослых. От него мы впервые услышали, что человек состоит из белков, жиров и углеводов (он преподавал у нас химию), слышали от него и то, что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой», ибо по совместительству он преподавал еще и немецкий. О себе он никогда нам не рассказывал, но от других мы знали, что во время первой мировой войны был он в плену в Германии, питался брюквой, которая на наших базарах даже и неизвестна, неоднократно делал попытки бежать, но его ловили и подвешивали за ноги вниз головой — чисто прусское это было наказание, ждавшее каждого за попытку к бегству. Почему-то вспоминался на Холодной Горе этот учитель, симпатичный папш Колба, над которым мы за глаза потешались, а он, привлекая нас к разным опытам лабораторным, почему-то ни разу и не рассказал, как его подвешивали и как он все-таки остался жить, выдержав все. Видимо, не только же брюквой выжил, видимо, не только она сохранила в состоянии жизни ту загадочную связь белков, жиров и углеводов, давших в конце концов высочайшее творение природы, венец ее — человека...

Мозги наши расплавляет солнце. Открытые ему, валяемся на камнях, тонем в море какой-то другой, ирреальной жизни, что вяло течет хаотической смесью воспоминаний, миражей, галлюцинаций...

Сколько же все-таки может выдержать человек без воды, без хлеба? Черпак баланды один раз в сутки, и все. Баланда готовится с особыми немецкими приправами: вместо соли бросают в котлы испорченный, гнилой сыр, весь зачервивевший, и когда зловонное варево разливают, то сверху плавают белые отвратительные палочки. Сначала совсем не могли есть, тошнило даже тех, что совершенно отощали... Хлеб видели один раз, его несли в руках два типа, из тех, которые, слышно, только что согласились вступить в армию власовцев и за это сразу получили по стандартной буханке с полицейской нормой повидла на каждой. Они шли с этим добром в сопровождении стража через весь лагерь, протискивались между лагерным людом, между скелетами живых, у которых глаза

горели единствепным, казалось, желанием: хлеб! Хотя бы крошечку! Но те, что несли свой бесчестный хлеб, кажется, не рады были ему. Шли, придавленные тяжестью собственного позора, втянув головы в плечи, и не смели глянуть в глаза своим лагерным товарищам. Похоже, камнями обернулся для них этот иудин хлеб с пятнышком повидла — землю пахали их понурые лица. Наверное, этих умышленно водили по лагерю, чтобы приохотить и других, ибо на следующий день вербовщики появились снова, стояли кучкой среди тюремного плаца, ждали, не объявится ли кто. Но вербовщикам пришлось долго ждать — охотников получать предательский паек так и не оказалось! Потому что лучше уж голод и муки, чем позорная ласка вербовщиков. Молодых им нужно, которые крепче, здоровее. Нет, не будет. Раненые еще сильнее расцарапывали свои болячки, контуженых еще больше скрючивало, стройные фигурой мостили себе горбы под сорочками на спинах, чтобы казаться горбатыми. Увидев вербовщиков, шарахались, бросались от них, как от прокаженных. Безымянные, никуда не вписанные, бесхлебные, костяками хребтов оборачивались к проклятым наемническим соблазнам.

— Не для нас этот хлеб,— говорил Решетник.— Им разве лишь подавиться можно.

А те, которые по кирпичику хлеба с повидлом получили, даже не почевали больше в лагере: хотя никто их вслух и не упрекал, лишь молча смотрели на них, когда они, блудливо пряча глаза, делали со своими пайками по лагерю обход, но для ночевки Холодная Гора им уже была местом неподходящим — из страха не появлялись в лагере, боялись, что придушат их ночью.

В одну из ночей налетела гроза. С верхнего этажа тюрьмы через дырку окна, через прутья решеток услышали ее дыхание, наши души обдавало порывами ветра и дождя. Тучи нависли над самой горой, небо гогочет, все в трещинах молний, сквозь порывы в тучах видим во вспышках еще более высокие, верхние слои облаков. Простор меж ними то и дело взрывается синим половодьем света, всюду гремит канонада небес. Удар за ударом, раскат за раскатом! Демоны разрушают мир. И хотя тембром своим раскаты-гоготы грома вовсе не похожи на удары «катюш», нас опьяняет эта ярость грозовой ночи, возбуждает, воскрешает эта могучая сила небес, бурлящий хаос разрядов. Лихорадочное чувство охватывает всю эту

снизу доверху напшигованную людьми тюрьму, на всех этажах слышны возбужденные голоса, гвалт, свист, ходунном ходит наш каменный ад, вот уже на полный голос затянул кто-то в темноте:

Гей, не тужи, хто без черги до баланди поспішас,
Кого німець дубиною по спині влучас!
Не тужи, хай собака-поліцай збоку скавуляє...
Ге-ге-гей!

Веселый шабаш огня и тьмы. Не успев погаснуть, снопа сверкает, гремит, копиями молний разламывает ночь. Разлив голубого, разлив ночного вспышками затопляет поднебесье в изорванных волокнистых тучах. Гроыхает небо, ежятся на вышках тени часовых, а тюрьма сквозь решетки всех этажей вызывает вверх к вспышкам молний, к ярости небес:

— Бей крепче! Еще крепче!

Вызываем на себя всю силу грозы, пусть все молнии бьют из разбушевавшихся туч, сотрясают, рушат каменную нашу душегубку, пусть первобытный хаос тьмы и руины поглотят эту Державу Надругательства и Зла!

Потом и это проходит. На рассвете небо за решетками светлеет, люди тянутся к окнам: восходит! Откуда-то из-за Журавлевки, из-за мокрых крыш города живое наше солнце встает! То, которое божеством было для человека далеких эпох. Дажь-богом, Ярилом, то ясное, лучезарное, с которым и сегодня сравнивает юноша свою любимую девушку, с солнцем мы сравниваем все прекрасное в жизни... Можем безпаказанно смотреть, как разливается над громадой города светлеющее море небес, утренняя музыка красок: оранжевое, пылающее, сипсе! Протискиваемся к решеткам, чтобы заглянуть туда, в потустороннее бытие, где крыши еще сверкают после ночного дождя, и капелька, как ягода, дрожит на ржавой водосточной трубе, и все видимое несет на себе прелесть жизни, отпечаток вечности. С востока над городом вырастают крылья света, небо розовеет свежо, лепестково отшумевшим дождем сверкают зеленые кроны деревьев, играют стеклом в отдалении стройные корпуса Госпрома... А душа еще больше обливается кровью, жгучей болью болит. Нет для тебя радости и даже в этой красоте, утренней, послегрозной. Это, видимо, и есть неперемный признак неволи: даже восход солнца над родным городом не радует, мир даже своей красотой ранит тебя!

Город студенческой юности твоей... Думал ли ты, что будешь смотреть на него отсюда, из-за решеток холодногорской тюрьмы? Узнаешь реки улиц, очертания кварталов, отдаленную зелень парков возле Сумской, где бронзовый Тарас, если не сбили его, возвышается на пьедестале с крутым своим челом. «Любіть її... Во врем'я люте...» Вслушиваясь, слышишь и отсюда голос его.

Видел его в последний раз, когда прошлой осенью наш санитарный эшелон на вокзале стоял. Оттуда было так близко до улицы Вольпой академии с ее классической колоннадой. Выбравшись на костылях из вагона, еще в каске, в которой тебя подобрали (пилотка где-то потерялась), в жестких, заскорузлых от крови штанах запрыгал к остановке, с трудом взобрался на подножку трамвая, втиснулся в вагон. Город уже готовился к эвакуации, всюду царил тревога, суматоха отступления, но ты был почему-то уверен, что в университете еще застанешь своих, встретишь... ее. Вместо нее Штепу встретил. В главном корпусе стоял в очереди к окошку за стипендией, он словно бы и не удивился ни твоему появлению, ни твоим костылям, ни заскорузлым штанам в засохшей крови... «Сами попросились в военкомат, герои... Видать, жалеешь теперь, товарищ доброволец?» Нет, не жалею даже теперь, когда суждено вместе с народом своим горе его делить. Видел его в радостях, теперь погляди и в горе...

И снова день, как и все предыдущие. С палками, эпоем, чьей-то агонией. С разопртыми юберменшами на вышках, с несчастным базаром, с вечными женщинами у ворот. Смердящее тюремное солнце печет. Дремлем под ливнем лучей. А Решетняк между тем где-то ходит, высматривает, разведывает, прислушивается. Среди нас он оказался самым деятельным. Иногда возвращается от ворот с какой-нибудь поживой, брошенной женщинами через головы стражи, а еще чаще приходит без всякой добычи, разве лишь с полосой на спине от палки надзирателя.

Решетняк не теряет надежды установить связи с внешним миром. Где-то раздобытым огрызком карандаша упорно царапает записочки и, уловив момент, ежедневно бросает их за ворота в толпы женщин. Множество таких записочек перелетает сюда и туда, и Решетняк уверен, что хоть одно из посланий все-таки не пропадет, не затеряется. О эта горемычная почта человеческой надежды! Был бы поэтом — высочайшими словами воспел бы ее,

эту нештемпелеванную почту народную, которая потертыми, пропотевшими цидулками перелетает сквозь все ограды, падает в пыль, из пыли поднимается, путешествует из рук в руки, направляясь в отдаленнейшие уголки, кого-то разыскивая, кого-то оповещая, и нигде не теряется, не пропадает!

Что бы там ни было, а Катря, если только она есть на свете, рано или поздно получит от него весточку и придет, и выкупит, как-нибудь выручит его, а он уж и нас — этим сейчас живет Решетняк. Накануне опять где-то подобрал раздавленную консервную жестянку, обдумывает, как склепать из нее посудину, а взгляд его то и дело — за ворота, где все-таки должна же появиться издалека, как из золотых снов, запыленная, спасительная мечта его с ребенком на руках...

Жадно прислушиваемся к лагерным новостям. Снова ходят вербуют в свои шинели — это не для нас. А еще вроде будут набирать на шахты — мы и на шахты не хотим. Завтра будут отправлять в Германию, но туда мы не хотим тем более... Правда, все это лишь слухи, догадки, о таких вещах тут не узнать наверняка. Приходится полагаться скорее на интуицию да на жребий, который тебе выпадает от судьбы. Человек здесь словно пловец среди разгулявшейся стихии, совершенно к тебе равнодушной, тебе в своих размерах неизвестной; жизнь твоя — сплошная борьба с нею, тяжелая, почти фатальная.

С каждым новым днем новые слухи шелестят по лагерным джунглям. Однажды Решетняк возвратился из своих странствий быстрее, чем обычно, голос срывается от волнения:

— Сейчас должны набирать. Вроде бы на жатву!.. Представляете: на жатву! Рискнем?

Сноп и хлеб. А может?.. Тут нет времени для размышлений. Шамиль вынул черную свою пустую трубку из зубов:

— Двум смертям не бывать!

Когда мы уже в колонне серой выходили сквозь раскрытые ворота тюремного двора, Решетняк, улучив момент, бросил в толпу еще одну цидулку, уже, видно, последнюю. Должен же был известить Катрю, что его тут больше нет, что он еще и сам не знает, где она должна будет отныне его искать.

Идет куда-то Катря. В толпе женщин, с котомкой через плечо, все дальше от дома. Село их, Хмаринное, небольшое, притаилось в расселине между балками, не очень его со стороны и заметишь. Только дороги смело устремляются во все стороны от села — во все концы Украины легли дороги от Катриной хаты. И по какой ни пойдешь, приведет тебя к тюремным воротам, к лагерной проволоке, за которыми будут, словно распятые, фигуры высохшие, костлявые. Сколько тех дорог прошла, сколько заграждений обходила с тех пор, как совершенно незнакомая женщина из Солониц принесла слух о каком-то хмаринском Иване. Будто успел крикнуть из колонны, называл себя, когда их перегоняли из одного лагеря в другой...

Было это прошлой осенью, в дожди такие, что ноги из грязи не вытащишь, а Катря в ту же ночь собралась и к утру уже была в дороге. Откуда могла она знать, что Иван ее в это время лежит в сибирском госпитале и сестры ухаживают за ним, сестры и матери, может, тех, которых сейчас гноили по лагерям и глинищам Украины под небом гнилым, набрякшим дождями.

Дорога свела Катрю с многими женщинами, которые тоже шли в надежде разыскать кого-то из своих, а среди них шла одна, марьяновская, молчаливица суровая, о пей тихонько говорили, что сын ее возле Днестра убит, односельчане видели, а она, даже очевидцам не веря, все-таки шла и всю дорогу была как немая, с мрачным молчанием несла в узлах через плечо свой горемычный выкуп за сына. Высокую, степенную, ее не допрашивали расспросами, жещины-попутчицы даже имени ее не знали, просто говорили: «Чья-то Мать». Возле Хорольской ямы один из часовых, без церемоний приняв взятку, крикнул в размокшее глинище, наполненное людьми:

— Васпленко!

И их встало десятка полтора. В лохмотьях, в грязи. Стоят ждут, светят мученическими глазами в сторону Матери. Только ж сына ее меж ними нет! Долго смотрела на них, всматривалась, все словно бы узнавала, а когда взятчик-часовой крикнул: «Скорее выбирай!» — она выбрала самого изможденного, больного узбека, который еле на ногах держался:

— Вот мой сын.

Забрала и увела. Но всех не выведешь. Живой могилкой для тысяч несчастных стала эта грязная, замикробленная яма, в которой пленные целую осень валялись под холодными батогами дождей. Много и хмаринских было в той яме, куда они попали, не успев даже и виштовок получить. Однажды благодаря чьей-то заботе пленным в яму дохлого коня бросили... Хмаринские женщины всякими правдами и неправдами высвобождали своих, однако спасенные, в том числе и отец Катри, возвратились домой надорванными. Дядьки, которые вдруг стали дедами, надсадно кашляли на все село, кровью отхаркивая тот Хорол, ту гнилую бесправную осень. Разрывая грудь, кашлем будили село, а когда кашель в каком-нибудь дворе умолкал, так и знали: еще одной вдовой больше стало в селе. В тихой тоске гасли глаза их. Один за другим почти все перемерл за зиму от полученных болезней, от простуд и побоев, а то и просто гибли словно бы беспричинно, может отравленные самим ядом неволи, самим воздухом бесправия и надругательства.

XI

Гопят! Гопят!

Женщины на гумне разом бросили работу. Бригадир Вихола вынужден был остановить молотилку. Все взгляды — на дорогу.

Из-за бугра в ореоле пыли появились люди. Те, от которых еще недавно содрогалось все небо на востоке. Те, от которых откуда-то из-за Харькова бежали сюда перепуганные немецкие коменданты со своими любовницами.

Заныленные тепи людей, оборванных, изнуренных, в сопровождении конвоя ступили на гумно. Увидев кадку с водой, пленные толпой бросились к ней. Местные люди этой воды и не пили, она была приготовлена на случай пожара и уже несколько дней стояла так, нагретая солнцем, несвежая, в масляных пятнах — куда же такую пить? А эти накинулись гурьбой, ошалевшие, давятся над кадкой, пьют не напьются, будто век их мучила жажда, будто целое лето росинки не было на губах.

— И впрямь нет напитка лучше воды...

Глядя на эту несчастную толпу, мучимую жаждой, женщины плакали. Тоска по мужу, по отцу, по брату была в их слезах. Колосовского ранили эти их сочувствия

и сожаления, казалось Богдану, что какал-пибудь из них вот-вот вскрикнет в отчаянье: «Наши! Это же вы гремели небом! Разве же мы такими вас ждали?»

Босой стоял перед женщинами, тонконогий, как Дон-Кихот, в бессмысленном своем галифе, без сапог, в гимнастерке перетлевшей. Ноги еле держали Колосовского, в спине после далекой ходьбы жгло огнем — контузия еще напоминала о себе. Присесть бы где-нибудь. Он время от времени поводил то плечом, то спиной, и это, видно, бросилось в глаза бригадиру, владыке гумна Вихоле. Во всяком случае, чем-то привлек его внимание этот худой, заросший черной щетиной пленный с насупленным, угрюмым взглядом.

— Вот этот казак, видать, из наших, — сказал бригадир и, вкрадчиво ступая средь притихшей толпы, остановился перед Колосовским с рожном в руке. — Отец же твой, хлопче, наверное, казацкого рода?

— Не иначе. — Колосовский с трудом выжал эти слова.

— Вот вишь, какой я догадливый... А ну-ка, сын казачий, докажи им. Докажи, что не забыл хлеборобской науки, умеешь носить рожны! Глянь, рожон как золото. — Он даже качнул им перед Колосовским: — Наш, украинский!

Рожон был высокий, как копье. Идеально отполированный соломой, сверкал желтоватым блеском, словно выточенный из старой слоновой кости. Бригадир Вихола, выпрямившись, точно какой-нибудь индийский магараджа, величаво держал это прадедовское копье из вяза, послужившее, видно, не одному поколению соломоносцев.

— Так на, бери же, докажи им!

Колосовский не шевельнулся. А кто-то из толпы пленных заметил скромно:

— У нас перед войной солону сетками таскали.

Это замечание будто огнем обожгло Вихолу, он побагровел, со злобой глядя в толпу:

— Вот и научил вас мудрый Сталин сетками по всему полю растряхать! Малышню поставят, они и делают дорожку на всю степь!.. И скирды тогда стоят все корявые, незавершенные, насквозь от дождей затекают... Хозяева! А мы, пускай не с его темпами, без его стальных сеток, зато аккуратненько. — И кивнул на девушку, стоявшую поблизости с граблями: — Она тебе начинит так, что соломинки с рожна не упадет!

Пока он разглагольствовал, Колосовский все следил за

ним. С седыми висками, с седыми кустистыми бровями, из-под которых водянисто голубеют пристальные холодные глаза. Губы все время улыбаются, лицо, мясистое, в красных прожилках старости, улыбается тоже, и только в глазах этот цепкий исчезающий холодок, от которого становится не по себе каждому, кого он коснется. Колосовский, поглядывая исподлобья на рожон, чувствовал себя так, будто какой-то призрак его преследовал в виде этого допотопного орудия... Ведь когда приближались к гумну, первое, что он увидел, был именно этот рожон: кто-то, стоя на одном колене, как раз силился поднять его, оторвать от земли... «Только бы не это, только бы не заставили носить рожон!» — подумалось Богдану, и от одного лишь предчувствия контуженая поясница снова запыла у него от боли... И вот, пожалуйста. Именно на него и пал выбор этого гуменного владыки, который, явно издеваясь, снова уставился взглядом:

— Так как? Рожон испугался? Кишка тонка? И это ты хотел у них Харьков отбить?

Колосовский смотрел на него с пепавистью. Хотел бы скрыть в себе это чувство, но ничего не мог с собой поделаться. Ненавидел этот распаренный картофельный нос, и бригадирский картуз замусоленный, и губы улыбочато растянутые, — улыбка к ним будто прилипла, она еще дрожала, но губы уже побелели от злости. Что ты за человек? Ты ведь жил на этой земле, ходил среди нас, наши слова говорил, а теперь... Кем ты стал? Ради чего придираешься ко мне, глумишься, опытным глазом надзирателя угадав, каким образом можешь причинить мне сильную физическую боль?

Бригадир еще раз выставил рожон, взмахнул им, чуть ли не в лицо Богдану:

— Берешь или нет? А не хочешь, так и скажи: отказываюсь. С первых шагов и уже саботаж...

Колосовский скользнул взглядом по рожну вверх, до его острия: «Может, все-таки взять, чтобы насквозь тебя пронзить? Как червяка, пригвоздить к земле этим твоим рожном!..» И тут из толпы выступил Шамиль, отстранил Колосовского:

— Не может он. После контузии, понимаешь? — сверкнул белками на бригадира.

Вихола смерил взглядом неожиданного защитника:

— Так, может, ты? Кунак? Крепко, видать, покуначились?

— Холодная Гора покуначит... Давай.

Но этому почему-то не дал. Слишком горячий, от такого всего можно ждать... Втянув голову в ссутуленные плечи, снова прицелился прищуренным глазом в Колосовского:

— То-то я и заметил сразу, что он у вас какой-то скособоченный... Дай, думаю, поставлю этого казака под рожок. Пускай хребет ему расправит. Рожок — это такой струмент, что каждый хрящик поставит на место... А казак, выходит, соломопый?

— Сказали ж вам, не может он, — кинул из толпы измученный, немолодых уже лет плешный, которого и имени еще никто не знал.

— А не можешь, так зачем ты мне пужен? — с яростью повысил голос бригадир. — Вылеживался бы и дальше там, на Холодной Горе! А мне нужны такие, чтобы всякую работу умели! — И опять-таки сдержал, усмирив себя до кривой усмешки. — Так кто же? Гордый сын Кавказа берется? Но ведь у вас там только лезгинку умеют выбивать? Винцо да «Сулико»! А на хлебце — все на нашем, на готовеньком!

— Да хватит уж вам, — сказал вдруг Решетняк, выходя вперед. — Дайте я.

И рука его тихо легла на рожок, охватила это копые крепко, костляво.

— Еще один купак-защитник, — бригадир прицеливался теперь к Решетняку, взвешивая взглядом его приземистую фигуру: надежные рабочие плечи мословато бугрились под пропотевшей гимнастеркой. — Умеешь? Что ж, — Вихола улыбнулся криво, — бери, выручай дружков... Интеллигенция и тут на простых выезжает... А пу, Приська, начини ему как следует!

Девушка с граблями стояла среди женщин: рослая, со смуглыми персиками щек, в синей кофтенке, вылинявшей, обозначившейся двумя пятнами на тугой груди. Глаза широко открытые, искристые какие-то от солнца или от слез.

— Ну зачем вы это? — глядя на бригадира, промолвила с болью. — Люди с ног валятся, а вы...

— Давай, давай, не рассуждай, больно ты сегодня грамотна! Не на курорт сюда присланы! Война — не мать родпа... Бери, навизывай!

Слезы затуманивали девушке глаза, когда она взялась готовить грабелями свежую пушистую солому под ро-

жоп. Будто ткала ее деликатно, аккуратно, делала это так, чтобы соломинки не было лишней, ведь каждая соломинка сейчас, как гора, ляжет этому измученному на плечи. И дыхание затаила толпа, глядя, как Решетник, опершись коленом о землю, примеряется, осторожно загоплет рожок в солому, а потом, напрягаясь, пробует поднять, оторвать его от земли вместе с наизапным пластом соломы. Чуточку поднял и не удержал, повалился на землю, сломленный ношей.

Зашумели женщины, укоряя Вихолу:

— Да что же это вы, Семеныч, делаете с людьми? Столько голодал, откуда же у него будет сила в руках?..

— Не ваше дело, — огрызнулся бригадир. — На фронте побось ящики со снарядами швырял.

А Решетник тем временем пробовал еще раз и еще. И когда Прися помогла ему грабельками из-под низу, он все-таки поднял рожок, поставил его торчком. Передохнув, с натугой поднял его над собой и, пошатываясь, медленно направился к скирде.

Облегченно вздохнулось всем, кроме разве лишь Вихолы. Ссутулившийся, с картузом, опущенным на самые глаза, бросил Решетнику вдогонку почти с похвалой:

— Двужильный, видать... Вот как золотую напаху надел. У такого пуп не развяжется.

После этого, посоветовавшись в сторонке с конвоирами, принялся распределять пленных по работам. Тут уже кому что выпало: одних оставил на гумне, других послал на конюшню, третьих на фермы. Колосовский попал в группу, выделенную силосные ямы чистить.

Старший из конвоиров, которые пригнали их из гебита и должны были теперь возвращаться, предупредил на прощание:

— Днем будете работать на разных работах, а на ночь вас снова будут собирать вместе... Только не вздумайте бежать, дальше Днепра еще никому не удавалось... Там и хапа — без музыки. И еще зарубите себе на посу: за одного вы все тут заложники. Знаете, что такое заложники? Один за всех, все за одного... Головами отвечайте!

Маленький, щуплый полицай из местных повел их к силосным ямам. Раздавая лопаты, заговаривал с пленными, не скрывал от них своей неприязни к Вихоле.

— Ловкач из ловкачей! Знает, кому какого поросенка послать в гебит... Дойчу-управителю внушил, что без него, без Вихолы, тут и хлеб не будет расти... Вошел

в силу, теперь даже на агронома роль внимания, сам управляет хозяйством... А в коллективизацию разве ж так хутора эти громил, когда совхоз создавали... «Селькор Глаз»! Шумел, разоблачал... И вот уже вам активист наизнанку. Ничего не скажешь, сумел, перевернулся...

— Да и ты ведь тоже? — хмуро глянул Колосовский на конвоира.

— Что я? Горе заставило. Не был бы я, кто-нибудь другой был бы. Может, куда злсе... От добра, думаете, хлопцы, я в эту грязьцу влез? Тоже был за проволокой, виш три месяца меня ели... Да и теперь не мед: родные дети стыдятся, стали как чужие. Жена ругается: «Зачем было встревать? Зачем ты эту дурацкую повязку нацепил?»

— Не позавидуешь, — сказал Колосовский. — Горькая ваша жизнь, пап полицай.

— Не называй меня паном, — рассердился конвоир. — Какой я к черту пан?

— А кто же? Сеньор или герр?

— Просто Огей. Все меня тут знают. Знают, что и не хотел, окрутили под пьяную руку... Это вот напарник мой, Полубоярипов, тот хоть в тюрьме сидел за прогул, а я ведь и в тюрьме не сидел!

— Не горюй, еще посидишь, — утешил его один из пленных, Лешка костромской.

Конвоир почесал затылок, погодя спросил почти с болезненным любопытством:

— А это правда, что там, куда ваши возвращались, нас вешали всех подряд?

Никто ему не ответил. Работали. Чистили длиннющую яму-траншею, выбрасывали наверх прошлогодний перегнивший силос. Через некоторое время их и тут навестил вездесущий Вихола. Стал над ямой, прищуренным глазом оценивал, каждый ли с достаточным рвением орудует лопатой. И хотя Колосовский работал не хуже других, Вихола и тут к нему придрался:

— Говорят, студент, ученый, а лопатой, вижу, что-то не очень... Что ты еле шевелишь ею? Или от силосного духа в носу крутит?

— Я работаю, что вам нужно? Лучше не умею.

— Рожны носить не умеешь, лопатой не умеешь... Так что же ты умеешь? Наверное, командиром был? Или комиссаром? Если грамотный очень, то в газетку бы ихнюю шел — Сталина славить!

Лешка, смельчак костромской, молча вылез из ямы, справил нужду и, глянув вслед часовому, который зачем-то побрел на ферму, приблизился с лопатой к Вихоло вылотную:

— Ты чего, падло старое, взъелся на людей? Жизнь тебе надоела?

Такую речь бригадир, оказывается, способен был понять. Сник, сторбился сразу и, пятясь к двуколке, стоявшей неподалеку, все бормотал испуганно:

— Не валяй, не валяй дурака.. Чего вы сердитесь, хлопцы? Я ведь работу спрашиваю, на то поставлен... Норму дайте, так я еще и похвалю...

— Нам хвала твоя к этому вот месту, — паступал на него Лешка. — А если жить хочешь...

— Да кто же не хочет! Я и сам когда-то был «селькор Глаз». И сейчас не онемечен... Лучше нам с вами ладком, хлопцы... У меня у самого племянник летчик, тоже где-то на фронте горе хлебают... — Схватив вожжи, бригадир плюхнулся в двуколку, потянул картуз и отбыл, не попрощавшись.

— Нагнал ты ему холоду, — повеселели хлопцы, когда Лешка возвратился в яму. — Только не жаловаться ли поехал старый стервец?

Однако, все взвесив, решили, что промолчит, невыгодно ему из этого затевать историю... А за какой-нибудь час до захода солнца в совхозе поднялась непонятная тревога: несколько выстрелов отдаленно прозвучало в степи, промчались, поднимая пыль, какие-то всадники. Рабочий день еще не закончился, а пленных уже снимали со всех работ, группами гнали к кирпичному заводу. Туда же вскоре подъехала подвода в сопровождении конной охраны — незнакомые разъяренные шугманы горбились в седлах. Подъехав к пленным, подвода остановилась, один из шугманов сорвал покрывало-понону, и пораженная толпа увидела на дне телеги два изуродованных трупа — в сипяках, в еще свежей крови.

— Ваши?

Старший и младший. Будто отец и сын. Оба из холодогорцев. Те, что все перешептывались в дороге, кажется, из одного полка были, имели какую-то родню за Днепром... Вместе с остальными пригнали их сюда, совсем вот недавно пили на гумне из кадки, потом их послали в поле грузить снопы на арбы... И вот уже... Сваленные на дно

телеги, лежат бревнами, ноги свисают босые, побитые, в кровоподтеках...

— Бежать хотели! К Днепру разогнались! Только отсюда еще никто у нас не убежал!..

Так вот для чего посрывали с работ, согнали всех холодногорцев сюда: глядите, паглядывайтесь на своих товарищей... Сегодня это их, а завтра, может быть, ваша судьба.

— Не убежал никто и не убежит! Всюду у нас блокпосты! Мышь не пролезет!..

Еще до пастушества вечера и закопали обоих в глинище. Никакой надписи на могиле, даже имен их тут никто не знал. Ночевать пленных загнали в руины кирпичного завода, в полуразрушенные печи, где когда-то гоготало пламя, обжигался кирпич, а сейчас темнота обдает холодной горелой сажей, руинами, запустением отдает. Сквозь разваленные душники виднеются звездные куски неба. Возле выхода из печей сидят с вилками двое часовых — долговязый и кудый. Пат и Паташон.

У Огея Паташона большой кисет домашнего самосада. Он дает хлопцам закуривать, говорит почти сочувственно:

— Вот уже и нет двоих из ваших... Не вздумайте бежать, хлопцы. Это они правду говорят, никто еще не убежал.

— И к тому же система заложничества, — объяснил долговязый. — Одного педосчитаются, все за него в глинище пойдете.

Тяжело вздыхает кто-то в глубине кирпичной пещеры. Сопят, смолят самосад часовые. Кудему, видимо, что-то все-таки терзает душу: как бы оправдываясь, он объясняет, что сюда загнали их временно, пока отремонтируют барак.

— Не все же тут такие звери, — говорит он, неизвестно кого имея в виду.

В бурьянах возле входа в пещеру подал голос сверчок успокаивающим, ровным стрекотанием. Долговязый, который перед войной был осужден за прогул, поднявшись, копошится, шарит в бурьяне:

— Не люблю, когда оно трещит...

Приумолк сверчок, а как только часовой расположился на куче битого кирпича, в траве снова застрекотало.

— А чтоб тебя!

И долговязый спова лезет в бурьян, охотясь за сверчком, всю ночь будет он вести неравную борьбу с тем партизаном неуловимым.

Успул Шамиль, и Решетняк провалился в сон, утомленный тяжелой работой. Только Богдан еще не спит, вбирает сквозь душник звездную свежесть неба... Делали все, что могли! Это действительно правда. И вот вы уже словно бы выключены из великого круговорота жизни. Из всех богатств и прелестей мира что для вас осталось? Пещера эта, жилье неандертальца?

Черный свод с духом запустения, горелой сажки, битого холодного кирпича? Что для их тысячелетнего райха каждый из вас со своей жизнью, с ее радостями и любовью, со всеми своими порывами? Как существ, зараженных непокорством, вечной непримиримостью, всех вас загнали в этот черный кирпичный завод, битком набили в огромную его печь, земной образ тесного удушливого ада... «А над планетой XX век, — горько думает Колосовский. — Как же случилось, что тебя загнали в пещеру, в жилье неандертальца? И только в душник полуразрушенный ты видишь изначально-звездную вселенную. И невольно обращается душа к тем загадочным высотам, к пречистому блеску далеких миров, и ищет где-то там какие-то, вами же осмеянные в школах, первоисточники, те, которые, быть может, и не существуют, но что, если они есть? Что, если за какую-то провинность рода людского послан на него этот шабаш антропофагов?»

Сквозь проломы в крыше небо заглядывает, неугомонно подмигивают ресницы звезд — неизведанные звездные глубины... своей жизнью они живут, вам словно бы лишь намекают на что-то. Глаза небес, импульсы далеких внеземных цивилизаций, найдут ли они когда-нибудь вас? И если найдут, то какими? Может, как предостережение живым и грядущим возникла эта вспышка чумы, которую ты не мог остановить? Сатанинская ночь затопила все, погасила древнейшие университеты, и чего стоите вы сейчас со своими знаниями и эрудицией? Тьма окутывает континент, и среди мрака ее слышен лишь хохот вооруженных автоматами лейпцигских ведьмаков, хохочущих над вами, над вашей ночной землей...

Смотрел сквозь отдушину в звездные омуты и как бы вдыхал запах вселенной, и к солнечной древности, к светлой извечности снова потянулась его почти уничтоженная горем душа.

XII

Имение — это как огромный концлагерь, только и того, что без ворот, без колючей проволоки. Лишь колючими рядами лесополос обнесена эта каторга степная. Мрачный закон неволи господствует здесь, как и всюду, где прокатился ураган нашествия. Горе со всех концов загоняло сюда, в бывший совхоз, сорванное войной с мест бесприютное кочевое разнолюдьё. Прибывались к этому берегу спасавшиеся от голода городов, от облав, наборов в райх. Беженцы из прифронтовых полос. Беглецы из лагерей военнопленных. Те, кому удавалось выбраться ночью из рвов, из-под трупов расстрелянных... Каждый с горькой легендой, которую ему вольно было сфантазировать на свой лад; задерживались здесь, оседали, смешивались с местным населением, и всех принимал этот степной вавилон. Рады были и тому, что к пришлым здесь не очень придираются, контора мало интересуется, кто ты такой, лишь бы был способен взять в руки вилы или грабли.

Управитель, фольксдойч, вечно насупленный человек, который в прошлом был жокеем, целиком полагался на Вихолу во всем, что касалось хозяйственных дел. Сам управитель появлялся в имении ненадолго — зайдет в мастерские, заглянет в амбары, в конюшни, похлопает стригушков, проведет что-то конюхам сквозь зубы и снова мчится на тачанке в гебит: почевать ездит в местечко, — видимо, спокойнее спится под боком у комендатуры.

И холодногорцам после первых с ними стычек Вихола присматривался с неприязнью и настороженностью. На других мог покричать, пришлых горожапок мог оскорблять грубо, а столкнувшись с этой холодногорской ватагой, впервые почувствовал, что произвол его здесь не может быть безграничным: как бы коса да на камень не наскочила... Не даются в руки. Даром что валяются от встра, кожу натянуло на щеках, как у мошей, а не поддаются, встречают Вихолу костлявым своим сопротивлением, сплоченностью; между ними наперекор здешним законам словно бы существует другой, никем не писанный, скры-

тый закон побратимства, взаимоподдержки да еще презрения к тем, кого они называли прислужниками немецкими. С приходом пленных появилась ощутимая какая-то сила; хотя она пока и не проявила себя ничем, но это была сила. Так чувствовалось. Попробуй задень одного — так сразу и ощериваются все. Сюда еле притащились, полагерному дохлые, изможденные, а сейчас изо дня в день становятся крепче, ведь в столовой за девушками не уследишь, тайком подкармливают лагерников, не жалеют для них дополнительных порций супа со шрапнелью. Решил, что все-таки лучше ему будет не озлоблять холодногорскую братию, лучше с ними ладком, ибо это такие, что где-нибудь встретят ночью, свяжут, да и за горло, им задушить человека — раз плюнуть...

А хлопцы тем временем оживали. Разбрелись по работам: тот в поле, тот на ферме, тот возле лошадей — над каждым конвоира не поставишь... Все время среди людей, все время под сочувственной народной опекой. Женщины подкармливают, латают одежду, солдатские сорочки добывают для тех, на ком одежда совсем разлазится.

— Добрый у вас народ. Сердечный народ, — говорит Шамиль Колосовскому, когда вечером, как всегда, соберут их вместе.

Работы и после жатвы хватало. Вихола предложил слова пустить завод, чтобы собственный кирпич для имения обжигать. Развели во дворе огромный замес. И хотя холодно уже, женщины, подобрав юбки, ходят по кругу, месят, а Шамиль с Протасовым, бывшим учителем, глину подвозят с глинища да подбрасывают лопатами в замес. Нашел Вихола занятие своим белым рабыням. Подобрав юбки выше колен, сверкают икрами, рвут ноги в вязком месиве, однако духом не падают, еще и пленных поддерживают шутками, не дают тосковать.

— Не гнитесь, не гнитесь, хлопцы, перед судьбой. Потому как на согнувшееся дерево и козы скачут!

— Мы на петухов ворожили, так все время выпадает: сначала их будет сверху, а потом с этой погани пух полетит! Проклятую гитлерню, всю ее, как ветром сдует...

Прися тоже ходит с женщинами в замесе. Шамиль время от времени взглядом выхватывает ее из толпы. Что за девушка! Статная, огромноглазая, такую раньше, пожалуй, в фильме бы снимали. Выделяется она среди других, быть может, постоянной задумчивостью, которую

носит в глубоких озерах глаз. Белый платок, повязанный рожком, бросает тень на лоб, на тихую девичью красоту. Неразговорчивая, шутки от нее не услышишь, только взгляд ее, изгореванный, полный далекой ласки и тумана, словно бы откликается на взгляд Шамиля. Во время полдника сама подошла к нему со своим узелком.

— Захватила из дому на двонх. Где мы с вами сядем?

Отошли в сторонку, сели на выгопе, среди серебристой пехворочи. Прися разломилла краюху надвое, подала Шамилю бутылку молока.

— А сорочку снимайте, почино. Специально прихватила вот иголку, питку.

Он сначала не хотел снимать, упрямылся. Потом все-таки снял: одни кости да ребра, на груди — черно-заросший... Наклонившись, девушка латала гимнастерку и лишь время от времени поднимала глаза на Шамиля. А он все ловил ее взгляд, все хотел смотреть в эти синие ласковые озера.

— Кто ты?

— Прися, — и улыбнулась.

И он тоже улыбнулся: не в первый ли раз за долгое-долгое безрадостное время?

— Расскажи о себе, Прися.

— Что рассказывать? Ничего особенного...

Училась в педтехникуме. Учительницей скоро была бы. А потом война, на окопах со студентами работала. Когда отпустили по домам, примчалась сюда, к родителям, отец механиком работал в колхозе... Не застала — погнали тракторы и комбайны в эвакуацию... Тут для нее тогда и мир замкнулся. У тетки теперь живет. Еще брат у нее есть, из окружения пришел, сапожничает, у него своя семья на заречье... Обыкновенная, простенькая жизнь, как и у многих ее ровесниц. Только сама чем-то особенная, душевная, привлекательная — такой речи певучей Шамиль, кажется, еще никогда не слышал.

— Я вас заметила еще на току, когда вы за товарища вступились... А потом, когда загнали вас на почь в кирпичный завод, все не могла уснуть. Дневное представлялось. Невольники ведь, будто в какой-нибудь Каффе, на невольничьем рынке лежат, а над ними мордастые паши похаживают, восточные покупатели в тюрбанах, в фесках... Прицениваются, разбирают, на галеры именьи

гонят... И целую ночь потом спились мне галеры и все вы, с рожнами, прикованные железом к веслам-рожнам.

Слушал Шамиль, будто думу, будто пезнакомый эпос какой-нибудь, и девушка эта все больше правилась ему своей бесхитростной натурой. Сказал ей:

— Славная у тебя душа.

Крапчатая божья коровка ползла по стебельку бурьяна, вялая, предосенняя. Прися осторожно взяла ее на ладонь, и они вдвоем рассматривали молча ее крохотный красный панцирь. Ждали, пока божья коровка доползет до кончика пальца и взлетит. В какую она сторону полетит? А она доползла и замерла. Видно, трудно было взлететь. А потом все-таки раскрыла свой панцирь и... спилась, полетела на восток.

Прися и Шамиль переглянулись оживленно, улыбнулись друг другу почти заговорщически.

— А сами вы, — глянула на него Прися, — из какой вы республики?

И множество вопросов еще улавливалось за этим. Они в ее взгляде так и роились приязненно... Какие там горы у вас и какие деревья? Какими словами тебя, ласкала, называла мама, когда ты был маленьким, в какие игры ты играл? И что ты пережил, когда был в боях? Кто грустит где-то там о тебе? Может, потеряв всякую надежду, считают, что тебя уже нет, а ты вот здесь, на галерах, и, видимо, изо дня в день чего-то ждешь, на что-то надеешься, иначе откуда же эта твердость во взгляде, это орлиное, что есть в тебе... Гимнастерка расползается на плечах, ноги босые, израненные, а когда идешь, то какал-то по-горски ладная походка, такая независимая и горделивая осанка... Не такой, видно, ты представлял себе Украинпу, думал, что девчата здесь в венках, на улицах гопаки под гармошку, а тут неволя все затопила, бесправие царит большее, чем во времена крепостничества... Одни будни теперь у нас, ни музыки, ни песса, и лишь горя буруны — до самого горизонта.

А когда снова приступили к работе и Шамиль ушел с товарищами в глинище, то даже эта короткая разлука показалась ему нестерпимо долгой. Ему казалось, будто не станет ее, испарится, растечется она, как видение, пока он возвратится. Ему даже страшно стало, что он снова будет один. А когда возвратился и еще издали увидел среди женщин грустную фигуру в коротенькой юбчонке,

в белом платке, как-то по-вдовьи приспущенном на лоб, когда увидел глаза, плывшие ему навстречу доверчивым, открытым теплом, почувствовал, как озарился для него мир, тайком засмеялась душа.

Вечером Прися шла с ним рядом до самого барака. Пленных теперь перегнали в барак, приземистый сарай, на скорую руку обмазанный толстым слоем рыжей глины.

— Мы уже просили Вихолу, чтобы разрешил побелить, — сказала Прися, — чтобы вам не так грустно было... А в Грузии белят хаты?

— Грузин любит, чтобы виноград обвивал его жилище... Какие сейчас там гроздья поналивались... Под самым окном...

— Странным, наверное, кажется вам все в наших краях?

Поначалу странно было, это правда. И просторы степей тополиных, и люди, и язык, в котором далеко не все понимал... Чувствовал себя порой, как тогда, в безумной атаке, когда, оглушенный боем, летел с товарищами вперед и, ничего не слыша, немой среди немых, видел только раскрытые, перекошенные беззвучным экранным криком рты, последнюю самоотдачу людей, презрение к смерти... А сейчас уже снова возвращался к жизни, в се оборванные связи и потоки. И она прекрасно понимала тебя, сквозь изнуренность твою невольничью распознала в тебе человека. Прися ушла, а Шамиль допоздна сидел в тот вечер на пороге барака.

Небо, полное нежности, беззвездное еще. Всего два светила в нем: молодой месяц серпом, чистый, только что рожденный, и неподалеку от него — одна на все небо звезда, тихая, ласковая... Смотрел на нее, думал. Где-то пойпа, кровь, товарищи... И ты тоже еще должен быть там, только этим и живешь. Вспоминал Имеретию свою солнечную, в башнях гор, и тот крутой склон, где отец, вероятно, сейчас в углу двора закапывает кувшины-амфоры с молодым виноградным вином... Все это где-то недостижимо далеко, на самом краю света. А тут эта Прися, этот ошеломляющий дар неволи. Только, может, такой, как ты, и не имеет сейчас права на счастье? Запретное, недозволенное, как не вовремя оно появилось!.. Какой бы радостью напоить могло, а так... Кто ты сейчас? А ведь кем ты был!.. Встает лес, притихший перед боем, высвистывает темнотой ночной ветрюган, небо свистит своими небесными соснами. И вы возле своих машин, су-

ровые, собранные, приказа ждете наступать. Боги войны, загадочные для всех «катюшечники». Как раз переживал тогда радость получения ордена — так и не наносился, не палибовался... Не думал, что придется носить тебе его подпольно, что из всего только он и останется при тебе... Какою силой тогда владел, молнии реактивные держал в руках. Залп! И содрогнулось небо, и горит под чужими сапогами земля, сгорает в паническом страхе вражеская атака... Подскачите, ударите, и в тот же час на новую позицию, на другую какую-нибудь опушку, и уже там готовите к бою свои «катюши», наскоро сбрасываете с них брезенты. Неуловимые, грозные, кочуете, летаете по фронту, и где только ударите, пехота ликует:

— Братцы, дайте еще!

В окружении довелось самим подрывать «катюши», чтобы не достались врагу, собственноручно сжег свою установку. Может, и себя нужно было подорвать тогда? Надежда — последнее оружие солдата, она тебя удержала, а для чего? Громами владел, а теперь? Хотел бы предстать перед Присей таким, как тогда, явиться сюда в командирском блеске офицера-«катюшечника», появиться с той грозой, закутанной в брезент... Но еще ведь, может, предстанешь таким, только для этого ведь и живешь! Еще будешь взламывать вражеские обороны, испепелять заминированные поля, еще на других опушках будут гудеть тебе верхушками готические соборы сосен...

Вызвездилось небо, поля утонули во мгле, в синих сумерках. И казалось Шамилю, что поодаль все ходит, блуждает по пригорку кто-то. То исчезнет, то снова, появляясь из мглы, еле виднеется, похоже — фигура девичья... Или, может, и не казалось, может, и в самом деле там, в мареве сумерек вечерних, что-то счастье тихо, неслышно ходило.

XIII

Ушел сентябрь, синий, как терн. Октябрь пылает красный, как боярышник. Фуражирами на ферме работают Шамиль и Колосовский. Есть такая профессия на свете. Вывозят сено из плавней.

Если звенит, тарыхтит, стучит арба на всю степь, то уже так и знают девчата на ферме:

— Шальной кавказец за сеном поехал!

Держа натянутые вожжи, стоя управляет в передке, дубленые пятки играют на клавишах досок, настеленных по две арбы. Колосовский сбоку сидит, уцепившись за перекладину.

— Да не гони ты так! Пожалей росинантов!

— Они это любят!.. И я люблю. Люблю быструю езду!

Не бежало чтобы, а несло, растрясалось, летело — это он любит. Чтобы вся так и подпрыгивала, точно вот-вот рассыплется, ребристая стоголосая его «катюша»...

Возле фермы Прися как раз выгоняет на выпас свое замызганное стадо — она теперь щетинистых вебрей этих пасет, всегда голодных, грязных, худых, как гончие.

У дороги, приближаясь, блесст платок: навстречу арбе Прися выходит. Затихает тараканье, Шамиль, довольный эффектом, с ходу останавливает коней. Поздоровался с девушкой, посмотрел на вебрей.

— Где же тут среди них Геринг?

Прися с серьезным видом указала палкой на здоровенного старого хряка, ростом выделявшегося среди других.

— Вот это Геринг, а вон тот Гитлер, — и указала еще на одного, тощего, горбатого, в грязной щетинке. — Девчата просто ненавидят его, все стены подрыл, погами в корыто лезет.

— Что ж, ариец, ему все дозволено, — заметил Колосовский.

Книга какая-то была у Приси в руках. Часто видят хлопцы, как девушка, выпасая свое стадо, идет петорошиво по выгону, на ходу читает.

— Что за книжка? — спросил Богдан. И Прися, улыбувшись, взмахнула обтрепанной книжкой:

— Без конца, без начала...

Потом все смотрела своими глубокими глазами на Шамиля, который лихо сидел на арбе, раскуривая трубку. А когда хлопцам пора уже было уезжать, девушка сказала многозначительно:

— Брат мой хочет видеть вас обоих... Ждет вас возле Круглого озера...

Знали они это небольшое озеро, окутанное ивняком, кустами терна и боярышника. К нему и направились, оставив коней в сторонке, под копной сена. Тихонько пробирались между кустами к плесу. Круглое, как воловий глаз, уютное, интимное какое-то. Багряные листья падали с кустов на воду и лежат неподвижно. Вода темнеет уже по-осеннему. Задумчивая, тихая. Не пробежит даже

букашка по ней. Вдруг Шамиль схватил Колосовского за плечо, остерег... Двое утят выплыли на середину озера.

Благородного кофейного цвета. Видны даже темные полосочки вдоль головок. Молодехонькие. Совершенно спокойно плывут, чистят перья, один даже лапкой головку почистил — опрятные. Из тени выплывают на солнце. Осматриваются по сторонам. Один выпустил крылышко, блеснувшее белым пером, вытянул его, будто потягивается или пробует перед полетом. Заметили людей и не испугались, остановились, смотрят. Даже чуточку ближе подплыли, стали видны зоркие, блестящие бусинки глаз. «Ты стрелял бы? — хотелось Богдану спросить у товарища. — Я нет, не смог бы в такую красоту...» Чувствуется, как счастливы они в паре, как хорошо им вот так свободно и бесшумно скользить по озеру. Хлопцы боялись шевельнуться, чтобы не вспугнуть. И вдруг — фпр! И уже над лугами, но и там, в стремительном вираже, шли в паре, рядком. На другие какие-то, на большие озера.

Безмолвно стояли хлопцы. Чувствовал каждый, как нечто очень важное здесь открылось перед ними: эта ласковость вод и мудрость тишины. Как чудо, открывал для себя Богдан этих запоздалых утят и пылающий куст боярышника в удивительности его создания и его жизни. Раньше так не воспринимал бы. Никакие кафедры не научили бы тому, чему учит тебя нелегкая твоя судьба, и собственная боль, и горя молодого безмерность. Будто остановилось в своем течении время. В предосенней успокоенности остановившаяся в росте природа. Вслушайся в нее, вслушайся в себя. Нет, все-таки и в этих условиях не деградирует человек. Одних неволя уничтожает, других развращает, но сколько же таких, которых не коснулся дух рабства, кто и в неволе словно бы еще острее ощутил свою человеческую самооценку. Можно бы, конечно, стать тяглом, духовно оскудеть, но чего бы стоила подобная жизнь? Этот багрец листопада на воде, эта прозрачность горизонтов осенних, что они пробуждают в тебе, почему беспокоят? Даже вершина всех раздумий — это не вся еще вершина. За нею должно открываться действие, праматерь всех достижений человеческих.

— Почему же его нет? — промолвил Шамиль и хотел двинуться в заросли, но именно в это время откуда-то из-за лозняков перед ними появился тот, кого ждали. Невысокого роста, в фуфайке, в сапогах кирзовых. Лицо сухое,

бледноватое, с цепким, угрюмым взглядом. Шамилю кипнул, Прися их уже знакомила, Колосовскому, крепко пожимая руку, представился:

— Байдашный.

Роста хоть и неказистого, но крепость чувствовалась в приземистой ладной фигуре, с еще не утраченной выправкой, — не один год, вероятно, становился навытяжку в кадровой службе. Сапоги в болотной грязи, на голове кепочка с пятапущим на лоб козырьком. Было что-то почти черствое в твердом и маленьком, с кулачок, лице. Глаза серые, пытливые, глубоко посаженные. Более всего он приковывал внимание этой цепкой придиричливой настроженностью взгляда, в котором было что-то тяжелое, малоприятное. «Но не детей же тебе с ним крестить?» — мысленно упрекнул себя Богдан. И что симпатии к нему не почувствовал — это тоже было сейчас не очень важно. Важным было, что перед тобой человек, которому ты можешь довериться. Присин брат, лейтенант-окруженец. Не было оскорбительным, что он рассматривает, изучает тебя, словно бы прицениваясь и внутренне взвешивая, чего ты стоишь. А что в нем есть эта настороженность, нечто даже похожее на скрытую подозрительность, так что ж тут удивительного? Эти качества теперь, в данных условиях, уже не порок, они становятся скорее достоинством человека... Зато потом — сразу на «ты».

— Так это ты и есть Колосовский... Слышал о тебе от сестры, давала характеристику... Немецким владеешь?

— Немпожко. В основном изучал французский, — и съязвил, улыбаясь: — Еще какие вас интересуют анкетные данные?

— Это уже мое дело. Нужно будет, спрошу.

Сели под кустами лозняка, Байдашный достал из кармана солдатскую масленку о двух горлышках, отвинтил крышечку, вынул из одного горлышка аккуратно перерезанную дольками для сигарок немецкую газету, из другого горлышка махорку вытряхнул себе и хлопцам. Закурили. Шамиль смотрел на лейтенанта повеселевшими глазами, ему, наверное, приятно было видеть перед собой Присиного брата, хотя Байдашный ничем словно бы и не походил на свою красавицу сестру. Разве, может, характером уравновешенным, прочностью духа. Сидит на корточках, жадно затягивается, сплевывает в песок. Докурил, затоптал окурки.

— У вас в совхозе будет создано ядро.

Сказал, как о чем-то респепном, будничпом. Потом стал расспрашивать об остальных пленных. Придирчиво, в подробностях. Кто из какого рода войск, кто на что способен, на кого можно до конца положиться. Кое-что советовал. Кое от чего предостерегал.

— Поспешность нужна при ловле блох. Горячих мы будем охлаждать, — и почему-то сурово взглянул на Шамиля. — Малейший промах, и головы у всех у нас полетят. Люди разные...

Поскольку речь шла о бараке, о товарищах, Колосовскому показалось, что такие предостережения здесь даже излишни. Сказал:

— На наших можно положиться. Одно уже слово «пленный» — оно как пароль, тут измепы не бойся. Кто способен был предать, тот сюда не попал.

Байдашный взглянул на Колосовского, подумал.

— Убедительно. Однако предосторожность и в нашем положении никогда не лишняя, потому что здесь все порой решает... случайный случай.

Он так и сказал «случайный случай», и Колосовский невольно подавил улыбку: стилист... Лейтенант, однако, заметил и это.

— Да, случайный случай, — повторил он твердо. — Из-за этого больше всего и бывает провалов. Осторожным, хитрым, коварным — таким здесь будь, такая здесь тактика. Без чистоплюйства: не с благородными имеешь дело, с подлецами. На все иди, лишь бы перехитрить... Потому что это оккупация, понял?

И уже с неподдельным убеждением, с чувством правоты, уверенно и четко объясняет, инструктирует, как нужно набирать людей, как будет осуществляться связь их ядра с ним, с Байдашным... Через сестру будет связь.

— Надежная. Трижды падежная, — со скрытой гордостью сказал он о сестре. И смуглое черноебровое лицо Шамиля от этих слов так и засветилось.

Начали советовать, как и откуда будут добывать оружие. Нелегко это будет.

— Но на первый случай есть. — Байдашный достал из кармана, словно бы на зависть товарищам, облезлый лоснящийся пистолет ТТ. Подержал на ладони, щелкнул обоймой, после этого пистолет снова скользнул в карман — легко, как ткацкий челнок.

— Чтобы не ставить ваш барак под удар, операции будем осуществлять чаще всего на стороне. Враг, где бы

ты его ни уколошил, — все равно враг, сумел — и одним гадом меньше. И еще: про трибунал. Необходимо создать вам свой полопянский трибунал... Беззакония не будет, но не будет и пощады. Сами, кого следует, будем приговаривать к смертной казни, сами будем и приводить приговор в исполнение. Истреблять и истреблять — такова наша тактика, вот и весь разговор.

«Человек-истребитель» — так мысленно назвал его Колосовский. И невольно почувствовал уважение. Доверие и уважению — это, в конце концов, сейчас важнее симпатий. «Человек-истребитель» — вот чем он привлекает тебя, и за это ты его признаешь, и хотя в мирной жизни, быть может, и не стал бы с таким сближаться, идти на дружбу, но сейчас он твой сподвижник, товарищ во всем, что бы там ни случилось. Видно, злой, как шершень, властный до неприятности и, наверное, жестокий, безжалостный, но ведь Родине сейчас нужны такие и тебе тоже он пужен такой, а правится или нет, это уже дело десятое.

— В городе был, видел их работу... Принесли «культуру», ничего не скажешь... Мастера живьем людей в землю закапывать, штыками глаза выкалывать живым. Но не запугают. — Байдашный встал, собрался уходить.

— Когда встретимся? — спросил Шамиль.

— Не спеши, когда нужно будет, тогда и встретимся. Должен отлучиться на некоторое время. Как только вернусь, дам знать.

Уже когда прощались, Байдашный выдавил скупую проницательную улыбку:

— Мечтали о Черных лесах? Мы им здесь, в этих лозьяках, сделаем Черные леса... — И повторил с ненавистью и угрозой: — Будут им, будут Черные леса!

И ушел. Хлопцы молча смотрели, как, отдаляясь, мелькает между лозьяками его фуфайка, его складная, быстрая в ходьбе фигура. Потом остались перед глазами только лозьяки, редкие, обглоданные скотиной, вылинявшие по-осеннему. Паутина серебрилась, тонко повиснув на них. Таковы они, ваши Черные леса...

— Видал? — сверкнул улыбкой Богдану Шамиль. — Вот какой у нее братан... Кремень хлопец!

— Случайная случайность свела, — улыбнулся Колосовский.

Ни от чего не отступился Решетняк, ни от чего не отрекся. Не роптал, как некоторые. Не имел зла даже на ту габардиновую с грозными петлицами гимнастерку, распиутую на терновнике. Ни на приказы, которые должны были бы поступить, но так и не поступили. Мог же быть приказ своевременный, спасительный, но его так и не дождались, был другой, резкий, быть может, даже бессмысленный своею губительной категоричностью. Но должен был выполнить и его — и такое на войне бывает. В конце концов, разве не бессмыслица и самое это человекоубийство, тысячи лет длящееся на земле? Хотя не ты вишownik, не ты первый переступил границу...

Иногда Решетняк думает: кто счастливее человека на свете? Кем хотел бы ты стать? Птицей? Охотятся и на нее. Рыбой, лием каким-нибудь? Крючок и для него приготовлен... Конем? Будут запрягать, бить. Так и не нашел, кем бы лучше было. Потому что все-таки человеком... Нет, нечего роптать.

По-осеннему прозрачны дали. Солома скирд иногда сверкнет нетеплым приглушенным блеском. По затепленной стерне пятна солища блуждают. Что-то есть ласковое в природе, в этих осенних полях. Ласковое до грусти, до щемящей нежности...

Где-то за буграми, за девятью балками — Хмарино твое. С завязанными глазами нашел бы. Ночь форсированного марша — и уже там. Но не пускают. Хотя за невозмутимость и трудолюбие, за незлобивый характер Решетняк пошел даже на повышение: старшим конюхом Вихола назначил его на конюшню. И это как раз подошло ему. Любит коней. Умеет выхаживать самых жалких кляч. Еще на границе шутили хлопцы: Решетняк наш из-за коня чай несладкий пьет... И это была правда: ночью коня подкармливал, свою пайку сахара ему отдавал...

В один из дней, как из сказки, появилась Катря.

Из степей напротив солища шла, щеки у нее горели от долгой ходьбы, и ямочки на щеках, и слезинки в глазах были в сверкании света. Не сбросив и узлов, горячо припала к его груди, обмерла. На миг исчез весь мир. Остались они одни. Все стоило пережить, все пройти, чтобы дожидаться этого мгновения, прильнуть душой. Вдохнуть еще раз милый сердцу запах горячего ее тела, ощутить, как снова шумит в тебе задурмапившаяся кровь, —

живая, невысезженная, шумит жизнь и любовью! Непода-
леку от копышен — ворох сухой пахучей люцерны, только
что привезенной. Расстелил на ней свою выдавшую виды
шинель. Утонув в зеленых ароматах, сидит твоя улыбаю-
щаяся и заплаканная, твоя долгожданная. Осторожно по-
мог ей освободиться от ноши, припал на колени перед
ней, смотрел на нее, а она на него смотрела.

— Как ты отощал... Видно даже, как у тебя сердце
бьется...

— А возле сердца видно что-нибудь?

— А что?

— Там осколок зарос. Возле самого сердца врос, уже
его и не трогали...

— О боже!

— Чего ты? Испугалась, что сердце у меня будет же-
лезное?

И улыбнулся. Улыбка только и осталась у него, какой
была, мягкая, застенчивая, девичья какая-то...

Грусть окутала Катрино лицо. Словно бы чувствовала
и себя виноватой в том, что родная сторона встречает его
неволей, людским плачем, а не песней, колючей проволо-
кой лагерей, а не маковым цветом... Спыхватившись, на-
чала тотчас же угощать его, будто хотела, чтобы сразу
с него сошла эта худоба лагерная, чтобы сразу набрался
здоровья.

— Все у меня покамест есть: и хлеб, и к хлебу, еще
с довоенных запасов осталось... Хорошо зарабатывала...
Гектарница же я... И корову еще не забрали, хватает мо-
лока для твоего сына...

— Как он?

— У бабуси... Там такой растет казак! Полицаев уже
передразнивает. Кое-как живем, горя прикупив...
А сколько я тебя искала! Где только не была! И все же
цидулка твоя с Холодной Горы дошла до меня...

Про Холодную Гору начал рассказывать ей и про
все, что было перед тем. Чтобы объяснить, почему он
здесь очутился. Чтобы знала, что ничем себя не
запятнал.

— На двести километров за спиной уже был немец,
а мы еще на рубежах. Воевали на совесть, и я тоже ни за
кого не прятался. Знаю теперь, что бывает с человеком
такое, когда ему ничего не страшно. Однажды танк над-
вигался прямо на нас. Въехал уже гусеницами на бруст-
вер, а я из траншеи одним скоком да на броню, как нас

учили. Набросил шинель на смотровую щель, ослепил его, и как только они открыли верхний люк, граната моя — туда, в их железное логово!..

— Досталось тебе... Возле Хмариного у нас тоже были большие бои во время отступления... Мы с женщинами еще и после того не один день на полях да в лесополосах раненых подбирали...

И он уже видел Катрю в этих необычных ее трудах...

Ни ваты, ни бинтов не было. Искали брошенные стоянки медсанбатов, прослышали про зарытые их отходы — откапывали, разбинтовывали чьи-то руки, ноги отрезанные... кипятили бинты, выпаривали, и уже они, мягкие и чистые, ложились на другие раны, останавливали другую чью-то кровь... Катря глядела и не могла пагледеться на своего вновь обретенного.

— Изменился ты. Суровым стал...

Ее рука гладила его щеку. Костлявые, выпяченные скулы. Широкое лицо с твердыми грубоватыми чертами. Глаза из-под тяжелых бровей словно бы чуточку скошены к середине. Суровость, твердость нажитые. Только рот, как и раньше, красивого, почти нежного рисунка...

— Ты хоть вспоминал там обо мне?

— Может, благодаря тебе и выжил...

Признался и невольно вздохнул — столько раз смерть заглядывала в глаза. Начиная от самой границы: самолеты чуть картузы не сбивали с них, гонялись за каждым... Известно, какова судьба солдата. Ночи без сна. Всегда в грязи... Хлеба не подвезти. Весной картошку несобранную в полях выкапывали, морзлую, так и течет, как гной... На солидоле оладьи из нее пекли... Ну, а лагерь — разве его передать словами?

Пошебаршил, разыскивая карман расстеленной, пропахшей конюшной шинеленки, и достал оттуда что-то похожее на оселок, которым косы точат.

— Вот оно... в самом деле пригодилось бы косу точить...

— Жмых? — с трудом догадалась Катря, взяв этот черный брусок и рассматривая.

— Вот таким нас угощала Холодная Гора... Где-то раздобудут, распилят, и тогда за окурочек можно выменять...

— Сыну возьму, покажу, когда вырастет, — сказала Катря и спрятала брусок в корзинку. — Чтобы знал, чем отца его угощала неволя...

Ивану достала из платочка яблочек, маленьких, смугловато-красных.

— Цыганочка наша.

— Это хлопцам понесу, пусть отведают,— сказал Иван.— А то фрукту только и пробовали, когда в госпитале были. Сибирские сестры нам ягод кисленьких из тайги приносили, витаминпов лесных... На фронте, правда, как-то черешню видел, чуть было не погиб из-за нее. Молоденький сад, видимо совхозный, попался на склоне, бежим, пули свистят, и вдруг вижу -- вверх между листьями так и сверкнуло румяное... Черешенка. Первая ягодка на солнце зажглась. Достану, думаю, пускай хоть и убьет! И о тебе почему-то подумал. Только потянулся, а тут снаряд — оглушило, швырнуло меня, полетел куда-то кубарем. Да все же, видать, было в той черешне что-то как знак для меня: жить!.. И вот, как видишь...

Рука жены снова коснулась его щеки.

— Помнишь Иону, который в школу когда-то ходил с хуторов? Возвратился в село таким извергом, в собачники к ним пошел,— рассказывала Катря.— Душу вымотал своим карканьем. Как встретит, так и начинает: пет уже, мол, тебя, истлел где-то.

— Скорее он сам истлеет,— помрачнев, бросил Иван.

— Где же вы тут живете?

— Вон наш барак на пригорке блесст, недавно побелили...

Но туда сегодня Иван не спешит. И коней, пригнанных с работ, товарищи приняли возле конюшни без него, договорился с ними, чтобы сами управились, не отрывали его от жены. Тут, на пахучем сене, для них и вечерняя заря вошла. Быть может, тут и заночевать бы довелось, если бы не случай: проезжал поблизости Пауль-управитель с бутылками самогона в тачанке, домой уже, видимо, направлялся.

— Кто такие? — ледяным тоном спросил, не вставая с тачанки. Губы злые, тонкие, плотно стиснутые. Уши из-под жокейки топорщатся, огромные, как капустные листья.

Может, и в самом деле не узнал Ивана, хотя не далее как позавчера видел его на конюшне. Еще и похвалил, что чалому хорошо хвост подрезал...

— Да встань, когда к тебе обращаются!

Иван поднялся неохотно, грузно.

— Жена пришла вот проведать... Жена, фрау...

— Из холодпогорских ты?

— Так точно. Я же конюхом...

— Так почему же не на месте? Кто отпустил сюда люцерну толочь? Распустились! Куда те смотрят?

«Те», то есть надзиратели Пат и Паташоп, были как раз невдалеке: перед конюшней у водопойного колодца виднелась толпа людей и возле них часовые торчали со своими «палицами». Ротозейничали от безделья. Управитель что-то буркнул кучеру, и тот погнал к колодцу. В лучах заходящего солнца видно было и отсюда, как Пауль живо соскочил с тачанки и гибкой жокейской плетью, с которой никогда не расставался, павсрное, и под подушку себе ночью клал, огрел по плечам сначала Паташона, потом дважды Пата. И лишь после этого уже покатыл в гебит.

Пат и Паташоп прибежали с винтовками, разъяренные, запыхавшись от своей холуйской службы. Пат, который раньше редко и заговаривал с людьми, с ходу напустился на Решетняка:

— Ты что тут? Забыл, что в барак нужно? А ну мигом!

Пленный не сдвинулся с места. Потому что он и в самом деле забыл. Потому что просто не верилось, что и в такой день кто-нибудь посмеет порушить с таким трудом найденное опять счастье... Катря, все еще сидя на расстеленной шинели, подала голос:

— Выходит, уже и любовь провинностью стала? К мужу своему, не к кому ведь пришла...

— А ты молчи, закрой свою пазуху! — грубо прервал ее Пат. — Невтерпеж? Любится притащилась? А ну сматывайся!

Иван побледнел. Кроткого, тихого Решетняка больше не было. Поднялся другой, потемневший, гневом палитый. «И это вы, подголоски немецкие, пришли любовь мою топтать? Не имеем уже права и на это?» Катря видела, как медленно сжимаются его загрубевшие от работы кулаки. Теперь и она встревожилась. Чтобы не ввязывался он дальше, чтобы не дошло до беды, поднялась, сказала ласковым голосом:

— Ладно, иди. — И, прижимаясь всем телом к мужу, добавила: — Я у людей переночую, а завтра снова встретимся, — и погладила его, будто маленького, по голове.

Иван, растроганный лаской, сдержал себя. Нагнув-

шись, подпаял облепленную люцерной свою шинеленку, встряхнул и пакинул себе на плечи. Куцая она была, какая-то ущербная, обтрепанная, с обгоревшей бахромой внизу.

— Ведите.

Не отрывая глаз, следила Катря, как отдаляется между конвоирами его фигура в пакинутой шинеленке, отплывает в вечернюю синеву. Конвоиры шли с ним, длинный впереди, коротыш позади, и видно было, как винтовки торчат у них за плечами, стволами вверх, как палки. Отошли уже на изрядное расстояние, направляясь через имение к бараку, который еще белел на пригорке, освещенный светом заката, как внезапно послышалась песня! Будто из сна, из невероятности.

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю...

И в тот же миг заметила Катря, как из-за барака, из-за вечерних полей в самом деле начал подниматься месяц — красный, мглистый, как жернов. Выкатился, багровел над самым горизонтом.

Як млиновеє коло!..

Залилась слезами Катря. Этой песней когда-то отзывались в ней вечера ее первой любви. Заслушались копытки возле копытки. И хлопцы, собравшиеся возле барака. И довчата где-то возле ферм. Все повернулись лицом к той, давно уже здесь не слышанной песне, которую конвоиры под арестом вели сейчас через имение к бараку. Весь простор степи наполнялся ею, песней-протестом, песней-страстью, и была она на этом горьком свете как знак того, что кто-то оживает, возвращается к жизни.

Со щемящей тоской, с горечью, болью и с гордостью за Ивана слушала Катря его песенное прощание, она в этот вечер вторично влюблялась в мужа, который, будто навсегда отдаляясь, будто на всю жизнь уходя, был для нее сейчас красивее всех людей на свете. Уже совсем растаяла в сумерках его фигура, расплылись и тени конвоиров, одна лишь заарестованная песня, казалось, идет, отплывает в вечернюю даль. И пусть в истрепанной шинеленке эта песня, и босая, зато высокая-высокая...

В эту ночь, когда в бараке все уснули, Колосовский на нарах (опять на нарах!) придвинулся к Ивану:

— Так вот, дружище, есть нам задание...

— Только бы не сбиться на приключенчество, — сказал Сергей-оператор, дойдя до этого места. — Понимаю, что для вас каждый факт из пережитого дорог, каждая листовка, вами от руки переписанная, кажется событием куда каким значительным...

— Тогда не было незначительного. За листовку расплачивались жизнью.

— А какой будет музыка? Почему бы не взять для сопровождения что-нибудь из музыки классической? Не знаю, как кому, а мне... Не образцово-показательный я. Бываю в тревоге, знаю минуты отчаяния. Но когда я сижу на концерте и вижу, как студентка политехнического в глубокой задумчивости, в каком-то почти неземном вдохновении слушает Баха, всей топчайшей нежностью души вбирает грозный ливень органной музыки, я становлюсь спокойным за будущее человека.

— Это уже немало... Наконец-то слышу голос оптимиста.

— Про Шамиля и Присю больше бы хотелось. На них сосредоточиться. В них есть трагическая поэзия, которую всегда искало искусство.

— Шамиль и Прися на экране... Не могу к этому привыкнуть никак.

— Шамиля я, к примеру, советовал бы дать стилизованно, под нашего загадочнейшего из рыцарей — Мамай. Вот он сидит в степи, в своей известной всему свету позе, по-турецки подобрав ноги, — так он зафиксирован на всех музейных полотнах... Бандура на коленях, здесь же в сторонке конь, повод наброшен на воткнутое в землю копьё... Нет, не копьё, а рожон дать, рожон, высокий до небес!.. И так на весь экран... Выпуклые глаза, которые взглядом вещуна-ясновидца проникают к тебе в самую душу, трогают тончайшие струны твоего подсознания. И эта мистика подписи, сделанной старинною вязью: *«Ось ти дивишся на мене, а не знаєш, хто я і звідки родом...»*

Мамай — это хобби Сергея. По всем базарам и комиссионным магазинам выискивает он старинные картины, потемневшие, потрескавшиеся. Они словно заворачивают его. Считает их редчайшим дивом давней народной живописи. Мог бы быть специалистом-реставратором, если бы изменила ему кинокамера. Часами готов простаивать

в музее перед «парсуной» еще одного Мамай, в уединении слушать этого загадочного собеседника, который, властно рассеившись в степи, словно бы лукаво подмигивает тебе, насмехается или спрашивает со своею колдовской таинственностью: «Вот ты смотришь на меня, Сергей, а не знаешь, кто я и откуда...»

— Нет, лучше Шамиля оставим таким, каким он был на самом деле... В гимнастерке пошеной-переношенной, которую Прися латала... В постолах-чупях, изготовленных Решетняком. Если Шамиль и стоит изобразить рыцарем, так только современным... Он ведь «катюшечник», какое тут копьё?..

— А переключка времен? Не будем бояться условностей, символов. Впрочем, творческую дискуссию об этом мы еще продолжим, а сейчас — в дорогу. Сегодня ведь у нас культпоход в небеса!

Каменистая мокрая тропинка, извиваясь, ведет в горы. Все выше взбираемся по склону. Идем в обсерваторию. С давних еще, с тех лет знакомый там мне астроном, с которым и Сергей хочет сойтись.

Средь кампей библейских, среди ореховых могучих деревьев и окультуренных кустов боярышника (и тут боярышник!) возвышаются серебристые полушария обсерваторных куполов.

— Вот даже куда забрался мавританский стиль, — замечает мой коллега. — В этих выпуклостях что-то все-таки есть. Поражают... Будто неземные удивительные храмы какие-то...

Вот здесь она, дозорная вышка планеты. Отсюда человек пытается проникнуть в глубины мироздания, отсюда чуткие антенны ловят таинственный, нерасшифрованный язык пульсаров. В лобастых полушариях этих храмов происходят открытия... Объектом исследований являются здесь те самые звездные безвестности, лишь клочок которых вам виден был в неволе сквозь отдушину печи кирпичного завода. Горелой сажей до сих пор она тебе смердит. Утром выскакивали из печи черные, как трубочисты, как черти, — ужасающие подобию людей... Но по ночам вы и оттуда тянулись к звездам, вели разговор с небом, со светом, в котором еще столько неразгаданного... Сергей внимательным операторским глазом рассматривает купола обсерватории. Тихо, нигде никого, только эти серебристые настороженные полушария вверху.

— Удивительный мир! Мир великих тайнств... Тут бы спимать натуру чего-то фантастического, какой-нибудь инопланетной цивилизации...

Обсерваторный персонал, вероятно, еще спит, никакого движения. Люди ночных вахт, днем они имеют право на отдых. Никому не дозволено их беспокоить. Но все же, побродив малость на одной из аллей, встретили именно его, седоглавого звездочета. Мужчина крепкого сложения и, несмотря на возраст, подтянутый, свежелицкий. Глаза с живым, почти юношеским блеском. Удивительно молодые. Поздоровавшись без церемоний, окинул приценивающимся взглядом несколько мешковатую фигуру Сергея, которая из-за халатности хозяина уже лютственно начала тучнеть.

— Спортом, спортом нужно заниматься,— заметил профессор.— Преждевременно утрачиваете форму, девчата еще подумают, что лентяй, а вы ведь трудяга, я уверен... У вас профессия не для ленивых...

— Футболом займусь,— пообещал Сергей снисходительно.— Сегодня же запишусь в дубль нашей гостиничной команды. Центральным форвардом попрошусь!

— Вот и хорошо,— профессор улыбнулся.— Идемте, покажу вам последние снимки Марса, только что получил.

Под мышкой они у него в толстой папке, эти марсианские ландшафты. Пошли за ним. Достав ключ, сам отпер дверь своего храма. Дернул рубильник, дал свет. Крутая лестница повела их вверх. Зал. Круглое, просторное помещение опоясывает голубая панель. Своды высокого купола в красивой облицовке из темного дерева. Телескоп напоминает пушку. Серебристое тело его массивно. Но астроном одним нажатием кнопки включил, заставил двигаться все устройство: телескоп послушно поплыл по кругу, вращаясь легко, умно как-то. Двигается он, и астроном вместе с сиденьем делает разворот, и уже в раздвинутой щелке купола появляется полоска неба... Сергей в восторге: все это движение, плавное, ищущее, идущее по невидимой градусной сетке, создает настрояние торжественности, священнодействия. Для астронома же это будни.

— Ставим координаты, и телескоп, как видите, наводится автоматически... На нужную нам область неба.

— Он у вас понимающий! — говорит Сергей. — Вращается так осмысленно... И эта щелка неба! Отсюда его

как-то иначе воспринимаешь. Только вот думаю: все это крайне необходимо человеку? Как вы считаете, исследование галактик — это в самом деле не менее важно, чем, скажем, исследование человеческой боли?

Профессор посмотрел на него пристально, помолчал, словно бы даже чуточку обиженно. Ничего не ответил.

— Тогда разрешите навежде еще один вопрос из тех, которые уже, вероятно, вам надоели...

— Есть ли жизнь на других планетах? — опередил Сергея профессор.

— Да, жизнь. Не аммиачная какая-нибудь, а жизнь в нашем понимании? Зеленая, цвetoущая...

— Я тоже хотел бы знать, — профессор задумался.

Рассматривал потом снимки Марса, полученные одним из космических кораблей.

— Видите, пустыня, — деловым тоном говорил профессор. — Где же каналы? Воронки, кратеры, сплошные каракули, разбомбленные метеоритами...

— Так что же, Земля только оазис в мировой бесконечности? — нахмурился Сергей.

— Не знаю, не знаю... Уверен только, что редкость она, и, как редкость гениальную, должны мы ее беречь...

И еще показал им спектры, в которых гости мало разбирались, многочисленные снимки неба, темного, в белых пятнышках...

— Космос...

— Холодом веет от него...

— Да, холодом беспредельности... И среди всего этого... Ну как же ею не дорожить!.. Красавица наша, морями теплыми омытая...

Сергей, оживившись, начал в подробностях расспрашивать о технике фотографирования, это заинтересовало его с чисто профессиональной точки зрения.

— Как, например, фотографировать Венеру, всегда окутанную сплошными облаками?

— Ее трудно фотографировать. В особенности же когда проходит возле Солнца. В этот момент она «утопает» в яркости солнечного ореола. И только в таких вот местах, в горных условиях, удастся наблюдать эту загадочную нашу сестру, видеть узкий ее серп...

— Вдуматься только, — заговорил Сергей, — человек, как невесту в свадебной фате, фиксирует на пленке далекие планеты в их солнечном наряде... Изю дня в день исследует и ядерную силу Солнца, разгадывает его, ав-

тора фотосинтеза и самой жизни... Магия, чудо времени и вместе с тем... — Он помолчал, взъерошил пятерней кудлатую голову, потом, снова загоревшись, обратился к профессору: — А солнечные бури, как вы считаете, в самом деле влияют на наши земные дела? Солпечный ветер, взрывы, все эти «возмущения»... Очень они сказываются на нашей жизни в целом и на самочувствии и поведении отдельных людей? Качество наших фильмов, скажем, сильно зависит от солнечных бурь?

— Переживаем год Спокойного Солнца, — улыбнулся профессор.

— А я и не заметил, — признался оператор. — Скорее подумал бы, что светило наше сейчас неистовствует...

— Спокойное или бурное — разницу не каждый заметит. К тому же с Земли с течением времени видимость все ухудшается: много пыли развели.

— Пыль и загоняет вас сюда? — пошутил Сергей. — От бурь земных, от тайфунов и торнадо удираете на эти верхогорья? В тихие гавани высот? Ну а мы действительно забираемся подальше от пыли цементной, от копоты ТЭЦ...

— Существует в науке предположение, что как раз в верхнем слое атмосферы на больших высотах бушуют вечные ураганы, — уточнил астроном. — Потому что хозяйственник, он ведь утилитарист, порой дальше своего носа не видит... В предыдущие века люди, по-моему, больше думали о потомках. А сейчас кое-кто ведет себя так, будто на нем заканчивается жизненный цикл, и после него жизнь остановит свое движение, и будущее не выставит никаких оцепок. А оно ведь будет, придет. Человечество не бездетно. Потомки придут и скажут свое слово о нас, как мы жили. Что думали, что и как — главное, как! — делали...

Была пауза раздумий. После этого профессор снова возвратился к своим спектрам, галактикам, к вспышкам и взрывам, и непривычно было им слушать человека, оперирующего мириадами звезд, расстояниями в миллионы световых лет... К тому же спектры, которые он исследует, взрывы, которые видит сегодня, произошли множество миллионов лет назад, когда еще, быть может, и сама планета не родилась.

— А вам не грустно? — спросил оператор.

Профессор не понял.

— Отчего?

— Оттого, что видимый мир, вами исследуемый, это, собственно, отлестевший, давнопрошедший мир? Отгоревший в даях, в тех временных извечностях, которые даже при богатой фантазии нелегко постичь?

— Грустно бывает от другого, — доверительно промолвил профессор. — Оттого, что на человека, пусть даже могучего интеллекта, даже когда станет он ближе всех к каким-то вайкпым истинам, неминуемо надвигается зима старости.

Сергей вопросительно взглянул на профессора:

-- Старость — это трагедия?

— Если есть трагедия старости, то, думаю, не в том она, что стареет тело...

— А в чем?

— В том, что молодой остается душа.

— Афоризм! Это стоило бы где-нибудь подать с экран-па, — ухватился за услышанное Сергей.

Колосовский тем временем рассматривал профессора. Диво-человека... Думал о его возможностях, его выносливости, пеистребимости... В самом ведь пекле был, в пропастях отчаяния, и вот снова вернулся к звездам... Все-таки человек — это не только совокупность белков, жиров, углеводов! Даже минеральную воду и ту еще как следует не изучили, не знаем доподлинно, благодаря чему обретает она свои редкостные свойства, проходя певидные пути где-то там, в земных недрах, а что уж сказать о мироздании души человеческой!..

Когда-то, в труднейшей жизненной ситуации, судьба случайно свела Богдана с этим профессором Изюмским. Возле куреня, в конском чесоточном лазарете... Был зипун рыжий тогда на этих плечах, были слова великой печали: «Нет неба, нет звезд, в черных ураганах этот век, быть может, последний из отведенных роду людскому...»

Возродился человек, возвратил себе человеческую свою сущность, снова направил взгляд во вселенную...

— А вы, Колосовский, — обратился к нему астроном, — что-нибудь снимаете сейчас?

— Собираемся. В туманах поисков пока что.

-- Искать — это, видимо, приятнее всего... Не в научную ли фантастику ударились?

— Нет.

— Там почему-то больше всего курьезов получается... По-моему, ваше искусство, как, кстати, и всякое другое, должно не только эмоционально дать почувствовать моло-

дому поколению наше время, но еще и помочь его понять. Нам, старшим, кажется, что молодежь обладает тем же опытом, что и мы, видела то, что и мы. А ведь это не так. И тут, конечно, дело не столько в сюжетах, тут хочется видеть те самые спектры художественной мысли, широкой, свободной. Чтобы заполонила тебя. Магия экрана, она ведь и в самом деле существует. Я, несмотря на то, что хлопот у меня полон рот, стараюсь не пропускать фильмов, охотно смотрю и наши и привозные. В особенности же про любовь, — улыбнулся профессор и через минутку снова стал серьезным. — Но хотелось бы на экране видеть любовь не облегчающую, а как силу жизненную и активную, я подчеркиваю, активную, способную, быть может, даже влиять на самое движение истории... Любовь — понятие широкое, если хотите, философское. Вот и эта обсерватория, разве же не из любви она выросла? Иной раз думаю ночью: это же павшие, это они, словно бы встав, на своих плечах подняли твою лабораторию звездную!.. Или вот он, главный герой наш, телескоп. Метр в диаметре! Это же чья-то любовь со сверхъювелирной точностью шлифовала его, прежде чем нам передать...

Профессор угощал их потом редкостной «изабеллой» из местных виноградных лоз. А когда вышли на подворье, чтобы возвращаться в гостиницу, Сергей снова засмотрелся на серебристые, солнцем облитые полушария обсерваторных куполов.

— Ну, а циклоп, который недавно внизу свирепствовал, к вам на олимп не добрался?

— Достается и нам. Когда разгуляется, понесет группы — тогда прощайся с небом, со звездами, по крайней мере на некоторое время.

— Жаль, что я не укротитель циклонов, — вздохнул Сергей.

Профессор, заложив руки за спину, прохаживался взад-вперед, сверкая сединой, и словно бы размышлял вслух:

— На человека войны, на него — болезни, против него — стихия... А человек вопреки всему все-таки должен всюду оставаться человеком...

Кто-то из молодых сотрудников обсерватории, пробегающая по аллее, крикнул издали, докладывая профессору:

— Пишу Солнце!

Старик улыбнулся.

— Слышите, что он пишет, этот потомок запорожского писаря?..

Когда, уже простившись, они спускались с горы, Сергей снова вспомнил об этой случайной реплике:

— Завидую человеку, который может вот так по-работному, буднично сказать: «Пишу Солнце!»

XVI

А я покамест вынужден писать тьму. Глухие беззвездные ночи осенние. Барак, сотрясаемый непогодой. И ночное заседание трибунала в углу, на нижних парах...

Пат и Паташон не очень утруждают себя службой. Днем их все чаще вовлекают в облавы — ходят выгонять по соседним селам людей на трудповинность да вылавливать уклоняющихся от отправки в Германию. И невелика радость после такого дня, промокшему, промерзшему, месить грязь до барака. К тому же сам характер работы пленных требовал несколько отпустить гайки режима: кто на конюшне, кто поехал на станцию за углем, еще кого-то на целую ночь послали на мельницу... Часовые наведаются с вечера в барак, покрутятся, выяснят, кто где, и уходят играть. В конце концов, куда эти барачные убегут? Сюда уже и аэропланы их не долетают. Засады всюду, на всех дорогах хватают, по городам облавы — чаще теперь, наоборот, сюда, в имение, убегают, где хотя бы с голоду не пропадешь...

Вечером, как только исчезнут Пат и Паташон, барак оживает, посты из самих пленных становятся во дворе на стражу. Стоят по углам, выслеживают темноту, пока в бараке заседает суровый беспроточный их трибунал. Судят.

Прибегала перед этим Катря к Ивану. Время от времени она теперь его проводит, все уже привыкли к ней, иногда и ночевать остается — ведет ее тогда Иван в тамбурный отсек на конюшне, где греет их густое, надышанное лошадьми тепло и попон хватает, чтобы укрыть их любовь. Там, в тамбурной светлице, на пуховиках из соломы, слышат они всю ночь, как кони у яслей тяжело вздыхают, думая что-то лошады, свое, может, вольное и далекое, как летние луга.

Что-то тут грезится и Решетняку из цветущих сказок детства. Прадед его или, быть может, прапрадед в турец-

кой неволе был. И тоже старшим по конюшне, так рассказывала бабуса. И все присматривался: какой же из прамаков самый быстрый, чтобы погоня его не догнала? Это была султанова тайна. А однажды конюх-невольник дал им сена, а это сено оказалось чар-зельем, и копи султанские, отведав его, сразу же речь обрели, людским голосом заговорили с конюхом. Так узнал он, какой самый быстрый, какому погоня не страшна. На нем и вырвался из султанских конюшен ночью, с ним переплыл Дунай... В детстве нет легенд, для Ивана все это было настоящее. А может, и в самом деле все это было с твоим прадедом? «Будто вижу, как он, ухватившись за гриву, переплывает Дунай». А Катря, съезжившись под попоной, слушает Ивановы воспоминания-сны, и голос у нее певеселый.

— Жаль, кони теперь не разговаривают человеческим голосом, а чар-зелья не пайти... только горя целые Дунаи разлились...

В последний приход рассказала Катря обитателям барака: наглет, разъяряется фашистский прислужник Иона, жизни уже от него нет. Обижает людей, а однажды, напившись, ломился к пей в хату. Но пустила, так он стрельбу поднял во дворе, окна побил... Рассказывая, Катря пытливо смотрела на Ивана, ждала, что скажет, а он хмурился и молчал. Удивилась даже. И сама же пыталась оправдать его молчание: невольник жизни, руки связаны... И разве в одном Хмарином сейчас такой прозвол?

Из Катриных новостей для жильцов барака главным оказалось вот что: на днях Иона поймал наших парашютистов, парня и девушку, и самолично выдал властям. Кто они, эти двое, и с какой целью были сброшены, об этом в бараке могли лишь догадываться. Несчастливым оказался их ночной прыжок: парень на дерево напоролся, запутался в стропах, а подруга его, совсем молоденькая радистка, падая, повредила руку. Иона, однако, и ей связал проволокой руки за спиной и в то же утро погнал обоих захваченных в уезд-гебит. Выслужился, иуда, еще вроде бы и награду получил за них... Пьяный вдрызг вернулся домой, спяна сам и выболтал свою подлую тайну... Одного лишь не знал Иона: не так уж далеко от Хмариного, за полями да оврагами, скованными первым морозом, месть чья-то не спит, готовит уже за этих неизвестных парашютистов расилату.

Когда Катря ушла, вечером сразу же собрался трибунал. И хотя Решетняк промолчал днем, слушая о побитых окнах, по сейчас, когда речь шла о совершенно незнакомых для него людях, о тех неизвестных, погубленных Ионой парашютистах, он первым подал голос:

— Такое не прощают. Пускай они никому не знакомы из нас, никто не знает, какими они были, что и за люди, однако же... наши парашютисты! — и было этим сказано все.

Вынесли приговор. Товарищи подумали и о таком: в ссle нельзя трогать Иону, ибо на Катрю падет подозрение, жизнью поплатится... Решили брать его на хуторе, куда Иона собирался к приятелю на крестины.

Операцию возглавлял Колосовский. Никто и не заметил, как ночью выскользнуло трое коней из крайней конюшни. Быстро исчезли они в темноте, разбрасывая свой глухой топот в степи. Сидя в седле, Решетняк представлял, как возьмут они Иону, как поведут его на то давно запустелое подворье на бывших хуторах, где родился Иона и где он теперь учинил расправу над стариком Архипенко, отомстив ему за раскулачивание, заставив самого яму для себя копать. Решил Решетняк, что непременно все там произойдет, на том самом месте. Приведет Иону и скажет:

— Копай... Твое к тебе и возвращается.

Будет Иона просить пощады, на колени падать:

— Смилуйтесь, хлопцы! Пощадите!

— А когда старая Архипенчиха тебя умоляла, ты пощадил старика? Копай же сам для себя яму, как он копал: вечными соседями будете.

Взяли Иону там, где и задумано было его брать, на выгоне возле старого ветряка, когда пьяный Иона возвращался с крестин. Кажется, сначала он и в толк не взял, что может быть нападение на него, видать, даже в мыслях не допускал, что он кем-то уже заочно осужден.

— Предатели! — сказал Колосовский, обезоруживая схваченного полицая. — Шкура продажная...

— Пускай... Пускай и запродайся!.. — возмущенно хрипел, пытаясь вырваться, Иона. — И к черту наймусь! Потому как разорили! Всю душу вы мне выпотрошили! Кто с земли сорвал! Кто нас, как щенят, в сани?

— Предатели! Фашистский прислужник, — падали на него грозные слова из темноты.

— Пустите! Развяжите! — сопротивлялся из всех сил. — Никому я не служу! Ни свастике, ни трезубу!.. И плевать мне на вашу Украину! Весь мир пройду! Картошка всюду одинакова — мерзлая да сушеная!

Заткнули рот, связали руки, между копытами погнали в открытую степь. О том, чтобы вести его куда-то на отцовское подворье, к казненному им Архипенко в вечные соседи, Колосовский не захотел и слушать.

— Некогда с ним возиться... Тут.

...Как незамеченными выехали из имения, так незамеченными и возвратились три всадника на рассвете в конюшню. Молчаливые, с суровыми лицами, задубевшими на ветру. А измученные кони — с ипеем на мокрых, еще полных внутреннего клекота боках. Не стало предателя Ионы в Решетняковом селе. Исчез загадочно. Спился до того, что людей не узнавал, — разве ж долго такому ночью в какую-нибудь яму угодить? В какой-нибудь полуобвалившийся на старом хуторе колодец, — много их осталось в степи после того, как хутора поразбивали...

Только в первую жатву, когда староста выгнал горемычных хмаринских женщин с косами в поле и когда они, безмужние, выстроившись печальной цепочкой, тронулись по тому самому полю, где когда-то ходили комбайны с их комбайнерами у штурвалов, одна из передних, кладя прокос, внезапно в ячмене наткнулась лезвием на что-то перетлевшее. Без лица, без глаз костяк, источенный муравьями. Лишь по истлевшей черной шинели, по оскаленным металлическим зубам и узнали женщины своего ненавистного односельчанина.

Однако еще далеко тот день, когда его в хлебах выкосят хмаринские косари в юбках. А покамест Решетняк ревностно приводит в порядок коней, разгоряченных после ночной гонки. Того погладит, того слегка заденет скребницей и еще раз осмотрит: пужпо, чтобы наутро были как все, ничем не отличались от других. Остальные конюхи ни о чем не расспрашивали, рядом с ним все тут люди свои, надежные. Молча, как после тяжелой работы, закуривал с ними в открытых дверях тамбура. И хотя глаза были красными от бессонницы, в сон не клонило. Уже рассветало. По-зимнему тяжелые, недобрые тучи поднимались над степью. Дул ветер, и снег пролетал, косой, трассирующий. И, глядя на этот снег, думал Решетняк: «Это весьма кстати... Все заметет».

В Перемышле их постригли. Клубок туго свернутых под платком Присиных кос привычно рванула чья-то неотвратимая рука... Несколько попыток бежать по пути (вроде бы на станцию за кипятком ходила) закончились для Приси лишь синяками. Эти синяки, почти черные, увидела у себя на теле в Перемышле, когда раздевалась в бане пересыльного лагеря. Постригли всех подряд машинками, наголо, как тифозных. Так надругались! Накричалась с девушками, когда от эсасовок отбивались, от их пожниц защищая косы свои... Были такие, что с горя иголки глотали. Будто с жизнью навсегда прощаясь, взывали к далеким теперь матерям, торопливо передавали полякам последние письма, залитые слезами. «Мама, мы погибаем! За что они мучают нас, чем провинились мы перед ними?!»

Если фортуна еще способна проявлять благосклонность, то она Присе малость-таки улыбнулась: не в лагерные бараки попала беглянка-неудачница, не к вахманам, не к волчпцам блоковым да штурбовым, которые уколами татуируют страшные лагерные номера, — приобрела Присю за сколько-то там марок немка-аристократка для работы в своем имении со средневековым замком. Впервые не в учебнике истории и не в кинофильме, а по-настоящему, в реальности увидела девушка рыцарский замок. И аккуратный коровник от него неподалеку, из которого ты, остарбайтерка, ежедневно будешь вычищать навоз. Немка — худая, высокая — ходячий скелет! — прихрамывает: в молодости объезжала лошадей и получила на память о тех временах поврежденную ногу да три серебряных вставных ребра. Фрау еще и сейчас души не чает в лошадях, у нее целая конеферма, гордость этого аристократического имения. Хозяин все время болеет, его возят в коляске, девушкам велено каждое утро здороваться с ним.

— Гутен моргеп, герр Ритмайстер.

Герр Ритмайстер — только так, не иначе, потому, что он знатный, род его восходит к средневековым рыцарям в кольчугах. Нет, грубым он с ними не был, этот герр, этот парализованный потомок владельцев замка. Не бил плетью, не ругал девчат, не глумился над ними, как те, которые на пересыльных пунктах с фотоаппаратами врывались в душевые, чтобы на пленку схватить голых безза-

щитных полонянок. Этот не разрешал себе быть грубым. Он просто не замечал вас, когда вы проходили мимо него с повязками «ост» на рукавах, были вы для него словно бы сотканными из воздуха, он смотрел надменно куда-то сквозь вас. И, видимо, совершенно не слышал или не желал слышать ваше ежедневное «Гутен морген, герр Ритмайстер», потому что никогда не отвечал.

Всем распоряжалась барыня, она держала имяние в руках.

— Мы не выскочки скороспелые. У нас герб, и мы остаемся преданными кайзеру, — говорила высокомерно и никак не хотела поверить, что немецкие вояки способны запрягать военнопленных в бороны, чтобы ими прочесывать минные поля, и учительниц заталкивать в бочки — казнить за слово протеста.

— Не может этого быть, — сердилась она. — Мы не варвары, ты выдумываешь, лжешь!

Они не хотели быть варварами. Барыня не могла представить своего сына среди тех сопляков из гитлерюгенда, которые хуже бандитов издеваются на Востоке над мирным населением. Или, быть может, они и в самом деле не были такими от природы? Но ведь соглашались же годами культивировать в себе жестокость убийц и садистов; быть жестоким, глухим к человеческой боли — это для них уже не позор, наоборот, это стало синонимом доблести, приметой сильной арийской натуры.

— Фрау не хочет признать этого, но ведь я же видела это своими глазами, слышите, видела!

— Ты, наверное, нарочно все это выдумываешь, чтобы компрометировать нас... Кто ты есть?

— Должна была учительницей стать... А покамест недоученная студентка.

— О! Ты специально штудировала немецкий?

— А как же. *Ich bin, du bist, er ist!* — И повторила с ударением: — *Er ist! Er ist!*

— Bravo, Фрисьхен! Ты еще скажешь, что и нашу историю изучала?

— И вашу, и свою...

— У вас есть история? — кривилась госпожа ломаной усмешкой. — Тогда скажи уж, что было у вас и рыцарство.

— Было. И есть! Был орден рыцарей Сечи Запорожской... И рыцарей Сиваша и Перекопа... Киево-Могилянская академия была...

— Не слыхала о такой.

«А что ты слыхала, старая мегера? Что ты знаешь о нас? Не слыхала наших мелодий, не читала наших книг, не имеешь представления о нашей истории! Наши сиие Днепрогэсы, университеты, наша молодежь, расцветавшая талантами и надеждами, — все это для тебя не существует! Застыла в тупом, чванливом невежестве, так невеждой и в землю ляжешь со своими серебряными ребрами!.. Праха кто-нибудь насыплет на эти хищные глаза, которые не хотят замечать целые народы с их стремлениями, с их жизнью, их культурой... Мы низшая раса для тебя, полудикари. Почему? Почему вы такие? Что дала вам вся ваша немецкая мудрость? Научила строить бараки, лагеря, душегубки? Горы мотков колючей проволоки вырабатывать для всей Европы?

— Вы ленивы, вы хитры, как, впрочем, и все славяне. Склонные к мистике, царевубийствам, к разрушительным революциям, не правда ли? И вы очень коварны, не так ли?

— Мы люди, как и все. И хотим, чтобы все были людьми.

— Если уж ты такая умная да шустрая, то почему ты здесь? Мне твоя образованность, собственно, ни к чему.

— Но позвольте заметить, ффрау, и я не просилась сюда. Не по собственной воле я здесь.

Было это по-немецки логично, и даже черствую немку вроде бы тронуло — по желтому пергаменту носатого лица промелькнула почти благосклонная улыбка.

— Тебе не на что роптать. Благодарю бога, что попала не в Бухенвальд, а в порядочную семью, в этот рыцарский замок.

— Но разве же не ваши рыцари наделили нас эти унижительные нарукавные повязки рабынь! Это же ваши немецкие ножницы постригли нас, точно каторжанок...

— Ты оскорблена, что грязную твою голову остригли? — удивилась барыня и принялась объяснять, что ничего оскорбительного в этом нет, потому что это гигиена, кроме того, у них, у немцев, человеческие волосы — ценное сырье: с практической целью перерабатываются в промышленный войлок и пряжу. Из отрезанных женских кос, из волосяной пряжи у них вырабатывают ступни посков для команд подводных лодок, волосяной войлок применяется также для изготовления чулок служащим

железной дороги...— А ты как же думала? Мы, немцы, умеем из всего извлекать пользу. Это ваш медлительный посточный ум не нашел бы им практического применения. А немецкий гений из ваших волос делает чудесные чулки...

— Данке шён за объяснение. А мы, глупые, этого не понимаем... У нас косы для красоты...

На рождество, на немецкое рождество, съехались гости. Прибыл в эти дни и сын Ритмайстера, фронтовой офицер, в отпуск. Еще перед тем фрау не раз хвалилась сыном, какой он порядочный, хорошо воспитанный. А Прися смотрела, как старательно мыл руки порядочный этот отпускник, и казалось ей, что это он кровь чью-то отмывает. «Но не отмоешь! Ничем не отмоешь!» — повторяла она мысленно, глядя на красные клешнеобразные пальцы да на позвякивающие железные его кресты.

В честь приезда сына устроили банкет. Перед тем гости целой ватагой отправились в лес на охоту — у них несколько сотен гектаров фамильного леса, где множество зверей: зайцев, кабанов, косуль... И вот возвращаются с добычей, трубят в охотничьи рога по древнему рыцарскому обычаю, складывают добычу ворохами среди подворья, хвастаясь, кто больше настрелил... «А руки же ваши в человеческой крови», — снова думала Прися, издали поглядывая на несчастных пострелянных серн.

Гостили у этих родовитых фонов еще и какие-то новопеченные фоны из Берлина, с ними немчонок маленький, хорошенеккий, который забредал иногда в коровник или на курятник, смотрел, как Прися работает, посыпает желтым песком проход, будто аллею. Ждал малыш, пока она освободится от работы, чтобы могла с ним поиграть. Однажды спросил:

— Кто ты? Откуда? Как тебя зовут?

Показала ему пашивку (ост!) на рукаве:

— Фон дер Остен.

Малыш понял шутку, засмеялся. В другой раз юный арийчопок застал ее в курятнике, когда она ничего не делала. Сидела, и даже книжка немецкая лежала рядом — не читалось. Никого и видеть не хотела сейчас возле себя, кроме одного, кроме смуглого хлопца-рыцаря с далеких имеретинских гор. Вот он с вилами среди тех, которые покрывают совхозный свиноводник... Те на крыше, а Шамиль снизу солону подает. Его худая, упругая

фигура вся в заплатах. Но есть в ней что-то гордое, непокорное. Девчата обильно поливают водой солому — кровельщикам это необходимо. Перед тем как поднять в воздух тяжелый, набухший водой куль соломы, Шамиль пронизывает его вилами с каким-то весело-воинственным восклицанием, даже дед Харитон не может сдержать своего восхищения:

— Ну и чечен! Ну и клятый же! Все у него так складно получается!

...Слонялся скучающий арийчонок, задевал Присю, звал поиграть с ним:

— Фон дер Остен, поиграй со мной!..

А она ни с места. Тогда малыш подкрался из-за стены п, набрав полную пригоршню песка, швырнул прямо ей в глаза... Догнала его уже в парке и, схватив за шиворот, хорошенько натолкала носом в снег, отлупила желторотого фона, как хотела, хоть он и визжал, как недорезанный поросенок. Отшлепала, и только тогда хлынули у нее слезы обиды, тогда спохватилась: что же будет?

Вскоре позвала ее старшая кухарка:

— Что ты там натворила? Мигом к госпоже!

Фрау сидит в кресле, расспрашивает, правда ли, что па немецкого ребенка ты, остарбайтерка, руку подняла.

— Ты понимаешь, на что ты решилась? Понимаешь, как можно истолковать твой поступок?

— Он же мне глаза песком засыпал!

— Ты ведь могла в своем иступлении даже искалечить это юное существо!

— Оно и так уже искалечено... духовно. Считает, что ему все дозволено!

Фрау малость недолюбливала этих новоиспеченных фонов, считала их выскочками, быть может, только это и не дало разыграться ее гневу.

— По какому месту ты его била?

— По тому самому... Детям всех рас и наций по одному месту достается, оно у них одинаковое...

— Больше ни по чему?

— Нет.

— И хорошенько отстегала?

— Да.

Тень улыбки промелькнула по блеклым губам немки. Отругав Присю, предупредив, чтобы не смела больше поднимать руку на пемчонка, взялась на этот раз как-нибудь уладить дело.

Быть может, еще и потому, что в замке находился сын, хозяйка не позволяла себе крайностей в отношении персонала, не хотела быть слишком злой к этим проклятым остарбайтеркам. Фрау делала все, чтобы сын как можно дольше пробыл дома, используя связи, как-то устроила, что железнодорожный билет сдали, и она сама приобрела ему другой, на самолет. Потом он все-таки улетел. А вскоре было получено извещение и кресты: молодого Ритмайстера где-то над украинскими лесами сбили партизаны.

Фрау чуть не сошла с ума.

— Это все я... я сама виновата... Билет помснияла... сама послала свое дитя на смерть!

Глядя на искреннее безутешное горе матери, Прися готова была проникнуться даже сочувствием к старухе. Единственный сын, любимец и надежда семьи, он больше не существовал, он стал жертвой собственного фанатизма и завоевательской ненасытности...

Комком сплющенного металла врезался в землю, получил свое... Теперь только его фотография в черной рамке висит в комнате матери, и весь замок поник в трауре.

Но даже пережитое не сделало старую немку добрее. Более того, вскоре произошло событие, которое потрясло всех пленниц. В числе других работала на господской кухне девчущка одна, Маруся, Присяна землячка из соседнего района. Иногда вместе отводили душу, мечтали с наступлением весны вдвоем совершить побег. И вот стряслась беда. Однажды барыня в своем трауре зашла на кухню, а на плите у Маруси как раз молоко убежало, сердито пенилось из кастрюли. То ли нервы сдали, то ли ярость за партизанские леса превысила все, только схватила барыня эту кастрюлю и кипящим молоком — девушке в лицо! Ошпарила все лицо и глаза выжгла, зверюга... Когда выяснилось, что зрение не вернуть, что девушка останется навсегда искалеченной, дали ей свободу: можешь отправляться назад, на свою Украину...

И отправили. Прися не раз ставила себя на ее, Марусино, место и, страшно подумать, испытывала в душе нечто похожее на зависть. Пусть хоть ошпаренная, с вечной ночью в глазах, но ведь домой, на Родину!.. И уже с ужасом представляла, как, ослепленная, руками на Украину дорогу нащупывает, с обезображенным лицом появляется перед братом, перед Шамплем... Но потом приходила в себя: нет, ни за что не показалась бы ему

такой, перед ним она хочет быть прежней, чтобы услышать еще хоть раз от него это его жаркое, пламенное:

— Ты красивая, красивая... Шéни чиримé!

Живет с камнем на душе, подавленная горем, работает то в курятнике, то вычищает навоз из коровника, а вывозят его тачками трое поляков пленных, которых каждое утро приводят на работу из лагеря, расположенного неподалеку, в дюнах. В лагере там у них болезни, зверский режим, недоопадение. «Да неужели же ты ничем им не можешь? Ведь это братья твои... Судьба у них такая, как и у Шамиля...»

Прися, посоветовавшись с девушками, нашла способ, как устроить передачи в лагерь: утром отберет часть только что собранных из-под несушек яиц, прикроет сеном, а сверху еще и навозом. А поляки уже в курсе — придут, молча отроют навоз, заберут подарок и — в лагерь, товарищам... Удалось одно, Прися подговорила девочек испробовать и другое...

— Канистру молока им передадим...

Но, видно, кто-то из панских блюдолизов подсмотрел, донес, так как уже вызывают Присю к барину, стоит она перед герром Ритмайстером. Высохший, болезненный потомок рыцарей, не способный подняться из коляски молчун, который никогда и словом не обмолвился с пленницами, сейчас вдруг заговорил, готовый, пожалуй, и в горло девушке вцепиться за эту канистру молока, перехваченную уже на полпути к лагерю...

— Да как ты смела, воровка?.. Ведь это мое!

Она вовсе не стыдилась своего поступка, пыталась даже и ему втолковать, что это не воровство, доказывала с чувством правоты:

— У вас восемьдесят коров, герр Ритмайстер, и почти все доятся... Разве вам с вашей ффрау не хватает? А там голодают, там больные...

— Это меня не касается. Молоко — моя собственность. Способна ли ты это понять? Мое, каждой каплей мое! Мне принадлежит, и только я могу им распоряжаться! В конечном счете это дело престижа, это наш непоколебимый закон!

Он вопил, его аж трясло в коляске от злобы. Уверял, что не так даже канистра возмущает, как посягательство на принципы, на основы его жизни. Большевичка, смутьянник, ты имеешь наглость посягать на его право хозяина, пренебречь их немецким порядком — орднунгом?.. Де-

пушка смотрела на него невозмутимо, со спокойным нескрываемым презрением. «Да, вы поработили нас, лишили счастья,— словно бы говорила ему в ответ,— но ведь несчастными будете и вы, рабы своего бездушного орднунга!»

— Кроме закона, господин Ритмайстер, есть еще чувство. Обычное, человеческое. Сочувствовать, помогать человеку в несчастье — это, по-вашему, преступление?

— Восточное ничтожество! Ты еще будешь меня поучать? В лагере будешь поучать! Вон отсюда! В лагерь ее!

В тот же день всех причастных к делу с капистрой погнали на станцию. Под вечер они уже очутились на черной, из-под угля, платформе, открытой всем ветрам. Часовой с винтовкой зябко ежился поблизости, утонул в своем поднятом воротнике, нагнул голову на уши.

Мчится эшелон. Всевластный немецкий орднунг нависает над нами непроглядной ночью. Летят от нас, как в неизвестность, черные придорожные деревья, гремят виадукы... Может, настало время прощаться? Или и сама жизнь человеческая — это только вечное и горькое прощание? У кого длинное, у кого мимолетное... Но всегда великое, как боль, как душа, налитая любовью... Или еще будет иначе? Должен же быть мир, где страны и народы не будут знать нашествий, где на людей не будут охотиться, как на серн в заповедном лесу. И что нашествия были — это будет восприниматься как дикость, как нечто совершенно для человека противоестественное...

Во тьму несется, железно грохочет платформа. Как в ураганном ветре, темными силуэтами пролетают голые деревья, казармы, кирхи, пакгаузы... Где же твои освещенные, шумные, великодушные города, Европа? Нет их, не слышно ваших теплых атлантических ветров, ни вашей органной музыки... Ночной, с копотью, обжигающий ветрище черной злобой ревет на нас из тьмы... Ничего нет. Даже стальных нет у нас иголок, чтобы можно было их проглотить. Ни бумажечки, чтобы написать, пацаранать и бросить в ночь: *«Милый, любимый мой! Живи и за меня. До последнего мгновения буду твоей!»*

Без права умереть

Нашлись саперы, нашлись минеры. Нашлись отважные души, готовые на любое задание. В последнее время подорвалось несколько немецких машин на старом большаке.

Каким-то образом мины, оставшиеся кое-где на неочищенных минных полях, по ночам перекачывали туда, на большак. Кто-то их находил, кто-то закладывал. Правда, мины взрывались не на землях совхоза, и Пауль-управитель мог даже сказать, где нужно: в его владениях все в порядке, взрывы его не касаются, ищите виновников в другом месте.

В имении пока никого не трогали. Однако барак все время был настороже. Непрерывное хождение по лезвию пока — такой сейчас была жизнь обитателей барака. По лезвию — днем и ночью. В любую минуту могут ворваться шуцманы, вытащить тебя из барака или тамбура конюшни, схватить просто на работе. И ты знаешь, что схватят педаром. Что нападут на след. Но покамест не нападали. Кто-то словно бы оберегал хлопцев. Работали, как и раньше. И только недремлющий бригадир Вихола видел, что это за работа. Симуляция — последовательная, продуманная — изо дня в день.

От Вихолы этого не утаишь. Но он молчит. Ведь погода жизни неустойчивая. Ветры фронтов, их наперед не угадаешь: куда еще повернут? Громыхание фронтов, то более отдаленное, то совсем близкое, в последнее время превратило Вихолу как бы в чуткий барометр. По его настроению можно было угадать: фронт отодвинулся... вот придвинулся... вот стрелка барометра колеблется все больше, указывает на бурю... Вынужден был оглядываться на обитателей барака, должен был терпеть даже этот их постоянный внутренний саботаж. Сопротивление и сопротивление — Вихола чувствует его ежедневно. Вроде бы и делается работа, но какая! Скорее только видимость ее, все почему-то не клеится — там порвалось, там поломалось, то и дело переделывай, ремонтируй... И молчи... Может, не умеют, руки у них не оттуда выросли? Не сказал бы о них такого. Есть среди них слесари, машинисты, механики. Есть специалисты на всякое дело. Взягь хотя бы того же Решетняка: он и вилами орудует, и за лошадьми ухаживает, и сапожничаает, и шорпичаает... Всю умеют, если захотят: осенью, когда крыли вдовам хаты, вот там уж работали без симуляции, делали на совесть! Починят крышу, накроют, причешут да еще и стреху подстригут — просто загляденье. И жители сел стоят за них горою, советуются с ними, верят им. Каждый пленный, как политрук самозванный, по-своему истолковывает разные слухи, передвигает фронт, поддерживает в людях на-

дежду. Вихоле все это известно. Однако же... молчи... Потому как стрелка барометра вздрагивает, прыгает... А возвратятся, еще запляшешь тогда...

Однажды на барак налетели с обыском. Ватага шутмапов неведших, из кустовой полиции. Перерыли всё. Нашли под нарами ворох овса — какие-то пчелы его на-носили. Зимой многие из хлопцев получали наряд на работу в зернохранилище. В полутьме огромного безоконного помещения, где не продохнешь от духоты, где непрерывно грохочут веялки и триеры, с утра до ночи свуют фигуры в шинелях — с мешками, с лопатами, задыхаясь в холодной шершавой пыли. Поднимались куда-то под самый потолок по сыпучим ворохам, по овсу и ячменю, проваливаясь в текущие рыхлые ямы по пояс. Зато уж, возвратившись вечером в барак, каждый вытряхивал по несколько пригоршней зерна то из-за голенищ, то из-за пазухи, из-за воротников, и если даже часовые видели это, то и перед ними было оправдание: по пояс ныряешь в этом зерне, ничего не видно, остьями глаза поразъедало, вот зерно само по себе и набралось... Часовые смотрели на это сквозь пальцы, потому что им тоже из этой добычи перепадало, а остальное хлопцы ссыпали в углу под нарами, и это был их общий неделимый фонд.

Во время обыска шутмапы, сопя, старательно персырили овес, но о зерне ничего не сказали, видно, искали что-то другое. Порылись и ушли ни с чем. И в эту же ночь появился в бараке Случайный Случай.

— Это нам предостережение, — сказал он, выслушав все.

И еще сказал, что нужно кого-то направить в город. Собственно, не в самый город, а ближе, в заводской поселок. Дело есть.

— Должна была бы наша связная пойти. Но нет ведь ее. — Прися, сестру свою, имел он в виду. — Кто пойдет?

Шамиль вскочил с нар:

— Я. Только я!

Все, что было связано с Присей, он должен был взять на себя, никому этого не уступая... Именно так его и поняли...

— Хорошо, пойдешь ты, — сказал Байдашный, старший на этом совещании, проходившем при подслеповатом каганце.

Остальные тоже дали свое согласие, и Шамиль понимал, как много их согласием сказано. Что под силу тебе

это рискованное задание. И мы полностью тебе доверяем. Доверяем все наше заветное, тайное, даже наши собственные жизни! Поручимся за тебя перед стражей и перед конторой, поручимся, что ты непременно возвратишься, — ведь все мы остаемся тут за тебя заложниками. Вот почему ты не имеешь права даже погибнуть в дороге. Ты должен возвратиться хотя бы мертвым!

По тем тревожным временам безмерно далеким был тот голодный, измученный террором город. Придется идти через села, где свирепствует полиция, незаконным идти по неизведанным дорогам той холодной, погребенной в снегах оккупации Украины. Можешь паткнуться на облаву, могут задержать, схватить тебя — ведь всюду сейчас хватают таких, как ты. Вооруженные пьяные морды могут на месте где-нибудь тебя прикончить в сугробе и ни перед кем не будут за это отвечать, ибо нет здесь сейчас и тени того правосудия, которое защитило бы тебя.

И все же Шамиль был почти рад, что идти выпадает ему, что товарищи остановили на нем свой выбор.

На следующий день хлопцы снаряжали его в дорогу. Раздобыли где-то армяк допотопный и заячью шапку с ушами. Лешка-костромич отдал свои теплые портянки. В суму насыпали овса. Решетняк еще и пошутил:

— Как рысаку, овсешка тебе ярого да сухого... Обмешься где-нибудь в дороге... Может, па что-нибудь горяченькое, чтобы не замерз...

С караульными договорились о размере взятки. Через агронома выцыганили в конторе для Шамиля даже какую-то жалкую справку с размазанной печатью. Является он, дескать, рабочим этого имени, отпущен павестить родственников, что и удостоверяется. Агроном, лично подписавший справку, хорошо знал, что родственников этих в природе не существует, поэтому счел необходимым и со своей стороны предупредить Шамиля:

— Бумажка мало что стоит... Лучше всего на глаза не попадаться этим людехватам.

Шамиль усмехнулся:

— Я верю в свою звезду.

Видимо, в словах его прозвучала какая-то самоуверенность, ибо агроном проводил его вдруг погрустившим взглядом. Для этой почти отчаянной самоуверенности у Шамиля были основания: звезда и впрямь существовала, и Шамиль куда больше, чем на бумажку, полагался именно на эту звезду. Давно уже замечал он, что в тяже-

лые времена люди верят в добрые приметы, и, хотя раньше это у него вызывало только улыбку, теперь порой ловил себя на том, что и сам, кажется, уже верит в приметы. Прися, чистая к ней любовь — не она ли являлась Шамилю в виде этой счастливой звезды, которая всюду проведет его неуязвимым? А еще этот спасительный амулет, что Шамиль хранит у самого сердца... Знак фронтовой доблести. Пока он при тебе — ты человек и боец.

На третий день с рассветом вышел из барака. Только забрезжило, когда он уже миновал самую отдаленную степную лесополосу, служившую межей земель имения. Выросший в стране солнца, согретый теплом устремленных к солнцу скал, увитых виноградными лозами, очутился теперь лицом к лицу с безбрежностью снегов, обнимавших весь простор. Продрался сквозь акациевые колючие заросли лесополосы, вспугнул зайца, спавшего в снегу, и вдохнул свободу полной грудью. Барак и жизнь под конвоем остались где-то там позади, за проволочноколючим, словно лагерным, валом маслин и акаций, и первым желанием было, желанием, наболевшим до крика: никогда не возвращаться! Пусть погибнуть, но не поднадзорным, а здесь, в поле, в снегах, под напевы вольного ветра! Сразу словно бы упали невидимые цепи, которые столько времени опутывали его, хотелось кричать от восторга, жадно пить этот вольный ветер. Выпрямиться хотелось так, чтобы достать рукавицей небо, его кудлатые тучи. Земля здесь уже словно бы ничья, и небо ничье, и дорог никаких. Хотя нет, вон пошли столбы вдоль запесенного снегом большака. Там взрывались наши мины, опалия снег, оставляя на месте взрыва клочья вражеских мундиров... Пересек большак и почувствовал себя еще свободнее: были впереди безбрежность, безлюдье, свобода или хотя бы призрачная иллюзия ее. Тут только ты и снега, ты и ветер! Чувствуешь себя молодым, сильным зверем, вырвавшимся наконец из клетки, получившим в свое распоряжение целую планету!

Взошел на пригорок, оглянулся: чуть виднеются далеко скирды, фермы тают совхозные во мгле горизонтов, быть может, и в самом деле ты в последний раз бросаешь прощальный взгляд на них? И сквозь мгновенное невольное опьянение вдруг — трезвый голос: «А хлопцы как? Те, которые поручились за тебя и ждут тебя хоть мертвого. Или свобода дороже их? Тебе свобода, а им? Есть

свобода, но есть еще и такое понятие: эгоизм свободы. Не это ли искушает тебя сейчас?»

Плотнее натянул заячью шапку и запагал. Безлюдье, белое безмолвие, а ведь совсем еще недавно зеленело, цвело, гудело пчелами, опьяняло запахом нектара... Все замечено, скрыто под толщей снега, лишь колючки лесопосадок протянулись темной полосой. А дальше снова волнисто белеют поля, горбятся холмами, проваливаются оврагами и льдисто-пропизывающе звенит поземкой этот суровый, будто арктический, мир Украины, земля оккупированная...

На тетрадном листке была у него от руки набросанная Случайным Случаем схема с обозначением сел, которые будут встречаться, а где восклицательный знак, там нужно обходить стороной. И обходил. Бездорожье стало ему дорогой. За несколько часов ходьбы повстречался Шамилю среди моря снегов один лишь хуторок, отмеченный на карте знаком плюс как возможное пристанище. Насквозь продутый ветром, полузаметенный, с обломанными деревьями — таким он вырос перед его глазами. Пожалуй, бывший полевой лагерь какой-нибудь бригады. Заржавленный инвентарь, брошенный кое-как, словно бы еще раз напоминал о величайшем равнодушии, сковавшем теперь этот край. Плуги в комьях неочищенной мерзлой земли... Зубастые бороны, культиваторы, вмерзшию в землю саялки с утопувшими в снегу сошниками... Заброшенность и запустение. Почему-то вспомнился Решетняк: с каким бы горьким чувством посмотрел он на этот беспорядок, на эти полузаметенные в открытой степи саялки, из которых, кажется, уже никогда не потечет зерно в теплую весеннюю землю. Подошел к одной, открыл ящик: пусто. Вспомнил, что у него есть овес. Открыл сумку, бросил в ящик, в неподвижные гнезда несколько горстей «ярого, сухого». Зачем? Для приметы? На весенний засев? И теперь уже всю дорогу неотступно плыла перед глазами полузаметенная саялка, плыла в сугробах снега, как знак ледящей скованности этой жизни и грустная надежда на что-то весеннее...

Отдаленные, глухие, вроде безжизненные села служили ориентирами. Время от времени сверялся по схеме. И нигде ни живой души, только ты один бредешь по полям, до жути одинок. Да еще где-то в этих же снегах, в этих просвистанных ветром просторах блуждала девушка слепая, одна-одинешенька. Та, которая вернулась из

Германии с опаренным лицом, с выжженными глазами, что карими, а может, синими были, как небо, полными задумчивости и тихого солнца. Прошла о ней в народе молва, докатились слухи и до них. Девушка из тех, которые были отправлены в Германию с первым набором, — где-то там на торгах выставляли ваших девчат голыми на осмотр, чтобы немки, выбирая, могли удостовериться, что нет на них, на этих тугогрудых славянках, ни экземы, ни лишаев. За сколько-то там марок выторговала ее немка для работы на кухне, а когда обнаружилось, что девушка тайком передает хозяйскую картошку полякам в лагерь, фрау прибежала на кухню вне себя от ярости и, схватив кастрюлю с плиты, плеснула кипящим молоком девушке прямо в глаза... Так слагалась легенда чьей-то жизни. Подруги-итальянки якобы собрали ей денег на билет, посадили в поезд. И теперь эта слепая довушка, разыскивая отчий дом, блуждает по зимним полям, — кто-то собственными глазами якобы видел ее, у людей нет сомнения, что она существует в реальности, — рассказ об ослепленной незадолго перед этим пришлось услышать Шамилю от жещин в зернохранилище. Есть одна. Быть может, как раз среди этих снегов блуждает несчастная, ослепленная полощанка, образом своим порой повторяющая девушку, которая одарила его своими объятиями... Страшно даже подумать о чем-то подобном. Но почему же так трудно совладать с воображением? Почему неотступно образ девушки, такой бесконечно родной тебе, возникает в этой белой пустыне, где и ты, ослепляемый встречным ветром, бредешь со своей клюкой? Или, может, сейчас ты и она до изнеможения кружитесь в этих текучих снегах, так и не столкнувшись друг с другом? Ослепленный ветром, ты, может, и не заметил, как она где-то здесь, поблизости, в метельном вихре перекачи-по-лем промелькнула, ее, беспомощную и незрячую, ветер, быть может, на колючие кусты гнал, на зубастые полузаметсные борозы натыкалась...

Под вечер стоял на каком-то кургане, на Холодной Горе своего одиночества. Ветер звенит прошлогодней былинкой, что, пробившись сквозь толщу снега, сиротливо, грустно шевелится у ног. Село в отдалении темнеет; дымы из труб для кого-то пахнут уютом, вечерним соломенным духом. Впереди речка утаивалась, кажется, как раз та, степная, которую Байдашный вывел карандашом волнистой линией на схеме. Еще проступает, извиваясь

руслom средь снегов, закованная в панцирь льда. Текла когда-то, переливалась на солнце, светилась прозрачностью. Панцирь крепкий, скользкий. Сковано все, тут царит диктатура льдов. Хорошо уже и то, что не нужно искать мостик, в любом месте можешь перебраться. А может, обойти стороной и это село с его восклицательным знаком? А где же ночевать? Под кустом перекачиполя?

Дорога в село паезжеппая, пожелтевшая от растертых полозьями конских кизяков, но Шамиль, однако, не позволил себе воспользоваться дорогой, зашел со стороны глухих огородов, оттуда, где зверь подкрадывается к кошарам в трескучие зимние ночи. По плотному, слежавшемуся снегу подошел к крайним хатам, к чьему-то саду со старыми яблонями, покрученные стволы колени старчески изогнули, вывернутые ветки по снегу лежат. Куст калины, до пояса утонув в сугробе, кое-где краснеет гроздьями ягод. Полуобклеванная воробьями, так неуместно горит эта калина, раскрасневшись на краю сада средь сипих вечерних снегов...

Женщина, рубившая под повестью дрова, видимо, заметила пришельца, потому что совсем повернулась к нему спиной. Уйти бы прочь. Никто тебя здесь не ждет. Не для тебя эти пахучие вечерние дымы. Где-то закрываются скрипучие калитки, в другом дворе мужчина, прихрамывая, закрывает окна спаружи соломенными матами, окна равнодушны, они сами словно бы заслоняются от тебя. Никем ты здесь не зван, никому не нужен. Преодолевая собственное нежелание, вошел он во двор. Почти недобрым голосом сказал:

— Здравствуйте. Не пустите ли переночевать?

Женщина долго и яростно вырывала топор, застрявший в вербовой колоде. А когда выпрямилась, Шамиль увидел немолодое уже лицо, налившееся кровью от напряжения и мороза, насушенные брови.

— К старосте ночевать в сельуправу! Старостиха там для вас подушек наготовила!

И забубнила, что без разрешения сельуправы теперь не велено никого пускать на ночлег, что людей всяких по дорогам теперь несметное множество бродит, вроде все стали бродяжничать, побираются, каждую ночь просят в хату, а она ведь не солнце — всех не обогреет. Раньше пускала, а сейчас хватит, очень ей нужно, чтобы из-за каких-то бродяг да таскали ее в управу... Слова женщины

так и хлестали Шамиля по лицу, вгоняя в стыд. Ведь разве не правду она говорит? Разве не нищий, не бродяга? Мало у людей своих несчастий? Она все ворчала, все отчитывала. Он повернулся и молча пошел со двора.

Она догнала его в конце огорода, сердито дернула за армяк.

— Так что же, по-вашему, мы уже и не люди? Ночь паступает, где же вы будете почевать? Под заячьим кустом?

— Хотя бы и под кустом.

— Вернитесь!

Постоял и, обиженный, все-таки вернулся. Открыв наружную дверь, женщина подтолкнула его через порог в хату навстречу трепещущему в печи пламени.

— Внесу вязанку соломы, спите себе на здоровье, хаты не убудет. Тут каждую ночь ютятся такие, как вы, квартиранты!

Хата в дымке сумерек. Возле двери на табуретке ведро воды, недавно, видно, внесено — в воде еще плавают кусочки пераставшего льда. С печи кашлянул кто-то постариковски, спросил:

— Это ты, Мотря?

— Постояльца опять принесло, да еще такой обидчивый... Не на нас обижайтесь.

— А я не на вас.

Указав на лавку, буркнула ночному гостю:

— Ложитесь тут, — и вышла.

Шамиль снял армяк, повесил на кочергах, там же и сумку приладил и сам сел на скамью. На дворе снова слышались глухие удары топора. Шамиль выбежал в одной гимнастерке, вырвал у женщины топор из рук... Вскоре хозяйка уже подбирала готовые дровишки.

Войдя в хату, непрошенный постоялец теперь более уверенно уселся на скамью. На камельке замигал каганец. Из-за грубки показалась взлохмаченная борода. Старик долго вглядывался в Шамиля. Начались расспросы. Откуда да куда идешь, добрый человек, да что на свете слышно? Правда ли, что немцев окружили под Сталинградом? И что наши фронт прорвали, полки сибиряков на выручку идут? И не слыхал ли про девушку незрячую, что будто появилась в зареченских краях? Уже и полиция за ней гоняется, а поймать никак не могут, даром что совсем незрячая, молоком в Германии ошпаренная... Люди оказались как люди. Дали поужинать. Утром пригласили

еще и позавтракать. И платы никакой не требовали, однако свой овес он здесь оставил с сумкой в знак благодарности, сказав, что не хочет носиться с лишним грузом.

— Вы же заходите, когда будете возвращаться, — услышал вдогонку, отправляясь чуть свет в дорогу.

Но во второй раз ночевать ему здесь не пришлось. Когда возвращался оттуда, где был, на окраине села встревоженные женщины его предупредили:

— В село идти нельзя! Там обыски сегодня, все хаты перетряхивают!

Свернул наугад в низину. Шел навстречу приближавшейся ночи по замерзшему озеру, остаивавливался в камышах. Почему-то всегда очень грустно видеть занесенное снегом озеро. Перешептывается поблекший, изломанный ветром камыш. Возле каждого кустика ямка; это значит, что хоть и поблекший, а снизу он дышит... Чуть-чуть дальше топорщится лозняк, вмерзший в лед. Может, где-нибудь тут расположиться? Начиналась метель, предвечерье скрадывало горизонты. Но тут был затишек. Следы, собачьи или волчьи, отпечатаны на снегу, кто-то на санях проехал, видно, брал здесь сушняк, — остались после коня мерзлые комья помета, чернели огарки погасшего костра. Дальше идти или здесь примоститься под кустом? И внезапно вздрогнул от окрика:

— Ты кто?

Несожидавшая, непредвиденная ситуация. Охотник с ружьем, с зайцем, привязанным к поясу, неслышно вышел из-за ивняка.

«Шудман!» — первой была мысль. Кто же еще имеет право охотиться? И рукав опоясан полоской, точно трауром. Холодными, прищуренными щелочками рассматривает из-под ушанки незнакомец Шамиля. Из опытных, видать; глаз пристрелян, такого не обманешь. Насквозь пронизывает тебя, видит, что там у тебя под армяком, за казухой, что и в душе. Кажется, без допроса угадал, кто ты есть, и куда ходил, и с чем возвращаешься. Словно раздевает тебя донага и уже все, все он сквозь тебя рассмотрел: барак твой, и товарищей, и тех металлургов из поселка, с которыми ты ночь сегодня провел, наблюдая, как они возле печки, будто алхимики, при лампе карбидной делают радиодетали и выливают ложки из белого помятого металла...

— У меня документы есть...

— Не пужно. Зайдем в комендатуру, там выяснится...

Пожилой, и лицо без ярости, ничем вроде бы и не отталкивающее. Грузноватый, с брюшком. Может, смьянин, жена и дети, наверное, есть. Ждут его, отец зайца принесет! Подстрелил-таки несчастного косого, еще, пожалуй, теплый, висит, оттягивает ремень охотника. Видно, меткий стрелок.

— А то, может, отпустите? Мы не виделись. Каждый своей дорогой.

— Разминуться? О нет, человек, разминуться пегде, мир стал тесен...— И привычно снял с плеча винтовку.— Двигай, говорю.

Идут через озеро. К тому пригорку, на котором, раскинувшись, виднеется село.

Идете. Молча. Двое вас, совершенно незнакомых, никогда ранее не встречавшихся в жизни, и нет па свете языка, на котором вы могли бы понять друг друга. Есть только то, что разделяет вас, что ложится между вами пропастью. Незнакомое все, чужое. Не знаешь даже, где ты. Саван снегов. Лезвия льда. Мир тесен? Для добра стал тесен, а для зла просторен? Только приведет, сразу же тебя обыщут. Даже и мертвого разденут, обыщут, найдут па тебе то, чего не должны найти! Бежать? От его выстрела не убежишь! Вот так, в этот вечер, и погибнешь? На этом озере, что сковапо льдом? Среди вылинявших, жалких кустиков осоки?

Но в том-то и дело, что Шамиль не собирался умирать! Он не имел права умирать! Издалека, не доходя до пригорка, заметил темное гнездо полыньи, чуть-чуть подернутое льдом. Обошел полынью и медленно начал взбираться на гору. Слышал позади себя надсадное дыхание охотника. Был миг размышлений, будто предсмертный. И вдруг всей звериной упругостью бросился вниз, ударом всего тела саданул того под ногу. Насел. Рукавицу загнал в рот. Поволок. И — бултыхнуло, и — не стало. Снова была полынья. Темно мерцала, колебалась не затянута льдом вода.

Не под одним кустом ночевал в эту ночь Шамиль. Когда, скрюченного, заметало и опрокидывало в сон, он не давал себе заснуть: собрав всю волю, через силу выбирался из-под снега и дальше шагал в колючую, развихренную темноту. Иглами секло лицо. Казалось, он совсем уже замерзает, коченеет под кустом и не может подняться, а все же поднимался. Что-то сильнее изнурения и усталости поднимало его, торопило, подталкивало, и он

дальше тянулся к бараку, к неволе своей. Безоружный и незаконный. Быть может, кто-то впоследствии будет колоть тебе глаза несчастьем твоим, быть может, какой-нибудь Вихола в своей отравленной ядом анонимке когда-нибудь упрекает тебя твоей неволей, тем, что не умер... Пускай! Собственная совесть тебе защита. Ты знаешь, во имя чего сейчас преодолеваются тобой эти безумные, вихрящиеся, как смерч, снега. И почему ты не умер! Но имешь права умереть, и все!

Конца не было этой ночи. Непривычная слабость разморила его, ноги стопудовые, не вытащишь. Чувствовал, как бросает в жар, как туманятся глаза. Понял: начинается горячка. Но и тогда девушка, та ослепленная полонянка, плыла в снегах впереди, вела, выводила его из ночных блужданий сквозь сугробы и метель...

Добрался до барака поздней ночью. Почти без сознания, чуть живого втащили его хлопцы через порог в барак. Вместе с радиодетальями за пазухой, с катушками, с листовками о Сталинграде. Мигом раздели, принялись оттирать на нарах, а он горел, стопал, бился в жару сорокаградусном... Не слышал Шамиль, как кто-то из хлопцев, только что стащивший с него всю в снегу гимнастерку, чем-то пораженный, крикнул, стоя среди барака:

— Братцы, сюда!

Окружили его. Костлявый кулак разжался: ордеп Ленина светился на темной заглубившей солдатской ладони.

XVIII

И все же весна пришла, разлилась половодьем. Не стало слогов, засверкали плесы, на их широких экранах небо отражалось своей голубой небесностью. Белые облачка курчавились, и даже боярышник в плавнях видел на экране воды свое чистое цветение.

Долины, балки затопило, и Катря долго не приходила. Не было переправ. Не знала, что Иван был тяжело избит, и теперь он, весь в синяках, еле передвигался по копышнице. Заверял всех, что и сам не ведаст, за какие грехи его наказали.

Перед тем была паника большая. Еще рыхлый снег грязным месивом лежал возле копышниц и мастерских, когда впервые здесь загремело. Необычайным был тембр этого грома. Без весенней небесной легкости, лишь тяж-

кое басовое содрогание по горизонту... Но как оно обрадовалось! Как засверкали глаза надеждами! И вскоре повалила на имение всякая печисть, перепуганная, в панике удирающая от фронта. Коменданты, старосты, шудманы... На санях и телегах, полных барахла. Пригнали табуны коней, покрытых лишаями, чесоткой, язвами. Все имение стало похожим на огромный конский лазарет. Лошадей сортировали, тех, что покрепче, угоняли дальше за Днепр, может, немцам на колбасы, а из остальных, измученных, образовался здесь целый табор под открытым небом — конюшен для них не хватало. К тому же в конюшнях устраивались на почлег бежавшие из-под фронта шудманы, для которых не нашлось более теплого места, кроме как в яслях или под яслями да по тамбурам, где они заливали тревогу самогоном, пережидая, пока уляжется буря, пока прояснится: возвращаться назад или бежать еще дальше?

Вот тогда и избили Решетняка. Однажды ночью у этих засажких пропало оружие из саней или из тамбура, поднялся переполох: кто мог потянуть? И конечно, прежде всего старшего конюха за грудки.

— Где?

— А я откуда знаю?

— Должен знать!

— Не видел. Не слыхал. Да и было ли оно у вас... Не знаю.

Долго разъяренно бил, допытываясь: где? Не могло же их оружие улететь за ветром?

В бараке все это время жили наэлектризованной, полной ожидания жизнью. Готовились к прорыву через фронт, как только он приблизится. Но он не приблизился. Погромилось недолго и перестало. Не слышно, как ни прислушивались, напрягая слух. Пришлось хлопцам снова браться за вилы, за мешки и лопаты. Да еще больше нервов и сил отнимала ночная, тайная работа: добытое Решетняком оружие не лежало...

Сошла снежная вода, и всюду в плавнях, на лозняках, как ватерлиния весны, сохнут прошлогодние листья, вымытые косы повисших трав.

Выбракованных коней, которые не пошли на колбасы, приказано было отправить в плавни, на острова. Будет там конский лазарет. Каких постреляют, а иных пустят на выпас. Пастухом к ним назначили профессора Изюмского, а в помощники ему...

— Пойдешь ты, Колосовский,— дал наряд Вихола.— Он профессор, ты студент, как раз и будет конская кафедра.

И направляется Богдан в лошадиный этот лепрозорий. На окраине совхозных земель, где равнина полей обрывается глинистыми оврагами, заросшими кустарником, сбегает вниз тропинки, а подальше на юг до самого горизонта мерцает залитая солнцем пойма. С пригорка — сколько охватит глаз — открывается тебе эта манящая, мерцающая даль, виднеются села, разбросанные, утонувшие в дымке. Сверкает зыбкий свет выющейся степной речушки, которая то угасает в редколесье, в береговых зарослях, то снова взблескивает на открытом, чтобы потом, разлившись по рукавам, тихо войти своим разветвленным устьем в могучие воды Днепра.

Мглится день. Стоит Колосовский, смотрит на подернутое дымкой понизовье, и образ коней каких-то неистребимых пронизывает расстояние времени и эпох. От египетских колесниц промчались сквозь века до этого железного XX века... Где же этот лазарет? Где твои буйногровые? Заметил наконец: разбредясь, маячат среди лозняков маленькие, певзрачные, будто оптически уменьшенные до размера букашек... Стоят или понуро пасутся в мареве...

Спустившись вниз, перебрался через ручеек, теплый, прозрачный, высветленный до дна. За кустами серовато-серебристыми, на которые нацеплялись листья и сухотравы, принесенные половодьем, лишайная кляча пасется. По тому, как опа, меняя место, натужно высоко вскидывает голову, догадался, что ноги у нее спутаны. Или изранены. А то, может, и вовсе на трех пасется. Сколько их тут бродит, выбракованных, несчастных, в этом конском лепрозории? Худоребрые. Запаршивевшие. В ранах-струпьях. Оводы бьют, карболкой разит... Одна стоит, не пасется. Губа как-то жалобно, по-старчески отвисла. Дремлет? Нет, фиолетовый глаз настороженно скосился на Богдана, полный грусти, полный какой-то своей, лошадиной задумчивости...

«Мы лишь кони, не люди. Но и у нас есть своя, лошадиная судьба. И грусть своя, и боль. Может, никто из вас, людей, и не знает, что кони умеют кричать. Немногие слышали, как кони кричат! Когда их танки давят, зажав где-нибудь на каменных раскаленных карьерах. Израненных, загнанных, подгребают гусеницами и делают из них

кровавое месиво, жизнь из них выдавливают, притиснув вместе с упряжками к скалам. И глаза наши конские, большие от боли и отчаяния, в последний раз всматриваясь в зеленый мир, уже заглядывают во мрак небытия.

А видели ж мы лобастые граниты Подолии! Не страшились артиллерийских канонад. Не пугали нас зной и жестокости боя. А которые из нас уцелели после побойщ, Днепр переплывали, тяжело дыша. Были снова бои и окружения. Коней ведь тоже берут в плен! Теперь мы здесь. Пауль-управитель лично рассортировал нас. Тыча стеклом, ходил, высматривал, и мы возненавидели его жокейский, отвратительно изогнутый картуз, и его упилистые, и его стек. Оставил на конюшнях сильных, работающих. Они теперь все на работу — в хомутах, в плечах... Остальных выбраковал, чтобы не позориться во время возможных инспекций из гебита. Тех, у кого подозревали сап, приказал перестрелять, наш конский могильник тут есть. А мы, выбракованные, те, над которыми конюх-профессор назначен опекуном. Нас на остров, в лозняковый этот лепрозорий. До особого распоряжения. Возможно, понадобятся еще райху со своей коростой. А может, и перестреляют немного погоды, чтобы спать с нас шкуры?

Глаза нам слепит здесь от блеска воды, бродим, запаршивевшие, провонявшие карболкой и формалином. Целодневно оводы роятся над нами, жалят нас, чесоточных, отверженных, словно бы навсегда уже выброшенных из событий, словно навсегда исключенных из жизни.

Были в батарейных упряжках, знали яростные гонки, были похожи на тех давних, воспетых... От белых коней античности, от рейдов красных тачанок до этих лазаретных изнуренных кляч — неужели это и есть наш жизненный цикл? Оттуда, где мы наравне с воинами были, летая на полях сражений, до этого жалкого существования, в ранах, в язвах, со сбитыми холками, с натертыми до крови шеями среди вечной печали этого лепрозория?

Слепни бьют, мухи-жигунки садятся на наши гноящиеся раны. Между лозняками пасемся забытые, не слышим ниоткуда ржания. Только изредка кто-то случайно увидит нас издали, с глинищ, с круч: что за кони? Почему бродят без пастуха? Почему так печально обмахиваются бунчуками хвостов?»

То, что было когда-то профессором Изюмским, что знало звездные карты, наводило телескопы в глубины мироздания, теперь, сгорбившись, дремало отрешенно в тени у шалаша в наброшенном на плечи истрепанном, порывавшем армяке... С бородой взлохмаченной, среди недоуздов и попов, с погами потрескавшимися...

Нет, однако, не дремало. Шевеля губами, профессор сосредоточенно чертил что-то лозинкой на песке. Островной архимед в тряпье, он не сразу и заметил Колосовского. А заметив, смахнул лозинкой свои чертежи. Какой-то разорванный щербатый круг остался.

— Солнечные часы у вас, что ли?

— Солнце меня сейчас не интересует.

— А эти циклы солнечной активности... Солнечный ветер, таинственные бури протуберанцев, они ведь остались?

Профессор внимательно вглядывался в Колосовского. Не первый день знает он этих хлопцев из барака. Еще работая на волонте, ухаживая за быком племенным, который чуть было его не заколол, астроном подружился с холодногорцами. С интересом присматривался: что за люди? Откуда берется у них эта живучесть? Какая сила, какая мудрость поддерживает их своим эликсиром, чтобы не разложилась, не погасла в неволе душа? «Есть среди них люди рыцарского достоинства», — порой хвалился жене, которая тоже вместе с ним, с профессором, запряженная в санки, пробилась из города сюда сквозь метели первой оккупационной зимы. Женщина-ученый, доцент, генетик, где-то она сейчас в огородной бригаде горох да фасоль пропалывает, — занятие для нее Вихола подобрал как раз по специальности...

— Не до солнечных бурь мне сейчас, молодой человек. Бури земные, эти неслыханные диссонансы и дисгармонии — вот бы на чем сосредоточиться... Человек, что бы там ни творилось, он, в конце концов, универсум... Альфа и омега всего... Вы не согласны?

— Это мы еще обсудим. Имею честь представиться: студент Колосовский прибыл в ваше распоряжение.

— И вас в эту юдоль конскую? Что ж, вдвоем будет веселее. Даже тут, на самом дне жизни. Давно прошу помощника, ноги так распухли, что порой и встать не

могу... Хронический ревматизм, а тут сырость по ночам... В табунщики пужеп кто-нибудь помоложе.

Богдан окинул взглядом коней.

— Говорят, среди них есть больные сапом?

— Выдумки. Сапных постреляли, хотя вряд ли и были сапными. Может, просто видом своим непородистым не понравились фольксдойчу, а он ведь ценитель, знаток, по крайней мере, таким себя считает... Жокеем якобы работал до войны на одном из конных заводов, чистокровных готовил на экспорт...

— Есть среди уцелевших такие, которые со временем могли бы пойти под седло?

Профессору послышался в его словах вроде бы намек какой-то, разведывание. Кое о чем он догадывался и раньше, когда доносились слухи, что где-то ночью неведомая рука казнила еще одного предателя, еще какого-нибудь шудмана-людолова отправила на тот свет... В такие дела, однако, он предпочитает не вмешиваться, хотя и симпатизирует людям, способным к действию.

— Понемногу отходят.— Профессор как бы машинально, одним взмахом лозины крутнул по песку, и там появился безукоризненный, правильной формы эллипс.— Вообще создания смиренные, безобидные, с ними найти общий язык, по-моему, легче, нежели с некоторыми из двуногих. Конечно, немая, молчаливая скотина, однако она тоже смыслит. Конь к ласке более чуток, чем к кнуту... Известны ли вам, кстати, слова Аристотеля о психике коней? О внутренних возможностях существ, которых вам отныне придется пасти да промывать карболкой?

— Аристотеля читал, а про коней у него... что-то не припоминаю.

— Я согласен с ним, что и у этих бессловесных пусть в печальных стадиях, в эмбрионах, но есть уже зародыши душевных состояний, присущих и самому роду людскому. Доброта или злобность, храбрость или трусость, мягкость или буйность характера, коварство или прямота — зерна этого, уверяю вас, есть и в конской натуре. Вы сами в этом убедитесь. Будьте наблюдательны, если уж очутились в этом лазаретном изгнании, на окраине вселенной...

— Я соли принес и немного крупы-шрапнели...

— Вот и хорошо... А у меня вон котелок есть.

Неподалеку чернел на песке угасший костер, возле него лежал боком задымленный котелок с невычищенной задохшей саламатой. Над нею роились мухи.

— Что тут можно? — наклонившись, размышлял профессор. — Можно разве что писать... Какую-нибудь магистерскую диссертацию на пемецкий манер, трактат про Неволлю. О сущности Неволли. Подвергнуть это состояние, так сказать, спектральному анализу, осмыслить всесторонне... Почему, скажем, угнетатель не может признать тебя, твою самодовлеющую человеческую ценность? Да иначе он перестал бы быть поработителем! Для него оскорбительно уже то, что ты человек, что ты претендуешь на полноценное людское право. Ведь он все воспринимает по-своему. Для него босправность человека не нарушение нормы, а как раз норма. Ты не можешь с ним сравняться, не должен, не способен! Самим своим существованием, в особенности же своим интеллектом ты просто оскорбляешь его. Твое место в хомуте, какой уж тут интеллект! А если, кроме всего прочего, ты еще и не сломлен, что-то там имеешь за душой, то это вообще возмутительно, это почти криминал. Потому что если ты и в самом деле не обезьяна, а такой же человек, как и тот, который вылупился где-то на Рейне, то какое тогда у него право на тебя, право неограниченно распоряжаться тобой? Только потому, что громче умеет рывкнуть: вег, цу-рюк? Следовательно, сама его логика, логика сильнейшего кулака, требует, чтобы ты, по крайней мере в его представлении, был чем-то второсортным, ущербным, примитивным... Расчеловечить тебя! Entmenschung — вот какое словцо придумали!.. Право на холуйство оккупант еще согласен признать, но только это «право», и ничего больше! Если же ты, повторяю, не сломлен, внутренне не раздавлен, ты неприемлем для них, раньше или позже придется тебе столкнуться с ними... И наконец, еще одну важную вещь мог бы заметить наблюдательный глаз: угнетатель деградирует раньше, чем его жертва. Запомните это... Вот на такую бы тему и магистерский трактат. Или у вас какие-нибудь другие намерения?

— Имею намерение звездное небо тут с вами наблюдать. Правда, подзорных труб нет... Где-то, видно, тоскуют без вас телескопы?

— Ни слова о телескопах. — Профессор сердито встряхнул взлохмаченной буровой гривой. — Молчите о звездах! Где вы их видели? В этом небе их нет! Давно нет. Горбатые самолеты, нагруженные бомбами, — это теперь единственное над нами движение небесных тел!..

Заросшее, набрякшее, еще не старое лицо профессора нахмурилось, глаза окутались пеленой задумчивости и грусти.

— Я из тех наивных,— нахмурился Богдан,— которые верят в звезды. И в солнце... И в таких, как вы. Верю в неистребимость.

Астроном помолчал, в груди у него хрипло дышал огромный кузнечный мех.

— Бессмертье, говорят... Быть может, это не что иное, как всеобщая, высшая воля к жизни? Что б там ни было, а вы ведь чувствуете такую потребность — не исчезнуть? Может, в этом чувстве неистребимости как раз и проявляется тайная сила жизни, отлитая в форму некой высшей космической реальности? В самом деле, трудно смириться с мыслью о бесследной тленности своей и своих близких, самых дорогих... Но, в конце концов, это глубоко интимное, и у каждого, видимо, оно по-своему... Рано или поздно все, ясное дело, закончится, я имею в виду этот нынешний катаклизм. И не может же человечество тогда не задуматься: почему это было? Почему это стало возможным? Почему цивилизованнейший век опозорил себя такими разрушениями, преступлениями, таким падением, от которого все предтечи, все Коперники и Канты в могилах бы содрогнулись?

— Философы виноваты тоже.

— Возможно. А дальше? Как дальше проляжет дорога к той «вечной гармонии»? Или снова по руинам, по живым душам? Вторым заходом? Повторным, еще, быть может, более страшным циклом? — Профессор вздохнул. — Кажется порой, что древние индийские философы были ближе к истине, чем мы, европейцы. Заглянуть в себя до самых глубин... Ощутить общность со всем живущим... Написать на ремнях не «юбер аллес», не «гот мит унс», а «Я — человек! Живу для любви, для творчества!». Любовь должна всюду разлиться, не поддающаяся никаким искажениям... Ибо если честолюбие, спесь да чванливость тупая, склонность к раздорам будут диктовать мне мои поступки, останусь слепцом. Жестоким и трагичным слепцом, не более...

Профессор не спеша поднялся; горбясь сильной своей фигурой, стоял, опершись на палку, осматривал невеселые свои владения: может, коней считал? Окинул взглядом коней, лозняки и далекую струящуюся зноем пойму, серсбристую зеленъ се и воды:

— Gratias ago tibi Domine quod fui in hos mundo...
Помните?

— Учил латинский, да недоучил,— признался Богдан, улыбувшись.

— «Благодарю тебя, боже, что я был на этом свете...»
Только и всего.

«Что он нам скажет, этот мудрец-звездочет, когда мы обратимся к нему по делу? — подумал Богдан. — Когда предложим ценой жизни отвоевать этот столь милый ему свет?»

— Юдоль конская, окраина вселенной,— вслух размышлял профессор. — Эта роскошная природа, эти светлые воды, рай под тихими небесами... Все это невольно склоняет к созерцанию. К самосозерцанию. Навевает какой-то полусон...

— Хочется зажить жизнью травы? Стать незаметным? Откуда-нибудь из угла наблюдать, что разыгрывается на подмостках жизни?

— Понимаю вашу иронию. Считаю даже уместной. Такие, как вы, имеют право на нее: вы, видимо, человек действия. А действие, активное добро — это, кажется, выше всякой мудрости... Но поймите и меня. Состояние человека, который из сфер небесных отброшен к травнике... Иной раз начинает казаться, будто утопасшь в каком-то голубом полуспе и что нет на свете ничего лучше самой жизни, что истина в этом; просто жить.

После какой-то минуты размышлений велел Богдану идти за ним. Колосовскому показалось, что астроном ведет его к больным лошадям для того, чтобы показать необычную рану, промыть... А он свернул в лозняки. Богдан, пробравшись за ним в заросли, остановился: между самыми корнями лежали кучей небольшие самодельные седла. Для этих лазаретных кляч, которые вскоре должны были стать конями боевыми, подпольными, способными по ночам уносить хлопцев на задания.

XX

В одной из ночных операций погиб Шамиль.

За несколько дней до этого, возвратившись с углем со станции, возбужденно рассказывал хлопцам:

— Чернозем грузят! Уже и чернозем для них пленным стал!

Да, до сих пор хватали и отправляли людей в нена-
сытный райх, а этим летом принялись сгребать и черно-
зем с полей. Плодороднейшую землю, насквозь пропитан-
ную горячим духом жизни, землю, от которой так и пы-
шет солнцем, жадно сдирали с пристанционных полей,
везли, грузили на платформы. Извечное богатство народа,
этот украинский благодатный чернозем, который из лета
в лето гнал силу свою в смугловатые тугие колосья, до-
лжен был отныне удобрять постные сероватые грунты Ев-
ропы.

— И среди тех, которые работают там под конвоем, —
рассказывал дальше Шамиль, — есть знаете кто? Немцы-
антифашисты! Потому что, когда часовой отвернулся,
один из конвоируемых приветствовал меня по-ротфрон-
товски, стиснутым кулаком вверх — рот фронт, дескать,
камрад!..

— Так на земле, ими же поработанной, сами очути-
лись в неволе, — заметил кто-то.

Байдашный, оказывается, знал уже об этих немцах-
антифашистах, которых сейчас используют на станцион-
ных работах. Среди них антифашисты в самом деле есть,
он как раз налаживал с ними контакт. Намекнул даже,
что вскоре, быть может, придется осуществить еще одну
акцию — немцев у немцев отбивать.

— Пусть они все подохнут, чтобы я еще и за них
головой рисковал, — сказал на это ветсанитар Верещака.

Был такой деятель, как в шутку называли его хлопцы
из барака. Длительное время не подпускали его близко
к себе, проверяли на мелких поручениях, хотя Верещаку
это страшно обижало: ведь свой оп, из киевского окруже-
ния, из лохвицких болот еще в сорок первом пришел
в этот совхоз. Пучеглазый, нахмуренный, размахивал
важно своей замусоленной ветсанитарной сумкой с раз-
ными коновальскими приспособлениями, лениво валялся
в тени то возле конюшни, то под лозами на острове да
все давал понять хлопцам, что в прошлом он был не та-
ким неряхой, не разило от него карболкой за версту —
имел должность с портфелем. Недооценен, дескать, Бай-
дашным, а на самом деле он некто побольше, чем сам
Байдашный. С приближением фронта все чаще слышали
от Верещаки: «Нужно кого-нибудь убить! Хоть бы зава-
лищего какого-нибудь укокошить, иначе как же отчита-
юсь?» Ему советовали: «Пойди Гитлера убей», — и это
еще больше бесило Верещаку. Съедала его тупая зависть

к Байдашпому, и, считая, что сам бы мог быть тут за командира, Верецака пользовался малейшей возможностью, чтобы подчеркнуть свое несогласие с Байдашным. Так было и на этот раз.

— Может, у кого за фрицев душа болит,— бубнил он, — а что касается меня, то я такого мнения: фрицы — они фрицы и есть. Где их революция? И эти твои землекопы, — он хмуро посмотрел на Шамиля, — это еще нужно выяснить, насколько они антифашисты...

— Антифашисты впо всякого сомнения, — заверил Шамиль и рассказал, что слышал от станционных: сами же немцы, которые нагружают платформы, тайком продырявливают их, чтобы земля вытекла, раструсилась, когда эшелон тронется... А на одной из платформ перед самой отправкой чья-то честная рука вывела мелом впису: «Это с Украины! Земля награбленная...»

— Все равно не верю им, — упрямо долдонил Верецака.

— А я верю! — горячо восклицал Шамиль. — Нужно было видеть его взгляд, его приветственный «рот фронт»... И если будет приказ идти отбивать их, я пойду первым!

«Вот как бывает, — думал Колосовский. — Хотя оба, Шамиль и Верецака, и объединены общим долгом, по вряд ли они когда-нибудь столкнутся между собой...»

Разлука с Присей, жгучее горе, которое Шамиль постоянно посыл в душе, не надломили его. Был уверен, что она все равно убежит, возвратится с прусской каторги и еще обнимет его, и еще вместе будут они ходить на боевые задания. Все время словно бы ощущал на себе ее взгляд, стремившийся к нему оттуда, издалека. Бессильными были все барьеры перед лучами ее ласки, они проникали сквозь расстояния, всюду находили Шамиля и способны были согреть средь холода жизни... Даже когда он из лазаретных копей отбирал тех, которые могли бы идти под седло, и, испытывая их, лихо джигитовал в плавнях, ставил свои вздыбленные коронные «свечи», и тогда, казалось, Прися откуда-то смотрит, восторгается им... Гордилась его отвагой, поддерживала бесстрашную его честность, на каждое доброе дело благословляла... Сфантазировал Шамиль себе даже приметку: будет жить, никакая пуля его не возьмет, пока где-то бьется сердце его любимой...

По, видимо, перестало оно биться в эту ночь, когда Шамиль в группе из нескольких всадников примчался к железной дороге на задание. По полученным сведениям, в эту ночь должен был проходить эшелон с оружием на восток: решили устроить засаду на одном из степных перегонных, но в полночь, вместо ожидаемого товарняка, из темноты неожиданно вырвалась патрульная дрезина. Запыхалась перестрелка, и хотя фашистов всех до единого положили возле дрезины, но и Шамиль в этом коротком бою получил рану, оказавшуюся смертельной.

Когда Богдан с хлопцами из Нижних Табурищ, из которых один тоже был ранен, понес Шамиля от насыпи в подсолнухи, друг его еще дышал, хрипел, обливался кровью. Нужен был бинт. Богдан, сбросив с себя, разорвал нательную сорочку, однако бинт уже не понадобился. Байдашный, нагнувшись над Шамилем, держал его руку в своей, прислушивался к пульсу, прислушивался к тому полусшепоту-полухрипу, который прорывался сквозь предсмертные стоны... Было выдохнуто что-то непонятное, обрывистое, гортанное, кажется на родном языке... Возможно, нежное, прощальное. Возможно, имя сестры уловил Байдашный в том гортанном хрипении...

Затих Шамиль, затих навеки. Байдашный не отпускал руку, еще словно бы ждал, что пульс оживет, но пульс не оживал. Угасло все, что было, горело, поражало силой мужества и любви.

Байдашный штыком принялся рыть могилу. Все молча ему помогали. Сухая ночная земля из-под подсолнухов еще пахла днем, солнцем. Разгребали ее руками, торопливо долбили штыками. Забрали потом из кармана нагрудного, из тайного укрытия Шамиля, боевую награду его и все то скромное, солдатское, что нужно было забрать. Исчез в земле. Исчез, заботливо прикрытый шершавыми листьями подсолнечника. Салютом ему было короткое скорбное молчание.

Чем-то настороженный, Байдашный вдруг поднялся, прислушался. Всюду стояли подсолнухи, тяжело склонив головы. Без цвета, без пчел, без нектара... Черные.

— Шорохи какие-то?

Один из табурищанских, прислушавшись, сказал:

— Это, наверное, здешние девчата в подсолнухах прячутся... Которые от набора разбежались.

И показалось, что вся темнота, вся бесконечность лесов подсолнечных наполнена толпами затравленных

девчат, поднятых страхом из окрестных сел. За ними в эти дни охотились особенно люто. Гебит недовыполнял план по людям, задерживалась отправка седьмого эшелона с молодежью, подпавшей под набор... По всей округе рыскали шудманы, стегали кнутах родителей, вылавливали все новых и новых невольниц, несчастных Присинных сестер... Стаскивали с чердаков, за косы выволакивали из погребов и под материнские причитания тянули на комиссии кого попало, лишь бы только набрать побольше. Кажется, весь мир сейчас разделился на тех, кого хватают, ловят, и на их преследователей, людоловов...

Пятеро всадников и один между ними конь с пустым седлом мчались в темноту вдоль лесополосы, не шляхом, а по глухой ее стороне, что от полей. Шумели бурьяны у коней под ногами, под животами.

Конь под Богданом храпел от надсады, и с каждым рывком вперед в ритм бегу клекотало у него где-то в груди и в животе. Полезащитная полоса валом темнела сбоку, непохожая на себя, набухшая темнотой, наполненная чем-то таинственным. Иногда она с лету хлестала, с цепкостью колючей проволоки задевала акацией колени Колосовского, обдирала бока коню, и вороной еще больше нервничал.

В дороге взошла луна. Багряная, невероятно большая, выкатилась, просвечивая сквозь валы лесополосы. «Где-то над Имеретией всходит», — подумалось Богдану, и он с жгучим чувством утраты посмотрел на коня, который туда еще нес Шамиля, а сейчас тряс пустым седлом.

Наконец вырвались в плавни, в их протоки, болотца да озера. В одном месте Богданов конь забеспокоился, встал как вкопанный, почувствовал ночную воду внизу, боится ступать. Ему кажется: глубина, опасность! Боязно ступить ногами на тусклые хрупкие рентгены неба. Уперся, не идет. Или, быть может, и впрямь здесь глубина, трясина? Кажется, это то самое болотце, покрытое кувшинками у берегов, которое Колосовский недавно видел при высокой луне. Тогда видно было даже, как по воде бегают какие-то паучки, длинноногие букашки из тех, которые и почью не спят, спуют по зеркальности плеса, легко бороздя тихую лунную воду... Сейчас их еще не видно. Лоскут неба под ногами, тусклость, и все. Сыч где-то совсем близко проскрипел на верхушке вербы. Конь ушами прядает, похрапывает, пятится от глазастых водяных лилий.

— Да иди же!

С досадой пришпоренный в бока, конь сделал-таки прыжок и, взбурлив воду, быстро перенес Богдана на ту сторону. Рядом уже всхрапывали тяжело дышавшие кони товарищей. Разлетаются кусты, разлетаются вербы в своей ночной фантастической причудливости. Похрапывает конь на скаку, надсадно клокочет у него в груди... Байдашный торопит, потому что луна поднимается, а кони вовремя должны быть на месте: не одну еще ночь им быть под седлом, вскачь вынося всадников из плавней...

Чувство огромной осиротелости не покидало Богдана. Рядом постукивало пустое седло, все время плыл образ живого Шамиля с его улыбками, с недавними джигитовками, с его чистым ожиданием любимой девушки, — и все вокруг наливалось невыносимой горечью...

Была после того ночь лунная, ясная, полная красоты. В плавнях, на островах, где совхозный конский лазарет, куда, будто на казнь, выгнали коней шелудивых, чесоточных. Выгнали и забыли, списали из жизни. И вот о них в эту ночь вспомнили девчата непойманные, сбежавшие из сел полонянки, спасавшиеся от седьмого эшелона, в отчаянье решаясь на все, лишь бы только забраковали их на комиссиях. Прекрасные глаза свои — синие, черные, карие! — в эти дни натирали всякой дрянью, чтобы краснели болезненно, чтобы похоже было на трахому. Делали ожоги на теле, чтобы открывались язвы, чтобы кожа, нежная, девичья, покрывалась жгучими волдырями. Всем, чем могли, обезображивали, умышленно калечили себя. Посылая проклятия тем эшелонам, почти мечтали, как о спасении для себя... о чесотке! Чесотка — в ней спасенье... С чесоткой в райх не берут!

И отовсюду устремлялись в эту лунную ночь на луга, где туманы ткут что-то свое, нереальное, на грезы похожее. С болью в сердце смотрели вы с Байдашным этой ночью на то, что невероятным казалось, — полуявь, полуфантазия... И пастух-звездочет тоже видел той ночью от своего шалаша: обнаженные, будто русалки, девчата в отчаянье обнимают на острове чесоточных лошадей. Прикасаются персями чистыми, в слезах неодолимого горя ласкают шелудивых кляч, выбракованных, покрытых струпами калек... Но пристанет ли эта чесотка? И что же это за такой мир? Что за век, в котором приходится красу юности своей вот так осквернять?

«Ласкаем коней, ищем заразы, только бы не покидать Украину, только бы не чужбина, где обрезают нам косы, где наши сестры иголки глотают... В стружьях жить, но не там, не на каторге!..»

Прижимаются телами к конским шеям, обнимают, обнимают и плачут. Еще в большом отчаянье будут они завтра, когда закончится ночь с ее лунными дымками-грезами, когда выяснится, что не пристаёт к ним чесотка! Потому что матери их, видно, в чабрецах да в чистотелах купали... Плышет почь, окутывает русалок в дымки свои, и полная луна спокойно светит с неба.

— Будем готовить нападение на седьмой эшелон, — говорит неподвижный в седле Байдашный.

Так что же это за мир? Засвидетельствуешь когда-то, перед кем-то: «В двадцатом столетии было. В годах сороковых. Ясной лунной ночью на роскошных лугах приднепровских видели мы, как, спасаясь от набора, нагие прекрасные девушки обнимали чесоточных лошадей...»

Навеки врежутся тебе в душу эти кадры, эта противоестественная вязь, фантастически дикая композиция горя и безысходности. Будешь помнить ее при форсировании Днепра. И где-то под Берлином, в последних атаках, — тоже помнить будешь...

Те жгучие, ничем не смываемые, навязчивые кадры — ясная ночь, дикая натура с лазаретными конями и русалками! — ты видишь их и тут, когда при тихом солнце миндаль так по-весеннему цветет, и среди бетонных руин побережья ходит мальчонка улыбающийся, и ослепительно кипит прибой, нахлестывая лицо водяной порошей, донося отблеск далеких, где-то бушующих штормов.

Циклон — гигантский атмосферный вихрь с пониженным давлением воздуха внутри («глаз бури»), со сложной системой ветров, дующих против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой — в Южном.

Циклоны охватывают огромные районы планеты. Развиваясь, временами достигают ураганной силы.

Циклоны и антициклоны играют большую роль в формировании погоды, в общей циркуляции атмосферы.

Причины возникновения циклонических явлений окончательно еще не выяснены.

(Из справочника)

1

Она знала, что все ближайшие дни, а то и недели будет лишь отблеском чьей-то жизни: жизнь, расцветшая вот под таким небом, получила вытатуированный концлагерный помер на руке, а еще позже стала пучочком света... Горсткой кремационного пепла стала. Дымком из трубы. А перед тем жила, кипела страстями, в образе красавицы девушки появлялась в летнюю лунную ночь вот на таком же острове среди реки, где был лазарет чесоточных лошадей. Не фантастические порождения народной мифологии, а земные, реальные русалки, русалки горестных оккупационных почей, напуганные облавами, бросались в глубь плавней через броды, через речку ночную, потом кто-то видел, как они ловят, обнимают на острове несчастных искалеченных кляч. Пречистым телом юности жались к язвам лазаретным, чтобы набраться от них чесотки, лишаяев, изуродовать себя, извести свою красу и здоровье, прежде чем явятся на медосмотр перед столами комиссий по набору в райх.

Той жизнью будет жить она, Ярослава. Готовилась внутренне к предстоящей напряженной работе. Знала, что не пощадит себя во имя воскресения той чьей-то жизни, жаждала страстно, чтобы со всех экранов мира, как сама совесть, глянули в притихшие людские толпы очи украинской девушки-полонянки, эти налитые скорбью

очи-вепки. Чтобы поведала она правду своего короткого и простого земного пути: с первой любовью... с Перемышлем, где их, точно тифозных, остригли грубые эсэсовки... с батрачеством в средневековом замке... И коротко — дальнейшую историю — с подземным заводом, с подкопом в лагере, осуществлявшимся по решению интернационального штаба узников-антифашистов. Последняя акция кончилась для них пламенем кремационной печи.

Ярослава чувствовала, что играть все это ей будет нелегко, удовлетвориться уровнем экранной заурядности было бы стыдно, почти непристойно, — порученной роли придавала значение исключительное. Героиню она должна внутренне воссоздать в себе, со всею силой, на какую только способна, все это пережить, еще до экрана переболеть ее давно отболевшей болью. Не должна же человеческая жизнь развеяться горсточкой пепла! Если она стоящая, содержательная, достойная, если такой чистой вспышкой способна была засиять, то должна же она перейти к живущим хоть каким-нибудь скромным лучиком? Ожить для других хотя бы в экранной мгновенности, обессмертиться в метаморфозе искусства, если вообще человек может говорить о бессмертии серьезно, без горькой улыбки...

Когда приходят мысли даже о таких вещах, сразу у Ярославы — в роли оппонента — возникает перед глазами Сергей-оператор, этот пентюх, пабитый интеллект, милый Сергейка, который, она догадывается, тайком кемпожечко в нее влюблен и не в силах этого скрыть, сколько бы ни рядился в одежды эдакого неуклюже-богемистого равнодушия. Она же, Ярослава, отвечает ему... по меньшей мере добрым отношением. Шутливой, но по-настоящему искренней дружбой.

— О, мо-ой, мо-ой! Лайдаку! Уже день, а ты спишь? Опух, как вуйко ¹ в логове между смереками!.. ²

Такими словами будит она его по утрам, забежав после купания в речке в мужской «курень», и хоть «лайдак» отворачивается, недовольно что-то бормочет спросонок, сердится притворно, а все же — как не заметить! — для него визит Ярославы несомненно приятен. Сергей втайне даже ждет этой побудки, чтобы еще раз услышать Ярославино утрепнее, певучее это «мо-ой, мо-ой». Испол-

¹ В у й к о — дядя (*гуцульск.*), но в данном случае — медведь.

² С м е р е к а — карпатская пихта (*гуцульск.*).

ненное какой-то музыки светлой, напоминало оно Сергею одно утро — может, прекраснейшее в жизни: ночевал он в устье большой международной реки, в лебедином заповеднике, среди бескрайних камышей, и на рассвете, хоть и крепко спал, был разбужен... пением птиц. Клекотом лебединым. Музыка той не передать ничем. С тех пор, когда слышит дискуссии о счастье, думает так: «Счастье—это когда ты разбужен клекотом птичьих голосов на рассвете». В таком же ключе воспринимает он и это Ярославино жизнерадостное «мо-ой, мо-ой»... Пусть даже в шутку сказанное, оно все же окрашивает настроение Сергея на весь день.

«Освоение натуры» — существует такое киновыражение. Этим пока что они и озабочены. Бивуак их — в помещении средней школы, где еще недавно учились дети, а отныне разместится, и, может, на все лето, их странствующая киногруппа. Ярославе отвели учительскую, мужчины заняли под свой «курень» одну из классных комнат, спят прямо на полу, раздвинув парты. Остальные комнаты пока ждут своих квартирантов, которые должны вскоре прибыть с главными обозами экспедиции, — где-то их уже снаряжает в дорогу всемогущий и вседостоящий человек, в свое время он будет обозначен в титрах как директор картины. Тесно будет, шумно, суетно, а пока что — ни аппаратуры, ни кабелей под ногами, ни слепящих юпитеров в глаза...

Ярославе несколько даже льстит положение, в котором она оказалась. Все, что здесь затевается, — это же, собственно, ради нее, ну, по крайней мере, она здесь как бы в роли примы... Ради нее выбирают ландшафт, подбирают натуру, для Ярославы подыскали и с нею отснимут этот островок на реке, вместо такого же острова, который прежде существовал реально где-то на Среднем Днепре, но теперь уже залит искусственным, с бетонными гидросооружениями, морем. Создадут ей надлежащее окружение, приготовят шалаш, станут под юпитерами где-то раздобытые лошади, они тоже будут играть, те четвероногие актеры: художники-декораторы нарисуют им раны и струпья, наведут воображаемую чесотку, лишай...

Вуйна¹ Доминика, кухарка из местных, тоже понимает, что Ярославу нужно окружить вниманием, нужно создавать хорошее настроение «пани Ярославе» (так вуй-

¹ В у й н а — тотя, тетушка (гуцульск.).

на обращалась к ней), этой приветливой, симпатичной киноактрисе, которая вуйне еще и тем мила, что вышла из колыбы¹, здешняя, и хоть и в очень уж куцей юбочке, но дело свое, видно, знает, все ею дорожат, — ради Ярославной работы, может, прежде всего и собирается тут вся эта киноярмарка.

Расположение, доброжелательность отовсюду... Но и в этой атмосфере всеобщего внимания у Ярославы хватило здравого смысла остаться самой собой, не докучать товарищам всякими капризами, как это порой случается у молодых кинозвезд. Врожденное чувство юмора, оно, кажется, более всего помогло Ярославе не терять жизненного равновесия даже и в этой столь искустельной для девушки ситуации. Вряд ли и сама Ярослава хорошо осознала, что принадлежит к тем глубоким патурам, которые свою напряженную внутреннюю жизнь инстинктивно скрывают, оберегают, как нечто сокровенное, взволнованность чувств стараются приглушить, сдерживать, с какою-то элегантностью — облекая их в одежды внешней беззаботности, шутки или даже немного модного теперь легкомыслия. Если уж нужно выставять себя напоказ, «демонстрировать», то Ярослава чаще предпочитала просто выставять себя иной, ненастоящей, в облегченном «дубле» игривости.

Завтракают под старой дикой черешней во дворе, и за столом снова затрагивается тема медведя, бурого вуйка с гор, жизнеописание которого тетушка Доминика ведет со всей обстоятельностью, потому что у нее в горах родня и все известно ей из первых уст. Так, этот вуйко бурый шерстный, что ныпче, как живой, стоит на задних лапах в естествоведческом кабинете школы, совсем еще недавно разгуливал по лесам Черногоры и разгуливал бы, наверное, и доныне, если бы не был таким любителем меда да не была бы подана на него, по всей форме, жалоба в народный суд. Известно же, что убить медведя в здешних горах никто сейчас не имеет права, и лишь когда будет доказано, что он причинил колхозу вред, разорил пасеку раз и другой, то есть стал на путь криминала, лишь в этом случае народный суд, рассмотрев жалобу на лесного лакомку-разорителя, выдает охотникам лицензию, и бедняга становится научным пособием в школьном уголке живой природы.

¹ Колыба — хижина лесоруба в горах (гуцульск.).

Вуйна Доминика — кругленькая, вся в узелках особа — могла бы подойти на роль одной из тех традиционных-ласковых сельских матерей, которые имеют постоянную прописку в наших фильмах. На круглощекое лицо, в глазах — безбрежье доброты. Кажется, вся жизненная миссия ее в том и заключается, чтобы идти ради кого-то на самопожертвование, оказывать кому-то услуги, доставлять радость, за кем-то ухаживать. К Ярославе относится, как к родной дочке, которая выросла возле нее, но, неожиданно взлетев на вершины искусства, лишь временно возвратилась к матери... Даже к медведю у тетушки Доминики нашлась искра сочувствия:

— Бурого судят, дух выпустили и опилками набили, а чего ж тому, вашему, никто не скажет? Еще позапрошлый год снимал древнюю церковку в Климовцах, уехал, так и богов с собою прихватил!

Не впервые она заводит об этом речь. Не может понять — и все. При случае поровит напомнить, как тот взял богов якобы для картины, расписку в сельсовете оставил, что все вернет, мол, еще и поблагодарит хорошенько, а где все это?

— Ни окошечка, ни того боготворения...

— Он хорошую картину сделал, — заступается Ярослав. — А богов прихватил, верно, из любви к искусству. У вас они отрухлявели бы, а он сделает их достойным широкой общественности... Присваивать некоторые вещи, например, хорошие книги, — это в нашей среде не считается преступлением.

— Защищай его, защищай, — поглядывает вуйна с легким укором на Ярослава.

— Расписку ведь оставил, чего вам еще? — вмешивается Сергей-оператор. — Медведя тоже судили не за то, что ульи таскал, а за то, что расписки на пасеке не оставил... Не оформил, как положено. Да и вообще — не возведен ли на товарища медведя, попросту говоря, поклеп?

С озабоченным видом оператор, как на экспертизе, начинает сопоставлять «факты», взвешивает все «за» и «против», рассматривает явление то под углом зрения пасечника, то с позиций медведя, стараясь во всей этой медвежьей истории докопаться до истины, пока Ярослав не начинает хохотать:

— Нет, голубчик, у тебя это и впрямь похоже на манию справедливости.

— Явная попытка обелить медведя, выставить его в роли праведника, — хмурит лоб Колосовский.

Он у них тут — в роли Главного. И чаще не Колосовский, а просто Колос — нравится им усекать фамилии, которые кажутся слишком длинными. Если Хемингуэй — Хем (по крайней мере, для близких), то почему же этот не может быть без своего «овский»?

Лясы точить — Главный до этого не слишком охоч. Еще только утро, а он уже хмурится, во взгляде грустная задумчивость. Может, и про медведя завели, чтобы немного его развлечь... Ярослава давно заметила: он чаще сумрачный, чем веселый. Когда вот так замкнут, хотелось бы ей знать: почему?

— Главный наш погрузился в миноры, — говорит Сергей и, как будто Колосовского тут и нет, поясняет Ярославе: — Очевидно, до сих пор мучится, не впал ли в грех, что своих ближних сделал объектом искусства... Но ведь все так делали. Классики даже! Почему же ты не имеешь права вывести на экран своих Решетняков, Присю, Шамиля? Но ведь именно это и дает тебе право...

— Не это сейчас меня мучит, — говорит Колосовский. — Думаю: кого возьмем на роль Астронома?

Народный артист, которого он имел в виду на эту роль и уже, собственно, договорился и пробы сделал, свалился с инфарктом. Вечером, прямо со спектакля, забрала его карета «Скорой помощи». Теперь народный, очевидно, надолго выйдет из строя. Они все трое хорошо знали его, восхищались им, любили. Какой души человек! Широкая натура, рыцарь искусства, он для них образец артиста поистине народного. Вышел из самой гущи трудового люда, в юности был грузчиком на приднепровских пристанях, играл в кружках, а потом революция вывела его на большую сцену. Народный был для Ярославы первым наставником, она, упиваясь, слушала его лекции в институте, и он же, этот седогривый корифей театра, первый напрогнозировал ей незаурядное будущее в искусстве. Колосовский видел народного незадолго перед инфарктом; возвращался из поездки и случайно встретил артиста на трассе, в одной из придорожных чайных: старик сидел в шубе за столиком, заставленным кружками пива, в обществе шоферов рейсовых автобусов, и читал им какой-то монолог, кажется, Шекспира... Лучшего на роль Астронома было не найти. Мыслил! Горел! И теперь — отгорел...

Сергей назвал другого. Моложе. Если хорошо загримировать, этот тоже потянет на роль звездочета.

Ярослава поддержала:

— Он умен.

— Но меня интересует не всякий ум,— возразил Главный.— Я хочу еще знать: куда этот ум направлен? Что несет он людям?..

И опять являлся ему образ народного артиста. Жил на сцене как в постоянном бою, растрачивал себя щедро, самозабвенно. Считал, если наделен даром, унаследованным от матери, от родной песни, от народа, то долг твой — народу его и вернуть! Вернуть отграниченным, в еще большем совершенстве чувства и мысли... Работал с полной самоотдачей. Искусство, оно ведь легко лишь для того, кто судит о нем на расстоянии, имеет о нем представление приблизительное. Это, мол, почти забава. Наслаждение постоянное. Лавры успеха... И мало кто знает о твоих ночах без сна, почках погони за неуловимым, о горечи разлетевшихся иллюзий, о часах повых напряжений, когда взбудораженная кровь в голову бьет, когда возбуждением горит каждый нерв! Кто знает о бесчисленных находках, в которых спустя мгновение ты начисто разочаровался, уже отбросил их и ринулся в новый поиск... Многим ли ведомы изнурения твои до предела, до отчаянья, изнеможения и та печаль расставанья с работой, когда радость свершения снова кончается ощущением пустоты, когда кажется, что теперь уже все: исчерпался до дна, пустыня в душе, больше ни на что не будешь способен. А потом, ожив, снова — с головой в студийные заботы, в жизнь!

Операторы, художники, актеры, статисты... Ты должен объединить весь этот пестрый коллектив, зажечь, спаять в одну творческую волю... И «достичь». Колосовский невольно вздохнул.

Подгорный, тихий, почти идиллический край. Не видно Черногоры отсюда. Только быстроводность рек этого края, вольготность и паркость воздуха указывают на близость гор. Где-то там они, на западе, вздымаются кряжами в небо, и циклоны, подступая, надвигаясь, временами разбиваются об них, разряжаются проливными дождями. Так тихо вокруг, спокойно; светит река, блуждая в лугах, исчезая в маревах небосклона...

Ярослава — уроженка почти этих мест, однако давно не была она здесь и теперь никак не насладится, не надышится воздухом детства, не поглядится на родные

ландшафты, и все ей тут любо: блеск реки, зелень лугов, пастбищ и волнистая, плавная, как мелодия, линия холмов далеких, за которыми порой ходят на окомах чернобрывые дожди... Дикие, ветвистые черешни, высокая трава по взгорью попеременно с цветами раннего лета — все в этом краю такое сочное, такое зеленое: зеленее, чем где-либо! Возможно, будут снимать тут и ландшафты той Европы, что за колючей проволокой была, с брюквой для восточных невольников, с лагерями и бараками... И становится даже больно, что эта твоя родная земля только потому, что похожа чем-то на сочнеешие прирейнские ландшафты, должна будет войти в фильм земель неволи, образом чужбины.

Все стародавнее в этом тихом краю предгорном. Когда-то вон на том холме была одна из княжских столиц, а сейчас — даже не райцентр, а всего лишь бригада колхоза: история вольна переставлять столицы. Белеют опрятные хатки по подгорью, с густыми вишенниками, с лоскутиками огородов, едва заметных среди буйно цветущего разнотравья. Где-то тут, на валах, велись раскопки, и люди пьют воду из княжьей криницы (родничок-источник прозрачно журчит под горой), а на возвышении есть местечко, которое в народе и доныне зовется: Золотой Ток.

Под вечер они идут втроем на гору осматривать исторические места. Колос ступает впереди упругим солдатским шагом, на Ярославу в таких случаях он мало обращает внимания, а ей, как всегда, приятно видеть его смуглый профиль с посеребренным виском и размашистую высокую фигуру, не лишенную «элегантности двухметровой», как порой иронизирует Сергей. Если хочешь вывести Главного из обычного для него состояния сосредоточенной молчаливости, спроси у него что-нибудь о княжеских расправах или про Осмомыслов саркофаг, якобы найденный тут, — зацепи, затронь эту струну, и ты сразу будешь замечена, сразу станешь собеседницей, и Ярослава время от времени охотно пользуется этим психологическим ключиком. То, что Колос до сих пор сохранил свою студенческую влюбленность в историю и археологию, придает ему в Ярославиных глазах особую привлекательность, — всегда ведь радостно открыть, что человек бережно носит в себе что-то еще от юности, что и оттуда ему проблескивает светильничек какой-то, не погашенный темными вихрями пережитого. Ах, те его темные

вихри — для Ярославы есть и в них своеобразное очарование. Сколько раз эти горькие бороздки на мужественном лице, следы неведомых для нее жизненных утрат, а может, мук и страданий вызывали в ней горячее желание подойти к нему, прильнуть, спросить: «Где был? Что пришлось пережить тебе? Почему так часто бываешь опечаленный? И почему никогда не ищешь чьего-нибудь сочувствия?»

— Так это и есть Золотой Ток? — говорит оператор, словно бы даже разочарованный увиденным.

Трава — и все. Несколько раскидистых черешен... Читают надпись, составленную каким-то поэтом-краеведом, вчитываются, и гора закипает иной жизнью, благоухает иными временами. На этом вот месте, где сейчас буйно разрослась молодая картошка в скромном беленьком цветке, не так уж и давно, в сравнении с вечностью, бурлил гомон княжеского торжища, заключались контракты между купцами, пришлыми с Востока и с Запада, сафьяновые сапоги топтали тут мостовую, от которой и следа нет — трава зеленеет... Все шумело, бурлило: ярились вдохновением древние музыканты, искрились шелка и дорогие оксамиты, пряности и вина искушали людей, шли с рундуков в торг иконы богомазов, усыпанные изумрудами и рубинами, и книги краснописцев, рыцарские кольчуги, панцири и сабли дамасской стали. «Все тут можно было купить, — как пишет этот местный восторженец-поэт, — золотые украшения и соболиные шубы, молодого ятвязского раба и красавицу половчанку».

— В будущем фильме вижу тебя в роли красавицы половчанки, — шутит Сергей, погрустневшим почему-то взглядом обнимая Ярославину фигуру.

— А я тебя в роли ятвязского раба, — в тон ему замечает Главный и касается рукой огрузневших покаты плеч оператора.

В огороде пожилой хозяин окучивает картошку.

— Бараболя будет? — обращается к нему Сергей.

Крестьянин распрямился, оперся на черенок.

— Дожди лили даже слишком густо. И верно, еще будут. А когда дождей много, бараболя может зажировать... Вся пойдет в ботву, а в корнях — там пусто... А вы из района?

— Из района.

— Так сказали бы, чтоб нам тут, на бригаде, библиотеку открыли... В селе у нас клуб, молодежь туда

бегают, а старшие ведь не побегут... А тут и мы бы пошли, — газеты, книжки почитать.

— Еще есть люди, которые книжки читают, — подмигнул Сергей своим. — А я и не помню, когда в руках держал печатное слово... Романы потребляю только в экранизированном виде...

Золотой Ток... Было. Бурлило, шумело, а сейчас тишь, изумрудная тишь, слышно, как растет картошка и как роса каплет, перекатываясь с листа на лист на могучей раскидистой черешне, что стоит как раз посреди Золотого Тока, царит над ним, украшенная живыми рубинами мелких своих ягодок, так рано уже пламенеющих где-то вверх.

— Вы обещали нам что-то сказать? — обратилась Ярослав к Главному, когда они отправились дальше. — Где эти раскопки?

— На раскопках пока что ничего интересного, — ответил Колосовский. — И совсем не для того пришли мы, Слава, сюда. Просто хочу, чтобы вы надышались этим воздухом. Прежде чем стать под юпитеры, прежде чем Сергей возьмет вас в кадр с вашими нереально длинными ресницами... Попробуйте вобрать в себя этот доныне ощутимый дух древности... Осмысл и его дружинники, они должны явиться вам — живые... Силой воображения восстановите отшумевшее... Во всей реальности, с ясностью галлюцинации вот вы слышите храпение монгольских коней, бряцанье оружия, вы же, испуганная, мечетесь в тревожной суматохе Золотого Тока, видите, как уже переправляется с той стороны конница дикого нашествия — вон там — вплавь через реку, и напряженный слух ваш ранит первый посвист монгольской стрелы... Вы вся в контексте этой тревоги, вся в пучине страшного народного бедствия. Убегаете вон тем ярком, за спиною приближается конский топот, над вами уже нагнулся из седла преследователь, вы видите лицо в хищном прищуре раскосых глаз, слышите смердящий дух его пота...

— Она будет играть не то время, — напоминает оператор.

— Но ей все это пужно, — пастаивает Колос. — Она личность не внеисторическая. Когда ее будут ловить шуцманы, тащить в эшелон, когда она очутится в райхе, не на положении остарбайтерки у Ритмайстера, а займет место на нарах барака среди узников, среди своих под-

руг — черногорок и французенок, — по ней и там должно быть видно: кто она? Откуда? Какая история за ее спиной? Какой народ? В тончайшем выражении ее лица, в ее раздумье, в открытом взгляде должно светиться, что она не тупая, не беспамятная и безродная рабыня, что за нею — века трудной и героической жизни со народа.

— Мне кажется, я смогу это почувствовать, — тихо сказала Ярослава.

Сергей-оператор на этот раз тоже поддержал Главного, стал развивать его мысль:

— Золотой Ток, и хоры Бортнянского, и поэмы Леси Украинки, которые ты, надеюсь, добросовестно зубрила в девятом классе, — всего этого не забудь, стаповясь под юпитер. Мне не кукла нужна перед объективом...

— И как батько ваш или дядько мыкался в Манитобе или на бельгийских шахтах, — напряженно размышлял Главный, — как село ваше встречало красный сентябрь тридцать девятого, сентябрь освобождения, все, все вспомните. Тогда глубже войдете в мир героини, дочери народа.

— Мне не кукла нужна перед объективом, пусть даже красивая как черт, — еще раз предупредил Сергей-оператор. — Буду требовать человека с врожденным чувством собственного достоинства, человека правдивого жеста, одухотворенного лица, на котором я прочитал бы в самом деле нечто значительное... глубокое, глубинное... Одним словом, profundus...

— Браво, маэстро! — засмеялась Ярослава. — Это что-то по-латыни?

— Профундус — это и значит глубинный, — скромно пояснил Сергей.

— Браво, браво! Такой лентяй — и заучил!

— Боюсь, что этим и исчерпывается его золотой запас! — повеселев, сказал Колосовский, с симпатией глядя на оператора.

Взошли на вал, что чуть заметно выгорбливался своим контуром: сплошь заросший травой, коровы на самом валу и во рвах пасутся. За рвом еще один вал, и тоже почти исчезнувший, размытый временем, и только воображение режиссера-историка способно построить там густой частокол, поставить башни с бойницами, расставить люд на валах, к которым уже пришельцы ползут вон оттуда, снизу, в островерхих своих монгольских шапках...

Смирно щиплют сочную траву коровы, пастушата выглядывают из-за вала. Слышны их разговоры:

— Это она, кинозвезда... Файна яка! А тот высокий, он старший у них... А толстяку постричься бы не мешало — космы из-за ушей торчат...

В долину, мимо княжеской криницы, сбегает тропинка. Какой-то путник, бородатый старик, нагнулся, ловит губами родниковую струю, бьющую прямо из склона, из травы. Рядом лежит его поша — тайстра — шерстяная торба, полная резных деревянных орлов: видно, несет куда-то паивным туристам на продажу.

— Не люблю этих орлов, — сказала Ярослава, взяв Главного под руку. — Прimitивное, грубое ремесло. Расстрачивать мастерство на вырезывание таких стандартных хищников... просто безвкусица. Дедушко мой никогда их не вырезывал... Академий не кончал, однако он словно бы интуитивно чувствовал, где бескрылое кустарничество, а где по-настоящему художественные вещи...

Путник долго смаковал воду, а они с интересом за ним наблюдали. Сергей, подойдя ближе, бесцеремонно рассматривал старого, словно диковинную вещь какую-то. Рядом с тайстрой лежит посох и черная хламида, напоминающая рясу... Расстрига-монах из скита? Или какой-нибудь Сковорода современный?

Утершись ребром ладони, странник сел у родника, широколицый, заросший дремучей сединой.

— Из таких родников реки рождаются... — И, глядя на Ярославу, на мини-юбочку ее, повелительно произнес: — Дева нагая, нагнись, испей отсюда водицы...

— Мы уже пили.

— Ту, что из бутылок? Что пеной бьет? А вы вот этой, земной, что из самых недр... что аж зубы ломит!

Но какой сердитый, пронзительный у него взгляд! Взгляд вещуна, умеющего читать чужие мысли, знающего толк в телепатии... «Если бы не эта ярость во взгляде, можно бы попробовать на Астронома, — подумал Богдан. — Что-то незаурядное, что-то от дервиша в нем есть, хотя и недоброе...» У оператора блуждала на губах насмешливая улыбка: «Вот он, твой Мамай придорожный, — без коня, без бандуры... Полная сума неуклюжих большеклювых орлов, не способных летать!..»

Чтобы защититься от его пронзительной строгости, от холодных голубоватых очей, Ярослава подарила старику одну из очаровательнейших своих улыбок, но ее невинное

профессиональное кокетство не произвело на деда ни малейшего впечатления. Отправляясь за товарищами, Ярослава миновала странника с необъяснимой растревоженностью и в то же время — с облегчением.

Но он опять — строго и требовательно — окликнул их, заставил всех оглянуться:

— А вас небо слышит?

Как под властью гипноза, Ярослава оцепенело смотрела в эти юродиво-бесстрашные врубелевские глаза. Старик жестом указал вверх:

— А меня оно слышит...

Вечерний кофе был опять за тем же столом, сооруженным из парт под черешней во дворе. Ярослава жаловалась вуйне Доминике:

— Какой-то там, на нищего похожий, повстречался нам возле княжьего родника. Спрашивал, слышит ли нас небо. А взгляд — будто гипнозом обдал... Так осуждающе на мою мини смотрел... — хоть бы не сглазил перед съемкой...

— Не бойся, Славця, — успокаивала вуйна. — То, верно, тот юродивый, что с орлами повсюду бродит... Слыш его, говорят, был командиром в войсках у Советов, выбросили над горами с парашютом, и его на отцовских глазах растерзали хортисты... С тех пор старик помутился умом и стал «небо слышать».

«Не расправа ли над сыном, — подумалось Ярославе, — стала причиной, что орлы его так хищно из тайстры выглядывают, отвратительные и кровожадные? Кажется, готовы человека живьем растерзать!..»

Девчухи, видимо старшеклассницы, все шастали, сновали за садом, продираясь взглядами сквозь живую изгородь к киношникам. Вуйна Доминика пояснила со сплывающей усмешкой:

— Школьницы напиш из кружка самодеятельности... Из села пришли, хотят тебя, Славця, поблизи увидеть. Мы ж, говорят, знаем ее по фильму.

Но Ярослава не кинулась раздавать своим поклонникам автографы. Сразу после ужина пошла к себе, включила свет, заперлась. Раскрыла чемодан: в чемодане ее интимные девичьи вещи, собранные при отъезде впопыхах, внакидку... Вынула из-под одежды машинописные листы, села к столу: хотела еще раз вчитаться в роль...

Через какое-то время под окном послышался шелест в кустах, промелькнуло что-то белое. Отложив рукопись,

Ярослава прислушалась: шепот, девичий, взволнованный... Наверное, те, из школьной самодеятельности, которые, волнуясь не менее тебя, замирая от дебютного страха, выходят на клубную сцену в ярких народных костюмах. И услышала совершенно явственно чье-то приглушенное до шепота, пылкое:

— Это она! Живая! Такая артистка!.. Я бы хотела, чтоб она никогда не умирала!..

«Родные мои! — приливом нежности откликнулась им Ярослава. — Умирают и не такие, как я. Кинозвезды всех студий мира со временем отцветают... Не стареют они лишь в коллекциях ваших открыток, навсегда остаются там юными, улыбающимися... А в жизни отцветают и исчезают, как все... Разве лишь изредка воскресают юными на экранах из своих полузабытых юных лент...»

II

Как лента, обрываясь, беспорядочно летит на экране, все убыстряясь, хаотично мелькая, так все быстрее, по мере того как входишь в лета, отлетают дни, месяцы, годы... Мелькают ускоренные весны, ускоренные золотые осени... И чем быстрее они летят, тем трепетнее дорожишь всем, что видишь, каждым восходом солнца, малейшей росинкой жизни... Каждую улыбку пьешь жаждающим взглядом, каждой травинке хотел бы сказать: «Ты мудрая, неповторимая. Тебе нет цены».

В пору юности совсем иная действует теория относительности: там дни дольше, там ощущение времени иное. Юность уверена в себе; в блаженном неведении ей кажется, что жизнь человека бесконечна, что жизненная дорога простелется перед ним ровная, гладкая, а она тебе суждена — на долгие перегоны — вся в ухабах, колдобинах... А то и совсем будешь вынужден пробиваться по бездорожью, только чувствуя, что где-то там, за смертями, за дымом фронтов, должно же быть хоть какое ни на есть солнце...

Войну Богдан закончил в Берлине: продымленный, тоже расписался в числе других на колонне рейхстага, оставил Европе свой гвардейский автограф... Хмель победы, колонна машин с репарационным оборудованием, потом тот страшный случай, когда парни-водители тайком от тебя — сопровождающего — раздобыли у какого-то мср-

завца канистру спирта. Всю ночь до утра надо было ехать, а уже около полуночи появились первые симптомы беды: некоторые водители начали слепнуть. И не признавались. И не могли понять, в чем дело. Потом выяснится, что пили из той канистры отраву, которую враг умышленно подsunул им, но пока что каждый скрывал свое состояние: даже переставая видеть, водитель не выпускал руля из рук — ведь впереди была Родина... Один из самых кошмарных эпизодов твоей фронтовой жизни, до сих пор он время от времени возникает, как на экране, наплывом: длинная колонна с репарационным грузом разрезает ночь, никто со стороны не догадывается, что один за другим теряют зрение водители, что ведут свои грузовозы уже вслепую, неведомо как ориентируясь, благодаря неведомо какой силе держатся, — может, только сила любви, сила интуиции ведет их, как птиц почных, сквозь тьму к родным гнездовьям. Во Львове все очутились в госпитале, некоторым врачи еще успели спасти зрение, а команда сопровождения едва не поплатилась тяжело за воинскую свою беззаботность, в которую, правда, многие впадали в те хмельные дни победы...

Хотел снять об этом фильм, написал даже черновой вариант сценария. Забраковали. Да может, и следовало? Жгучая, как рана, встреча с родным городом, работа на восстановлении, и, наконец, с развалин Днепрогэса, совсем неожиданно, — в рабочие-осветители, в среду документалистов, в этот химерный артистический мир. Тайна кинотворения, она уже тогда влекла его.

По такому непредвиденному руслу повернула жизнь. Сначала ему поручали разную мелочь, снимали археологические раскопки, заповедники с птицами и зверями, спуски на воду кораблей... Заметили его после ленты «Обелиски», задуманной как фильм-реквием павшим. Потом на одном из фестивалей отметили его двухчастного «Овидия». Сам он «Овидием» не совсем удовлетворен, хотя там действительно что-то все же было, цеплохо передав простор, силуэт почной крепости над лиманом, хорошо схвачена поэзия лунной дорожки, по которой изображение поэта как бы ведет его из ссылки вновь на юг, к белым статуям и оливковым рощам... Успех постановщика заслуженно разделил и Сергей, тогда еще выпускник: его талантливая операторская работа многое решила. Замысел фильма принадлежал конечно же бывшему

студенту истфака, студбатовцу, слишком, пожалуй, влюбленному в античность, но Сергей совершенно проникся тогда настроением Богдана, целыми днями декламировал строчки крамольного поэта, которого погнала на север цесарева немилость:

Берег сарматский, смежный со племенем геттов стрелецким,
Нас наконец приютил после блужданий слепых...

Самого Овидия в картине, собственно, и не было, был лед днепровского лимана, удивлявший поэта своею крепостью и казавшийся ему мрамором каррарским, да еще был современный Овидиополь с золотыми коронами подсолнухов и мечтательная комсомолка с томиком римского поэта в руке... Однако, хоть сам поэт-изгнанник и остался за кадром, присутствие его удалось передать, образ его существовал в фильме незримо, — в самих руинах римской крепости, в плавном полете птиц, в гроздьях виноградных, в силуэте влюбленной парочки на крепостной стене, над спокойным в лунном свете лиманом. Пусть не было на экране самого Овидия, но в фильме жила его поэзия, сквозь толщу веков духовным отблеском пробившаяся, дошедшая до людей иных времен.

Авторов фильма кое-кто укорял в эстетстве. И первой — после просмотра ленты в главной проекции — поздравила их Ярослава, с которой тогда Колосовский только и познакомился. Гололобые кинозубры солидно хмурились и пока что резервировали за собой свои драгоценные, не бог весть какие великие мысли, сомоновы решения, а она, Славця, со свойственной ей непосредственностью, вскочила, поздравляла (может, даже слишком экзальтированно), — была ей тогда аргументом больше собственная взволнованность:

— Сарматскую степь, лиман, эту атмосферу античной Колымы — вам здорово удалось все это передать! И мерцающая лунная дорожка от крепости в море — в ней столько подтекста! И девушки медучилища на стенах, на тех самых стенах, где римские легионеры когда-то в волчьих шкурах в метель стояли... Особенно же это одинокое ночное дерево над крепостью в финале, что тает, отплывает, даже не разберешь: дерево или сам Овидий исчезает в степи...

— Мало действия... — буркнул кто-то.

— Но в фильме есть ритм! — воскликнула Ярослава еще запальчивей. — В ритме их фильма есть что-то от

раздолья античных поэм! Он плавный, неторопливый, но и не вялый... Неужели вы не уловили его внутреннюю музыкальность, подспудную, скрытую энергию?..

Поддавшись настроению, она, конечно, преувеличивала, богатое ее воображение дорисовывало, находило подтексты, каких, может, и не было в их картине. Но то была поддержка, дорогая для Колосовского, особенно же в ситуации, когда еще все колебалось на весах невысказанных оценок. Прямодушная девчушка, она и не подозревала, как не хватало тогда еще веры в себя этому хмурому документалисту, вряд ли думала, что смешноватым своим девичьим восторгом она придаст ему уверенности, крепко заронит в душу какие-то новые надежды... Ярослава как бы напроорочила тогда: он вышел на простор, имеет возможность делать сейчас то, что втайне давно в себе выпавшал. Это, собственно, будет его первая полнометражная художественная вещь. «Поставишь фильм про войну». Преодолеет собственные сомнения, переборол дикие выходы Сергея, когда истомившийся оператор ярился в том приморском отельчике, швырял чьи-то сценарии в угол.

— К дьяволу вашу войну! Не хочу! Не буду! Лучше пчелу, ребенка, каплю воды на цветке...

До тех пор пока там, в той же гостиничке, не явилось тебе внезапно ночью — как озарение, как открытие! — простое и естественнейшее: делать фильм о пережитом. Ибо чего же иного искать? Зачем выдумывать? Ты же видел людей, в их взлетах и в их падениях, в величии и низости, в предсмертных муках и в счастливых слезах победителей. Правда, слишком огромно все это было — ни в какой фильм не вместить...

— Отсеять надо, отобрать только самое ударное! — горячился, увлекшись замыслом, Сергей. — Неволя, чесотка, эшелон — это прежде всего! Обещаю вам гениальные кадры. Юная девушка-украинка, полюбившая военнопленного кавказца, половодье их любви, поэзия, расцветшая в неволе... Лошадиный остров, лунные почвы, астроном, девушки, с горя обнимающие чесоточных лошадей... О них-то и должен быть фильм! А в завершение это ваше нападение на эшелон, набитый невольницами. Бой с охраной. Пулемет, так и прыгающий в руках Байдашного...

— Этого в сценарии еще нет. Это было позже.

— Ладно, тогда махнем без этого.

Все он решает легко, то, что тебя и теперь еще ранит, для него — киноэпизоды, которые можно вставлять, выбрасывать, менять...

— И Холодную Гору доснимем потом, — где же нам набрать столько дистрофиков!.. Сцену с сумасшедшим можно снять и в павильоне... А сейчас — лошадиный лазарет, остров на реке, полонянок!

И вот вы здесь. Ищешь сна на полу сельской школы, где месяц светит в окна, и кинокамера тускло блестит в углу, и ролики рядом с нею лежат, похожие на автоматные диски... За открытым окном, где-то в мокрых лугах, неутомимо тарахтит коростель. Говорят, экран светит в душу человеку без посредников. Но ведь сначала надо его зажечь! Нелегкую ношу взвалил ты себе на плечи! Не просто воссоздать еще один эпизод, дать еще одно экранное зрелище... Не для этого взялся. И если уж ты решился... Голосом их пусть станет эта ваша лента, болью и гневом воскресших, свидетельством и предостережением. Творчество, как всегда, начинается с хаоса. Нужно всему дать порядок. Дать, но и не потерять при этом ценнейшего — свободы выражения, помня, что экрану нужен не порядок замерзшего льда, а скорее взвихренность буйного весеннего цветения.

Вчера приходили местные школьницы. Одолевая застенчивость, расспрашивали о будущем фильме, а в глубине души, наверно, мечтали: не возьмут ли и их, ну хотя бы для массовых сцен? Что ж, возможно, некоторых и отберет. Десятиклассниц — полонянками. Для набора, для эшелонов! Дико даже думать об этом! Еще можно взять их для сцен, где нужны тебе беглянки ночные, искавшие укрытия на острове... А еще днем раньше пожаловал один модерпига из райцентра, из Дома культуры, — с виду спортсмен-разрядник...

— Возьмите меня на роль анонимщика, — предложил он свои услуги. — Мне легко войти в образ, я уже играл это в нашей драмсекции.

— У меня нет такой роли.

— Так введите!

— Нет и не будет.

— Поглядите, как я его изображу... Вот он, согнувшись, строчит свои черные послания... Аккуратно снимает с них копии, еще и нумерует... Выходит на улицу, встречает знакомых, но все отшатываются от него, обходят его. Он несчастен! Среди людей, а одинокий. Не с кем

словом перемолвиться, чураются все. Стал на площади перед райсоветом, задрал голову в небо, но и небо к нему глухо!.. Завидел милиционера, бросился наперерез: «Товарищ милиционер! Поговорите хоть вы со мной! Все, точно сговорились, игнорируют... Хоть о чем-нибудь поговорите. Будьте же человеком!»

И он, этот местный лицедей, довольно-таки выразительно передал, видимо, из жизни выхваченную сценку.

— Пожалуй, ничего — для пробы! — сказал ему Сергей. — Но... вы не Бучма!

— Простите! А зачем мне быть Бучмой? — рассердился парень. — Он артист, но я тоже... Все мы артисты в жизни. Каждый играет свою роль. На подмостках жизни!..

Нет, там люди не играли. Там каждый был самым собой... «Выстоять! Выстоять! В этом теперь все. А иначе не стоит, чтоб и сердце билось!» — припоминаешь эти слова? Они ведь были сказаны. Они были твоей правдой, правдой твоих товарищей. А достаточно ли у твоего искусства сил, чтобы ее передать? Как много берешь ты на себя, готовясь вынести пережитое на экран! Или, может, и впрямь довольно этого? Врывов, крови, смертей... Коскто говорит: «Не воспринимается уже. Дайте что-нибудь повеселее, полегче. Я пришел на сеанс отдохнуть после утомительного дня работы, после всего, что и так выматывает меня в этом ускоренном темпе жизни, в бешеном аллюре будней...» Но ведь и я не пришел в искусство экрана, чтобы только развлекать! Для этого подался бы на цирковую арэпу — на руках там ходить (не обижайся на меня, клоун, брат мой по искусству). Только ведь я другую творческую цель перед собой ставлю: у меня долг перед теми, кто уже не скажет о себе. Я убежден, что существует в жизни эстафета человеческого, которая передана вам и которую вы должны передать другим. Вспомни тот весенний лес войны, лес уничтожения, ветви зсленные, падающие под шквалом черного огня. Все вокруг горит, трещит, вы снова и снова идете штурмовать дзоты. Свищет металл, бойцы приросли животами к земле, тело не может оторваться от нее, а вы все же отрываетесь и бросаете себя вперед, все меньше становится вас, уже вас к вечеру — горстка... А когда настало мгновение тишины, то она была тишиной стога, предсмертных вздохов, тишиной окровавленных ключев, повисших на кустах. Перерытая, пропитанная чадом земля, обглоданные

осколками голые скелеты деревьев торчат над тобой, — какой-то мертвый, окаменевший пралес... Ты шел куда-то, как в трансе. Между окопов. Среди жужжанья пуль, еще пролетавших изредка. Дымились воронки, в месиве земли, грязи и крови лежали всюду изувеченные останки тех, что недавно еще были людьми, твоими товарищами. С голосами были, с живыми глазами. Ты шел между тел, белели пятна лиц среди черноты развороченной земли, и вдруг ты остановился: девушка лежала, медсестра. Кости коленных суставов торчали из кровавого мяса, белые, почти голубоватые. Голова вывернута, юбочка завернулась, молодое тело белесет страшной святой близкой. Ваял окровавленный кусок плащ-палатки, валявшийся поблизости, накрыл им белое и голубое.

Впервые тогда за войну Колосовскому захотелось быть убитым. Стать ничем, исчезнуть, перейти в небытие. Так, как эти перешли, став землей. Да неужели же — небытие? Гумус, удобрение — и все! И если какие-то силы удержали тебя в жизни, то одной из них была, может, и та, что не дает тебе сейчас уснуть. Сила желания, тогда еще, наверное, не созревшего, почти полусознательного: пройти, преодолеть, все вынести. Чтобы рассказать с экранов людям, чтобы засвидетельствовать перед живыми, да хотя бы и перед самой вечностью: нет, не гумус... Огонь, пречистый огонь горения людского, что живет, ни на каких не гаснет ветрах, не исчезает из жизни бесследно.

III

Мокрые кусты блестят под луной. Речка внизу журчит по камням, смиренная, доверчивая. Из марева лугов выплывает тонкая фигурка. Волосы рассыпаны, болонья, накинутая на плечи, блестит...

— До сих пор не спите, Славцю?

— Не спится почему-то... Коростель кричит...

— Тот всю ночь будет на посту... Далеко ходили?

— Росно очень на лугах... Там кони пасутся, захотелось посмотреть, как они выглядят ночью. Партнеры мои по фильму, — и горькая полуулыбка тронула губы, бледное лицо.

— А я тоже присматривался... Такое ли освещение? Не ошиблись ли мы, выбрав именно эту натуру?.. Порой кажется, что и месяц, и тишина — все там было иное.

— Шла вот и думала: пойду завтра к вам и откажусь. Не смогу я. Бездарна. И ничему институт меня не научил, да и вообще, разве можно научиться искусству? Кто учил Довженко? Заньковецкую? Вместо того чтобы учить жить, глубоко чувствовать, нас в течение пяти лет учат имитировать чувства... И потом удивляются, что, ничего еще не создав, мы ходим по студии непризнанными гениями, все отбрасываем, на все кривимся...

— Вы сегодня слишком суровы, Слава, впадаете в крайность. Не все же такие: и учителя не одинаковы, и воспитанники — тоже.

— Конечно, есть настоящие. Но настоящие большую часть жизни тратят на то, чтобы преодолеть тупость, примитивные вкусы, надоевшие штампы... Вы ведь знаете, сколько и в нашей среде безнадежно дремучих, заскорузлых, а то и еще хуже — лживых, копьюнктурных до бесстыдства...

— И на ком только это бедное искусство держится... Да еще и на мировой экран выходит!

— Пусть, может, я и сгустила немного... Ясное дело, что таких, как народный, это не касается. И вас, присутствующих. Но я считаю, что в храме искусства не место ни единому цинику, который способен при актрисе рассказать пошлый анекдот... И после этого он меня еще на пробу приглашает!

— Ваш отказ для многих был неожиданностью!

— Идти изображать ему ту декоративную Ксению? Среди цветочков на половине? Дикий Запад, экзотика... Нет, не для меня роль. Ходит вокруг тебя, щурится, как бегемот, рассматривает тебя приценивающимся взглядом... Да разве его интересует моя душа, мой идеал, моя точка зрения на мир? Я ведь вижу: прежде всего интересуется, достаточно ли я длиннонога, сумеет ли это кино-создание выжимать из глаз крупным планом слезу... Фальшивый сам и на экран гонит фальшь. А потом еще и домогается для нее первой категории... И такому — в храме искусства? Где слышатся еще голоса корифеев?

— Люблю вас послушать, Славцю, когда вы вот так разбушуетесь! Не хотел бы попасть под стрелы ваших сарказмов.

— Не думаю, что вы ждете комплимента, ведь вам это не нужно. В вас и в Сергея я поверила с первых кадров, еще тогда, на просмотре. Бывает такое... Иногда за один кадр можно в человека влюбиться...

— Жаль, что Сергей этого не слышит.

— Пожалуйста, не шутите. Есть и в жизни и в искусстве такие вещи, по отношению к которым шутки неуместны.

— Согласен.

— Завидую вам порой. В вас есть уверенность, определенность, цель. Чувствуется, что вы пришли в искусство с намерением серьезным, и у вас есть что сказать. За спиной такой опыт жизни... А я? Что я знаю? Я даже полюбить по-настоящему не успела — нельзя же считать любовью пятиминутные увлечения студенческих вечеринок.

— И все же вы должны сыграть влюбленную. Натуру глубокого чувства...

— Как раз это меня и тревожит. Играть влюбленную, создавать образ нашей украинской Офелии тех, неведомых мне, оккупационных ночей... Эту чистую юную любовь, так трагически расцветшую в неволе...

— Не успела и расцвести...

— Да, только промелькнула... Читаю, стараюсь вжиться, углубиться... Для меня эта роль в самом деле слишком трудная. Может, мне не хватает фантазии, воображения?

— Не наговаривайте на себя. И не раскисайте: вам это не идет.

— Ходила сейчас по лугам, и отчаяние меня терзало... К горькому прихожу выводу: не под силу мне эта роль. Чего-то я не улавливаю существенного... поверхностная я, неглубокая.

— Вот так сюрприз киногоруппе!

— Да, неглубокая я и просто ненавижу себя такую!.. Надо было посвятить жизнь чему-то другому. В институт я шла с намерением отдаться науке... Интересовала меня история искусства, в частности народные изделия: писанки, резьба по дереву... Так бы и было, если бы в один прекрасный день — тогда еще первокурсницу — меня не соблазнили в институтском коридоре ваши киномефистофели этим магическим вопросом: «Хотите сниматься?» Еще бы! Какая девушка устоит перед возможностью покрасоваться с экрана... Но актриса ли я?

— И это говорить вам, отмеченной на международном фестивале? За первую же роль?

— Боюсь, что и это случайное — за волоокость, наверное.

— Ваша ирония, самоирония, Слава, свидетельствуют, что не все потеряно и актриса жива. Просто минутное уныние. А такие волнения не дают крови застаиваться. Для художника недовольство собой скорее норма, чем отклонение от нее. Святое недовольство, да, да, святое! Кто успокоился, тому нечего делать в искусстве. Среди стихии творчества затишья не ищи, тихие гавани не для нас... Такова уж сама природа искусства. Тут штормы, вечный поиск, страсть... Тут кто в большей, кто в меньшей степени, но все неуголенные, все как фаусты.

— Но ведь как больно бывает!

— А другим не больно?

В голосе его послышалась суровость, похожая на упрек, — Ярослава удивленно взглянула на него. Сошли на мостик. Облокотившись о перильца, смотрели вниз, где каждый камешек отбрасывал тень и вода в быстром течении лунно поблескивала.

— Ох, знакомо мне это настроение, Слава... Когда одолевает неуверенность. Когда бьешься, ищешь-ищешь и не находишь. Полно клекота в груди, а не в силах выразить его: безъязыкий, пемотой сквапы уста. А потом все же приходит этот миг всемогущества, когда чувствуешь, что все можешь, все подвластно тебе, на вершины ясновидения возносит тебя какая-то сила... Чтобы снова швырнуть в пропасть сомнений, в лабиринты поисков, в которых дальше пойдешь на ощупь... Таков уж наш хлеб, наш удел.

— Иванну бы сюда. Вот она бы сыграла. Эта роль как будто для нее...

Да, но Иванны ведь нет. За третьим, или пятым, или каким-то там дублем кинулась в охваченные пламенем декорации моста бутафорного, полыхавшие совсем не бутафорским огнем... Что ее погнало туда? Только ли бездушность мордастая, жестокость нацеленных камер? Или собственная неутоленная жажда совершенства, желание актрисы, пусть даже жизнью рискуя, добыть еще один дубль, еще один, может, неслыханный, самый редкостный, в котором она наконец-то достигнет недостижимого, превзойдет самое себя? Такие, как Иванна, знают иступление творчества... Актриса исключительного дарования, и Ярослава ей чем-то близка, — он уверен в этом. Две звезды всходили одновременно...

— Почему-то сегодня она мне весь вечер чудится... Перед глазами стоит, смеется... Во время последних

зимних каникул мы с нею поехали в горы. Все ей давалось легко, она и на лыжах ходила чудесно, — летала с трамплинов как птица... Помнится: вошли после метели в лес, остановились под смереками... Вы бывали среди смерек зимой, в солнечный день?

— Нет.

— Все фантастично. Воистину сказочным становится лес, убранный в снежные одежды... Дятел постукивает, какая-то птичка зимняя цвикает, еще больше оттеняя глубокую первозданную тишину вокруг. Снег облетает с деревьев тихо, ласково. «Какой зодчий, Славцю, способен сравниться с природой, — говорила она тогда, — какие дивные хоромы, дворцы из тающего мрамора возвела за ночь метель...» Образы птиц каких-то, зверей, чудовищ химерных окружали нас. Будто только там стало понятно, как рождались в народе сказки, из чего создавалась наша народная мифология... «Из этого белого, вьюжного, Славцю, которое хоть и тает, но красотой сродни мраморам Микеланджело...» И потом, смеясь, ударила палкой по ветке, стряхнула целую шапку снега, — солнечная холодная пыль окутала нас... — Ярослава помолчала, как будто и эта лупная дымка за рекой еще порошила, мерцала ей тем солнечным снегом, сброшенным со смереки подругой. После того как Ивану, обугленную, извлекли из-под обломков недотлевших декораций, Ярослава болше недели проболела дома у родных. Мать умоляла: «Брось это кино, не то и тебя сожгут!» Но именно тогда Ярослава была полна решимости большей, чем когда-либо... «Но брошу. Не отступлюсь». Батко тоже одобрял ее выбор: «Взрослая, вольна делать, что выбрала... Осталась без подруги, так ныне пусть трудится за двоих...»

Прошел, прогудел в небе самолет ночным своим рейсом. Прислушались к нему оба. Прислушались и к далекому шosse по подгорью: не слышно ли оттуда колонны студийных машин? Где-то уже движутся, не даст и ночью им спать Ягуар Ягуарович, «генеральный обозный».

— «Горит-дрожит река — как музыка». — Оба засмотрелись вниз, в лунную воду, в ее мерцающие струи. — Скрыбин пытался потными знаками передать свет... Любопытно, что он закодировал в то свое тайнописное, загадочное Люче?

«А эта река, что бежит под нами, в ней, наверное, тоже что-то закодировано? Река неугасимого текущего света, что, капризно извиваясь — то между гор, то доли-

нами, — светит пилотам в такие вот ночи, лунным сиянием и звездной вселенной галактик поблескивает штурманам снизу, с планеты... Дочь гор, струящаяся неутомимница, где берет она начало свое и где перестанет быть самой собою? Занять бы когда-нибудь в образе реки самое человеческую жизнь — от ее истоков до устья...»

— Как хорошо поет кто-то на зарежье...

— Тут еще поют. Еще песню транзистор не съел. Ярослав заметила, как он, вслушиваясь, будто вздрогнул даже. Та самая песня откуда-то выплывала... Решетняка, госпитальная:

Над річкою, над бистрою,
Там журавка купалася...

Здесь, в этих краях, служил когда-то Решетняк на границе, отсюда и песню, как из огня, вынес...

Пели как будто на острове или еще пиже, на окраине комбината... Где-то там купалась журавка...

— И КАКАЯ ЯСНАЯ НОЧЬ!

IV

Замурованные снегом окна, вой выюги сибирской...

Густое оранжерейное тепло палаты.

Очень здесь длинные ночи. Стонут во сне товарищи, вскрикивают, горят в ночном жару, и сам ты медленно горишь в огне собственной боли. Но удивительное существо человек! Даже сквозь эти стоны и вскрики, сквозь маству кошмаров и выюг пет-нет да и явится Решетняку из солнечных далей тихая дорожка полевая, заблестит соломипка, расплющенная колесом, поплывут по стерпе копные грабли с тихим своим перезвоном... Девушка на граблях сидит, карий взблеск ока девичьего видишь и полный колосок, что застрял меж стальными зубьями граблей... Сквозь выюжную ночь, сквозь боль золотится тебе смугло колосок тот далекий, и тем золотом грезит до утра душа!..

А утром появляются «утки» да «гусаки», пройдут толпой врачи, поколдуют возле тебя, какой-нибудь ощупает, надавит в самом больном месте, а старший бросит на прощанье свою непременно присказку:

— До свадьбы заживет.

Когда уйдут, закончив свой обход, «белые медведи» (так их называет палата), лежащее воинство переходит всецело под власть Капы. Есть тут такое белолицее создание — Капа, юная, как цвет вишни, сибирячка, — это как раз она чаще всех приприсит им ягоды из тайги. Может, оттого, что умеет уже хмуриться и пухленький подбородочек выставляет вперед как-то по-школярски упрямо, а глаза, полные синевы, при этом пронизываются твердостью, власть Капы признают даже самые привередливые, даже оба горлодера тапкиста, которым и лекарства все не такие, и бокам всегда жестко.

Капа частенько забегаёт в их палату, иногда и просто так, без видимого дела. Особенно с тех пор, как у них на дополнительной койке у самой двери появился еще один, привезенный прямо из операционной: черный как цыган, худой, длиннющий, еле на кровати помещался. Он еще выдыхал наркоз, бредил, стонал, куда-то порывался, вспоминал Харьков. Капа-сестра была при нем неотлучно, всю ночь слушала его бред, неразборчивое бормотанье про Харьков, с грустным терпением выслушивала все и лишь время от времени легонько, кончиками пальцев промокала ему чистой марлечкой крупные капли пота. Только высушит, как опять на лбу, крутом и смуглом, вновь заблестит крупными каплями роса. Решетняку с его койки хорошо видно, как светятся росинки на юношеском лбу, как ласково касается их сестра лоскутками марли, и, диво, даже та несчастная росинка способна вышвырнуть Решетняка из уютного палатного рая и перенести в сатанинские ночи войны, в ее черные кошмараща...

А когда тот, харьковский, стал выздоравливать и нужно было ему менять книжки в библиотеке, Капа взяла на себя и это. Меняла аккуратно, доставала нужную литературу даже в городской библиотеке, оказавшейся довольно богатой, и все он поглощал жадно, разлучался с книжками только после отбоя, когда в палате выключали свет.

Утром Капа появляется в палате с градусниками в руке, улыбаясь, свежая с мороза, в росинках растаявшего инея в волосах, легко идет по палате, и влажные, еще в алмазных искорках, колечки вьются у маленького красивого уха, как сережки, — это ей к лицу. Когда подходит к харьковчанину, не может скрыть сияния глаз, а присев возле него в ожидании градусника, смотрит на своего пациента так пристально, пытливо, будто хочет

проникнуть в душу. Слышала порой громкие шутки палатников, что она, ей-же-ей, равнодушна к этому Колосовскому, сведет-таки он сестру с ума, слышала и не обращала внимания; казалось, она обдумывает сейчас что-то слишком важное для себя, что зреет в ней какое-то чрезвычайное решение.

— Хочется мне вас о чем-то спросить, Колосовский...

— Спрашивайте.

Подумав немного, сказала:

— Нет, лучше потом.

— Почему не сейчас?

— Да так... Пусть потом.

Однажды он делился с нею мыслями о прочитанном, показывал ей из фолианта, ею же припесенного, великолепные иллюстрации под папиросной бумагой.

— Взгляните, Капа, какие они, эти хеттские рельефы по базальту... Чудо ведь, правда?

— Да, красиво.

— А разве не чудо, что вот мы с вами глядим на этих хеттских женщин, смуглых молодых азиаток, и совсем явственно слышим, как они смеются... Слышим их живой серебристый смех, что звенел где-то там, под хеттскими скалами, за много веков до нашей эры!..

Ничего не ответила на это Капа. И в книгу больше не стала смотреть. Поднялась обиженно, ушла с тенью сухости на лице. В тот день, заходя в палату, была подчеркнута сдержанна, как бы демонстрируя, что она здесь только по службе, по обязанности. Скупое слово, четкие движения, по-деловому выпяченный обиженный подбородок, — знайте, что вы ей пациенты, она вам — медицинская сестра, и не больше. А что касается смеха хеттских красавиц, то он ей попросту ни к чему.

Колосовский, конечно, заметил перемену в ее настроении, но даже догадаться не мог, какую он допустил бестактность, почему обиделась Капа, — ведь не было как будто бы никаких причин. Был уверен, что разладица скоро пройдет, да и не придавал ей значения, было ему о чем и кроме этого подумать после отбоя, когда особенно слышно становилось, как воет, неистовствует за окном пурга. Отвевает вьюга в прошлое этот страшный сорок первый, который в его, Богдана, думах живет, как год сплошных пожаров, боев, окружений, подвигов немых и смертей безвестных, ведомых только небу и ветрам... Еще и тут не мог до конца выйти из того перенапряжения,

опасностей, из кошмара ночей окруженческих, из боли утрат, когда на глазах исчезала, унесенная с планеты, чья-то, может быть гениальная, жизнь.

Перед Новым годом в госпитале решено было устроить концерт, и Капа опрашивала выздоравливающих: у кого какой есть талант. Спросила и у Решетняка: не таится ли в нем какой? Спросила как бы шутя, с полуулыбкой, и он конечно же ответил отрицательно, какой там, дескать, у него талант, а когда остался один, невольно задумался: талант? Откуда он в человеке берется? Вспомнил, что пел когда-то, говорили, у него хороший голос, слушали его кони в почном, и Катря слышала, с хлопцами на границе под настроение проявлял этот материнский врожденный дар... Когда это было! В последний раз с батарейцами на границе пел, а потом уже было не до песен. Может, и голос потерял, когда, распаленный боем, погибая от жажды, пил грязищу из луж, из болот...

В их палате вызвался выступать один лишь кавалерист, который якобы владел мастерством художественного свиста и умел показывать фокусы с гривенником в платочке. Готовились же к концерту все, загодя добывали разрешения у врачей, примеряли костыли, — в палатах, ясное дело, останутся лишь те, что лежат в т я ж е л о м гипсе.

Потребовал костыли и тот черный, долговязый Колосовский, которому Капа книжки в библиотеке мепяет. Решетняк прямо диву давался, сколько книжек может поглощать человек — целые дни читает, не до палатных ему анекдотов. Любопытно было Решетняку наблюдать, как вокруг него Капа вьется. Даже находясь в другом углу палаты, порой не утерпит, обернется к нему сестра, черкнет мгновенной улыбкой. Когда приносит книжки, или с градусником войдет, или просто так, словно между прочим, непременно задержится возле студента, и видно, что ей не хочется отсюда уходить. Оживленно разговаривают, бывает, даже спорят. В самой атмосфере появляется что-то неуловимо волнующее, и сестра то краснеет, то бледнеет, взволнованно ходит под белым халатом грудь, и на лице нет строгости, служебной застылости — блуждает счастливая улыбка. «Что за диво — человеческая улыбка, — наблюдая за ними, думает Решетняк. — Из всего живого только человеку природа отпустила этот дар — смеяться, сиять, разговаривать глазами... Человеку — и больше никому!»

В этот день Капа была особенно возбуждена, она с девушками наряжала елку в зале и часто вбегала в палату — раздумываясь, будто только от огня, — еловыми веточками украшала и окна в палате, чтобы и лежащим был слышен зеленый дух тайги, было видно, что приближается Новый год. Более всего ее волновал концерт. Она и своего подопечного энергично уговаривала выступить:

— Колосовский, ну прочтите вот хоть это: «О, верю, верю — счастье есть!..» У вас это так чудесно получается!

Колосовский отшучивался, говорил, что лирику можно читать только шепотом, с кем-то наедине... И хотя Капе ясно было, что его не уговоришь, она, присев на краешек койки, все-таки просила дать согласие, заглядывала в глаза, один раз ее рука даже на его руку опустилась и, дотронувшись ласково, задержалась дольше обычного, — Решетняк и это заметил своим зорким глазом артиллери-ста.

Чем ближе к вечеру, тем заметнее нарастало оживление, щеголи подстригались, небритые брились, в палатах и в коридоре громыкали костылями — учились ходить, кто не умел.

На концерт потянулись все, кто только в состоянии был хоть как-нибудь передвигаться. Худые, обескровленные, с осторожно поднятыми «аэропланами» наглухо за-гипсованных рук, иные натужно хромя, грохоча косты-лями, а кто и с забинтованной, как в чалме, головой, — все туда, от наскучивших лекарств, от своей беспомощ-ности — в жизнь, в объятия праздника.

На сцене — спизу и куда-то под самый потолок — вы-строился рядами хор — добровольные труженики искусс-тва, все знакомые, люди из персонала: сестры, врачи, сани-тарки, — но их едва узнавали, такие они были праздни-чно-торжественные в этот вечер, и Капа была среди них — сияющая, играла своими лучисто-синими, — видно, пере-полняла ее радость какого-то счастливого предчувствия, — все прикусывала губку, чтобы не рассмеяться. Гимнастер-ка на ней новая, ладно перехваченная пояском, косички по-пионерски торчат в стороны, и это ей тоже к лицу, и никак не удастся ей сохранить серьезность, никак не может она сдерживать внутреннюю улыбку радости: все по-кусывает тоненькие губки.

Блеском, солнцем, красотой взвихрилось то, что всех разом захватило: песня родилась, начался концерт.

Колосовский сидел рядом с Решетняком в первом ряду и, опираясь на костыль, не сводил глаз со сцены. Да, это была поэзия. Может, по иным, строгим меркам это и не было чем-то выдающимся, пели, конечно, далеко не на уровне профессиональных капелл, а хирурги играли на балалайках, пожалуй, и вовсе ужасно. В университете на студенческих вечерах Богдан, пожалуй, поиронизировал бы над таким исполнением, а здесь эти простуженные, неотшлифованные, только и того, что дружно поющие голоса, эта трогательная старательность исполнителей и их простодушное вдохновение — все доходило до самых глубин изголодавшихся солдатских душ, будоражило, волновало, возрождало к жизни. Нет, то все были таланты на сцене, чистые, высокие. Колосовский слышал рядом с собой напряженное дыхание Решетняка, за ним жадно впились взглядом в сцену еще чьи-то лица, до неузнаваемости преображенные волнением, в наплыве чувств они то ежились, как от холода, то вытягивались порывисто вперед, — так бывает разве лишь в бою. Глаза затуманивались — тут можно было дать себе волю, можно было не стыдиться своих слез.

Выходил потом еще шутник-конферансье с остротами на госпитальные темы, высмеивал какого-то привередника, которому все «утка» не такая. Выходили солисты, среди них и Капа, — ее объявили Капитолиной, что поразило Решетняка:

— О! Так бы и не знал, что наша Капа — Капитолина.

В сопровождении балалайки Капа пела тоненьким, почти детским голоском, — она его, видно, и сама стеснялась... Стеснялась, краснела, но все же продолжала петь, оказалась у нее к пению отвага.

Апофеозом концерта стало выступление комиссара госпиталя, который неожиданно появился на сцене со своим заткнутым за ремень пустым рукавом и объявил только что полученное известие о Калуге, очищенной от противника.

— Вот это песня! — пробасил кто-то из задних рядов, и это развеселило весь зал.

В тот вечер никакой режим не мог загнать людей в палаты. Взволнованные, долго еще толпились после концерта в коридорах, гомонили, обменивались впечатлениями, пели, и даже когда на некоторое время погас свет, и это восприняли, как праздничное развлечение, — здесь

ведь не страшно, и прежде случалось такое — бураном обрывало провода.

Гомон не утихал, песня возникала то в одном, то в другом конце коридора, — теперь среди раненых оказалось множество талантов. Решетняк, стоя у окна, испода-леку от своей палаты, как бы пробуя голос, тоже поти-хоньку загудел давнюю, пограничную, которая и тут, над Енисеем, его нашла:

Над річкою, над блстрою,
Там журавка купалася...

Вот так, стоя в коридоре госпиталя, у замурованного снегом окна, тихонечко, словно в забытьи, отзывался пес-ней тому, что осталось где-то за зимами, за фронтом... Он и не слышал, как подошла со свечой в руке Капа, загля-нула через плечо:

— Что же вы скрывали свой талант, Решетняк! Те-перь непременно запишем вас в самодеятельность.

— Да что вы... Да куда мне... — смущенно отмахивал-ся Решетняк, и приятно ему было смотреть на сестру, все еще светившуюся возбуждением праздника.

— Решетняк! Нравится мне ваш язык, он такой мело-дичный, мягкий... Скажите, когда у вас девушка изберет кого-нибудь... Впервые, понимаете? То как назвать по-ва-шему того, к кому у нее такое... ну, такое первое ее чув-ство?

Решетняк даже лоб наморщил, думал:

— Да как... Перволюб по-нашему будет.

— Перволюб... Перволюб... — тихо повторила она, как будто бы даже с грустью.

И отошла, выискивая место, где бы прикрепить свечку.

А потом увидел ее Решетняк уже в обществе Колосов-ского: за фикусом стояли в углу, он на костылях, а она, стройненькая, выпрямившись перед ним, вздернув подбородочек, смотрела вверх на своего пациента, и лицо ее уже опять было веселым. За окном завывал буран. Вслу-шиваясь в грозную музыку сибирской метели, думал Ре-шетняк: «Нам хорошо, у нас песни, а как тем, кто на фронте? Не один там чей-нибудь перволюб в такую ночь распрощается с жизнью...»

Капа-сестра все еще стояла с Колосовским в углу за фикусом. И хоть людно было в коридоре, всла себя так, будто они были одни, стояла откровенно счастливая, обда-

вала Богдана своею искрящейся преданностью. А когда погас свет и кто-то шутя подал по коридору команду: «Целуйтесь!» — Капа в каком-то мгновенном ослеплении вдруг прильнула к нему, и не опомнившись они, как слились дыханием, как совершился тот жгучий грех поцелуя... Один костыль с грохотом упал за бочку, Капе пришлось его и поднимать в темноте, а в это время появился свет и уже не гас, и хоть обоим было совестно, Капа, словно испытывая свою волю, силу своего чувства, все не сводила с Колосовского затуманенный взгляд, и было ей совсем безразлично, что кто-то увидит, что это не дозволено... «Разве я не имею на это права?» — как бы спрашивали ее хмельной дерзостью наполненные глаза.

Собственно, Колосовский должен был этого ждать. Разве можно было с самого начала не заметить по блеску ее глаз, по улыбкам, даже по вспышкам наивных мимо-летных обид, к чему клонится, не заметить, как день ото дня вызревает в ней уже не только сестринское чувство. Знал, что ничем это не могло кончиться, разве только болью зря потревоженной души, и все же был бы пенск-ренным с самим собой, если бы сказал, что ее волнения были ему неприятны, что не согревали его ее сердечность, доверие, чистота. Однажды, правда, попытался дать кое-что понять, чтобы сдержать, приостановить развитие ее чувства, но, видно, неумело, а может, и неохотно это делал...

— Скажите мне, Богдан... Кто эта Таня, которой вы все бредили? — спросила с печальной тревогой в глазах.

Не было ревности в ее голосе, — не могла же она себе этого позволить, да и на каком основании? — и все-таки это не было и простым любопытством.

Самым сокровенным, самым дорогим было то, о чем она спрашивала.

Да, давно бы должен был ей об этом рассказать. Душа его ликовала от одной возможности наконец кому-то открыться, рассказать о своем чувстве, о том, что есть у него где-то такая... такая...

— Никому не рассказывал, а вам расскажу, Капа...

Поглощенный своим, и не замечал, как девушка меняется в лице, кусает губы, все ниже опускает голову. Выслушав, молчала некоторое время, потом сказала:

— Счастливый вы.

И, отстранившись, сухо добавила:

— Идите в палату.

На следующий день вместо Капы дежурила другая сестра. Еще два дня не появлялась Капа, и уже в палате стали беспокоиться, не заболела ли, а когда спрашивали санитарок, те не могли сказать ничего определенного. Появилась Капа только на третий день после обеда, вбежала к ним без халата, в гимнастерке новенькой, в юбочке, в сапожках. Со странным каким-то улыбочато-горьковатым выражением на лице подошла к койке Колосовского, подала ему книжку, томик Есенина.

Едва Колосовский взял книжку, из нее выпала записка — записка из одного только слова: «Люблю».

Капа, выдохнув, наблюдала, как он читает то слово, потом торопливо стала прощаться, пожелала всем выздоравливать побыстрее...

— Что с вами, Капа? — спросил кто-то.

— Уезжаю на фронт.

Побледневшая, постояла мгновение и, еще раз оглянувшись на Колосовского, с глазами, полными слез, выбежала в коридор.

Долго молчали в палате.

Пройдет время, и не один из них, очутившись опять на фронте, в каждой девушке-медсестре будет узнавать Капу, не одному привидится она и на Днепре, и на Висле, и где-то за Дунаем, в венгерских туманах...

V

Такая ясная почь. Полнолуние. Сквозь ветви деревьев белет клуб среди села, как писанка размалеванный. Как тот знаменитый Воронец где-то в предгорьях Сучавы... Плывет, то в пыли, то по спорышу, тень грузной фигуры. Сергей-оператор, взлохмаченный, как будто только что с сеновала, медленно кружит возле клуба, осматривает его то с фасада, то с боков. Не часто видишь такую писанку, да еще этот творческий процесс ночной, когда ветви своими тенями домереживают, дорисовывают кем-то со вкусом положенный по белому орнамент. Должен был бы рассматривать эту писанку не один, а с тою, что с вечера ушла и заперлась. От нее первой он и услышал про эту писанку.

...Была у здешнего головы колхоза любимая сорочка, вышитая мамой. Уходя из дому на войну, только и взял ее с собой. Когда после войны вернулся, одна манишка

осталась: сорочка истлела и разлезлась, хоть и была льняная. Мамы уже не было, только услышал сын рассказ о том, как бандюги зверски замучили ее. Осталась манишка, которую вышила мама, когда провожала его, еще юношу, в Испанию... И когда тут недавно стали строить клуб, голова пожелал, чтобы мамин орнамент с манишки перенесли мастера на клуб. И красуется теперь среди садов великолепное здание-писанка, все в художественной отделке. И все говорят: «То сорочка нашего головы».

«Гоняясь за Кафкой да Бергманом, не упускаем ли мы чего-то важного поблизости? — раздумывал оператор. — Вот жизнь чья-то продолжается в творчестве... Жизнь перешла в искусство, а искусство, в свою очередь, прорастает в жизнь — так оно здесь... Современное переплелось с прошлым — не отделить... А послушай некоторых схоластов на обсуждениях... Какому-нибудь толстяку продюсеру, может, и не понравится, что мы опять возвращаемся во вчерашнее. Но ведь дистиллированно современной темы нет! Наш нынешний день насквозь пропитан прошлым... И мысли, и поступок, вся жизнь насквозь пронизаны пережитым. И этим мы и себя измеряем тоже...»

Роса блестит на листе, на спорыше... «Росица, — говорит вуйна Доминика. — Небесная роска!»

Еще одна тень наплывает по росному спорышу майдапа. С ружьем на плече сторож почной... Лунное сияние сторожит человека... Это хорошо.

— Ты, верно, с лесопильни? К любушке ходил? Или в кино?

— Я сам делаю кино.

— О, мой, так ты из тех? А я думаю, кто тут батярует...

— Батярует... что это значит?

— Батяровать — гулять — повесничать — это все едино... О чем же будет ваша картина?

— О жизни. О сплочении людей перед лицом зла.

— Это хорошее намерение. Люди должны сближаться между собой, а не отдаляться... Цветной будет?

— Нет, черно-белый. Я хотел бы сделать его еще и немым. Дать на экране мир неозвученный. Люди кричат, а крика не слышно. Крик глазами. Самим девичьим лицом... У немного кино были свои преимущества.

— Папу виднее. Немой — так немой.

— А вы что — равнодушны к искусству?

Сторож вынул пачку изъятых сигарет. Рука оператора невольно потянулась за сигаретой, прокурился за вечер.

— Бери, бери... У нас при лесничестве в загородке медведь живет... с медведицей. Они тоже сигареты любят. С огнем жуют, — туристы научили...

«Старик не без чувства юмора, — это уже кое-что», — усмехнулся мысленно Сергей. Не ждал он чего-то особенного от этого ночного интеллектуала. Сергей не из тех, кто гоняется за дедами из народа, надеясь в каждом непременно открыть философа. Оператор считает, что у него самого за плечами разных философий торба, и скорее сам бы мог угостить этим зельем встречного, вот хотя бы и этого неторопливого на слово старичка... Уж на экране он бушевал бы, этот ходячий кладезь премудрости, сыпал бы пословицами, а тут молчит. Или, может, сообразил дедусь, что в наше время невозможно уже быть философом для всех, постарайся быть философом хотя бы для себя...

— Нанашка¹, вы, наверное, не любите кино?

Старик поправил на плече традиционную, точно из кинобутафории взятую, бердапку, висевшую стволom вниз.

— Сняли бы вы картину под названием «Люди в кожах». Все меньше остается тех, кто пересекал океан. Кто мог бы рассказать всю правду.

— И вы тоже... видели океан?

— А то! Ураган нас чуть не потопил... Трещало все... Матери с детишками кричали от ужаса — страшно ж...

«Перед теми атлантическими ураганами — что твои ураганы и смерчи искусства?.. И что все те философии перед обезумевшим криком матери, у которой ребенка — на ее глазах! — рвут акулы, раздирают за бортом...»

Была такая жизнь, когда обнищавший хлоп должен был идти куда глаза глядят. Должен, если дома мелют кору дерева, чтобы испечь из нее хлеб, и люди ходят высохшие, как крючья... А по селам, на развешанных всюду плакатах, — большие шикарные корабли, которые

¹ Н а н а ш к а — папаша (гуцульск.),

быстро переправят тебя за океан, где заработаешь торбу долларов и вернешься опять под ясного цесаря, потому как нигде нет лучше, чем под его короной, только люди пухнут, рвут лебеду под тынами...

И человек целует порог, птицей становится, носится по свету в погоне за работой. Где-то в Триесте ждут с шифскартами кораблей, ждут обещанного на плакатах: будут вам хорошо оборудованные каюты, «комнаты с музыкой», «салон для дам»... Потом приходят старые вонючие корабли: на них доставляют скот в европейские порты, а оттуда берут «людей в кожухах»...

— Вместо скотипы теперь туда пас?

— А то!

Обманутые агентами, на трухлявой соломе, с больными детьми, — экзотические, горькой судьбой гонимые за океан «люди в кожухах», конквистадоры современные... Вместо меча — коса завернута в тряпицу, вместо бомбы — зернышки пшеницы и мака да горсточка семян, что где-то там будут посеяны, на краю света...

«Кетл пен» — загон для скота в порту прибытия. Сюда — людей. На врачебных осмотрах чужие руки выворачивают веки, ищут трахому. Наибольшее горе тому, у кого глаза красные... А мы же плыли на таком холоде через океан. У той глаза красные, потому что плакала, а у меня — что на палубе стоял, под крепким ветром!

Ждут их леса пераскорчеванные, железные дороги не проложенные, гомстеды да угольные шахты, которые заберут здоровье без остатка. Узнают их биржи всего континента, сама жизнь научит их чувству солидарности... Они первыми из-за океана будут приветствовать Ленина, приветствовать красные стяги на родной земле.

— Сделайте про это фильм. Нас же все меньше и меньше остается. Даже те, которых тогда малыми, несмышлеными детишками раскачивал океан, теперь уже стариками стали... Не могу без работы: сделал вот четыре колеса в лесничество, оковал... Сколько могу... Два сына у меня: один инженер на комбинате, другой в лесничестве. Говорю им: «Берегите то, что завоевано... Только сравнив — оцените... Умейте дорожить...»

Похвалился, что племян его будет свадьбу справлять, придется выпить чарку.

— Много уже не пью, что-то тут мне, в груди, мешает... — показал на грудь. — Старость. О, если бы жизнь

оборачивалась так, чтобы старый снова молодым становился...

«Следующая лента будет про них, про людей в кожных, — под впечатлением услышанного возбужденно думал Сергей, возвращаясь лугами к своему бивуаку. — Ярослав дадим главную роль — сельская девушка в постолах на палубе среди волн океана... Она ведь дочь этой среды, этого края, никто лучше ее не передаст чувства молодого человека, которого жизненная буря, оторвав от родного порога, гонит на заработки за океан... Вот она в трюме читает односельчанам Франка... Вот отвергает заигрывания матросов из команды... Потом — как она смотрит на океан, на всемогущество и беспредельность стихии...»

Ярослава — это то, о чем ему и сладостно и больно думать. «О лайдаку! О, мой, мой!» Что означают ее шалости, ее попытки тебя развлечь? Кажется, она не считает тебя способным на сильное, глубокое чувство. А в самом деле — способен ли ты? Интеллект за тобой признают все, ум у тебя острый, может несколько циничный. А какова в тебе сила чувства, которую так ценят девушки? Вот Главный, тот, несомненно, посит в себе скрытый вулкан, Ярослава уверена в этом, ее глаза тают при одной мысли о своем кумире. «Я верю, верю его жизни, его посеребренным вискам!..» — она способна выкрикнуть это даже в коридоре студии. Но не опускаешься ли ты, хлопче, до ревности?

Луга курятся озерками, по-ночному невидимыми курятся среди трав. Лошадей силуэты. В лунной дымке-паволоке отдаленно их силуэты пасутся... А дальше между лошадьми белое что-то стоит — не девушка ли? Смотрит сюда, на тебя, и вдруг разгоняется, мчит прямо навстречу оператору (была бы камера — влетела бы в камеру!) и вот уже... оторвалась от земли. Цапля! Летит низко, бесстрашно, за взмахом ее огромных крыльев на миг исчезает диск луны... Наверное, видит птица с лета запрокинутую голову оператора и его освещенный луной, круглый бальзаковский подбородок...

Пролетела. Над озерком протянула свою тень, отпечаталась меж лилиями, белеющими, как гусята, на неподвижной воде.

А когда Сергей подходил к речке, еще издали заметил: двое стоят на мосту и, нагнувшись, смотрят в лунную воду.

— Она его любовница, вся студия это знает... — услышал перед отъездом про Ярославу оператор, и это его тогда просто оглушило.

— Клевета! Сплетни мешанские! — воскликнул, возмущенный, и потом, первню заикаясь, бормотал что-то невразумительное, а та, от которой он это услышал, смеясь повторяла:

— Любовница! Обыкновенная студийная любовница! И все это знают... Не знаешь только ты.

Она не оставляла ему места для сомнений, хотела, чтоб он принял это известие как факт совершившийся и не такой, который мог бы удивлять.

— Любовница! Ну и что? Только потому, что он жепат, она не имеет права влюбиться в него? Ты же вот в меня влюблен, в замужнюю женщину?

И мерила насмешливым взглядом его мешковатую фигуру в клетчатом длиннополом костюме грубого сукна, кудлатую, слишком большую голову и как бы придавленные плечи. Что Сергей в нее влюблен, тяжело, до иступления, — было правдой. И именно это яростно вспыхнувшее и незащитное его чувство давало ей, замужней жепщине, весело-ироническое преимущество, неограниченную власть над ним, которой, она знала, может воспользоваться в любое время и любым образом.

Что она была к нему тоже равнодушна, по крайней мере некоторое время, — в этом он был уверен и сейчас. Даже инициатива знакомства принадлежала ей. Произошло это на одном из просмотров, после которого оператор пошел провожать ее домой. Дождь, и туман, и желтки фонарей — такой был вечер.

— Еще с тех пор мечтала с вами познакомиться, — говорила Агнесса, — когда вы не захотели к моему мужу в группу... Почему вы отказались?

— Не хочу быть мулом, впряженным в арбу ремесленничества.

— Мой муж — неплохой человек.

— Возможно, но ему не нужно было браться за фильмы.

Агнессе понравилась столь резкая откровенность молодого оператора.

— Боюсь, что вы правы. Вряд ли его ждет золотая пальмовая ветвь... Брак мой с ним, собственно, случай-

ность. Была я тогда еще студенткой, он взял меня на один эпизод, а потом обоим «что-то показалось», что было принято за «то самое»... Вместе поехали в отпуск к морю, ну, а теперь... с мамой живу. Он на одной студии, я на другой, иногда в гости приезжает и даже ревнует... Все как полагается...

— Ко мне тоже приревнует? — спросил Сергей.

— О, к вам, наверное, более всего. О вас ведь только и слышишь: талант! Тут ревность будет вдвойне!

— Никогда не думал, что окажусь в такой роли...

— Какая же роль? Что провожаете замужнюю женщину? Что под одним зонтиком с нею? Но ведь дождит!

И она прижалась к нему, и Сергею было приятно слушать ровный перестук ее каблучков по асфальту. Что-то почти невероятное было в том, что она, такая статная, эффектная, обратила на него внимание и пожелала познакомиться с ним, несмотря на то, что он в тот вечер был небрит, одет с очевидной небрежностью, прокурен крепкими кубинскими сигаретами. Невероятно было, что именно ее он ведет под руку по аллее бульвара и лихо демонстрирует перед нею свое мрачноватое остроумие, грубоватые божественные шуточки, критикует бронзового коня, который, будучи втиснутым меж тополями, закрывал хвостом всю перспективу бульвара, — и хоть остроты были не наивысшего качества, однако Агнессе они пришлись по вкусу.

— С вами весело, с вами интересно. Хотите мой телефон?

И дала ему номер своего домашнего телефона. Прежде чем исчезнуть в парадном, рукой в белой перчатке поманила в воздухе с теплотой и приворожливостью, пальчики, отдаляясь, несколько раз шевельнулись в каком-то почти интимном жесте.

Еле дождавшись утра, Сергей уже телефонировал пальчиком. Ровно в девять. Никто ему не ответил, равнодушные гудки в трубке звучали почти насмешливо. Может, она еще спала, а мама была на рынке? Или с ним просто не хотели разговаривать, знали, что втюрился он, этот тюфяк, что непременно позвонит ровно в девять.

Часу в двенадцатом ему все-таки удалось услышать Агнессу. Сначала услышал ее дыхание, учащенное, взволнованное, словно бы даже испуганное, потом был голос обнадёживающе приглушенный:

— Это вы?

В тот день они обедали вместе в загородной корчме, где все было модернизировано под старицу: тяжелые дубовые столы и такие же тяжелые резные стулья, — она свой еле сдвинула с места, подвигаясь ближе к Сергею. Чуть завистливые взгляды других компаний развлекали ее, она забавлялась деревянной ложкой, дарила своему кавалеру чарующие улыбки, потом, нагнувшись близко, слушала, что он ей скажет. А он, счастливо-ослепленный тем, что она с ним, признавался, сколько мук пережил за те часы, пока висел на телефоне, выслушивая в ответ насмешливые гудки.

— Почему вы не брали трубку?

— Надоедают звонками... Не думала, что это звоните вы. Что, собственно, так быстро. Мы ведь только накапуне расстались.

— А для меня это была целая вечность. Ну, пусть, думаю, не будет слов... Только бы дыхание в трубку, золотая секунда молчания — и все... И уже человек счастлив.

— Ну, вот теперь мы с вами в корчме. И я не спешу. Я буду слушать вас.

До сих пор стыдно за тот влюбленный лепет, обнажение чувств, за тот откровенный стриптиз души, что был бы смешным, не будь он таким по-детски искренним.

Рассказал ей даже то, что редко кому рассказывал. Как партизаны подобрали его, малыша, возле пепелища полесского Линдце. Точно щенок одичавший, к людям не шел, кусался, отбиваясь... Приручил его врач партизанский, взял шефство над мальчиком. Ночью выроет нору в сене: полезай, прячься от ветра... Но ведь ноги у мальчишки мерзнут, особенно простреленная... Однажды ночью, когда очень холодно стало, врач поднял на себе спереди сорочку: «Прижми ногу к телу! Грей!» И так согревал малыша всю ночь, а сам — в ботинках. Нужен был гипс, а гипса не было. Глину! Прокипятил глину, чтобы стала стерильной, подмешал спирту, и «гипс» затвердел! Но в дороге ломался. Тогда врач набрал на скипидарном заводе опилок в короб, посадил туда будущего оператора и так в опилках и возил...

— Но как завелись блохи!.. Так долго возил. Я даже разбаловался. — И слезы блеснули у Сергея на глазах.

Агнесса согревала его своим сочувствием:

— Странно, как из тех разрушительных туманностей войны искоркой проблеснула чья-то жизнь... Жизнь, заро-

дившаяся как бы спонтанно, уже несла в себе гены исключительной одаренности...

— Лесть не принимается,— сказал Сергей.

Агнесса засмеялась, потом заговорила с доверчивой откровенностью:

— Я не люблю мужа.— И это можно было понять и так: «Значит, я свободна полюбить кого угодно, ну, хотя бы и вас...» — Да и оп, я знаю, не пылает ко мне любовью... Для него я собственность, просто красивая собственность, которую он боится потерять...

— Что же вас соединяет?

— Наверное, привычка. Да и не могу я быть одна. — Она усмехнулась. — Актрисе быть одной как-то не к лицу, разве не так? Появляется сразу табун поклонников, и каждый норовит сделать тебя своей любовницей...

Оба были в хорошем настроении, много шутили в тот день.

На какой-то уже там стадии Агнесса вдруг сказала, рассверкавшись глазами:

— Но все это неправда, не верьте всем этим исповедям... Не было искушений наивной девушки, не было обещаний, что станешь кинозвездой через грех... Был безвкусный роман молоденькой студентки с немолодым уже режиссером, которую он взял сначала на эпизод, а потом в жены, разорвав свой предыдущий брак. Теперь и мы с ним чужие друг другу... Но разве же я перед ним виновата? Разве должно меня мучить чувство вины, что с вами вот тут веселюсь, развлекаюсь?

— Любящие не могут быть ни перед кем виноваты!.. А мы правдивы в наших чувствах,— вот даже на каких нотах он тогда разговаривал.

— Вам хорошо, вы признаны, вас называют надеждой нашего кино, а как мне жить, почти неудачнице? Говорят, красива, но пока вырвешь роль... к тому же молодые подрастают, падают режиссерам в объятия... Может, у меня характер плохой? Резкая, властная и даже корыстная...

— Это, видимо, передалось от него?

— Нет, не от него... Вернее, не только от него... Но и этому не верьте, все это наносное, эти перья цинизма. Облетят, и останется что-то детское, беззащитное, неприспособленное...

— Это я заметил.

— А я тоже замечала... что вам нравлюсь! И сейчас это вижу... Скажите, вы бы взяли меня хоть на какую-нибудь роль, хоть статисткой... Чтобы курила сигареты... в озере купалась — в освещении выигрышном и соблазнительном?.. Смотрите, какие поги! Правда ведь, красивые? На студии не много найдется таких, — и смеялась непринужденно, задорно.

Прощаясь с ним, уже в такси, она черкнула его летучим поцелуем, опалила, и после того он, кажется, уже совсем потерял было голову. Особенно же когда она полетела на некоторое время к мужу, а вернувшись, неохотно отвечала на телефонные звонки: взяла себе привычку лишь дышать в трубку — взволнованно и молча. Навестить себя тоже не разрешала, хотя, по слухам, болела.

— Я вскоре сама тебе позвоню, — сказала как-то она, и это «тебе», произнесенное почти заговорщическим тоном грешницы, слышалось ему потом всю ночь.

К ней он после того дозвониться не мог. Не мог узнать, что там. А там, кажется, бушевали опустошительные бури. И кажется, мама, тобой и не виденная, руководила теми стихиями, и отдалялось от тебя что-то равновесное жизни, был ты в том состоянии, когда неприязненный телефонный гудок переживается как катастрофа. Что-то отдалялось, оставляя после себя руины и опустошение... Храм света и радости, который уже успела выстроить его фантазия, разваливался, об этом кричали ему предчувствия.

Несколько недель прошло так.

Погиб, наверное бы погиб, если бы не работа, к которой привлек его Колосовский. Сказал Сергею в минуту доверительности:

— Искусство требует влюбленных, принимает даже влюбленных несчастливо... Оно и горе и боль твою переплавит в творчество.

Ягуар Ягуарович тоже, видимо, догадывался о душевном состоянии оператора, ибо время от времени подкидывал ему утешительные сентенции в своем стиле:

— При наилучших строях, при совершеннейших конституциях человек может быть несчастен, вот в чем проблема проблем... Разве нет?..

Агпресса потом все же позвонила. Назначила свидание. На том же бульваре меж тополей. Сергей пошел на свидание с самым решительным намерением добиться от не-

ясного слова. Он готов был идти на любые крайности, готов был потерять все, только бы завоевать то, чему и цены нет и что называется любовью. Если у нее есть к нему хоть какое-то чувство, то это придаст им обоим отваги, и «мы преодолеем все, все, только нужно, чтобы никакие преграды, никакие труднейшие трудности не остановили нас!». «Нужно жить отважно, — так он ей скажет во время свидания, — жить отважно, любить отважно, в этом спасение! Не поддаваться обстоятельствам, условностям, пересудам, иначе они сделают из нас полулюдей! Только отважно, нараспашку! В этом победа!» Весь смысл жизни ему сразу прояснился: студия с ее страстями, профессиональные хлопоты, споры и дискуссии — все сразу отступило на десятый план, стало крохотным в сравнении с возможностью быть с любимой женщиной, со счастьем ежедневно, ежеминутно видеть ее, слышать голос с ласковым этим придыханием, коснуться рукой ее высокой шеи, плеча. С ужасом думал, что она могла бы уехать куда-то, и он мог бы с нею не встретиться, размылся бы навсегда в водовороте жизни, как прежде проходил мимо в многолюдной студии. Благословлял вечер, который случайно свел их, дождь, что загнал их под зонтик...

Еще был день, и на аллее была не та публика, что выходит на свидание. Пешеходы-аккуратисты с развернутыми газетами, молодые папы, прогуливавшие в колясочках своих потомков, всевидящий милиционер в будке неподалеку. Сергей пришел на свидание в состоянии возбуждения и виноватости. Посторонним нетрудно было, конечно, догадаться, почему этот лохматый чудаковатый в замшевой куртке с небрежно брошенным вокруг шеи кашемирным шарфом спешит по аллее взад и вперед. Бледное располневшее лицо словно заспанное, а глаза полны тревоги... То разгонится почти бегом вниз, потому что показалось ему: она идет в конце аллеи, то вдруг повернется и зашагает в гору, все время оглядываясь, так как не знает, откуда она должна появиться. Один силуэт только что разочаровал, и сразу же привлекает другой: вот кто-то словно бы похожий на нее сидит в конце аллеи на скамейке, — может, она? Подошел — незнакомая дама ест апельсин. Отщипывает дольками и бросает в рот. Даже рассердился он на тот апельсин. А молодые папы, кажется, пересмеиваются, им развлечение, каждый реагирует по-своему: тот сочувствует, а у того по губам ползет чуть

заметная ироническая усмешка: что, мол? Не пришла? Заставила нести вахту? Ничего... бывает... Нашему брату на этой стадии только терпи... А может, и совсем она не придет. Ясно, не придет. И среди многолюдья города Сергей почувствовал себя самым одиноким, и такая тоска вдруг охватила душу, что казалось, и собственная жизнь после этого будет лишена смысла, потеряет всякое содержание и целесообразность.

Агнесса пришла. В плащике импортном, в розовой козынке, так красиво поддерживающей волосы. Подошла, бледная после болезни и от этого еще красивее, еще более ему дорогая.

— Прости, что опоздала, — сказала мягко, подавая руку в перчатке. — Мама не пускала.

— Ты у нее спрашиваешь разрешения?

— А как же, это ведь мама. У меня нет от нее секретов. Или нужно было скрыть?

Ему показалось, что именно в этом причина всех затруднений и отдаленностей, возникающих в их взаимоотношениях. Но ведь теперь ты наконец со мной, теперь я тебя не отпущу! И, не отпуская ее руки, сказал с неумело скрываемой болью:

— Никого не надо было посвящать в наши чувства, ведь вряд ли кто поймет их, кроме нас самих, — даже мама... Для этого ей надо было бы самой быть в состоянии влюбленности... Гореть на сжигающем костре... Сжигающем, по крайней мере, одного из нас, — взглянул на нее, ожидая поправки, однако Агнесса отделалась молчаливой усмешкой. Тогда он сказал уже с пылкостью, с внутренней убежденностью: — В любви нет судей, нет советников, есть лишь влюбленные. Счастливые или несчастные.

— Наверное, это неминуемо, — согласилась она. — «Хто з любов'ю не знається, той горя не знає...» — вот она, мудрая диалектика чувств.

Она будто знала, чем сладостно поразить в самое сердце Сергея, влюбленного в красоту родной песни, в эти соловьиные капты, о которых он ей как-то говорил.

Долго бродили по улицам в тот день, заходили в парки, на безлюдные аллеи, и Агнесса все время жалась к нему, как от холода, а может, и в самом деле продрогла. Со стороны они могли бы показаться вполне благополучно-счастливой парой, однако разговор был трудный, неровный, все время останавливался, будто над про-

пастью; казалось Сергею: еще шаг, еще полшага — и крах. Вот тогда она и бросила в адрес Ярославы эти оглушительные, похожие на обыкновеннейшую сплетню слова, которые, впрочем, не раз в последнее время приходят Сергею на ум: «Не любовница? А откуда у тебя такая уверенность?» Именно тогда снимали пробы, должно было решиться: кого брать на главную роль?

Агнесса уже слышала о будущем их фильме и несколько раз, как бы в шутку, затрагивала деликатную тему: а не взяли бы они ее на главную роль. Оператор знал, что это невозможно, и пытался тоже отшутиться, но она все настойчивее домогалась какого-нибудь обещания или даже гарантии:

— Ты же можешь повлиять на своего Главного. Попросить. Или даже настоять. Ведь он тобой дорожит... Конечно, это будет нелегко, потому что у него ко мне почему-то неприязнь, видимо потому, что я не отношусь к числу его поклонниц... За ним же некоторые так увиваются! Какая-то, говорят, психопатка — из статисток — подстерегает его постоянно у студии, охотится за ним, засыпает письмами, в профком подала заявление, что он чернокнижник, ваш Колосовский. Якобы приходит к ней по почам в образе чуть ли не сатаны и искупает, ибо ради успеха фильма заключил договор с самим дьяволом, как это сделал когда-то доктор Фауст.

Нечто подобное Сергей уже слышал, это его забавляло:

— Не знаю, как там с искушением, а вот ради фильма... Да и кто из нас не пошел бы на сговор с самим дьяволом... Чтобы только поймать миг... Поймать истинно гениальный кадр.

— Все вы такие. Одержимые. Разве для вас существует что-нибудь, кроме фильмов? И ваш этот... может, он чернокнижник и есть? Недоступный, строгий, все истину ищет? Скажите ему, что все истины давно найдены.

— О нет! Искать и искать — этого на всех хватит...

— Ищите женские улыбки, Сергей! И ему это посоветуйте.

— Если бы ему на выбор: улыбка Джинны Лоллобриджи или вспышка истины — он выбрал бы, пожалуй, последнее... Одержимый — это верно. Человек, каких у нас на студии немного. Я просто горд, что буду работать с ним.

— Вот и возьмите меня в группу. Настаивайте. В конце концов, вы можете поставить это вашим неизменным условием. Он будет вынужден... Разве я хуже этой вашей гуцулки? Не понимаю, чем она всех вас очаровывает? Что с гор, что мамалыгу в детстве ела?

— Кажется, Ярослава не из гуцулов, а из бойков...¹ Бойковна!

— Один черт! На каждом шагу рисуется, кокетничает своим происхождением, она, видите ли, из рода лесорубов и резчиков... Куда там! Франко к ее дедушке в хату заходил.

— Будем же справедливы, Агнесса.

— Вот и будем. Я тоже хочу выйти на экран, пока морщины не покрыли... Я ведь снималась. Посмотрите меня в фильме, хоть в том коротком эпизоде...

«Я уже смотрел,— так должен был ей ответить.— Видел, как ты посылая с экрана свои деланные улыбки, все время жеманилась под лучами юпитера, не могла не думать о том, что тобою должны любоваться, что ты должна нравиться... И как мне больно было от твоих фальшивых жестов, оттого, что ты деревянная, искусственная, что ты не артистка. За один кадр можно полюбить и... разлюбить можно за один кадр, моя милая!»

Но ей он этого не сказал, не хотел ранить ее самолюбие, рассеять ее самообман. Потому что хоть она и не артистка и никогда ею не будет, она не переставала волновать его и пробуждать в нем жажду близости.

Молчаливую уклончивость Сергея Агнесса истолковала на свой лад:

— А может, ты тоже отдаешь преимущество Ярославе? Тоже увлечен, ослеплен ею? Все вы там с ума посходили...

— Пробы показали: Ярослава именно та, которую мы искали. Артистка милостью божьей...

— А для чего же тогда тебе я? — Ее глаза хищно прищурились, и голос стал холодным.— Для корчмы? Для развлечения? На одну ночь? Нет, извини...

Вспоминая впоследствии эту сцену, Сергей воздал должное Агнессе: она все же здорово ее сыграла! С искренним пафосом, с благородным возмущением! Даже богемные ее вульгаризмы придавали ситуации пикантность.

¹ Б о й к и — украинская народность в Карпатах.

— Я не из тех, что на одну ночь! Выбирай между ценою и мною.

Не принял ее ультиматума. Идя на это свидание, готов был — и это не преувеличение — своею жизнью пожертвовать ради нее, но пожертвовать искусством... Нет, этого он не мог. Оказалось, что таков он в этих вещах.

— Так кто же будет играть?

— Ярослава.

— И это окончательно?

— Да.

Своею требовательностью, категоричностью Агнесса как бы сама уничтожала себя в его глазах, заставляя прозреть.

Оператор был почти рад своему тяжкому разочарованию. При всей горечи, оно все же возвращало ему свободу, давало силы и возможность снова с головой окунуться в творчество, стремясь быть тем, кем он более всего быть хотел — рыцарем искусства.

«Как каждый влюбленный, я жил тогда в ирреальном мире, — думал он впоследствии. — Буря фантазий несла меня, опьяненного и одурманенного женскими чарами, пока под холодным ударом ее слов чары не сопли, по слетели и ты не почувствовал наконец ее истинного голоса, с зарядом недоброй практичности, корыстного расчета, голоса, чего-то требующего, ставившего какие-то условия... Не так даже те условия были страшны, как искры холодного прицепивающа в глазах, тот ледок практицизма и душевной черствости, что сразу все разрушил, развеял, оголил, и ты, ужаснувшись, обнаружил вдруг, что любил одно лишь создание собственного воображения, умирал за иллюзорный идеал женщины, который так буйно и самозабвенно, одним лишь порывом души сотворила твоя фантазия».

Пережитая драма не прошла для него бесследно. И если он не пал духом, если не опустился, то, может, благодаря тому, что его словно бы оздоравливала сама творческая атмосфера группы и тот высокий пример двух влюбленных, которых он должен был снимать, на плечке должен был воскресить их чистую, как яблоневый цвет, любовь. В труднейшие минуты Сергей находил в этом для себя моральный эталон, образец эмоционального благо-
родства.

На рассвете прибыли машины. Двужильные студийные водители пригнали почти форсированным маршем фургоны с оборудованием, привезли бутафорию, топваген, лихтваген, — Ягуар Ягуарович велел доставить свою передвижную электростанцию.

Пока Ярослава неприкаянно бродила всю ночь, терзаемая сомнениями — играть или не играть, идти на площадку или все же отказаться, — машины тем временем шли почной колонной, кинопроизводство властно надвигалось своими планами, требованиями, неотвратимостью, оно не хотело знать Ярославиных сомнений и колебаний: планами студии колебания твои не предусмотрены!

Техники по аппаратуре, осветители, гримеры, костюмеры, бутафоры... Коллектив людей, которые всё умеют, мастера на все руки, которые не щадят себя, не считаются с временем, когда приходит пора кинострады.

Привезли кучу студийных новостей. В цеху печатания — это, в монтажном — то, того «прибили», а тому пришлось переснимать триста метров, а того, кажется, положат «на полку»... И еще новость — был процесс. Состоялся наконец суд над тем типом, что погнал Иванцу в огонь, погнал ее за пятым или десятым дублем для своего бездарного фильма под претенциозным названием «Мы против тебя, Прометей»... Виножник получил положительное, и никто ему сейчас тут не сочувствовал: погибшую актрису на студии любили.

С прибытием тылов экспедиция закипала жизнью, получала возможность развернуться силами. Правда, время самого строгого режима еще впереди, когда не будет для них ни дня, ни ночи, когда побудка будет в пять утра, а за малейшее опоздание Ягуар Ягуарович не даст никому пощады. Еще впереди те минуты священнодействия, когда режиссер на площадке при как бы ритуальной тишине отзовет актрису в сторону, что-то шепнет ей почти интимно, доверительно, как напутствие перед полетом, и она кивнет в знак согласия: поняла, мол, а потом, внутренне преображаясь, войдет в свет, в этот силовой круг камер и юпитеров, и оператор, который часто перед тем ходил как сонный, какой-то словно дремлющий на ходу в своих мыслях, теперь с видом Чапая на поле боя, в дикий своей взлохмаченности выпрямится, зыркнет сюда, покосится туда, мгновенно оценит все. «Луч левсе, луч

правее!» — услышат осветители властные его команды и будут выполнять их быстро, умело, с готовностью.

Завтра начнется битва за то, что сейчас пока еще находится в стадии становления, еще почти бесформенно, подобно той первоначальной глине, из которой праотец когда-то что-то вылепил, изваял... Из поисков, из дискуссий, из пылких перепалок, доделок, переделок, из хаоса приготовлений и вынашиваний должны воссоздать тот мир, который из монтажного цеха выйдет потом на экран, к людям.

А пока что Ягуар Ягуарович, верный принципам гуманности, дает людям возможность отдохнуть с дороги, и друг Сергея — искусный бутафор шестого разряда — спешит к речке со спиннингом, допытываясь, где тут места непуганых рыб...

Сергей-оператор, голый до пояса, кинув рушпик через плечо, тоже направляется к речке, к своему излюбленному камню, к которому он каждое утро ходит заряжаться бодростью. Видно, что оператор в добром расположении духа, на ходу напевает что-то по-латыни, из всего можно разобрать одно лишь «аве», повторяемое на разных регистрах. Очевидно, этим «аве» парень пост хвалу чудесному летнему утру, речке и солнцу, небесному этому рефлектору, который дает такую полноту освещения всего окружающего — не сравнить с тем, которое дают диги... Речка шумит, как и всю ночь шумела, ровно, певуче, есть в ее шуме своя водяная музыка. Под кустами оливково-темное мелькание воды. Шум течения успокаивающий. С музыкой воды не диссопирует отдаленный щебет детских лагерей, раскиданных по берегу, где смуглеют школьники и дошколята, вывезенные сюда с разных предприятий района. Кто в палатках, а кто в легких дощатых домишках, украшенных узорчато-белыми наличниками. Выше по течению еще один лагерь строится вагоноремонтным заводом, строительство начали с того, что поставили огромную арку, под которой могли бы пройти римские легионы со всеми своими гладиаторами... Из лагерей временами появляются стихийные делегации пионерчат: «Дядя, что вы будете снимать?» — «Речку». — «Эту речку? А чем она знаменита?» — «А тем, что в ней течет мудрая живая вода с гор... И что из нее оленятки пили, в ней их мордочки отражались... Разве вы не заметили?»

Камни после ночи холодные, вода насквозь прозрачная, оператор забредает в нее по колени; нагнувшись;

обхлупывает себя до пояса, наслаждается,— его бодрит эта утренняя ледяная купель.

— Слава йсу!

Это товарищ Пищик, редактор фильма, подойдя с полотенцем, мылом и зубной щеткой, шутливо здоровается с оператором по местному обычаю.

— Навеки слава! — в тон отвечает Сергей своему коллеге — реально существующему редактору еще не существующего фильма.

Плотно сбитый, симпатичный толстячок, пачисто облысевший на честной студийной службе. До блеска отполированная голова, черпешковые усики, губки розовым бутончиком — это и есть товарищ Пищик, или «малюпусенький», как его в сентиментальные минуты ласково называет Сергей. «Малюпусенький» будет их тут редактировать. Жизнелюб, эрудит, сто штанов протер на студийных стульях, сто директоров пережил, этот человек знает какие-то секреты студийного долголетия.

Редактор смотрит на воду растроганно:

— Так вот это, Сергей, она и есть, «философская вода», в которую нельзя войти дважды?

— Она самая. Как раз с этого камня заметили когда-то, что все на свете течет, все изменяется.

Пищик, присев на гранитную глыбу, пробует зачерпнуть водички в пригоршню, но это ему не сразу удастся — брюшко мешает.

Сергей покрикивает басовито:

— Лезь в воду!

— О нет...

— Пушкин ледяные ванны припимал. После этого ему хорошо писалось.

— В этом мы не сходны с Пушкиным: где для него поэзия, там для меня — насморк. Хронический катар. А редактор должен беречь себя, чтобы не осиротить вас в самом начале восхождения на вершины.

Пищик, забавляясь, трогает воду пальцем и сразу же отдергивает, розовый бутончик губ вяжется в тихую усмешку:

— Какая прозрачность... Вот о ком бы я мог с уверенностью сказать: как редактор, я тебя насквозь вижу. Читаю твой текст и подтекст... Вон даже со дна просвечивают камушки.

Сергей, растершись докрасна рушником, тоже присел возле него.

— А ты в самом деле уверен, что видишь ее насквозь? Эту античную воду, в которую все мудрецы глядели, но только и пришли к выводу, что «я знаю то, что ничего не знаю»?.. И правда, какая красивая вода! Люблю самую фактуру воды... Этот ее шум гармоничный, ее утренние блики... А весенние потоки ты видел? Когда идет сила весны, наливает, заполняет все ямки, выравнивает все кривизны, приближает все к идеальным формам... Подкрадывается незаметно, где узкое место — появляется быстрина... Обо что-то зацепилась — пенек или ветка, — и уже там искрится, водоворотик сделался, мерцает ускоренное течение... Где вчера был бережок — уже струится вода, в ней — медью прошлогодние резные листья дубов. Железные. И из-под них травка живая, зеленехонькая, водичка ее шевелит... А вода растет, растет! Уже разлилась, дымится... Тени деревьев стоят в водной тишине... Пахнет жизнью!

— Просто панегирик в честь аш-два-о!

— Ты же только взгляни... Это не просто аш-два-о... Какая энергия потока! Это вечное движение, исполненное идеальной пластики, волновая динамика света, которая в своих бликах-переблескиваниях несет сейчас чистоту и свежесть жизни...

Сергей еще раз обдал себя водой, забрызгал и редактора, — тот даже отскочил, вскрикнув. Оператор, выбравшись из потока, стал на камне, еще раз растер себя рушником, тело горит. Пищик замечает похвально:

— А ты крепкий, Сергей. С задатками атлета среднего веса... Я думал, на тебе значительно больше жировых накоплений...

— Только железо мускулов. — Сергей, сгибал руку, демонстрирует бицепсы. — Аппаратура дает. Хочешь, возьму тебя аппаратуру таскать? Всесторонне полезное занятие.

— А кто же будет вас редактировать?

— Ах да, я об этом и не подумал. Без вашего брата мы пропали... Слушай, а какой у тебя стаж? По-моему, ты редактор с пеленок. Возник, наверное, раньше, чем студия?

— С тех пор как родилась она, с тех пор возник и я. И вовеки пребудем так, неразлучные. И с тобой тоже. Ты и я. Как положительный и отрицательный заряды, существующие только в единстве, по отдельности природа нас не знает.

— Ты, конечно, положительный?

— Ты слышал, как орнитологи классифицируют птиц? Есть полезные, есть вредные. Еще есть вредно-полезные и полезно-вредные... Так вот я, кажется, принадлежу к последним: согласишься, что от меня все же больше пользы, чем пользы.

— За это мы тебя и любим.

— Еще бы! Если бы ваша вгиковская мафия могла, она бы меня утопила в этой мелководной речонке. Я для вас «персона нон грата». Но что вы без меня?Пусти вас на волю стихии, вы же никогда не закончите фильм. Съедали бы сами себя в дискуссиях, сто раз на дню переделывали бы, меняли и выбрасывали и опять вставляли...

— А может, это и есть творчество?.. Бурление, поиски бесконечные. Ты заметил: даже рабочий-декоратор, иногда работая без эскизов, вносит что-то свое, оригинальное...

— Много шуму из ничего — вот что у вас без меня было бы... Вы ведь как дети, люди настроения, минутных реакций, мгновенных вспышек...

— Ясно: ты единственный среди нас воплощаешь трезвый голос рассудка.

— Мышление ваше импульсивно, торопливо, вам некогда сосредоточиться... Что увидел, что его поразило, уже этим ослеплен, уже захмелел: что до сих пор было — то не так, то все к лучшему, давай новый эпизод, новую сцену, он уже и забыл о том, куда должна вести всех вас надежная, прочная и утвержденная сценарная дорога.

— Но ведь наш Главный — человек целеустремленный, этого, надеюсь, ты не станешь отрицать?

— Целеустремленность его признаю. Особенно когда он становится за монтажный стол...

— Да, в монтаже он — бог. Из нашего брата не каждый, к сожалению, помнит, что монтаж — это не просто склеивание, что из множества возможных вариантов должны найти один наивернейший — безошибочный удар кисти художника. Кроме знаний тут необходима интуиция, дар предвидения, дар ясновидца. Именно тут и раскрывается, кто ты: художник или ремесленник. Ставишь рядом два кадра, отдаленные пространством и временем, определяешь их художественное соседство и должен безошибочно, сверхчувством, отгадать, какие ассоциации это соседство вызовет, если вызовет вообще... Даже хороший кадр тут может умереть или, наоборот, удесятерить-

ся в силе... Тут ты композитор, и от тебя зависит, бурю вызовут твои кадры или промелькнут, как незаметность, никого из зрителей не затронув, проплывут серостью слепой холодной ленты...

— Надеюсь, наша лента такой не будет. Имеем добротную сценарную канву, хотя...

— Что — хотя? Еще какие-то привез замечания?

— Запомни, Сергей, нет на свете сценария, к которому бы редактор не сумел подыскать хоть нескольких — к тому же дельных — замечаний. Иначе какой был бы смысл моего существования? Где даже удачно, посоветую сделать еще лучше. Совершенствованию нет границ.

— Что же ты посоветуешь нам на этот раз?

— Главный ко мне, к сожалению, не очень прислушивается. А я посоветовал бы ему выбросить одиэ эпизодический персонаж. Ну скажи, зачем ему тот Верещака? Тип, давно развенчанный и высмеянный нашим кино, отработанный, затертый... Но заупрямился, и все тут. А я ведь по дружбе делаю замечания, всякий раз стараюсь быть тактичным...

— Такт за тобой признаю... И все же Верещака не лишний для фильма персонаж.

— Не совсем современна природа этого конфликта. А вам надобно акцентировать на основной конфронтации сил, ведь не лирическая линия, а главная борьба непримиримостей — это контрапункт фильма, его двигатель. Вы же на передний план все время Шамиля и Присю... А с моей точки зрения... Ну, еще одна пара из множества разных Ромео и Джульетт, которые сейчас по всему свету бегают с экрана на экран.

Оператор смотрел на Пищика с грустью удивления, почти с жалостью:

— Человеке, неужели твоя душа обита звуконепроницаемой ватой? Неужели эта трагическая история двух любящих нисколько не тронула тебя?

— Я не сказал этого, не преувеличивай.

— Сколько на свете эмоционально глуховатых, а то и совсем глухих, и ты, о святое искусство, не можешь достучаться в бетонные бункеры их душ... Контрапункт! Конфронтация! И это ты будешь редактировать жизнь, кем-то пережитую, и мое восприятие ее! И вправду, утопить бы тебя в этих музыкальных водах...

— Не выйдет. Редакторы не тонут. А что ты, такой непостоянный, до сих пор не разочаровался в вашем

замысле — это на тебя не похоже... Рад буду, если извлечешь искру из пепла прошлого.

— То, что было, никогда не станет для меня пеплом прошлого. Это все — чьи-то муки и страдания.

— Но ведь ты дитя иного времени...

— Да, я человек иного времени, при мне земной житель впервые увидел свою планету из космического полета, увидел со стороны, почти отчужденно, боготворно, в венке голубого сияния... Это нечто новое, и я уже не могу мыслить старыми категориями, прикидываться, будто не произошло изменений в моей психике. Я и сам порой словно бы вижу свою планету с полета, смотрю на узоры ее материков и океанов и при этом чувствую что-то прекрасное до грусти, родное до щемящей боли... И когда смотрю, не могу не думать о том, что было и что будет.

— За те трудные мысли вам — сверхнормативная оплата?

— Шутка неуместная. Мещанской дешевизны шутка. Я действительно пришел в кино для того, чтобы мыслить, а не только покрикивать: «Стоп! Мотор!» Искусство — это размышление о человеке, размышление прежде всего, иначе оно лишено смысла.

— Да не только же это.

— Конечно, в этом лишь одно из его качеств, хотя и очень важное, может, коренное. Можно взглянуть еще и под другим углом зрения. Сегодня ночью спрашиваю одного теоретика искусства: «Как по-вашему, для чего оно, искусство?» — «А для чего дерево цветет?» — так он мне ответил. По-моему, гениально.

— Кто же этот теоретик?

— Сторож деревенский.

— Один из кинематографических дедов?

— Для чего дерево цветет... Здорово. Схватил самую суть искусства. Расцвет жизни, и размышление о ней, и хвала ей — все тут в синтезе, в сплаве, и он должен найти надлежащее проявление в фильме... Да, хотел бы я и себя высказать в этих пленниках и пленных, в их непримиримости, в их солидарности, в самом мотиве любви, расцветшей даже перед лицом зла... Во всем этом пусть будет наша полемика с тем искусством, которое теряет ощущение корня и цвета, теряет вкус к воссозданию человека, перестает быть поэтом человеческого...

— О-о! С этим я согласен, это мне импонирует... Жму руку!

— Это больше относится к Главному. Его мысли.

— И его в этом пункте приемлю, даже обнимаю...

— Финал фильма я дам крупным планом: взаимные объятия режиссера и редактора... Это будет неслыханный «хеппи энд»! Автор и редактор целуются под занавес, доводят растроганных зрителей до слез.

— Давай, давай, не возражаю, — засмеялся Пищик, выставляя поудобнее к солнцу свое брюшко: дискутируя, он не терял момента поймать определенную дозу утренних ультрафиолетов.

Не услышал, как на цыпочках подкралась Ярослава. Смеясь, она погладила своею красивой рукой редакторское отполированное темя:

— Малюпусенький! О, мо-ой, мо-ой! Дозы солнца принимаешь?

Пищик расцвел. Эта девчурка умеет пошутить приятно. С нескрываемым восторгом смотрел толстячок на Ярославу, на гибкостанную улыбатую музу в махровом куценьком халатике. Утренней свежестью, веселым доброжелательством веет от нее. Одно присутствие этого юного, совершенного создания словно бы делает тебя моложе, возрождает в тебе желание кому-нибудь на свете понравиться хоть немножечко! Это же просто счастье, что на студии в созвездии киноактрис появилась она, дочь гор, которая обладает не только внешними данными — идеальными пропорциями ног, талии, шеи, но и душой привлекает тоже... После того как тот дикарь сжег на дублях всеобщую любимицу, одну из ярчайших звезд экрана, некоторое время как бы пусто было в павильонах студии, и вот теперь зсмлячка ее приходит на смену погибшей подруге... Редактор, просияв, смотрел на Ярославу, и взгляд его теплел, будто согретый лучиками ее веселой приветливости.

— Смотри ж не перегрейся, Малюпусенький... И не заметишь, как обгоришь, кожа облезет, а в новой... будешь ли такой великодушный.

Сергей оборвал эту лирику, мрачновато обратившись к Ярославе:

— Малюпусенький говорит, что тебя надо подредактировать.

— О! В чем именно? — Девушка игриво окинула себя стройнопогую, взглядом.

— Неправдоподобно большие глаза. И неправдоподобно голубые.

— Благодарю за утренний комплимент. Я так редко слышу их от тебя, Сергейка!

— Не комплимент, а лишь рабочее уточнение. Замечена неправдоподобность. Отклонение от нормы.

— Не знаешь, почему? Специально для твоих крупных планов... Хочешь, после завтрака пойдем на луга? Там, говорят, появилось лошадиное пополнение, благодаря заботам Ягуара Ягуаровича.

— Ягуар... Мастер же ты людям прозвища давать! — посмотрев на Сергея, заметил Пищик. — И странно: Ягуар даже не обижается.

— Потому что мыслитель, — сказал Сергей. — По-моему, он замаскированный гений. Недавно он выдал афоризм, который я бы вырезал на дверях нашей студии: «Круглые бревна носим, а квадратные катаем»...

К речке подошла еще целая гурьба фильмотворцев, во главе с Главным, которому Ягуар Ягуарович что-то запальчиво докладывал на ходу, стараясь дотянуться через плечо до самого уха. Ярослава не могла сдержать улыбки, глядя, как проявляется темперамент милого их Ягуара Ягуаровича, кормильца и доставалы, человека, для которого не существует в жизни невозможного. Он, кажется, только для того и живет, чтобы взять на себя какое-нибудь задание, чтобы раздобыть из-под земли, чтобы и самому любым способом, а все же послужить высокому искусству. Скажите, что нужен фильму слон, и позавтрака увидите бенгальского слона, пасущегося над Быстрицей.

— Если нужно, могу договориться дополнительно о лошадях из цирка, — сообщал Ягуар Ягуарович Колосовскому. — Умные, дрессированные, все умеют... ложиться, вставать.

— Мне таких не нужно, — отшучивался Колосовский. — Достаточно этих, что вы разыскали: обыкновенных, работой надорванных кляч.

— Было хлопот... Сейчас легче достать откормленных, цирковых или ипподромных, чем лазаретных... и вообще коня вытесняет техника. А мы допускаем, что он молча, не оцененный нами, неблагодарными, безропотно сходит со сцены жизни.

— Вы правы, Ягуар Ягуарович, — горячо поддержал его Сергей. — Какого друга теряет человек! Сам приручил, сам воспитал, а теперь... Из всех созданий природы — вернее, природы и души человеческой — лошадь создание, по моему, самое красивое. Не говорю уже о роли

конской особи в истории. Чего стоят все ваши тамерланы и наполеоны без коня? Он — законный соавтор всех их подвигов, для меня, правда, сомнительных... Конь был верным товарищем и казаку в походе, и какому-нибудь идалго испанскому, который под стальными доспехами нес образ своей прекрасной дамы сердца... А наша красная конница! Ее победный топот в степях! Я уверен, что конь знает минуты вдохновения. Сколько в нем пластики, артистизма! С какой силой и грацией он рвет на лету воздух копытом, а грудь и ноги мускулами играют...

— Одним словом, гениальное создание! — уколола Ярослава Сергея.

— А что? Увидишь, кроме твоих ресниц я дам на весь экран прекрасные конские глаза в их раздумье, в преданности человеку. Пусть увидят снобы... Пусть подумает хозяин планеты: кого я теряю...

Все засмотрелись на речку, уже дневную, солнечную. Шумит вода, мерцает светлая волна, играет течение. Луга ярко зеленеют. Небо большое.

Ярослава, растрогавшись, положила Пищику руку на плечо:

— Редакторчик, милый, не сокращай небо это! И речку не редактируй, и луга...

— Редактируют уже, — обращаясь к художнику-декоратору, кивнул Сергей на раскинутый перед ними ландшафт. — Разве ж не в состоянии вдохновения была природа, когда творила вечную эту декорацию мира?

Ярослава, неторопливо ступая с камня на камень, пошла вдоль течения вниз и, не доходя до мостика, остановилась, а Сергей, паверно, пожалел, что нет при нем камеры: так выигрышно стоит освещенная солнцем девушка на камне, задумчиво глядит в воду, словно спрашивает: «Так что же все-таки закодировано в тебе, в твоём мерцающем быстротекущем свете?»

VIII

Двое шли по лугу, как дети этого неба и этого ярко-зеленого прикарпатского лета. Бабочка синяя летела, как трансатлантический лайнер: ровно, спокойно — над своим цветущим океаном.

— Каждая новая книга должна быть — как исповедь, — говорил он ей. — Каждый новый фильм — как

завещание... Выкладывай себя до конца, до полного самоисчерпания... По-моему, в этом вся суть...

Цветут луга! И кони, которые ночью, казалось, были все одинаково темной масти, теперь, под рефлектором солнца, стали гнедыми, вороными, буланым... Некоторые для съемок уже не пригодятся: нагулялись, крупы лоснятся, перекачиваются мышцы под кожей. Надо будет выбраковывать гладких, они не для фильма. Других придется подрисовать. Наложить лошадиный грим. Чтобы выглядели доходягами. Взлохмаченные, худоребрые. Чтобы раны гноились, как у тех. Отыскали, погоняли их отовсюду, чтобы был лазарет. Разные нравом: ласковые есть и доверчивые. Есть хитрые. Подходишь, а она прижмет уши, и глаз, сузившись, блеснет белком — сердится. Другая — старчески прогнувшись хребтом, стоит в своей лошадиной печали, и глаза с грустью глядят на тебя: совсем сиреневые!.. И все почему-то спутанные, хотя куда им отсюда бежать? Пути фабричные, из брезента.

Художники-декораторы сооружают шалаш для съемок. В общем неплохо выходит. Сеном укрытый. Только в сене цветочков много наткано искусственных, привезенных со студии: один из декораторов просит их беречь, он несет за них материальную ответственность. Дети из лагерей идиллическими стайками разбрелись по лугу, щебечут и там и сям. С сачками за чем-то госяются — синюю бабочку ловят... Оператор еще раз осматривает берег, взвешивая, что лишнее? Эти идиллические группки детей в счастливом щебете среди ласковости лета и ряды пионерских домиков, что выстроились вдоль реки, в зеленое окрашенные, бсеют узорами налличников, — их надобно остерегаться: гляди, чтоб не попали в кадр, не внесли фактуру иной жизни, приметы иного времени.

И дальше идут.

— Да, пусть мышление мое импульсивно и, соответственно этому, восприятие мира, но разве же не присуща эта импульсивность как раз самому нашему искусству, что в силу своей специфики дает жизнь, раскадррованную в динамических частностях... Не что иное, как именно этот буйный, нервный век, и стал отцом столь бурного искусства десятой музы! Оно — самое молодое из искусств, но и оно лишь канун появления какого-то еще более нового, еще более неожиданного искусства, которым будут удивлять людей амфитеатры грядущего... Они будут антично открыты и сооружены будут среди океана...

— Дожить бы, — улыбнулась Ярослава, а Сергей, шагая по траве, продолжал:

— Чудо кинематографа появилось после длительного затишья, после столетий генетической стабильности во всех давнишних искусствах, которые хоть и знали обновление, но не создавали новый вид. И вот родилось диво экрана, родилось, конечно, из блестящих достижений техники, но не только благодаря ей: была потребность духа, потребность времени, и если брать фильмотворчество в его лучших проявлениях, то это все же истинное искусство со всеми присущими ему свойствами. Оно научилось творить поэзию экрана, мыслить каскадами образов, оно способно одухотворять людей... Человеческое лицо в бесконечных возможностях его эмоциональных проявлений, тончайших нюансов, сила слов, света, музыки, красок — все соединилось тут под верховной властью художника... Могучую власть дает нам экран, но ведь он и диктует. Властители, творцы, мы в то же время и подчиненные своего искусства, ибо художественные законы его для нас выше всего.

Ярослава шла как будто и веселая, и в то же время он замечал: невеселая. Собирала колокольчики, складывая их один к одному. И оператор догадывается, для кого собирает она этот пасторальный букетик... Понесет и поставит ему в стакане с водой на окно.

— Странно: когда принесешь их домой, всякий раз замечаешь, что совсем они не такие, как здесь, среди трав... И не потому, что привянут, а просто, наверное, потому, что они растут здесь в самой природе своей, живут в ее настроении и, сорванные, уже не возвратятся в этот простор, в этот день. Немножко грустно, что ничто не вернется, ни этот день, ни колокольчики, ни лучи на траве... Все, все в одном мгновении жизни, дублей нет, дублей жизнь не знает!

Идя рядом с Сергеем, она улыбается — глазами, устами, и чувствует он, что улыбается не ему, представляет себе сейчас того, другого рядом с собой... В веселости ее — оттенок грусти. Замечали ли вы, что во взгляде девушки, когда она с нежностью смотрит на своего любимого или думает о нем, всегда есть что-то скорбное?

— Говорят, что человек, который был на фронте, стрелял, убивал, — совсем не такой человек, как тот, кому не привелось пережить это. Как ты думаешь, Сергей?

Между такими людьми — колоссальная разница в психике?

— Не знаю.

— Война, наверное, оставляет неизгладимый след в душе. В глазах некоторых из них — ты замечал? — печаль как будто скипелась. Боль, ставшая антрацитом. Так хочется иногда подойти и спросить: этот иней, что серебрится на висках... с каких он зим?

Сергея она ни о чем не спрашивает. Отдаленно слышала о его несчастливой любви, но причиной разрыва ни разу не заинтересовалась. Возможно, из деликатности: ведь в этой сфере никто не может быть судьей, зона запретная. И он тоже, конечно, не рассказал Ярославе, как защищал ее перед посягательницей на ее роль, какой ценой отстоял святой для него принцип искусства. Рану ту как будто удалось залечить, но не появилась ли вместо нее другая? Сергей даже перед самим собой стеснялся думать, что у него может вспыхнуть чувство к ведущей актрисе фильма, что и тут еще потерпит поражение, обожжется, однако все чаще ему словно кто-то издевательски нашептывал по ночам: «Влюбился по уши». Еще с тех пор, как снимал ее на пробах, в той сцене, где она чинит рубашку Шамилю, а потом неотрывно смотрит на него, спрашивая взглядом: «Кто ты? Кто ты и откуда?» Наверное, только у натур особенных бывает столько ласковости — в глазах, на устах, в голосе такого теплого тембра... То были прекрасные кадры — когда Сергей просматривал их, его не покидало настроение праздничности, с жадностью он изучал выражение ее лица, искринки света в глазах, в их переливах читал самые тончайшие движения души — души глубокой, щедрой.

— Завтра начнем снимать тебя, Слава... Это хорошо, что он решил начать съемки сценой на острове.

— Боюсь я этой сцены. И тех объятий, и тех распущенных кос...

— На этой детали как раз я настаиваю. Именно такой ты должна быть среди тех всполошенных серц, за которыми гоняются по всей округе шуцманы...

— Боюсь.

Сергей уже размышлял о своем:

— Неправдой было бы сказать, что, берясь за создание фильма, не мечтаем об успехе, о славе, о гран-при в каких-нибудь Каннах... Но ведь не только же это? Существует нечто намного выше этого?

— Может, потому и тревоги?

— Войди в настроение, в ситуацию, будь сама собой — больше от тебя ничего не требуется...

— Хочу быть правдивой.

— Это главное! Ведь в искусстве ничего не скроешь, оно беспощаднейший проявитель, с химической точностью проявит тебя, кто ты есть на самом деле. Если мелкая душошка, такой и предстанешь — мелкой. Себялюбец, эгоист самовлюбленный? Не скроешься. А если ты человек стоящий, способен болеть душой о других, не только о себе, то и в простейшем кадре, даже в паузе невольной раскроешься своей настоящестью.

— А какая же я?

— Ты?.. Маме скажи спасибо. Как-то тебе удастся, что тебя все любят... Почти все. Уживчивая, умешь личикой к каждому подкатиться, медовым словом внести дух умиротворения... Ну, да это не изъян, скорее напротив... Только вот собственной роли почему-то пугаешься...

— Валерий тоже переживает (Валерий — молдаванин, актер, который будет играть роль Шамиля). Я, говорят, о фронтовом человеке знаю не больше, чем о человеке снежном, гималайском...

— А сила чародейства, сила воображения? Ведь на то ты и артист, на то ты и творец, чтобы извлечь из небытия все те индивидуальности, которые полыхали страстями, воскресить интеллекты, каждый из которых носил в себе макрокосм!

— От детей я слышала, что где-то здесь геологи ходят, среди них женщина одна... Пятизначный номер у нее вытатуирован на руке. Я бы хотела с нею познакомиться...

Кажется, все интересует ее, кроме него одного. Спросила бы: «Что это за драма, какую ты пережил, какие рапы — а они свежие еще! — носишь в себе?» Ты ведь пропитательная, чуткая, тонкая натура. Почему же сейчас не услышу от тебя это несравненное, утешное: «О, мо-ой, мо-ой!» Ты же умеешь произносить его по-особому, как-то сладостно выпевая, оно звучит будто и шутливо в твоих устах и в то же время будит чувство серьезное...

— Мечтательность порой одолевает, — это, кажется, плохо? Хотела бы, чтобы снял меня кто-нибудь в фильме детской чистоты, чтобы в нем гудели для меня пасхальные колокола, а я маленькая, и сады цветут, и трава блестит в воде зеленая-зеленая. Всюду солнечно, и воздух

вокруг мерцает, вибрирует тихим звучанием тех колоколов, и все небо ими как бы играет, поет...

Он много знал о ней, до ярких реальностей представлял себе ее детство; вырастала в стихии творчества, сказать бы, в атмосфере народного артистизма, в которой создавалось все прекрасное. Вышивки, песни-коломыйки, резьба по дереву. Рисование кисточкой по воску. Яйцо становилось писанкой. Бездушное дерево приобретало человеческие формы, оживало в образах птичьего или звериного подобию, в предметах домашнего обихода проникалось настроением юмора или трагизма. Отец, кажется, уже не вырезывает, по специальности он — дорожник, прокладывает дороги в горах для лесовозов или в долинах ремонтирует трассы, строит мосты, а дедуня у Ярославы и поныне не бросает резьбу, он у нее знаменитый мастер: художественные изделия его побывали на международных выставках...

— Радуются ваши, что Славця их — артистка?

— Йой! Вся родня за меня переживает — и тут и за океаном... И за все я благодарна... ты знаешь кому... с вами по-настоящему поверила в себя, почувствовала, что способна все же на что-то...

«Ты почувствовала власть своей красоты, силу таланта почувствовала... Вот что такое любовь!»

— Как ты думаешь, Славця: может человек жить без любви?

— Наверное, да. Но я уверена, что мир при этом что-то особенное теряет и не является тогда уже сплошь прекрасным... Без любви, наверное, становится он будничным, обычным... И день этот станет простым днем, а солнце светить будет... как будто без лучей.

«Солнце без лучей... Какой страшный и в то же время точный образ...»

— Ты, говорят, пережил драму? Но ведь, верно, знал и счастье, которое предшествует драмам?

Он ухмыльнулся горько. Ведь было... Даже когда собирался позвонить ей — невольно прихорашивался... Как-то невзначай поймал себя на этом: подошел к зеркалу и давай... Ну и хорош же ты, брат, сегодня! Вечность до этого не смеялся, а тут ощущаешь, улыбка все время губы щекочет, сама дрожит на губах, и ты уже не в силах спрятать ее, неудачник несчастный, потому что и она, эта улыбка, лишь отблеск того, что происходит где-то там, в недрах души... Наивняка, еще ничего не знаешь, идешь

на свидание в розовых мечтательных своих очках, возрожденный, полный буйной силы, и легко ступать тебе по земле, и ощущаешь за спиной те крылья, которые когда-то описали классики...

— Да, впрочем, Славцу, тебе, кажется, все это знакомо?

Она остановилась в траве:

— Что ты имеешь в виду?

Сергей рубанул рукой по стеблю конского щавеля:

— Он, кажется, в тебя влюблен? И ты — любишь?

Ярослава смотрела ему прямо в глаза:

— Да. Он тот, кого я хотела бы любить.

IX

Рефлектор солнца сменился ночным светильником Ягуара Ягуаровича, верхние села, Золотой Ток и детские лагеря у реки уже давно погрузились в сон, а они все снимали и снимали. Никто не жаловался на усталость, не ссылался на трудовое законодательство, здесь работе отдавались не меньше, чем где-нибудь в горячем цеху, — для этих людей характерной была самоотдача. Радостно и дружно начинался их первый запуск, а это была добрая примета (тут в приметы верят, без разбитой на счастье тарелочки не начнется работа над фильмом). Все — от тех, кто священнодействовал у аппарата, и до тех, которые, сделав свое, продолжали стоять на чеку в сторонке, — чувствовали, что работа не пропадет попусту. Ягуар Ягуарович был просто счастлив, что осветители тратят сегодня электроэнергию на нечто действительно стоящее, значительное и волнующее, и если и возникнут потом трудности, то разве что при монтаже, когда будут выбирать, какой из дублей наилучший. В последний момент решепо было несколько изменить события, снимали сцену свидания Приси и Шамиля. Видно было, что Шамиль-молдаван уверенно входит в свою роль — рослый, белозубый, браваый в своей залатанной руками Приси гимнастерке, он находил точные интонации, держался с естественным достоинством, совсем натурально (как тот Шамиль), сверкал симпатичной широкой улыбкой, а что касается Ярославы, то она, кажется, не играла — жила. Когда вошла в свет, огромные ее глаза стали как венки. Два синих венка на белизне исхудавшего, измученного лица. Вся группа замерла в волнении, слушая, как она со всей

правдностью чувства спрашивала у любимого: «С каких ты гор? Как тебя правильно зовут? Какие песни тебе мама пела в детстве?» Кажется, эта воскресшая Прися совсем не чувствовала на себе света юпитеров, не слышала стрекота аппаратов, она жила в той, недостижимой для других сфере своей любви, которая делала ее, перволюбку, и счастливой и несчастной одновременно, ибо зародилось ее чувство в неволе, где суровая, неприязненная ночь могла в любое мгновение задуть его. Нет, на такую актрису не нужно было накладывать много грима, не нужно было останавливать процесс и поправлять, что-то подсказывать ей, само чувство, юное и всемогущее, вело Ярославу к той простой и глубокой художнической истине, что важно не казаться, важно — быть!..

— Истинная находка для студии! — шептал Пищик на ухо Ягуару Ягуаровичу. — Вот когда она наконец раскрывается.

— Звезда! Звезда, и все! — захлебывался в бурной радости Ягуар Ягуарович.

И если даже были здесь преувеличения, то их не обрывали, они не считались грехом в этой атмосфере творческого подъема, одушевления, где находки появлялись не раз при эмоциональной поддержке всех и общепризнанным было, что работа должна вестись именно на тех самых положительных импульсах.

Главного не оставляла серьезность, морщины напряжения не сходили с орошенного потом смуглого лба, искрился росой иней на висках. Чувствовалось, однако, что и Главный в душе отдает должное актрисе, которая в своей игре, уже в начальных кадрах, сумела взять верный тон, с проникновением войти во внутренний мир образа, воскрешая безоглядную в своем чувстве возлюбленную Шамиля.

Когда же наконец юпитеры погасли и можно было дать волю своему возбуждению, то даже Сергей-оператор (человек совсем не склонный раздавать похвалы тем, кого он снимает) не удержался, взглянул на Ярославу удивленно:

— Ты знаешь, что сегодня сделала?

— Ярослава, это было необыкновенно! — воскликнул редактор.

— В том-то и дело, что это было обыкновенно, — возразил Сергей, — обыкновенно до гениальности!

— О, мо-ой, мо-ой! — устало проронила Ярослава и коснулась еще загримированной щекой колючей операторской щеки. — Ты хорошо усвоил, что актеры лучше всего работают на положительных эмоциях... Благодарю за все преувеличения!

Однако оператор на сей раз, видимо, был уверен в своей объективности, так как, обращаясь к ассистенту, который вкладывал полученный киноектарт в коробки, предостерег:

— Ты ж береги эту сокровищницу! Ничего подобного еще не было в наших кассетах... Я ведь говорил: будут гениальные кадры! Они уже есть!

— Я за сдержанную деловитость, — ответил ассистент. — Не будем преждевременно ослепляться.

— А я ослеплен! И приветствую свое ослепление. С этих негативов появятся вещи — дай бог... Там есть один кадр, который не стыдно было бы вынести на суд худсовета в эпоху мастеров Высокого Возрождения...

Постановщик не осыпал Ярославу комплиментами, он после работы лишь пожал ей руку, но это молчаливое пожатие руки было для нее дороже слов. Уловила в нем чувство благодарности и веры и ободрение на будущее. Значит, он одобрял ее импровизации перед камерой! Он не запрещал их, напротив, даже поощрял, ибо это было ее творчество, ее звездные часы!.. Началось хорошо, но от этого у тебя не должна кружиться голова, ты должна воспринимать это скорее как стимул для себя и для коллектива, перед которым еще такая огромная работа... Впереди еще будут трудности, будут еще, может, и неудачи, не один, может, ролик полетит к чертям в корзину, но сегодня ты все же имеешь право пережить хотя бы мгновенное ощущение победы, творческой радости.

Ярослава была утомлена до предела; казалось, только добредет до школы, упадет и сразу заснет как убитая. Но, наверное, возбуждение давало себя знать, от световых ожогов резало глаза, как будто в них насыпали песку, и хоть завтра день обещал быть не менее напряженным, Ярославе не спалось, голова горела, каждый нерв трепетал, — актриса еще не могла опомниться от пережитого перед кинокамерой. Возбужденное воображение искало и находило все новые и новые оттенки интонаций, жесты, которыми следовало бы воспользоваться, воссоздавая на

съемочпой площадке чье-то чувство, отныне ставшее твоим.

«Пожалуй, Сергей был прав там, на лугу,— думала, устраиваясь на своей раскладушке в учительской.— Своим вопросом, может даже чуточку ревнивым, он, пожалуй, помог тебе познать самое себя, разобраться в своих чувствах... Неужели я все-таки влюбилась? — думала полусути и улыбалась в темноту.— Этого еще не хватало — влюбиться на съемках! Вспыхнуть чувством к тому, кто вряд ли разрешит себе ответить на твоё чувство взаимностью».

Окно открыто, высокий месяц плывет в облаках,— откуда они взялись, те облака? На крыльце слышен гомон, хлопцы не спят, курят, там еще идут оживленные разговоры, там еще — наезд камеры!.. веду панораму за нею... она в кадре у меня крупно... в визире вижу ее поистине вдохновенное лицо... там еще — кассеты да дубли, первый да второй планы, а ее это все уже не трогает, насторожилась только, когда Ягуар Ягуарович назвал имя претендентки,— оказывается, она опять атаковала их перед отъездом, прослышала откуда-то, что Ярослава якобы собирается отказаться от роли, «побоялась, что не потянет»...

«Теперь не струшу! Теперь чувствую, что смогу, все смогу!» Душа Ярославы ликовала от счастья, переполнявшего ее сейчас... А что, если и в тебя кто-нибудь влюбился сегодня? За то, что сверкнула талантом, что не подвела их всех... Ни рабочих-осветителей, ни того смешного Ягуара Ягуаровича... Что была правдива. Что нашлись в тебе какие-то неведомые залежи, россыпи эмоций, ранее неизвестные и тебе самой. Не манекеном ты была под светом юпитеров, не куклой, которую должны учить, как шагнуть, как выжать из глаза поддельную кинослезу... Была ты настоящей, была ты артисткой, ая! А разве ж за это не стоит в тебя и влюбиться?!

Вот так приходит к человеку чувство счастья, ни с чем не сравнимое наслаждение творчества и самопризнания. «То, что раньше было, то скорее забавы театральные, период студийности,— разрешала она себе думать и так.— С этим покончено. С сегодняшнего дня начинается артистка, и с экрана вам будет что увидеть, лучший бы вас не взял! А могло же и не быть этого! Могли бы тебя и не открыть, как этот открыл? Вот так бы и жила, и привыкла бы ко всему, притерпелась бы к штампам, перебегала из фильма в фильм, так и не испытав порыва

вдохновения, все мельчая в отведенных тебе ролях, а жернова будней спокойно и равнодушно перетирали, перемалывали бы твою жизнь... Никогда бы и не узнала, что кусты жасмина за окном могут быть так прекрасны под луной и что холодный ветерок, налетев с луга, совсем не холодный, он просто целует тебя в разгоряченное лицо...»

— О, мо-ой, мо-ой!.. — в сладостном изнеможении сами шептали уста, обращаясь в тихом восторге куда-то вверх, неведомо к кому.

Маму хотелось благодарить за то, что она тебе дала, что в душу тебе вложила, еще малютке. С детства в доме жило уважение к искусству, как к чему-то серьезному, значительному в человеческой жизни. Печатью красоты было отмечено все, что тебя окружало, все несло на себе знаки творчества: и колыбелька, в которой тебя качали, и печь изразцовая, и резная ложка с деревянным колечком, и мамины писанки, подвешенные на ниточках к посудному шкафчику... Весь род как бы сконцентрировался в тебе своею творческой силой, своими песнями-припевками, дедушным умением воплощать в куске дерева свои фантазии и мамным вышиванием на все способы — то «крестиком», то «пизинкой», а особенно же красивой гладью: по белому фону нежным плавным музыкальным контуром... Мастерница разрисовывать писанки, вышивать, мама сама вышила портреты Шевченка и Франка, и, сколько Ярослава себя помнит, висят они в хате под рушником... Когда была маленькой, каждое лето забирал ее дедуля к себе в горы, на полонину, учил варить в казанке кукурузную мамалыгу, излюбленную еду горных пастухов и лесорубов, которую они называют «пулента»... Неторопливый, раздумчивый, сидит, бывало, и подолгу смотрит вдаль. «Нанашку, что вы делаете?» — «Нич не делаю, только гляжу...» — и смотрит на горы. Часами. И они всегда другие для него. Уже и студенткой будучи, любила его слушать: «Если бы мы не сдержали монголов, никого из вас, нынешних, не было бы! Пошли бы они дальше до самой Португалии... Люд наш их тут остановил».

Сколько слышала еще сызмалу семейных преданий про мытарства людей своего края, про шифскарты, про агентов-обманщиков, которые отправляли куда-то на невольничьих кораблях для скота твоих теток и дядек, «людей в кожных»... Впавалку в трюмах душных, на

гнилой соломе... Болезни, угасание детей, которых потом растерзают акулы за бортом среди волн океана... Дядько Яцько, с горя напившись, в вывернутом кожухе буйствует на палубе, порывается к штурвальному: «Дай колесо! Я поведу! У меня чифкарта! Поведу вас в такую страну, где счастье есть, а не доллары ваши г...!» Потом манитобы да соскачеваны, биржи труда, батрачество и неприветливость прерий, где муж и жепа, несчастные гомстедовцы, впрягшись в борону, рыхлят свои акры, чтобы посеять на них зернышки пшеницы из домашних узелков... А когда рождается ребенок, то и там, в прериях, ему говорят: «Далеко отсюда есть у тебя родной край. С садами вишневыми, с соловьями, с хатками белыми...» Судьба народа — разве ж не отразилась она в тебе самой, в новой твоей судьбе? И разве же все то, что было, не помогло тебе сегодня воссоздавать перед объективом горечь и печаль неволи? Из всех тех источников ты пила, вся трагическая поэзия народа тебя вспоила, и это тоже дало тебе силу раскрыться сегодня в творчестве...

Только закрывала глаза — видела солнцем залитый луг, луг цветистый, полный жизни, в щедрой гамме красок — белых, васильково-синих, сиреневых, лиловых, что с дивным художественным вкусом переткались, персплелись на фоне сочно-зеленого (природа обладает таким тонким вкусом!), и колокольчики, и даже конский щавель, поднявшись над половодьем трав стройностью своих стеблей-соцветий с их как бы поднаеленной, терракотовой смуглотой, — ничто не нарушало гармонию красок. «Творчество — это любовь, прежде всего любовь! — думала она страстно. — Главное, нужно быть способным любить! С тех пор, как я это почувствовала, как я полюбила, — я стала артисткой! Мне теперь под силу творить настоящее, может, даже долговечное!.. Но какая ты сегодня! Как много на себя берешь! Для тебя сейчас нет недостижимого...»

Над лугом солнце, синяя бабочка по небу, как лайнер, а в цветистых травах, запутавшись в них, как в горохе, двое дошколят из числа Ярославских друзей — Петрик и Наталя — из соседнего лагеря. Он испугался какого-то жучка или осы, еще пемного — и захнычет, а девчушка стыдит его: «Какой же из тебя вояка будет? Тебе скажут: бери винтовку, лезь под проволокой, припадай к земле, а на ней там всюду осы, гусеницы... Что тогда скажешь: страшно?»

Засмеялась в полусне Ярослава. Вспыхнул вдруг, как образ самого солнца, крупный розовый цветок с золотыми ободками. Где она видела такой? В лепестковой чаше, вся в пыльце, трудится пчелка. Всюду радость разлита. Нектарный дух созидания, дух жизни... «Перед сном всегда буду вызывать в воображении этот солнечный луч цветистый и двух маленьких людей, увязших по самым плечи в цветах...»

И сама уже брела в том солнечном разливе лугов, топала в цветах, в щебете жаворонковом, в гудении пчелок, и кто-то, похожий на легкий ветерок, ласкал ее, обнимал, обцеловывал, и даже во сне она ощущала, как все тело у нее тает, будто снег под солнцем, тает она вся, становится бестелесной... «С каких ты гор? Кто ты есть? И как твое настоящее имя?»

Х

Латунный месяц летит в облаках по небу, газик брезентовый летит по земле, по мостовой меж вербами корнистыми, которым тысяча лет. В газике Ярослава, бледная, всполошенная со сна, рядом с ней Ягуар Ягуарович, он сам вызвался сопровождать ее. На почту мчатся. Только было погрузилась в сон в том счастливом экстазе после съемок, как ее разбудили. Бронек — девятиклассник, сын директора школы, стоял с бланком в руке, нереальный, как пришелец из сна:

— Вам телеграмма.

От родителей. Срочно вызывали на переговоры. И не из дома, а из областного города почему-то. Что там случилось? Внезапные такие телеграммы всего чаще предвещают недоброе. Что там могло произойти?

Пролетает ночь тенью верб, мерцанием воды, огнями далеких посздов. Не спит планета, газ горит над комбинатом, светятся цехи. Поэзия неба, привлекавшая ее с детства, сейчас настораживала полуночным величием. Почти с тревогой прислушивалась, как где-то в недрах неба глухо погромыхивает гром. Или, может, реактивный где-то там, за облаками, преодолевает звуковой барьер? Нет, это гром: молния мелькнула в небесном просторе — вертикальная, прострунулась по далекому горизонту, к земле.

— Подмигивает небо, не правится это мне, — говорит Ягуар Ягуарович. — Боюсь, как бы не выбило оно нас из

графика... Вчера целый день напряженной работы, коллектив наш работал до седьмого пота, а пленки получили всего на полторы минуты экранного времени.

Ягуар Ягуарович и сейчас чувствует на себе тяжесть ответственности. Никогда бы не согласился признать себя обычным исполнителем, во все, что делается, вкладывает душу, и это дает ему ощущение своей необходимости в группе. Не отпустил бы Ярославу одну в почтовую поездку, после вчерашних съемок чувствует еще более острую необходимость беречь нежное это сокровище, их группы хрупкий самоцвет. В самом деле, зачем ее вызывают? Может, вынуждена будет бросить все, и тогда стоп работа, к черту полетят все твои графики. Такой артисткой стоит дорожить, заботиться о ней, даже услужить ей не грех. И пусть выбор не зависел от него, но он уверен, что и его мнение учтено тоже. А с какой принципиальностью оттеснил он ту нахальную претендентку на ее роль: Агнесса в своих домогательствах не останавливалась ни перед чем, пустила в ход какие только могла связи... Ягуар Ягуарович не признает никаких компромиссов. Искусство прежде всего. Видел Агнессу, когда она дебютировала в другой киногруппе под протекцией своего мужа. Какой жалкой она становилась в окружении кинокамер. Глазок объектива, казалось, парализовал ее. Обычно узлы вязала из своего законного, командовала им как хотела, а на съемочной площадке ее было не узнать, роли решительно менялись: тут уже муж над нею владыка, унижает, последними словами обзывает публично, а она только ежится и неумно как-то смеется. Боязливым ненатуральным смехом. Грубости его сносит покорно, они ее как бы вовсе и не оскорбляют. Такова она, магия искусства: не имея таланта, женщина тут согласна стать рабыней, лишь бы попасть на экран! Наверное, только талант дает отвагу, уверенность в себе. Все сомнения, кажется, покидают Ярославу, как только она ступает на площадку. Здесь ее не увидят растерянной. Уметь так, как она, отрешиться от всего, не слышать рева лихтвагенов, сосредоточиться, прислушиваясь только к своему внутреннему голосу... Всякий раз другая появляется перед актрисой хлопушка с номером кадра... Ярославу это не касается, она живет в своем... Это нежное существо, все сотканное из девичьей ласки и доброты, в самом деле обладает силой перевоплощения, уже нет современных манер, образ приобретает настрой, наполняется страстью, сценарный намек подхва-

чен, он уже тонко, разнообразно и смело развивается в ее щедрых импровизациях...

Ведет конечно же Главный, для него важно не выпустить из рук штурвала этого художественного корабля, каждое мгновение должен следить за всеми элементами, отсчитывает метры, минуты, держит в поле зрения каждого, контакт его с оператором порой достигает уровня взаимного разгадывания мыслей на расстоянии. Коллектив слаженный, люди знают технику, возможности кадра, и вся эта битва за успех, вся эта каторжная работа с ее неожиданностями, импровизациями, доделками на ходу должна потом уложиться в полезные метры, в какие-нибудь сто десять минут еще одной человеческой судьбы... Все можно подсчитать, втиснуть в лимиты, не поддается учету только то, от чего, собственно, и зависит экранная жизнь фильма. Творчество — за ним здесь первое слово, ему, капризному, порой неуловимому, как призрак, подчинено тут все. Ибо только оно и способно шагнуть с экрана в глубины душ, что-то открыть людям, оправдать затраченные усилия.

Ягуар Ягуарович не из тех, кто преуменьшает свою роль во всех этих коллективных усилиях. Знает цену другим, по знает ее и себе. Его девиз: «Не отношусь к тем, которые круглые бревна посят, а квадратные принимают катать... У нас это распространено, но я сторонник иного стиля: круглое кати — на то оно и круглое... Смекай да смекай — на то у тебя и полушария во лбу...» Как примут фильм, какую категорию ему дадут, какой он получит прокат — все это для него было сейчас не безразлично, и все, собственно, начинается отсюда, зависит от тончайших перемещений построения актрисы. Пусть она сейчас далека от этих вещей, но ведь ты и об этом думать должен!.. Всяко бывает в их среде: перед ответственными съемками чья-то зависть умышленно может разбудить актрису анонимным звонком, чтобы не выпалась, разнервничалась, потеряла творческую форму... Может, и эта телеграмма такого сорта, голос чьего-то коварства, зависти или еще чего-нибудь в этом роде? Должен оберегать Ярославу, стражем ее спокойствия трясется в газике по мостовой еще цесарских времен.

— Не тревожьтесь, Ярослава... Все будет хорошо.

— Корю себя: пужно было все-таки заехать домой...
Ведь обещала...

— Не волнуйтесь, это главное... Поверьте моему опыту: почные телеграммы, как правило, приносят радостные неожиданности.

На почте долго ждать не пришлось. Телефонистка сразу соединила Ярослава с ее областным городом. Мамин голос в трубке.

— Что случилось, мамцю? Как ты в области очутилась?

— Гость у нас из Канады... Из гостиницы звоним... Вся родня собралась тут на провода, только тебя нету.

Дядько Яцько гостит у них. Тот самый, которого Ярослава знает только из писем, который видел ее только на экране, первую артистку в их роду... На склоне лет собрался проведать родные места, истратил на это, может, последние свои сбережения, «так жалест, что не повидал тебя, хотел твой голос услышать...».

— Как у тебя там, доню?

— Снимаюсь, мамцю! Все хорошо, чудесно!

— У тебя же ангина была... Не пей холодной воды, Славцю...

— Пью, мама,— засмеялась Ярослава.— Все пью! И холодное! И такое, как огонь!..

— Йой!

— Ныпе я счастлива, мамцю!.. Нашла наконец себя. Мы вам потом привезем наш фильм, в клубе устроим просмотр! — И сразу же: — Здравствуй, татунцю! — Слышала отцов рассудительный, ласковый голос... И веселый захмелевший голос старшей сестры Рузи, и жены брата, Танаси... Слышала родичей ближних и дальних — сколько их там собралось сельской семейной гурьбой в лучших апартаментах областной гостиницы!.. Один за другим подходили к телефону, выкрикивали что-нибудь веселое, кто-то даже пропел: «Ой, дрібуча коломийка, дрібуча, дрібуча!..» И наконец, дядько Яцько, тот легендарный для нее мореплаватель, что буйствовал юношей на палубе среди океана, вырывал руль и дрался с агентами, экзотический «человек в кожане». Была бы учинена расправа над ним на корабле, если бы не встали итальянцы да сербы в защиту, такие же обездоленные, как и он, искатели заработков... Старчески всхлипывал в трубку:

— Славцю, деточка! Так хотел тебя видеть... Утром ав'йон, улетать должен... Повидаться приезжал... Родной земле поклониться. Может, и не приведется больше...

Глотал слова, разволнованно бормотал, как о величайшем событии:

— Кривцу видел... И возле нее грушка та же самая!..

Говорил о том о сем, о родичах кровных, как их много, да как фэйпо они принимали его, и — снова:

— Та самая грушка у криницы, та самехонькая... А столько же лет прошло!

Слезы душили Ярославу. Родной человек! Кровный голос, прилетевший с чужбины!.. Не находила слов, какими бы выплеснула ему свои чувства... Бросить бы сейчас все и махнуть? Весь род многочисленный собрался, кроме тебя. Махнуть? Кинуться бы к Главному: по отпустит ли? Ни за что. Через каких-нибудь несколько часов опять съемки, те наиболее емкие минуты экранного времени, наиболее емкие, может, из всей твоей жизни... Да и сама ты согласилась бы разве прервать поток вдохновения, которого так долго ждала и которому нет и не будет ничего равного! Да, это — выше всего! Ибо это для всех!..

В конце только и смогла спросить гостя издалека:

— Каковы же ваши впечатления? Как вам наша жизнь?

Была длительная пауза, потом опять нечто похожее на всхлип, потом он ответил:

— Берегите эту жизнь. Другой вы не знали, той, что гнала нас по свету с торбами... Берегите же!

Еще и в машине долго не могла успокоиться, унять свою растревоженность. «Берегите же... Берегите» — все слышалось сквозь всхлипывания стариковские и принимало до боли, как итог чьей-то жизни, как завещание.

Уже светало, тучи громоздились по небосклону, словно продолжение гор. Начинаясь новый день труда, напряжения, распаленных страстей, находок и неудач, бесконечных дублей, день тугих экранных минут.

XI

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ-ГЕОЛОГА

(У пионерского костра)

— Я тоже там была, в камсполомнях Аджимушкая. В катакомбовой темноте, ставшей нашим бытием, тянувшейся куда-то в бесконечность. Среди тех, кто только из листочков перекидного календаря узнавал, что бег времени

не остановился, что и дальше продолжается летоисчисление дней, которые где-то там, наверху, сменяются солнцем, ветрами, поблескивают морем, оставляя нам только ночь, непрерывную ночь... Лошади, говорят, слепнут в шахтах, а мы не ослепли, мы при скупых светильниках еще видели себя, свои муки, лохмотья, одичалость... Тени подземелья с голосами людей. Была вместе с теми, кто сосал камень, добывая влагу. Я тоже, обезумевшая от жажды, долготерпеливо, по капельке, собирала влагу с пещерных сталактитов для раненых нашего подземного госпиталя.

До самого того дня, когда по штольням пронеслось страшное, зловещее:

— Газы!

В подземелье проникало какое-то ритмичное постукивание сверху, нам и в голову не пришло, что это компрессоры нагнетают газы. Женский вскрик всполошил людей: стало видно, как из полутьмы кольцами парастала густая волна, желтыми удавами двигаясь на нас, густела, сдавливала грудь, — и катакомбы, впервые от древних времен, взвыли нечеловеческим воем. Ужас обезумил людей, они задыхаются, грудь рвет, синеют, падают, с хрипением извиваясь в конвульсиях...

— Противогазов! Противогазов!

Масок не хватало, кричали дети и матери.

Как бы вспомнив, что, кроме катакомбового, существует еще иной мир, бросились толпой к центральному выходу, шланги били нам в лицо, вгоняли нам газ в бронхи, в души. Я бежала с чьим-то ребенком на руках, бежала без противогаза, прижимая ко рту себе и ему влажную тряпку, а когда вышла, он был уже мертв... Посиневшая, костлявая, стынула у меня на руках чья-то задушенная жизнь, — может, будущий астронавт... Компрессоры работали сильно, ритмично, в полуобмороке я видела тех, возле компрессоров, — они стояли между бурыми ноздреватыми камнями и гоготали, глядя, как мы выскакивали из норы, из тучи газа — фантастические, грязные, немые существа, полузадушенные подземные кроты...

Потом — степь в полынях и небо цвета седой привядшей полыни. Горькое небо, прогоркший воздух вокруг, — я еще выдыхала из себя хлор, еще и тут, в степи, он сдавливал мне грудь. Шагала куда-то и слышала под собою землю, наполненную в недрах живыми людьми, их

проклятиями, криком и стоном. Еще раньше наслушалась, что катакомбы тянутся от Керчи на много километров и, казалось, именно тут, подо мной, сейчас они пролегают, кричат людьми, что, задыхаясь, падают в клубах отравы, перед смертью сдирают с себя маски не действующих уже противогазов, молят: выведите к душникам... Вся подземность — в живых людях, в судорогах мук, в выкриках последних проклятий.

Может, я должна была там остаться? На верную смерть, на удушье? Была я молода, как вот вы, Ярослав, теперь, и была влюблена, и верила, что где-то живет моя любовь в матросской тельняшке... С женщинами и детьми выскочила в беспамятстве, а потом замучила совесть, что страх меня пересилил... Погнался почти животный инстинкт, когда увидела раненых, задохнувшихся на топчане, нашу Таню-медсестру увидела, разметавшуюся возле них на полу, и врача — бездыханную, златокудрую... Может, не нужно мне было высказывать, может, малодушной оказалась? Да, я негероическая натура, знаю это. Он бы остался. Как те четыре молодых лейтенанта, что, обнявшись, стояли под стеной у штольни и в последний раз — последний раз в жизни! — пели «Интернационал». Тот, кого я любила, кого ждала с десантом, в такой ситуации стал бы рядом с ними пятым. А я не остановилась, пробежала, подхватив чьего-то ребенка, обезумев от страха, выскочила... Грязная, во вшах, хорошо, что он не видел меня такую. И никогда уже не увидит.

Рыбацкие жены-керчанки спасли меня, никому уже не нужную медсестру, дали гражданскую одежду, и я пошла по степи на север, с ужасом оглядываясь время от времени на этот город кошмаров, на зловещую Митридатову гору. Нет, даже вообразить не могли во времена Митридата, что придется пережить здесь людям грядущих времен.

На север куда-то шла, одна под беспредельным небом, босые ноги после катакомб непривычно ступали по ровному, теплему, среди скупой растительности: солянка, верблюжья колючка, дюшан... И все мне было таким дорогим! Едва не кричала! Милый мне ветер! И этот куст курая, заячий холодок...

Компрессоры уже не нагнетают газ тебе в грудь, пьешь чистый воздух, целый океан его разлился под этим высоким и вечным небом, над степями да морями тавров. Сколько воздуха! Хватило бы его на всех, а то дитя

катакомбовое не имело глотка кислорода, в двадцатом столетии погибло от удушья... Выродки с синими глазами, чьи-то дети, чьи-то сыновья — раскоряченные стояли над нами у компрессоров-газокачек и, развлекаясь зрелищем, гоготали. Вот это потрясло меня тогда больше, чем газ.

Зимой, еще когда мы стояли на Кубани, привезли к нам партию пленных немцев, тяжело раненных, обмороженных. Особенно почему-то много было раненных в колени. Тут пужны длинные бинты, совсем чистые, стерильные, чтобы гипс накладывать. А у нас со всем туго: ни лишних бинтов, ни шприцев, ни глюкозы. И все же папа Златокудрая говорит моей подруге, Тане-сестре:

— Перевяжи.

— Не буду, — крикнула Таня — и в плач. — И сама не перевяжу и бинтов никому не дам! Вон наших бойцов везут с такими же ранами, своим не хватает, а это же фашисты... Убийцы!

Не стала докторша настаивать, разве ж не правду сказала Таня?

К вечеру, когда со своими уже управились, подходит ко мне Таня:

— Пойдем, взглянем на тех...

На немцев то есть — они в сарае лежали. Пошли, а им теперь стало еще тяжелее. Перевязок уже и не требуют, видно, понимают всё.

Таня говорит:

— Давай, Зина, хоть как-нибудь.

Позвали санитаров, припесли, положили одного на стол, осматриваем рану, а она бессильная, бледная — уже организм не сопротивляется. Смотрю, а у солдата глаза полные слез. Седоватый, не злой, не из кадровых, видно. Понимает все, и уже как бы смирился, не сопротивляется, скверно ему очень. Смотрю ему в глаза, которые словно прощаются с жизнью тихо, покорно, и думаю: «А что, если он антифашист?»

Подошла Златокудрая, говорит:

— Нужно бы сделать переливание... Но сначала попробуем глюкозу.

На этот раз Таня сама и принесла глюкозу. Но когда стали вводить, он... умер. И тут уже Таня не выдержала: расплакалась. Может, нервы, может, сказалось переутомление...

Случай этот вспоминался мне потом не раз: на порыв сочувствия, на слезы, какими обливалась Таня над их раненым, гурьба солдатки ответила нам гоготом у своих компрессоров-газокачек.

Недозадушенную, спасла меня тогда степь, голая, лысая, без деревца расстилавшаяся вокруг. Корила я себя, что не героическая натура, а бежала из катакомб, способная, кажется, только помогать при случае кому-нибудь да всем сочувствовать, да еще бежать способная. Бежать и бежать всю жизнь — к какому-то иллюзорному затишью, к любви, которая казалась тогда еще достижимой. Жажда жизни — этот один из сильнейших человеческих инстинктов, он, наверное, остался тогда единственным из всего, что во мне было еще не убито. Радовалась, что иду, живу, пью целительный степной воздух, который только и не могли отобрать у нас палачи, выкурив нас из каменоломен... Что меня удержало тогда? Те капельки влаги, губами насосанные из камня? Те копыта катакомбовских лошадей, которые мы, когда уже ничего не осталось, откапывали в дальних штольнях и бросали в коллективный казан? Или что-то другое удержало на свете? Все тогда, после тех почей подземелья, открывалось мне по-иному, казалось, что все вокруг — от заячьего холодка и до голубого величия неба — создано для меня, для моего счастья. Было невероятно прекрасным каждое проявление жизни — и стебелек полыни, и крохотная под ногами мурашка...

Так добрела я до родного города. Не узнала его. Еще в начале войны, когда участились налеты, все белые дома в городе были перекрашены в черные. Графитно-черным стал твой светлый, в роскошных акациях город над Днепром. А теперь еще и в руинах его увидела, в жестокости чужих приказов, в тревожной суете облав. Не знаю, как не разорвалось у меня сердце, когда однажды утром по нашей улице гнали пленных матросов, гнали с кандалами на руках, на ногах, и головы их были седые от ишеи, и голоса их бросали во все стороны нечто похожее на песню, хриплое и бесстрашное...

Воспоминание об этом, может, и удержало меня потом в лагере, когда выкалывали номер этот на руке, когда даже по почам на нарах чудился, звенел тот дорогой мне ветер, и вставало надо мной родное, бесконечное в своей огромности небо.

Задойджило, и съемки пришлось прекратить. Ягуар Ягуарович загрустил: заненастилося, может, и надолго. Правда, причина от них не зависящая: с неба лило и лило. Отяжелевшие ветви деревьев, зелень кустов, картофеля — все словно разбухло от воды.

Воспользовавшись вынужденным перерывом, Колосовский поехал по делам в город. Людей киногоруппы загнало в классные комнаты. Пакурено. Стучит по углам домино. Ярослав, склонившись над партой, играет в шахматы с Бронек-девятниклассником. Мальчик выигрывает уже третью партию подряд, и юного гроссмейстера это удивляет, ведь перед этим актриса легко его побеждала. Бронек сдвигает брови, напрягает всю силу своего интеллекта, выискивая какие-то ловушки, расставленные соперницей. Озабоченный игрой, он и не замечает, в каком настроении сейчас актриса, не замечает, что сквозь наигранную веселость у нее на ресницах все время дрожат слезы: чем-то обижена. А вуйна Доминика, хоть и изредка поглядывает в эту сторону, все равно душой чувствует: что-то с Ярославой неладно. Видно, переживает, что Колосовский не взял ее с собой... «Не знаю, допцю, чем тебе и помочь...»

Сергей развлекает ассистентов и звукооператоров тем, что загадывает им разные мудреные загадки, проводит сеанс под названием «Немного кабалистики»:

— Липколын стал президентом в тысяча восемьсот шестидесятом году, Кеппеди — в тысяча девятьсот шестидесятом... Какая получается разница?

— Сто лет!

— Преемником Липкольна был Джонсон. Преемником Кеппеди был... Джонсон. Джонсон родился в тысяча восемьсот восьмом году, Джонсон второй — в тысяча девятьсот восьмом. Какая разница?

— Сто лет!

— И Липколын и Кеппеди убиты в пятницу. Убийца Липкольна Уило родился в тысяча восемьсот двадцать девятом году. Убийца Кеппеди Освальд — в тысяча девятьсот двадцать девятом. Разница?

— Сто лет!

— Ну, и так далее. Как пояснить? Разве не странная цикличность?

— Вашу хронологию еще нужно проверить,— замечает один из ассистентов. — Кто-то допускает даже, что на земле бывают инопланетные. Какие-то таинственные «санитары» якобы очистили океанские острова, зараженные радиоактивностью, и там теперь погнала буйная растительность...

— Это тоже надо проверить,— высказывает сомнение звукооператор — бородатый юноша, который, как и некоторые тут, не брезгает от начала работы пад фильмом. — А вот о «летающих блюдцах» я сам читал в иностранном журнале... Будто в Южной Америке, в джунглях, опускались какие-то загадочные существа на фантастических аппаратах и забрали с Земли целое индейское поселение... не осталось и следа.

Компания поднимает его на смех:

— За распространение таких слухов человека надо было бы вести к психоаналитику... А еще лучше к психиатру!..

Вуйна Доминика, присев возле Ярославы, вышивает что-то «низинкой». Ярослава время от времени приглядывается к ее работе:

— Редкостный узор! Никогда не видела такого... Что-то в нем есть от старондийских орнаментов...

Вуйна Доминика заверяет, что у индусов не была и у них этого не перенимала.

Вокруг Сергея — уже в другом углу — бушуют страсти, там диспутанты бьются над проблемой, которая не впервые будоражит киногоруппу:

— А все же существуют ли «гены порядочности»? Подтвердилась ли версия, что биологи напали на «гены совести»? Или, может, в самом деле, как наш редактор говорит, — «совесть — это понятие совершенно диалектическое»?

— Я этого не говорил,— возмущается редактор. — Вернее, это сказал не я!.. Зачем выдумывать?

— Без выдумки нет искусства!

— К вашему сведению, товарищ ассистент: сейчас в искусстве как раз происходит инфляция выдумки! Растет ценность факта!..

— Правильно! Будущее экрана — это эпос фактов, поэзия документальности!..

— Ну и крикуны! — улыбается вуйна Доминика Ярославе. — Тот до леса, а тот до беса...

— Без этого не можем. Кто как умеет, так о своей маме и плачет...

А дождь шумит, плещет, оконные стекла слезятся, зеленые ветви черешен под окном набрякли водой. Никуда не выйти, сиди в этой школе, заточенный ненастьем неведомо насколько... Некоторые, истосковавшись, пристают к редактору:

— Будь другом, отредактируй небо! Заткни эти хляби небесные!..

К вечеру Сергей-оператор собрался куда-то идти. Вырядился, как на прием: белая сорочка, галстук... Правда, гармонию несколько нарушали резиновые сапоги и брезентовый плащ, который ему пришлось напялить поверх костюма. Друзья допытывались: куда? А он, напуская на себя загадочность, отвечал с веселым подмигиванием:

— Иду батяровать...

— Дождь, ветер...

— Это мне не помеха!..

Зачем-то прихватил свою портативную кинокамеру, заряженную перед этим, и отправился.

— Такой культурный, интеллигентный, а гуляка, — заметила вуйна Доминика. — Понесло его в такую слякоть... Где-то, видно, любку высмотрел.

Колосовский между тем был уже в том городе, в котором ему никогда не падоедало бывать. Где любил допоздна бродить почью по уцелевшим узким старинным улочек, подолгу мог стоять перед башней Корнякта, вслушиваясь в давно отшумевший гомон средневековых цехов, вчитываясь в каменную книгу ночного, в причудливых абрисах, города.

Вечером встретился в театре с актером, который будет играть Астронома. Затем в номере гостиницы долго сидели с композитором, советовались о музыке будущего фильма. Потом часы на башне строго отбивали блуждания его почные. Улочки, проулки, потемневшие стены минувших веков, аптека, в которой еще алхимик варил свое зелье, выискивая эликсир молодости, добывая философский камень... Все ушло бесповоротно. «Смерть, она тем и страшна, что после нее не вернешься, — говорил когда-то Решетняк. — Чтобы вот так — не было тебя, не было и вдруг вернулся...» А ты задался целью друзей своих возвратить. Еще только начало. Пока что небольшое достояние в кассетах. Что там? Еще не проявленный твой

медосбор, тот летучий экраный мир, который зажат сейчас в темноту негативов... Но уже он есть. Или, может, окажется совсем не тем, что ты ждешь, чего жаждешь? Ведущая, ядерная мысль фильма, предстанет ли она в надлежащей выпуклости образов, свежести, новизне. Хотел бы, чтобы каждая сцена воспринималась так, будто ее смотрят ясные очи детей или юных влюбленных, которые сами никогда не видели войны, но должны знать, какими глубокими бывают несчастье и воля к сопротивлению этим несчастьям. Чтобы в таком, ничем не замутненном, восприятии оживала твоя лепта с экрана. Правдивым должен быть каждый актер, каждая ситуация, каждое слово диалога... Музыка не забудет их, ее будет немного, суровой, грозной, как то время. При всей трагичности фильм не должен угнетать зрителя: тот античный катарсис — это не выдумка, он существует, он воистину способен очищать душу и придавать ей крепость. Еще далеко то время, когда ты станешь к монтажному столу, ощутишь запах кинематографического клея и через твои руки пройдут многочисленные миниатюрные кадрики, много сотен будет их, и ты будешь над ними властвовать, будешь переживать наивысшую радость созидания. Потом, подобранные начерно, побегут по экрану еще в безлюдной проекции не очищенные от технических пометок, бессвязные, еще без звука, — только тебе да твоим коллегам понятные... Часто будешь видеть на кадрах черного материала лицо девичье, что так по-новому раскрылось, порадовало уже на первых съемках.

Ярослава не обманула твоих надежд. Узор ее роли несет на себе дыхание истинного, неподдельного творчества, интенсивность внутренней жизни. Ценишь в ней эту богатую игру воображения, актерский азарт, творческую отвагу, которая как бы возникает, взрывается стихийно, хотя стихийностью и не является!

Для кос-кого из режиссеров актер кино — это нечто похожее на ту первобытную глину, в какую ты должен — почти силой гипноза — вдохнуть душу, запрограммировать в ней частицы своего замысла. И не особенно, мол, тешь себя иллюзиями о перевоплощении — ищи прежде всего типаж!.. Но ведь актриса — не манекен, она сотворец, и в этом ты еще раз убедился: Ярослава способна мыслить на экране, способна глубоко и самостоятельно жить, развивать, дополнять замысел... В возможности

Ярославы поверил из случая, казалось бы, незначительного. Однажды волна дискуссии вынесла Ярославу на трибуну, — это было для нее, наверное, впервые, — очутившись на трибуне, волновалась очень, по больше, чем смятенные ее слова, поразило Колосовского другое: рука актрисы. Смотрел на эту, спрятанную за барьерчиком трибуны, худую, трепетную руку и все время наблюдал из-за спины, как она в самозабвении мнет какие-то листочки бумаги, то слегка поводит пальцами, то вдруг сжимает в кулачок, вижет в воздухе какие-то узоры, и вся — из одних только нервов соткана, — пульсирует, живет настолько выразительно, что, казалось, даже не слыша слов, все сказанное мог бы прочитать по этой почти интимной жизни руки, по ее трепетному пульсированию, которое с точностью фонограммы передавало тончайшее движение мысли, настроения, страсти, воссоздавало как бы даже самое красоту дикции актрисы... Впервые тогда подумал: «Может, эта? Прися Байдашная, может, перед тобой?» Представлял ее антифашисткой в условиях подполья, и медсестрой на фронте, и юной полонянкой — и чувствовалось, что все по ней...

И вот играет.

Он видел в эти дни, как хмелила Ярославу раскованность собственного темперамента, творческая ее фантазия находила именно то, что пужно было найти, страстью героини горела душа актрисы, она совсем естественно, без усилий, становилась той, кого должна была вывести на экран. Есть в ней именно то, что ты искал: многообразная психологическая гамма чувств, внутренняя углубленность, понимание характера девушки из народа. Натура героини прочитывается в каждом ее взгляде, в каждом жесте... Невольно радуешься, глядя на это лицо, одухотворенное творчеством, прекрасное юностью своей. Любимица киногоруппы, что она все порывалась сказать тебе своим волнением, своими впезапными, будто беспричинными, переменами настроения? Всякий раз то гаснет, погружаясь в грусть, то идет навстречу тебе сияющая, с лицом, которое лучится глазами, открыто, небесно светится радостью и влюбленностью... Такой подошла к газику сегодня, когда он собирался уезжать в город.

— Возьмите и меня.

— У вас есть в городе дела?

— Просто хочу быть с вами. Пусть думают, что у нас завязался производственный роман. — Сквозь веселую дер-

зость во взгляде ее пробивалось и что-то серьезное. — Кое-кому ведь представляется, что между мной и Главным, да еще в экспедиции, непременно должен возникнуть интимно-производственный контакт... У итальянцев, да и в Голливуде кинороманы такого типа, говорят, очень распространены... Дают якобы взаимное вдохновение...

— И вы согласились бы принести себя в жертву вдохновению?

— А почему бы и нет? К тому же, может, я и в самом деле влюблена...

Взял ее руки в свои, глянул в глаза, — кажется, даже слишком сурово:

— Славцю, девочка: слишком люблю вас, чтобы позволил себе с вами банальный производственный роман. У вас еще все в будущем...

С тем и уехал. Боль, даже обида отразились в тех, еще сияющих преданностью юных очах... Ты тоже когда-то был такой. Теперь все чаще твои глаза несут предвечернюю сумрачность. И в душу приходят непрошенные гости. Вот утром еще были шутки и смех, и сразу, как туман, грусть на душу накатила... Живешь только замыслом, работой, ею одержим. И этот фильм, он еще прибавит тебе седины... Надвигаются осени сипие, терпкие, как терн....

Но этот неуместный дождь! В школу загнал па простой весь табун киногоруппы... В дискуссиях ломают копья, опять доискиваются, наверное, существуют ли «гены совести» и «гены порядочности»... Некоторые так и ходят, как были декорированы для съемок: латанные гимнастерки, лохмотья пленных, а на ином сермяга. Тут пока сухо, дождь сюда еще не дошел. Но и он не загасил бы этой купы живого сипеватого пламени, над которым ты сейчас стоишь. Вечный огонь, колеблемый ветром, налетавшим из темноты ночи. Выбивается, как из недр земли, горит и горит разветренный цветок человеческого бессмертия. Вуйна Доминика, смолоду еще потерявшая мужа на войне, до сих пор не может представить его себе истлевшим. «Одна в хате, и подушка моя не высыхает от слез, по ждате его буду, пока я живу...» Вечным огнем пылают твои побратимы. Пылают ваши девчата, что с Кубани пошли с матросским десантом па Керчь и не вернулись больше... Горят, не сгорая, огрубевшие солдатские

руки, что так и не успели обнять любимую, обнять нежно, как лепесток...

А утром, в гостиничном кафе, раздумье твое нарушает чья-то рука, неожиданно опустившаяся на плечо.

— Колосовский?

Видишь расплывшуюся улыбку, лица цветущий овал. Голова полуоблысела, но со старательно зачесанными набок волосинками. Будто каждая на учете.

— Неужели не узнаешь? Верещаку помнишь?

Холодом неприязни повесило сразу, давшим запахом карболки... Потолстел, осанка появилась...

— Садись. Кофе хочешь?

— Мерси, уже позавтракал, заморил червячка... А я тебя сразу узнал. Уже минут десять за тобой наблюдаю из угла. Снежком времени тебя немного припорошило, а так будто и не очень изменился.

«А вот ты так основательно изменился... Лицо палгло самодовольством, посвежело, только глаза остались такие же выпученные... Вид опрятный, респектабельный, вид человека, совершенно довольного своим существованием...»

— За это время стал, наверное, профессором ветеринарии?

— Нет. Но с лошадьми не порвал, на ипподром пристроился... А здесь в командировке. О тебе мне все известно. Внимательно слежу за твоими успехами в кино.

— Не такие уж и успехи...

— Не прибедняйся, хотя скромность, конечно, украшает... Прессу читаю и в флпмках не раз видел твою фамилию. Но позволь тебя и покритиковать. Ну,obeliski ты любишь снимать, это я понимаю: память сердца... А Овидий тот, на что он тебе сдался? Нашего материала мало? В любой парсуд зайди, всяких историй там — бери, гребь... А то допотопные цитатки какие-то, словечки про античную Колыму... Да кто тех римлян сейчас читает? Для декорации на книжных полках — и все. Современных и то мало кто понимает, да еще поэтов. Век прозы, брат, век телевизоров! Будней кипучих, активных, таких, что дух перехватывает!.. А ты со своим Овидием.

— Я Овидия, собственно, еще и не спимал. Только мечтаю когда-нибудь вернуться к нему. Фильм был про крепость, про башню Овидия...

— Это еще хуже. Хотя я и член общества по охране, но... ну, не буду, не буду! Не смотри только так, не хмурь

люб... Лучше заглянул бы со своими камерами к нам на нпподром, скоро будут большие бега... Со всех конных заводов съедутся на соревнование. Музыка, оркестры, всадники в национальных костюмах будут открывать парад... Идут настильной рысью девчата в шапках кудлатых на ахалтекпнцах, на карабаирах — чистокровках!.. Там будет что хватать на пленку! Заглянешь?

— Я занят сейчас.

— Опять какие-то памятки исторические?

— Художественный снимаю. Про хлопцев наших. Про Байдашного и его сестру...

— Еще, может, и меня там где-нибудь вставишь... — Верещака довольно засмеялся. — Только уговор: не пресумали мою роль во всех тех событиях... Да и свою тоже. Потому, что, по правде, так тебе там принадлежала первая скрипка, фактически ты был комиссаром. Нечего Байдашному все заслуги приписывать. Скорее не ты был при нем, а он при тебе, хотя формально и считался он командиром...

— Оставь. И не выдумывай. Ты же знаешь, что командиром был все-таки он, Байдашный, — зачем же выдумываешь?

— А кстати, где теперь тот ваш Байдашный?

— На далекой заставе. Был командиром и сейчас командир.

— Пофортунило. Только еще раз скажу, что твоя скромность тут лишняя. Помнишь, как мы ходили полицию разоружать? Сколько мы их брали тогда каждую ночь у большака, когда они с возами барахла повалили на запад... Байдашного я в те почи и не видел. Или тех факельщиков, что заскочили хаты поджигать, — это ж вы их с костромским да с Решетняком перестреляли в Ковалях? И скажу: напрасно вы тогда не пошли добывать документы про партизанство...

Колосовский хорошо помнил тот день, первый развихренный день после освобождения. Верещака бегал, суетился, за полы хлопцев хватал: «Надо в район мотнуться. Там уже власть есть, партизанские справки выдадут... Айда по горячему, а то потом забудется, свидетелей не найдешь!» Что-то унижительное было в той его суете, в призывах — как можно быстрее запастись охранными грамотами. «Не пойдем, — заупрямились хлопцы. — Какого черта где-то там пороги обивать».

«Так действовали же! За такое партизанские документы полагаются». — «Не ради документов делалось, —

ответил тогда Решетняк. — Совесть чиста, разве мне этого недостаточно?»

В тот же день и пошли, вместе все, только не в район, а в запасной полк.

— А я таки оформил, — рассказывал Верещака. — Понимаю вас, думали, наверное: войне конца не видать, сто раз убить успеют, зачем те документы?.. Ан, вишь, остался живой, и теперь пригодились бы для биографии. Я не из тех, кто свои заслуги разбрасывает: они у меня всеми печатями подтверждены.

— Ты еще долго там оставался?

— Да надо же было кому-то порядок наводить. Вы мигом на фронт за орденами, а Верещаке еще там все распутывать довелось.

Когда шли из запасного полка ночью к Днепру, Решетняк, правда, отлучился, но не в район, а домой, к Катре. Успел, сбежал и в ту же ночь, на рассвете, догнал свою маршевую роту. Молчаливый был, опечаленный. «Сына увидел, дал наказ, и пусть растет...»

— Знаю, как туго вам тогда пришлось, — говорил тоном сочувствия Верещака. — Сколько «черной пехоты» тогда на правом берегу накрылось... Это же там и Решетняк погиб?

Там. Не вообразить даже этому Верещаке, как шли в наступление там хлопцы. Одну из ночей так и называл бы: ночь Свиста. Поднятые свистом в атаку, штурмом попили на траншеи, вдирались в окопы с молчаливым бесшумством, бились врукопашную... За все, за все расплачивались жизнью и кровью... Никогда не вообразить тебе, Верещака, тех подвигов ночных и дневных, когда Холодная Гора низверглась на врагов раскаленной лавой пенависти и мести...

— Много будет боев в твоей картине?

— Выйдет фильм, там увидишь...

— Люблю, чтобы гремело. На земле чтоб и в небесах... Это правда, что гром можно передать грохотом листового железа или сыпнув горохом по барабану?

Колосовский поднялся, потемпевший:

— Должен идти.

Еще в номере гостиницы ему чудился нестерпимый запах давнишней ветсанитарной карболки. И зачем только этот тип тебе здесь встретился? А ведь он тоже один из будущих цепителей твоего фильма...

Тут еще светило солнце, и потому было просто похоже на шутку, что в это именно время откуда-то — совсем не издалека! — телефонируют, просят прислать амфибии. Ливень, циклон, паводнение! Идет вода неслыханной силы, топит, заливают горные и подгорные районы... А верить не хочется, ведь солнце вверху светит, и мяч летает над волейбольной площадкой военного городка, и хлопцы в новых гимнастерках собираются, кто получил разрешение командиров, в город, к девушкам на свои еженедельные свидания...

— Амфибий!

Немедленно была объявлена тревога. В считанные секунды, предусмотренные для этого, вывели из боксов тяжелые военные машины.

— По асфальту?!

— Давай!

Вот теперь наконец поверили.

Обгоняя своим газиком амфибии, Колосовский пристально вглядывался в тех, что двигались, поднятые по тревоге. Сосредоточенные, посуровевшие лица солдат. Худощавый юноша-офицер стоит возле открытого люка, взгляд устремлен вперед. Колосовский невольно ставил себя на его место. Кто он? С каким чувством идет на еще неведомое ему боевое задание? Может, это первая в его жизни тревога. Первая не воображаемая, не учебная, а настоящая... Может, этот юноша даже ждал, чтобы наступил этот миг, который раньше или позже неминуемо должен был для него наступить. Есть в ней холодный привкус опасности, неизвестность, тайна, и уже приказ зовет тебя в эту тайну, которая вскоре возьмет твою жизнь на какое-то доселе неизвестное испытание. Дети своих отцов, сыновья твоих ровестников. Чей он сын? Вон тот, что выглядывает из открытого люка? Как разворачивалась лента его совсем еще юной жизни? Все ли счастливо складывалось? Знал ли отцовскую ласку? Или мальчонкой видел, как мать читала фронтовую похоронку?..

Мчится — еще при солнце — отряд амфибий. И хоть еще светит им солнце, но каждый уже замечает, что в той стороне, где должны быть горы, небо какое-то странное: сплошь темнеет разлитая по нему далекая грозная синь. Освященная солнцем, она от этого становится еще грознее, зловещая, тревожная. Затишье, но оно какое-то

псестественное, педоброе, таящее в себе напряженность. Юноша, которого ты видишь на марше, с каким чувством встретил он это по-военному брошенное грозное слово: циклон? Внутренне собранный, застывший в напряжении. Тревога, так внезапно ворвавшись в равновесие его для своей первой настоящестью, заставляет задуматься, взглянуть и на себя как-то иначе. До сих пор он принадлежал к тем, кого словно бы не очень и замечают, вспоминают больше в праздники, отмеченные салютом; для кое-кого из девушек-горожанок ваши казарменные будни кажутся, может, малоинтересными, даже скучными... Зато когда вот так взорвется тревогой даль: «Амфибий!» — тогда первая мысль о тебе.

Рвут гусеницами асфальт, мчатся вперед на предельной скорости. А вокруг это странное затишье. В центре циклона бывает порой такое затишье, образуется так называемый «глаз бури». Может, мы как раз и движемся с вами сквозь самый «глаз бури»? Мчатся, по сухому еще, зеленые водоплавательные машины. Меж встревоженных горизонтов, набухших синими тучами. Грозовая сечь близится, и вот уже солнца не стало, навстречу побежали тени, день померк, потускнел...

Циклоны являются без предупреждений. Разбушевавшись где-то стихия, в темные бурлящие недра ее вскоре будут брошены и ваши жизни. Все чудовищное врывается без предупреждений, и вдребезги разбивается устоявшийся порядок дня, не состоится что-то свидания, недочитаемыми будут отброшены книжки, на полуленте оборвутся фильмы, — все падает в своей значимости, мелькает, отступает на задний план, растет только эта грозная правда циклона, правда стихии, дыхание которой уже слышно... Не признавая границ, циклоны ходят по всей планете. Еще когда тут по лугам, среди цветов, в половодье солнца детсадовские воспитательницы водили стайки щебечущей ребятни, может, тогда с космических высот уже было кем-то замечено, как зачинается бедствие, как где-то на широтах Атлантики уже начинает формироваться циклон. Ученые различают несколько стадий его развития: стадия волны, стадия молодого циклона, стадия развития максимального... Сначала, как бы неуверенно, возникают над голизной океана чуть заметные завихрения, неведомым толчком вздымают волны в той самой фронтальной зоне, где массы теплого воздуха столкнулись с холодным, и колоссальная, не поддающаяся измерению энергия темпе-

ратурных контрастов, развиваясь как бы спонтанно, все грознее проявляет себя, постепенно формируется «глаз бури» — район депрессии, предельно пониженного давления. Двигается огромный колодез пустоты, окруженный тысячекилометровым кольцом циклонических стен и сплошь бурлящих туч, где все кипит, закручивается спиралями на вихревых вращающихся скоростях, и вся эта разобщенная, пришедшая в неистовство сила природы, нарастая, приобретает силу ураганов.

Несколькими месяцами раньше весь юг страны был сотрясен ураганными бурями, которые, неистовствуя более недели, поднимали на воздух сорванные верхние слои почвы Кубани и тучами несли их на запад, тогда в европейских столицах и где-то даже над городами Скандинавии выпал черный снег. Снег вперемешку с пылью. Теперь, в разгаре лета, с других широт надвигался отяжеленный атлантическими водами темный гигант, один из тех, за которым, верно, наблюдали все синоптики мира, отмечая, как он угрожающе растет, разбухает. Зацепил Балканы. Прошел над морем. Наконец забрел в этот угол между громадами гор и остановился, завис, застрял меж Бескидами, разряжаясь своим вавилонским ливнем.

Его приближение загодя почуяли и звери и птицы. Теперь, встав с циклоном один на один, человек должен помериться с ним силой.

XIV

Небо прорвалось, ливнем шумит ночь, а в Нижних Адамовцах в это время играют свадьбу.

Пусть дождь и темень за окном, пусть циклон там или не циклон, а тут дом полон музыки, тут люди должны свое отгулять! Среди хмельного застолья сидит и гость от тех, что делают кино, что отаборились в школе на подгорье: «пан Сергей», кинооператор, пришел поздравить молодых. Зажатый между сватами на широкой скамье, задумчиво слушает гомон, вылавливает кадры. Хата цветет ружниками. Свадьба бурлит весельем, в молчаливом экстазе млеет трио музыкантов, — ах, была бы на все это кинокамера с зарядом сверхчувствительной пленки! Человеческая душа безбрежна, до конца она непостижима, и люди, может, тем и прекрасны, что способны вот так

широко радоваться чьему-то счастью... Раздумье в глазах невесты, раздумье юности и прощание с жизнью дотеперешней заснимите, и как я росла-вырастала, как купалась в солнце, в белом цвету садов черешневых, а нынче, дозрев, смущенно трепещет душа в предчувствии праздника любви... Вот мой суженый, рядом со мной. Далеко был, но и оттуда тайно прилетал по ночам в девичьи мои ожидания, ласкал меня... Любили мы с ним друг друга в снах, полуснах. А сейчас он рядом — затвердевшая от работы рука его в преданной моей руке...

Справляет свадьбу Стась, молодой рабочий с комбината. Сухолицый, с темными усами, шея загорелая, прямая... Совсем трезвый сидит за столом. Рядом с ним в свадебной фате хрупкая молодежь Анця, которая ждала его, нареченного, и тогда, когда он был где-то там... отсюда не видно. Был с ним тяжелый случай, сбил пятитонкой человека на горном повороте и за это отбывал положенное. Вернулся, думал — не ждет, а она ждала. Теперь на свадебном пиру со своим счастьем рядышком сидел, а был чем-то опечален.

— Что с тобой, Стаську? Не запедужил ли, часом? — допытывалась посаженная мать.

Вдруг жених вскочил, остановил музыкантов:

— Не хотел! Верьте, люди добрые, не хотел! — В голосе боль, сухое лицо горит, опаленное горем. — Но машина была новая, и завгар, выпускающая, предупредил: «Гляди в оба! Первый выезд!» И еду да все думаю, первый выезд, не помять бы, не стукнуть бы. И когда встретил того, с рюкзаком, на шляху, а скользко же было, и должен был выбрать: или в столб да под откос, или... Если бы пустил на столб, мотор бы расплющило — и все, а так...

Машина почему-то не пошла на столб, на того пошла... И долго потом в камере грыз себя: почему же произошло так? Почему, выбирая — на человека или на столб, человек или машина дорожке, ты выбрал машину...

— Хватит тебе, хлопче, — утешали его. — Не кручинься тяжко, выпей чарку да поцелуй любку, — горькое уже позади!

Он не пил, а снова за свое:

— Больше всего обожгло меня на суде, когда мать его увидел. Думал, смерти моей потребует, а она встала да словом к судье: «Не судите его тяжко, граждате судьи. У него мать, и девушка ждет... Разве ж он хотел?»

Так и онемела вся свадьба, когда жених, выбравшись из-за стола, вдруг опустился на колени посреди хаты, умоляющий, с глазами, полными слез:

— Простите мне, люди! И ты, Анцю, прощаешь ли мне?

Не хотели смотреть на такое. Хлопцы-друзжки подхватили его под руки, выпрямили:

— Хватит, хватит, Стасику!.. Главное, что тот выжил!.. Играйте, музыканты!

Старший из музыкантов, чернобородый цыган-скрипач, шельмовато играя белками глаз, ударил по струнам смычком. Взвихрились юбки, растрепались парубочьи чубы.

На стене перед кинооператором среди разных картинок — один из Мамаев старинных. Сергей заметил его сразу, только вошел сюда. Потемневшее от времени полотно, настоящий Мамай работы неизвестного народного мастера. Сидит, по-восточному поджав ноги, традиционная бандура лежит на коленях, а на круглом, с сухим румянцем, лице все та же чуть приметная, тонкая, никем не разгаданная усмешка кудесника-чародея. Красивой причудливой плязью текст, который можно бы назвать подтекстом: *«Гей, гей, як я молод був, що то у мене за сила була, ляхів борючи і руки не мліли. А тепер і вош сильніша здається. Плечі і нігті болять, як день попоб'єшся. Так-то бачу недовга літ наших година, скоро цвіте і в'яне, як в полі билина. Хоч дивися на мене та ба не вгадаєш, звідкіль родом і як зовуть, ні чичирк не знаєш»*.

Вечно юной неистребимой усмешкой усмехается со стены Мамай... Только теперь не так он на Сергея, как Сергей на него смотрел по-совиному упорно и серьезно. Спрашивал мысленно темное полотно со смуглым пятном тонкоусого, усмехающегося лица:

«Кто ты? И чего так уставился на меня? Сколько на меня ни гляди, все равно не разгадаешь...» Конь Мамаев в стороне, как и положено, привязанный к копыю. Шею дугой выгнул. Тоже как живой. Ногу грациозно поднял, вот-вот полетит... Конь в лете — ничего красивее нет на свете! Грудь вперед, голова гордо поднята, волпа ног загребает, выхватывает пространство... Конь чувствует свою красоту не меньше человека...

— Приходилось вам, вуйку, бывать на ипподроме? — обращается Сергей к соседу, одному из сватов.

— Не выпало случая.

— Вот где они раскрываются, на почти смертельных своих перегонах... Совсем не похожи на моих лазаретных... Лазаретные — то ветераны боев, к ним у меня тоже слабость... Дадим их задумчивость, их стоны, храпы ночные, ласку к людям, спящим в тамбурах!.. И как ветер воли хватают на островах чуткими ноздрями... Конь чувствует свою неприглядность, когда он замученный, в ранах и струпьях, но так же он чувствует и свою красоту, уверяю вас... Видели бы вы, как идут они на ипподромной орбите, наперегонки, гордые, до предела напряженные, летят, радуясь своей быстроте, выносливости, силе!..

— Вы мало пьете, пане кинооператор, — трогает его за плечо другой сосед, тот самый сторож ночной, что клуб-писанку да лунное сияние караулил. — У нас любят, чтобы люди вволю угощались... Налить вам?

— Да, пожалуйста. — Сергей подвинул свою стопку.

— Какую налить: верхнюю или нижнюю половину? — улыбаясь, показывает старик на стопку.

— Наливайте обе.

— Хорошо вам у нас?

— Да. Тут есть равновесие. В настроениях, в душах, в этих ваших танцах... А это — основа жизни... Вся природа, сама даже небесная механика держится на этом, ая... Достаточно, например, небесному телу отклониться от орбиты, сместиться гравитационным силам, и уже — катастрофа... Равновесие — это, собственно, то, что когда-то называлось вседержителем... Разве нет?

— Вам виднее, пане оператор... Ваше здоровье!

— И ваше тоже.

Одна из молодых, круглолицая, как яблочко, вся из огня и энергии, уже не раз задевала мешковатого гостя, а теперь подлетела, охватила обеими руками за плечи, густо обдала кинооператора своей женской разгоряченностью:

— Такой файный кавалир! Пойдемте танцевать!

— В жизни никогда не танцевал.

— Йой, вы шутите! Знаю, танцуете, да еще как! Вы же все там артисты!

В эту минуту дверь широко распахнулась, из темноты ввалился в хату еще один комбинатский: промокший до костей, в грязных сапогах, в фуфайке. Тоже водитель пл-

титонки, сейчас возвращается с гор, а что там творится на дорогах... Голос его сорвался в испуге:

— В Михайловцах затопило шоссе! Туда ехал — ничего, а оттуда уже буфером воду греб.

Его высмеяли:

— О, как перепутался... Держи лучше чарку, выпей за молодых, за товарища своего!..

— Затопит!

— Нас тут каждое лето топят!.. Апостол, играй!

И смуглый глазастый цыган снова ударил смычком, подмигнув товарищам, которые с готовностью дружно откликнулись: один грохнул в бубен, другой залился кларнетом — хлынула музыка огня!

— Чардаш!

И молодича, взметнувшись, потащила своего кавалера-оператора в круг. Сам удивлен был, что умеет и он. Как и все, вихрем носился уже с молодичей, то приближалось, то отдалялось ее разгоревшееся, счастливое лицо, улыбался в красном углу возле невесты жених, удивительно похожий тонкоусостью на потемневшего Мамаю, целая толпа, целое скопище живых улыбающихся Мамаев танцевало по стенам, выгарцовывало по хате:

Як я тоту коломиюку
Зачую, зачую,
Киселицю висербаю,
В горщикю танцюю!

Цыган Апостол, не зная усталости, поддавал все больше огня смычком, готов был, видимо, хоть до всемирного потопа кружить людей в этом бурном, неистовом, до упаду, танце.

XV

Ночью загудело с гор.

Это была не та вода, которую загодя ждут веспой паводковые комиссии, талая, прибывающая вода, что растет по миллиметру, и из-под которой зеленая травка искрится так идилично, и челны по которой плывут тихо, как во сне, и каждый звук, коснувшись глади такой воды, скользит по ней и отражается эхом на километры, и грушка дикая спокойно цветет себе среди вод в весенней

праздничности, цветет одна среди тишины половодья, среди этой светлой, полной тихого неба разлейвесны.

Нет, это была иная вода, темная, ночная, гудящая вода гор, стремительная, коварная стихия, что, с клоко-таньем и ревом мчась, рушит все: ломает мосты, опрокидывает автобусы, катит цистерны, останавливает экспрессы, смывает жилища, с грохотом гонит в своих водоворотах бревна, скот, крики людские гонит среди бивней пла-вучего бурелома... Вода, вырвавшаяся из камня берегов, вода Черногоры, вода разрушающая.

Весенние паводки тут не бывают так страшны, как эти летом. Весенние, они тут рабочие, помогают сплавлять лес с гор, несут дарабы с отважными плотогонами, эти же, среди летние, порождения циклонов, бурно ревущие среди уже зеленого мира,— они только стихия, разрушение, бедствие, зло.

Кое-кто уже знал, что циклон этот всей набухлостью своих темных тяжелых вод, неистраченных сил — надвигается. Шел, нарастая день за днем, приближаясь неумолимо своими атмосферными депрессиями, шквалами, вторгаясь в короткое спокойствие лета всеми энергиями ветров, завихренных в грандиозные подстратосферные извивы-спирали. Курс его движения пытались отгадать. Отвратить же его приближение было невозможно. Слепой, неуправляемый, надвигался с фатальной неизбежностью, и первыми почувствовали грозное его дыхание горы, вершинами приняли на себя его удар. Загудели скалы, затрещали вывернутые с корнями смереки, заревел в сиротливой растерянности грустноокий медведь. Вприпрыжку замелькала между кустами быстроногая серна с пемым стоном в глазах: «Зачем столько воды?» В чабанских колыбах темно стало среди дня. Отрезанные от мира, обезлюдели долины под водяным обвалом, проломилось небо.

Уже не принимает воду земля, не вбирают ее горные крутые склоны, клокочущая, буйная, летит она вниз, на пологие долины. Вся мощная сила циклона с темным грохотом устремляется вниз, на маленьких людей, на луговых бабочек и стрекоз, на цветы и солнце. Транспортирующая сила туч, как будет сказано в сводках, достигает размеров фантастических. Остриями гор остановлены тучи. Падают с неба миллиарды тонн воды, принесенной циклоном с поверхности океана, оттуда, где он зародился. Ливень льет и льет. Где был ручеек воробью по колено, на

глазах набухает река, бушующая, яростная, о которой говорят:

— Зверест!

Уже разрушены запруды-гати, что собирали воду для сплава, стихия буйствует, песет в темноту почти крыши, обломки мостов, сорванные лесопилы, медведей с их ревом и отчаяньем... Все, что никогда не предназначалось для воды, сейчас коловоротится на быстрипах потоков.

Райкомовцы уже на ногах, солдаты на маршах, сапёры держат на тросах железнодорожный мост, привязав его, как коня, среди неистовства ночи.

Из горных сел, из штабов телефонируют тем, что пониже:

— Размыты гати. Защитные дамбы ломает!

— Растет пода!

— Метр!

— Два!

— Три метра!!!

Лавина, вал, энергия черная гудит. И все это вдруг, молниеносно, стихия не дает опомниться. Где вчера лишь по дну между камнями блестели ручейки, уже кипят потоки, переполняют старицы, пробивают новые русла, вода подступает под насыпи, заливает дороги, одинокими остаются железнодорожные колеи, превращаясь в узкие полосы дамб. Подмывает трубы международного нефтепровода... Одно за другим оказываются в воде низинные села. И не видно этому конца, нет от этого заслона, — чьи-то предостережения, несясь из циклонной тьмы, разбиваются в поваленных столбах, пропадают в оборванных телефонных проводах: растет, растет потопная вода!

XVI

На площади возле старинной ратуши люди ждали прихода амфибий. Райкомовцы, сотрудники горсовета, члены оперативного штаба по борьбе с наводнением... Колосовский тоже был тут. Возвращаясь из города, засхал в райком, где секретарствует бывший его однопольчанин, а уже дальше наводнение Колосовского не пустило. Чувствовал себя тут не режиссером будущего фильма, а лишь одним из участников грозного, никем не запланированного события, одним из людей в дождевиках, которых собрал в эту

ночь долг и которые здесь, перед лицом стихии, все были равны.

Со времени окончания войны еще не обдавало его таким фронтовым ветром, как сейчас. Ночь, пожары и вода. Вода, которая не гасит, а, напротив, разносит огонь, гонит по затопленным садам пылающую нефть, солярку, бензин, сама горит и сама поджигает то, что способно гореть. Откуда-то с окраины местечка тянет тяжелым дымом, доносится смрад гарн.

Непрерывно докладывают:

— Затапливает кожкомбинат. Толевый завод. Под угрозой больница.

Спасательные отряды, боевые дружины, сформированные из коммунистов райцентра, из актива, отправляются для спасательных работ. И тут же формируются новые группы, команды. Без лишних объяснений, понимая приказы с полуслова, исчезают в багровой тьме, молчаливо, безотказно, как исчезали когда-то, отправляясь на задания, подразделения фронтовые. Продуманность, дисциплина, воля. Нет здесь места для паники.

— Все, что строилось тут,— поясняет Колосовскому секретарь райкома,— не было рассчитано на такое наводнение. Столетия не было такой воды. Старейшие люди не помнят.

Вода ревет, дышит холодом из темноты, атакует.

— Как на фронте,— замечает Колосовский.

— Сложнее. По крайней мере, у меня такое ощущение.

Они только что побывали у моста. Новый железобетонный мост на их глазах повис, проломился, с грохотом рухнул: вода сбила быки. Секретарь и тогда не повысил голоса.

— Упал потому, что строили плево,— хмуро сказал в темноту.— В расчете на тихую, не горную, на не агрессивную воду... И это нам урок. Пора думать о регулировании рек. Шлюзовать, все строить крепче. В расчете на горные энергичные реки.

Где же амфибии? Во дворе райкома и райисполкома — глухие удары топора: при багровом свете факелов, по колено в воде, работают люди, на скорую руку вяжут плоты. Лодок нет: какие были, сорвала, унесла вода. Хуже всего, что все — внезапно. Ночь с внезапным навалом воды, с ветром, дождем, а кое-где с градом; из какого-то колхоза передали: град бьет такой, что шифер и черепицу.

пробивает на фермах... Не предусмотреть всех коварств воды, стремительной и впрямь агрессивной. Обходит, проникает, вездесущая, появляется прорывом в совсем неожиданных местах.

— Перехватило улицу Ломоносова! Затопляет хлебозавод! Заливает подвалы милиции!

И короткие, четкие приказы:

— Спасать людей! Прежде всего людей! Не допустить жертв.

«Спасать людей!» Тут все свелось к этому, к обпакженному принципу гуманности — конкретной, деловой, — думал, стоя в толпе незнакомых ему людей, Колосовский. — Опергруппы, плавсредства, связь... Малопоэтично? Повеяло фронтовым черноробством, суровостью, исполнительской безотказностью? Или, может, иначе и нельзя перед лицом хаоса, перед лицом развернувшегося зла? Едва ли привлек бы сейчас кого-либо своим буйством этот взрыв правечных неконтролируемых сил... И если есть поэзия в богемной расхристанности, то неужели нет ее здесь, где неусыпная воля, где мужество и дух самообладания сплывают людей для действия, для испытаний, может, трагических?»

В три часа ночи ратушу с ее древневековыми часами на башне осветили голубые снопы прожекторов: с железным грохотом приближались амфибии. Плавсредствами будут именоваться они в сухих сводках потом, после наводнения, потому что подразумеваться будут и плавающие танки, и специальные бронетранспортеры различных типов, но в народе останется о них слава поэтическая, однословная:

— Амфибии!

Грохотом моторов, скрежетом гусениц наполнилась площадь. В свете фар бледными выглядели лица людей в дождевиках. Один из самых мощных прожекторов приказано было направить вверх, чтобы он, небодостигающий, сообщил всем, кто на марше: мы здесь! И тем, что где-то в поймах, в потонувших селах ждут помощи: мы здесь, мы прибыли!

Рассекая дождевую тьму, рефлексор высветил башню, циферблат часов, шагнул еще выше и осветил на мгновение: стайка голубей — совсем серебряных, сияющих! — вихрилась в бездонно-темном небе.

Кто-то пошутил мрачно:

— Голуби над потопом. Почти по Ною.

Амфибиям не пришлось долго задерживаться на площади. Экипажи машин получали задания, брали на борт по несколько местных на роли помощников и провожаемых — и сразу отправлялись по назначению.

На одной из амфибий очутился и Колосовский. Забираясь в люк, невольно усмехнулся про себя: второй раз в жизни становится волонтером... Вместе с ним вскарабкался на борт энергичный милиционер с мегафоном в руке и заврайфинотделом, — этот взобрался на амфибию не без помощи солдат, так как располагал такой комплекцией, что едва пролез в люк. Местные, на правах хозяев, должны были указывать военным дорогу на Подгайцы, нижнее село, одно из наиболее пострадавших.

— Для центровки вам нужно сесть посередине, товарищ Путря, — пошутил милиционер, обращаясь к заврайфинотделом, — чтобы не кренило наш ковчег!

Тот, не ответив, молча устроился рядом с водителем.

Офицеру — командиру экипажа — милиционер представился:

— Лукавец, страж порядка. Не прозвище, а в самом деле фамилия такая... Ну, вперед, лейтенант! Дави стихию!

Амфибия рванулась на шоссе, почти сплошь залитое водой.

Лукавец с любопытством глядел из открытого люка:

— Мрак неизвестности... Это как тот цыган сказал, завербовавшись на переселение в степи: «Снимите с меня радиоточку, гражданин начальник, потому как я отъезжаю... неизвестно куда!»

Еще на площади у ратуши Колосовский обратил внимание на веселого милиционера, который, рассказывая что-нибудь, размашисто жестикулировал в юпитерах амфибийных фар: смуглостью выразительного лица и выпуклыми глазами он напоминал знаменитого актера из итальянских фильмов. «Да и сам он разве же не актер?» — весело думал Колосовский, слушая, как Лукавец в характерных интонациях изображал цыгана, который, вернувшись со своими цыганятами с переселения, правда, без документов, выкапючивал у начальника милиции какую-то справку: «Товарищ начальник! Да поставь же хоть кусочек печати». Эту фразу Лукавец передавал с неповторимым юмором, и Колосовский, отмечая игру интонации, усмехнулся в мыслях: «Взять бы тебя, товарищ начальник, на какую-нибудь комедийную роль...»

Лукавец между тем свободно и непринужденно налаживал контакты с солдатами:

— Какой год службы?

— Первый.

— Откуда?

— Из Якутии.

— Не был там, у меня тут своих алмазов хватает...

А ты?

— Я узбек.

— Салям-салям... А механик-водитель?

— Из Полтавы... А этот из Костромы.

— Интернациональный ковчег палицо!.. Специально подбирали или как?

— Жизнь подбирала.

— А товарищ якут плавать умеет?

— У нас пояса,— был сдержанный ответ.

— А мы с вами, товарищ Путря? Без поясов, без жилетов,— будто бы даже испуганно обратился Лукавец опять к заврайфинотделом. — На книжке сколько трудовых? Жене завещание оставили?

Молчал товарищ Путря, только сопел, считая, видимо, что некстати эти шутки.

Во всем, что касалось циклона, Лукавец был на диво информирован; знал, откуда пришел циклон, кого зацепил, каким странам он принес заботы. Согласно прогнозам, пришелец из Атлантики вот-вот «выдохнется», упадет, мол, обессилеет в этих горах, которые и не такое останавливали... Согласно тем же данным Лукавца, соседнее государство почти сплошь залито водой — международные экспрессы не идут, однако энергосистема, несущая ток на запад, работает без перебоев, и человеческие жертвы в их районе, к счастью, пока что не зарегистрированы.

«А как там мои?» — не раз возвращался Колосовский мыслью к киногруппе. Но тут же находил и мотив успокаивающий: школа на предгорье, на так называемой Подгурщине, вода туда не должна бы достать... Вот только детские лагеря вдоль реки да кони в лугах... Кое-что из реквизита, наверное, поплывет: те посаженные камыши да вербы, декорированные травяными искусственными косами... ну, да леший их бери!.. Лошадей бы только успели с лугов выхватить... Никак не мог пробиться к киногруппе своим газиком: добрался до моста, но мост уже был

затоплен... Однако амфибии под утро будут и там. Мысль об этом как-то уравнивала.

На этом отрезке пути амфибия двигалась еще без особых трудностей. Шла она на большой скорости, мощно разгребая воду, но чувствовалось, что идет не на плаву, то и дело слышно было, как гусеницы цепляются за камни мостовой.

Милицционер то умолкал, то снова подавал голос, подбадривая командира, молчаливого юношу-офицера, который, не вмешиваясь в разговор, сидел в напряженной позе рядом с водителем.

— Жми, дави стихию, лейтенант! — обращался к нему Лукавец. — Ливень только горным медведям страшен, а нам, народу организованному... Или ты, может, впервые попал в такое?

— Я на сибирских реках вырос, знаю, что такое стихия, — не оглядываясь, ответил лейтенант.

— Однако нет-таки худа без добра: стихия прибавит тебе по звездочке на погонах.

— Нам по уставу положено спасти население от стихийного бедствия, — опять-таки не оглядываясь, сказал офицер.

— Молодец! — похвалил его «страж порядка». — Но по звездочке все равно не помешает...

Дождь то утихал, то опять пускался порывистый, с ветром, но амфибии шли все время с открытыми люками. Вдоль шоссе тянулся ряд старых кряжистых верб. В просветы между ними, всюду ниже дамбы, проблескивала, уходя в темноту, вода; в одном месте видно было, как за разливом, вдалеке, бушует пожар.

— Горит комбикормовый завод, — впервые отозвался заврайфинотделом, и в голосе его слышалась печаль.

Люди с баграми работали на крышах, что-то растаскивали, оптически уменьшенные расстоянием, освещенные красными отблесками зарева. Будто завертелась в проекторе лента какой-то кинохроники военных лет... А еще выше, откуда-то сверху, прорвались пылающие потоки нефти, слышались глухие взрывы, — кажется, горела нефтебаза, с грохотом рвались цистерны. Кое-где горячая смесь, растекалась, маслянилась под самыми вербами отраженным в воде недобрым светом; молоденькие солдаты притихли, оцепенели, глядя из люка, как почти рядом летит по быстрине, вперемешку с буреломом, с сорванными цистернами тяжелая пылающая река.

— Не хотел бы я, чтобы снесло туда папу амфибию,— сказал милиционер и примолк.

А машину заносило все чаще. Раз за разом покачивало ее на плаву, гусеницами уже не доставала дна. Одним из потоков, заливавших дорогу, амфибию так крутануло, что и впрямь чуть не бросило на стволы верб,— водитель каким-то чудом удержал. Вскоре пришлось остановиться: впереди образовалась «пробка» из их же машин. Оказалось, что одну амфибию занесло, сбило в сторону, и она застряла между деревьями. И хорошо, что застряла: по ту сторону, совсем близко, горела вода. Один из командиров, дородный, высокий,— солдаты узнали в нем своего полковника,— стоял над люком застрявшей машины, все время стрелял вверх из пистолета; таким образом подавал сигнал, потому что сквозь рев воды и грохот моторов голоса человеческого не слышать.

— Не смей! Не подходи! Тут, если и проскочишь,— сгоришь! — как потом выяснилось, именно так надо было понимать его предостерегающие выстрелы и оклики-приказы, но в грохоте их не могли разобрать, и какой-то из плавающих танков все же приблизился, зацепил тросом и вмиг вытащил застрявших из верб. После этого «пробка» быстро рассосалась, многотонные машины ринулись вперед, каждая изо всех сил торопилась на порученное ей задание.

Кутерьма фронтовых дорог, напряжение ночей, форсирование рек, своих и чужих,— все вновь отзывалось в Колосовском щемящей болью оживших ассоциаций. Что за время! Сколько тягот падает на плечи лишь одной человеческой жизни!..

Были уже неподалеку от Подгайцев, когда их амфибии преградила путь особенно бурная водоворотная быстрина,— кажется, тут проходило основное русло одной из малозаметных прежде, а теперь переполненных речушек. Жутко было смотреть, как, пролетая перед тобой в свете фиолетовых фар, коловоротится, гудит тяжелая вода, начиненная землей и камнями. Гопит бревна, валуны, точно жерновами все перетирает,— рыба то и дело всплывает, поблескивает бело, оглушенная, побитая. И это форсировать? Водитель остановил машину, приглушил мотор.

— Чего ты? — с удивлением глянул на него командир.

— Не могу. Мой бетээр на такую быстрину не рассчитан,— ответил водитель официальным тоном.

— Не мудри.

— А там вон, ниже, мост железнодорожный... Как закрутит, как гахнет об него...

Он, кажется, был прав, этот водитель: вода высокая, выше всех предусмотренных уровней; если машину снесет, под пролетами моста ей не пройти — с ходу разобьет... Понимал, видимо, это и сам командир, и все же:

— Не мудрствуй, веди!

— Потонем!

— Так что же — назад? С позором? Приказываю: полный вперед!

Амфибия тронулась, поплыла, ее сразу же завертело, накренило, пришлось мигом закрывать люки. Однако водомет, пристроенный на корме, силой реактивной тяги толкал, бросал амфибию дальше сквозь буруны, понемногу выравнивая, как-то удерживая среди водоворота этот их задраенный наглухо, железный ковчег. Наконец гусеницы опять царапнули дно, коснулись тверди, и командир с облегчением воскликнул:

— Вот и все, Ермаков! Вот так одолевают водные барьеры!

Только открыли люк, и в это же мгновение налетели на почти невидимые в темноте телеграфные провода — они были теперь низко, — кто-то успел крикнуть:

— Головы пригибай!

И, пригнувшись, услышали, как под патиском амфибии натянутые провода взвизгнули стальным звоном, разлетелись со звуком оборванной струны.

XVII

— Стоп, музыканты! Люди, что-то хочу вам сказать! — Сергей опять сидел между сватами, а обращался ко всем. — Слышали ли вы, как конь стонет? Живой горит, из двери выламывается, а на него падает пылающая крыша сарая!..

— О, пан оператор...

— Стоп! Доброго Человека видели? Доброго без гри-ма, без подрисовки? Говорят, нет, а я утверждаю: есть! Хоть не густо, но есть! Но самое главное, что он с п о с о б е н быть добрым!

И хотел рассказать о том враче-партизане, который ему, Сергею, спас жизнь. С месяц возил его, маленького

полещука, в коробке с опилками по лесам... Но только оператор начал, как погас свет. Ночь глянула в окна циклонной тьмой, оглушила шумом ливня... Лишь теперь, когда стало темно, все услышали его. Люди, притихнув на какое-то мгновение, вслушивались в черное неистовство ночи, потом кто-то сообщил, что света нет нигде: погрузились во тьму и село и комбинат.

— И вода, слышно, прибывает...

И сразу же голос веселый — чей-то хмель говорил:

— Как подойдет вода, по лестнице на хату, там и доиграем свадьбу!

Но темнота заметно угнетала всех.

— Почему же не дают света? Может, короткое замыкание на комбинате, — там у них иногда такое случается...

Нашли каганчик с фитильком, зажгли, — подслеповато замигал перед Мамаем, едва заметно ухмылявшимся из темноты электрик!

— Чтоб на свадьбе да такая мигалка, шлям бы ее трафил! — воскликнула одна из молодежи. — У нас же свой электрик!

Это относилось к жениху: лишенный водительских прав после того несчастного случая, он работал теперь электромонтером на комбинате.

— Сейчас будет свет, — встал жених, в голосе его была решительность.

Его попытались задержать: «Костюм же на тебе новый и галстук!» — по Стась, не вникая предостережениям, в чем был, так и рванулся из хаты. За ним кинулись несколько хлопцев, друзей его. Анця в растерянности осталась стоять у двери, где ее остановили девчата: в белых туфельках, в свадебной фате, она была сейчас какая-то жалостно сникшая.

— Будет, будет, вот увидите! Он наладит, — говорила она, и слышались в ее голосе нетвердая надежда и страх подсознательного суеверия — что вот-де на ее свадьбе да вдруг погас свет... И ей и гостям хотелось верить, что все там будет хорошо, хлопцы починят и вскорости вернутся к столу, хоть промокшие, но довольные сделанным. Никто ведь еще не знал, что трансформаторы уже захлебываются в воде, и столбы электролинии, поваленные, лежат в перепутанных проводах и что нет сейчас на свете электрика, который мог бы помочь делу.

Не гулялось уже. Невеста в фате, припав к окну, вдрагивала в нервной тревоге, прислушиваясь к бушующему ненастью. Люди то ходили, то выходили, и у каждого на устах тревожное:

— Вода! Подступает вода!

— Надо бы домой наведаться!..

— Лес лежит связанный возле хаты — еще унесет...

Девушки в мини-юбочках, фермовские доярки-десятиклассницы, которых Колосовский собирался привлечь к массовым сценам с полоняпками, тоже обеспокоились, собрались уходить:

— На старицах скот наш в летних лагерях!

Цыган-музыкант, заботливо спрятав скрипку под полу старого плаща, объявил:

— Света нет, кина не будет, — и пошел к двери.

Это заставило Сергея подняться. «Будет кино!» — возразил упрямо и, взяв кинокамеру, выбрался, разгоряченный, наружу. Мокрым холодом обдало. Ветер студеный, как поздней осенью. Сапоги сразу утонули в воде, она была ледяная. И эти разноголосые ночные шумы, каких до сих пор никогда не приходилось слышать. Где-то между деревьями, в непривычной близости, грохочет вода. С вечера ее не было. Чувствуется, что всюду она — тут и там, булькает, клокочет на разные лады. Ревет где-то скот, воют собаки, с другого края села долетал непонятный гвалт. И все тонет в темноте. Ты — и бесконечность тьмы. Ты — и стихия в буйной слепой раскованности своих сил. «Свет! Вот что сейчас тебе нужно!.. Хотя бы какой-нибудь источник света! Чтобы зафиксировать эту грозность, этот ревущий потоп тьмы, бунт ночи!..»

Выбежала из хаты молодлица, кажется та, с которой он, неуклюжий кинокавалер, недавно вытанцовывал чардаш, закричала с порога: «У меня ж ребенок дома!» — и бегом бросилась в темноту.

Все путалось в голове, еще ошалелой от свадебного угара. Брел куда-то через сады, через поваленные уже тыны, ноги с непривычки подгибались в подвижной быстрой воде, она ускользала, точно живая, из-под резиновых его сапог. Двигался в том направлении, где, как ему казалось, должна была быть Подгурщина, где в школе среди коробок с запасами пленки, среди декоративного хлама спят сейчас твои и, может, ничего не знают. К речке, к речке скорей, чтобы успеть перейти по мостикам на ту сторону.

Переходя вброд улицу, услышал тяжелое бултыханье в воде, приближались какие-то фигуры. Подошли впри-
тык: мокрые, в мазуте, страшные. По белым рубашкам узнал хлопцев, побежавших искать замыкание. Стася между ними не было. Надсадно дышали, выдавливали страшные слова:

— Полез на столб... Неподалеку стояла бочка с карбидом, подтопило ее... А карбид в соединении с водой, вы же знаете... Взрывом швырнуло куда-то Стасика... Мы искали, но там уже все несет... Экспортный лес, готовую продукцию!.. Не знаем, как Анде и сказать...

И, свернув, пустились садами к свадебной хате.

Кинооператор через некоторое время все же выбрел к речке. Затемнели прибрежные кусты. Где-то тут за ними должна быть кладка, вернее, мостики с перильцами, с которых ясной ночью вы, киношники, любили смотреть на воду, фантазируя, что закодировано в ней, в звездной текучести реки. Темный этот взрыв стихии, видно, был закодирован, сила эта сатанинская!.. Речка переполненная выплескивает воду, пригибает кусты — вот-вот выйдет из берегов. Вода идет со страшным грохотом, такого ты никогда не слышал. Быстрина бурлит, летит темным клекотом, несет какие-то купы, грозно погромыхивает, — можно догадаться: катит валуны. Но где же кладка? Нет и следа, хотя должна быть тут. А может, совсем не тут? Может, и речка эта совсем другая, не та, что светилась все эти дни, хрустально звенела внизу, плавно стелясь по камням? «Заблудился... Пожалуй, кладка где-то пониже...» Спотыкаясь, отправился вдоль течения, плутал в каких-то кустах. Напрягая зрение, вглядывался в темноту. Где же она, школа на подгорцах? Где Золотой Ток? Над черным паводком ночи только и чудится Золотой Ток с Ярославой. Увидеть бы. Никогда так не жаждал увидеть ее, как сейчас. И понял вдруг, что никого и не любил, кроме нее... Самая близкая к его идеалу женщины... И сегодня на этой чудной средипотопной свадьбе все время видел Ярославу рядом с собой, в воображаемой фате она жалась к Сергею на глазах у того злого и вселого, как бес, Мамая...

Что-то темное торчало из воды, неподалеку от берега. Нагнулся, пригляделся: верхушка стрелы экскаватора! Теперь он понял, что это за место: экскаватор гравий брал тут внизу на дне русла, теперь весь он оказался в воде — торчит лишь верхушка стрелы над бурлящим

потоком! Кладка была рядом, ее нет, нет! Оператор вспомнил, что где-то поблизости, возле старой вербы, должна быть рыбацкая лодка. Вскорости набрел и на ту вербу: лодка есть! Плавает на воде высоко, вровень с ветвями вербы... Попробовал дотянуться до нее, нащупал в воде цепь, она шла вглубь, где-то там внизу лодка прикована к корневищу цепью... Дернул раз, другой — держится крепко. Нырнуть? Но ведь цепь на замке, зубами ее не перегрызешь...

Выбрался на пригорок береговой, лило как из ведра или из водосточной трубы... Прислушался, не идет ли в воздухе какой вертолет. Никого нет, небо темное, порожнее. Демоны в такой тьме крошечной, в таких хлябях летали, а люди еще не умеют... Побрел дальше, от речки прочь, в наполненный ветром простор, который недавно еще был лугами. Ноги путались в траве, до наводнения она стояла тут высокая, а теперь тенетами плавала, стлалась по воде. Плес за плесом простирался в темноте, луга уже заливало, вода лоснилась под ногами тускло, как негатив. Бредешь, бредешь, и всюду возникает из темноты этот страшный своею одинаковостью негатив. Где люди? Как далеко они отсюда? Заблудился, заблудился!.. Один на планете! Потоп и ты! Нет ни камер, ни пленок, ни машин с реквизитом и аппаратурой... Наверное, уже все поплыло. На разлившиеся воды небо извергает новые потоки воды. И так, может, будет вечно? И никогда этот ливень не прекратится, и наводнение будет нарастать, нарастать, затопляя материки? И потом все опять начнется с инфузорий, с амебы, с травы?

Послышалось, будто лошади сквозь ветер подали голос из темноты. Лошади ведь здесь где-то на лугах! И они спутаны! Крепкими брезентовыми лентами связаны их ноги... Сразу стало жутко. Проваливаясь в воду, кинулся бежать куда-то наобум, во тьму. Чувство, уже не контролируемое разумом, гнало его в ту сторону, откуда только что послышалось ему реальное, или, может, иллюзорное, ржание, умоляющий крик спутанных коней...

Свадьба между тем всей гурьбой отправилась на розыски жениха. Подходили к комбинату, когда на подгорной дороге мелькнул вдруг могучий свет прожектора. Высоким туманным столбом поднялся он прямо в небо, рассекая самое утро циклона. Догадались: где-то близко войска. Уже входят в эти владения, оккупированные на-

воднением, которое распространяется над целым краем, где столько неожиданных ночных вепеций вызывают сейчас о помощи и спасении. Стоял, светил столб, пробивая мглу в поднебесье. Подавал кому-то условный знак, весть обнадеживающую или предостережение. Кажется, только его и не устрасила стихия: среди слепой циклонной мути он как бы давал опору всем взглядам, обращавшимся к нему, давал знак надежды этому потопному миру и самому человеку в его ночном, безбрежном существовании.

XVIII

Когда Ярослава была еще маленькой, девчушкой была, мучительно напугала ее вода. Большое наводнение приближалось, население попизовья все вышло на спасательные работы, батко ее, дорожник, бульдозерами нагребал защитную дамбу; дочка была с ним, смотрела, как он работает, в кабине под боком у него и уснула. Днем это было. А проснулась — уже вечерело, закат сквозь тучи холодно алел, тишина была, нигде ни души, и, куда ни кинешь взгляд, до самого неба — вода, вода, вода... Серая, никуда не идущая и всеохватная, испугала именно величиим своим, одинаковостью и бескопечностью. Вода равнин, вода покоя, почти сна, из которого кое-где проглядывают... колодезные журавли! Они среди тусклой беспредельности вод стояли, как фантастические существа, назначением которых было поить людей, а теперь сами тонули в паводке, в его непонятной бесконечной тихости. Такое страшное все было — этот серый разлейсвет в загадочном молчании, с багрянностью неба и ртутным отблеском каких-то ненатуральных вод, незнакомо стоявших до самого горизонта, и полоска дамбы, непохожей на утреннюю дамбу, и это одинокое железо бульдозера, увязшего над потопом, и рычаги какие-то возле тебя, и отцова фуфайка... Охваченная ужасом, как она тогда закричала! Сама детская душа вырывалась криком из груди в это жуткое пространство, в безмолвие, к тем затопленным журавлям, от которых не ожидала отклика...

Батко появился откуда-то снизу, из-под дамбы, схватил на руки и успокаивал, а она все кричала, судорожно охватив ручопками его шею. Потом ее лечили от испуга, водили к невропатологу... Случилось это ниже по речке, в родных краях Ярославы, и больше такого наводнения

она уже не видела, но, даже и студенткой став, порой просыпалась от ужаса, когда являлась ей во сне та неохватимая взглядом пустыня вод с журавлями колодцев, в которых было нечто почти ирреальное, внеземное, такое, что заставляло стынуть душу.

Мгновенная вспышка памяти пропзила Ярославу, когда ночью в школе поднялась тревога и кто-то снаружи крикнул:

— Вода!

Стихия воды, она страшнее огня, под ее натиском все живое дичает, теряет разум,— просыпается лишь власть инстинкта... Первым желанием было бежать наверх, на возвышенность, на Золотой Ток!

Когда Ярослава выскочила на крыльцо, ее встретила сплошная тьма, электричества уже не было, ночной паводок гудел — гудел по всему свету. Потопной водой обрушились горы. Ливень, начавшийся прошлой ночью, бушевал все сильнее, кусты гнулись под тяжестью потоков, всюду клокотало, журчало, шумело, внизу из темноты, почти у самого порога, рентгеновскими снимками проблескивали налитые плесы.

Киногруппа вся уже была на ногах, из тьмы доносилась переключка голосов, измененных в тембре, резких, приказывающих; отдаляясь, они тонули где-то в темноте, — это была ночь не для сна, ночь, когда тысячи поднялись на преодоление стихии!

— Детей! Выхватывайте детей! — услышала отдалявшийся голос, кажется, это был голос Ягуара.

Мелькнули перед глазами знакомые личики детсадовских детишек, перекошенные страхом... «Чего же ты стоишь?!» Ярослава бросилась прямо с порога в ночную хлябь, — испуг детских лет, отозвавшись, обдал холодом все ее существо, но не остановил, а, наоборот, пробудил желание перебороть страх, подгонял бежать, действовать, подать кому-то руку. Вода обожгла ледяным холодом, отпугивала клеточкой, Ярослава бежала по колено в воде под тяжелым ливнем в темноту, и как будто инстинкт солидарности, боли и страха за кого-то привел ее к тем дощатым лагерным домикам, что темпели, уменьшившиеся, полузатопленные, словно какие-то папуасские хижины на сваях среди воды. Встретились парни из киногруппы, — они, согнувшись, несли на себе детей.

— В третьем еще остались! — крикнул один Ярослав.

— И в четвертом еще есть,— услышала и по голосу едва узнала Ягуара. Он быстро исчез, бредя по воде тоже с охапкой детей на руках, на плечах...

Ярослава подбежала к третьему домику, из окна к ней пискнуло перепуганное: «Тетя!» Она увидела только бледненькие пятна детских лиц, съезженные плечики в майках, и, когда протянула им навстречу руки, на нее сами стали падать из окна маленькие, еще горячие со спящего... Цепляясь, они чуть не повалили ее; двух взяла на руки, а третье само уцепилось за шею, сдавило, должна была крикнуть:

— Не души!.. Подождите, сейчас и вас заберут,— успокаивала тех, кто остались, и, тяжело дыша, уже несла к школе маленьких этих людей, притихших в испуге и напряжении. С каждым шагом они становились тяжелее, были неудобны, совсем не такие, как раньше, когда играла с ними на лугах. Сидевшее на плечах судорожно сдавливало ей шею, а эти жались к груди, держались цепко и теплые были, как птенчики. Ощущала, как встречная вода нажимает, ледяным холодом режет ей бедра, каждым мускулом ей нужно было сопротивляться, чтобы одолевать эту упругую текучую встречную силу. В глазах туманилось от ливня и от изнеможения, руки немели, из последних сил выбралась, оскальзываясь, на бугорок, к крыльцу, но они и тут, очутившись в безопасности, еще боялись отцепиться: должна была почти насильно отрывать их от себя, они рвали на ней одежду, держались ручопками цепко, как утопленники. Бросила этих, прикрикнула, чтобы укрылись в доме, а сама опять устремилась во тьму, во всплеск потопа, и там, где только что было воды ей по колено, теперь уже доставало бедра...

Но на этот раз Ярослава уже не успела вернуться к школе с очередной ношей. Вода настигла как раз в домике, ринулась в окна, пришлось с детьми забраться на крышу.

До размеров крыши сузился мир. Сотни рек, ручьев и ручейков в горах, и все они сейчас переполнены, река, в какую они раньше впадали, больше не хотела их принимать, сама, разбухнув, разгоняла воды прочь, и они, отброшенные, без русел уже шли по понизовье крутым взбаламученным валом. Легкий домик содрогался, как утлое, пока еще заякоренное суденышко. Тут Ярослава пережила минуты прощания со всем, что было ей бесконечно дорого: вставала, будто в последний раз, перед

глазами подсиненная родительская хатка, обсаженная цветами, в уборе наличников, хатка, которую под осень опрятно обставляют снопами из кукурузной ботвы.

Застигнутая бедствием, Ярослав невольно перевоплощалась в тех родных ей «людей в кожухах», которых циклоны жизни срывали когда-то с места, как вырывает буря, выворачивает с корнями горные смереки. Очутившись в таком положении, чувствовала себя здесь, как на той шаткой палубе переселепческой, когда люди с торбами, с пифскарами отправлялись за океан. Вместе с ними была там в объятиях океана, когда их застигла буря страшной силы... Чуть не погибли тогда Ярославцы земляки, писали потом, что, видно, счастливый кто-то среди них был, а то бы все пошли к акулам, вместе с семенами своих злаков в узелках. Не одолел их тогда циклон, разгулявшийся на открытых океанских просторах. Пройдет время, и зашумят их пшеницы на полях чужих суровых провинций, где они будут сеять хлеб, корчевать леса, разрабатывать недра, прокладывать железные дороги от океана до океана.

Мысли о стойкости человеческой помогали Ярославо пережить эту ночь, передражать ее среди детей, теплыми тельцами жавшихся к случайной своей воспитательнице в ожидании рассвета. Утром открылись им истинные размеры бедствия: не видно было речки, почти не угадать было берега, вода, разлившись до самых отдаленных холмов, сплошь шла с пеной, с клетотом-гулом. Не стало ни островов, ни лугов в травах, выныривали кое-где верхушки кустов, согнутых мутными валами, торчала верхушка стрелы экскаваторной, и все окружающее, к чему привык глаз, теперь было переименовано до неузнаваемости, бурлило, коловоротилось, похоронив под бурунами тот мир, который был и которого уже, казалось, больше не будет.

Утром небо загудело вертолетами. Вертолетчиков еще с ночи разбудила тревога, но подняться с аэродрома они смогли только на рассвете. И то — вопреки летным правилам. При обычных условиях в такую погоду никто бы их не выпустил, авиация твердо придерживается своих правил, а тут: лети! Дождь не утихал, однако постепенно светлело на горизонте, вместе с дождем на воды как бы проливался и разреженный сквозьоблачный свет. Наверное, только с высоты и открывались истинные размеры стихийного бедствия, охватившего уже весь край. Села, что стали архипелагами. Сады, в которых деревья пореде-

ли, стоят каждое обособленно в воде. Вышки пограничные, одиноко мелькающие на горизонте... И всюду взоры, обращенные в небо, — люди ждут вертолетов.

Работали на небольших высотах. Грохочущие воздушные трудяги в ореолах мелькающих лопастей, лоснящиеся мокрыми зелеными выпуклостями боков, появлялись над последними пристанищами, над человеческим отчаянием, снижаясь, выпускали трапы-лестницы и — с разобранных крыш, с островков, с верхушек деревьев — забирали грешных и праведных прямо на небо.

На широких крышах заводских строений вертолеты даже садились, тут было удобнее, — больше всего трудностей возникало там, где строения были окружены ветвями диких черешен, груш и шелковиц, что растут могучими в этих краях; деревья как раз и мешали спускаться вертолетам! — местами приходилось пользоваться лебедками, выбрасывать специальные гамаки на тросах...

На один из вертолетов с помощью трапа подняли и Ярославу вместе с воспитательницами и детьми, которых не успели выхватить ночью. Воздушный гигант, зависнув, грохотал над нею, каким-то чудом удерживаясь на легком прозрачном мелькании лопастей, и когда она, подхваченная чьими-то руками, отутлилась внутри вертолета, только тут почувствовала, что она спасена, и удивилась, как в эту ночь не умерла от страха. Всех их, столько натерпевшихся, одним рейсом сняли с лагерных домиков, и вертолет, казавшийся таким неуклюжим, аккуратно приземлился в самом дворе школы, доставив пассажиров прямо к крыльцу, пред ясные очи Ягуара Ягуаровича. Слезы душили Ярославу, когда она увидела своих, увидела родные, в оттаявшей тревоге лица, вуйна Доминика смотрела на нее радостно и испуганно, как на возвращенную с того света... Кто-то вынес реквизитный армяк, чьи-то руки заботливо укутывали ее, чтобы согрелась...

Летчики были молодые и веселые, тот, что помогал Ярославе выбраться из вертолета, еще и пошутил:

— Не надеялся, что на таких низких полетах да удастся коснуться... звезды.

Ярослава с благодарностью смотрела снизу на офицера, на его рослую фигуру в двери кабины, смотрела, запоминая исхлестанное дождем лицо, спокойное и словно бы даже беззаботное.

— Я бы хотела знать ваше имя.

— Капитан Решетняк... Но вам оно ничего не скажет. Мы не знаменитые. Мы — обыкновенные.

— Отныне вы для нас будете знаменитостью.

Ему, видно, понравился ответ, он улыбнулся, так и вверх — на новый рейс — пошел, окутанный светом улыбки.

ХІХ

Венеции, всюду венеции в буйных зеленых садах...

И все ждали амфибий и вертолетов.

Размах спасательных работ с каждым часом нарастал. Население края как бы разделилось в эту ночь на две категории людей: на потерпевших и на спасающих. Не было ни председателей, ни секретарей; ни виновных, ни безвинных; ни близких, ни чужих; ни добрых, ни злых; не было ни артистов, ни статистов — были люди, спасавшие людей! Сплывные — слабых. Подающие руку и хватающиеся за нее.

Стихия не принимала объяснений, все брала на испытание, меняла оценки, критерии, открывала скрытое, оголяя жизнь до самых ее оснований. То, что вчера казалось значительным, нередко теряло здесь свою значимость, трухлое, фальшивое смывалось, как пена, а то, о чем и не подозревали, проявляло себя, раскрывалось своею сущностью до самых основ.

По всему краю в зоне стихии возникала как бы новая, еще более крепкая солидарность людей, бедствие уравнивало, в один ряд ставило даже тех, которые вчера еще, быть может, не могли поладить между собою, ссорились до беспамятства, во взаимоизпорительных распрях давая выход своим страстям. Донынешние понятия и представления если и не исчезали, то все же уступали место главному, возникшему перед лицом стихии, закону, который отныне, в момент угрозы, от первого крика о помощи, приобретал тут силу всевластную: иди, действуй, спасай потерпевшего!

С наилучшей стороны показали себя солдаты.

«Наперекор всему, существует же все-таки преемственность человеческого в человеке. Есть она, действует, еще острее проявляет себя в критические минуты, — думал Колосовский, приближаясь в амфибии к Подгайцам. —

Жизнь действительно имеет свои золотые эстафеты, без которых обнищал бы мир...»

Весной, еще перед выездом сюда, стоял как-то Коло-совский на центральной улице города, а перед ним двига-лась под громовые раскаты труб нескончаемая колонна новобранцев. Куда-то их вели. Пока пройдут, было при-остановлено все уличное движение. Почти еще цивильной походкой, в еще цивильных патлатых чубах, ребята шага-ли задумчиво, сутулясь под тяжестью рюкзаков, в кур-точках да в свитерах, некоторые совсем еще подростки, кое-кто в очках. Юные граждане, дети города, они впер-вые оказались в строю, шли бесконечно, и, может, первым серьезным раздумьем были подернуты в это время их чистые, в большинстве худощавые, интеллектуальные ли-ца. «Сыны, сыны!» — подумалось тогда ему, и почему-то защемила душа. Что-то их собрало, что-то их вело, и было это «что-то» конечно же не только толстым оркестрантом, который широко шагал впереди и, выпячивая барабан, бил надменно и яростно в его гулкую, обтянутую кожей пустоту...

Возможно, теперь были те новобранцы на амфибиях, поднимались на вертолетах, брали первые уроки, которые давала им суровая армейская жизнь.

Светало, когда добрались до Подгайцев. Всюду пахло водой. Заврайфинотделом, который, оказывается, родом был отсюда, взяв на себя обязанности лоцмана, вывел ма-шину амфибии прямо к сельсовету. Вокруг люди — на крышах, на деревьях, даже возле памятника павшим бой-цам на возвышении пьедестала теснятся люди, обхваты-вают, обнимают гранит обелиска... Водой залита площадь, все строения стоят в воде, вода ревет в провалах окон. По селу всюду гвалт, крики.

Лукавец, поднявшись пад люком, закричал из амфи-бии в мегафон:

— Товарищи население! Призываю к спокойствию. Говорит ваш участковый лейтенант милиции Лукавец... Мы прибыли с военными к вам на выручку, сейчас при-ступим к эвакуации. Снимем всех, но сначала объявляю правила: не толпиться, не лезть без очереди, не топтать ближних!.. Скот, имущество — в последнюю очередь! Спа-саем человека, независимо от того, кто он и каков он! Од-ному вода по пояс, а другому по грудь, спасем обоих, но сначала того, кому по грудь!

Далеко по селу над предрассветной звучностью вод эхо разносило мегафонный успокоительный манифест Лукавца.

Председатель сельсовета — усач, без шапки, — он, как и другие, тоже находился на крыше, — выступил вперед и предложил:

— Вы сначала проследуйте по селу, прогрохочите мотором, чтобы вас во всех концах услышали, чтобы у людей душа стала на место, пусть знают, что вы уже здесь, спасители наши!..

Командир, однако, решил по-своему: приказал немедленно снимать тех, кто облепил обелиск, — были там даже женщины с детьми, одна из них несмело подала голос:

— Тут дети махонькие...

Кусты да почти затопленная металлическая ограда мешали подвести амфибию к обелиску вплотную, пришлось остановиться невдалеке.

Солдаты мигом разделись до трусов и, уже стоя у самого борта, съезжившиеся от холода, стали о чем-то перешептываться между собой: оказывается, решают, надевать ли спасательные пояса. Ведь комплектов ограниченный, на всех не хватит... Солдаты чувствовали себя словно пристыженно, что у них перед гражданскими такое преимущество. Солдат-якут, покосившись на Колосовского, обратился к командиру:

— Нам есть, а как же эти?

— Мне не нужен, я длинный, — успокоил его Колосовский и, не раздеваясь, соскользнул с борта в воду. Чуть не по грудь было острого, ледяного.

— Тогда и мы без поясов, — освобождаясь от неловкости, с облегчением сказал солдат. И мускулистые, натренированные спортом тела одно за другим врезались в воду.

Стали снимать людей. Одних брали, осторожно вели под руки в воде, а которые посмелее, сами бросались вброд к амфибии. Лукавец сверху подавал им руку, и они, скользя по железу, насквозь промокшие, оказывались на борту. Когда дети и женщины были уже сняты, солдаты подошли к седому, в темных очках, пожилому мужчине в тоненьком дождевичке, — он хоть и был с палкой в руке, все не сходил со своего возвышения, крепко обнимал руками гранит.

— Дядьку Миколо! — крикнул ему Лукавец. — Перед вами родная армия, с песню не потопете!..

И пояснил командиру экипажа и Колосовскому, стоявшему рядом: Микола Назарук, отец героя. Сын его под рейхстагом погиб, а он сам был тут бригадиром, и какими-то химикатами выело ему глаза...

— У него привычка приходить к обелиску на беседу с сыном, — добавил заврайфипотделом. — Имя сына вот там высечено... Братская могила тут. Из всех могил, разбросанных по полям, прах павших перенесли прошлым летом сюда... И своих односельчан, кто бы где ни погиб, сюда же вписали по похоронным...

Незрячий все не решался отпустить гранит, смущенно улыбался солдатам:

— Кажется мне, только шагну, так и утоплюсь сразу.

— Не бойтесь, папаша, — успокоил его один из солдат и почти силой потянул Назарука на себя.

Вскоре бригадир тоже был на амфибии и тоном, словно бы даже оправдывающимся, говорил Лукавцу:

— Пришел, задержался, а тут как раз водой и рвануло... К самому камню меня прижало.

Командир амфибии снял с себя фуфайку и молча накинул ее на плечи старику.

Рейс за рейсом вывозили людей в колхозный клуб, что стоял неподалеку, незатопленный на возвышенности. Количество бетезров увеличилось. Никогда не виданные в этих краях, будто живые, зеленопанцирные гиганты из каких-то палеозоев, сновали взад и вперед по забаламученным водам, бороздили село вдоль и поперек. При появлении их кое-кто из старых людей в благодарной растерянности начинал креститься. Амфибисты каких-то других подразделений свозили людей из отдаленных хуторов, с подтопленных ферм: проплывая, они окликали местных, допытываясь, где тут есть власть, надобно ей пожаловаться: на некоторых фермах девчата наотрез отказываются оставлять скот. «Мы его, говорят, успокаиваем». Еще и насмеваются, шлепая с вилами по воде, разнося в ясли корм коровам...

В Колосовском снова заговорил документалист: пожалел, что нет при нем кинокамеры, были бы уникальные кадры. Сознание с необыкновенной ясностью фиксировало сцены, которые уже никогда не повторятся, эпизоды, то драматические, то смешные и курьезные, которые на своем водяном экране создавала сама жизнь. Такую хронику пропускаем: борьбу людей со стихией, поток редчайших событий в их неожиданных ракурсах... Девушки-

медички, которых снимают с крыши больницы: солдаты им плечи свои подставляют, «прыгай, пикируй на меня!», а они конфузятся, стесняются, прикрывают колени халатами, — неловко садиться на воинов верхом... Дородная молодница старую мать несет к амфибии на руках... Еще взгляд фиксирует собаку, ее откуда-то течением принесло, подплыла, выбиваясь из сил, к сжатому водой в гармошку штaketнику, прислонилась головой к столбу и отдыхает: разум!

Вскорости прибыл плавучий мощный танк, он, как крейсер, ходил по селу, снимал сразу много людей. И странно было видеть, как этот железный трудяга везет на себе детей, а они, уже смеясь, крепко обнимают ручонками ствол пушки.

После кошмаров ночи полный день наконец настал, и хоть вода продолжала прибывать, по всюду рокотали моторы, рокотали внизу и вверх — в небе появились вертолеты, пузатые, с красными звездами на лоснящихся боках.

Настроение у людей сразу улучшилось. Вода, она текучая: нынче есть, а завтра и нет ее!.. Участились случаи, когда уже и Лукавец своими уговорами ничего не мог поделаться: целые семьи не хотели спускаться с крыш. Разве ж это просто — разлучаться со своими затопленными гнездами, с коровами, которые с ревом выставляли головы из наполненных водою хлебов, с пожитками, лежавшими в узлах на крыше. Поросяенок визжал у ног молодницы.

— Возьмете поросенка, то и я согласна, а нет, так и тут как-то перебуду.

Товарищ Лукавец ультиматумов не принимал, строго поглядывал на крышу:

— Мы прибыли тебя спасти, а не твое поросенка! Оно, глупое, по темноте своей воды не боится... Ишь, какой устроило концерт... А ты ж сознательная! Ну, давай руку, газдыня! ¹

— Нет, одна не пойду.

— Дак чтобы мне за тебя отвечать?

— А как же? Ответишь, раз сагитировать не сумел.

И так стояла, пока солдат, подкравшись сзади, не схватил молодницу в охапку и не поволок упрямец к лестнице.

¹ Газдыня — хозяйка (гуцульск.).

Председатель сельсовета, который тоже теперь рейсовал с ними, попросил направить амфибию в дальний конец села. Тут оказались самые упорные: никто не хотел оставлять крыши. Двое парубков сидели на хлеву спустив ноги и — это надо было видеть! — пробовали ловить наметками рыбу, — побитую, белопузую, несло ее откуда-то из колхозных водоемов.

Милиционера это возмутило и рассмешило в то же время.

— Рыбку ловят среди потопа! Кому стихия, а им момент: колхозных карпов на дурнячка таскают... А ну, слазьте!

Рыболовы ни с места.

— Кажется нам, что вода спадает...

Даже угрозой штрафа не удалось согнать их оттуда вприз.

— Посидим еще, посмотрим, что оно будет!

С соседних крыш женщины опять выставляют условие:

— Если заберете и коров...

Лукавец взялся за мегафон:

— Получены данные: с верховьев идет новый вал! К черту полетят и ваши коровы и ваши пожитки! Заврайфинотделом встревоженно схватил его за руку:

— Ты что: панику поднять хочешь?

— Паники не будет, а порядок будет, — спокойно возразил милиционер. — Хоть вы и депутат райсовета, товарищ Путря, а плохо знаете психологию масс... И в военном деле слабо разбираетесь: паника скорее бывает от незнания, чем от знания!

— Не надо им всего знать, — возразил Путря. — А особенно этих твоих ничем не подтвержденных данных...

— Дождь идет, — значит, и вода прибывать будет! И мой долг оповестить народ. — И он снова поднял мегафон.

Путря побагровел:

— Я категорически против!

— Можете жаловаться... ТрублЮ!

И Лукавец направил мегафон к людям:

— Спешите, соглашайтесь, пока берем! Вода прибывает еще на два метра! А к вечеру поднимется на три! Выше всех критических уровней!

И это повлияло. Скрепя сердце, нехотя люди стали спускаться с крыш.

Потерпевших, казалось, не убывало в этом большом, густо населенном селе. Амфибии и вертолеты не знали покоя. Гоняли туда и сюда, выхватывали, сбрасывали в безопасных местах, и лишь когда возвращались за очередной партией бесплатных своих пассажиров, солдаты — повеселевшие, взбодренные делом — имели возможность урывками обменяться впечатлениями.

— Я той медичке: пикируй, а она покраснела до ушей и халатиком колени прикрывает... Да пикируй, говорю, нам тут сейчас не до шуток, — и смеется...

— А мне одна бабушенция что-то тычет в руку, когда я ее вынес. Гляжу — рубль измятый... Я сначала и не сообразил, к чему старуха его, а она просит: «Возьми, сынок! На табачок будет!..»

Когда амфибия проходила мимо обелиска в центре села, Колосовский со щемящим чувством пробежал взглядом по длинной ленте высеченных на камне имен, что сверху донизу покрывали гранит, исчезая под водой. Вызванные воображением из небытия, возникали живые, те, что на глазах твоих падали в атаках, что умирали на руках у товарищей... Из разных республик, зрелых лет и совсем молодые, недожившие, лежат вот здесь вместе в братской могиле, и только обелиск островерхий с лентой имен над ними камнем пророс... Мог и ты быть здесь...

— Рядовые, и лейтенанты, и капитаны там есть, — заметив его взгляд, пояснил председатель сельсовета. — Тяжелый у нас фронт проходил...

— Много прочерков...

— То безымянные. Без документов находили мы их на полях. Но ведь они же были, жизнь-то отдали?

Молча прислушивались к разговору молодые солдаты. Сосредоточенными становились их мокрые чистые лица, которые только что умывались смехом, вспоминая забавные приключения. А когда после этого снимали новых, вытаскивали из окон чью-нибудь многочисленную семью, то были теперь солдаты словно бы внимательнее к тем, кого спасали, руки их становились как бы ласковее...

Пробираясь по залитой улице с грузом людей на борту, на одном из огородов заметили старичка, — простоволосый, барахтался он в воде, хлопотал возле полувывернутой потоком пышнокронной яблони в рясных зеленых плодах. С обрывком стального троса в руках старик что-то мудрил у ствола, видимо хотел привязать яблоню тем тросом к крепкому телефонному столбу.

— Вуйку, сад привязать хотите? — весело воскликнул Лукавец. — Ну, что за человек!.. Сколько садов и не таких, как ваш, поалывает нынче в море!

Солдаты уже брели к старику. Он смотрел на них как-то просительно, блаженно, а посиневшие на холоде губы морщились улыбкой или плачем. Не сопротивлялся спасателям, только обрывок троса никак не хотел выпустить из закованных рук. Худой он был, костлявый, и нести его было совсем легко, солдаты бережно, как ребенка, подали на амфибию это старческое тело, в котором еще каким-то чудом держался незахолодевший дух жизни. Затиснутый между женщинами и детьми, постепенно отогреваемый ими, он до самого места, куда причаливал их ковчег, припадал глазами к солдатам, светил старческой лаской то на узбека, то на якута, которые на руках своих подняли его на амфибию, с благодарной расслабленностью смотрел, а посиневшие губы все время повторяли растроганно и ласково:

— Славные робьята... Файпі легініки... Хорошие робьята...

А через некоторое время опять:

— Славные робьята... Файні легініки...

И так до самого места ничего другого сказать не смог.

Вода и впрямь прибывала, Лукавец не ошибся в своих прогнозах. С околицы села видно, как дальше, со стороны реки, свирепствует стихия. Не подступиться туда! Гонит бурелом, несет подхваченный где-то в верховьях скот, — только рогатые головы, выныривая на быстрине, как знаки отчаянья, торчат из воды... Белоголовый бычок, которому удалось выбиться из быстрины, увидев амфибию с людьми, поплыл прямо на нее.

— Давай, давай, браток! — кричали ему солдаты. — Не сдавайся!

Видно было, как он, приближаясь к амфибии, патужно перемалывает, толчет воду передними ногами, и глаза напряглись упрямо, в них как бы собралась вся его молодая воля к жизни.

Кирпичный клуб, куда свозили людей с самого рассвета, начало тоже заливать, загнало всех наверх, на площадку, которую создали, разобрав крышу. Сюда теперь подлетали вертолеты, снимали людей — в первую очередь забрали малышей и больных, эвакуированных из больницы, в том числе женщину, которой подошло время родить. Тем, что оставались, с вертолетов бросали тюки фабричных

одеял и теплые мешки с хлебом, еще с духом горячих печей хлебозаводов.

Деды старые, принимая хлеб с вертолетов, не спеша делили его, раздавали, соблюдая справедливость.

— Чего вы плачете? — заметив слезы на глазах у дедов, посмеивались лоботрясы. — Все законно!

— Слезы близко, потому и плачут, — сказал один фюрслый, в ярком свитере. — Кинули им по буханке хлеба без консервов, и уже они растрогались...

Старые женщины набросились на него:

— Чего плачем? Потому что в прежние времена, когда такая беда, даже и меньше, то уже — берите торбы и идите по миру... А сейчас он тебе с неба подает еще теплую буханку...

— Да ведь законно!

— Потому и плачем, что законно, что по-людски с нами...

Наверное, и в безалаберных душах после этого что-то все же шевельнулось. Потому что, когда амфибия готовилась к отправке в очередной рейс на отдаленные фермы, эти же местные хлопцы сами вызвались сменить амфибистов:

— Отдохните! Погрейтесь! Пусть и мы испробуем службу морскую!..

Амфибисты от передышки отказались, но песколько добровольцев себе в помощь взяли — вместе с ловичками на борту и отчалили от клуба.

XX

В школе, где размещена киногруппа, шум, гам: классами завладела детвора. На второй план оттиснуты труженики десятой муз. Вуйне Доминике с воспитательницами хватает забот с малышами, чаем горячим отпаивает их посло ночи, уговаривает самых крикливых:

— Слушайте, дети, что со мной приключилось...

А с нею, собственно, ничего и не приключилось. Зато пило огород с картофелем, залило ночью погреб — и все тут.

В одной из классных комнат, забившись в угол, дрожит окруженная детьми дикая горная серпючка. Трепетное, пугливое создание, она, впрочем, позволяет детям дотронуться до нее, некоторым удается даже погладить эту

юнюю тонконогую жительницу гор. Серночка тоже с помощью вертолета попала сюда. Такой уже день — все перепуталось, обернулось необычайностью: кому суждено было умереть во время паводка — его нельзя было похоронить, нигде было выкопать могилу, забирали на небо. И кому суждено было родиться, первый крик того новорожденного тоже прозвучал в это утро вверх над водами — в кабине вертолета, спявшего беременную женщину с крыши сельского клуба. В воздухе, над бушующей стихией, отдавались и принимались команды, выслушивались первые благодарности и первые нагоняи тоже... Дикую серночку с гор несло на копнушке сена, потоком прибило сено вместе с пассажиркой к кусту, с берега видно было, как подошел к ней вертолет, выбросил лесенку... Молодой офицер, спустившись, улучил момент, и вот уже дикое, пугливое создание жмется к нему. Казалось бы, должно испугаться грохота мотора, отпрянуть от человека, а оно не бежит — стихия страшнее! — доверчиво льнет к человеку, дается в руки, ведет себя так, словно выросло в хате лесника, близ людей.

А только вертолет поднялся — сразу ему по радио:

— Семнадцатый, это вы спяли козленка?

— Я, товарищ командир.

— Вам нечего больше делать?

— Виноват, товарищ командир.

— Откуда он?

— С гор.

— После потопа в горы его и отправьте... И в дальнейшем никакой звероловли — только людей!.. На комбикормовый завод — там уже ждут вас на крышах...

На новые задания летят вертолеты, улетает и тот, что оставил серночку в школе, что так искренне сказал Ярослав: «Мы обыкновенные...»

«Разве вы обыкновенные?» — провожает она взглядом вертолет, который прогрохотал над водами, над бесконечностью залитых лугов, что еще так недавно цвели, мерцали в лучах солнца стрекозами, — вертолет, уменьшаясь, тоже становился похожим на одну из тех крылатых стрекоз...

«Вот так и живем, — думал между тем пилот вертолета у себя в кабине. — В космонавты нас пока что не берут, ну и приходится основательно приспособливаться к земным, чернорабочим делам. Может, и надолго. Может, и на всю киноленту жизни, — какая уж она там будет:

долгая или короткая, цветная или однотонная... Кому неохота жить цветисто, киноэкранно! Но ведь и будни имеют свой смысл... И если взять материну жизнь или отцову...» Хотя отца он знает, собственно, только по рассказам... Если взять скромное жизненное творчество Решетняков, то парню нечего стыдиться. Честность, как наивысший знак качества, отпечатана на каждом прожитом дне.

В школе оживление не спадает, взбудораженный кинолюди всесторонне разбирает ночную операцию по спасению лагерных детей. Событие комментируется конечно же в юмористическом плане, осветители и молодые ассистенты со смехом пытаются определить, кого можно подвести под рубрику героических натур, выясняют, кто сколько раз падал и кто больше всего детворы навьючивал на себя... И вышло так, что героем дня, или, вернее, героем ночи, неожиданно оказался Бронек-девятиклассник: он проявил себя самым ловким, не растерялся, ни разу не упал, таскал тех малышей, как воробышков со стрехи, — ему и отдали в процессе дискуссии лавры первенства. Обещали даже отметить его тем, что дадут заглянуть в окуляр во время съемок: об этом Бронек давно мечтает.

Ягуар Ягуарович, переодетый после ночи в сухое, взял на себя обязанности медика: в какой-то лыжной шапочке с помпончиком на темени, с удлинненным сухим лицом византийца, снует между людьми, раздает таблетки кальцекса (профилактически), Ярославе предлагает горчичники, — за нее он боится более всего: как бы не простудилась.

— Если бы это было в Доме кино, — говорит он Ярославе, — я, конечно, предложил бы вам коктейль по моему собственному рецепту, какого и ваши пижоны-поклонники не знают...

Видно, какой-то въедливый оппонент, подвизающийся в подвале киноресторации, не дает покоя Ягуару Ягуаровичу, так как, присев на парту, он вдруг обрушивает на него всю свою страсть полемиста:

— Так, говоришь, творчество возникает из беспорядка, ему от природы свойственно хаотическое начало? Любимец муз, говоришь, всегда был лишь сыном стихии, дитятей разнузданных, пирующих сил бытия? Хотел бы я тебя, голубчик, видеть, с нами этой ночью... Что бы ты запел? Что же касается меня, то я видел хаос и знаю, что

он человеку песет... Пылающее небо, разбомбленные эшелоны — все видел... И если выбирать между хаосом и порядком, Славцю,— апеллировал уже к киноактрисе,— то знайте: я выбираю порядок! Ему отдаю предпочтение... Уже хотя бы за то, что он способен сласать. Если даже он оставляет меньше места для поэзии, зато больше для справедливости!..

Неожиданно появился Сергей. О нем еще ночью беспокоились, пока какой-то из его ассистентов не признался, что ему известны координаты: батяр их в Адамовцах на свадьбе гуляет. Это сразу успокоило: на свадьбе не пропадет, рано или поздно явится из своих почтовых похождения, еще, может, и перевязанный свадебным рушником...

Появился грязпущий, до ниточки промокший, по лицу... это надо было видеть: оно было вдохновенным! Ярослав, пожалуй, впервые видела его таким:

— О, мо-ой, мо-ой! Откуда ты взялся?

— Сколько я видел! — Сергей раскинул руки, как для объятий. — О, сколько всего... Братцы, мы на острие событий.

Его окружили, разглядывали с шутками:

— Человек из легенды! Человек из бессмертия! И все-таки — как выбираютя оттуда?

— А плавсредства зачем? Плавсредства выпесли меня из тьмы и хаоса на берег этой вашей — не скажу при жепщинах какой — цивилизации...

Не захотел переодеваться, не стал сушиться, лишь сменил плащ на куртку, чтобы удобнее было бегать, наспех выпил стакан горячего чая, привычно перезарядил в углу аппарат и:

— Целуем рончки!

Остановившись на миг перед Ярославой, он в самом деле поцеловал ей руку, чего раньше никогда не делал.

Ягуар Ягуарович пытался удержать его, напомнил, что съемки наводнения вовсе не предвидены планом-лимитом, но это оператору только поддало жару:

— Все беру на себя! На свой страх и риск! — И, прижимая камеру к груди, крикнул уже с порога: — Там такие кадры плывут!

«Ничто так не красит человека, как вдохновение,— подумала Ярослава, проводив Сергея взглядом.— Просто удовольствиес смотреть на такого вот человека — окрыленного, одухотворенного...»

Выше школы, вдоль по затопленного водой шоссе, с самого рассвета велись спасательные работы, там виднелись какие-то машины, кружил вертолет, — Сергей пустился туда. Еще издали он увидел группу фермовских девчат, стоявших на круче, — кажется, это были те самые девчата, которых Сергей с Колосовским и Ярославой хотели отобрать для съемок в массовых сценах. Было это всего за несколько дней до потопа. Разыскивали тогда девчат на лугах, на старпцах, где был у них летний лагерь для скота. И удивительно было, как все там, чего только ни коснется взгляд, становилось искусством: подойники с солнцем на боку... трава... коровы... круторогость... блеск мускулов под кожей... Все, все тогда Сергею хотелось заснять, все так и просилось в кадр!.. Девчата были польщены, что их хотят отобрать для участия в кинофильме, но когда в ответ на расспросы, что именно придется делать, слышали от Сергея: «Лошадей чесоточных будете обнимать!» — то хором запротестовали: «Не будем этого... Ужас какой!.. Это неправдиво... Не реалистично!..»

Теперь циклон ставит тут свой фильм, разворачивает на весь край широкоэкранную драму, и девчата вовлечены в нее... Сбились стайками в своих кучках мини-юбочках, некоторые прикрываются от ливня зонтиками, взбодраженные, раскрасневшиеся, какая-то все время кричит с берега:

— Зорька! Зорька!

Сергей не мог удержаться — с ходу кинулся спимать девушку, которая, стоя на берегу, отчаянным голосом кличет свою Зорьку, с нее перевел взгляд туда, куда все смотрел, — вниз, где под самым обрывом бурлила река... Если бы это было не операторское сердце — оно бы похолодело от таких кадров: коровы, целой чередой сбившиеся под берегом, плавают в желтых водоворотах, пытаются взобраться на обрывистый крутой берег, оскальзываются, срываются, захлебываются грязью... Все, все неповторимо! Стиснув зубы, с мокрым, бледным от напряжения лицом, оператор прицеливается, охотится с каким-то холодным бесстрашием, выбирает, выхватывает на пленку самое ужасное... Уже не воплем девушки, а только искусством становится агония скота, захлебывание чьих-то Зорек и Красавок, их упорство, когда они, через силу борясь с течением, опять приближаются к крутизне берега и, перепуганные, огромноглазые, к людям пытаются вылезть!

Девчата плачут, кричат кому-то:

— Багры, багры!

Выше вдоль берега орудуют баграми рабочие комбината. Цехи сегодня остановлены, всех мобилизовали на спасательные работы, часть комбинатских брошена сюда вытаскивать из воды колхозный скот.

— Нужно было вам не по танцам бегать, а еще с вечера забрать поголовье из летних лагерей,— укоризненно роняет от газака какой-то шофер, и девушки отвечают ему обиженно:

— Попробовал бы! Ночью они ни с места! Почуяли, что их уже обступает вода, и никуда ни шагу, ничем не выманишь с островка!

Кто-то из старших добавляет:

— Тварь, она воду чувствует больше, чем человек...

Ночью не удалось стронуть, а теперь вот их понесло... Почти вся киногруппа уже была тут, даже Ярослава — вопреки запрету Ягуара Ягуаровича — прибежала, правда, закутанная в теплое, в чьих-то охотничьих сапогах. Ошалевший Сергей-оператор, носясь с кинокамерой по берегу, даже не увидел Ярославу, и хлопцев — ассистентов своих — он заметил, кажется, только после того, когда они, помогая рабочим, ненароком влезли к нему в кадр. Вооруженные баграми и веревками, они вытаскивали гуртом корову, кто-то, как лассо, накинул ей веревку на рога, — ухватились, вытащили, и обессиленная скотина сразу брякнулась, повалилась на асфальт. Сергей заснял и это: как лежала корова, как отдышалась и медленно встала, как, пошатываясь, пошла. Несколько разбухших туш лежало вдоль шоссе — это те, которых вытащили баграми, когда они захлебнулись, барахтаясь у берега.

Из-за холма показался грузовик, замедлил ход, остановился, и мужчины из спасательной команды, открыв борта, стали укладывать в кузов что-то закутанное в брезент. Ярославе страшно было смотреть в ту сторону и все же смотрела, не могла оторвать глаз: она знала, что там, в том брезенте. С час назад комбинатские выловили багром утопленника с торбой через плечо. Когда его подтаскивали к берегу, чей-то багор невзначай распорол набрякшую шерстяную торбу, и из нее посыпались... деревянные орлы. Сцена была ужасная. Ярослава не смогла смотреть на утопленника, на его разбитое о камни лицо, — ринулась прочь, а перед глазами все плыли, скакали

деревянные орлы в водовороте, пыряли и снова всплывали, как утята...

Машина с утопленником тропулась, и люди опять обратили взоры к водовороту, где все кружило, то подгоняя к берегу, то унося прочь вконец измученный скот. Уже совсем незнакомые чьи-то Зорьки да Искры силились зацепиться ногами за скользкий берег, искали спасения близ людей...

Сергей носился по берегу, выискивая острые моменты; внимание его привлекало все, что кричало, боролось, выпутывалось. То, что оказывалось вне опасности, теряло для него интерес. В одном месте он поскользнулся, чуть не сполз вниз, Ярослава вскрикнула, ужаснувшись:

— Будь осторожнее... Ты совсем дикий сегодня...

Заслышав поблизости голос Ярославы, Сергей как будто очнулся, бледное возбужденное лицо его осветилось широкой дерзновенной улыбкой:

— Полцарства — за геликоптер!

— О, мой, зачем он тебе?

— Чтоб над этим потоком пронестись!

Запыхавшийся, глаза горят, галстук съехал набок...

«Это его день... Его апофеоз... О, мой, мой! Такой был пентюх, а сегодня тебя не узнать: само вдохновение, экстаз, одержимость!»

— Понимаешь, Славцю, всюду хочется быть! Хочу видеть всё! Такую точку хочу выбрать, чтобы не сбоку... Чтоб камера шла на этот хаос в лоб!..

Неразлучный со своей камерой, он уже что-то высмотрел впереди, оставил Ярославу и помчался, обгоняя людей.

На возвышении, прямо на шоссе, приземлился вертолет, из него вышел высокий генерал в полыхающих лампахах и трое гражданских, о которых кто-то тут сказал, что они из Центра, из Государственной комиссии. Подойдя к краю обрыва, прибывшие стали смотреть, как другой вертолет, снизившись к застрявшей амфибии, снимает с нее экипаж. Выбросили трап, но ветер гоняет его так, что не сразу удалось поймать, потом все же поймали, и один из солдат, раскачиваемый ветром, стал взбираться ступенька за ступенькой вверх...

— Молодец, — кинул свое привычное генерал и в этот момент почувствовал, что и сам стал объектом, очутился под прицелом кинокамеры, попал в кадр! Генерал был как будто недоволен, что сделано это без его разрешения,

по педовольство было больше внешнее, хмурость показная (при встрече со служителями муз вообще пелишним бывает нахмуриться!), и именно так все это прочитал кинооператор, один из тех, видно, шалапутных людей, которых где и не сей — и там уродится...

— Товарищ генерал! Мне нужен геликоптер!..

— Что-что?!

— Геликоптер мне нужен для съемок...

Что за тип? Что за наглец?

— Кто вы такой?

Назвался, представился, по коротко — не в этом суть.

Ему необходимо снимать. Немедленно, везде! Всю эту стихию он втиснет в размеры киноплёнки, сделает из нее микровеличину, она будет у него вот здесь, «поймите, это нужно, нужно!...».

Кинооператор чувствовал свою правоту, говорил резко, напористо, генералу понравилась его одержимость, его упрямые, яростью вдохновения наполненные глаза. Человек, на которого вряд ли стоит сердиться, даже привлекательный чем-то человек, несмотря что такой дикий и несобранный, стоит в своей расхристанной куртке с обломанными «молниями», заношенном берете, который чудом держится, сплющившись сбоку, на большой кудлатой голове.

Генерал обернулся к гражданским:

— Съемки его могут понадобиться для Государственной комиссии?

— Конечно, — ответили ему.

— И не только для этого! — воскликнул оператор. — Есть кинокадры, которые отбирает человечество, в бетон замуровывает на века!.. Ибо они несут важнейшую информацию для грядущего...

— Хорошо, хорошо, — улыбнувшись, остановил его генерал. — Дам геликоптер. Только чтобы вся стихия была у тебя в кулаке... По крайней мере вон там. — Он кивнул на камеру, которую Сергей, учащенно дыша, прижимал к груди.

Это был его день, его неистовство, его апофеоз... Летит над потоком. Кинокамера при нем, запас пленки — и всё. Вспомнил, как хотели они дать в фильме планету в чад, в пожарах, как бы с точки зрения человека, который в скафандре плывет в открытом космосе...

А тут он видит ее — одичавшую в потоке.

Внизу — море. Стремительное, всесметающее движение стихии. Даже с вертолета ощущается мощь воды, чувствуется, каким тяжелым становится там, в динамике лёта, двадцатикилограммовым каждый килограмм воды.

Вода идет через поймы сплошным пенистым фронтом. Плыет все, что было неплавучим, что как бы навсегда было прикованным к своему постоянному месту на земле, и среди этого яростного движения воды, над которой пролетает твой вертолет, странным контрастом выделяется живая приметная деталь: холмик незатопленный, крохотная лысинка незалитой земли, и на ней, сбившись в кучку, нагнув головы, неподвижно стоит темной скульптурной группой четверка коней. Неужели это твоими путами спутанные лазаретные артисты?

— Еще раз прошу зайти над ними...

— Не впервые сегодня тут пролетаем... Они всё стоят.

Квадрига печали и беспомощности... Такими и засни-мешь их в этом неожиданном ракурсе... Всюду скотина плывет, где-то там ее вылавливают баграми, вытаскивают на землю, иная, захлебываясь, дальше вниз проплывает между буреломом, а эти, как бы не понимая, что творится вокруг, стоят, путами опутанные, одни среди воды, среди взбаламученного потопа, удивляя вертолетчиков тесной, скульптурно четкой групповой своей печалью, своею загадочной неподвижностью. Почему стоят? Почему не плывут, не спасаются, — ведь умеют же лошади плавать?

Загадка остается для пилотов неразгаданной, пролетели над лошадьми, и уже, видно, о другом их мысли... Очередное задание, на которое они идут, такое же будничное и в то же время необычное, как и все в этот день: идут, чтобы забрать пограничников с вышек.

Вертолет набирает высоту, и до неузнаваемости меняется панорама земли, этого еще недавно, пожалуй, самого зеленого лоскута планеты. Открывается архипелаг сел, в непривычной оголенности встает геометрия четко распланированных ферм, кварталы затопленных садов, кое-где тянутся по воде тонюсенькие ленты дамб. Нет дорог, которые пилоты привыкли тут видеть, нет узкоколеек, зеленых яв, колхозных огородных плантаций, покрытых полиэтиленовой пленкой, под которую с весны вызревали ранние овощи... Это все были ориентиры пилотам. Сейчас

поля, сколько взглядом охватишь, покрыты полиэтиленовой серостью паводка.

Границу, как таковую, уже, собственно, и не заметить. Смыло контрольно-следовую полосу, снесло инженерные сооружения, и лишь на вышках, поднявшихся над потоком, сторожат молодые часовые. Вода по эту сторону, вода уже и по ту сторону, бурелом и скот плывут там, где еще вчера пролегали суровые запретные полосы, полосы, что делят земли государств. Только с вышки пограничникам хорошо видно в бинокль где-то аж под самым небом, в глубине другого государства, далекие чужие холмы, покрытые редколесьем. Знакомая часовым иноземная отара пасется по подгорью, как и вчера, как и позавчера... Овцы белеют в той же загородке, в которой часовой привык видеть их повседневно, наведя на нее стереотрубу или бинокль.

Стоит на страже над разливом стихии юноша, приложив бинокль к глазам, и крепко сжаты его еще, может, не целованные губы, и лицо охвачено раздумьем. Потоп и потоп. Но должен стеречь и потоп.

Вертолет, снизившись, уже висит над пограничной вышкой, спускает с неба веревочную лесенку-трап с алюминиевыми трубками ступенек...

И голос, приказывающий сверху:

— Ну, давай, браток! Карабкайся! Только на меня, в объектив гляди: хочу видеть, каков ты есть!.. Тот, что выстоял над потоком!..

В этот день Сергей не думал о себе, не жил собой, хотя каждое мгновение бытия для него было, как никогда, важным, значительным, неповторимым. Зато в школе сегодня о нем думали теплее, чем раньше, и ждали его возвращения из полета, и рисовался он кое-кому как рыцарь Камеры, как художник, который, вооружившись только чувствительностью пленки, пошел на поединок с циклоном...

Даже экипаж вертолета удивлялся рвению кинооператора, неутолимой его жажде всюду быть, все схватить. Утром он был с кинокамерой на амфибии, теперь — на вертолете, тоном диктатора требует, где и как надо себя вести вертолетчикам в интересах съемок... И не сердятся на него, на этого человека с камерой, власть которого простирается как бы на всю стихию... Снимает и лошадей, и дамбу, и пограничников — как вертолеты забирают их

с вышки... Над всеми страстями оператора сейчас, видимо, властвует одна: объять, схватить этот хаос, его разрушительную мощь, и человека, борющегося с ним, заснять, увековечить для будущего...

Требуется лететь к тем, что на крышах, потом вдруг: нет!

— Вот здесь! Здесь!

Опустили его на полуразрушенный мост. Подмыло ночью опоры, середина проломилась, а край один еще крепко держится на быках... Кинооператор ничего не хотел теперь слушать, наконец нашел точку, какую он весь день искал! Не сбоку, а откуда его камера будет брать хаос в лоб!

Прибывает вода. Если есть у стихии девятый вал, то это как раз он! Гонит с гор бурелом, катит валуны, река глухо грохочет, перемалывая все в глубине на своих каменных жерновах. Среди грязных пенистых бурунов плывет дерево, зеленое, ветвистое. Ветвистая яблоня — вместе с корнями, вместе с плодами — то погружается, то выныривает из водоворота, из маслянистой нефти... Стрекочет камера, жадно и ненасытно вбирая в себя этот мир хаоса, непривычно уродливый мир разрушения... Буруны подгребают под себя буруны, вода сама в себе не вмещается, эту еще только проносит мимо, а за нею уже летит с грохотом новый желтый и черный, лоснящийся нефтью вал, летит со скотом, с тачками, с опрокинутыми возами, лишь колеса мелькают из пены... Несет целые копыны — «острова» сена, по-горному насаженные на жерди (чтоб ветер их не развеял...). Несет чьи-то разоренные очаги, обломки разукрашенных резьбой крылечек, оконные рамы в резных наличниках, несет откуда-то целые крыши с аистинными гнездами... Ульи плывут! Вместе со всем своим идеальным укладом, со своими залитыми семьями, с заполненными медом сотами и нектарами цветущих гор и долин... Кинооператор все это встречал камерой, вот где он наконец сошелся со стихией с глазу на глаз! С берега видели, как подходит он к самому краю моста, сгорбившись, прицеливается объективом, словно расстреливает эту стремительную потопную силу, словно хочет остановить, сдержать ее мрачный разгул... Камера не знает передышки, оператор работает яростно, а с берега ему кричат, а он все снимает, снимает самозабвенно, а мост под ним опускается, опускается...

Наконец настал день, когда вода начала спадать. Как быстро росла, так быстро пошла и на убыль: входила в берега, освобождая поля, пропахшие болотной сыростью села, открывая заиленные, размытые шляхи. Над горами, над долинами, над целым краем снова светит солнце. Светит с резкой послепотопной яркостью.

Воинские части мощной техникой расчищают в горах от завалов автобусные трассы. Тысячетонные кучегуры горных пород обрушились на полотно дорог, перегородили, закрыли туристские маршруты. Посбивало мосты. Еще с цесарских времен мосты поднимали над уровнем реки на четыре метра, такими их и строили. А вода шла пяти- и шестиметровыми валами, — больше сотни мостов поносило в первую же ночь. Где перед этим лишь ручеек слезился — реки ревели. Тракторы, машины на лесоразработках — все стало легким, как щепка. Словно на иной планете, с иной силой притяжения. В одном из лесничеств вырвало угол здания и даже сейф утащило — до сих пор не нашли, а там, кажется, были протоколы на браконьеров!

В одну из ночей порвало трубы магистрального нефтепровода, нефть полилась на воду, понеслась с такой скоростью, что утром ее обнаружили уже в море, на солнечных приморских пляжах. Понтонерам стоило тогда героических усилий загнать понтоны в аварийный участок, отвести русло и создать условия для ремонтных работ. Теперь трубы нефтепровода — просмоленные, обшитые деревом, изоляционной бумагой, на которой кое-где проступает смола, — снова пестреют по подгорью, несут, как и раньше, нефть на другую сторону гор.

Были под угрозой и опоры международной энергосистемы: под некоторыми размыло основу, и они на несколько метров вылезли фундаментами из земли; однако выстояли, ни одна не упала.

Больно было глядеть на слизанные паводком, сплошь уничтоженные поля. Где еще недавно все росло, цвело, шло в колос — лежит слой бесплодного гравия-щебня, мертвой породы, — словно где-то на Луне, в Океане Бурь. Не один год понадобится, чтобы снова здесь начало расти и родить. Срезало, снесло, слизнуло весь плодородный покров, удобренную, выпестованную почву — величайшее богатство колхозов. Лишь кое-где уцелевшие чудом лежат

колосками в иле хлеба — колосок рядом с неживой, уже высохшей рыбой... Подмыло железнодорожную колею, и там сейчас трудятся бригады студентов. Работники связи укладывают на место международный кабель, который переносили над водой вертолеты, спасая от повреждения, — то была одна из наиболее сложных операций. Кабель действовал бесперебойно и тогда, когда ревела черная стихия ночная... На посеребривших, пепельных лугах, в мокрых лозняках закапывают разбухшие туши животных, спутанных лошадей. Высоко на вербах повисла трава, указывая ватерлинию отшумевшего паводка, отшумевшего как кошмарный сон. Траву уже высушило солнце.

Постепенно освобождаются от страха те, кто, будучи загнанными водой на деревья, посидел в одну ночь. Перевел дух и тот председатель колхоза, который, потеряв во время наводнения скот, поплатился за это весьма своеобразно: напроць вылез у него чуб, — облысел, обезволосился человек! Врачи заверяют его, что это от нервного потрясения и что это временное — еще отрастут волосы, еще «будете кудрявым...».

Только бы и горя, что это...

Паводская комиссия так и не установила имени человека, найденного в лозняках, полузаиленного, с ребенком, прижатым к груди... Кто он и чье это дитя?

...Светит солнце, сушит слезы на щеках, люди понемногу приходят в себя после пережитого бедствия.

Вагоноремонтный завод снова начал строить над речкой детские лагеря и зону отдыха для рабочих. Наводят мост, ставят домики, грибки, разбивают клумбы. Из всего, что настроили перед этим, после паводка осталась... одна арка!

Шутят:

— Такой крепости арка: циклон не берет!

Хозяйственники подсчитывают причиненные стихией убытки. Председатель прославленного колхоза бегаёт по учреждениям райцентра, допытывается, будет ли ему возвращен полевой вагончик, угнанный водой за границу, и вернут ли ивоземные соседи с таким трудом добытые полиэтиленовые пленки, тоже унесенные туда, за пограничную полосу...

Трогательные сцены прощаний с солдатами происходили по селам. Люди несли своим спасителям подарки, лучшие свои изделия отдавали им народные мастера-резчики, а от женщин и девушек доставались солдатам вы-

питые на память рушники и гуцулки. Вскоре уйдут отсюда амфибии, разлетятся по своим аэродромам вертолеты, будут их экипажи опять где-то в казармах жить неприметной для других, негромкой, словно невидимой жизнью. Но каждый вернется отсюда с новыми, неизгладимыми зарубками в душе.

Отныне изменится у людей отношение и к самой речке: видели ведь, что она таит в себе, какой зверь может в ней просыпаться... Будут настороже. Не видно будет купающихся там, где раньше любили купаться... А она вновь спокойная, без водоворотов; ровно, мирно несет в берегах ласковые воды, вызванивает свою колыбельную мелодию. Текучим потоком света переблескивает по самому дну русла, и тень от каждого камешка, как и рапные, мерцает в воде. Закодированы в ней и грохоты циклона, и сила стихий, и горе людское, воплощает она в себе переменчивое течение самой жизни.

Настал день прощания. Непотопленный стол президиума вынесен на площадь у старинной ратуши. Гремит оркестр. Музыкой встречают героев борьбы со стихией, — они должны вот-вот подойти. Дети с букетами цветов нетерпеливо ждут момента, когда смогут вручить их. Ромы, маки так и полыхают, где только они и сохранились в ночи циклона. Свежие, яркие, полные красоты.

Колосовский со своим другом-однополчанином прохаживался у ратуши, слушал, как тот рассуждает, словно полемизируя с кем-то:

— Боролись героически, это правда, но ведь пора и задуматься: что будем делать в последующие годы? Снова ждать аврала? Нет, с природой не шути...

— Какой яростью она тут взорвалась...

— Чтобы другом была, надо и самим изменить отношение к ней... Смотреть не только глазами потребителей... Уметь не только рубить и рубить...

Возле товарища Лукавца, как всегда, гурьба охотников послушать свежий анекдот. Однако на этот раз тут серьезные речи. Берега рек не укрепляются... Горы лысеют... Да еще о селе Яворивцы, которое заливается водой почти каждый год. Надоело уже их спасать. После паводка яворовчапам предложили переселиться на другое место, куда вода не достанет.

Субсидию дают, всякие льготы, но — никак! «Не подвинемся ни на метр. Тут наши деды-прадеды жили... Тут каждый корень наш». Ну что за народ?

— В том-то и сила, что корень,— говорит кто-то из старожилов, думая о чем-то своем.

Товарищ Лукавец, верный себе, наконец «выдает» песколько веселых паводковых историек. Про буфетчицу, которая пошла на дьявольскую сделку с циклоном, надеясь скрыть немалую растрату... Да еще про того завскладом, который «под шумок стихии» сам кинулся ночью опустошать свой склад — отпер, открыл двери пастежь, был уверен, что наводнение смоем все грехи, а вода до него так и не дошла...

О людских жертвах говорилось неохотно.

— По размерам бедствия — жертв совсем немного, — успокаивающе говорил Лукавец.

— А могло же и этих не быть? — заметил молодой щеголь из районных.

— Ну, это уже не к нам претензия, — возразил Лукавец. — Мы сделали все, что могли. Не милиция виновата...

— А кто?

— Все — и никто. Никто и все. Нужно, чтобы душевной депрессии в людях не было, ты меня понимаешь? Есть депрессии в циклонах, есть она и в людях... Отсюда и последствия... Так что жалоба отводится, не по адресу она.

«Никто и все» — эта формула Лукавца, видимо, поправилась людям, сочувственно воспринималась также и его ссылка на какую-то не совсем понятную депрессию, мудреную штуку, которую Лукавец уверенно и весело перемалывал на зубах... Присутствующие соглашались, что жертв циклона было бы действительно намного больше, сотни людей забрал бы потоп, если бы тут не проявили себя твердая воля и сила порядка.

— А что же все-таки надо было сделать, чтобы жертв не было вовсе? — глядя Лукавцу прямо в глаза, допытывался Бронек-девятокласник.

— Обуздать циклон! — рассудительно отвечал милиционер. — Из космоса обезвреживать его. Но это уж я предоставляю тебе... Займись.

Музыка ударила туш. Шли амфибисты. Пилоты вертолетов. Понтонеры... Мигом принялись строиться комсомольцы из спасательных дружин...

Военные и гражданские стоят в строю с чувством исполненного долга, слушают слова народной благодарности. Вручаются грамоты. Четким шагом выходят из шеренги один за другим рядовые и командиры, получают из

рук секретаря райкома партии награды, для многих из них — первые награды в жизни. Вручают грамоту генералу, стройному, моложавому. Юношам в офицерской форме... Получают грамоты водители амфибий, пилоты, те, кто наиболее отличился в борьбе с наводнением...

— Джумагалиев!

— Скоморохов!

И вдруг Колосовский вздрогнул, услышав знакомую фамилию:

— Капитан Решетняк!

Грамоту получал молодой, безукоризненной выправки офицер. Разворот плеч, достоинство осанки... Крепкое, освещенное спокойной улыбкой лицо... Вылитый Иван! Чисто тебе отцова крутобровость! Слово то тот ожил, словно воскрес...

Уже вызывают других... Из числа гражданских получает грамоту и тот модерняга, что приезжал на мотоцикле к киношникам, предлагал сыграть роль анонимщика. Получил награду и, отходя от стола, подмигнул Колосовскому: «А вы, мол, не хотели брать... Не знаете, братцы, людей...» Их Бронеку тоже была положена награда за спасение лагерных детей. Он совсем застенялся, принимая грамоту, стоял возле стола по-мальчишески песклядый, ссутуленный; секретарь, улыбнувшись, сказал ему вполголоса что-то подбадривающее, хлопец кивнул и мигом шмыгнул в толпу, словно хотел скорее спрятаться от собственной славы.

— Вы знаете, кем он мечтает стать, наш Бронек? — сказала Ярослава Колосовскому. — Синоптиком! Все ураганы с параболами их путей нанесены у него на карте. По именам знает: где проходил ураган «Газель», где тайфун «Опал»... Смешной. Непременно, говорит, полечу в самехонький «глаз бури», чтобы увидеть ураган вблизи, не на экране радиолокатора.

После церемонии награждения Колосовский познакомился с капитаном Решетняком. Да, родом из полтавского, из того села... Батько — Иван, мать — Катерина. Горячая волна подкатила Колосовскому к горлу. «И вот ты возмужала, расцвела — еще одна человеческая жизнь, еще только распускавшаяся тогда, когда мы невольничьим братством прозябали где-то в пещере-яме кирпичного завода, лишь звездной вселенной прикрытые. Расцвела и встретила меня на новых дорогах, чтобы взволновать, и обрадовать, и опечалить меня...»

Подошла и Ярослава, обратилась к капитану, как к знакомому:

— Поздравляю с наградой. Я же говорила, что вы станете знаменитостью.

Он покраснел.

— Вы не забыли меня?

— Забыть? Такое не забывается... А серночка ваша все еще у нас.

— Ее надо в горы отправить.

— Но как?

— Я прилечу за пею... Не возражаете?

Ярослава глазами ответила: нет.

Колосовский почувствовал, что возникает словно бы какая-то тайна между ними. О серночке говорят, которую надо в горы отправить... И таким тоном, с таким поблескиванием в глазах...

Вскоре капитана позвали, и он, пожав руки обоим, твердым шагом пошел к товарищам. Пошел, чтобы сразу же, наверное, и отбыть, и опять очутиться в иной жизни, где сурово, где загадочно. Там, где их редко видят девушки, разве что в выходные, если нет тревоги. Но отныне тут все время будут чувствовать: где-то они близко, где-то они есть и готовы в любое мгновение появиться из своей суровости, по первому же зову прийти на помощь людям.

XXII

Если бы только в ясные краски дня не вплеталась лента траура... Всюду и во всем ощущалось отсутствие кого-то... Как живого, видит киногруппа Сергея в его последнем яростном вдохновении, когда он, промокший, но сияющий, забежал в школу наскоро перезарядить аппарат и взять пленку про запас. Руки его видят, умелую и сильные. И любимую его камеру, которая сейчас лежит где-то запертая, потопом замурованная в серые почвы устья... Вместе с последними, может драгоценнейшими, кадрами.

Мост обвалился, затонул, как тонут в штормах корабли. С человеком, который до последнего мгновения снимал и вместе с бетоном моста ушел в буруны стихии. Так погиб этот неугомонник, искатель, вечный ловец неуловимого. Осталось от него киногруппе лишь нечто похожее

на легенду. Образец самоотдачи остался, «полцарства за геликоптер!», да еще одержимость его вдохновения...

— И все же он вышел победителем,— говорит Ягуар Ягуарович и погружается в глубокую задумчивость.

Словно бы вырос в глазах киногоруппы Сергей. Был он оператором действительно не сухого, не академического склада. Его камера — экспрессивная, дерзкая, острая, — ее ни с чьей не спутаешь. Она как бы повторяла нрав хозяина, его нервную жадность к работе, его пенасытость, даже его недостатки... Раньше кое-кому не нравилась в Сергее, к примеру, эта его, приобретенная в кино, профессиональная манера бесцеремонно разглядывать человека с ног до головы, грубовато заглядывать незнакомому в глаза, как бы допытываясь: «А ну, на что ты способен... Киногеничен ли хоть немпожечко?» Но сейчас эти манеры его прочитывались иначе: все-таки славный был парень, душой преданный искусству!.. Вспомнилось опечаленной киногоруппе, как один тип, выступая на студийном собрании, когда-то донимал Сергея: «У тебя же мания справедливости!..» Что скажет этот тип теперь?

В один из ближайших дней снарядили поисковую экспедицию, которая должна была пройти по речке вниз, до самого устья. Отправились втроем: Главный, Ярослав и Ягуар Ягуарович... Может, найдут следы какпе-нибудь, может, где-то выплыл, в лозах застрял...

Река, самая большая из всех здешних рек, прарека, пспользуемая для международного судоходства, она там, в верховьях, окутана туманами, украшена неонам вечерних витрин, в мосты и бетон набережных закована, — тут она разлилась вольготно-просторно, течет, переполненная паводком света... Мечтал Сергей о новых фильмах, один из них должен был быть посвящен Свету... «Ибо разве же не чудо: он и волна-колебание, и частица материи, он и разрушает и создает! Хотя бы одна эта поэма фотосинтеза... Может, и в самом деле где-то здесь градь перехода материального в духовное, в идеальное?» — словно бы слышался еще тут его взволнованный голос.

Плыли с мыслями о нем. Еще лучшим, чем при жизни, он представлялся им теперь. Мудрый молодой мудростью. Способный на самопожертвование. Ягуар Ягуарович почти уверен, что их коллега во время съемок на островах, на ночной натуре, а особенно же во время спасательных работ создал, видимо, поистине гениальные

кадры... Только чтобы не засветили пленку — в такой ведь суете во время циклона все это делалось...

— Вот случилось недавно у одних: трое суток снимали, и в одну секунду все на нет... пленку засветили... Из света возникло и загублено светом... — Ягуар Ягуарович сокрушенно качает головой. Представляется ему чья-то засвеченная пленка, что, помутнев, похожей стала на седую бесцветность слепых, стихией забаламученных вод.

— В будущем кинопленку, говорят, замепнит кристалл, — продолжает размышлять Ягуар Ягуарович, сидя на корме беленького катерка, что несет их по течению. — На каком-нибудь кристалле будет закодирован целый фильм, представляете. И такой уже не засветишь. Кристаллы, нужные для фильмов, специально будут выращивать...

— О, мо-ой, мо-ой! — вздохнула Ярослава. Она все время в глубокой задумчивости. Может, вспоминает, как Сергей в последнюю встречу руку ей поцеловал... Знать бы, почему он так любил старинную музыку? Дитя лесов, из партизанской ложки выкормленное, одичавший малыш, чудом выхваченный кем-то из кошмаров того полесского Лидице... как могла пробудиться в нем такая светлая любовь к мелодиям Бортнянского, Веделя, Баха?

«Может, любовь эту как раз и напумели ему леса партизанские, — думает Колосовский. — Но вот действительно странное явление: среди молодежи, среди суетных этих детей суетного, неистового века, вдруг такой интерес к музыке старинной... Может, она привлекает как раз своею ясностью, гармоничностью, даже суровым этим аскетизмом чувства? Может, современный человек, оглушенный какофониями, хаосом поп-арта, как раз и ищет для себя классическую цельность, какие-то утраченные гармонии?.. Хочет знать, каким он раньше был, как чувствовал, как мыслил... Внутренне создавая себя, обращается за опытом человеческого — и туда, в века...»

Речка разливается все шире — солнечно, полноводно.

— Натурное освещение, его надо уметь читать, — говорит Ягуар Ягуарович. — А он умел. Не пленку — нерв закладывал в камеру.

— И все же неудовлетворение не оставляло его, — заметила Ярослава. — Говорил как-то, что красота естественного освещения сегодня дается операторам далеко еще не полностью... Мечтал о совершенной технике, которая дала бы возможность в целостности, непременно вынести

на экран эти естественные переливы освещения, замеченные еще мастерами итальянского Ренессанса...

И почему-то вспоминается Колосовскому тот мальчуган с другого берега, с отблеском шторма на лице, его кипучего сияния... Откуда брался тот свет? От какой чистоты? От каких меридианов накатывался он вместе с валом прибоя, с литьем бурунов, неся с собою брызги бурь и световую порошу солнца? Юным сфинксом в красном пуловере называл Сергей мальчишку, все хотел разгадать тайну той детской улыбки, которая, как лучик, зарождалась над разбушевавшимся прибором... «О чем ты думаешь, Сергей?» — «Думаю все о той же вечной гармонии, хотя не знаю, скоро ли она будет, если до сих пор — на протяжении веков — ее не было...»

Ширится раздолье вод, все больше и больше света. Пробовали передать свет музыкой на партитурах. Несомненно, в нем заключено что-то значительное. Может, даже исключительно значительное. Недаром эта тайна привлекала столько художников — не давала и твоему оператору покоя... Не исчез он, не исчез. Такие не исчезают. Вряд ли стоило бы жить, чтобы стать лишь гравием, серым илом на полях истории... Человек, если был он человеком, сам становится частицей всеобщего света! В разливе нашей жизни есть и его, Сергея, свет. И Приси! И Шамяля! И Решетняка...

Воды устья! Камыши и птицы... Припомнил Колосовский, как несколько лет назад они с Сергеем где-то здесь снимали птиц для документальной ленты... Ночевали в хатенке егеря среди бескрайности камышей, а утром их разбудили птицы своим лебединым клекотом, ни с чем не сравнимым, упонительным, как весна, как сама любовь... «Это уже не земное, — сказал тогда Сергей. — Утренняя заря, как фламинго... И голоса белокрылых сирен над камышами... Такое наслаждение жизнью, видимо, знали только греческие боги...»

Искали Сергея по всему устью, обшаривали берега, заводи... Находили целые связки задубевших ботиночек и спортивных детских кед, занесенных наводнением сюда, видимо, с обувной фабрики. Из-под камышей, из-под пизких, переплетенных корнями берегов опять выходили на простор. Нигде не было.

Но как много тут было света! Глаза слепило мерцанием неба и воды. Оливково-серебристый, сугубо южный колорит господствует над всем. Как бы колер древности,

краска вечности. Ни единого вертолета в воздухе, время от времени лишь птица пролетит над вербами, над камышами,— бело, неторопливо. Небо устья, небо Овидия... Какое согласие и роскошь в природе, еще недавно ярившейся черным взрывом циклона... Сияет полушарие неба, дает свет всем этим водам, вербам, камышам, а они во взаимной щедрости отдают свой свет ему. Свет этот всепроникающий; наверное, только он и не станет тленом. Силу созидающую, силу солнца и бессмертных поступков человеческих — разве ее убить циклоном?

Маревом, блеском все переполнено. Все слилось, соединилось в стихии солнца, в гармонии жизни. Стоп, катер! Какая камышина! Как она переливается светом при дуновении ветерка... Сколько пластики в колыпании этого стебелька с колеблющейся ритмичной игрой света на нем! Отраженная на мерцающем экране воды, камышина покачивается, живет, неслышно разговаривает с водой, с ветром, с солнцем, с другом вашим, может, разговаривает... Схвати, зафиксируй это ее движение, и свечение воды, и серебристость верб, их эпическую задумчивость... Заними, сохрани великое творчество природы! Но кому? Зачем? Кто будет ею дорожить? Предстанет ли перед кем-нибудь из грядущих это величавое спокойствие устья-гирла и эта камышина в ее зыбком колебании, оживет ли она, как строка гекзаметра, как осколок красоты, как необходимость?

— Толстой где-то сказал: люди как реки, — слышался задумчивый голос Ярославы. — Как будто о Сергее сказал...

Колосовский сидел, щурясь от обилия света.

«Эта река, она тоже как человек: достигла своего апогея, взорвалась разливом света и именно теперь, когда все вобрала в себя, светом мудрости осиянна, в безбрежьях устья должна, успокоясь, завершать свое течение... Уже становится Океаном...»

Не узнать реки. То, что недавно дико ревело, ломало, крушило, — тут уступило место иному половодью, половодью, что не разрушает.

Течет до краев палитая светом река. Раздвинула камыши, разлилась привольно, воссоздает самое ширь и сияние неба, со всем живым общается своею безмолвною речью... Здесь я впадаю в Мировой океан. Прощаюсь с камышами, которые, как египетские папирусы, вбирают в себя щедрые таинства света... Прощаюсь с пограничной

вышкой, поднимающейся в камышах, где пограничник молодой с биноклем у глаз сторожит спящую тишину... Этот день сторожит, залитый потоком света, и задумчивость верб, и бесконтрольный полет птицы над всеми межельными знаками... Иду, исчезаю своими пресными водами в Мировом океане. Он поглощает меня, одну из множества рек, чтобы уподобить себе, растворить в синих своих беспредельностях. А так ли уж и бесследно я исчезаю? Но скажусь ли хоть в какой-то мере на составе его же собственных вод, на степени их солености, на уровне его берегов, на самом характере Океана? Река равнин и гор, еще долго я буду течь и там, среди моря; далеко видно будет среди морской голубизны течение бурой речной воды; она и там еще долго будет сохранять свою речную природу — и пресность источников, и глинистый двет горных и долинных почв, и внутренний ритм жизни... Вода среди воды — уже в этом есть необычность; и есть что-то значительное в самом акте впадения, в этом извечном единении устья реки с океаном.

Светится мир. Всюду разлилось тихое, серебристое, бескрайнее.

И сила воды тут уже не страшная.

И небо тут уже не небо, а небеса.

1968—1970

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ. Роман. Перевод М. Алексеева и И. Карабутенко	5
ЦИКЛОН. Роман	
Часть первая. Перевод И. Карабутенко	295
Часть вторая. Перевод Иэиды Новосельцевой	423

Гончар Олесь.

Г 65 Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 4. Человек и оружие. Роман. Циклон. Роман. Пер. с укр. Худ. Е. Ганнушкин. М., «Худож. лит.», 1975.

568 с.

В романе «Человек и оружие», удостоенном в 1962 году Республиканской премии им. Т. Г. Шевченко, Олесь Гончар вновь, после «Знаменосцев», вернулся к теме Отечественной войны, ярко осветив благородство советского человека, красоту его души, верность родине. А в 1970 году появился роман «Циклон» — логическое продолжение «Человека и оружия»: герой Богдан Колосовский, доброволец студенческого батальона, в новом произведении — кинорежиссер, создающий фильм о войне. Таким образом, композиционно «Циклон» строится на встрече прошлого и настоящего. Этот многоплановый роман посвящен прежде всего подвигу советского народа в годы войны, преемственности героических традиций, борьбе за мир на земле.

Г 70303-114
028(01)-75 подписное

С(Укр)2

**Александр Терентьевич
Г О Н Ч А Р**

**Собрание сочинений
Т о м 4**

**Редактор С. Князева
Художественный редактор
В. Горячев
Технический редактор
Л. Титова
Корректор Н. Усольцева**

**Сдано в набор 28/II 1974 г. Под-
писано в печать 21/X 1974 г. Бу-
мага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
17,75 печ. л, 20,82 усл. печ. л.
31,97 уч.-изд. л. Тираж 100 000
экз. Заказ 1361, Цена 98 коп.**

**Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-78, Ново-Басмальная, 19**

**Ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградское произ-
водственно-техническое объеди-
нение «Печатный Двор» имени
А. М. Горького Союзполиграф-
прома при Государственном ко-
митете Совета Министров СССР по
делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. 197136, Ленини-
град, П-136, Гатчинская ул., 26**